Виктор
БУДАКОВ

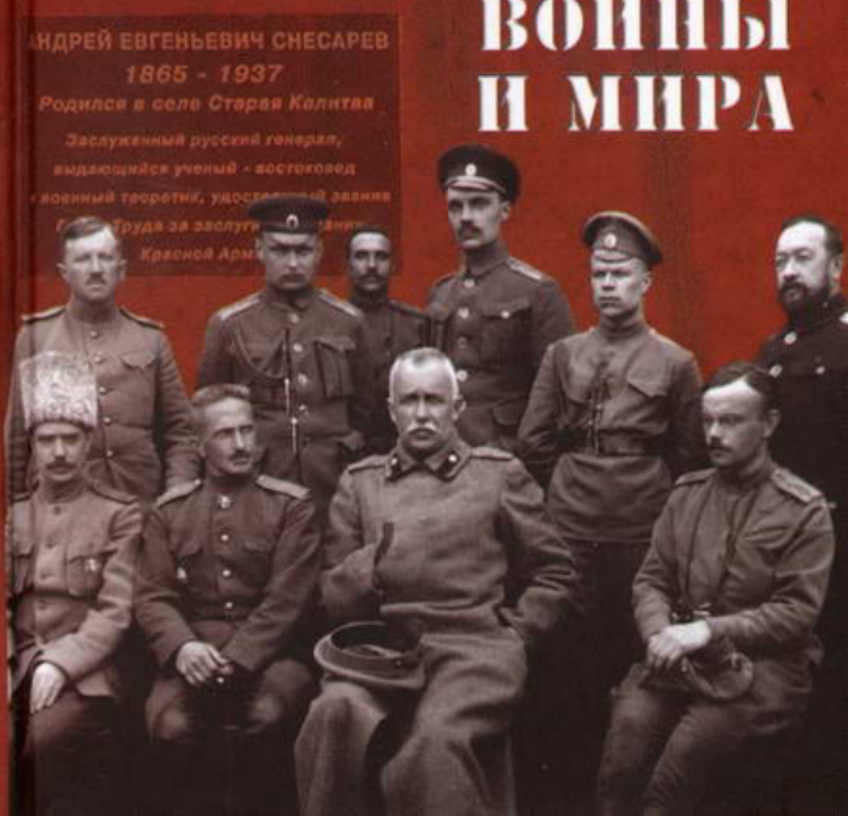
ВА

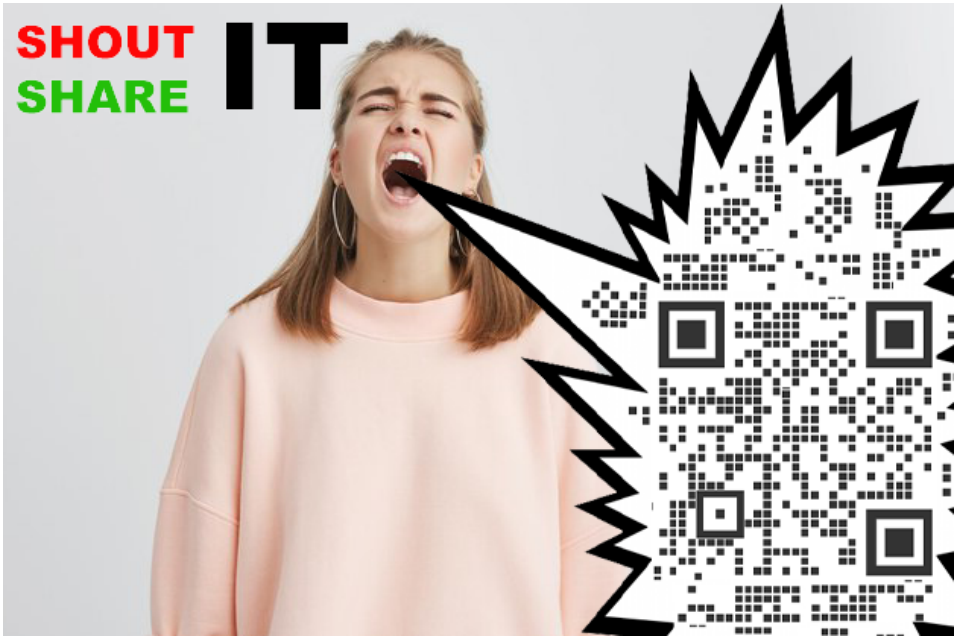
ГЕНЕРАЛ СНЕСАРЕВ
НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ И МИРА

Военный Архив

Виктор
БУДАКОВ

ГЕНЕРАЛ СНЕСАРЕВ
НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ И МИРА




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга В.В. Будакова рассказывает об удивительной и непростой судьбе генерала Андрея Евгеньевича Снесарева. Генерал Снесарев был широко известен не только как военачальник и участник Первой мировой войны, но и как талантливый военный педагог, географ и востоковед. Несомненную ценность для современной России представляет и письменное наследие А.Е. Снесарева.

В настоящем издании личность генерала Снесарева получила яркое и правдивое описание. Книга будет интересна самому широкому кругу читателей — историкам, географам и востоковедам.

- В.В. Будаков
  - ПРЕДВАРЯЮЩАЯ СТРОКА
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    - ПЕРЕПУТЬЕ
    - СТАРАЯ КАЛИТВА — МАЛАЯ РОДИНА.
      -
      - 1
      - 2
      - 3
    - И СНОВА ДОН, КАЗАЦКАЯ РЕКА.
      -
      - 1
      - 2
      - 3
    - А ОДНАЖДЫ СТАНИЦУ ЗАТОПЯТ.
      -
      - 1
      - 2
      - 3
    - СТОЛИЦА ВОЙСКА ДОНСКОГО.
      -
      - 1
      - 2
    - АЛЬМА-МАТЕР — ПЕРВЫЙ В ИМПЕРИИ УНИВЕРСИТЕТ.
      -
      - 1
      - 2
      - 3

- ОТ ЛЕФОРТОВСКИХ КАЗАРМ ДО АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- ИНДИЯ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- ТУРКЕСТАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- СЛУЖБА С ВИДОМ НА ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- В ПРИГРАНИЧНОМ ГОРОДКЕ НА РЕКЕ СМОТРИЧ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ХОЛМЫ ПОБЕД ОЗЁРА ПОРАЖЕНИЙ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
- ЛУЦК, ПАМЯТНИК ВСЕМ ПОГИБШИМ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

- «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО» — ПЕРСТ, УКАЗУЮЩИЙ НА ВЕНУ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

○ КНИГА ВТОРАЯ

- РУССКИЙ ИЗЛОМ. 1917
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- ЭШЕЛОНЫ СПЕШАТ В ТУПИКИ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
- ПОЛГОДА В ОСТРОГОЖСКЕ.
  -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- ЦАРИЦЫНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ.
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- НА ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ СТРАНЫ. 1919–1923
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ — ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 1923–1924
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- 5
- ГОДЫ ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ. 1924–1929
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- УЗНИК ЛУБЯНКИ, УЗНИК БУТЫРОК. 1930–1931
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- СВИРСКИЕ ЛАГЕРЯ. 1931–1932
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- СОЛОВКИ — МОНАСТЫРЬ И КОНЦЛАГЕРЬ. 1932
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
- КЕМСКОЕ «СИДЕНИЕ». 1932–1934
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

- ПРИ БОЛЬНИЦЕ ДОКТОРА ГААЗА. 1934
  -
  - 1
  - 2
  - 3
- МОСКВА — В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. 1934–1937
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- НА РОДИНЕ И В МИРЕ
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- БИБЛИОГРАФИЯ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

В.В. Будаков

ГЕНЕРАЛ СНЕСАРЕВ НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ И МИРА

ПРЕДВАРЯЮЩАЯ СТРОКА

Светлой памяти Е.А. Снесаревой

Имя Андрея Евгеньевича Снесарева впервые я услышал ещё в школьной юности. Но так сталось, что лишь годы и годы спустя узнал о своём земляке основательно, из первых уст, когда в начале семидесятых прошлого века встретился с его дочерью — Евгенией Андреевной Снесаревой. На моё счастье, как и на счастье всех, кто общался с нею, природа щедро одарила её удивительной доброприветливостью, сердечностью, душевной открытостью; всем своим существом излучала она готовность к собеседованию, отклику, состраданию. Словно посланница старых добрых времён и того русского мира, где достоинство и честь, скромность и совестливость были неподкупны, неколебимы, величавы во всех испытаниях. Свою жизнь она посвятила изучению отцовского наследия, извлечению из забвения его имени. Часто, глядя на неё, неустанную в трудах, я невольно думал о том, какой необозримый русский материк ушёл под воды «взбаламученного моря»; и всё же многое могло бы уцелеть, найдись в каждом русском роде, не до конца иссечённом и вырубленном, такие, как Евгения Андреевна, беззаветные собиратели и хранители отечественного и отчего наследия. На протяжении почти трёх десятилетий всякий раз, приезжая в Москву, я находил в её доме гостеприимный кров, находил ответы на любые вопросы об её отце, вёл записи, надеясь когда-нибудь сказать своё слово о земляке. Мы исходили все московские уголки, где Снесарев учился, жил, работал. Меж моими приездами в Москву Евгения Андреевна слала мне на воронежский адрес письма, свои воспоминания в больших конвертах.

Побывал я и в других местах, куда судьба забрасывала моего земляка, — не только в станицах бывшей Области войска Донского, где протекали его детские и юношеские годы, но и в Санкт-Петербурге, Ташкенте, Киеве, Царицыне, Смоленске, Вильнюсе, Берлине, Риме, в Карпатах, на Соловках…

Иногда я писал о Снесареве, его работах, о подвижничестве его дочери Евгении Андреевны, но всё это было между прочими делами, чаще без должной глубины, в очерковом поверхностном стиле, в духе эпохи, обходящей кровоточащие вехи и штрихи отечественной истории. Книги моей о своём отце Евгения Андреевна так и не дождалась. Но когда её не стало, я с горечью понял, что обещанная и ненаписанная книга — среди главных

моих нравственных, человеческих неоплат.

Так что это повествование не только посильное слово о великом земляке, но и запоздалая дань благодарности его дочери — замечательной подвижнице, прекрасной русской душе.

Даты до 1918 года приводятся по старому стилю. Орфография и пунктуация цитируемых текстов приближены к современным. Особенности цитируемых текстов (подчёркивания строк, отдельных слов, графические знаки) в большей части не воспроизводятся. Устаревшие географические названия оговариваются частично.

Виктор Будаков

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕРЕПУТЬЕ

Метафора судьбы — curriculum vitae.

«Клим! Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10-ю годами. И. Сталин».

В этой краткой, как летящая стрела, тринадцатисловной записке из трагического тридцатого провиденциально пересекаются три имени, по-разному, но весомо прочертивших свои пути на скрижалях Отечества. К той поре Иосиф Сталин — «полудержавный властелин», генеральный секретарь ВКП(б). Клим Ворошилов — наркомвоенмор СССР, властный над солдатами и матросами «на суше и на море». Андрей Снесарев — лубянский, бутырский узник, не столь давний начальник Академии Генштаба, военный мыслитель и стратег.

Но до той короткой записки ещё далеко…

* * *

Багровел ноябрь семнадцатого года. Рушилась не отдельная жизнь — рушилась исполинская держава. Судьба отдельного человека и судьба государства узловато переплетались. Две силы: традиционно-созидательная и революционно-разрушительная — противостояли друг другу- Одна в жертвенном противостоянии пыталась сохранить устои Отечества, другая, будто кроваво-красная лава, затопляла необозримое крестьянское поле страны, ломая российскую жизнь.

Кто же он теперь? Кто теперь генерал Снесарев? Полководец без войска? Учёный без научной аудитории? Государственный муж без государства?

Исходивший и объехавший далёкие земли и моря, он медленно брёл заснеженной окраиной Острогожска, уездного городка Воронежской губернии, и ловил себя на мысли, что ему хочется попасть туда, где более полувека назад он издал первый младенческий крик. Желание вполне исполнимое в иное — мирное, более спокойное время: его родная донская слобода Старая Калитва располагалась в сотне с небольшим вёрст отсюда, она была Острогожского уезда.

Старая Калитва, что он помнил о ней?! Затравелый, под вечными ветрами холм, откуда радостно было ребёнку глядеть на убегающие вдаль луга, а за ними шлем Мироновой горы, на

морщинистый от ветра синий Дон и тёмный задонский лес. Но воспоминаниями не спастись. Спастись? Нет ли в этом нечаянном ощущении чего-то безысходного, трагически неотвратимого? Мысль о спасении является грешному миру, когда к нему уже подбираются сполохи карающего огня — небесного или инфернального.

Можно, разумеется, попытаться вглядеться в грядущее. Пусть не в своё одиночное, но в грядущее одной семьи. А значит, и родины. Но думать о будущем — не накликать ли чёрные молнии? С той поры, как разразилась эта нескончаемая война, как только ни называемая: мировая, императорская, отечественная, всенародная, праведная, священная или же империалистическая, германская, бессмысленная, неправедная, позорная, — он стал реже мыслями и желаниями искушать грядущее, понимая, что упредить его, тем более распорядиться им, сверстать его по-своему столь же невероятно, как если бы наползающую тучу искромсать и разогнать мечом, пусть даже изготовленным из дамасской стали. Снесарев в одном из окопных писем признавался жене: «Я стал ещё суевернее, чем был. Избегаю говорить о будущем».

Но и настоящее — словно бы русская дорога в пропасть. Страна ожесточалась. Вьюжило беспрерывно. Перемело все дороги, и человеческая жизнь — снежинка в поле. Вихрями, ураганами войны и революции метёт миллионы этих снежинок с тыла на фронт, с фронта в тыл, из деревни в город, из города в деревню. Вот и «путешествие из Петрограда в Острогожск» его семьи — в надежде переждать лиховременье в городке на Тихой Сосне — словно путешествие из теперешней порушенной жизни в жизнь, ещё недавно складную, равноденственную. Но и на Тихой Сосне тишины нет. Не предсмутье, не послесмутье, а дикая смута. Разлад и распад. Разрушение и гибель. Власть их не только в столицах.

Сиротливо маячила за лугом церковь, невдалеке угадывалась река: в белой пойме стыла серая полоска камыша. «Там, где волны Острогощи в Сосну Тихую влились…» — вспомнились уместные строки. Подумал о Рылееве, поэте-декабристе (век назад тот квартировал в Острогожске по военной надобности), о его несчастных, незадачливых друзьях: дети Отечества. Но… фронда и заёмный запал? «Сотня прапорщиков, надумавших изменить образ государственного правления…» Как тут не согласиться с Карамзиным, Чаадаевым, Хомяковым, Грибоедовым, холодными очами взглянувшими на декабрьский мятеж. «О жертвы мысли безрассудной…» — Тютчеву ли не верить: он и Европу, и Россию видел и чувствовал на века вперёд! Вышли они

на Сенатскую площадь, не очень ясно понимая зачем и всё смешав в воспалённом воображении: революцию, конституцию, монархию, республику, французские, европейские свободы, далёкие от свободы истинной, свободы христианской. Их на Сенатской площади пытался увещевать дальний его, Снесарева, родственник, пастырь и историк Болховитинов. Да какое там! Поборники славянства убили храбрейшего из славян, героя Отечественной войны 1812 года Милорадовича; всё в тот же день закончилось.

Но конец обозначил новое начало. И чаемая ими Россия, теперь осчастливленная конституцией, революцией, республиканскими лжесвободами, вот она — как женщина, потерявшая всякий стыд, и разномастные разбойники терзают её от царского дворца до крестьянской избы. А надеялись-то офицеры-мятежники на лучшее для России. Искренние и тщеславные её дети. Слепые и поздно прозревшие дети Родины.

И подобно тому, как Сенатская площадь в декабрьский день резко делила жизнь декабристов на до и после, так и семнадцатый год разламывал его, Снесарева, жизнь на прожитую и ещё не прожитую, полную тревог и неизвестности. Во времена разрушительно действующих масс отдельный человек, словно затерянный на стылом косогоре и терзаемый ветром надломанный куст, того и гляди, вовсе сломается.

Позади трагический, высокий и низкий, славный и бесславный, радостный и печальный опыт человечества, сотканный из великого числа отдельных судеб. И его судьбы тоже. В этот стылый день с редкой степенью яркости прошли перед ним разно хранимые в душе географические вехи его судьбы — Область войска Донского, станицы Камышевская, Константиновская, Нижне-Чирская, Новочеркасская гимназия, Московский университет, военное пехотное училище, Санкт-Петербург, обучение в Академии Генерального штаба, служба в Туркестанском военном округе, многомесячная экспедиция в Индию. Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь. Вновь Туркестанский военный округ, Памир, Афганистан. Снова северная столица, служба в Академии Генерального штаба. Лондон, Париж, Вена, Берлин, Мюнхен, Цюрих, Афины, Рим, Венеция, Флоренция — служебные поездки. Конгресс ориенталистов в Копенгагене. Трёхмесячное пребывание в Гельсинфорсе. Армейские будни на западной, от Каменец-Подольска до Вильно, границе. Командование полком, дивизией, корпусом на землях былой Червоной Руси, участие в Галицийской битве, победном Луцком прорыве… Исходил многие страны, написал тысячи научно-геополитических, военных,

публицистических, педагогических страниц. Изучил около полутора десятков живых и мёртвых языков. Участвовал в десятках сражений, боёв — верных семьдесят пять!

Семнадцатый год словно бы отменял прошлое. И невозможно было углядеть что-либо явственное в будущем. И опять его мысли вернулись на малую родину, в Старую Калитву. Образ её тем более нетрудно было представить, что далеко видимый с приберегового скоса острогожский луг и широтой своей, и лозняками, купами верб на нём, и противолежащим взгорьем так напоминал луг калитвянский. Первый луг раннего детства.

Калитвянский, «снесаревский» луг раннего детства, холмы над Доном, который сизым потоком величаво уходил в неохватную даль, тучные, вороньего крыла чернозёмные поля, леса и яры — всё это было исхожено в детстве и автором, пишущим эти строки.

Да и за горизонтами единого для нас края ничего не надо было додумывать и сочинять, поскольку жизнь его, от первых сознательных шагов до последних, имеющая все черты романной завлекательности, восходяще ясна по главной мысли, по отсутствию шараханий, метаний, измен (цитируемые в книге строки его дневников и писем — тому строгое свидетельство) — она есть служба, или, прибегая к более высокому и точному слову, служение чести и совести, родному краю, семье, Отечеству, Богу.

СТАРАЯ КАЛИТВА — МАЛАЯ РОДИНА. 1865–1870

Метрическая книга Острогожского уезда, слободы Старой Калитвы, Успенской церкви за тысяча восемьсот шестьдесят пятый год сообщает: «Декабря первого рождён и второго крещён Андрей. Родители его: священник Евгений Снесарев и законная жена его Екатерина Ивановна, оба православные…»

В тот год являются события, имена, страницы, немало значимые в духовно-культурном и геополитическом бытии России и непосредственно в жизни уроженца Старой Калитвы — героя нашего благодарного рассказа. В январе начинается печатание романа Льва Толстого «Война и мир»; в феврале учреждается Туркестанская область, военный губернатор которой М.Г. Черняев через три месяца, возглавляя отряд в тысячу триста человек, с ходу, с короткого боя захватит Ташкент; в том же месяце, что и Андрей Снесарев, появится на свет Божий Василий Белавин, будущий патриарх Тихон, первый русский патриарх после Петровских церковных, а вернее, противоцерковных нововведений, настрадавшийся теперь уже от большевистских богоотметающих начинаний.

В соответствии с движением времени-истории, представляемым в образе то маятника, то цикла, то спирали, то стрелы, а скорее всего, непостижимым, вообще не поддающимся человеческому определению и пониманию, менее чем через полтора века, на перетоке тысячелетий, Туркестан, словно обрезанный огненной пилой, отвалится от айсберга северной державы; страстотерпца Тихона канонизируют, а великую «Войну и мир», переведённую почти на все языки мира, втиснут на дискеты-стоминутки, необъятное содержание романа упростив в американском темпе до беглого пересказа, ибо даже русские студенты и учащиеся перестанут читать родные, великие, мнившиеся вечными книги.

1

По одну сторону Старой Калитвы — Нижний Карабут, по другую — Новая Калитва. Большие родственные сёла-слободы, в восемнадцатом веке основанные украинскими поселенцами с Полтавщины да казаками Острогожского полка. Не столь старинные сёла. На много столетий моложе хазарского городища, что глухими, глубокими рвами напоминает о себе на лобастом

приречном холме неподалёку от Нижнего Карабута. От него же вблизи на крутоломных кручах гнездятся реликтовые сосны и берёзы, в совокупности нигде больше в европейских землях невиданные. Знобкой ранью седых времён веет от них. Древностью и вечностью дышит тихий Дон, по правобережью которого и раскинулись три слободы-сестры.

И здесь требуется отступление более полное — как весеннее русло. Ибо Дон в жизни Андрея Евгеньевича Снесарева — самое раннее и сильное впечатление. И для его родной слободы Дон был живой страницей памяти и судьбы. Разумеется, не всякий, привычно бросая взгляд на ковыльный курган или на синюю стремнину, непременно погружался в древность или бы мысленным взором проницал далёкие излучины, по которым плывут из Москвы в Царьград церковные и государевы посольства, вверх-вниз снуют разинские и иные повстанческие струги, устремляются к Азовскому морю военные флотилии Петра Первого. Но для всех здешних поселенцев Дон был и водный путь, и рыбный стол, и зелен луг, и тёмен лес. Жизнь выстраивалась у донского берега.

И не только Старой Калитвы и ещё россыпи близких, вперемешку заселённых русских сёл и украинских слобод. Как на ладони видимые левобережные — Казинка, Ольховатка, далее на разных отрезках горизонта — Николаевка, Гороховка и правобережные — Нижний Карабут, Кулаковка, Терновка, Новая Калитва, Новая Мельница… Дон — река всемирной известности, бесконечно значимая в историческом бытии многих родов, племён, целых народов. Река удивительная даже геологически: держала курс на север, а затем вывернула на юг. Дон — Танаис… Из смутно угадываемой дали восходят первые упоминания о нём — суровые, загадочные, полуфантастические. О нём — сказания скандинавские, о нём — предания греческие и римские. Он в строке Геродота и Страбона, Эсхила и Аристотеля, Сенеки, Овидия, Горация. Он реален и мистичен. Для одних он в те отдалённые времена — гиперборейской стужи концесветный край, который «покинули люди и боги», для других — сын Океана, Великий поток, грозная скифская река, европейско-азиатский рубеж, граница двух материков. Для третьих он — сама жизнь. В разные времена его обживают то скифы, сарматы, меланхлены, будины, то авары и хазары, то печенеги и половцы, то, наконец, славяне.

Без малого две тысячи километров протекает Дон по русской земле, он в истории нашего Отечества и нашей культуры — явление бесконечно более глубинное, нежели глубина самой реки, равно как и глубина знаний о ней. Более десятка раз, чаще с

эпитетом «великий» упоминается он в «Слове о полку Игореве» — славянской «Илиаде», повествующей о трагической попытке русских княжеских дружин усмирить половецкую степь, «испить шеломом Дону», обезопасить поле меж великими водными путями.

А двумя веками позже меж Доном и Непрядвой, на поле Куликовом, — тяжелейшая, на грани поражения победа, всё же победа, после которой Русь поверит в своё возрождение-предназначение: поднимется как евразийское образование. И вновь историческому пласту сопутствует пласт художественный: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», романы, стихи, картины о Куликовской сече, где были явлены нераздельно небесный крест Сергия Радонежского и земной меч Дмитрия Донского.

Грозно, библейски-незабываемо звучат навеянные неслыханной битвой строки старинных повествований: «Припахнули к нам от быстрого Дону поломяные вести, носяще великую беду» — «Задонщина»; «Основание земли сдвинулось от множества сил», — вторит «Задонщине» Летописная повесть о побоище на Дону; «И сошлись грозно оба великих войска, жестоко друг друга уничтожали… В единый час, в мгновение ока, о сколько погибло душ человеческих, созданий Божиих», — оплакивает погибших «Сказание о Мамаевом побоище».

А ещё было и сложно сохранилось в народной памяти Петровское «великое корабельное строение», не жалевшее ни рощи сосновой, ни жизни человеческой; гулкое русское завершение семнадцатого века, когда сотни галер, брандеров, галеасов, стругов, спущенных на воду с воронежских верфей, от стен Воронежа брали курс вниз по Дону к стенам турецкой крепости.

Дон — исторический выбор народа, столетиями осваивающего его берега и прибрежные земли, — русского, украинского крестьянства. И, конечно же, казачества! Казачьи воля и неволя, слава и бесславие проистекают отсюда. Имена, всей России известные: Ермак, Разин, Булавин, Пугачёв, Платов… Скорбная участь донцов в братоубийственной Гражданской войне. Жестокая поделённость на красных и белых. Изуверское расказачивание. И опять породнённость трагической истории и высокого искусства: разлом казачества в гражданской смуте и суровое эпическое полотно об этом — «Тихий Дон».

Нет, не тихим оказался Дон для значительной части русского народа на долгой дороге столетий. Для многих он личное переживание, а судьба реки — что судьба родины. Державин в своём знаменитом «Памятнике» изо всех рек Российской державы

называет четыре: Волгу, Дон, Неву, Урал. Дон — в строке Пушкина и Лермонтова, Кольцова и Никитина, Бунина и Блока, Есенина и Твардовского. В булгаковской «Белой гвардии» находим слова: «настоящая сила идёт с Дона».

Народ сложил целый песенник про Дон-батюшку, который «замутился-возмутился…» и всё же ясен и прекрасен. Река у народа течёт через всю его жизнь, она не только страда, кормилица, но и песня сердца, радость и печаль души, поэтическая стихия, духовная глубина «живой воды».

Выдающийся отечественный мыслитель Василий Розанов назвал Волгу русским Нилом, не смущаясь её женским именем. Не вернее ли назвать Дон, Днепр и Волгу — совокупно славянским Нилом? На их берегах едва не вся наша восточнославянская история, наша открытая миру культура. Берега дышат веками и эпохами, вздымаются равнодушно и загадочно молчащими курганами.

Когда Снесарев в раннем детстве впервые с придонского кургана увидел величаво уходящий за горизонт Дон, он, разумеется, не знал прошлого великой реки. Не мог предвидеть и её будущее: как через несколько десятилетий Вторая мировая война выйдет к Дону, и его берега на сотни вёрст в течение полугода изрежет фронтовая черта, рубеж двух враждебных, почти вселенских масс, и на донских берегах будет вырыто столько окопов, сколько никогда ни на каких иных берегах и ни у одной реки мира! «Удержались ли наши там, на Среднем Дону?» — прежде всего спрашивает у живых погибший и от имени погибших в знаменитом стихотворении-реквиеме Твардовского. Разумеется, ребёнок еще не мог почувствовать Дон как явление историческое, духовное, геополитическое, наконец. Но Дон — действительно всемирный геополитический поток — мог пробудить некие «геополитические» импульсы при первом взгляде на задонские дали.

2

Поселилась семья Снесаревых в Старой Калитве в 1863 году. Незадолго перед тем отец будущего ученого окончил Воронежскую Духовную семинарию и вскоре, переведённый из Бирюченского уезда в Острогожский, был определён служить в Успенскую церковь Старой Калитвы.

Евгений Петрович Снесарев, при рождении нареченный по имени своего дальнего родственника Евгения (Болховитинова), митрополита Киевского и Галицкого, духовного пастыря и историка, был человек широко образованный, весёлого,

общительного нрава, добродушен и доброприветен, даровит, высоконравствен. Жена его, урожденная в духовном сословии Екатерина Ивановна Курбатова, тоже была женщиной редкой — истовая хранительница домашнего очага, труженица, певунья. По счастью, эти лучшие родительские дарования передались и старшему сыну. И остальных детей: Надежду, Лидию, Клавдию, Анну, Веру, Павла, рано умершую Марию — Бог не обделил добрыми задатками.

Ещё за несколько десятилетий до приезда семьи слобода называлась городом Старая Калитва. Громкое название, оправданное разве тем, что тогда здесь размещалась уездная власть. Уездному центру надлежало соответствовать и внешне своему статусу. Так появилось несколько каменных зданий в ожерелье хат-мазанок, глиняных и деревянных домишек.

Снесаревы жили в деревянном трёхкомнатном, лет за десять до их приезда построенном доме при Успенской церкви, на косогорном спуске к лукам — так и поныне называют здесь луга в широкой долине Черной Калитвы, близ впадающей в Дон.

Пойма с богатейшими сенокосами, летом отсюда тяжело гружённые воловьи возы развозили по ближним и дальним слободам первые укосы и раннего сена и поздней отавы, корма хватало до следующего лета. Но были в широколужье низины, заросшие дурнотравьем, мочажины, болота и приболотца, и на заре советской власти и своей туманной юности губернский мелиоратор и не за горами великий писатель Андрей Платонов намеревался «подправить» петлистый курс Черной Калитвы и её пойменные неудобья.

Главная ценность в доме Снесаревых — тёмно-вишнёвого цвета вместительный шкаф, сверху донизу заполненный книгами, по большей части — духовными, богослужебными, богословскими. Евангелие, жития святых, труды первых отцов Церкви. Ещё детские издания. И едва не половина шкафа — книги о путешествиях в чужедальние земли. За этими книгами священник мог просиживать часами. Ибо путешествия по белу свету были его заветнейшим желанием. Отец Евгений мечтал побывать далече от родных губернских мест, чаще других стран он называл Японию, у него даже подобралась японская керамика и хранилась в доме картина с видом Фудзиямы. Впоследствии старший сын, одолевая суровые хребты Памира, спускаясь в индийские долины, не раз вспоминал отца, в своём воображении неутомимого путешественника, не побывавшего даже за пределами среднерусской полосы.

Настольным же являлось издание не про Страну восходящего солнца или иные заморские страны, а «Историческое,

географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из историй, архивских записок и сказаний» Евфимием Болховитиновым. Читал и перечитывал это издание о. Евгений едва не чаще других, находя в книге знаменитого родственника сведения о городках и сёлах, расположенных по Дону; и о Старой Калитве — тоже. В сущности, это было одно из первых, если не первое исследование, явившее многомерный комплексный подход к истории и текущей действительности родного края, своего рода азбука и «дозорная книга» российского краеведения.

Калитвянское служение оказалось не столь долгим: в 1870 году священник Снесарев направляется в Коротоякский уезд.

Выходит, будущий учёный, военный деятель, геополитик прожил в Старой Калитве не более пяти лет. Вроде бы малые годы, да и не главные, во всяком случае, не в этом возрасте человек совершает и большие подвиги, и большие проступки. И всё же… Лев Толстой даже посчитал необходимым сказать о благодетельном, основополагающем значении для личности младенческих, раннедетских лет: «Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрёл и одной сотой того? От пятилетнего ребёнка до меня только шаг! А от новорождённого до пятилетнего страшное расстояние».

Пять прожитых в Старой Калитве лет — в чём-то решающие. Здесь Андрейка впервые увидел улыбку матери, изумился солнцу и цветку, сделал первые шаги по земле. А ещё услышал родимую речь, почувствовал певучее славянское слово, заговорил им. Здесь глаза и душа потянулись к Небу, вечному и непостижимому. И здесь же, под сводами Успенской церкви — перед образами, перед свечами — впервые услышал он слово отца о Спасителе.

Через полвека под теми же церковными сводами его земляки, крестьяне, издёрганные неутомимыми отрядами продразвёрстки, под свечами и колоколами призовут бывшего красного командира Ивана Колесникова, родом из Старой Калитвы, возглавить отряд справедливого отпора, и колесниковское восстание быстроконным бегом пронесётся по южным слободам Воронежской губернии, его огненный плеск достигнет Тамбовщины, смыкаясь с восстанием Антоновским. Но до тех жестоких времён — ещё крепкая, хозяйственно устроенная жизнь его родной слободы и его счастливые дни, где каждый день как вечность.

И было радостно мальчику видеть Тупку — глубокий и широкий, на долгие километры овраг, который начинался близ Нижнего Карабута и ранней весной бурлил талыми водами, в

конце апреля недели две полыхал бело-розовым пламенем цветущих яблонь и вишен (их запахи доносились до главной улицы даже тогда, когда кроны уже отцветали), летом манил краснобокими плодами, а зимой лежал в глубоких снегах, как под сказочным белым одеялом.

А ещё всякий раз, когда он после сна в утренний час выбегал на крыльцо, открывались ему раздольные луки, а на избыве их, словно непорушимая стража их, Миронова гора — она величаво вздымалась в семи верстах, у впадения в Дон Чёрной Калитвы, и притягательно манила, такая далёкая и такая близкая. Ему хотелось побывать на самой её вершине, но далее косовичного луга дорога не выпала, и осталась Миронова гора на краешке памяти, изредка лишь мысленному взору являясь.

3

На пыльной дороге подобрал он подкову, надеясь её сохранить. За свою жизнь не одну дюжину подков увидит он, а то и подберет. Особенно на фронтовых полях и дорогах. Подковы массивные и лёгкие, семижды в огнедышащем горне прокалённые и наспех изготовленные, спавшие с копыт коней азиатских и европейских пород — ахалтекинцев, дончаков, ростопчинских, орловских рысистых и австрийских, венгерских, прусских. Обычно в штабных землянках и скоростроенных домиках он приколачивал над дверью подобранные подковы — на счастье, которое каждодневно заключалось в том, чтоб достойно прожить день, не упасть пробитым пулей или осколком при наступлении, при отступлении; и едва не всякий раз он видел перед глазами ту блескучую, кривоскошенную, выщербленную, что нашёл за околицей Старой Калитвы на мучнисто-пыльной дороге к Дону и зарыл в саду под чёрной, обломанной, молнией обугленной грушей, надеясь однажды вернуться и извлечь из тайника подкову, которая принесёт всем людям счастье.

Дон — великий водный путь — звал его вдаль.

И СНОВА ДОН, КАЗАЦКАЯ РЕКА. 1872–1875

Семь лет в Старой Калитве священник Снесарев был и настоятелем Успенской церкви, и помощником наставника в сельском училище. За труды свои удостоен набедренника.

А осенью 1870 года ревностного, толкового священнослужителя направляют окормлять паству в Козмодемьянскую церковь села Ураково соседнего с Острогожским Коротоякского уезда. Однако пробыл он здесь недолго. В духовном служении, как на военной службе: наладил дело в одном приходе — другие приходы ждут. И уже в феврале 1872 года он — в Области войска Донского настоятель Христорождественской церкви. А вскоре и преподаватель приходского училища, где пройдёт обучение старший сын Андрей.

1

Станица Камышевская — самая сердцевина первого Донского округа. Степь — сокровенная матерь станицы. Степь, может, не такая тучная, как вокруг Старой Калитвы, но просторная, в дали дальние открытая и ветрам каспийским и когда-то набегам крымским; та полынная, тревожная «лазоревая степь», про которую сын Донщины, создатель «Тихого Дона», родившийся сорок лет спустя после Снесарева, воскликнет: «Родная, казачьей, нержавеющей кровью политая степь!»

Горизонт широк. И Андрейке, Андрюше, Андрею всего семь лет. И всё впереди!

Поповский дом — неподалёку от Дона. Добротный, двухэтажный, с железной зелёной крышей, высокими окнами и большим квадратным балконом, выходящим во внутренний двор. На балкон заглядывает белая акация — единственное дерево во дворе, который гол, как плац, и отделён от сада плетнём и летней кухней. На балконе отец часто отдыхает в одиночестве, и особенно нравится ему час-другой покоротать здесь с детьми — непоседливыми, звонкоголосыми, а когда он вслух читает, стихающими и внимательно слушающими. В них он души не чаял, и принятая в дом в помощь матушке на хозяйствование казачья вдова Матрёна по отцу Васильевна, она же в детском прозвище бабка Ляпка, не раз, бывало, говаривала отцу Евгению, когда он занедуживал: «Тебе, батюшка, болеть никак нельзя! Вон

какие подсолнушки подрастают, не дай бог помрёшь, на кого их оставишь?» Отец Евгений отшучивался неизменно, мол, есть Господь, да и Матрёна свет-Васильевна не даст им пропасть.

Среди прихожан — немалая часть из нерадивых, трудных, упрямых: местный народ, должный быть паствой его прихода, или ходил в ревнителях староотеческой, дониконианской веры (даже радушно принятая в поповском доме вдова Матрёна исповедовала старообрядческий канон), или вовсе, как соседние калмыки, пребывал невоцерковлённым. Для Православной Церкви это была непрестанная душевная забота ещё со времен святителя Митрофана, первого епископа Воронежской епархии, духовная юрисдикция которой распространялась аж до Азовского моря. Как бы то ни было, о. Евгению удалось крестить до трёхсот калмыков. Да и старообрядцы не почитали за грех бывать под сводами Христорождественской церкви.

А в доме — хорошее книжное собрание, перевезённое из Старой Калитвы и основательно пополненное в станичном крае. В особой чести — труды о. Иоакинфа Бичурина, главы русской духовной миссии в Китае в первой четверти XIX века, выдающегося ориенталиста, учёного-синолога, члена-корреспондента Российской академии наук. Некоторые его сочинения, в частности, «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение», «Статистическое описание Китайской империи», «Записки о Монголии», о. Евгений любил читать с карандашом в руках: они предоставляли замечательную возможность почувствовать душу Востока, совершить мысленное путешествие по азиатским окраинным землям, близким к Японии, с молодости его неудержимо влекшей и притягивавшей. Митрополит Ростовский и Новочеркасский, покороче узнав о. Евгения, благоволил даровитому и ревностному в духовном служении батюшке. И, наверное, состоялась бы его духовная миссия в Страну восходящего солнца, если бы не ранняя его смерть. Владыка после немало помогал осиротевшей снесаревскои семье, благодаря ему дочери о. Евгения смогли учиться и окончить Царскосельское епархиальное училище.

В весенние и летние часы о. Евгений вместе с сыном Андреем находили себе радость и дело в домашнем саду. Троица копьевидно устремлённых ввысь груш, дюжина яблонь, богатый вишенник, густой терновник, кусты калины, неизменной спутницы казачьей жизни, — это была поистине благословенная пядь. «Маленький Эдем», как называл свой сад о. Евгений. По весне всё здесь цвело и благоухало, ровный мягкий гул исходил, казалось, из каждой ветки: в саду была небольшая пасека. И пчёлы словно бы радовались весне: эти маленькие трудницы

лишь к темноте завершали дневные хлопоты. Заниматься пасекой издавна было принято в духовной среде, пасеки заводили многие священники, большими пасеками владели монастыри. Когда судьба забросит Андрея Евгеньевича в ссылку на Соловки, он узнает, что даже там, за Полярным кругом, монахи выращивали яблони и вишни, разбивали цветники и пытались разводить пчёл. И тогда он вспомнит слова, впервые услышанные от отца в станице Камышевской: «Нет места, на котором нельзя было бы принести пользу, совершить благое дело». А в те детские дни Андрейка охотно помогал отцу на пасеке, его часто можно было видеть в белом длинном халате, с дымарём в руках — он окуривал пчёл. Когда отец вынимал из улья рамы с янтарными сотами, Андрейка наблюдал за встревоженным ульем, тот представлялся ему каким-то особым государством. Мирной страной, вынужденной обороняться. И пчёлы представлялись ему тружениками и воинами, готовыми пожертвовать собою, но сберечь улей — родину свою и свою «молодь», свою скоробудущую смену.

2

А иногда отца и сына до позднего часу удерживала река с берегами, глухо заросшими лозами и столь чащобными камышами, что, может, при виде их первым поселенцам и явилась мысль назвать свою станицу Камышевской. И отец, и сын были, правда, рыбаками не из удачливых. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» А она никакая не ловилась, хотя Дон в те поры был изобилен всякой рыбой, и у Даля в его знаменитом словаре уже подобралась строка о редких рыбах вроде вырезуба, которые водятся по преимуществу в Дону да в Воронеже — большом донском притоке. Казаки умели рыбу и ловить, и беречь. В весенний разлив, спуская челны на воду, обматывали лопасти вёсел ветошью, чтобы вёсла загребали бесшумно и не тревожили косяки рыб, идущих на нерест. Разумеется, донцы, сотоварищи священника по рыбалке, без рыбы в свои курени не возвращались, да и Снесаревых угощали сполна. И не какой-нибудь краснопёрой мелочью, а, бывало, судаком, стерлядью одарят. С непременными приговорками, мол, щедрому Дону рыбы для казачьего племени не жаль, и им почему бы не поделиться с добрыми людьми.

Андрейке все казаки на рыбалке были милы, разве что вызывал лёгкую неприязнь всегда околачивавшийся возле них бессемейный казак Тараболкин, по прозвищу Табачок, — прокуренный, вечно под хмельком и вполне оправдывавший свою фамилию: он часами мог говорить без умолку, нимало не

смущаясь своими повторами, разно звучащими, небывальщиной, понятной и ребёнку. Этот Табачок со временем зачастил в церковь и подолгу выстаивал у Распятия: видать, образ жизни о. Евгения и беседы со священником не прошли бесследно для веровавшего прежде разве что по большим церковным праздникам. Теперь не прочь он был порассуждать о Божественном, за разъяснениями почтительно обращался к о. Евгению и тут же с видом крайней озабоченности спрашивал у последнего, пойдёт ли и его сын по духовной части. «По духовной, — продолжал далее, — это спасительно для души, но надо ещё и Россию спасать, крепкий солдат и генерал нужен, вон сколько разноязыкого супостата на Севастополь давно ли навалилось, Крым чуть было не утянули за море, а сколько казачьей крови пролито за оный каменистый полуостровок».

Что за дивные дни выпадали в детстве! Синие, солнечные, полные надежд, радости, любви. И каждый день — что долгий месяц. Доставало времени задачи по арифметике порешать (в приходском училище, где преподавал отец, она Андрею поначалу никак не давалась, а затем словно всеми своими задачами и примерами враз разъяснилась) и иными уроками заняться; и детскую книжку про заставу богатырскую прочитать; и побывать у Бекренева колодца, окружённого купой раскидистых ракит, в тени которых у замшелого сруба присесть на поваленное бревно и о чём-то неясном подумать, помечтать.

А в субботние дни его с сестрёнками уводила к себе в гости бабка Ляпка, которая жила в маленьком курене на берегу безымянной речонки, совсем неподалёку втекавшей в Мечетку — речку, которую вскоре принимал Дон. Угощала просфорами. Затем расстилала овечью, с козьими рукавами шубу, прибауточно приглашая отдохнуть, «по козиночке поваляться».

Казачка-вдова знала множество старинных преданий, сказок, песен. Для Андрея и его сестёр она стала вроде пушкинской Арины Родионовны. Свои сказы сказывала она замечательно образным языком, как бы напевая их. Песни тоже звучали, особенно когда навещала бабку Ляпку соседка бабка Валичка, тоже вдова. Это только детям они представлялись пожилыми, а на самом деле каждой едва было за сорок, и были они женщины отцветающе красивые, певучие. Сохранившие верность своим мужьям, сложившим головы под Севастополем, и песни у них были соответственные: о любви заветной, о судьбе-разлучнице, о донском крае, куда казак уже не вернётся.

А в воскресные дни, ближе к вечеру, Андрей выводил из денника застоявшегося Улана, поджарого, в яблоках дончака, с сильными точёными ногами, готовыми, казалось, с места взять в

карьер и скакать хоть до самого Чёрного моря. Десятилетний мальчуган взбирался на коня (за три года жизни в Камышевской он научился объезжать коней-трёхлеток под седло, мог управлять ими не хуже станичных ребятишек) и правил к донскому берегу. Улан медленно ступал в воду. Медленно пил, вскидывая голову и грустно, словно по-человечьи, вглядываясь вдаль. Раздавались близкие голоса казачек, стиравших в заводи бельё, из-за дальней луки доносилось лошадиное ржание.

Будто испив живой воды, конь брал сильный разбег и выносил мальчика на высокий Птичий курган. В сухих стеблях прошлогодних трав, в дремлющих шарах перекати-поля, меченный платиново-сизым ковылём да бисерным розоватым чабрецом, курган был сиротливо-печален. Но какой же простор открывался с его шлемовидного верха! Уходящий к морю Дон, раздольная степь, а на закатном западном горизонте вполнеба полыхает огромное, неправдоподобно малиновое солнце.

3

Словно всезаботная наставница была мальчику станица Камышевская. И когда в сломном семнадцатом году станичный круг выберет генерала Снесарева, отважного воина с галицийских полей и прикарпатских холмов, почётным казаком станицы, он обрадуется этому как самому высокому знаку признания своей донской родины.

Молчал древний курган, и всё молчало вокруг в воскресный час заходящего солнца. Но издалека, из-за приречных низовий занялась, вздымаясь всё сильнее, былинно-сильная песня, протяжная, многоголосая. Это была песня про тихий Дон, и мальчик уже не раз её слышал, и с каждым разом она волновала всё неотразимее.

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнёхонек течёшь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студёны ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

Через шестьдесят лет Андрей Евгеньевич Снесарев, насильственно отторгнутый от общественной службы, откроет однажды одну из великих книг двадцатого века, и первыми, какие увидит, будут строки этой песни. И он явственно увидит себя маленьким конником на далёком кургане, и издалека, из безвозвратно ушедших годин зазвучит: «Ой ты, наш батюшка тихий Дон! Ой, что же ты, тихий Дон, мутнёхонек течёшь?»

А ОДНАЖДЫ СТАНИЦУ ЗАТОПЯТ. 1875–1882

Старинная станица Нижне-Чирская, главная во втором Донском округе, располагалась у впадения в Дон реки Чир. Большая улица с отростками-переулками тянулась вдоль донского берега и упиралась в глинистое затравелое взгорье. Белые курени тонули в вишенниках и виноградниках, по границам левад, как исполинские стрелы, возносились пирамидальные тополя. За околицей — бахчи. Станица была богатой, с прогимназией, куда в 1875 году Андрей Снесарев поступил учиться и где проучился семь лет — самую пору отрочества и ранней юности.

1

Впервые он побывал в Нижне-Чирской ещё раньше. Вскоре после того как семья обосновалась в Камышевской, отец однажды в воскресный день взял его с собой на ярмарку, какой Нижне-Чирская славилась. Она с первого же взгляда пленила мальчика: всё вокруг сверкало, переливалось, манило, источало вкусные запахи. Продавалась тьма всякой всячины. Особенно притянул его к себе конный пятачок. Горделиво гривастые жеребцы, трепетно-чуткие кобылы, сторожкие стригунки какой только мастью не завораживали глаз — вороные, гнедые, буланые, мышастые, серые в яблоках… Больше всего было дончаков, пригодных казаку и в походе, и в борозде, и на торжестве, и на джигитовке. Позже он узнает, что кони донской породы с преобладающей золотисто-рыжей мастью — основная ударная сила русской кавалерии. Десятки тысяч конников — десятки тысяч сабель — на тех дончаках неотразимыми лавами устремлялись в сражения. Уже взрослым Снесарев поразится: офицеры и казаки на донских лошадях в жестокий двадцатиградусный мороз за одиннадцать дней преодолеют путь более чем в тысячу двести вёрст от Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга. Порадуется, когда узнает, что на Всемирной Парижской выставке 1910 года дончак будет признан лучшей кавалерийской лошадью. А тогда у мальчика просто глаза разбегались при виде множества коней, и все они ему казались одинаково хорошими: что аристократической игреневой масти жеребцы, что пегие, чалые, соловые трудяги, на ниве крестьянские савраски. Все они ему казались победительно вернувшимися с поля Куликова. И

странно только было, что победителей продают.

На той ярмарке отец купил ему игрушечного раскрашенного человечка из проволоки и деревянных досточек. Поначалу игрушка понравилась, эдакая забавная: потянешь за нитку — человечек так и задергается весь. Ножками, ручками заснуёт, как живой. Но по дороге домой мальчику стало жаль деревянного человечка: чувствовалось, что ему совсем не хочется исполнять якобы весёлый танец. Ему бы, наверное, хотелось отдохнуть, но приходилось повиноваться чужой воле. И мальчик почувствовал какую-то странную невольную вину, подобную той, какую он позже испытает, когда прочитает гоголевскую «Шинель». Вскоре игрушка затерялась в саду, и он о ней не жалел. Но всякий раз, когда ему вспоминалась первая в его жизни ярмарка, он видел, как смешно и жалко дёргается, снует ножонками, ручонками человечек, и тогда ему неизменно являлась мысль, что какая-то незримая и злая сила, помимо Божественной, правит многим в мире. И не свободны ни люди, ни кони, ни даже вещи. Даже убывающие реки и моря, теснимые леса и горы.

2

В станичной прогимназии учили основательно, учение занимало много времени, но Андрей не чувствовал скуки и усталости, тяжести лямки. Разве что приходилось вставать с постели раньше, чем прежде. Учение ему давалось легко. Любимыми предметами были математика, древние языки, но прежде всего история и география. Большая карта тогдашнего мира над его столом была сплошь исчерчена красным карандашом: кружками, линиями, звёздочками; жирными точками были помечены города, реки, горы многих стран, где ему, видимо, по замыслу надлежало побывать: Памир, Гиндукуш, Гималаи, Карпаты и Кавказ, Чёрное, Белое и Каспийское моря, а за рубежами отечества самыми яркими метами были обозначены мировые столицы: Рим, Париж, Лондон. Подчас попадались и незначительные, на первый взгляд, географически заурядные места, но для гимназиста они, по-видимому, имели своё особое, только ему ведомое значение. Судьбе будет угодно распорядиться так, что во многих уголках, отмеченных на карте, Снесарев побывает.

Зимними вечерами, когда он ложился спать и сон не приходил, перед его глазами вживе вставали Канны и Фермопилы, поле Куликово и Косово поле, Аустерлиц и Бородино со всеми их узнанными, а чаще воображаемыми подробностями. Он видел поля ушедших сражений по-разному: как полководец,

отдающий приказы с высокого холма, и как безымянный ратник, кровью истекающий в самой гуще схватки, как наступающий и как отступающий, как командующий то с одной, то с другой стороны. Он был юный патриот. И на русских холмах желал победы русскому воинству. Но он был и психолог, и математик, он понимал уже, что историю не переписать. И, однако, не так, как свершилось в действительности, — по-иному, в воображении и на бумаге разворачивал панораму больших и малых битв, просчитывал, при каких обстоятельствах побеждённые могли бы победить, а победившие — потерпеть поражение. Он искал варианты исторической, военной, а возможно, и мудро-наивной народной справедливости.

Ему было пятнадцать — самое время дружбы, подвигов, любви. В дружбе ему повезло. С одноклассником Марком Черкесовым можно было не только противостоять задиристым сверстникам, объезжать норовистый конский молодняк, часами нарезать коньками замысловатые фигуры на зимней реке, взятой в плен ледяным панцирем. С Марком смело можно было идти в разведку и даже в атаку, не боясь, что друг прянет в сторону с общей опасной стези.

Они ещё несколькими годами назад тайно готовились для подвига и даже, может быть, героической гибели. Через двадцать лет после того, как Россия, разорвав жёсткий обруч Парижского трактата, накинутый после Крымской кампании 1853–1856 годов (когда либеральные христианские Англия и Франция вкупе с нелиберальной и нехристианской Турцией да ещё вдовесок с королевской отнюдь не великой Сардинией одержали верх над Россией на берегах Чёрного моря), снова устремилась на Балканы и к турецким пределам, чтобы помочь болгарам и сербам, и верховная власть, и общество, и народ были единодушны в патриотических настроениях. Почти не было мелкой борьбы мнений и в печати, пресса писала с должным воодушевлением о подвигах, без злоречивости — о мужестве русских солдат и их жертвенности. Только и разговоров было что о войне, генералах Скобелеве, Столетове, Гурко, Черняеве. У всех на устах были Плевна и Шипка. Под молебны и звоны колоколов казачьи эскадроны отправлялись на Балканы.

Андрей и Марк тайно готовились уйти туда же. Даже царь — на дунайской переправе. Уроки они забросили напрочь, продумали десятки вариантов, как быстрее и вернее добраться до Болгарии, а затем и Сербии. Перед самым их побегом на Балканы очередная русско-турецкая война победно для России завершилась.

3

Вполнеба зловеще вздымались багровые сполохи. Возвращались на Донщину искалеченные станичники, припадая к полынной степи, донским родникам. (А облюбованный друзьями-прогимназистами птицезвонкий, лозами заросший донской островок был как маленький уголок идиллии в жестоком мире). Возвращалась с войны победившая Россия, в мирные дни теряя свой успех. В плоды победы вонзил зубы Берлинский конгресс, на котором Дизраэли, Бисмарк, австрийские, венгерские, французские политики, конечно же, не питая друг к другу совокупно сердечных, бессеребренических чувств, тем не менее поспешили усесться за один антирусский стол, чтобы разыграть очередную нерусскую карту.

Со всей ранимостью юной души воспринимая человеческое горе и людскую несправедливость, Андрей не по годам быстро взрослел. И всё же солнце и радость, даруемые молодостью, уводили от горестного, скорбного. А первая влюблённость подвигала на первые стихотворные строки. Стихи он посвящал Лене Хопёрской, станичной кареглазой красавице с огромным голубым бантом в чёрной косе. Влюблены в неё были оба: и Андрей, и его друг Марк.

Жизнь распорядится так, что пути двух друзей надолго разойдутся, и встретятся они только через несколько десятилетий. На австрийском фронте. Всего на несколько часов встретятся друзья отрочества, и часы выпадут счастливые: без орудийного грохота, свиста пуль, необходимости отдавать приказы. За чаем переговорив обо всём, что творилось в душах, на фронте и в стране, они вспомнят свою первую влюблённость в далёкой донской станице и героиню своих первых воздыханий; вспомнят, как оба — Андрей, высокий, застенчивый, с тонким, выразительным лицом, с копной густых волос, и Марк, вечно улыбчивый, с лицом в веснушках, перепелино-крапчатым, с огненно-рыжими волосами — в воскресные дни, до полуночи гуляя по Нижне-Чирской, будто ненароком сворачивали к дому их Елены Прекрасной; вспомнят, как станица в холодном лунном свете словно бы покоилась на дне сказочного озера, а над нею в вечерней выси нечёткими треугольниками в сопредельные края тянулись журавли. И жизнь представлялась бесконечною.

Через семьдесят лет после того, как они завершат курс Нижне-Чирской прогимназии, станица скроется под водами устроенного большевистской властью Цимлянского водохранилища.

СТОЛИЦА ВОЙСКА ДОНСКОГО. 1882–1884

Недолгие годы учения в Новочеркасской гимназии выдались для Андрея Снесарева трудными. Уходила его ранняя юность, надвигалась взрослая жизнь. Радость от поступления в гимназию всё ещё омрачалась тягостной утратой. Молодым, сорока пяти лет, умер отец, который был для сына всем: наставником, другом, единомышленником. Отец приехал в соседнюю с Камышевской станицу Мариинская на именины своей старшей дочери Надежды, бывшей замужем за местным казаком Гаврилой Солдатовым. После обеда о. Евгений присел на диван и мгновенно скончался от сердечного приступа. Все вёрсты, сколько их есть от Мариинской до Камышевской, казаки несли его на руках — любили и почитали батюшку в округе.

1

Сын тяжело пережил смерть отца, несколько дней почти не отходил от могильного холмика и подолгу плакал, как ребёнок. Тогда он впервые подумал о том, что из русской жизни медленно уходит целое сословие — духовное сословие, уходит необратимо, как дерево роняет листья в осеннее лихопогодье. Сьшовья уходящих жадно читают революционные книги. Да если б только читали, писали их! Многие спешили в ниспровергатели. Какое там не укради, не убий, чти отца и мать! Разумеется, и уходящее — остаётся. Достойные имена из духовносословных — во всех отраслях отечественной жизни: поэт Тредиаковский, писатели братья Успенские, Мамин-Сибиряк, Левитов, литературные критики Надеждин, Страхов, художники братья Васнецовы, учёные: физик, химик, ботаник Двигубский, историки Соловьев, Ключевский, Коялович, Ламанский, почвовед Докучаев; не говорим уже о сфере духовной, в которой служительствовали большие умы и сердца, оставившие благотворные следы и на других поприщах, как тот же Болховитинов; или позже — о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский.

Горе горем, а жизнь жизнью. Андрей Снесарев рос среди крепкого, испытанного народа и хотел как можно глубже узнать историю казачества, почувствовать, понять тот казачий первопроходческий дух, который вывел Русь (Россию) к берегам Тихого и Ледовитого океанов.

В свободный от гимназических занятий день из

Новочеркасска он на пароходике добрался до Старочеркасска — в недалёком прошлом столицы донского казачества. Долго осматривал собор Воскресения Христова, массивностью похожий на замок, сооружённый ещё в начале семнадцатого века. Боковые коридоры, строенные для защиты собора и всей станицы-столицы, тускло освещались сквозь узкие окна, из которых когда-то в донской, полный опасности простор вглядывались и целились казачьи пушки.

В соборе душа благоговеет: царские врата из литого серебра, старинный многоярусный иконостас, иконы в золотых, серебряных окладах, а иные — безокладные — захватывают душу ещё глубже. Здесь икона «Сошествие в ад», пожалованная царём Алексеем Михайловичем, икона времён Ивана Грозного, на которой непривычно юным запёчатлён Иоанн Богослов, Евангелие — в драгоценных камнях, памятные кресты, медали, сосуды, христолюбивыми казаками после удачных походов переданные церкви. В особом помещении — старинные книги, рукописи, которым сотни лет и к которым из-за их ветхости даже притрагиваться боязно.

В коридорные стены вделаны чугунные плиты. А у самых церковных высоких двустворчатых дверей висят ручные кандалы и цепь. На чугунной плите — объясняющие строки: в соборе, прикованный цепью к стене, в 1671 году содержался Степан Разин.

Около собора большие железные ворота и чугунные непомерно большие весы — трофеи, вывезенные казаками из Азовской крепости. Неподалёку — четырёхугольный столб с надписью: «Царь Пётр здесь на майдане угощал вином дедов, когда был он здесь в Черкасске для наряда под Азов в 1702 году». Молодой Снесарев ещё не знал о том, что через несколько лет после отмеченного надписью государева посещения Черкасска Пётр Первый и по-иному распорядится «угостить» казаков за непослушание его воле: в дни Булавинского, поддержанного донцами восстания плоты с повешенными потянутся от верховых станиц к низовым. А насчёт «упоения» вином… видать, казаки и впрямь были падки на него, коли на гербовой печати войска Донского, правда не изначальной, не раннестаринной, а утверждённой, может, и подсказанной Петром Первым, изображён был лихой малый, в чём мать родила сидящий на винной бочке с ружьём и зельеналивным рогом в руках. Во всю дальнейшую жизнь непившему Снесареву, не раз видевшему, до чего хмельная бутыль доводила пьющих, столь залихватского вида гербовая печать всё же была не совсем по душе. Вернее, совсем не по душе.

2

Старочеркасск являл былую славу казачества. В Новочеркасске же история творилась на глазах. Основанная атаманом Матвеем Платовым, героем Отечественной войны 1812 года, молодая казачья столица полнилась донцами из низовых станиц и их преданиями. Обустраивалась подчас драматично. Заложенный ещё во времена Платова собор дважды рушился. Лежащему на горе Новочеркасску не угрожало весеннее донское половодье, но зато терзали его тяжелые суховейные ветры и бури.

В пору, когда сюда за новыми знаниями прибыл выпускник Нижне-Чирской прогимназии, ещё не было ни памятников атаманам Ермаку и Бакланову, ни Вознесенского кафедрального собора, но всё же у городка уже обозначился свой облик — с прямыми улицами, изваянием атаману Платову, основательным зданием Новочеркасской гимназии, в которой учился и Снесарев и до него, и после — весьма приметные соотечественники.

Гимназический курс не был трудным и обременительным для одарённого юноши, и он проявил себя одним из лучших и наиболее заметных гимназистов.

В июле 1884 года Снесарев подаёт прошение на имя ректора Императорского Московского университета: «Желая для продолжения образования поступить в Московский университет, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать зависящее распоряжение о принятии меня на первый курс физико-математического факультета…» А гимназический курс он окончил с крепкими знаниями и отличными оценками по математике, греческому и латинскому языкам. Педагогический совет гимназии наградил его серебряной медалью, что давало право на поступление в университет без вступительных испытаний.

В 1911 году сокрушительный ветер пронёсся над Новочеркасском как недобрый вестник скорой казачьей катастрофы. Или всерусской? Или всемирной?

АЛЬМА-МАТЕР — ПЕРВЫЙ В ИМПЕРИИ УНИВЕРСИТЕТ. 1884–1888

За Москвой стояли века. Снесарев, ещё только подъезжая к ней, не видя её, наверное, стократ повторил про себя эти пушкинские и лермонтовские слова:

Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Так много в нём отозвалось!
Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский — сильно, пламенно и нежно!

1

Главные святыни Первопрестольной — Кремль, храм Христа Спасителя и университет — расположены рядом, ничто не мешает им глядеть друг на друга. Университет — это самый центр древней столицы, и из окон новой университетской пристройки на Моховой, где Снесареву теперь надлежало проучиться четыре года, открывался вид на совсем близкий Кремль; правда, надо было и самому высокорослому подставить стул, чтобы увидеть заоконный мир: окна специально были высоко подняты, дабы студенческая аудитория не отвлекалась на лицезрение даже исторических и духовных святынь.

Прошло три года после убийства царя-освободителя, царя-реформатора народовольцами, революционными поборниками прогресса, борцами с реакцией, готовыми «освобождать» Россию до той страсти и поры, пока бы на её имперских развалинах не поднялся град революционного солнца.

Александр Третий, позже прозванный Миротворцем, понимал опасность и, надеясь спасти империю, сколько мог, менял либеральный курс своего отца на более жёсткий. Был новый царь грузен, тяжёл, и тяжесть его монаршей десницы скоро почувствовали многие в разных областях общественной жизни. Во власть пришли люди, понимавшие, какие беды и тучи сгущаются над Россией. Одним из них был обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. Годы спустя Александр Блок в своём знаменитом «Возмездии» напишет: «Победоносцев над Россией простёр совиные крыла». Сова — символ мудрости, и не всё столь просто с

блоковским двустишием в контексте поэмы. Учёные-радикалисты, выученики и последователи большевистских схем и химер, цитировали его менее всего как поэтическую метафору, а чуть ли не как физическую истину, и сановитый православный монархист, идейный наставник царя в либеральной и революционной прессе аттестовался не иначе как ретроград, чёрный кардинал, махровый реакционер, мракобес, пергаментный старик. Но достаточно прочитать две-три его статьи, хотя бы эти: «Великая ложь нашего времени», «Новая демократия», «Печать», чтобы понять: иначе, чем в стилистике заурядной злобы и ненависти, прогрессисты и не могли бы писать об умнейшем человеке, с которым охотно общался и Достоевский.

В «Жизни Арсеньева» — лебединой песне уходящей России, краткой эпохе Александра Третьего — бунинский герой восклицает: «Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознанья её».

Но что радикалам студенческой молодёжи до бунинского героя с его ностальгическими воздыханиями, до Победоносцева, да и до самого Достоевского! В тот год, когда Снесарев поступил в университет был упразднён просуществовавший двадцать лет устав, который предоставлял университетам статус автономий. Должности теперь распределял попечитель учебного округа. По новому уставу учреждались две власти: учебная — ректор, декан и полицейская — инспекция. Запрещались действия корпоративные — депутации, коллективные заявления, публичные речи, театральные представления, концерты, кружки, сходки. Разумеется, тайные общества прежде всего.

Инспектор Алексей Александрович Брызгалов по служебному усердию пытался «всю студенческую рать» взять под пригляд. «Шпионаж» осуществлялся низшими служителями инспекции — надзирателями, обычно людьми невесть как образованными, чаще всего из унтер-офицерской среды. От их докладных, записываемых в специальном журнале, студенческое житьё-бытьё зависело в немалой степени: мог быть и выговор, и карцер. Строго предусматривалось, когда и в какой одежде быть. Нельзя было носить косоворотку, ходить по улицам без шпаги, появляться на улице в летней форме в начале сентября — после ушедшего лета.

Одни к такого рода предписаниям относились спокойно, другие видели в них покушение на их права и свободы. Молодых во все века всякий запрет обычно толкает на протест, но ведь и молодые-то разные: и разумно-сдержанные, и агрессивно-

распалённые. Иному лишиться длинных волос представляется событием едва ли не более драматичным, нежели погибель всей мировой свободы и цивилизации, и он с ходу готов звать на баррикады. Плоды студенческого духа с его непокорством и жаждой нового многообразны. На университетских сходках с их шумно-поверхностными протестами, в которых сразу мастерами смуты оказались пламенные прогрессисты и террористы, будущие большевики и меньшевики, эсеры и масонствующие кадеты, разбрасывались слова-семена антигосударственности и разрушительства. И всё же любой университет более храм науки, нежели баррикада. Пусть было и в Московском университете нечто вроде протестного митинга, на котором не только либеральные юристы, но и математики, физики шумно и кто весело, кто мрачно выкрикивали: «Долой Брызгалова!» Да не мог там быть Снесарев: не этим были заняты его душа и ум.

2

Незабываемая пора: прийти раньше других в университет, не торопясь подняться на третий этаж, где располагаются аудитории физико-математического факультета. Окна большого светлого коридора выходят на Манеж. Подойдя к окну, видишь в раннем дымчато-пепельном свете панораму утренней Москвы. Народу на улицах ещё мало, лишь катят то ли возвращающиеся откуда, то ли спешащие куда экипажи, и странное чувство при виде их рождается в Андрее: запряжённые в них кони никогда не прекращают своего бега, днём и ночью обречены на бесконечную фантастическую, бессмысленную экскурсию по Москве.

Цокот подков, голоса возле булочной, звоны колоколов, зубчатый абрис Кремля, тёмная зелень Александровского сада — утренняя Москва из университетских окон третьего этажа. Двое, поднимаясь на третий этаж по широкой лестнице, о чём-то спорят с такой запальчивостью, что можно подумать, что они и спать не ложились, проведя ночь в непримиримом словесном поединке. Андрей улыбается: эти двое — его друзья. Иван Лапин, высокий, светловолосый, по характеру незлобивый, но запальчивый парень, родом из Воронежской губернии, и Анатолий Сидоров, резкий в движениях, жадный до знаний, готовый прочитать всю университетскую библиотеку, товарищ Снесарева по Новочеркасской гимназии. Оказывается, продолжается вчерашний спор: прав или не прав Толстой, изображая Наполеона столь уничижительно и художнически односторонне. Вчера они об этом спорили втроём, к единому мнению не пришедши.

— Другие ему изменили и продали шпагу свою! — серьёзным

тоном произносит Андрей, вырастая перед спорящими неожиданно для них.

— Ты, видать, и ночевал здесь! Аудиторию под спальню приспособил?

— А вам Толстой, гляжу, и спать-то не даёт!

Друзья радуются друг другу так, словно полжизни не виделись. Так радоваться может только юность, не научившаяся прятать и прятаться.

Постепенно коридор заполняется шумной студенческой толпой. Многие — хорошие знакомые: Михаил Байдалаков из Новочеркасска, Валентин Волконский из Казани, Станислав Рольц из Воронежа. А с Виссарионом Алексеевым, сыном войскового старшины из станицы Гундоровская, Андрей и поселился вместе не только в одном уголке Москвы — на Полянке, но даже и в одном доме в Новинском переулке.

Их курс тогда жил по преимуществу у Патриарших прудов, в так называемом Латинском — студентами облюбованном — квартале, в кирпичных и внешне неопрятных зданиях, у Гиршей, в квартирах разной обустроенности и стоимости. Снесарев тоже какое-то время жил на Малой Бронной (несколько десятилетий спустя в этом уголке Москвы возьмёт зачин знаменитый роман «Мастер и Маргарита»). Иные его сокурсники обосновались в недалёких от университета недорогих гостиницах с далёкими и родными звучными географическими названиями «Сербия», «Черногория», и Андрей не однажды забредал туда.

Житьё студенческое разное. Большинство предпочитало — подешевле. В столовой суп, борщ — три копейки, а хлеба — сколько угодно. Хлеб тогда Россия за границей не покупала!

Аудитории наполняются гулом и смехом студенческой массы — надежды общества, главного нерва будущей русской жизни и её разлома. Наставники появляются в последнюю очередь, успевая после подъёма на третий этаж если не отдохнуть, то хотя бы перевести дух в профессорской на длинном в виде буквы «Г» диване, под портретами двух государей сразу: реформатора и охранителя.

Начинались лекции. Всё было здесь: глубокая, пытливая мысль физика А.Г. Столетова, блистательные импровизации математика А.П. Соколова, остроумные доводы астронома Ф. А. Бредихина, сложные аналитические объяснения математика-механика Н.Е. Жуковского. Каждый из них — сам по себе университет. И каждый приносил в аудиторию свои невольные странности, свой характер, своё сердце.

Особенно странен, но и любим студентами был Жуковский, ставший доктором математики в тридцать пять лет, после защиты

диссертации о прочности (устойчивости) движения. Он обладал редкой рассеянностью, и последняя доставляла окружающим немало как весёлых, так и огорчительно-досадных минут. Однажды он умудрился перепутать кому что рассказывать: лекцию, предназначенную для третьекурсников, учёный прочитал второкурсникам, и те ничего не поняли; когда же он лекцию для второкурсников стал излагать третьекурсникам, те заявили, что нынешнюю лекцию он уже читал им в прошлом году.

Бывало и так, что студенты из нерадивых, не успев подготовиться к семинару, якобы изнывая от жажды знаний, останавливали Жуковского на лестничной площадке и задавали какой-нибудь вопрос по части механики, вроде тех гоголевских мужиков, которым страсть как интересно было узнать, доедет ли колесо чичиковской брички до Санкт-Петербурга. А до Казани? Николай Егорович тут же, на лестничной площадке (мел-то в кармане), пользуясь стеной как доской, начинал вычерчивать и объяснять всем желающим.

Вспомнит про семинар, поспешит в аудиторию, а тут уже и звонок. Случалось и более курьёзное. Однажды, прождав в аудитории с полчаса, Снесарев с друзьями отправились на поиски профессора. И что же? Скоро они обнаружили его в ботанической аудитории, где самостоятельно готовились к семинару питомцы К.А. Тимирязева. И было забавно видеть, как знаменитый математик-механик увлечённо выводит формулы перед недоумевающими юнцами-ботаниками.

На Немецкой улице и в переулке, где жил Жуковский, даже извозчики знали о его рассеянности и обычно заблаговременно, осторожно объезжали его, когда он, не разбирая дороги, медленно брёл проезжей частью улицы: основатель аэродинамики, учёный, много сделавший для отечественной авиации, вдруг ни с того ни с сего останавливался как вкопанный — наблюдал за полётом городских птиц; есть у него и статья «О парении птиц».

«Математическая истина, — не раз говорил учёный Андрею Снесареву, математическому самородку, одному из любимых учеников, — лишь тогда может считаться отработанной, когда её удаётся объяснить каждому желающему усвоить». Жуковскому это удавалось. За это его любили.

Не меньшую, чем Жуковский, популярность имел в студенческой среде и Бредихин, лекции которого — в университете ли, в Политехническом музее — собирали толпы народу. В университетскую аудиторию, где должен был читать Бредихин, спешили не только астрономы, математики, физики, но даже и студенты-гуманитарии, которым как не записавшимся

не полагалось присутствовать и которые приходили заранее, чтобы занять скамьи поближе к лектору, надеясь, что в студенческой гуще надзиратели их не заметят.

Небольшого роста, подвижный, импульсивный Бредихин меж студентами слыл за добрейшего экзаменатора. Создатель теории кометных хвостов, он студентов из-за недостаточных знаний никогда не награждал «хвостами» и любил повторять слова не совсем педагогически выверенные. Мол, студент сам разберётся, что для него насущно-необходимое в жизни, а что третьестепенное из того, что преподают великоучёные мужи.

Справедливости ради следует сказать, что к «звездочётам» — тем, кто астрономию избрал делом своей жизни, учёный был требователен, и нередко их, по их же словам, произносимым с горделивостью избранных, «на Марс гонял». Андрей Снесарев не был из числа звездочётов. Но к астрономии относился серьёзно, понимая, сколь маленькая Земля зависит от большой Вселенной, пронизывается её токами, освещается сиянием её звёзд.

И позже, где бы ни случалось бывать Снесареву — подниматься ли на угрюмые горы Памира, плыть в Индийском океане, воевать в лесистых предгорьях Карпат, — всегда вольно или невольно приходилось обращать взор к небу. Открывалась «бездна, звезд полна», и, читая звёздное небо, он благодарно вспоминал московское астрономическое светило. Вспоминал по жизни, разумеется, не только его. Вспоминал с благодарностью Московский университет и многих его преподавателей, в лекциях которых возникал величественный образ Вселенной, словно бы многими кистями и красками рисовалась геологическая, историческая, физическая, математическая, геополитическая картина мира — той большой и маленькой Земли, которая от непроницаемых времён была вместилищем человеческих страстей, потерь и надежд.

На третьем курсе он завёл тетрадь, в которой намеревался отобразить историю, текущий день и даже будущее Московского университета, как оно ему представлялось в неразрывной связи с тревожившим будущим России. Он, разумеется, не мог предугадать, что именно на Воробьёвых горах, где поначалу предполагалось выстроить храм Христа Спасителя, на этих горах, переназванных Ленинскими, вскоре после его смерти будет воздвигнут высокоэтажный, увенчанный высоким шпилем храм науки — главный корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. После страшной войны возводить его будут городские и сельские, рабочие, крестьянские парни и девушки, заключённые. Строительство тяжелейшее. И никому никогда не узнать, сколько несчастных юношеских и

особенно девических судеб надломилось там… Участницей того высотного строительства будет его дальняя родственница из Старой Калитвы.

Погружаясь в былые дни, пытливый студент для себя заметил, что университетская жизнь никогда не была ровной, образцово-учёной, а двигалась словно бы волнами. Волнами прежде всего больших дарований, знаменитых личностей.

Волна его времени катилась перед его глазами. А сколь мощная волна была в первой половине девятнадцатого века! Что преподаватели — литераторы Шевырёв, Надеждин, философ Павлов, историки Каченовский, Кавелин, Погодин, Снегирев, позже Буслаев, Грановский, Редкий, Соловьев; что студенты — Лермонтов, Белинский, Константин Аксаков, Бодянский, Герцен, Огарёв, Гончаров, земляки по Воронежской губернии Станкевич и Афанасьев, к именам и творчеству которых он обращался в своей жизни не раз. Эта плеяда любому европейскому университету составила бы честь.

Не мог он не заметить и того, что меж Москвой и Петербургом, равно как и меж их университетами, идёт словно бы негласное состязание, как то было и более полувека назад — при прохождении университетского курса его земляком Станкевичем.

Университет требовал времени. Помимо лекций, семинаров, много его уходило на самостоятельное углублённое изучение того или иного научного предмета. Наш студент часами пропадал в университетской библиотеке, роясь в старых математических изданиях, штудировал энциклопедию Перевощикова, зачитывался Остроградским.

3

При всей университетской загруженности чего только не успевает делать молодой Снесарев, чем не интересуется, чем не занимается! Даёт уроки в богатых домах. По ночам разгружает хлебы в булочной. По воскресеньям — бег, велосипед. И так запойно играет в шахматы, что иногда весь мир видится ему шахматной доской, по клеткам которой предопределённо двигаются фигуры, то бишь люди, и ему пришлось даже обращаться к врачу, чтобы избавиться от наваждений и усмирить шахматную страсть. Серьёзно изо дня в день изучает он живые иностранные языки, одно полугодие квартирует в немецкой семье, условясь, что разговаривать с ним будут только по-немецки. Он старается не пропустить ни одного хорошего концерта. Сам играет на рояле и скрипке. Поёт — у него редкостный по выразительности баритон. Наконец, ночами

напролёт он поглощает книги по всемирной и русской истории, произведения зарубежных и отечественных писателей. Пробует сам сочинять, пишет рассказы, стихи «под Никитина» — уроженца Воронежа, земляка. Ведёт дневник, в который записывает существенное и несущественное: перечень прочитанных книг, сообщения бытового характера, раздумья о жизни и литературе, заметки о том, что случилось, что волнует.

Читаем рассуждения справедливые, бесспорные, но из тех, что называются истинами азбучными, местами общими, вроде: «Идея Сальери и Моцарта — вопрос о взаимоотношении таланта и гения»; «Труд по-настоящему есть жизнь человечества, отнять его — и поколение Адама прекращается»; «Патриотизм не в пышных фразах…» И тут же горестный вопрошающий возглас: «Что со мной творится? Что? Вышел я в поздний вечер. Не то что страшно, а нехорошо как-то: ни голоса, ни звука… Плывут по небу тучи насуплено, сурово. Звёзды ими закрыты… чуть не заплакал. Что со мной?.. Да скажите же что-нибудь, темнота, дорога! Или впереди ничего? Движение куда-то, к чему-то, зачем-то». Какой переклик во времени: своё душевное состояние в подобной тональности и подобными словами через несколько десятилетий выразит ещё один Андрей, молодой воронежец — автор «Ямской слободы» и «Чевенгура».

Существенная и на будущее дневниковая запись о «Войне и мире» Льва Толстого: «…странно и страшно говорить что-нибудь критическое о таком монументальном сочинении, созданном рукою великого писателя. Решаясь указать на ошибочные моменты, уподобляешься ребёнку, который, оценивая платье своей молодой матери, начал бы указывать на непродёрнутую ниточку — и всё же с толстовским описанием Бородинского, Аустерлицкого сражений (особенно распоряжений по ним) трудно согласиться: в них слишком внесён взгляд автора, что в сражении мало чего значат, даже ничего не значат, отдельные единицы, полководцы, что в сражении ничего не исполняется, что предполагалось раньше… Ошибочен взгляд, при котором в истории видят только историю героев, ошибочен и полярный первому взгляд, когда всё полагают в массовом движении, в массе. История, очевидно, есть результат взаимодействия массы и единицы.

Толстой широк и всесторонен. Он не затрагивает только лишь сердца, как Тургенев, или одну только мысль, как Глеб Успенский, или только умную насмешку, смешанную с грустью, как Щедрин, — нет, он пленяет читателя широко и могуче, это полный стакан…»

Отношение Снесарева к Толстому на протяжении жизни во

многом изменится. Но не как к художнику. А как к человеку и мыслителю. А импульсы несогласия с Толстым как военным мыслителем заявлены уже в этом юношеском рассуждении.

4 В студенческие годы музыка забирает сердце притягательно-пожизненно. Андрей и его друзья — завсегдатаи в нотном магазине Циммермана, куда нередко захаживал П.И. Чайковский, просматривал новинки, импровизировал, и счастливые юноши готовы были поступиться и лекцией, и назначенным отдыхом на берегу Москвы-реки, у Коломенского, лишь бы насладиться звуками музыки русского гения. Снесарев не пропускал ни одного концерта университетского симфонического оркестра, весьма отменного, вполне профессионально исполнявшего сложные сочинения Вагнера, Глинки, Чайковского. Более того, Андрей — замечательный баритон — участвовал в студенческом хоре, которому Чайковский посвятил четырёхголосый мужской хор «Блажен, кто верует» на стихи «августейшего поэта» К.Р. — Константина Романова. Хор — двести голосов — выступал даже в Колонном зале Московского дворянского собрания.

Музыка и песни звучали, разумеется, на всех студенческих празднествах и вечерах. И особенно в Татьянин день. За окнами — синяя зима, университетский актовый зал распевает задорное, раз в году дозволенное во весь голос:

> Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!
> Все наши братья пьяны, пьяны, пьяны
> В Татьянин славный день.

Тут ещё бас зычно и шутливо-грозно вопрошал, кто же виноват, а студенты ловко перебрасывали все вины на «Татьяну». Снесарев был свидетелем, как хмельной студенческий праздник куражится до полуночи, как его сверстники с факелами в руках выбредают на Манеж и прилегающие улицы, как они и дальше не прочь пить-веселиться. Но он уже нагляделся в разных городах и весях на плоды хмельного безудержа и сердцем глубоко ранился, почувствовав, что хмельное зелье не веселие Руси, а проклятие Руси. Бог и воля уберегут его от этой пагубной страсти.

А вот цветник юных Татьян, разумеется, волновал. И не только в Татьянин день. И среди них была для него единственная. Умница, глубоко верующая, знающая и чтущая святых православной Церкви; красивая, кроткая, приветливая, всем людям добрым готовая всегда помочь, чувствующая даже боль вдалеке подбитой птицы — все добродетели, наверное, сошлись в ней. У неё было красивое древнегреческое имя Лидия, и была

она, как и Андрей, из духовного сословия, из старинного рода. Они повстречались и скоро почувствовали: на всю жизнь. Но в промозглый мартовский день она простудилась и от простуды сгорела в одночасье, как свечечка. Словно дав обет долгой верности, Андрей на годы останется одинок: женится, когда ему будет под сорок.

По завершении университетского курса Снесарев весьма убедительно защищает кандидатскую диссертацию «Очерк развития анализа бесконечно малых». Но не чистая математика втягивает его в свой круг. И не миротворящая консерваторская музыка.

ОТ ЛЕФОРТОВСКИХ КАЗАРМ ДО АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА. 1889–1899

По завершении университетского курса согласно существовавшему тогда положению он обязан был отбыть воинскую повинность и мог отбыть её как вольноопределяющийся — служба в таком разе заняла бы менее полугода. Но он поступает иначе: подаёт прошение зачислить его в годичное военное училище, где можно было бы приобрести реальные навыки и знания, необходимые защитнику Отечества. Профессорская карьера отодвигается собственной рукой. В августе 1889 года его зачисляют рядовым в Первый лейб-гренадерский Екатеринославский Его Величества полк и тут же, недели не пройдёт, командируют в Московское пехотное юнкерское училище, с 1897 года — Московское военное, с 1906-го — Алексеевское, названное так в честь только что рождённого наследника — цесаревича Алексея.

1

И здесь перед нами явление если не удивительное, то редкое и несколько озадачивающее. Разносторонний молодой талант отдаёт семь самых цветущих лет не военной академии, не Большому театру, не консерватории. Но низшей армейской страде — страде полковой. Скажем для точности, что на таком выборе пути сказались и желания, и обстоятельства. Чего больше — трудно теперь ответить.

Московское пехотное юнкерское училище, основанное в 1864 году, незадолго до рождения Андрея Снесарева, было не самым лучшим, но и далеко не худшим. Маршал Василевский, прошедший его курс в годы Первой мировой войны, в табели о рангах из многих тогда существовавших военных училищ Алексеевскому отдавал третье место, ставя впереди только Павловское и Александровское. Выпускниками училища в разное время были люди незаурядные: тот же маршал Василевский, начальник советского Генштаба в предвоенные и военные годы маршал Шапошников, генерал Дмитриевский, генерал Молчанов, офицер Лазо, сожжённый японцами в паровозной топке, певец Собинов, духовно-религиозный поэт Солодовников… Назвать только их, разумеется, было бы несправедливо: за десятилетия училище выпустило более восьми тысяч офицеров. Немало их

геройски сражались в Русско-турецкой войне 1877 года; сколько пало под Лаояном и Мукденом, на сопках Маньчжурии, на редутах Порт-Артура; сколько погибло у Мазурских озёр — это первое и тяжёлое поражение русских в Восточной Пруссии в самом начале Первой мировой войны Солженицын позже запечатлеет в романе «Август Четырнадцатого»; многие не вернулись с «галицийских кровавых полей», где набиралась мужества и мудрости и фронтовая судьба Снесарева. Одни испытали ужасы Гражданской войны, другие эмигрировали, а оставшиеся почти сплошь были репрессированы.

Жизнь Российской империи во времена Александра Третьего — последняя попытка удержать страну на разумно-консервативных началах. Император исповедовал политику мира, что требовало сильных армии и флота, которые царь полагал единственно верными и честными союзниками. И было время, когда говорили: «Ни одна пушка не выстрелит в Европе без воли русского царя». При Александре Третьем Россия, может быть, достигла пика своей величавой могущественности. С другой стороны, именно при нём был заключён русско-французский союз — прообраз будущей Антанты, связка, которая оказалась для России роковой. Дело, разумеется, обстояло глубже, но царь, встречавший в Кронштадте французскую эскадру со звуками ненавистной монархам «Марсельезы», последствий, видимо, просчитать не смог. Сближение двух разных стран — не механическое сближение двух друг другу салютующих эскадр…

Училище располагалось в Лефортове, в так называемых Красных казармах — массивный протяжённый двухэтажный «брус» бывших казарм с небольшими, словно заранее не для мирной жизни впечатанными в стенные пролёты окнами, и поныне впечатляет, будто погружает в дни давно былые.

Со двора училище выходило в старинный парк, полный лип и берёз, — подобно тихим женщинам, те спускались к воде. Близко протекала Яуза, и мысль о потешных речных суденышках, на которых молодой Пётр Первый начинал свою во всю жизнь растянувшуюся водную одиссею, невольно возвращала будущего офицера на Дон, где молодой царь правил первые свои военные флотилии к берегам Азовского моря.

В училище живо было предание, что во времена Бирона строение будущих казарм использовалось под конюшни. В средневековые да и более поздние войны не то что казармы, а даже церкви отдавались коннице, и много читавший Снесарев вполне мог знать, что в миланской церкви Милостивой Богородицы, где вполстены сияла «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, ничтоже сумняшеся обустроилась конюшня одного из

победоносных наполеоновских полков. Для уроженца донского казачьего края конь с детства был за верного друга, и юнкер мысленно даже представлял, что за кони когда-то были здесь, и даже видел своего коня — верного, сильного, способного своего седока и нести в бой и, раненого, вынести из боя.

Училищные будни — достаточно строгие, но отношения между юнкерами были ровные, доброжелательные, постоянно оттачиваемые оселком чести, и начальство имело богатые педагогические национальные навыки воспитывать по кодексу офицерской чести. Тогда ещё и в зачине не было позорной дедовщины, поистине армейской коросты, и младший всегда мог найти защиту у старших юнкеров. Почти все были в товарищеской спайке, а у Андрея Снесарева был ещё и хороший друг — тоже из Области войска Донского. Весёлый, розовощёкий, весь округлый, будто сказочный мал-колобок, Фёдор Шевелёв скрасит суровый училищный год, и о многом они передумают-переговорят-перемечтают, так что, когда встретятся нечаянно уже в послереволюционные дни в Смоленске, им будет что вспомнить.

Через полгода целеустремленного, дисциплинированного юнкера производят в унтер-офицеры, то есть сержанты. Позже в своих военных трудах и размышлениях Снесарев не раз обратится к смыслу и сущности корпуса унтер-офицерства как важнейшей смычке солдата и офицера, обстоятельно рассмотрит, например, как это дело поставлено в Германии, сколь весома фигура унтер-офицера в германских войсках.

Полюбить армейскую службу или проникнуться отвращением к ней — здесь для юнкеров много значил пример ротного воспитателя. В училище или даже раньше судьба свела Андрея с ротным командиром Иваном Владимировичем Шишкиным, который, по счастью, оказался замечательным человеком, высокоэрудированным педагогом, психологом, знатоком не только военных наук, но и юношеской души. Он прекрасно знал военное прошлое Отечества, о любом из знаменательных сражений мог говорить часами, мог подолгу рассказывать о тех военных, которые внесли вклад в отечественную культуру, и таковых набиралось немало фамилий, и какие фамилии: Татищев, Болотов, Державин, Сумароков, Чаадаев, Давыдов, Рылеев, Раевский, Бестужев (Марлинский), Боратынский, Одоевский, Хомяков, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Данилевский, Фет, Случевский, Гаршин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Пржевальский!..

Ротный ненавязчиво, но и незабывчиво подводил своих питомцев к мысли, что Отечеству в его трудный час (а когда их, трудных, не было — из них складывались эпохи) всегда в

офицерский корпус требуются люди серьёзного ума, воли и чести, имеющие и классическое, и реальное образование. Классическое Андрей хорошо освоил в гимназии, в университете, да и в училище не оставлял занятий древними языками. Разумеется, на поле будущего боя приказы на латыни или древнегреческом никто не станет отдавать. И всё же… прочитать на латыни «Записки о Галльской войне» — словно бы за горизонтом увидеть даль. Были штрихи — непереводимые. Да и не было подчас иной возможности ознакомиться с историческими, военными трудами, кроме как на древних классических языках. Последние тоже изучались в училище. И пусть не было такой дисциплины, как общая культура, но культурный офицер воспитывался всем: от требования быть в любой миг опрятным, подтянутым до возможности иметь свободное время для чтения, живописи, музыки и песни.

Был в училище хорошо сложившийся хор, и Андрей скоро стал его солистом, настолько приметным, настолько необходимым, что без него не обходилось ни одно торжественное действо в училище. И после окончания его он выступал на вечерах, посвященных училищу, на одном — пел вместе с Собиновым, более поздним выпускником университета, стало быть, и училища.

Поскольку музыка и песня так или иначе будут сопровождать Снесарева почти всю жизнь, сделаем небольшое отступление. Бархатистый снесаревский баритон был настолько выразителен, настолько, ещё и не поставленный, покорял многих, что грех было не заняться им всерьёз и не подумать о карьере певца. Андрей и подумывал о таковой, в чём ни училищное, ни полковое начальство ему не препятствовало. В те годы он стал брать уроки у оперного певца Иллариона Михайловича Прянишникова, известного как организатора и руководителя первого в России оперного товарищества. Студия Прянишникова многое дала Снесареву, он профессионально разучил немало партий из русской и зарубежной оперной классики.

Однажды ему было предложено даже выступить в Большом театре — случай, упоминаемый во всех биографических очерках о нём. Он исполнил партию Невера в опере композитора Мейербера «Гугеноты». Хорошо исполнил, но в первый и последний раз: после выступления надолго охрип, пришлось обращаться к врачам, которые поставили крест на карьере оперного певца. У больших оперных певцов — вспомним Шаляпина, Штоколова, Пласидо Доминго — широкая мощная грудь, берущая на себя немалую часть исполнительской нагрузки. У Снесарева же, при его высоком росте, узких плечах и узкой груди, «работало» горло,

только горло, бессильное выдержать бремя долгих перегрузок. Не без горечи расставшись с мыслью о профессиональной сцене, он не расстался с пением на торжественных вечерах и встречах, в дружеском застолье, во фронтовых землянках — в Средней Азии и Индии, на Украине и в Галиции, в Санкт-Петербурге, Киеве, Вене — был слышан многими и многих чаровал проникновенный снесаревский баритон.

Училище Снесарев окончил с отличными показателями, что давало право быть занесённым на мемориальную доску лучших выпускников. Правда, имя его появилось непонятно почему с запозданием на несколько лет. Разумеется, он мог бы вернуться в университет и погрузиться в науку, проглядывались и иные жизненные варианты. Но наш выпускник возвращается в родной полк. Что повлияло на такое решение — военно-педагогические воспитательные способы ротного Шишкина, чтение исторических сочинений, инстинкт государственности и защиты Отечества, большая определённость армейского варианта жизни в сравнении с мирными, гадательно манившими, — трудно сказать да и нет смысла гадать. Возможно предположить, что даже выпади ему стать оперным певцом или любого ранга и ведомства сотрудником на гражданской службе, военная «жилка» и тогда не перестала бы пульсировать в нём. С другой стороны, и так поразмыслить: оперных певцов, пусть даже и замечательных, сколько их, услаждающих музыкальный вкус, в одной только России! А великий геополитик, великий военный мыслитель, в коего вырос Снесарев, — один из немногих. Скорее всего — единственный. И необходимый отечественному сознанию как воздух! Пением, самым распрекрасным, можно расширить культурный горизонт страны, но реальной границы Отечества им не защитишь. А на границах русских испокон веков тучи клубились грозно. «Над границей тучи ходят хмуро» — так сурово-предупредительно звучала начальная строка одной из предвоенных советских песен. Русь, Россия испокон веков воевала или её понуждали воевать. А для войны нужны хорошие воины. «Армия — якорь спасения страны» — это убеждение, афористически выраженное военным мыслителем позже, утвердилось, по всему видать, уже в выпускнике училища, молодом убеждённом патриоте.

2

Лейб-гренадерский Екатеринославский полк располагался в Кремле, и это тоже был некий знак судьбы. Снесарев, воспринимая Кремль как святыню русского народа, познакомился

с его соборами, дворцами, достопамятностями ещё в бытность свою в университете. Всё здесь для него дышало высокой и трагической историей, и он никогда не разделял ёрнические шуточки, мол, всё в этой России, как с этими диковинами: Царь-пушка, которая никогда не выстрелила, Царь-колокол, который так и не зазвонил. Шутники не знали, а может, и знать не хотели, что Москва не раз пылала пожарами, каких не ведала ни одна столица мира. Царь-колокол именно от пожара и пострадал. Носители этих шуточек, вернее, их радикальные восприемники, в революционном своём раже позднее заставили замолчать тысячи колоколов и миллионы людей — тут уже не до шуток!

Беглое, университетской поры, знакомство с Кремлём, разумеется, не могло дать того ощущения приобщённости к родной истории, кровной связи с её ушедшими людьми и устоявшими соборами, какое, естественно, проявлялось при каждодневной службе в кремлёвских стенах, ночёвках в кремлёвских казармах.

Снесарев любил бывать на древнейшей в Москве площади — Соборной, где располагались три собора — Успенский, Архангельский, Благовещенский — и где нерушимым утёсом взмывала в небо колокольня Ивана Великого. Успенский собор возводил итальянский архитектор и военный инженер Аристотель Фиораванти с учениками. Творение итальянца оказалось по духу творением русским. Прежде чем положить в основание первый камень, зодчий посчитал необходимым побывать в недавно ещё стольном Владимире, дабы своими глазами увидеть шедевры древнерусского зодчества — Успенский и Дмитриевский соборы, и, восхищённый белокаменными храмами с их державно-величавыми и былинно-смелыми строгими формами (эти шлемовидные купола, эти похожие на бойницы окна-прорези!), повторил их в кремлёвском Успенском соборе, ставшем главным собором Московской Руси, в котором венчались на царствие первые русские государи. Как итальянский зодчий разумно следовал старорусской храмостроительной традиции, так следовали ей и псковские мастера, возводившие Архангельский собор.

Под сводами Архангельского собора-усыпальницы Снесарев подолгу выстаивал у надгробий Дмитрия Донского, Ивана III, Ивана Грозного, мысленно беседовал с ними, столь разными, но равнонацеленно желавшими уберечь и расширить Русь.

Издали и вблизи волновала чем-то сказочная опояска кремлёвских стен и башен, каждая из которых была и художественное творение, и историческое предание, да и не только предание, а история. Часто он замедлял шаг у самой

маловидной, что напротив Василия Блаженного, Набатной башни, колокол которой всегда молчал: был без языка с 1771 года, когда в Москве вспыхнул чумной бунт. Тогда загудел сполошный колокол Набатной башни, и толпы устремились в Кремль, сея смуту и крик. Зачинщики смуты успели бежать на Дон, в казачьи низовые земли. Императрице Екатерине Второй ничего не оставалось, как наказать… колокол. Это, конечно, не тот масштаб, когда Ксеркс, разгневанный персидский царь, велел высечь море, разбушевавшееся и не давшее его кораблям подойти к греческому берегу-. Но отношение владык сходное — наказывать не только человека. Впрочем, императрица здесь следовала традиции: сколько их, непокорных — новгородских, псковских, угличских — московскими царями лишено было голоса, сброшено с колоколен, сослано в иные города!

Однажды Снесарев с группой офицеров взобрался (несколько сот шагов вверх по витой и крутой каменной лестнице) под самую макушку колокольни Ивана Великого. Столп величавой русской колокольни, изначальной башни дозора, связывал небо и землю. Возносясь чуть не на сто метров ввысь, он глубоко, на десятки метров, уходил под землю, на уровень дна близко протекавшей Москвы-реки. Колокольный столп многими осознавался как явление национальное, творение истинно русское. Наполеон, быть может, именно в спалённой Москве почувствовав «закат звезды своей кровавой», в некое неумное отмщение приказал при отступлении взорвать колокольню-символ. В раскопы были уложены горы пороха, но столп устоял.

С головокружительной высоты Снесарев как на ладони видел строенный русскими архитекторами Федором Конём, Баженовым, Казаковым Белый город, дворцы, храмы, Московский университет, дальние монастыри, горы Воробьёвы. И, как знать, может быть, за московскими горизонтами он вдруг явственно прозрел бесконечные во все стороны света русские дали, просторы великой империи, её далекие земные, морские и словно бы небесные границы. Может быть, на какой-то миг ему открылся поистине весь мир. И не только Западная Европа, Африка, Азия, но даже и заокеанская Америка. Так только в детстве с обрывного донского берега открывался мир, но тогда он был безымянен, величаво-спокоен и чист.

Чуть позже, в 1900 году, Кнут Гамсун, норвежский писатель, будущий нобелевский лауреат, будущий сторонник германского наступательного духа, за то и преданный временному остракизму на оккупированной родине, проезжая на Кавказ через Петербург и Москву, пленится белокаменной. «…Я всего повидал, но никогда не видывал ничего хоть несколько похожего на Московский

Кремль! Я видел прекрасные города. Прага и Будапешт красивы, но Москва сказочно хороша… В Москве 450 церквей, и когда звонят колокола на всех колокольнях, воздух сотрясается над городом с миллионным населением. С высоты Кремля взор погружается вниз на целое море великолепия…»

Отношение Гамсуна к Америке и Англии, отношение к Достоевскому и Толстому сродни снесаревскому. Норвежский писатель станет одним из любимых писателей русского военного мыслителя, а «Мистерии», «Голод», «Пан», «Виктория» — из высокоценимых им гамсуновских произведений.

Служить в полку — не каждый день старинные кремлёвские камни рассматривать, пусть полк и располагался в Кремле с последней трети девятнадцатого века. Прежде ему, как всякому русскому полку, выпало участвовать в больших и малых сражениях, заграничных походах: сражаться с турками, пруссаками, поляками, французами. В тяжелейшем суворовском переходе через Альпы и победоносных суворовских сражениях за границей, как позже и в битве под Бородино, полк терял половину солдат и офицеров, но ни разу не оставил ни одно из полей гибели прежде, чем сражение заканчивалось.

В полку была даже своя краткая история, уложенная под обложку малой книжицы. Мысленно будущий военачальник побывал во всех боях и сражениях, в которых пришлось участвовать полку, — и не только против испытанных войск Фридриха Второго и Наполеона Бонапарта. Иные из военных сцен он увидел по-своему и «повторил» их с меньшими потерями. Нет, он не корректировал действий Суворова или Кутузова, но военное и, может быть, природное чутьё ему подсказывало, что в некоторых эпизодах сражений суворовской воли-натиска или кутузовского с хитрецой фатализма, может, и было недостаточно…

Лучшие боевые традиции поручику (Снесарев стал им в 1893 году) надлежало передать солдатам, воспитывая их не только тем достойным, что было в прошлом, но и примерами из дней текущих и собственным примером. Образцом для него на всю жизнь остался его ротный командир Иван Владимирович Шишкин. Поручик видел в своих подчинённых, в каждом солдате личность — и живого человека, исполненного страстей, печальных, горестных настроений, и исполнителя единой соборной армейской воли, строя, колонны, атакующей массы. Такой взгляд на будущих полях сражений помогал ему не только найти наикратчайший путь к солдатскому сердцу, но и вдохновить его.

В бытность службы в полку Снесарев какое-то время

квартировал в Петровском-Разумовском с его прекрасным старинным парком. В свободные часы, прогуливаясь по парку, Снесарев часто подходил к гроту. Скорбно-знаменитому на весь мир гроту, в котором революционер Нечаев и его подельники зверски убили студента Иванова, отказавшегося быть соучастником их человеконенавистнического замысла. Историю убийства в Петровском-Разумовском Достоевский положил в основание романа «Бесы». Есть и такое мнение, что своим великим произведением писатель-пророк предотвратил мировую революцию. Но родины своей уберечь уже было невозможно. «Разгулялись, разгуделись бесы по России вдоль и поперёк», — скажет поэт Волошин в час гражданской войны, но началась она намного раньше; весь девятнадцатый век вызревали (или были внесены в страну?) бациллы распада, развала, непримиримости, злобы. Внешние и внутренние Россию ненавидящие силы, может быть, ещё и не управляемые из единого центра, состязались в своей ненависти. В самой Российской империи выплыло много злобно-греховного, разрушительного, антигосударственного, антиправославного, атеистического, и однажды должен был наступить «предел Божьему терпению», как сказал первый русский нобелевский лауреат в области литературы Иван Бунин.

Снесарев понимал, что подступают испытательно-разрушительные для Российской империи времена. Верующие уповают на милость Божию. Но и свыше не отменяется ни свобода выбора, ни человеческая, государственная воля. Армия, по крайней мере, — одна из опор государства, и она, может, и вправду — последний якорь его спасения.

А в армии один из главных корпусов — офицерский. Во многом от офицера зависит исход на военном театре действий. Отечеству нужен офицер безупречно подготовленный, культурный, с высокими профессиональными и нравственными качествами, хранитель исторической памяти, носитель чести и отваги. Поручик — малый чин? Но вспомнить Наполеона, его слова, адресованные прусской королеве Луизе: «Когда я имел честь быть поручиком Бриенского училища…»

Снесарев, отдав именитому полку уже немалую дань добросовестной службой, пытается поступить в Инженерную академию; штаб гренадерской дивизии командирует его для сдачи вступительных экзаменов, которые не могли быть сложными для его математического склада ума. И трудно определённо сказать, почему пехотный офицер не был принят в высшее инженерное учебное заведение. Может, именно потому, что пехотный, а не инженерный. Дочь Снесарева говорила о том, что у отца была недостаточная способность глаз к фокусировке, и

отсюда расплывчатое, не совсем сосредоточенное, не совсем уверенное зрение. И он не прошёл по рисунку. Скорей всего, так. Хотя в прежних учебных заведениях он был отмечаем в успехах по чертежу и рисунку, да и в будущем чертил отменно, во всяком случае, армейские карты.

3

1896 год — особенный в жизни Снесарева. Да и Российской империи тоже. Коронация Николая Второго, празднества в Москве, молодой царь в мундире лейб-гренадерского Екатеринославского полка, парады войск, обход молодым императором караула из гренадеров. Снесарев, как и его однополчане, с винтовками-трёхлинейками системы Мосина (выдающийся оружейник Сергей Иванович Мосин — уроженец Воронежской губернии), видит царя, который спокойно, созерцающе-ласково, благожелательно обходит караул. Совсем близко видит его Снесарев, как в недалёкую бытность, когда учился в Московском университете, который удостоила своим посещением высочайшая семья.

Случилась и трагическая Ходынка: в праздничный день человеческая давка и давильня, в которой повинна была более всего полицейская власть, но уж никак не армия, да и не царь, на которого леворадикальными кругами и была взвалена вся вина за жертвы.

Как бы то ни было, Ходынка 1896 года была русской бедой и русской болью, и Снесарев тяжело пережил случившееся и не раз вспоминал об этом, даже много лет спустя рассказывал об этом с горечью дочери в северном лагере в Кеми, уже наглядясь таких потерь, перед которыми Ходынка виделась бедой не самой сокрушительной.

Для него же самого тот год складывался не худшим образом. Его награждают серебряной медалью в память царствования Александра Третьего. И ещё одной серебряной — в память коронации Николая Второго. Главное же — ему предоставляется возможность для поступления в Императорскую Николаевскую академию Генерального штаба в Петербурге. Для начала надо было успешно сдать предварительный, вне стен Академии, экзамен по русскому, что для Снесарева труда не составило. Далее он оказывается среди тех ста счастливцев, которые были отобраны из многих сотен жаждущих и зачислены в младший класс Академии.

Академия Генерального штаба — будущий стратегический корпус армии, из окон её аудиторий — горизонты всемирные.

Надлежало только основательно приобщиться к тому запасу знаний, отечественных и мировых, которыми она располагала.

Здесь самое время вспомнить о тех, кто создавал академию, кто был у её руля и раздвигал дали отечественной военной науки. Открытая в 1832 году монаршей волей Николая Первого, академия Генштаба восходит к школе колонновожатых, которую основал военный теоретик Жомини; одно время школа колонновожатых являлась оазисом для будущих декабристов.

Двор Академии осеняла крестом церковка, перевезённая из Кончанского — скромного на Новгородчине имения Александра Васильевича Суворова. Слушатели Академии не только в дни рождения и смерти генералиссимуса, но и в победные праздники русского оружия полагали своим долгом навещать Александро-Невскую лавру, где под белой мраморной на уровне пола плитой в Благовещенской церкви упокоился прах полководца. Скромно высеченная на предельно простом надгробии надпись «Здесь лежит Суворов» и вдохновляла, и отрезвляла, и заставляла задуматься. Оказывается, в подтверждение великой фамилии не надо никаких бесчисленных громких титулов, званий, перечислений наград. Нет у Суворова и капитальных и даже кратких трудов по военному делу, кроме военно-стратегических заметок да собранной из его приказов, наставлений, памяток афористически-лаконичной «Науки побеждать». Снесарев часто и подолгу выстаивал у мраморной прямоугольной плиты, испытывая чувства поклонения, восхищения, честолюбивых надежд, весьма устойчивых.

Он, как и его товарищи по курсу, внимательно знакомился с размышлениями, заметками, мемуарами полководцев разных времён и народов, а также теоретиков военного дела вроде Клаузевица, Жомини. Глубокие военные умы, проявившие себя на полях сражений или оставившие большое теоретическое наследие, к приходу Снесарева в Николаевскую академию, разумеется, были и в России. Здесь прежде всего вспоминаются Д.А. Милютин, М.И. Драгомиров, М.Д. Скобелев, Н.П. Игнатьев и А.А. Игнатьев, Н.М. Пржевальский, А.Н. Куропаткин. К слову сказать, все — выпускники Николаевской академии Генерального штаба, как и более поздние — М.В. Алексеев, Д.Г. Щербачёв, Н.Н. Головин, Н.Н. Юденич, А.И. Деникин, П.П. Сытин, Л.Г Корнилов, С.Г. Лукирский, А.Е. Искрицкий, В.Н. Егорьев…

О Милютине — слово особое. Не станем общеизвестное перешивать своими словами, процитируем отрывок из статьи Е.Ф. Морозова, недавнего преподавателя военной географии в той самой Академии Генерального штаба, где учились, преподавали и Милютин, и Снесарев: «Дмитрий Алексеевич Милютин сам по

себе составляет целую эпоху в российской военной истории. За три года подавив сопротивление Шамиля, четверть века сражающегося против России, и закончив, казалось, бесконечную Кавказскую войну (он был начальником штаба в войсках Барятинского, пленившего имама. — *Авт.),* Милютин вскоре стал военным министром и занимал этот пост более двадцати лет, пользуясь безграничным доверием Александра Второго и не обманув этого доверия. Он воссоздал российские армию и флот заново после Крымской войны, осуществив самую коренную, полную и успешную военную реформу в нашей истории. Его бесспорной заслугой была победоносная война 1877–1878 годов и освобождение Балкан. Он выработал и проводил в жизнь свою формулу военной политики империи — отсутствие военной активности на Западе и компенсация потерь России в Крымской войне активностью на Востоке.

Деятельность Милютина была всеохватывающей (системной, как говорим мы сейчас). В числе прочего он стал основателем русской школы военной географии и, как сейчас стало ясно, и русской военной школы геополитики… Его сочинение, изданное в 1846 году под названием «Краткий взгляд на военную географию и военную статистику», фактически стало первым документом русской геополитики, и притом документом программным, определившим направления её развития до сегодняшних дней и, наверное, ещё надолго вперёд. Сотни и сотни офицеров прошли обучение военной географии и военной статистике (так Милютин именовал науку, ныне называемую геополитикой) в Академии Генштаба по его методикам под его неусыпным контролем. Многие из них внесли в геополитику свои вклады: во-первых, детальными геополитическими исследованиями общей ситуации и отдельных регионов; во-вторых, полевыми географически-геополитическими исследованиями; в-третьих, в качестве военно-политических агентов прежде всего на огромном пространстве от Суэца до Токио. Чаще всего они совмещали все эти виды деятельности. В соответствии с формулой Милютина “люди Милютина” шли на Восток, в Сердце Земли…»

Через три года на Восток последует и Снесарев. А покамест он внимает лекциям начальника Академии ГА. Леера, позже — начальника Академии Н.Н. Сухотина, перечитывает горы военных книг, живёт на вольной квартире, держит строгие экзамены, успешно переходя с курса на курс. После старшего курса «бока на голове сделались совсем серебряными».

Он часто бывает на Дворцовой площади, может быть, самой державной, самой имперской площади мира. Прочна ли она, под зыбистыми почвами колеблемая подземными водами-болотами и

нередко атакуемая, даже штурмуемая напирающими с Финского залива водами Невы? Действительно ли непорушимо стоят эти державные твердыни Отечества — Зимний дворец, Генеральный штаб, Александрийский столп? Верно ли угадана Петром новая столица, и даже если бы при возведении её не погибла ни одна живая душа, следовало ли воздвигать её именно здесь, в местах топких, ненадёжных? Не вернее ли было оставить за столицу Белокаменную? А если вёл самодержца некий геополитический импульс, не вернее ли было свои взоры обратить ближе к Волге, ближе к Уралу? И внешняя и внутренняя обстановка складывалась так, что Снесареву трудно было уйти от этих вопросов даже на самой державной площади мира.

Через три года он завершает последний — дополнительный курс, что даёт ему право быть причисленным к Генеральному штабу. За отличные успехи его производят в штабс-капитаны. Он получает назначение в Киевский округ.

4

И здесь, как всегда, является неожиданный, обычно всевластный случай, круто меняющий ближайшие дороги снесаревской судьбы, да и не только ближайшие.

Англия попросила Россию пропустить через Среднюю Азию нескольких офицеров индийской службы. Разумеется, в добрый путь! России также именно в это время понадобилось, чтобы её офицеры проехали через Индию, и им англичане обещают открытые ворота и всяческое содействие. Эдакий обмен любезностями, принятый в дипломатии и разведке. Англичанам проще. У них что ни военный, то разведчик, знаток далёких территорий, прилегающих к главной жемчужине королевской короны — Индии, знаток обычаев, языков, горных дорог. Поначалу на индийское «путешествие» планировались долго служивший на Памире полковник Генштаба Александр Александрович Кузнецов и капитан Генштаба Лавр Георгиевич Корнилов. На год раньше Снесарева окончивший Академию, Корнилов зарекомендовал себя в Туркестанском округе и разумно-осторожным, и отчаянно-смелым: под видом туркмена разведал и даже сфотографировал нововоздвигнутую афганскую крепость Дейдали! Незадача же заключалась в том, что и Кузнецов, и Корнилов не знали английского, да и ни одного из языков Индии. Тогда предложено было командировать из местнослужилых полковника Генштаба Александра Александровича Полозова и соответствующего задаче офицера Генштаба из Петербурга, с тем чтобы командированный офицер и

остался в дальнейшем служить в Туркестанском округе. Удача выпала Снесареву, причем окончательный выбор сделал военный министр Алексей Николаевич Куропаткин. Генштабовский выпускник прикомандировывается к ташкентскому гарнизону Туркестанского военного округа. В лето 1899 года Снесарев направляется в Ташкент.

И по той же дороге, осенью того же года едет на Кавказ норвежский писатель Кнут Гамсун и останавливается в родной для Снесарева губернии: в Воронеже, на станциях Колодезное и Подгорная, о чём и расскажет в книге «В сказочном царстве». А ещё чуть позже — в июне 1900 года — через Воронеж проляжет путь австрийского поэта Рильке, для которого Россия станет духовной родиной. Он увидит её как страну, граничащую с Богом, тогда как остальные страны граничат лишь друг с другом.

…И сотни, и тысячи верст. Снесарев не успевает заехать к родным на Донщину. Но, проезжая великие пространства России, он, естественно, думал о родных. Думал о сестрах. Все они окончили Царскосельское духовное училище, и две уже устроили свою семейную жизнь. Старшая, Надежда, — давно замужем в Мариинской станице. Лидия вышла замуж за священника Павла Вилкова. После Октябрьского переворота красные в станице Филоновской расстреляют его вместе с сыновьями Сергеем и Михаилом. Мужем Ани скоро станет Алексей Тростянский, тоже священник, который тоже закончит свою жизнь трагически: примет мученическую смерть в Острогожске от рук анархистов через полгода после гибели Вилковых. Ещё две сестры — печаль и радость Андрея Евгеньевича. Вера — самая младшая. Давно ли в Москве он встречал её по пути из Царского Села, и они полнедели провели в Первопрестольной, гуляли в Сокольниках и Петровском-Разумовском, и она, весёлая, разговорчивая, сумела влюбить в себя сразу двух его товарищей — офицеров Екатеринославского полка; на той же неделе, поездом добираясь на Дон, брат и сестра радовались жизни, их смех, столь непосредственный и доброжелательный, доносился, пожалуй, и до московских воздыхателей по Вере. Кажется, недавно было, а как она изменилась, стала болезненная, в себя погружённая: Вера — печаль его. Зато Кая, так все в семье звали Клавдию, — радость. Высокая, красивая, спокойная до меланхоличности; искусная вышивальщица; много читает; славно играет на пианино; прекрасный голос. Он советовал ей поступать в консерваторию, но родные воспрепятствовали, считая, что не дело девушке быть одной, без пригляду, в Москве, которая им представлялась если не содомом, то многоопасным для неопекаемой юности вертепом. Подобно Державину, они

воспринимали Москву некоей наследницей Вавилона, может, и не самой погибельной среди новейших мировых вавилонов-столиц, но всё равно «градом роскошей, распутства и вреда».

В ближайшем времени удержанная в провинции сестра станет его верным другом-единомышленником, ей он будет писать обстоятельные письма из Индии, Ташкента, Западной Европы, поверяя все свои высокие и честолюбивые планы.

ИНДИЯ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ. 1899–1900

В июле 1899 года, преодолев неспокойное Каспийское море и раскалённые туркменские пески, штабс-капитан Генерального штаба прибыл в Ташкент. Но ненадолго. Он успевает сшить себе цивильный, «статский» костюм, в котором ему вскоре предстоит появляться на разного рода раутах с представителями Британской администрации в Индии. У него теперь есть тулуп и полушубок, валенки, меховая шапка: без них в горах, каждосуточно сменяющих лето на зиму, не выдержать.

Он ещё из Ташкента не выехал, а о его индийской одиссее оповещают две крупнейшие газеты мира: английская «Тайме» и русская «Новое время»; издатель русской — Алексей Сергеевич Суворин, тоже уроженец Воронежской губернии.

1

В те две недели, которые он проведёт в Туркестанском военном округе, на самой границе Российской империи, у него произойдёт встреча с семейством, которое через несколько лет решительно и счастливо изменит его жизнь. В приграничном, древнем городке Ош он останавливается в доме «начальника Памира», полковника Василия Николаевича Зайцева, начальника Ошского уезда, а прежде бывшего начальником поста Хорог, начальником Памирского отряда. Жена начальника уезда Ольга Александровна — воплощённое русское радушие, скромность и обаяние. Кто в этом исполненном гостеприимства семействе ни перебывал из людей выдающихся — европейских первопроходцев в Центральной Азии: Пржевальский, Федченко, Певцов, Грум-Гржимайло, Козлов, ещё земляки Снесарева по донскому краю Семенов-Тян-Шанский, Северцов и Мушкетов, ещё многие европейские путешественники из учёных-географов и военных.

В июле 1899 года в доме Зайцева останавливается, однажды уже гостеприимно принятый здесь, Свен Гедин, великий швед, великий путешественник, великий авантюрист, который проживёт долгую жизнь, пройдёт тысячи километров по пескам и горам, напишет восемьдесят книг и восемьдесят тысяч писем, которого будут принимать императоры и короли, президенты и премьеры, полководцы и художественные знаменитости самых великих держав. Пути Снесарева и Гедина на короткий день и на всю жизнь пересекутся, но об этом — особый рассказ. Чуть позже.

Дочке Зайцева Жене четырнадцать лет. Она живёт то в Оше, то с недавних пор в Оренбурге, где учится в институте, во всех смыслах далёком от отцовской службы. Прекрасная девочка, хрупкая отроковица, великолепно играющая на пианино, — откуда оно на «крыше мира», в заоблачных горах? Снесарев под аккомпанемент юной Жени пел на краю света и был счастлив так, словно вся будущая его жизнь вдруг открылась ему именно такою, какою он хотел её видеть. Хотя ждала его впереди полная неизвестность.

2

Итак, Снесарев — «гость Великобритании на всей территории Индии». В этом официальном заявлении-приглашении очевидна явная географическая бессмыслица и дипломатическая бестактность, но Англия давно уже считала Индию продолжением своего острова, своей собственностью, и весь мир вынужден был считаться с этим.

Снесареву и Полозову начальный отрезок пути по сложнейшему горному маршруту из Средней Азии в Индию предписано было пройти разными дорогами, и эти, с позволения сказать, дороги могли стать роковыми, гибельными ежедневно, ежечасно. Снесарев «прорезывает» Памир с севера на юг, однако уместно ли слово «прорезывает» по отношению к человеку, который всего лишь песчинка в этих прадревних величавых горах? Но слово — снесаревское. В одном из писем младшей и духовно близкой сестре Кае (Клавдии Снесаревой, в замужестве Комаровой) он, уже завершая памирский отрезок пути, скажет: «Почти оканчиваю прорезывание Памира с севера на юг, и самому интересно обернуться (по карте) на пройденный путь — верхом и по таким высотам, которых в мире больше нет (разве Тибетские) …»

Грандиозные хребты, нелюдимые отроги и каменные цепи вершин и пиков, обледенелых и недоступных, узкие козьи тропы, то и дело перехваченные камнепадами («по какой круче и камням приходится идти, лошади портят себе ноги…»), глубочайшие пропасти, на дне которых — нерукотворные кладбища людей и коней, однажды сорвавшихся с немыслимой крутизны. Многосаженной толщи ледники — исполинские сгустки стужи. Если солнце — жара тропическая, если уходит солнце — без тулупа не выдержать и часа: словно насквозь пронизывает ледяная стужа. Облака где-то далеко внизу, поднимаются к заснеженным тропам и застят даже малую видимость. Обычная высота, по которой змеятся тропы, три-четыре версты, местами и

более.

Поистине «крыша мира». Это — вечное. А временное — именно здесь сходятся границы и интересы трёх великих территориями и населением империй: Российской, Британской, Китайской. Где-то в Санкт-Петербурге, Лондоне, Пекине политические и военные умы разрабатывают планы, как покрепче утвердиться на «крыше мира», откуда не только далеко видно, но и можно грозить любой из империй. И потому в этих суровых, бедных, малолюдных и опасных местах всё чаще появляются путешественники, они же дипломаты, они же разведчики.

Крепостью духа, физически и морально английские офицеры подчас оказывались слабее русских, но, во-первых, их было больше в приграничных местах, во-вторых, за ними чувствовалась традиция общения с местным населением; наконец, и стимулы были весомей: английские офицеры за знание арабского, персидского, хинди, урду, пушту и других туземных языков получали от своего правительства надбавку до двух тысяч рупий, а за знание русского — до пяти тысяч рупий. Английские офицеры на протяжении веков отбирались и готовились для дела не менее тщательно, нежели чиновники английского кабинета, и дурных случайностей в британской армии было куда меньше, чем в армиях других стран. Они умели воевать, умели работать, умели отдыхать. У иных, правда, сквозило пренебрежение к «неумеющим», но за это, как молвится, на гауптвахту не сажают.

Снесарева сопровождали местный проводник-киргиз и двое казаков — все оказались надёжными, знающими помощниками. Можно сказать, обошлось без особенных приключений. Самое неприятное — три десятка вёрст надо было пройти по афганской территории, весьма опасной: здесь бы командировочное удостоверение никто не спрашивал, и вполне могло так статься, что, попадись малочисленная экспедиция на глаза афганцам, никому бы и не узнать, куда она подевалась. Но, по счастью, не встретилась ни одна воинственная горская душа, «проскочил благополучно — шёл рано и в полном тумане (т.е. в облаках)». Правда, выпало встретиться с нарядом китайских пограничников. Те поначалу вели себя миролюбиво, затем стали вдруг придирчивы, и русский офицер погрозился высечь не радушных к путешественникам сберегателей границ Поднебесной, что подействовало на них самым паническим образом. Английского Генштаба полковник Мак-Суини, прикомандированный к русским офицерам, но заболевший и вынужденный по болезни задержаться на русской территории, догнавший Снесарева уже непосредственно в Индии, рассказал, как, подобно фантастическому дереву, вдруг взмывшему из-под земли,

разросся маленький инцидент. Англичанин встретил нарочного от китайского разъезда, посланного властям донести о том, что грозный русский офицер появился, остановился, всех разметал. Этот несчастный посыльный загнал свою лошадь и неутешно плакал, словно задержанную весть надо было доставить незамедлительно самому Богдыхану — властителю Поднебесной.

Цепью горных пиков, разделённых ущельями, тянулся Гиндукуш, которого тоже было не миновать. Казалось, никогда не закончится фантастическая зубчатая стена — холодная, вечная, никому не подвластная. Всё время надо было остерегаться ловушек горного пути, наш военный путешественник благополучно миновал их. Ещё в университетские годы побелев в висках, Снесарев стал вовсе седоголов, когда в высокогорной одиссее преодолел две «крыши мира».

В начале сентября спустились в долину Кашмира. Индия, «страна муссонов, двух жатв и сказочных богатств», великая Индия, «страна чудес, страна золота и алмазов, лучшая жемчужина в короне Её Величества королевы Великобритании», одной из богатейших своих провинций расстилалась перед ними, словно кашмирская шаль.

Живописнейший на земле край, полный легенд, одну из которых Снесарев знал ещё раньше: якобы издревле чтимые человеком эти места затопили водами злые демоны, но великан Кашаф, внук Брамы, возжаждал помолиться здешним храмам и сумел спустить воды, разгородив каменные завалы, прорыв в горах туннель; осушенная долина с тех пор стала носить его имя, постепенно трансформированное в Кашмир.

После полуторамесячного путешествия первый культурный угол — Гильгит. И, странная судьба, уже в Гильгите его захватывают ностальгические чувства: «Много тут интересного, а родины-то всё-таки нет… она далеко».

Далее столица Кашмира — Сринагар (Сурийнагар — город Солнца), далее — Равалпинди.

Английским офицерам полковнику Мак-Суини и майору Модлею надлежало сопровождать русских, и последние боялись отяготиться назойливым доглядом, цивилизованной слежкой. Но английские офицеры оказались вполне достойными спутниками, без мелочных придирок, хотя и не без спланированной опеки, весьма неудобной для планов русских: побольше разглядеть, запомнить, записать. Знакомя гостей с фасадными, экзотическими сторонами Индии, притеняющими разительный социальный контраст, Снесарева и Полозова сразу же обременили приёмами у официальных лиц британской администрации, встречами с местными князьками, раджами, принцами, причём

встречами — словно бы с русским хлебосольством и размахом. Надо было не только непринуждённо поднимать бокалы, но и непринуждённо уходить от возлияний, поскольку Снесарев ещё с юности дал себе слово не пить. Об одном забавном эпизоде, возникшем в связи с этим, он позже расскажет и в книгах (его, непьющего, примут за мусульманина, скрывающего, что он мусульманин; и когда англичане, с умыслом или без оного, дадут ему однажды для прогулки дурного нрава лошадь, которая, норовя сбросить седока, завалится назад и поранит ему ногу, тамошние магометане станут молиться в мечети о его выздоровлении).

Запомнился отдых в виде охоты и ночёвки в лесу. Обезьяны, которых даже в любом индийском городе тьма-тьмущая, здесь чувствовали себя избранной кастой. Во всяком случае — нахрапистость поразительная. Одна из них бросилась к костру, схватила кусок мяса со сковородки и, обжегшись и дико вереща, запустила в сидящих камень. Кто-то из англичан был поранен, но что обезьянам до раненого, это их, обезьяньи, владения, убирайся с пути!

Английский писатель Киплинг хорошо знал тропический лес, и по его сказкам выходило, что лучше всё же обезьяны, чем гиены и шакалы.

Англичане, почувствовавшие проницательность выбора, сделанного русским военным министром, разглядели в русском офицере не только умного, образованного человека, но и опасного противостоятеля; позже один из их военных объявит, что Снесарев представляет общественную опасность для Британской империи. О русском офицере писали английские газеты в обоих земных полушариях. Одни имперские чиновники просто из любопытства желали познакомиться с ним, другие приглядывали за ним, может быть, чтоб не увидел лишнего. Русским генштабистам предлагали то поохотиться, то познакомиться с местными достопримечательностями, то поприсутствовать на параде в чью-то честь; всегда были предусмотрены лошади и крепкие, ловкие проводники для осмотра окрестных мест. Загородные прогулки, охоты, кавалькады. И встречи, встречи, встречи… приходилось подолгу, часами, вести ничего не значащие, но неизбежные полусветские разговоры, и сколько за это время можно было бы увидеть, почувствовать, узнать в непосредственном общении с простыми индийцами!

Выдалась, правда, встреча, в известном смысле существенная и для Снесарева памятная. В Симле, где располагалась резиденция вице-короля Индии, он был приглашён на встречу с

лордом Керзоном, который в ту пору и занимал трон вице-короля. (Через четверть века на площадях советских городов возмущённые «нотой Керзона», британского министра иностранных дел, толпы энтузиастов воодушевлённо будут жечь чучела бывалого английского политика, Снесарев увидит это сожжение и на московских площадях и вспомнит, как не раз вспоминал, холодные, хорошо воспитанные глаза Керзона, его спокойные доброжелательные расспросы, а позже его же исполненную досады оценку деятельности Снесарева в Туркестанском военном округе и в Генштабе: «Опять этот неистовый капитан!»)

Встреча была обставлена по всем правилам английского этикета, присутствовали министры и генералы, их жены. Русский гость, приглашённый вице-королём в надежде ещё и услышать снесаревский баритон (Снесарев на прежних встречах исполнил несколько музыкальных сочинений, весьма понравившихся англичанам), в письме к сестре Кае сообщит: «…Когда входили в столовую, придворный оркестр заиграл “Боже, Царя храни”. Я сказал своей спутнице, что я пришёл из далёкой земли и весьма тронут таким вниманием, и я ей не могу высказать, как волнуют меня те дивные звуки, которые я сейчас слышу… Обед был, конечно, великолепен, зала, украшенная гербами вице-королей Индии, ещё великолепнее, рядом играл оркестр… После обеда мужчины посидели отдельно и, наконец, перешли в большую залу. Здесь через несколько времени адъютант сказал мне, что Его Светлость удостаивает меня разговором. Я поднялся и пошёл к лорду. Он попросил меня сесть, и началась беседа. Лорд Керзон высокого роста, с длинным бритым лицом (усы и бороду бреет), серые глаза поставлены очень широко и имеют резко-сосредоточенное выражение, лоб крупный… Всё лицо можно назвать красивым (оно ровно розового цвета), если бы оно не было так холодно и самоуверенно…

Высокий хозяин спросил меня о путешествии, не устал ли я. Говорили о его сочинении о долине Гунзы (мы с ним из числа немногих, видевших её) и т.д. Как только я отошёл, подлетел адъютант и попросил меня петь…»

Снесарев исполнил «Азру»… Его попросили спеть ещё что-либо, он сел к роялю и, аккомпанируя, пропел «Я вас любил», что вице-королю весьма понравилось, но показалось незаслуженно кратким. Не столь давний дебютант Большого театра спел ещё «Лесного царя» Шуберта, которого любил и не раз исполнял на родине.

После Симлы Полозову надлежало возвращаться, а Снесарев продолжил путешествие. Он ещё и умудрялся вести путевой

научно-географический дневник, а записи-листочки слал письмами сестре Клавдии, наказывая, чтоб она не только хранила их, но и с величайшей аккуратностью переписывала.

Остальные встречи не оставили памятного следа, слились в сплошной прогулочный марафон с разного рода празднествами, на которых ему приходилось петь, «вызывая незаслуженные восторги обеднённых голосами англичан и англичанок».

Официально-праздничных встреч стало поменьше после Лахора, города, в котором он месяц проболел лихорадкой. Усугубленная солнечным ударом, она измотала его более самого тяжкого горного перехода: полторы недели не вставал с постели. Памирскую стужу, и горный разреженный воздух, и головокружительную горную высоту — всё перенёс он благополучно, а здесь… Месяц из шести «индийских» месяцев — Снесареву это казалось невосполнимой потерей. Хотя он успел увидеть, запомнить, записать столько, что хватило бы не на один том. Впрочем, так оно и станется: придёт время — и он напишет два тома из задуманного четырёхтомного фундаментального труда «Индия. Страна и народ».

В Лахоре проживал Редьярд Киплинг. Снесарев уже читал его, позже всегда высоко ставил мощь его таланта, жёсткого и мужественного, национально-колониального. Взглядам, шагам, книгам английского писателя и русского военного мыслителя не раз выпадет пересекаться.

В Агре Снесарев осмотрел беломраморную сказку Индии — знаменитый Тадж-Махал, святыню мусульман. Настолько это творение дивно прекрасное, что оно, легендами и преданиями овеянное, является украшением всей Ойкумены, а когда, рассказывают здесь, смотреть на него при луне, кажется Тадж-Махал дивным цветком, который небо подарило земле. Осматривая дворец внутри, он не мог не обратить внимания на разрушенный временем потолок и на попытку его отреставрировать. «Как жалок и мал, — скажет он, — реставрированный английский кусок на огромном фоне потолка Великих Моголов». Снесареву не удалось увидеть Тадж-Махал при ясной луне. Пошёл дождь, небо увязло в тучах. В тот день в Агре ему исполнилось тридцать четыре года. Глядя на удлинённый бассейн у Тадж-Махала, стоя у реки Джамна, он вспоминал донскую родину, видя её в этот декабрьский день зимне-стылой, дремотной, с неба не переставая сыплет снег над Доном, да, наверное, и над всей Россией.

3

Декабрьским ранним утром Снесарев прибыл в Бенарес, священный город с полутора тысячами индусских храмов, город Шивы, в котором и буддизм и особенно магометанство оставили свои следы. Именно здесь двадцать пять столетий назад Будда произнёс первую свою проповедь…

Снесарев на протяжении всей жизни будет так или иначе обращаться к имени создателя самой кроткой религии на земле, пленившей не только азиатские этносы, но и скифов, и бактрийских греков. Через десять лет он в газете «Голос правды» выступит с небольшой заметкой о прахе Будды, который якобы был найден в северо-западной Индии близ Пешавера, бывшего столицей во времена правления скифского царя Канишки, который был для буддистов (их в начале девятнадцатого века насчитывалось четыреста миллионов) что для христиан римский император Константин.

Молодой индус, проводник и переводчик, перевезёт русского офицера на противоположный низкий песчаный берег священной реки Ганг. Вид оттуда открывался неповторимо прекрасный. По правобережному хребту тянулся в голубой дымке сказочный Бенарес (месторасположением своим показался Снесареву похожим на Киев). Возносились ввысь храмы, минареты, дворцы. Властвовала над городом мечеть Аурангзеба с её двумя столпами-минаретами. Ярко-жёлтой массой выделялся Золотой храм — Бишевар — величайшая индусская святыня. К реке спускались бесчисленные каменные лестницы-гаты. У берега, и на гатах, и на проложенных в Ганг мостках, творилась непонятная европейцу жизнь: проповедники, пилигримы, факиры — всё это увидит он, переправляясь через Ганг обратно в город. Кто-то купался в мутной воде, кто-то дожидался счастья быть сожжённым, кого-то уже сожгли, и обгорелые останки бедняка трепали и рвали на куски огромные черепахи. На берегу Ганга — шум, гам, трудно протолпиться. Он почувствовал, что какие-то нервные волны, вызванные, быть может, массовой религиозной экзальтацией, пронзают его, и он поспешил выбраться наверх и ознакомиться разве что с Золотым храмом, но больше ни с чем: чувствовал — не выдержит. Но и посещение храма оказалось гнетущим испытанием: тяжело было видеть больных, парализованных, сумасшедших, кликуш, слепых, хромых — их конвульсии, слёзы, их чаянье вдруг прозреть, исцелён-но встать на ноги, почувствовать себя сильными…

А более всего поразил и запомнился на чёрном камне сидящий у ворот храма старик, весь в белом, с красивой посадкой головы, с длинной белой бородой, с куда-то устремлённым взглядом. В недвижно-одинаковой позе, с глазами, видящими не

суетное движение толпы, но что-то далёкое и высшее, — таким его застал русский офицер и заходя в храм, и через три часа выходя. И когда он спросил у проводника, долго ли ещё почтенный сиделец пребудет в застылом положении, тот ответил, что белый старик на одном месте и в одном положении пребывает уже десятки лет. Снесарев тогда подумал о Ниле Столбенском, Серафиме Саровском и подумал ещё, что у каждого народа, верно, есть свои пророки, призванные в мире что-то наисущее увидеть, что-то изменить к лучшему, быть может, не действием, не речами, а именно великим сидением и молчанием.

Пророки по-разному являют себя в разных уголках земли. Гаутама Будда, Шакьямуни, должный бы взять меч как сын царский, никогда его в руки не возьмёт, уйдёт и от пестрой, сверкающей яви царского двора; не столь и длинные речи оставит ученикам Просветленный; зато найдёт высшее в нирваническом состоянии, среднем меж бытием и небытием. Существуют сотни рассказов о перевоплощениях Будды, но вместе с тем он един, и «Дхаммапада», начертанная его учениками, предложит один из духовных вариантов никогда до конца не постижимого бытия.

На Снесарева произвела неизгладимое впечатление буддийская символическая картина «Колесо всего сущего» — некая метафора извечной суеты сует, изображающая человеческую жизнь со всеми её искушениями, падениями и разочарованиями. Индийская философия — сколь неповторима она, и Снесарев не раз сожалел, что не имел времени осмыслить её во всей возможной для отдельной человеческой личности полноте.

4

Уже находясь на Цейлоне, в ожидании парохода Добровольного флота, он снова и снова переживёт, сердцем и мыслью повторит путешествие: оставленная людьми Хараппи — колыбель одной из древнейших человеческих цивилизаций, и уже незабываемые города, каждый из которых эхо времён: Гильгит, Сринагар, Равалпинди, Сим-ла, Амритсар, Амбала, Дели, форт Агра, Бенарес, Калькутта; а также железная дорога вдоль великой реки Ганг.

Когда он направлялся в Индию, он знал общий и весьма приблизительный исторический очерк Индостана, его времён, племён, имён. Он знал о путях, какими шли арии, войска более поздних завоевателей — Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана, Бабура, знал о главных религиях и главных событиях самого большого на земле тропического полуострова, попадались

ему в руки и «индийские» книги Жаколио, Блаватской, Киплинга, но одно дело — знать и видеть заглазно, совсем иное — увидеть воочию повсюдно удивляющий, диковинный мир в его издревлем застое и вечном движении. Впечатлений — на целые тома.

И что же было главное в его впечатлении? Богатейшая страна. Древнейшая цивилизация. Трудолюбивый народ. Но так или иначе угнетаемый и обираемый. Семьдесят миллионов голодающих, словно в доисторические времена, словно не на пороге двадцатый век с его огромными техническими достижениями! А кто считал миллионы тех, кто, кроме повязок на голове и бедрах да деревянной чашки, ничего не имел, ничем не владел и не надеялся владеть! Удручающая бедность, тьма нищих, фокусы нестерпимо, тленно пахнущих факиров, «огромное смрадное болото» каст, против которых проповедовал еще Шакьямуни, великий Просветленный, великий Будда, да прошли тысячелетия, а касты всё ещё живы…

Искусно отлажена машина колониальной администрации. И почему-то вспоминались — с фотографической точностью стояли в глазах — картины Василия Верещагина «Расстрел сипаев» и «Английская казнь в Индии», последняя была воспроизведена в индусской газете (и в Лахоре нечаянно попалась на глаза Снесареву) с надписью «Скопирована с оригинала картины великого художника Верещагина». Незадолго до того именно Верещагина художественный критик Стасов риторически вопрошал: «И зачем нужно было, чтобы лучшие уголки земли, чтобы все красоты мира были исполосованы насилием точащего зубы купца и заклеймены хищничеством бездушного чиновника?» А ещё ранее Верещагин писал Стасову: «Замысел моих картин: история заграбастания Индии англичанами. Некоторые из этих сюжетов таковы, что проберут даже и английскую шкуру».

В конце девятнадцатого века, когда Снесарев с севера на юг вглядывался в плодороднейшие индийские пространства, Индия голодала. Россия чуть раньше тоже голодала, да и никогда не могла похвастаться повсеместной сытостью и достатком, но на индийскую беду откликнулась. Ставропольский помещик Н.Н. Безменов обратился к царским властям с просьбой разрешить сбор пожертвований. Сбором пожертвований занялись «Новое время», «Петербургские ведомости».

Северная держава — так в Индии называли раньше Россию. Индусы ждали, что придёт северный Белый царь и освободит их от англичан. Да ведь и затевался такой поход в краткое Павлово царствование — в союзе с Наполеоном (ровно за сто лет до того, как Снесарев оказался в Индии); и даже чуть ранее, когда ведомые Платоном Зубовым русские войска подступили к

Тегерану, хотя, разумеется, не Тегеран представлял крайний интерес для Российской империи и императрицы Екатерины Великой; и позже разрабатывались планы выдающимися военачальниками и военными теоретиками. И всё же… Русь, поскольку она Святая, Небесная, земное счастье даже у себя не обустроит, как же тут быть с другими землями? Хотя наш народ при продвижении в другие земли во многом себе отказывал, а окраинам помогал. Но в любом случае у исторической встречи России с Индией единственный путь — взаимопонимание, а не завоевание. Тихая улыбка добра, а не шумный барабан зла. Донской цветок мог бы украсить кашемировую шаль. Во всяком случае, русский путешественник и купец Афанасий Никитин, первым из соотечественников побывавший в Индии, не чувствовал себя чужим среди индусов, буддистов, мусульман.

5

На стыке девятнадцатого и двадцатого веков Индийский океан бороздили суда русского Добровольного флота — курсировали «Киев», «Владимир», «Москва», «Херсон». С Цейлона, из Коломбо, на одном из «добровольных» пароходов Снесарев отплывает к родным берегам.

Он, конечно, не мог знать, что именно с Цейлона примерно в то же время отправлялись в родные Палестины его земляки, уроженцы чернозёмного края, знаменитые в будущем писатели Иван Бунин и Михаил Пришвин. Бунинскую «Деревню» он прочитает незадолго до Первой мировой войны, поразится её художественной точностью и проницательностью, и хотя деревня, слобода, станица, которые он знал, были куда крепче и благодатней, но «Деревню» своего земляка воспримет как тяжёлый диагноз и горький прогноз. Что же до пришвинского, не могшего быть прочитанным, годами обдумываемого и переписываемого произведения-«поражения» — романа «Осударева дорога» с лежащим в основе северным Петровым путеустроением, то через десятки лет Снесареву самому придётся испытать, что собой представляет такая дорога в большевистской модификации. Учиться было у кого, Петров размах вызывает соблазн и через века. Пришвинская запись: «Узнал, что Пётр ехал по осударевой дороге, а за ним везли виселицу». Осударева дорога меж Балтийским и Белым морями по карельским топям и трясинам была вымощена не только изрубленными лесами, но и крестьянскими костями.

Аден, Суэц, Константинополь. Персия, Египет. Мир Цезаря и Наполеона. Снесарев сходил на египетский берег, стоял у

пирамид, вспоминал слова из приказа Наполеона: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!» и не менее знаменитые слова полководца: «Ослов и учёных на середину!» У пирамид он приобрёл скарабея из песчаника — священного жука египтян. Скарабея клали в саркофаг, на фараонову мумию вместо сердца. Приобрёл ещё ушебти — в ладонь человеческую фигурку, в Древнем Египте имевшую сакральное значение. Священная глиняная фигурка уцелела малой частью, которую позднее вместе с другими мелкими вещами, привезёнными с Востока, дочь хранила в шкатулке из сандалового дерева.

Понт Эвксинский, Чёрное море, некогда даже Русское море — море русской доблести и беды… Прибыв в Одессу, Снесарев здесь долго не задержался. Побродил по Приморскому бульвару и Дерибасовской улице, побывал в театре, одном из лучших в Европе, спустился к морю и вновь поднялся на приморскую площадь по Потёмкинской лестнице, если не лучшей во всем мире, то ни на какие другие не похожей, неповторимой. Через пять лет на виду у всей Одессы поднимет красный флаг броненосец «Потёмкин», забастует Одесса, заполыхает подожжённый тёмными силами одесский порт, через пять месяцев после того уже на глазах Севастополя устремится в бунт крейсер «Очаков», и командующий Черноморским флотом прикажет расстрелять его, отпавший от флота крейсер, и тот заполыхает, как гигантский костёр, как язык смуты, как огненно-чадный образ революции. Но до того ещё пять лет, и Россия — мировая империя.

Останавливаясь в Москве, в доме Снесаревых на Ломоносовском проспекте, я часто разглядывал шкатулку, привезённую из Индии. Инкрустированная пластинками из слоновой кости, хранящая уже век или больше благородный запах сандалового дерева, так тихо и пряно пахнущая, она неизменно навевала настроения грусти, хотя и надежды. Может, вся Индия как та шкатулка?

ТУРКЕСТАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. 1900–1904

Путешествие в Индию положило начало изучению А.Е. Снесаревым древней страны, какую он полюбил на всю жизнь и какой посвятит в последующем много трудов, коими его имя впишется в число отечественных классиков индологии. После успешно проведённого ответственного и опасного путешествия по британской Индии последует научная командировка в Англию, дабы увидеть Индию из окон библиотеки Британского музея, вернее из книг, за многие годы тщательно и полно собранных в самой большой тогда библиотеке мира.

1

В марте 1900 года Снесарев снова в Туркестанском военном округе, где ему предстоит пробыть ещё более четырёх с половиной лет.

Но ощущением Туркестана как близкого его сердцу края он проникся сразу же по приезде. Он знал о всей трагичности присоединения Туркестана к Российской империи. Горевал о гибели трёхтысячного отряда Бековича Черкасского в Хиве в 1717 году, неразумно, без подготовки посланного Петром Первым затеряться в среднеазиатских песках. И далее движение русских в этот край не было лёгким, кроме разве ночной успешной атаки на Ташкент малым отрядом. Он знал, как трудно шло почти двухвековое освоение Средней Азии, но одного он не мог знать: с какой преступной лёгкостью всё русское устроение вместе с русскими людьми будет брошено на жестокую прихоть судьбы, времени, местной враждебности во времена перестройки, в конце двадцатого века, как, оставляя всё нажитое, будут спешно уезжать мирные специалисты и какие ценности баз и складов оставят военные, бесславно покидая приграничные военные городки, которые в трудах простодушной манящей надежды возводили офицеры милютинских выпусков.

Он пишет отчёт о командировке в Индию. Вскоре ему поручают в Красноводске встречать английского военного агента подполковника Бересфорда. И он пишет: «…опять садись верхом на лошадь и катай по Памирам… на ангельских высотах». Но с подполковником сошлись на многом в размышлениях о том, что будет в неотдалённом будущем с Европой и как поглядят на неё Америка и Азия. С одной и другой стороны. Сошлись на том, что

ничего хорошего в ближайшее столетие Европу не ждёт.

Снесареву и позже не раз придётся встречаться с английскими офицерами, одному из них — подполковнику Нипуру — он, шутя, выскажется в том духе, что англичане каждый поодиночке приветливые люди, откуда же тогда столь неприветлива английская политика? (В романе «Чевенгур», созданном гением Андрея Платонова, писателя-воронежца, снесаревского земляка, сельскому жителю именно из Старой Калитвы предстаёт «странный человек, как все коммунисты: как будто ничего человек, но действует против своего народа». Англичане-власти, не в пример русским партийцам-сотоварищам и последователям большевиков-интернационалистов, против своего народа не действовали, зато другие народы вполне, как и у большевиков, сходили у них за строительный материал.)

У Снесарева — обязанности старшего адъютанта Окружного штаба и обер-офицера для поручений при штабе. Местные власти сразу же увидели в Снесареве выдающегося офицера и с первых месяцев поручали ему участки ответственнейшие.

В июне старший адъютант участвует в полевой поездке офицеров Генерального штаба и состоит при генерале, что вызывает зависть у офицеров, дескать, «место архиерейское». Но перед тем «была такая уйма работы, что я чуть не издох, теперь буду отдыхать».

Какое там отдыхать! Массу времени забирают штабные дела. Ещё он редактор и составитель окружного периодического издания «Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом». Ещё — ему обучать детишек, преподавать арифметику в Ташкентской подготовительной школе кадетского корпуса. Ещё — участвовать в работе обществ, а их в Ташкенте вместе с кружками подобралась добрая дюжина: Русское Географическое общество — его Ташкентское отделение, Общество востоковедения, Пушкинское, проводившее вечера русских классиков, литературные чтения, а также занимавшееся сбором книг для солдатских библиотек (уезжая в Петербург, Снесарев много книг передал туда), Музыкальное, Медицинское, Педагогическое, Благотворительное, археологический, певческий и иные кружки — никто из разновременно побывавших в Туркестане военных не миновал их: Н.Н. Юденич, Л.Г. Корнилов, В.Ф. Новицкий, К.Г. Маннергейм, М.Т. Пославский, А.М. Григоров, А.А. фон Таубе, Д.Н. Логофет… (Принятый в начале 1901 года в члены Географического общества, Снесарев спустя год прочитывает в обществе три доклада: «Великий Памирский путь в Средние века», «О природе Памира, религии и нравах его обитателей», «О Болоре».)

Страна под названием Болор занимала ум и воображение Снесарева. Когда-то, вплоть до Средних веков, эта страна с забытым названием нередко упоминалась во всякого рода источниках, более всего китайских, о ней рассказывал Марко Поло, в своём описании именуя её вслед за Памиром, но теперь никто с определённостью не мог ни обозначить её былого расположения, ни объяснить её названия. Там жили люди: любили, воевали, надеялись. И что осталось? Снесарев однажды попал в Самарканд на древнее кладбище, где на камнях когда-то проступали скорбные надписи, потерянные на ветрах времени. Скорбное поле камней, истертых, может быть, миллионами прикосновений. Под каждым камнем — прах, былая удачная или неудачная жизнь. Каждая жизнь — своеобразный Болор, то есть страна, то есть вселенная.

И Снесареву хотелось разглядеть следы былой жизни — если не отдельного человека, то хотя бы страны. И потому он посвятил немало времени поискам её, несколько раз в Ташкенте выступал с лекциями о стране Болор, упоминал на страницах своих книг. Уважительно говоря о Гумбольдте и того времени географах-философах, для которых Болор являл из себя почти мистическую загадку, некий ключ «к пониманию орографического строения Азии», он не поспешил разделить преобладающее мнение учёных — своих современников, рассматривавших Болор как миф; он был убеждён, что Болор был и есть некий разделительный пояс меж Восточным и Западным Памиром, рельефно неярко выраженный хребет, на разных склонах которого туземцы живут тысячелетиями и по-разному себя чувствуют; Снесарев если не изучил всесторонне, то прошёл этой древней и странной разделительной полосой и вполне мог почувствовать дыхание места — дыхание истины. О Болоре он подготовил статью для сытинской «Военной энциклопедии», хотя к той поре авторитетный словарь Брокгауза — Ефрона вообще отказывал Болору в каком бы то ни было существовании.

Бывал он и не раз выступал на заседаниях Туркестанского отдела Общества востоковедения, где помощником председателя подвизался Ф.М. Керенский, с которым он познакомился, правда, не коротко; попадался на глаза и его сын Александр, аффективно-подвижный, словно неуравновешенная девица, в скором будущем — одним из самых временных и подиумных, эстрадных временщиков огромной страны.

В начале июля понадобилось произвести рекогносцировочный приграничный летучий дозор, он выпал едва не в сто двадцать вёрст, причём половина из них — по китайской территории. Места пустынные, нелюдимые, казалось бы, ничто и

никто не остановит русского офицера с двумя казаками. Но из-за скалы как из-под земли вырос китайский караул: офицер с двумя десятками подданных — киргизских солдат. В Снесарева почти в упор холодно вглядывался тёмный глазок карабина, китаец долго его держал, тщательно прицеливаясь, и за те секунды, которые показались бесконечными, Снесарев успел подумать о военачальнике-философе Сунь-Цзы, о великой Китайской стене, о том, что она не могла при монгольском нашествии спасти китайцев, да и вообще никто никого не может спасти, если на то нет высшего благоволения. Можно ли стать фаталистом за малые секунды? Во всяком случае, если у него позже появлялись фаталистические нотки, исток их здесь — на памирской каменистой земле, когда под прицельно наведённым стволом карабина он вполне почувствовал всеохватную беззащитность человеческой жизни.

2

Какой быть будущей жене? Об этом Снесарев думал и размышлял в письмах к сестре, которая предупреждала его, что, мол, он находится в той поре, когда скоро будут выходить замуж не за него, а за его положение. Да и он в письме к сестре рассказывал, как однажды они с английским полковником Нипуром побывали в доме одного русского холостого генерала, и после ухода англичанин сказал, что в холостяцком доме — как в могиле; и не такая ли участь ждёт его, стареющего офицера, затерянного среди гор и песков? В том письме он рисует участь неженатого, как он её видит: «Холостой человек — всегда вор семейного счастья. Последнее должно принадлежать, в известной мере, каждому, и кто не имеет собственного, поневоле ворует чужое… Это неизбежно. Как бы вы ни были нравственно устойчивы, вас на кражу поведут другие… Холостого человека окружает какая-то неестественная атмосфера: дамы и девицы смотрят как на жениха, старухи — как на зятя, все — как на человека, обязанного их развлекать, увеселять, всюду быть с ними…».

Снесарев, притягательно-видный мужчина, владелец перспективного военного мундира, отважный наездник, певец, пианист, путешественник, учитель, фигура, везде желанная, но он бы давно уже предпочитал «увеселять» одну-единственную, а не вереницу приценщиц.

Правда, в середине тысяча девятисотого года свадьба чуть было не сладилась. «Девица 19 лет, росту выше среднего, белокурая, сложения хорошего; исповедания, конечно,

православного, и имя ей, ещё более конечно, Лидия… — пишет он сестре. — Она принадлежит к тому любимому мною типу девушек, на который похожа Лиля и покойница-подруга… Это тип необыкновенного сердца — незлобивого, любящего и полного неистощимого запаса ласки. Это тип человека, который знает, куда теряется шапка брата, башмак сестры… какое кушанье больше любит отец, чем успокоить слёзы матери, какому из братьев не даётся арифметика… До её отъезда я часто бывал у них и много гулял с нею; она не скрывала от меня, что я ей нравлюсь, что она привыкла ко мне, что она по мне скучает… Всё это звучало и несколько необычно, но это было говорено так естественно и просто, как проста вся она от пятки до маковки головы…»

Она была дочь полковника, друга Полозова. Сам Полозов, то часами молчащий, то неумеренно речистый, неровный и словно бы себе на уме, не мог стать душевным другом Снесарева, хотя приятельствовали они вполне достойно. Многое уже объединяло — от совместных путешествий до совместных переводов с английского. Лидию он то нахваливал за редкие сердечность и чистоту помысла и чувства, то считал, что в Туркестане, не говоря о России, можно найти и более развитую, более светскую партию, будто именно поисками «светской партии» был озабочен его сослуживец.

Снесареву же подсказывали сердце и разум: неважно, графская ли она дочь или дочь крестьянина из сирой хижины, — была бы беззаветной женой и матерью. А далее многое зависит и от мужчины: из своей избранницы можно вылепить «и причудницу, и жену высоких идеалов…».

«По силе возможности, — пишет он, — я старался сердечные дела вести ясно и честно». Что случилось, что свадьба не задалась, не сладилась, об этом он не рассказал даже дочери, которой многое порассказал, когда она приезжала к нему в северные лагеря.

Через год встретится ещё одна (тоже Лидия!) офицерская дочь. Капитанская дочка, правда, далёкая от пушкинской капитанской дочки. В ней и внешней красоты было достаточно, и слегка ироничного ума, и полусветского, от родовитой светской матушки идущего умения вести разговор, но не было для Снесарева главного — не чувствовалось в ней сильного материнского начала, а какая-то непривычная да и неприятная ему раскованность, опытность, пусть и всего лишь словесная, теоретическая; мечтательно говорила она, что было бы хорошо побывать сначала в Париже, ещё в обеих Америках и затем, конечно же, не на месяц, не на год — на Принцевых островах. И

уж тогда можно было бы завести умильных чад. Но он-то думал иначе, полагая, что он «должен иметь детей, должен дать своей родине прирост, должен перенести на своё поколение ту сумму умственных и нравственных выводов, которые… выносил и выстрадал». А тут подай Принцевы острова, словно женщины только там и могут рожать. Что рожать? Прежде всего там, на солнечных островах (невольный возникал вопрос, был ли Снесарев её принц, а вернее ею воображённый принц, или ей грезился будущий — иной), на тех дивных Принцевых островах в Мраморном море, в глубине античного мира женщине дано цвести и наслаждаться. Симпатия к любительнице лазурного отдыха в глубине античного мира, зародившаяся, быть может, и через имя, такое же, как у его ушедшей судьбы-Лидии, и недавней пассии, тоже Лидии, быстро улетучилась. Они бывали вместе в саду военного округа, у реки-арыка Салар, под персиковой сенью и журчанье воды; и зелень, и цветы, и всё было хорошо, но до женитьбы дело не дошло, да и не могло дойти.

3

Август: «Слишком я не люблю англичан», — пишет сестре. Разумеется, эти пять слов — не кредо, не формула, не истина на последнем вздохе. Снесареву была не по душе предельно эгоистическая политика английского правительства, неизменно всюду и везде упорно и настойчиво стоявшего за свои национальные интересы, стоявшего любыми способами: дипломатическими, военными, торгово-ростовщическими… Если б эта политика поменее оставляла в неудачниках, чтоб не сказать в искусно отшлёпанных недорослях, российские верхи, может, поменьше бы и неприязни было к англичанам? А с другой стороны, что предосудительного в защите национальных интересов? Спору нет, у столпов островной империи свои интересы простирались на весь мир. Но тут уж, как говорится, сколько позволяют им брать, столько и берут. Нечестными способами? Но у верхов Российской империи были и более честные, благовидные возможности едва не на треть увеличить свои владения, удержав Аляску, западное тихоокеанское побережье Америки; да не хватило у них проницательности увидеть в далёких краях русское геополитическое будущее; сказались, верно, и нехватки экономические, финансовые, военные…

Ночь с 31 декабря 1900 на 1 января 1901 года. Подробно в письме — встреча Нового года. «Ташкент сейчас веселится, все съехались в Военное собрание и будут встречать Новый год

бестолковым образом… Никогда не принимал участия и надеюсь не принимать в будущем…»

Дом в четыре комнаты на двоих (он поселился с Александром Михайловичем Григоровым, с которым позже они часто будут встречаться и в Петрограде) располагался на улице Зарабулакская. Восточное название. Многие улицы носили названия, пришедшие вместе с русским завоеванием Туркестана и малокровным взятием Ташкента: Кауфманская, Соборная, Черняевская, Касьяновская, Госпитальная, Артиллерийская, Рядовская, проспекты Московский, Скобелевский, Куропаткина… — и Снесарев часто ловил себя на мысли о том, сколь все эти улицы в названиях своих зыбки, скоропреходящи, во многом случайны; чуть задержись русские, могло повернуться так, что здесь бы спокойнехонько угнездились какие-нибудь Йорк-сити английской выпечки. Впрочем, всё проходит, всё пройдёт, в какие названия ни одень текущее, и Снесарев вновь и вновь печально думал о недалёкой от Туркестана стране Болор, давно ушедшей и забыто обойденной всеми картами мира.

Он одиночествует в кабинете, но… со стола взирает на него «задумчиво и нежно» портрет умершей подруги. Считает этот год поворотным — до него, мол, готовился что-то делать, с него начинает делать.

Успевает проглядывать местные газеты, а «Туркестанские ведомости» и вовсе прочитывает без пропусков. Самая почтенная газета в крае: её выпуск был налажен в 1870 году — через три года, как образовалось Туркестанское генерал-губернаторство. В газете можно было найти материалы на самые разные темы, от официальных статей о действиях администрации до рубрик — что происходит в стране и мире. Много о путешествиях: Свена Гедина — по Тибету и к истокам Инда, П.К. Козлова — к истокам Жёлтой реки, о Памирской ботанически успешной экспедиции Б.А. Федченко.

1 июля 1901 года пишет сестре загадочное: «Города недавнего прошлого стоят позади, чем-то закрытые, и мне не хочется лететь к ним мыслью: встаёт на сердце что-то неспокойное и стыдное». В том же письме: «Как были безжизненны и бледны все эти звуки “Гиндукуш”, “Тянь-Шань”, когда мы их зубрили в географии, и какой дивный образ и фигуру принимают они, когда их видишь…»

Чуть раньше из Хорога сообщает, что познакомился с таджиками, находит, что многие их слова схожи с европейскими, поскольку у них арийские корни; уже неплохо говорит по-киргизски; ещё, и, может быть, наиболее существенное: «Путешествие становится моей сферой, областью громадных и

разнообразных для меня наслаждений».

4

Лето 1901 года — поездка в Лондон. Трёхмесячная командировка. В опубликованных в «Туркестанских ведомостях» письмах с дороги «От Ташкента до Лондона» многое узнаём об этом путешествии. На поезде от Ташкента до Красноводска по не столь давно проложенной русскими железной дороге ехал душно, скучно и утомительно. Бурное Каспийское море. Попутчики — в основном торговые люди («над пёстрой своеобразной летописью бакинских событий лежит резкий отпечаток денежного умопомешательства») — толкуют о преимуществах Запада перед Россией так, что трудно удержаться от смеха… «Грустно лишь то, что в подобные ошибки — я разумею смешение удобств, приносимых не только культурой страны, но и другими географическими и топографическими её условиями, с самим существом культуры — впадают не одни торговые господа, которым и Сам Бог простит за их детский масштабик».

Астрахань. Царицын — его будущая роковая веха. Волга — Дон — Днепр. А далее Буг, Висла, Эльба, Рейн, Сена…

Два поздневечерних часа в Берлине. В Кёльне вынужденно мало, с четверть часа, пробыл под сводами знаменитого собора, который через несколько десятилетий станет страдающим очевидцем сокрушительных бомбёжек Германии воздушными армадами Америки и Соединённого Королевства.

Глубокое впечатление, высокие слова: «Поражает единство и определённость религиозной мысли… В строителях храма нет артистических причуд или каких-либо разлагающих сомнений; они знали, что строят храм Божий, и их религиозная мысль выливалась в яркую и цельную форму. Подобные же мысли приходится переживать при посещении какого-либо из соборов Московского Кремля. Люди были разные, иного прошлого и различных культур, но религиозный горизонт и тех, и других был крепок и ясен… Собор всегда поражал и долго будет поражать, волнуя и поднимая душу, и разве лишь совершенно атрофированный — очень далёкий — наш потомок сможет пройти без всякого внимания мимо дивного “воплощения средневекового религиозного чувства” или взглянуть на собор рассудливо-торговыми глазами».

Короткая остановка в Париже: «…пишу тебе из безумного и полного страстей города». За ночь — расстояние от Парижа до Лондона. «Миновав Кале, мы прибыли в гавань, где нас ожидал небольшой английский пароход. Французский язык как-то

незаметно исчез, и теперь кругом слышались полуптичьи, полумеханические звуки упрощённого и делового английского языка».

Далее — высокая оценка Лондону, прошлому, той созидательной работе, которая явлена в исторических памятниках, мостах, железных дорогах, музеях, галереях, библиотеке Британского музея: «Можно ли вообразить что-либо более возвышающее, как сидеть в этой громадной комнате, имеющей по стенам тысячи книг, вековечное воплощение дум человечества». (А ещё не построен туннель через Ла-Манш — какое там по счёту техническое чудо света!)

В письме понимание сути Англо-бурской войны (1899–1902). Обращение к лицемерной практике англичан — гарантов свободы: «Что вам нужно от буров? Зачем вы посягаете на свободу этого мирного, трудолюбивого народа, вы, хвалёные поклонники свободы? Мало вам своих сокровищ и веками награбленного капитала? Отчего вы не хотите предоставить этой группе людей пользоваться той свободой, которую они приобрели своим трудом и кровью своих отцов? Имеете ли вы право освещать социальную жизнь чужого народа с точки зрения своих купеческих идеалов? На все подобные вопросы не добивайтесь ответа от англичан».

В таком взгляде Снесарев, разумеется, был не одинок. Передовая промышленная Англия воюет против отсталой крестьянской Южно-Африканской Республики — Трансваали и Оранжевого Свободного Государства, основанных голландскими колонистами — бурами. Величайшая мировая империя против «крохотной мужицкой республики», территорией и людьми не более средней российской губернии. 250 тысяч первоклассно вооружённых англичан против 50 тысяч буров-полупартизан. Мировое общественное мнение, и особенно русское — на стороне малочисленных, подвергшихся нападению. «Трансвааль, Трансвааль, ты вся горишь в огне…» Лев Толстой желал победы бурам. Анатоль Франс, Ромен Роллан — тоже. Русский Максимов возглавил отряд добровольцев Европы. А сослуживец Снесарева по Академии Генштаба Едрихин не стал оканчивать последнего — льготного — курса Академии, пожелав вести военно-журналистские репортажи с захваченных пожарами и дымом бедных полей Южной Африки, — его «Письма о Трансваали» печатались под псевдонимом Вандам в суворинском «Новом времени», в издательском доме которого позже будут изданы и выдающиеся геополитические труды Вандама: «Наше положение» и «Величайшее из искусств (обзор современного положения в свете высшей стратегии)».

Киплинг тоже поспешил в Южную Африку военным

корреспондентом.

День-ночь-день-ночь
Мы идём по Африке…

И многие англичане так или иначе оказались на той войне, и для многих — от политиков до поэтов, от Уинстона Черчилля и Ллойд Джорджа до Конан Дойля, Эдгара Уоллеса и уже немолодого Чарлза Суинберна — война стала приметной и памятной вехой жизни, а взгляд на неё, откровенно захватническую, увы, вполне вытекал из слов, заявленных в «Символе веры» когда-то знаменитым Сесилем Родсом, «отцом Британской империи», бардом и практиком колониальных экспансий: «Я утверждаю, что мы — лучшая нация в мире, и чем большую часть мира мы заселим, тем лучше будет для человечества».

Снесарев не знает (или уже знает?), что именно в войне с бурами впервые в мировой практике англичанами введены «новинки» — плавучая баржа-тюрьма и концлагерь (справедливости ради скажем, что расстрельные суда опробовала и французская революция). Новинки весьма успешно приживутся: в Первую мировую войну австрийские власти близ Граца организуют Талергоф, жестокий лагерь для русинов, для галичан; Талергоф просуществует около трёх лет, его кровавую купель пройдут тридцать тысяч человек — крестьяне, священники, служащие, сколько-нибудь заподозренные в «русских» чувствах и тяготениях; сплошь и рядом старики, женщины, дети. Чуть позже концлагерь в великом числе растиражируется в революционной России. Своя расстрельная плавучая баржа и свой концлагерь выпадут и Снесареву в большевистски-обновлённой стране.

В упомянутом выше снесаревском письме — «О значении капитала в наше время говорить не приходится; ещё не сошли со сцены политэкономической науки те апостолы капитала, которые из-за его накопления готовы прогнать всё народонаселение страны… через растлевающее и губительное иго фабрики, суля гнилому и прокопчённому народу какие-то несказанные, туманные блага в будущем». Размышляет о религиозном неверии простого люда, о притуплении нравственного чувства у рабочих в английских доках, о пьянстве мужчин и женщин, ничуть не более благородном, нежели пьянство в какой-нибудь отдалённейшей российской губернии.

В ноябрьском письме сестре, посланном за неделю до того, как распрощаться с Британским музеем и самой Британией, пишет: «Нет, в русских я не разочаровался, даже больше: чем

более присматриваюсь к Западной Европе, тем более и более удивляюсь величию и способностям русского человека… относительно же халатности не могу с тобой согласиться: там её нет, где есть любознательность… надо хотеть знать и учиться, чтобы овладеть вполне недугом халатности…»

Вера его в русский народ глубока, устойчива, и хотя подвергается испытанию нелучшими страницами русской исторической книги-дороги, но никогда не угасает, не теряется. Он высоко оценит душевные качества русского народа — пахаря и солдата — и во время войны в Карпатах. Разве что семнадцатый смутьян-год да северное лагерное сидение пригнут предельной горечью и болью.

После заграничной командировки, в середине декабря, он навестил Клавдию в Памфилове — в Области войска Донского. И радость была велика от встречи с любимой сестрой, и живописные уголки расстилались вокруг, и всё же какая-то тоска сеялась над маловоз-деланным, словно забытым краем, пусть и несравнимая с железной смоговой тоской Лондона, и всё же — тоска. И неясность.

5

В новогоднюю ночь на 1902 год в не холодном, но и не жарком Ташкенте никуда на ночное празднество не идёт — сидит дома, предаваясь воспоминаниям. Пишет письмо любимой сестре. Ушедший год считает определяющим для миросозерцания — шесть месяцев вне родины, «граница уяснила и укрепила многое из моих взглядов, до того смутных и робких». В тонах, не лишённых похвальбы, сообщает, что его докладная записка «О Памирах» на 42 листах, действительно значимая всесторонним, аналитическим, перспективным видением и бывшего, и текущего на «крыше мира», встретила самое восторженное отношение генерал-губернатора, и оный везёт её в Петербург военному министру — «если и этот окажется в таком же восторге, то записка может дойти до Государя…»

В январе Татьянин день, который выпускники Московского университета праздновали ежегодно и где бы ни находились, Снесарев отмечал в обществе старейшего выпускника — 1854 года — врача Н.Н. Касьянова и выпускника 1865 года В.Ф. Ошанина, директора местной гимназии. Боже праведный, он ещё не родился, а Ошанин уже оттанцевал выпускной вальс! И сколько лет учительствует в этих песках! И сколько ему самому пробыть в этих песках! Мог бы уже профессорствовать в том университете, которому посвящена эта вечеринка, который

вспоминается как невозвратимый парус юности.

Февральское письмо сестре «литературоцентричное». Словно пишет его не штабс-капитан, сверх головы занятый военными делами, а честно мыслящий специалист по мировой литературе, каждодневно вещающий с кафедры. Он говорит о том, что искусство «художественно воспроизводит законы природы, как их иными путями ищет наука. Все те писатели, которые проводили тенденцию, рядом с искусством тянули умышленное нечто, постороннее, не переживали и двух-трёх поколений… Этим элементом тенденциозности приходится объяснить, что Шиллер с годами всё более и более падает, а Гёте остаётся несокрушимым на своём пьедестале. Всё крупное Гомер, Данте, Шекспир рисуют просто, безыскусственно, без умысла, потому-то их творения — вечные книги…»

Между тем у него — своё искусство: горной приграничной страды, стратегической мысли, объемлющей настоящее и прошлое древнего края. Его доклад «Памир в Средние века и Великий Памирский путь» вызывает живой интерес в Туркестанском военном округе. Александр Македонский исчертил зигзагами своих отборных фаланг и конниц пол-Азии, преодолел пески и горы, пытаясь, словно первый евразиец, соединить в единое Европу и Азию, и где его держава? А нынешние империи? «Мы переживаем какое-то смутное время… в воздухе что-то тяжёлое и нехорошее».

«Туркестанские ведомости» публикуют его статьи, заметки, рецензии. Показательна статья «Зима на Памире»: «Высокое нагорье напоминает огромное белое кладбище»; здесь же об английской неизменной политике: «поселение смут в соседних странах всеми возможными способами»; коротко и ёмко о тяжёлой службе Памирского отряда: суровость климата, разреженный воздух заоблачных высот, нервная крутизна дорог, вернее, жалких их подобий, нередко всего лишь намёков на них, одиночество, отсутствие женского общества. Рассказывается о старике с «мутным взором и неуклюжими робкими движениями», который почему-то всегда объявляется у ворот форта, когда съезжаются офицеры или прибывает транспорт или новый эшелон; «посланный нами джигит с удивлением передаёт нам, что, прячась за камнем, старик упорными глазами по несколько минут следит за фортом, словно что-то подсчитывает или запоминает, и что взор его в эти минуты горит интересом и осмыслен. Кто он, странный слабый старик? Быть может, необычный разведчик, который тёмной ночью, “пользуясь дотоле искусно скрытым турсуком, плывёт по волнам Пянджа на чужую сторону…”» Да, это не тот старец, что, отрешённый от мирской

суеты, у храма в Бенаресе в молчаливом сидении долгие годы погружён в ему видимую вечность, здешний невольно заставляет нас вспомнить якобы незрячую, беспомощную старуху из романа «В августе сорок четвёртого», которая неприкаянно бродит меж эшелонами и на поверку оказывается вражеской лазутчицей.

Снесарев на всё откликается, и любая заметка серьёзна по мысли, по нравственному пафосу, по обобщениям. Вот некролог о лорде Дюфферине, бывшем вице-короле Индии. Казалось бы, некролог да и некролог. Говорится о присоединении к британским владениям Верхней Бирмы в правление Дюфферина: «Как почти все другие завоевания Англии, и это носило на себе все следы дерзкой авантюры со стороны нации, слишком увлечённой торговыми вожделениями, чтобы задуматься о том, что зовётся правом народа и понимается под благом его». Но Снесарев находит повод помянуть ещё одного вице-короля — лорда Рипона, «одного из гуманнейших и просвещённейших вице-королей, почти одиноко стоящего на фоне жесткой и эгоистичной толпы его многочисленных предшественников и преемников. Лорд Рипон работал с самым искренним желанием блага тому тёмному и жалкому народу, который был отдан под его власть».

Так что есть английская политика и есть англичане — очень разные. Джентльменство — внешний стиль.

На киплинговский роман «Ким» — этот гимн английскому шпионажу — русский офицер откликнется в «Туркестанском сборнике». Отдавая должное таланту художника, он, естественно, не примет английской тенденции так или иначе порочить русское: в «Киме» двое русских — и люди непривлекательные, и разведчики никудышние. Настроение предвзятое и прискорбное в писателе столь великого таланта. Причём это не частный выпад. Скажем, отношение Киплинга к рассеянным по миру евреям не менее жёстко-пристрастное, чем к русским.

6

Страна, где всегда подстерегает грозная природа, страна камнепадов, обвалов, ледниковых сходов, жестокого мороза и иссушающего солнца в одни сутки, край, где привольно чувствуют себя разве что тарантулы и скорпионы, змеи и шакалы…

А саранча в Ходженте? Саранчи было столько, словно она слетелась сюда со всех концов земли; будто солнцезнойная засуха, уничтожала она всю зелень, и не было от неё защиты. Природа мудра. Вслед за саранчой налетели и розовые скворцы — истребители саранчи. И расправились с нею, как дружина

хорошего полководца с разбойничьей пришлой оравой. Туземцы в благодарность кормили скворцов мясом и даже сочиняли стихи и песни о них, как сочиняли песни и о своём грозном крае великих вершин, ледников и ущелий, каменных и песчаных кладбищ.

Один из первых начальников Памирского отряда В.Н. Зайцев русский гарнизон на «крыше мира» называл «монашествующей братией памирского ордена». Он же: «Долгая памирская весна, которую гарнизон проводит в этой пустыне почти в таких же условиях, как полярные мореплаватели на замёрзших во льдах судах».

Зайцев цитирует слова Мушкетова, уроженца донского края: дескать, на месте Памира когда-то бушевало море. На Памире, на гряде горной, зародилось арийское племя. Арийцы — откуда они пришли, откуда взялись — дело туманное, как говаривали прежде по поводу другого племени: «История мидян темна и неясна». А вот бушующие моря и бушующие землетрясения… (Мушкетов совместно с Орловым составил даже «Каталог землетрясений России». Но никому не посилен каталог политических потрясений в России!)

Легко было пропасть здесь человеку нездешнему. Грандиозные горные массивы, снежные пики, заносы и обвалы, ледники. И не дороги через хребты, а тропы, холодящие опасные там, где ещё с незапамятных времён человек сооружал искусственные карнизы: в трещины скал вбивались колья, на них накладывались жерди и каменные плиты — зыбкий клок дороги нависает над грохочущей рекой, бурлящей на полверсты внизу, в ущелье. Такие мосты, висячие проходы, на Памире называют «овринги», об этом Снесарев вспоминает, переводя «Созидание границы» Дюранда.

С лета 1902 года Снесарев — начальник Памирского отряда. Всего несколько лет миновало с того дня, как в одной из памирских теснин столкнулись ружьё в ружьё два рекогносцировочных отряда двух великих империй. Командирам-«путешественникам» — англичанину Фрэнсису Янгхазбенду и русскому Михаилу Ионову — достало военной, полковничьей выдержки и благоразумия повести разговор в джентльменском духе добровстретившихся. Выяснилось, что те и другие заняты невинными мирными увлечениями: англичане охотятся на барсов, а русские — и вовсе увлечены травами, ботаническими исследованиями; более того, выяснилось, что все — энтузиасты местного фольклора и этнографический интерес для них важнее географического, военного, политического (правда, через несколько лет Янгхазбенд с генералом Макдональдом, возглавляя британскую военную экспедицию на

Тибет, не пожалеют огня и пороху, да и тамошнего этнографического уклада не пожалеют, дабы добиться доступа в священный город Лхаса, куда прежде ни один европейский отряд не вступал).

Тут же вскоре произойдёт размежевание границы на Памире, и охрана границы, естественно, потребует постоянной дислокации Памирского отряда. Ионов и станет первым начальником отряда. Затем Зайцев, Скерский, Сулоцкий… Снесарев сменил капитана Кивекэса, решительно ополчившегося против корыстолюбивого бека — подручного бухарского эмира. Генерал-губернатор Иванов посчитал нежелательной для добрых отношений с местной властью напористость Кивекэса, и Снесареву было предложено высказать более такта, чем явил его предшественник.

Масса хлопот хозяйственных. Хотя умудряется читать Евангелие… на тюркском. Читает и хвалит сестре двухтомное сочинение Черевинского «Две волны» — об эпохах Чингисхана и Тимура. Жалуется в письме: «Непосредственная моя задача — управлять отрядом, т.е. жить с ним, производить учения, делать в соседних странах разведки и т.п.». Ему же поручено решить вопрос о податном обложении киргизов, изучить вопрос о переходе припамирских ханств под руку Белого царя, не оставлять работы над рукописью «Памиры». Частые осмотры границы — «был в походе как Святослав: без одеяла, подушки, шёл быстро», — пишет Снесарев сестре в августовском письме 1902 года. И далее: «С утра до вечера весь словно на свежих упругих рессорах: бегаю, распоряжаюсь, ругаю, ласкаю… На верхней полке лестницы моей работы стоит вопрос о войне с англичанами и возможность перейти с отрядом границу, на нижней — необходимость разобрать жалобу публичной женщины, которой казак вместо установленных 20 копеек ночью сунул в руки старую пуговицу от шинели». В октябрьском того же года письме опять-таки сестре пишет: «Я окунулся в такие дебри: передо мной вьются лентой любостяжатели с их первой целью пограбить; формалисты, согревающие своё благополучие под мёртвой буквой закона, бездельники, которые столь ленивы, что их не пробудишь ни палкой, ни уговором… Если я пробуду здесь год, то усвою жизнь с многих мне малоизвестных сторон… Среди волнений и нервоза моим утешением является отношение ко мне народа: теперь он перестал меня дичиться и, если я еду верхом или гуляю, он приветствует меня. Улыбается и всеми сторонами говорит о преданности. Иной даст два-три яблока, другой поднесёт цветы, один бедняк дал какую-то маленькую тыкву… Ещё более трогают меня дети, эти прежние дикие зверьки, они

бегут мне навстречу, смеются, несут что-либо — чаще цветы, а ещё чаще весёлый поклон… Я чую, что если вылечу отсюда, то это именно за этот забитый, несчастный народ, за который я уже грызся с беком, ругал его чиновников и за который я буду стоять, чего бы мне это ни стоило».

Позже не без любопытства прочитает заметки Керзона о русском имперском движении, не сойдясь разве в оценке русской «непобедимой, врождённой» беззаботности и беспечности: «Россия, бесспорно, обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него лёгкой позицию невмешательства в чужие дела; и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в меньшей степени итог дипломатического расчёта, нежели плод врождённой беспечности».

А русские желание помочь, умение помочь и беззаветность в помощи? 5 декабря 1902 года в Андижане (ещё на близкой памяти была андижанская резня — ночная расправа с солдатской казармой) случилось разрушительное землетрясение, шестью баллами докатившееся и до Ташкента. Русские воины были мужественны и жертвенны, спасая в Андижане пострадавших из-под завалов, туша пожары.

(Снесарев вспомнит об этом и в Италии, где в декабре 1908 года в сицилийской жестоко пострадавшей при землетрясении Мессине со ста тысячами погибших русские матросы и гардемарины также явят отвагу, силу и бескорыстность, спасая несчастных; их командиры, сберегая даже минуты для помощи, не станут запрашивать Петербург, и они — многие шестнадцати лет — жертвенно устремятся в полымя, иные погибнут. Из полыхающих руин вынесут женщин, стариков, малолетних и не дадут утащить бандитствующим шайкам многомиллионную, поистине золотую кассу Итальянского банка. Восхищение нечаянными спасителями выльется во всеитальянское, и даже король Италии пожалует на русские корабли Балтийской эскадры, чтобы выразить благодарность северным морским воинам. Италия изготовит памятно-благодарственные медали, и за ними придёт крейсер «Аврора», через пять лет выстрел (или залп) с которого станет предвестником одной из самых

жизнегубительных гражданских войн.)

Всё было бы ладно, если бы за тысячи вёрст не напоминали своими горестями, неурядицами, всякого рода трудноисполнимыми просьбами родственники, полагающие, что он определённо выбился в большие люди и имеет большие деньги. У мужа старшей сестры — резкое, неожиданное расстройство в делах, родственнику требуется не сотня целковых, чтобы поправить пошатнувшееся положение; брат в очередном письме оправдательно и грустно признаётся, что взять три тысячи у ростовщика значит «закабалить себя на всю жизнь»; тон этого письма невесел ещё и от странно отчуждённых отношений с Павлом, младшим, ему не пишущим братом: «Я состою в переписке с друзьями, разбросанными всюду… в Кашгаре, Калькутте, Лагоре, но только не со своим родным братом… Это всегда меня будет угнетать». Как в воду глядел. И ещё грустное: в тридцать семь лет без жены. Правда, говорит о возможной женитьбе, но не как человек, кого-то глубоко полюбивший.

В апрельском письме 1903 года из Хорога пишет о том, что в его сердце всегда сохранятся «идеалы университета, лишь слегка поправленные опытом, идеалы камышевского дома, пойманные со слов отца и матери…» Что за отношения Снесарева с богатым беком и с бедными горцами — об этом октябрьский рапорт и ноябрьская докладная записка от 1903 года.

Вот начало рапорта от 16 ноября 1903 года: «Прибыв 8 июня с восточных постов в Лянгар-Гишт, я застал положение дел здесь весьма серьёзным… Вот в такой-то год, когда народное хозяйство, потрясённое и без того, требует особой заботливости и снисхождения властей, начинается бухарское грабительство, на официальном языке именуемое зякетом. Удивляться грешно, что чаша терпения народного переполнилась и он, уподобляясь оробелому стаду, готов бежать с насиженных мест и от отцовских могил на Памиры и в Афганистан».

В жёстко написанном рапорте, изобличающем произвол бека, который исхитряется нещадно обирать население и бить его розгами, начальник Памирского отряда ходатайствует перед полномочной властью края «о скором решительном воздействии на бухарскую администрацию в смысле, благоприятном русскому имени».

Царский представитель в Бухаре Я.Я. Лютш не находит ничего более разумного, как оставить пренебрежительно-пошлую помету — обычный приём малых, малосостоятельных не по рангу, но по человеческим качествам чиновников всяких времён и народов: «Кажется, мелкие придирки. Неужели сплетни эти собирать входит в инструкцию капитана Генерального штаба

Снесарева?» Разумеется, в инструкцию не входило слышать стоны измученных…

Чуть позже представленная докладная ещё более решительна, точна, предупредительна.

«Эта краткая докладная записка, имеющая целью быстро и по существенным сторонам оценить вступающий в силу зякет, не может касаться многочисленных сторон, им же поднимаемых. Например, вопроса о том, что содержание зякета даёт бесконечный простор произволу и хищению бухарской власти, и без того столь гибкой и изобретательной в деле злоупотребления средствами и трудом народа…

Как я уже доносил, таджики собираются бежать во все стороны. Я имею дополнительные известия, что в Вахане одно время в ночь были уложены вещи и собирался материал для быстрой наводки двух мостов через Пяндж; начальнику Лянгарского поста было вовремя доложено об этом, и он успел убедить и успокоить народонаселение. Что таджики побегут, это вполне естественно. В ближайших странах у них есть родственники, с которыми они были и без того в постоянном общении, значит придут они в случае бегства в места им не чужие, а родственные. Далее, бухарцев они всегда считали, считают да и имеют право считать хуже афганцев, ещё хуже, конечно, читраль-цев. Затруднений бегство никаких не представит и удержать горцев никто не может: одна ночь — и вместо кишлаков Вахана останется пустыня.

Наконец, есть и хозяйственная причина: в соседних странах зякет слабее здешнего. Например, в Афганистане… Относительно Читрала не удалось добыть точных данных, но, по-видимому, обложение там гораздо легче афганского, да и англичане крепко держат читральцев в руках, грабить не позволяют… Что до сих пор удерживало туземцев от перебегов и вносило в страну порядок, это надежда их, что нынешний порядок лишь временный, что рано или поздно белый царь возьмёт их под свою высокую руку. Теперь эта надежда с введением зякета исчезла, а с тем вместе порвалась существенная нить, вязавшая таджиков с их населёнными местами».

Обстоятельно и убедительно описывает Снесарев, как зякет и всё ему сопутствующее отзовётся на Памирском отряде, более того, на отношении к русским вообще. На место обобранных зякетом таджиков, прежде поставлявших для продажи отряду фураж, муку, мясо, теперь бухарцы вызываются продавать всё необходимое. «Но пойти на это отряд, полагаю, не может. Являясь не торговым учреждением, а военным, отряд не может согласиться на те хозяйственные операции, как бы они ни были

выгодны, в основе которых будет положено столько зла и неправды, сколько их будет при практическом осуществлении зякета. Кроме того, все злоупотребления будут естественным образом перенесены бухарцами на нас, именем которых и нуждами отряда будет прикрываться всякое беззаконие. Это окончательно уронит нас в глазах туземцев, среди которых замечаются явные следы неудовольствия и разочарования. Со всех сторон доносятся отголоски общего народного мнения, что русские их продали и русские их обманули.

Эта потеря престижа и веры в доброе слово русских среди таджиков является вторым и, может быть, самым тяжёлым для нас последствием вводимого зякета… Таджик верил и ждал, но теперь его глаза открыты и пришло время должной оценки со стороны народа наших слов и действий. Она будет не в нашу пользу и потому на пользу наших врагов-соседей. Пройдёт немного лет и из расположенного к нам горного народа, отдохнувшего и успокоившегося, получится оборванная и оголённая жалкая группа, потерявшая к нам веру и доброе чувство, а среди обездоленных и безлюдных кишлаков этого народа нам придётся идти как по стране неприятельской».

Конец 1903 года. Снесарев пишет Зайцеву, что, объезжая посты, два раза чуть не погиб, один раз чуть не утонул. «К добру или злу, но изменено многое… Когда я буду иметь счастье снова встретиться под Вашей ласковой крышей, я Вам расскажу всё подробно».

Ласковая крыша — это очень точная метафора. Воистину в доме Зайцевых его принимают как самого желанного, самого дорогого гостя. Отец и мать видят, как дочь на их глазах беззаветно и верно вручает своё сердце человеку намного старше её годами, но человеку высокой чести, ума, доброты, души открытой; и им, воспитанным в строгих и благонравных понятиях православного брака, о более достойном муже для своей дочери и мечтать не мечталось.

7

Японская война… не в добрый для России час началась она. Все русские вопросы по выходу к тёплым морям Тихого океана, коль их надо было решать, надо было решить гораздо раньше, может быть, на столетия раньше. Теперь же и Япония и Китай уже испытали европейское гостеприимство, и им не приходилось вдаваться в размышления, кто из европейцев предпочтительней, тем более что вовсе не близсоседние Англия и Америка помогали всеми мыслимыми и немыслимыми способами поломать ноги её

соседу, русскому имперскому колоссу, якобы угрожавшему всем и вся.

В январскую ночь 1904 года японцы без объявления войны напали на русскую эскадру, стоявшую на рейде Порт-Артура. Наутро они многократно превосходящими силами атаковали крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» на рейде корейского порта Чемульпо и после жестокого боя, когда «Варяг» пылал от кормы до бака, предложили русским сдаться. Русские, не приняв щадящее предложение, затопили горящие суда. Через два месяца близ Порт-Артура «Петропавловск», флагманский корабль Тихоокеанской эскадры, подорвался на японских минах и пошёл ко дну, стремительно утянув с собой в морскую глубь экипаж вместе с командующим Тихоокеанской эскадрой адмиралом Макаровым.

Английская печать дружно радовалась: мол, симпатии всего просвещённого христианского мира, то бишь Америки и Англии, на стороне языческого островного народа. Даже в Индии была открыта подписка пожертвований для японских вдов и сирот; английским чиновникам, вольготно-сытно себя чувствовавшим на повышенных туземных окладах, не составляло жертвы поступиться большей или меньшей толикой фунтов стерлингов.

В Туркестане состоятельные туземные женщины помогали российским лазаретам и семьям русских погибших, а столетняя алайская царица Курбан-джан внесла щедрое денежное пожертвование.

На благотворительном концерте в Военном собрании Туркестанского военного округа штабс-капитан Снесарев исполнил песню Вилинского «Крейсер «Варяг»: «Плещут холодные волны, бьются о берег морской», — каждое слово, каждый звук отзывались скорбной болью и у поющего, и у внимающих; было так тихо, словно исполнялся некий русский реквием.

Знакомые по Географическому обществу Юденич и Маннергейм добровольцами уехали на Русско-японскую войну. Уехал и дружески близкий Корнилов. Снесарев, которого начальники Туркестанского военного округа приказательно упросили остаться, как наинужного в Туркестане, вновь и вновь вспоминал своего отца, который мечтал побывать в Японии, взойти на Фудзияму. (О Фудзияма! Одному японскому офицеру приснился сон, что англичане, американцы русские и немцы, странно соединённые враги Страны восходящего солнца, взошли на Фудзияму и установили какой-то соединённый по кускам флаг их стран, флаг-интернационал, флаг-эсперанто; японец проснулся и, дабы смыть, победить позорный сон, сделал себе харакири.)

А Исикава Такубоку, прекрасный поэт, юноша, горестно

плачущий на берегу Тихого океана, самураем не был, офицером не был. Он написал стихи:

И я, поэт, в Японии рождённый,
В стране твоих врагов, на дальнем берегу,
Я, горестною вестию сражённый,
Сдержать порыва скорби не могу…
Вы, духи распри, до земли склонитесь!
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи!
При имени Макарова молчи.
О битва! Сопричислен русский витязь
К великим полководцам всех времён.

8

Служба в штабе Туркестанского военного округа и командование Памирским отрядом — этих страниц из жизни Снесарева достало бы, чтобы имя его навсегда осталось в военной истории Отечества.

Одновременно в Ташкенте штабс-капитан напряжённо занимается научно-исследовательской работой, составляет выпуски «Сведений», касающихся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом (таковых «Сведений» он составил и отредактировал два с половиной десятка, также и публикуясь в них), преподаёт математику в кадетском корпусе, собирает свою библиотеку, участвует в деятельности Географического общества и Общества востоковедения, читает лекции в Военном собрании, выступает солистом на музыкальных вечерах и концертах, в Пушкинском обществе и певческом кружке «Лира», и исполняемые им «Вечернюю звезду» из оперы Вагнера, «Лесного царя» и «Ночной смотр» присутствующие всякий раз просят повторить.

Свидетельством его служебной деятельности и научной работы, а также умонастроения во время пребывания в Средней Азии являются письма сестре Клавдии и опубликованные тогда работы, в их числе «Краткий очерк Памира», «Памиры», двухтомный «Северо-Индийский театр (военно-географическое описание)», огромный задел для трудов по Индии, Афганистану, которые выйдут много лет спустя.

А его переводческая деятельность? Вместе с А.А. Половцевым он перевёл «Кафиры Гиндукуша» Джорджа Робертсона, того, с кем английский полковник Дюранд совершал четырёхмесячное, сдружившее их путешествие по Кашмиру. Главный же ранний

переводческий поистине подвиг Снесарева — «Созидание границы» («Труды границы»). В предисловии к книге он говорит о том, что полковник Дюранд «дал прекрасный труд». Но и перевод прекрасен: ясен и точен, да ещё сопровождён пояснениями и уточнениями переводчика, глубокими и тактичными.

Снесарев, переводя на русский книгу английского коллеги, «блюстителя пограничных районов», словно заново переживал своё не столь давнее путешествие, солидарный с тем, каким увиделся Дюранду обетованный Кашмир — индусский край, первый на снесаревском пути в Индию: «Долина Кашмира, около 120 вёрст в длину при 30 ширины, представляет собою самый прелестный уголок в мире. Замкнутая могучим амфитеатром снеговых гор, орошённая прекрасной рекою, которая бежит по богато возделанным полям, и тысячью горных ручьев, с целой цепью дивных озёр, многочисленными деревнями… долина Кашмира, по крайней мере с внешней стороны, является земным раем Востока».

Но, разумеется, не ради восхитительных географических красот, искусно описанных английским полковником, затеян был перевод. В книге разворачивается картина колонизационного искусства, умения англичан заранее добиваться «самого широкого осведомления», приходя в новые края, сосредоточиться на главном — здесь военная, географически оптимально продуманная защита, административная система, учитывающая местные традиции, устройство дорог, мостов, школ, госпиталей, аптек, иными словами, всё то, что обычно приносило англичанам успех при поступательном создании своей разбросанной по всем континентам империи.

«Суровая радость впервые вызвать к жизни порядок из хаоса» — это заявление английского военного в конце книги, в сущности, вытекало из всего опыта Британской империи — цивилизовать мир, из хаоса сотворить порядок, как он понимался островными новоустроителями. Переводя Дюранда, Снесарев не раз подумал, сколько таких дюрандов у англичан — многовековая система подготовки государственных, военных, дипломатических мужей-управленцев, огромная культура путешествий, освоений, колонизации. Но зависти, разумеется, не было, разве что горечь. Вопрошал: почему соотчичи, худо-бедо помня о прошлом, так мало озабочены настоящим и так мало заглядывают в будущее?

Русские — люди северные. И осваивали они чаще всего холодные северные, восточные пространства, хотя государственный инстинкт утягивал иных и на тёплый юг. Были отважные освоители (Поярков, Хабаров, Степанов, Шелихов, Баранов), да на них в московских и петербургских верхах глядели

как на докуку. А в островном британском государстве понимали своих первопроходцев и умели воздавать им должное.

9

Поздней осенью 1904 года Андрей Евгеньевич Снесарев женится на Евгении Васильевне Зайцевой, дочери начальника военной администрации города Ош полковника Зайцева, уважаемого ветерана военной службы в Средней Азии, автора всеармейски известного «Руководства для бригадных и батальонных адъютантов по всем видам их деятельности».

Соперниками Снесарева в борьбе за руку и сердце Жени Зайцевой были шведский путешественник Свен Гедин и тоже путешественник, ботаник Борис Федченко, сын известных исследователей Азии А.П. и О.А. Федченко, при имени которых обычно всплывает в памяти грозно известный по школьному учебнику географии великий «ледник Федченко». Но юная красавица отдала предпочтение мужественному и талантливому офицеру.

В ноябре 1904 года в краю гор и песков — свадьба тридцатидевятилетнего Андрея Снесарева и девятнадцатилетней Евгении Зайцевой. 12 ноября — таинство венчания в церкви Михаила Архангела, а оттуда — к чайному столу в военное собрание.

И здесь самое время вспомнить один миф, кратко или пространно повторяемый на снесаревских биографических страницах. Миф, где прочерчивается некий любовный треугольник, одним из «углов» которого является ранее упомянутый знаменитый швед Свен Гедин.

Дело согласно тем страницам выглядит так. Гедин в одну из своих экспедиций в Тибет и китайские пустыни получил гостеприимный кров в доме начальника Памирского отряда Зайцева и, увидав юную Женю Зайцеву — «памирское чудо», «звезду Памира», влюбился в неё, тут же предложил ей руку и сердце. И как было не сказать «да» прославленному путешественнику, автору во всём мире читаемых книг! Но тут явился тогда ещё малоизвестный русский офицер (соперники — одногодки, каждый на двадцать лет старше своей избранницы), и она с первого взгляда и бесповоротно почувствовала в нём своё будущее. Распространён и вариант, согласно которому между соперниками какое-то время шла борьба за обладание сердцем девушки, и юная красавица в конце концов предпочла Снесарева. Теперь посмотрим, насколько достоверен сюжет с вариациями.

Первый раз в русский Туркестан Свен Гедин прибыл в 1890

году. Побывал на озере Иссык-Куль, на могиле Пржевальского, которого высоко ценил, месяц гостевал в Ашхабаде у генерала Алексея Николаевича Куропаткина, будущего военного министра, был гостем в Кашгаре у русского генерального консула Николая Федоровича Петровского. Но ни Гедин, ни Зайцев не пишут в своих дневниках, даже не упоминают, чтобы они тогда встречались. Вероятнее всего, такой встречи и не было.

В начале 1894 года, в январе, собираясь исследовать Памир, Свен Гедин прибыл на Памирский пост, тогда-то и познакомился с комендантом поста Василием Николаевичем Зайцевым. Но пост был, как говаривали шутники, «земным раем», поскольку там не было женщин. Да если бы и была семья Зайцевых там, Жене-то ещё не было и десяти лет. Да и Снесарев ещё служил в полку в Москве, так что никакого любовного состязания не могло быть. Снесарев только через пять лет, в 1899 году, появится в Туркестане. И он на короткое время остановится у Зайцева, тогда уже жившего с семьёй в древнем городке Ош и бывшего начальником Ошского уезда. Тогда же, в июле 1899 года, появляется в Оше и Гедин, намереваясь пройти путями Пржевальского, надеясь найти погибшие города в великой пустыне Такла-Макан и, быть может, завершить путь в Лхасе — сердце Тибета. Гедин вынужден был задержаться у Зайцева, его прихватила болезнь глаз, но и с больными глазами он вполне мог оценить «па-мирское чудо». Этому чуду было всего четырнадцать лет, и, думается, ни Гедин, ни Снесарев, будучи европейцами, не стали бы домогаться руки несовершеннолетней. Будь Женя годами постарше, психологически Гедин мог бы, наверное, совершить такой шаг, поскольку перед самым отъездом из Швеции узнал из газеты о помолвке его любимой Милли Бруман, и он был в отчаянии. Мог бы, если бы Женя к той поре вышла из возраста отроковицы.

Правда, в 1902 году, возвращаясь из триумфального путешествия по Трансгималаям, открывший первым из европейцев истоки великих рек Инда и Брахмапутры, Гедин в июне ненадолго останавливался в Оше, у полковника Зайцева, и Женя, можно сказать, по летам была уже на выданье. Тогда он, верно, мог посвататься. Но к той поре его соперник Снесарев уже был начальником Памирского отряда и, надо думать, не раз и не два бывал в доме Зайцевых и мог уже пленить Женю бесповоротно!

А Гедин едва ли «долго и тщетно», как пишут журналисты, предлагал бы «памирскому чуду» свои руку и сердце. У него не было на это времени. Его ждала шведская родина и Европа, дабы воздать ему все мыслимые почести, а честолюбия у Гедина было

поболее, чем у самых знаменитых знаменитостей Скандинавии. И когда любимая им Милли поставила жёстко: она или Азия — неисходимая дорога, он, честолюбию подчиняясь, в невесты себе избрал Азию с её самыми протяжёнными пустынями и самыми высокими в мире горами.

Так что же дал Снесареву Туркестанский край и что Снесарев дал Туркестанскому краю? Он был здесь исследователем, просветителем и устроителем. Его пребывание здесь — день как вся жизнь. «24 часа в сутки… слишком недостаточно. Меня давит эта ограниченность часов».

Он один — своего рода живой «Туркестанский сборник» (сборник начал составляться В.И. Межовым с 1867 года. В систематическом порядке включал всё, что о Туркестане и сопредельных территориях появлялось в печати на русском, английском, персидском и других языках. Всего было составлено 416 томов и трехтомный систематический указатель). Только перечень увиденного, свершённого, написанного Снесаревым занял бы многие страницы.

В английских архивах доктор исторических наук Ю. Ганковский обнаружил, что в бытность в Туркестане Снесарев располагал сетью разведчиков и резидентов, иные из которых стали главами государств на Востоке, как Искандер Мирза — первый президент Пакистана. Каков был характер их отношений, давно уже никто не скажет. Но здесь явное свидетельство огромной психологической проницательности Снесарева и тех его внутренних качеств, которые притягивали к нему людей разных народов и вероисповеданий.

В бытность в Туркестанском военном округе он писал: «Я состою в переписке с друзьями, разбросанными всюду… в Кашгаре, Калькутте, Лагоре (Лахоре)…»

А через двадцать лет слушателям Академии Генштаба говорил: «В Индии я прожил семь месяцев, проходил по разным местам Северной Индии, которую потом изучал специально, был в глухих уголках Восточной Бухары, жил на Памире почти два года, был в Кашгарии, Афганистане и т.д. Немало друзей, и если они сейчас не пишут мне, то только потому, что писать не умеют, но каждый раз, когда кто-нибудь едет в Азию или обратно, я восстанавливаю с ними духовное общение».

СЛУЖБА С ВИДОМ НА ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 1904–1910

Из окна служебного кабинета, от арки Генерального штаба, вид открывался не только на Зимний дворец. Видна была вся Дворцовая площадь — самая, наверное, державная площадь мира. Тяжело и, казалось, нерушимо вздымался Александрийский столп, и Ангел, который венчал его, казалось, на веки вечные сбережет Россию. Но не чужд ли России сам город — столица, воздвигнутая на болотах да на костях, продуваемая ледяными ветрами, что ни ненастье, ждущая неизбывно грозящих наводнений?

1

Снесарев, сразу же по приезде в Петербург в декабре 1904 года, произведён в подполковники Генерального штаба. Добавились и награды. Ещё в Ташкенте Снесарев получил орден Станислава третьей степени, а в Петербурге был удостоен и Станислава второй степени. Вскоре после переезда из Ташкента в Петербург ему было разрешено принять и носить персидский орден Льва и Солнца. Началась его служба в Главном управлении Генерального штаба и в Главном штабе, где он был назначен столоначальником, то есть начальником отдела третьей части третьего квартирмейстерства, которое занималось статистикой — сбором разведданных. Третья часть — восточная. Восточные территории. Восточные фронты. Восток не столько мировая экзотика, сколько и впрямь мировая загадка. Или непрояснённость. Но здесь он — что кит в океане. Что сокол в небе. Ему открывались не только даль среднеазиатская и индийская, где он побывал, но и более дальние горизонты: Китай, Япония, Дальний Восток.

Вести с Дальнего Востока приходили более чем безрадостные. Война с Японией сразу же не задалась, да так и не выправилась. Погиб, пусть и героически, крейсер «Варяг». Был блокирован японцами Порт-Артур, подорвался на минах флагманский броненосец «Петропавловск», в морской пучине погибла почти вся команда корабля, тысяча человек во главе с командующим Тихоокеанской эскадрой адмиралом Макаровым; там же завершился последний земной час художника-баталиста Верещагина, который к среднеазиатским, балканским батальным сюжетам уже не смог добавить батальные сцены Русско-японской

войны. Эскадра вице-адмирала Рожественского, в огиб Европы и Африки, через три океана шедшая на помощь осаждённому Порт-Артуру, была разгромлена у острова Цусима. Не легче и на суше. Поражение под Лаояном, поражение под Мукденом, цепь неудач на маньчжурских сопках — слишком дорогая цена! — вдохновят земляка Снесарева, уроженца Землянского уезда Воронежской губернии капельмейстера Шатрова на создание вальса «На сопках Маньчжурии», который вскоре в миллионах пластинок зазвучит по всему белу свету. Сожаления добавляло то обстоятельство, что не спас положение и, более того, был определён в виновники посланный в разгар войны Куропаткин, который благоволил Снесареву. Переживал Андрей Евгеньевич и за брата Павла, который по окончании Военно-медицинской академии был направлен в пекло войны, и не было никаких вестей от него.

Не знал старший брат, что в Порт-Артуре младший познакомится с дочерью дворцового врача Евгенией, медсестрой, что они поженятся там, но женитьба не освободит Павла от некоторой зажатости, всё более усугублявшейся замкнутости. (А как пели они по молодости втроём — Андрей, Павел и Клавдия — плечом к плечу, голос к голосу! И казалось, ничто и никогда их не рассоединит; но какую-то занозу носил в себе младший брат и никому из родных даже не приоткрывал своей души. Лишь однажды, в семнадцатом, он поделится со старшим намерением перебраться за океан из взбаламученной России. Но не уедет. Станет заметной в медицинском мире фигурой: есть в медицине, в психологии термин такой — «эффект Снесарева». Когда старшего брата арестуют, ни разу не навестит его родных, и братья уже никогда не встретятся.)

В 1905 году рождается первенец — сын Евгений, рождается в пораженческий час войны с Японией, и отец вдруг невольно-суеверно думает, что его первенца будущее не сложится. На взморье Финского залива он его, годовалого, держа на руках, обращает то на запад, то на восток, то на юг, то на север — где бы улыбнулась ему русская судьба.

Снесарев в Петербурге с той же ясностью, как и на Памирах, понимает, что одна из пристрастных наблюдательниц за русской судьбой — всё та же Англия, сквозь свои туманы очень ясно ревнивыми глазами не только обозревающая огромный корабль Российской империи, но и незримыми, при этом реальными рулями подвигающая её к опаснейшим пучинам. В «Туркестанских ведомостях» за март 1905 года появляются строки недавно принятого сотрудника Высшего штабного ведомства о речи английского политического деятеля Бальфура; вскрывая её суть, он не оставляет от неё камня на камне. Снесарев мог знать

Бальфура, мог вовсе не знать, что тот был за человек, он, как заповедали отцы Церкви, боролся не с людьми, а с ложными явлениями или идеями, воплощёнными в людях, он развенчивал подмены и мифы, и на всё имел свой, не скошенный лжевидимостями взгляд.

Но в столице империи (с каждый годом всё горестней) видит он и другое — внутреннего недруга, выступающего или в виде высшего военного, гражданского чиновника, озабоченного не доброустроением родины, но собственным ловкоустроением, или в виде свободного представителя свободных профессий, формирующего с кафедр, со страниц печати, в радикальных, либеральных салонах и залах суда общественное мнение только в духе отрицания отечественных начал или же и вовсе в виде революционно-беспощадных, кровавых ниспровергателей монархии.

2

В 1906 году выходит в свет юбилейное издание «Столетие Военного Министерства». Сто лет — не весть какие годы для сильной державы. Но если первая половина этих лет — великая победа в Отечественной войне 1812 года и полдюжины побед в менее значительных войнах, то вторая половина — два тяжелых и унизительных поражения: Крымская кампания, Русско-японская война. Тут бы издать книгу «Причины русских поражений и как их избежать в будущем», а не впадать в праздничный пафос!

Внутри России не то что неустрой, а полный расстрой. Гульбище бродильных сил! Разрушительные, революционные, антигосударственные силы смыкались в ненависти к Руси, России, Российской империи. Снесарев часто бывал у Екатерининского канала в храме Спаса на Крови, размышлял о судьбе императора Александра Второго, который пошёл на реформы либеральные и обширные, но отечественным «карбонариям», доморощенным и взращённым в швейцарских, английских и иных ретортах, даже и «прогрессивная», даже и либеральная Россия была ненавистна, их бы устроила разве что Россия, насквозь и полностью подконтрольная им, незримо подконтрольным в свою очередь западным разрушительным учениям и течениям.

«Революционеры и анархисты… Когда доблестные сыны России сражались на полях Маньчжурии… они внутри России возмущали запасных, устраивали забастовки, чтобы прекратить работу фабрик и подвоз на Дальний Восток как войск, так и всего им необходимого и дать через это возможность неприятелю

одержать победу, подбивали крестьян на грабежи помещичьих имений. Они старались подорвать у армии веру в свои силы… вливая в армию сомнение в правоту своего дела… Они говорят, что офицеры — господа, ничего не делают, даром только получают жалованье, но умалчивают про то, что офицер, кроме своего военного дела, сделал даже для народного образования больше, чем школьный учитель. Офицер учит своего меньшего брата-солдата, просвещает и развивает его… Обвинители офицеров не хотят знать, что офицеры в мирное время наравне с солдатами стерегут, часто с опасностью для своей жизни, покой своих соотечественников, а в военное время заливают своей кровью поля сражений», — с горечью, с тихим криком пишет Снесарев в первом выпуске журнала «Чтение для солдат» за 1906 год. Вскоре в «Голосе правды» он напоминает, что непреложное правило армии — быть вне политики, вернее, вне партийных тяжб и искушений встать на новые пути.

Снесарев словно предугадывает, какому давлению и шельмованию подвергнется русская армия в пору двух буржуазных криминальных революций — Февральской 1917 года, так называемой керенщины, и августовско-октябрьской 1991–1993 годов и до конца века перестройки-реформаторщины.

«Ненавистники тишины и порядка… борются против существующего государственного управления… чтобы вместо теперешнего правительства водворить другое, какое им нравится, при котором им будут принадлежать сила, верх и почёт, тогда и всю жизнь они круто повернут по-своему. Они… хотят уничтожить самую веру в Бога, смеются над теми, кто Ему молится… Да разве это не кабала, не рабство, — пишет Снесарев в 1906 году в статье “Грозный враг” и продолжает далее: — Иностранцы только ждут удобного времени, чтобы ворваться к нам под предлогом восстановить порядок. Они ещё не успели сговориться, но не за горами то время, если мы будем продолжать нашу смуту, когда начнут наши внешние враги протягивать к нам свои жадные лапы и стараться урвать себе побольше при дележе нашей Родины». В другой статье того же года: «Страшно сказать, что в России покой и обеспеченность её граждан находятся под постоянным риском, или, говоря иначе, страна наша не выполняет как государственный организм элементарных задач». Статья за статьёй, как крик боли за криком боли: «Слуги государства, как подкошенные колосья на ниве, падают один за другим, выполняя свою тяжёлую задачу; позади них остаются покинутыми большие семьи, но всё это горе повторяется уже слишком часто, чтобы остановить на себе прочное внимание общества… завтра раздадутся новые выстрелы, падут новые

жертвы, и кровавый календарь занесёт на свои страницы новый “подвиг” людей-зверей, которым в минувшие дни революционного угара были придуманы самые замысловатые клички… — военный публицист сетует, что нет единого понимания, как бороться со злом, и продолжает: — Левые газеты сейчас же возвращаются к своему общему рецепту, который, по их мнению, должен удержать и разбойников от их кровавых дел. Этот рецепт сводится к общей перестройке всего существующего в России, словно и в самом деле в случае существования”всероссийской республики” господа грабители пощадят жизнь ребёнка, которого они с таким бессердечием душили во времена монархии».

Сколько пострадавших и погибших! В 1901 году смертельно ранен министр народного просвещения Боголепов; совершено покушение на обер-прокурора Священного Синода Победоносцева. В 1902 году смертельно ранен министр внутренних дел Сипягин; совершено покушение на харьковского губернатора Оболенского. В 1903 году убит уфимский губернатор Богданович. В 1904 году убит финляндский генерал-губернатор Бобриков; убит министр внутренних дел Плеве. В 1905 году убит в Пензе генерал-лейтенант Лисовский; покушение на бывшего московского обер-полицмейстера Трепова; убит генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович; ранен выборгский губернатор Мясоедов; убит московский генерал-губернатор граф Шувалов… жертвенному списку, который легко пишет и пополняет несчастными смрадный легион злобы, неистовой бесчеловечности, словно и не предвидится конца. Сколько искалеченных и погибших судеб в этих покушениях и расправах. Женщин, детей, стариков. А не за горами и варварски жестокий взрыв на столыпинской даче, который унесёт десятки жизней ни в чём не повинных.

Даже сильной и честной, содружной государственной власти (а она такой не являлась), даже при благоприятной внешней обстановке трудно было решать эти охранные задачи, ибо агрессивные «преторианцы» террора несли бациллы разложения и насилия и в фабрично-заводскую среду, и в крестьянскую избу, в общество, семью и университет. Даже в армию. «Сквозящая везде одна и та же цель — сделать армию неспособной к подавлению внутренних беспорядков путём привития основного тезиса антимилитаризма — что войска не должны стрелять по бунтовщикам, невольно наводят на мысль, что вся эта проповедь ведётся под руководством какой-то одной, общей для всех стран организации и составляет одну из глав намеченного ею к исполнению плана. В этом предположении нас утверждает и то

обстоятельство, что, расшатывая всеми средствами “официальную” армию во имя якобы высоких идей: гуманности, прогресса и т.п., антимилитаристы в последнее время принялись за сформирование собственной армии. Таковыми являются все боевые организации наших революционеров… Это двуличие, эти характерные две мерки: одна для нас, другая для них (как тут не вспомнить двойные стандарты в сегодняшнем мире — давно опробованные двойные стандарты, гораздо ранее двадцатого века! — *Авт.)* — заставляют заподозрить, что невидимые вдохновители всей этой пропаганды и всех этих боевых организаций из рабочих и др., диктующие и тем и другим их поведение, — люди, для которых всегда и всюду существуют две меры: одна — для избранных, другая — для всех остальных, а социалисты и сбитые с толку рабочие — их покорное, бессознательное оружие, их пушечное мясо». Но будут ли выработаны международные пути противодействия этому грозному наступательному злу, и вообще возможны ли они? Снесарев в связи с этим напоминает о русском почине: «В 1902 году Россия обращалась через своих представителей к иностранным державам с предложением установить международное соглашение для борьбы с анархистской пропагандой, но предложение это далеко не везде встретило сочувствие и потому не имело никакого результата. Вероятно, большинство государств полагало, что дело это может близко касаться только нас, а себя считало в безопасности, или же, быть может, нашлись советчики, которые сумели успокоить кого следует. Во всяком случае, не мешает помнить, что ещё Дизраэли имел смелость утверждать в своём романе “Конингсби”, что все нити международной политики находятся в руках единоплеменников».

Что можно было противопоставить разрушительной пропаганде? Своё созидательное слово и для военных, и для гражданских. Снесарев идёт в редакторы журнала «Чтение для солдат», где публикует настоятельно необходимые статьи: «География России», «Внутренние враги России и их революционная проповедь», «Дисциплина в армии». Он также, по сути, формирует курс газеты «Голос правды». Справедливое, бесспорное утверждение современного исследователя снесаревской военной «вселенной» А.Е. Савинкина: «Именно со страниц “Голоса правды” Снесарев повёл бой в защиту Отечества, таких его святых и незыблемых понятий, как Бог, Родина, история… выдвинул и всесторонне обосновал русскую национальную идею, стратегию исторического (эволюционного) развития России, идею практического изучения Востока;

упредительно разоблачил кровавую сущность предстоящего России социалистического эксперимента; указал на дальневосточные перспективы и “жёлтую опасность”; разработал концепцию здорового эгоизма в международных отношениях и принципы внешней политики России; сформулировал аксиомы государственной обороны и законы войны».

Предостережение — из пророческих: «Создалась крупная угроза русской государственности, угроза нашему прошлому, нашим национальным идеалам, светлому облику нашей Родины… У России нет будущего вне законов истории». А ведь сколько их было, «мастеров» обращаться с Историей, как с беззащитной женщиной: осветить в своем мертвенно-выморочном свете или увести в тень; подправить Историю, а то и вовсе заменить; обогнать Историю или убыстрить её бег; законсервировать; усечь и даже — покончить с нею. Убить!

Печататался Снесарев чаще под псевдонимами: Восточник, Туркестанец, Кубанец, Мусафир, С-ев… не литературной блажи ради, того требовал конспиративный кодекс разведчика.

3

В фокусе — всемирное и отечественное, большое и малое. Пишет даже о зарубежном вояже Горького. «Когда Максим Горький и его сообщники предприняли кампанию за границею, чтобы подорвать кредит нашей страны, этот дикий и циничный акт вызвал на страницах левой печати улыбки и одобрение; органам этого фланга не пришло в голову обеспокоиться за судьбу России…» («Голос правды», 1907). Горький, правда, увидел за океаном и нечто зловещее, лицемерное, обездушенное, о чём и рассказал в «Городе жёлтого дьявола», но его внутреннее «босячество» выжигало естественную любовь к родине, пусть она и была для него досадной из-за монархического устройства. Испытает он багрово-красные прельщения и реальности революционного — и буржуазного, и большевистского — «переустройства», буревестником которого был. Поздно спохватится. Но искренним перед собой едва ли до конца станет. «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа…» Подобными заявлениями-булыжинами в его злой статье «О русском крестьянстве» и иных хоть мости чёрную площадь раздора. Но откуда он вынес такое наотмашь бьющее убеждение? Со дна жизни, тяготевший к этому «дну»? Сам жестокую революцию звавший? «Безумство храбрых» провоцирующе-безответственно воспевший?

Пути Снесарева и Горького пересекутся заочно на Русском

Севере, на Соловках, на Беломорканале, у первых вёрст первой большевистской ударной стройки. И не увидит «великий пролетарский писатель», духовный вдохновитель массивного фолианта «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», вкупе с востронацеленными очами и перьями Виктора Шкловского, Всеволода Иванова, Веры Инбер, Валентина Катаева, Михаила Зощенко, Льва Никулина, Корнелия Зелинского, Бруно Ясенского, Евгения Габриловича, Алексея Тихонова, Николая Погодина, Алексея Толстого, Константина Финна-Хальфина и иже с ними всего ужаса, заключённого в подвижный концлагерь народа. (Зато восторженными словами и сагами воздано главному тогда держателю карательно-воспитательного меча Ягоде, лагерным «вождям», а среди них: Семён Фирин, Матвей Берман, Нафталий Френкель, Лазарь Коган, Яков Раппопорт, Сергей Жук, да и главный охранник канала Бродский, да и «железный» Сольц, — в «Ахипелаге Гулаге» Солженицын даст им кратко-выразительные «характеристики».

А ещё прежде с тем же сомнительным сердечным соучастием облагодетельствует Алексей Максимович своим посещением Соловки. В «Воспоминаниях» академика Д.С. Лихачёва есть о сем сановитом литературном посещении несколько абзацев, весьма живых и весьма не украшающих образ «великого пролетарского гуманиста». Лихачёв полагает, и это не отвергнуть, что Горький по весне 1929 года на три дня приехал на Соловки, «чтобы переломить общественное мнение Запада… успокоить общественное мнение». Действительно-таки переломил. Прибыл он на пароходе, который кого только не переправлял с материка на острова и обратно — сначала под естественным именем соловецкого подвижника «Святой Савватий», а затем под насильственным переименованием «Глеб Бокий», во славу одного из весьма видных чекистов — руководителей лагерей. Прибыл не один, а со снохой — женой его сына Максима, по-чекистски одетой в кожанку. Лихачёв был в толпе наблюдающих и что-то смог увидеть воочию, о чём-то неувиденном рассказали другие — видевшие. Горький побывал в лазарете, но не стал подниматься на второй этаж под предлогом нелюбви к парадам, зато с удовольствием осмотрел в церкви устроенную тюрьму «Секирка», «припараденную» гораздо более лазарета. Долее всего пробыл в трудколонии, пройдя туда сквозь неестественный хвойный строй: «по обе стороны проходов воткнули для декорации срубленные в лесу ёлки»; поистине братья им — убитые в корнях, переносимые сады в трагическом «Чевенгуре». Горький пожелал говорить с мальчиком, чтоб тот всё рассказал как есть, и тот всё рассказал как есть, и писатель вышел на люди плачущий и слёз не

отирающий. Правда, при отъезде слёз уже не было, он добродушно беседовал с начальством лагеря, пока под наспех наброшенным брезентом коченела партия полуголых припрятанных заключённых, не к часу пригнанная на погрузку близ пристани. Уехал Горький, и мальчика больше никто не видел, да и многих других… Великий сердцевед то ли не каждое сердце ведал, то ли очерствел собственным сердцем, но, право, не стоило ему, даже при возможно или якобы затянувшейся его наивности, затевать сие громкое путешествие.

Лихачёв вспоминает и о досоловецком злореволюционном времени, когда уже необратимо рушились Россия и Церковь, и пишет прекрасно: «Мы не пели патриотических песен, мы плакали и молились».

4

Снесарев ещё в Туркестанском военном округе, в Ташкенте, проявил себя как замечательный лектор. В Петербурге в этой сфере он стал одним из лучших. Его выступления — выступления энциклопедиста, в каждой лекции — масса разнообразной информации, глубина и математическая логика мысли, благородный стиль изложения, образность языка, искренность, живое сопереживание и в горе и в радости. Собиралось много народа, иногда аудитория оказывалась тесной, и тогда приходилось прочитывать повторно и уже в другой аудитории.

Лекция «Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе» была прочитана Снесаревым дважды в начале 1906 года. А в конце того же года вышла отдельной книгой.

Английская реакция — за версту узнаваема. Лорд Керзон: «Опять этот неистовый капитан!» Досадливо он не раз повторит своё восклицание, как заклинание, должное помочь, — Снесарев уже в чине полковника, а за тысячи вёрст от Ташкента и от Петербурга, на Гринвичском меридиане, всё ещё раздаётся в сердцах: «Опять этот неистовый капитан!» Изложенное военным мыслителем-аналитиком было пристрастно прокомментировано в западной прессе. «Times» от 7 февраля 1906 года, сосредоточась на опасном для Англии внимании России к персидским делам, посчитала необходимым сообщить, что полковник Снесарев в недавней лекции высказал мысль, что крах британского правительства в Индии поможет русским планам продвижения на юг. «Pall Mall Gazette» от того же дня, рассматривая «русский взгляд на Индию», разразилась достаточно едкой, да и гневной статьей, озаглавленной «Extraordinary Address of an Officer» — «Необыкновенное выступление одного офицера». А полковник

Йэт, не по книжным страницам изучивший азиатские границы России и, будь его воля, не прочь отодвинуть их далеко на север, в том же году в статье «Baluchistan», опубликованной в журнале «Asiatic Quarterly Review», назвал Снесарева ни больше ни меньше как общественной опасностью — «public danger».

Вскоре профессор из Будапешта Арминий Вамбери, путешественник, учёный-тюрколог, англофильски и антирусски настроенный, в статье «Constitutional Tartar» («Конституционные татары») в лондонском журнале «The Nineteenth Century and after» выказал явное неприятие позиции Снесарева, — дескать, где это русский полковник обнаружил неудовольствие и даже вражду между индусами и их британскими друзьями-хозяевами: «Полковник Снесарев, этот последний образчик русской благодарности и вежливости, был настолько любезен, что уверяет публику в том, что Англия потеряет Индию отнюдь не благодаря превосходству русского оружия (которое столь блистательно было продемонстрировано на полях Маньчжурии), но благодаря недовольству и враждебности её собственных английских подданных, которые в ближайшем будущем свергнут шаткий строй британских радж». (Плоско саркастический профессорский опус мог обмануть желавших обмануться, мог даже и огорчить сторонников русского военного мыслителя своей жёлчной поверхностностью, но справедливости снесаревского взгляда отменить не мог.)

А ещё английская пресса писала о Снесареве как о выдающемся офицере либерального направления, который должен занять большой пост. Либерального? Да, они тоже разные. Есть либеральные консерваторы, есть либеральные радикалы-экстремисты. Есть отечественники, а есть бескорневые «вселенские граждане», все идеалы и «общечеловеческие ценности» усматривающие только в иностранном, игостранном. Есть исполненные любви к России, созидатели, и есть её ненавистники, разрушители.

«Англо-русское соглашение 1907 года» — эта лекция о конвенции, заключённой между Англией и Россией в августе 1907 года, также была прочитана Снесаревым не один раз. Сначала — в Обществе востоковедения 8 января 1908 года; вскоре была повторена в Обществе ревнителей военных знаний. Обращалось внимание на географическое положение Тибета, Персии и Афганистана — стран, на которые распространяется соглашение; они, даже не приглашённые, если не повлиять на ход, то хотя бы подписать соглашение, сравнивались с зёрнами меж двумя жерновами — Россией и Англией; было рассказано о том, какими способами Англия берёт Тибет и Афганистан под своё широкое и

не знающее устали крыло и каковы её нынешние интересы в Персии. Основная часть айсберга англо-русских противоречий покоилась невидимо на глубине: в соглашении ни словом, ни звуком не названа Индия, хотя никто не обманывается, что именно в индийской теме весь и корень и узел вопроса. Лондонская печать, дружно благосклонная к конвенции, удовлетворена, по слову выступающего, «достижением каких-то неизвестных ещё нам, но тем не менее крайне важных имперских целей». Скорее всего, это возможности нейтрализации России на южном направлении. Для русских же положительное в принятом соглашении: худой мир лучше доброй ссоры. Но надолго?

Лекция нашла широкий отклик в отечественной печати. На неё самым благосклонным образом отозвалась пресса — тринадцать изданий! «Русский инвалид» в восьмом номере за 1908 год (официальная газета военного министерства, для нашего времени странное название, сразу же наводящее на скорбные, непобедные мысли; иной бы смысл — «Русский воин» или хотя бы «Ветеран», но заметим, что ранее инвалидами называли вообще всех участников войн) сообщил, что 8 января полковник Снесарев прочитал доклад об англо-русском соглашении 1907 года; изложив основное содержание, министерский вестник посчитал необходимым сказать, что в зале находился генерал-адъютант Линевич, присутствовали юнкера, что помещение не смогло вместить всех желающих и что лекцию необходимо повторить.

Английская газета «Morning Post» посвятила соглашению передовую статью в номере от 4 июля, а также статью «The Rivalry in the East», в которой подробно разбирает лекцию Снесарева и замечает, что «Colonel Snessereffis cool and critical and very Russian».

«Англо-русское соглашение 1907 года» вскоре появилось и в печати: тридцатистраничное снесаревское размышление с весьма основательным анализом того, что кроется за этим в действительности «неискренним», как назвал его Снесарев, соглашением и чего от него ожидать; соглашение — кратчайший путь к Антанте, Антанта для России — кратчайший путь к катастрофе.

При Александре Третьем внутренние злобно-разрушительные силы были усмирены, а страна достигла небывалого процветания во всех сферах отечественной жизни. Правда, именно при нём Россия пошла на сближение с Францией, отходя от Германии, что должно было неминуемо роковым образом сказаться на будущем России, как предполагал Снесарев и как и сталось в действительности: путь от Первой мировой войны до русской

революции оказался короче ковровой дорожки, на которой в недобрый для России час сошлись русский царь и французский премьер под звуки добродушно императором дозволенной «Марсельезы». А Франция двигалась в фарватере английской политики, традиционно к России недоброжелательной. После Русско-японской войны Англия, правда, повела курс на сближение, якобы на сближение, с ослабленной, но по-прежнему для её всесветных притязаний опасной на индийском и персидском направлениях Россией.

Уже в этих двух лекциях проявлен истинно большой геополитик, военный мыслитель европейского уровня, ими Снесарев определял геополитический горизонт страны, её геополитические реальности и иллюзии. Глубокое убеждение военного мыслителя: России должно быть нейтральной державой. Он, как Менделеев, как Столыпин, видел Россию истинно великой, первошествующей и процветающей страной, а для этого требовалась хотя бы четверть века мирной жизни, без потрясений (в смутьянствующее крыло Думы Столыпин бросил всю страну окликнувшие слова: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»).

И Снесарев писал: «Рисковать войной мы права не имеем… России нужен долгий и прочный мир для внутренней работы… Почему она неминуемо должна стать на сторону или Германии, или Англии? Почему Россия не может оставаться свободной, жить своей собственной жизнью, не втягиваясь в ту борьбу, которая касается других?..» Он прекрасно видел, что неискреннее, формально узаконенное соглашение с Англией предопределяет поворот государственных векторов и операционных стрел генштабовских карт против Германии, которая, не в пример Англии, не только не воевала против России весь девятнадцатый век, но и протягивала пусть и не совсем уверенную руку если не дружбы, то хотя бы понимающей взаимности. Чтобы обрести уровень «активно и прозорливо работающей страны», России не во вред было бы по-настоящему освоить опыт Англии, её народа и кабинета, за столетия выработавших ничем не нарушаемый путь защиты своего интереса (прежде всего интереса), прежде всего расчёта, редко когда утесняемого нравственными соображениями и угрызениями.

И через долгие годы, уже после Первой мировой войны, Снесарев вспоминал злосчастное англо-русское соглашение: «Кто в 1907 году, т.е. за семь лет до мировой войны, забавным политическим росчерком пера временно вычеркнул из памяти и обихода старые среднеазиатские распри с Россией, опять-таки готовясь к какому-то крупному шахматному ходу? Это была

Англия, а не Германия».

От одной катастрофы — к другой. От восточной — к западной. Отголоски дальневосточной войны-трагедии так или иначе постоянно давали о себе знать, 1908 год не был здесь исключением. По-прежнему и в столицах, и в самых отдалённых уголках страны звучал исполненный скорби шатровский вальс. Вышел в свет тематический альбом военного художника Н.С. Самокиша — с жёстко впечатляющими рисунками: «На сопке после штурма», «Улица в Мукдене», «Бой у станции Шахэ», «Помни о войне»… В печати был помянут день гибели Р.И. Кондратенко, отважного и бесстрашного начальника сухопутной обороны Порт-Артура, четырьмя годами ранее убитого при осмотре форта — при попадании снаряда в офицерский блиндаж-каземат.

В апреле 1908 года страна прощалась с генерал-адъютантом Н.П. Линевичем, участником Русско-японской войны. Он был не последней начальнически-командной фигурой в объединённых силах европейцев при подавлении Ихэтуаньского (Боксёрского) восстания — восстания больших кулаков, входил с «союзниками» в Пекин; а в Русско-японскую войну командовал Маньчжурской армией. Смерть его почтили даже японцы: военный министр Японии прислал телеграмму с выражением соболезнования и большой венок от японской армии.

Снесарев хорошо знал Линевича, который бывал на заседаниях Общества востоковедения, а снесаревских лекций и вовсе не пропускал. Бывал он и в доме Снесаревых. Иногда они бродили по берегу Невы, а разговоры всё время были о войне и мире. Говорили о том, что раньше, намного раньше, нужно было России «задружить» с Китаем и Японией. А затея подавления Боксёрского восстания и неблагодарная и не имеет никакого будущего. Восстание, в сущности, из народных низов, оно против иностранного засилья, и как же набросились иностранные конкистадоры на Китай, сколько их в этой мгновенной сплотке — американцы, англичане, французы, немцы, австрийцы и венгры, итальянцы, японцы и, увы, русские! Командовал объединёнными европейскими войсками германский генерал-фельдмаршал фон Вальдерзее, однако, и он, Линевич, не в дальней стороне пребывал, когда, с позволения сказать, союзники втягивались в Пекин, выдавливая оттуда повстанцев.

И Линевич, и Снесарев понимали, что подобного Китай впредь уже не позволит, и так или иначе захваченные, арендованные и т.п. куски территорий рано или поздно вернутся под китайскую сень.

И что тогда Порт-Артур и порт Дальний? И что Маньчжурия и

железная дорога по ней до Порт-Артура? (Через сорок лет Советский Союз, наследовавший территории Российской империи, возьмёт реванш за дальневосточное поражение, разгромит Кван-тунскую армию, но Порт-Артур, как и некогда спешно построенная русскими Китайско-восточная железная дорога, останутся всего лишь ностальгическим воспоминанием, а отвоёванный Сахалин и Курильские острова станут поистине яблоком раздора меж русскими и японцами.)

На далёком от европейских равнин Дальнем Востоке русские давно ли терпели поражение за поражением, на огромных азиатских пространствах роняя славу отважных и непобедимых; частные успехи, вроде прорыва полковника Корнилова, будущего Верховного главнокомандующего русскими войсками, сумевшего вывести вверенные ему части из-под разгрома, ничего не могли изменить. Поражение-то было полное…

Русско-японская война и русская смута 1905 года — как две пробоины в днище русского корабля. Россия потеряла обаяние и могучего противостоятеля Англии, и державы, способной быть дружественной Востоку, азиатскому миру. В Индии, Персии, Турции, как красные цветки в весенней пустыне, загорались языки национального, революционного пламени, и Снесарев призывает обратить свой взор на Восток — события в бедных горах и пустынях отзовутся на берегах Темзы. Да и Невы, следует добавить. Из-за раздела Бенгалии и из-за других малоудачных реформ Керзона поднялась Индия. Её коренные жители, по своей издревле миролюбивой традиции, по созерцательному восприятию мира считавшиеся непротивленчески-послушными, вышли на улицы, обращая в бегство полицейские карательные патрули.

5

Внимание к Востоку — главное в деятельности Снесарева в бытность в Северной столице. Восток у него и непосредственно его прямая работа — третье квартирмейстерство Главного управления Генерального штаба; Восток выходит на ближний план и при чтении лекций в военных училищах; и просветительское его подвижничество в таких почтенных обществах, как Императорское Русское Географическое общество, Императорское общество востоковедения, Российское общество ревнителей военных знаний, дышит восточными мотивами.

Председателем Географического общества был маститый П.П. Семенов-Тян-Шанский, первый исследователь Тянь-Шаня, член Госсовета, почётный член многих всемирно знаменитых

академий, также уроженец Чернозёмного края; его 80-летие торжественно отмечалось в начале января 1907 года. Снесарев не однажды встречался с председателем, он видел, что такими людьми держится Россия. Увы, у Географического общества даже на пике его славы не было собственного помещения, и заседали то в кадетском корпусе, то в Офицерском собрании, то в зале Академии наук: высказать разумные, дельные мысли — всегда место найдётся. Дела Географического общества были истинно национального масштаба: всестороннее исследование ещё не разгаданной Азии, научные экспедиции Н.М. Пржевальского, НА. Северцова, М.В. Певцова, А.П. Федченко, Г.Н. Потанина, Г.Е. Грум-Гржимайло…

В сентябре 1907 года П.К. Козлов, ученик Пржевальского, отправился в большую экспедицию в Центральную Азию. Андрей Евгеньевич хорошо его знал и провожал его. От путешественника периодически поступали вести. Письма зачитывались на заседании Географического общества. Был найден, весь в развалинах, главный город тангутов Хара-Хото, погибший многие века назад; сохранилась редкостная библиотека, проливающая свет на историю некогда сильного народа. И когда в январе 1910 года Козлов на общем собрании Географического общества под председательством Семенова-Тян-Шанского в стенах Первого кадетского корпуса рассказывал о своей экспедиции в былые тангутские земли Центральной Азии, в зале народу собралось, действительно, яблоку негде упасть; среди присутствующих — министр иностранных дел, шведский и норвежский посланники, великие князья. Разумеется, был и Снесарев, дружески связанный с Козловым научными медиевистическими, восточноведческими интересами. На выставке предметов, вывезенных из Хара-Хото, радовали их сохранность и краски, вовсе не повреждённые временем.

6

26 ноября 1907 года отмечается 75-летний юбилей Императорской Николаевской военной академии Генерального штаба, основанной генералом Жомини в 1832 году. Правда, для Снесарева военный гений-теоретик — не француз Жомини, а немец Клаузевиц, о чём он во всеуслышание и заявляет. Тем не менее он среди почётных приглашённых, равно как и перебравшийся в Петербург его тесть генерал-майор Зайцев. Памирский ветеран тридцать лет прослужил в Туркестане, из них двенадцать последних лет — воинским начальником Ошского уезда. И, наверное, пора сказать хотя бы коротко о его долгой и

достойной жизни.

Василий Николаевич Зайцев родился в Перми в 1851 году. Учился в Пермской военной прогимназии, по окончании в 1867 году был назначен на службу сначала в Пятигорский полк, а затем в Туркестанский линейный батальон. В 1870 году был командирован в Оренбургское юнкерское училище, по завершении курса в звании портупей-юнкера возвратился в Туркестан. Началась его боевая походная страда: Хивинский, Кокандский, Андижанский, Алайский походы. В Кокандском и Алайском походах он был адъютантом М.Д. Скобелева, Белого генерала, Ак-Паши, и у него до поздней старости хранилась фотография генерала с надписью «Дорогому Васюку от Михаила Скобелева».

Какое бы дело ни поручалось Зайцеву — боевое, административное или представительское, он всегда выполнял его наилучшим образом, отличаясь распорядительностью и административным талантом. Уже тогда он начал вести наблюдения географического и этнографического характера, собирал материалы по истории своего полка. В 1880 году вышло в свет «Руководство для адъютантов» — книга, выдержавшая 16 изданий, не устаревая: чуть не полвека спустя, в 1925 году, главная армейская газета «Красная звезда» настоятельно рекомендовала переиздать её вновь. Зайцев также автор большой статьи «Памирская страна — центр Туркестана», опубликованной в 1903 году в «Ежегоднике Ферганской области», а перед тем внимательно, с карандашом в руках, прочитанной Снесаревым.

С 1886 года Василию Николаевичу поручено «благоустройство города Ош». На два года эта деятельность прерывается: его назначают начальником Памирского отряда, он кладёт начало благоустройству Памирского поста. Затем он возвращается в Ош к своим прямым обязанностям уездного начальника. Помимо оных участвует в организации народных чтений на русском и туземных языках, в Первой всеобщей переписи населения в 1897 году, в деятельности Общества Красного Креста. Беззаветно помогает пострадавшим от Андижанского землетрясения.

Административная и научная деятельность успешно совмещались. Туркестан в ту пору был для России краем новым, малознаемым, он требовал серьёзных исследований и описаний. В кружке любителей естествознания молодые офицеры под руководством Зайцева проводили наблюдения географической, геологической, природоисследовательской направленности. Начальник Ошского уезда, глубоко внимательный к историческим судьбам здешних племён и народов, более всего занимался

этнографией. И в этом интересы тестя и зятя неизменно совпадали.

Когда после двадцатилетнего благослужительства в Оше в марте 1906 года Зайцев готовился к переезду в Петербург, памирские горцы вознесли общую молитву о ниспослании Василию Николаевичу и Ольге Александровне доброго пути. «Человек, отлично знающий все местные нужды и условия и проведший лучшие годы своей жизни в изучении нужд вверенного Вашему попечению народа», — писали в адресе выборные по поручению киргизского населения Ошского уезда. Василий Николаевич говорил, что высокие нравственные качества народа давали ему возможность управлять уездом добрым словом, без системы наказаний. Он настойчиво рекомендовал изучать русский язык и давать более обширное образование детям, чтобы увидеть кого-либо из туземных юношей мировым судьей, врачом, офицером. Даже в 1926 году, через двадцать лет после выезда из Оша, от Джамшида Карабекова, внука алайской царицы Курбанджан, собирателя поэтических преданий своего народа, одного из тех, кто сохранил для мировой культуры киргизский эпос «Манас», он получил приглашение приехать и обещание встретить торжественно как наижеланного гостя. (Приглашение, по сути, от имени киргизского народа ему вручил Н.М. Козо-Полянский, инженер-ирригатор, работавший в Оше, — брат Б.М. Козо-Полянского, известного учёного-ботаника, создателя Ботанического сада Воронежского университета.)

7

Знакомых в Петербурге стало столько, что если бы только раз в год навещать или принимать в гости каждого из них, года, пожалуй, и не хватило бы.

Среди близких в Обществе востоковедения — Ритгих, учёный секретарь Среднеазиатского отдела, Аристов, Сементовский, Карта-шевский, Андогский, Позднеев, Масловский, Кареев, специалист по Афганистану, трагически ушедший из жизни в 1908 году; о нём Снесарев опубликовал некролог в «Голосе правды» и в сборнике Среднеазиатского отдела.

Хорошие знакомые по Главному штабу — Александр Михайлович Волконский, внук Волконского-декабриста; Василий Фёдорович Новицкий (его брат Фёдор — «автор» штурма Перекопа, а брат Евгений — на других берегах: командир Семёновского гвардейского полка, участник Белого движения, эмигрировал в Югославию); Владимир Степанович Скобельцын (отец знаменитого советского академика, учёного-физика,

открывшего электронно-ядерные ливни), из рода в род военных, любил повторять анекдот о своём предке генерал-аншефе Скобельцыне из восемнадцатого века: был тот в своё время отставлен от должности и в приказе стояло: «…поелику он на фрунт грусть наводит». На фронте они не раз встретятся, а в Гражданскую Скобельцын, пройдя северными дорогами белых, уйдёт в эмиграцию; Леонид Митрофанович Болховитинов, знаемый Снесаревым по совместно проведённым годам в Академии Генштаба, — тоже будущий белоэмигрант; в Гражданской войне он послужит сначала у красных, когда попадёт в плен к белым, будет разжалован до рядового, но через год вернёт себе генеральский чин. Ещё Николай Николаевич Сивере, ещё Владимир Евстафьевич Скалой, чей предок погиб при обороне Смоленска, и Наполеон велел похоронить его со всеми подобающими воинскими почестями.

Другом Андрея Евгеньевича по работе и по духу был Фёдор Фёдорович Кудрявцев, правнук Н.Н. Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Сын его, тоже Фёдор Фёдорович, при моей встрече С ним вспоминал далёкие дни, когда Снесарев бывал их гостем, а он, мальчик, сидел, зачарованно, завидчиво слушал статных военных и считал, что нет иного пути для мужчины, как стать военным. Разговор то серьёзный, то шутливый, порой переходил на французский, немецкий языки, даже на восточные. Поражала масштабность знаний и интересов. Однажды они весь вечер занимались Америкой, для начала не «пустив» туда ни Колумба, ни англичан, а затем «разрешив» им перебраться через океан, но снабдив индейцев конями, им принадлежавшими по праву истории, и выверенно расставленными на побережье пушечными батареями, которые на века отбили охоту у европейцев искать золотых и пряных земель. И совсем по-иному пошло движение мира…

Близкими были О.А. Федченко и её сын Б.А. Федченко, главный ботаник столичного Ботанического сада, — он, как и Свен Гедин, когда-то в Туркестане ухаживал за будущей женой Снесарева. Ольга Александровна — крёстная Кирилла, второго сына Снесарева. Маленькой дочери Андрея Евгеньевича она запомнилась в день Пасхи на втором году Первой мировой войны — почтенной матроной, сидящей у горящего камина, и на столе — горящая свеча: Ольга Александровна никогда не работала при электричестве, только при свечах, почти не читала газет и не слушала радио (прямо-таки как в романе Набокова — «княгиня порицала радио как еврейскую затею»). Да, она была величавая женщина, Ольга Александровна, в замужестве Федченко, не пожелавшая стать в замужестве Толстой… Лев Толстой, прежде

чем посвататься к Софье Берс, сватался к ней, но получил отказ. Когда писателю исполнилось 80 лет, много славословий было сказано в его адрес, и попадавшиеся ей на глаза она воспринимала спокойно, не читая; правда, вскользь пробежала глазами журналистские выпады против Священного Синода, вынужденного отметить отпадение Толстого от Церкви; и не понять было её иронической гримасы: то ли реакция на неуместно-стариковское «церковоборчество» писателя, то ли на плоские и злые перья «прогрессивных» журналистов.

Всегда желанный гость в доме Снесаревых — всеевропейской известности борец, чемпион мира Иван Максимович Поддубный. Никогда он не отказывался от спортивных поединков с самыми прославленными борцами. Никому из них (Зифриди, Петерсен, Понс, Боккеруа, Гаккеншмидт) не удавалось удержать звание чемпиона мира больше одного года. А Поддубный был им шестикратно и по справедливости заслужил звание «чемпиона чемпионов».

Могучий богатырь, потомок племени запорожского, был в жизни добродушен, едва заметная улыбка часто гостевала на его лице. Мог пошутить, как в известном ответе газетчикам, которые откуда-то узнали или выдали желаемое за действительное, что в Петербурге в лето 1908 года состоится коррида, и что из Испании уже движутся быки и тореадоры, и что главным тореадором русская публика желает видеть Поддубного; на что Иван Максимович, какой-то миг подержав ироническую улыбку в запорожских усах, ответствовал, что, во-первых, перчатки-вызова от быков не получал, а во-вторых, он с быками не борется и не воюет, поскольку их собратья-волы, судьбе покорные, не один уже век влекут арбы и возы, помогая крестьянину, быть которым и он имеет честь.

Поддубного, любившего аппетитно поесть, приглашали обычно к обеду. Горничная Таня Проскурякова, румянощёкая, весёлая девушка из поморской глубинки, счастливо нашедшая дом Снесаревых и счастливо вошедшая в него, приносила из кабинета и ставила рядом два дубовых кресла с резными верхами, изображавшими двух вздыбленных львов, передними лапами поддерживающих щит. Посадив хозяйку и горничную на увесистые кресла, Иван Максимович, играючи, поднимал и словно бы взвешивал: кто больше тянет. Снесарев, в чьих жилах разреженно струилась струйка крови запорожской, посмеивался, мол, их предки на днепровской Хортице гружёные возы приподымали, а потомки разошлись: один, пожалуй, и многотонный вагон с места сдвинет, а другой — тяжелее полковничьей шапки ничего-то и не подымет.

Как во всяком времени, утрачивающем ровное, спокойное течение, отовсюду проекты, действа и новации били тогда через край. Была, например, организована и женская борьба. Любопытствующих собралось — не пробиться в зал, но после первого же раунда он стал полупуст: зрелище оказалось малоприятным, слабый пол совсем не украшающим. Впрочем, то были цветики, пройдёт век, и женская половина эмансипируется до такой степени, что не диво будет увидеть ладушек, брунгильд, миссис, как их там ни назови, боксирующих, снайперски стреляющих, убивающих — всё умеющих, разве только не умеющих воспитывать детей и даже рожать их не желающих.

В феврале 1908 года в Петербурге проходит международный шахматный турнир. Его участники — мастера мирового класса, среди них и чемпион мира Ласкер, и будущий чемпион мира Алёхин. Снесарев, вспомним его студенческое почти болезненное увлечение шахматами, сколько мог, присутствовал в турнирном зале, более всего приглядываясь к игре Алёхина, корни рода которого, к слову молвить, также начинали свой рост в Воронежской губернии. Алёхин ещё только восходил в своей известности, а другой земляк, уроженец села Хреновое Воронежской губернии, Панин-Коломенкин в тот год уже прославит свою малую родину: станет первым русским чемпионом Олимпийских игр. Игры проходили в Лондоне в летние июльские дни, но воронежцу успех сопутствовал в зимнем виде: он выиграл первенство по катанию на коньках.

Весь 1908 год и первую половину 1909 года Снесарев, помимо основной службы в Главном штабе, был занят подготовкой «Военной географии России» — для юнкеров Николаевского кавалерийского, Павловского и Петербургского военных училищ (с 1910 года он — преподаватель также и Николаевской академии Генерального штаба;). Изданная в 1909 году книга-учебник разошлась менее чем за месяц. Через год она вышла вторым изданием. Даже в этой малой по объёму книжице виден замечательный педагог, знатель и просветитель, для которого «военное отечествоведение» является насущностью подступающих испытательных дней. Учащиеся в ней могли получить краткое представление об империи, поистине великой просторами, историей, но и — читалось между строк — чреватой возможными потрясениями. Была родственная перекличка этого небольшого учебника с фундаментальной «Исторической географией России». Академик Любавский, в предреволюционные годы ректор Московского университета, в тридцатом арестованный по так называемому Академическому делу, едва ли не мог не знать о снесаревском учебнике, когда завершал

«Историческую географию России». Впрочем, некая перекличка могла исходить из солидарной мысли — однонаправленных раздумий, осмыслений прошлого, надежд на будущее.

8

В конце 1908 года Снесарев был произведён в полковники. Мало ли их, полковников, в России и даже в Петербурге? Только много ли среди них истинных патриотов, истинных военных мыслителей? Снесареву дано было обострённо чувствовать именно те болевые точки русского бытия, о которых надо было не говорить, а бить в колокол! И слово его — слово оповещающее, предупреждающее, объясняющее, призывающее… Что важно ныне и ещё важнее будет завтра? Об этом находим в снесаревских статьях в «Голосе правды»: «…такова уж судьба нашей многомиллионной Родины, занявшей одну шестую всей земной суши, что односторонность увлечений для неё в высшей степени опасна и, смотря одним глазом на Запад или пылая одной половиной своего сердца в европейском направлении, Россия обязана другую половину своего внимания неукоснительно посвящать Востоку…»

«Русский Восток на большой линии соприкосновения входит в связь с народами жёлтого мира, а главное, пожалуй, он сосед с Китаем. Как известно, мысль о кончине мира в обиходных сказаниях и верованиях русского народа иногда связывалась с каким-то конечным подъёмом Китая, который должен был покорить весь мир. В Средней Азии я также встречал это поверие… Есть ли возможность, хотя бы и далёкая, будущего надвижения на Европу жёлтых полчищ и оседания жёлтого мира на кладбище европейской культуры (здесь вспомнишь не только предсказания философа Владимира Соловьёва, но и пророчества старца Серафима Вырицкого о “жёлтой опасности” и поглощении России Китаем. — *Авт.)*. При трагическом развитии событий Русский Восток есть первый буфер, смягчающий удар жёлтой волны о берега Белого моря; он является первой дверью, в которую будет стучать жёлтый властелин, прежде чем вступить тяжёлой ногой на поле европейской культуры. Это обстоятельство придаёт Русскому Востоку провиденциальное значение и делает из него тему не только лишь русского, но и общемирового значения…»

«Известна смена мировых резервуаров: сначала человеческая культура ютилась у Средиземного моря, затем оно было изжито и покинуто для Атлантического океана, в настоящее время борьба у этого океана тухнет и переносится к водам Тихого океана… Там

народы зажгут факел их последнего состязания, там кто-то выйдет последним мировым победителем…»

Как проницательно Снесарев увидел перемещение мировых сил, сегодня особенно явственное, — быть может, участь мира и решат Индия, Китай, Япония. Да и другие страны Азии. Персия, Турция, Афганистан — куда бы он ни обращал свой умственный взор, он словно бы видел не только прошлый и текущий день, но и сегодняшний день этих стран да и всего восточного мира.

Он же и пропел поистине гимн Востоку: «Старая поговорка “ex oriente lux” особенно верна в том смысле, что Запад есть лишь надстройка над фундаментом, который заложен Востоком. Цифра, музыкальная гамма, письмо, учёт времени, религия, право собственности… весь сонм нашей духовной жизни взят с Востока — мы его верные и раболепные дети. Почему опознать Восток без связи с Западом трудно и неразумно. Затем к Востоку нужно подходить строго научно, без европейского чванства, без высокомерия и предрассудков. Нужно отдать должное самобытности и своеобразности Востока и не прилагать к ним осудительного штемпеля, раз они не совпадают с европейскими шаблонами. Ещё вопрос, кто разгадал загадку о человеческом счастье — Запад или Восток, кто больше испил до дна чашу человеческих испытаний и горя».

В августе 1908 года в Копенгагене проходит Пятнадцатый международный конгресс ориенталистов. Снесарев на нём выступает с двумя докладами: «Религии и обычаи горцев Западного Памира» и «Пробуждение национализма в Азии». Читает их на немецком языке, может, таким косвенным образом подчёркивая как опасность для России быть пристёгнутой к английской колеснице Антанты, так и желательность если не союза, то хотя бы искренних благососедских отношений с Германией; правда, немецкий кайзер был не из больших, далеко видящих политиков, сумасброден не менее, чем умен, не чужд был милитаристско-расистских, в духе Сесиля Родса, устремлений; поначалу рассуждавший об азиатской опасности, он к концу своего императорства сумел навлечь на Германию неприязнь, ненависть и пушки большинства европейских стран.

Грустный штрих: полтысячи участников конгресса, а русских — горстка учёных. И это когда страна территориально на четыре пятых азиатская; глава делегации Бодуэн де Куртенэ прочитал три доклада: «Гипотеза проф. Марра о родственности семитских и яфетических языков», «К вопросу о взаимосвязи фонетического и графического с морфологическим и семасиологическим представлением», «К вопросу о транскрипции»; ещё профессор Познанский из Варшавы, профессор Томсон из Одессы, учёные

Фасмер, Руднев из Петербургского университета.

В снесаревских выступлениях — животрепещущая тематика: пробуждение национального сознания Востока; вторжение подобных тем на традиционные поля классического востоковедения было внове, и Бодуэн де Куртенэ, очевидный «классик», не без удовольствия принял участие в обсуждении докладов Снесарева, и мнение его было в пользу нужности на классических форумах и такой современностью пропитанной тематики. Шведские и датские газеты также не обошли вниманием доклады военного и учёного, найдя, что в них впервые всерьёз рассматривается проблема индусско-мусульманского единства.

Копенгаген, не избалованный мировыми форумами, был рад выказать гостям всю меру гостеприимства. Уже в первый день конгресса состоялся приём в ратуше города. Через день, в воскресенье, поездка в Эльсинор — «замок Гамлета» (Снесарев называл Шекспира, создателя «Гамлета», «Короля Лира», «Макбета», не иначе как «великий англичанин»). Далее — посещение Национального музея; встреча в Королевском яхт-клубе; празднество и иллюминация в саду Тиволи в честь участников конгресса; банкет.

По вечерам Снесарев выходил к морю, на край бухты. Море с его проливами и заливами было единое — Балтийское, на другом конце его располагался Петербург, и Андрей Евгеньевич мысленно видел проспект и дом близ Невы, и родных (чем занятых в этот миг?). Он стоял поблизости от того места, где через пять лет на морском валуне легко, грациозно, словно на миг, присядет «Русалочка» скульптора Эриксена, увековечивая известную датскую танцовщицу, но прежде всего Русалочку из сказки Андерсена, которую и увековечить более, чем это сделал сказочник, уже не удастся, поскольку и взрослые, и дети во всех странах читают сказку, — может быть, и в этот миг, пока он вдыхает запахи моря, читают, может, даже в его петербургском доме читают…

Восточный вопрос — из главных, и в этом Снесарев, евразиец, обращенный глазами, разумом и сердцем к Востоку не менее, нежели к Западу. И коль «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут», то европейски-азиатская Россия есть органический переток, географический, духовный, межконфессиональный, межцивилизационный мост между ними. (Деятельность его в Обществе востоковедения обстоятельно исследована его дочерью Евгенией Андреевной Снесаревой.)

Созданное в Петербурге в 1901 году, это общество ставило целью «содействовать сближению России с восточными

окраинами и служить проводником русской культуры и производительности среди восточных народностей».

У Общества востоковедения была библиотека с отделами по географии, этнографии, истории, экономике. Книги частью покупались, чаще жертвовались. Был и небольшой музей, составленный из пожертвованных коллекций. Общество организовывало экспедиции, отправляло своих членов в научные командировки, на съезды и конгрессы, содержало в Тегеране больницу с 10 постельными койками. В 1912 году создаётся печатный орган Общества востоковедения «Мир ислама» под редакцией В.В. Бартольда. Почти одновременно под руководством Н.Я. Марра организуются курсы грузинского, армянского и татарского языков.

Выдающийся археолог, этнограф, лингвист, действительный член Российской академии наук (1909) Н.Я. Марр (1864–1934), позже, в тридцатые годы, обретёт статус непререкаемого законодателя в советском языкознании. Занимаясь сравнительно-историческими исследованиями, он выдвинет причудливую научную теорию, сведя сложность мировых языков к четырём простейшим элементам: сал, бер, ион, рош.

Создателя «нового учения о языке» похоронят в Ленинграде на скороспело устроенной новыми властителями «коммунистической площадке» Александро-Невской лавры с почестями, которые подобали разве что политическому деятелю высшего ранга.

Удивительный парадокс времени. Сталин — «корифей всех наук» — в пятидесятом году последовательно марксистское учение Марра подвергнет сокрушительному разгрому в растиражированной работе «Марксизм и вопросы языкознания». Правда, разумное здесь перечёркивалось исторически несостоятельным утверждением о происхождении русского литературного языка на основе курско-орловских наречий…

29 февраля 1908 года в Обществе востоковедения Снесарев излагает свои соображения на тему «Железнодорожный путь Москва — Калькутта».

9 мая 1908 года на общем собрании Общества востоковедения Снесарев сделал сообщение «Индо-Афганские события последнего времени». Сказав о практическом изучении Востока, то есть того, что полезно политику, торговцу, путешественнику, он обозрел события последнего времени в Индии и Афганистане как следствие экономической политики, которую Англия проводит в своей колонии полтораста лет; подчеркнул, что в Индии наблюдаются две борьбы: одна с Англией, другая — с древними предрассудками, кастами и

враждой между индусами и мусульманами, и что он видит в этом предвестие будущей независимости. На северо-западной границе, сообщил он далее, несмотря на две войны, англичанам не удалось добиться решительного успеха, они только вызвали враждебность ко всему английскому. Колонией Афганистан не стал. Числом штыков в карательных экспедициях сломить афганцев никогда не удавалось.

2 мая 1910 года общему годовому собранию Общества востоковедения Снесарев зачитывает большой доклад «Практическое изучение Востока». Именно практические знания, сказал он, лежат в основе деятельности общества. В допетровские века знания эти были естественны и глубоки. Смелые, жаждущие увидеть и познать мир предприимчивые купцы, как Афанасий Никитин, были часто и послами, и исследователями. А торговые фактории являлись своеобразными реальными консульствами. Два прошлых века, по сути, ничего не прибавили к знанию, так как Россия была слишком занята европейскими делами. Во второй половине XIX века с началом русского продвижения в Азию, по существу, и началось именно практическое изучение Востока. Для России, большая часть которой лежит в Азии, особенно необходим подход практический. Снесарев закончил свою речь призывом почаще обращать взгляд на Восток: там восходит солнце, ex oriente lux.

Отчёты о снесаревских чтениях появлялись в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Русском инвалиде», «Слове», «России», «Туркестанских ведомостях», «Голосе правды», «Кавказе»…

В начале 1910 года Курсы востоковедения по трудам и хлопотам председателя Среднеазиатского отдела были преобразованы в Практическую восточную академию, куда принимались люди с законченным высшим образованием. По специальному ходатайству командования предоставлялись места офицерам. Прослушав двухгодичный курс и сдав соответствующий экзамен, слушатель получал звание переводчика. После полного трёхлетнего обучения и сдачи экзамена он получал звание восточника.

Снесарев, к этому времени уже полковник Генерального штаба, преподаватель Императорской Николаевской академии Генштаба, стал также и членом совета Практической восточной академии.

Был он деятелен, среди первых, и в Обществе ревнителей военных знаний. Заседания чаще всего проходили в помещении Офицерского собрания на Литейном проспекте, доклады произносились самые разнообразные: о новой пушке, о шведской

войне, о психике бойцов во время сражений, об Амурской железной дороге, об англо-русском соглашении… В 1908 году при этом обществе был создан отдел военной педагогики: предполагалось «изучение той тёмной, неисследованной области, которую называют психологией боя», заявлялась необходимость знакомства с психологией бойца.

В «Русском инвалиде» в те поры активно сотрудничает молодой офицер, капитан Генштаба Александр Андреевич Свечин. Встречались ли Снесарев и Свечин в те годы? Их имена — в числе сотрудников «Военной энциклопедии» (издательство Сытина) в 1910–1913 годах. Много позднее они стали друзьями-спорщиками, вместе организовали Историческую комиссию по изучению опыта Первой мировой войны, вместе разрабатывали теорию новой военной доктрины, часто встречались домами.

Печатается в «Русском инвалиде» и Василий Федорович Новицкий. Он побывал в Индии годом раньше Снесарева. В соавторстве они подготовили и выпустили в свет «Военно-географический очерк Британского Белуджистана».

9

В марте 1909 года славянский мир празднует 100-летие Гоголя. Не только строка, но и судьба Гоголя до конца дней будут волновать Снесарева. Эта безмерно великая, всемирная, писателем увиденная даль и крохотный замкнутый дворик московского особняка, в камине которого корчатся в судорогах пламени мертвые души второго тома «Мертвых душ»; эта Русь-тройка, птица-тройка… при всей своей проницательности Снесарев и помыслить не мог, что через сто лет переведённый на украинский язык гоголевский «Тарас Бульба» растеряет до единого все слова «русский», а в выхолощенно-русской через сто лет Москве, обогатящейся музеями всякого рода, в Москве, где Гоголь завершил свои земные дни, музей-библиотеку его имени не без спешки едва успеют открыть к 200-летию писателя. Гоголя почти так же, как Пушкина, Лермонтова и Достоевского, военный мыслитель-поэт любил перечитывать, имел он и обыкновение, когда выпадал свободный час, побродить по гоголевским местам Петербурга, может, чуть менее и реже, чем по местам Достоевского.

Но в тот год Снесарев в Петербурге долго отсутствовал: с апреля по август 1909 года он — командир первого батальона третьего Финляндского (Гельсингфорского) стрелкового полка. По окончании воинской практики-подготовки — лестная характеристика, высокий тон которой будет потом повторяться

бессчётное число раз; неизменно указывают характеристики на такие качества, как безукоризненное отношение к делу и глубокое знание его, умение быстро ориентироваться, находить верное решение, а по части человеческой — внимание к солдату, доброта при требовательности, ровное и благожелательное отношение к подчинённым.

В приказе от 3 сентября 1909 года за подписью командира полка Ильинского читаем: «За 4-месячное прикомандирование к полку полк. Снесарева мне пришлось быть свидетелем того безукоризненного отношения к делу, которое может служить образцом… Особенно ярко деятельность его выразилась на минувших подвижных сборах, где, исполняя должность начальника отряда, он своей распорядительностью, умением быстро и верно определить обстановку и разгадать намерения противника дал много ценных указаний, как следует вести манёвры. Всегда спокойный, ровный в обращении, горячо отзывчивый к нуждам подчинённых полк. Снесарев снискал глубокое уважение и любовь полка, а главное, вселил в подчинённых то доверие к себе, которое так важно в военном деле. Прожив с нами 4 месяца, полк. Снесарев за это короткое время сжился с полковой семьей, чутко принимая к сердцу все наши полковые интересы. Расставаясь теперь с глубокоуважаемым Андреем Евгеньевичем, прошу принять мою сердечную признательность за его в высшей степени плодотворную деятельность на пользу родного полка. Я уверен, что память о пребывании в полку полк. Снесарева надолго останется в нашей семье, встретившей в нём гуманного начальника, опытного руководителя и сердечного товарища и человека».

27 июня 1909 года широко, даже пышно празднуется 200-летие Полтавской битвы. В торжествах участвует император Николай Второй — последний русский император. Согласно циркуляру Министерства народного просвещения круглая дата отмечается во всех учебных заведениях. Гимназисты читают строки пушкинской «Полтавы», газеты посвящают свои передовицы двухсотлетней давности виктории.

Не только пространственная, но и душевная широта России может объяснить появление в дни полтавских торжеств памятника с надписью: «Вечная память храбрым шведским воинам, павшим в бою под Полтавой 27 июня 1709 года». Этот красно-серый гранит, увенчанный крестом, словно свидетельствовал, что русские, тяготеющие к исторической справедливости, зла не держат.

Между тем в западных странах обретались в немалом числе

недобрые языки, сожалевшие о несостоявшейся общеевропейской коалиции и «упущенной» победе. Естественно, в эти дни немало было истрачено чернил в желании подретушировать образы Петра и Мазепы.

В сознании русского общества Пётр Первый двоякий: часто — великий созидатель, не менее часто — великий крушитель. Но как бы то ни было — великий. А Мазепа — тут, казалось бы, и разномыслия нет: предательство на всех языках звучит как предательство. Скажем, для историка Костомарова, по-сыновьи прочитывающего, осмысливающего, воссоздающего историю Украины, Мазепа — изменник. «Барщенник» и. предатель прежде всего малороссийского, украинского народа, а затем уже и русского самодержца.

(Через сто лет на территории былой единой империи — два разных праздника, с разными флагами, разными лозунгами, чествованиями разных героев: в политике «оранжевого» украинского руководства Мазепа — геройская личность, и его на Полтавском поле в изваянии увековечивают, словно бы он спаситель Украины, или, по крайней мере, Запорожской Сечи, или хотя бы несчастного раненого шведского короля.)

В июле 1909 года в Ревеле происходит свидание Николая II с Вильгельмом И. До этого, в июле 1905 года, состоялась встреча царя и кайзера на острове Бьерке. Обе континентальные державы инстинктивно тянутся друг к другу, понимая, что вместе их не победить, что их больше связывает, нежели разъединяет, — связывает не только династическая породнённость. В октябре 1910 года — встреча императоров в Потсдаме. Всё ещё возможен иной вариант будущего или уже невозможен? Тень, призрак, ураган войны неотвратимо надвигаются на европейский континент.

В ту же пору Снесарев, неоднократно устно и письменно заявляя тезис добрых отношений России с Германией, пророчески понимает, что разумнее всего нам подходит «политика частных соглашений (иногда, конечно, сближений) со всеми сильными странами, без вступления в союз с какою-либо из них». Ибо разве не исторический жребий России при всех раскладах и хитросплетениях мировой политики пребывать виноватой во всём: в любой из войн, в любом перемирии?

Снесарев словно бы разглядывает мир на переломе тысячелетий, предвидит конфликты рубежа двадцатого — двадцать первого веков, когда в «Голосе правды» (1909) в статье «Международный иезуитизм» пишет: «Страшно за нашу Родину, которая при всегдашней её доверчивости и при том слабом дипломатическом мече, каким она ныне препоясана, может в

конце концов остаться совершенно одной без недавних ещё друзей… и получить на свои и без того усталые плечи всю тяжесть разгоревшихся событий… Мы уже почти одиноки, а дальше станем ещё более одинокими…»

25 августа 1909 года — 50-летие завоевания Кавказа (Шамиль был наглухо окружен войсками Барятинского и Милютина и сдался, как писали советские учебники, на неприступной горе Гуниб). Собственно завоевания как такового никогда не произойдёт. Кавказ так и останется на теле империи горящим кровавым рубцом.

И опять до нас словно бы доносится снесаревский голос из далёкого начала двадцатого века, когда разразилась «азербайджанская история» — вооружённая смута на севере Персии: «Мы полагаем, что для нашей дипломатии настала пора перестать раскланиваться на все стороны… История в Азербайджане может тянуться вечно. Неужели мы наше добро, авторитет, жизнь наших людей, покой на Кавказе, — неужели всё это мы поставим в зависимость от этой длительной борьбы? Наш голос должен, наконец, зазвучать с той решительностью и достоинством, которые нам приличны…»

В те же вековой давности августовские дни мировая общественность, разогретая газетной шумихой, более всего занята другим: кто открыл Северный полюс — англичанин Кук или американец Пири? Наиболее любопытные из числа этой мировой общественности глядят в будущее: кому же достанется Северный полюс — американцам или англичанам? Положим, они-то и братья-англосаксы, и либералы, и демократы, но заполучить в безраздельное пользование и географический символ и какие сокровища таящий кус земли и океана — здесь братские сантименты только помеха мировому гешефту.

К тому времени налаженный жизненный уклад начинают сдавливать финансовые тиски. Прежде всего, подступают затруднения с изданием «Голоса правды», куда вложены средства снесаревского тестя Зайцева — издателя газеты, а главный редактор — поэт и этнограф Аполлон Коринфский.

Раза два-три серьёзно помог А.С. Суворин. Снесаревский «Голос правды» и суворинское «Новое время» расходились во взгляде на английский вектор в мировой политике: Снесареву были чужды страницы-всплески англофильства Суворина, что, впрочем, не могло похоронить их дружбу, основанную на патриотических началах. Немало значили земляческие корни. При встречах они вспоминали Дон и скорбного поэта-воронежца Никитина, который был старшим другом Суворина и стихи которого, особенно «Русь», любил Снесарев, а в юности даже

подражал им строками в небольшой тетрадке стихов, так и не продолженной далее.

«Худшие враги России — мы сами», — так жёстко, афористически Снесарев оценит деятельность властных и общественных верхов в «Голосе правды» за 1909 год. Поскольку эта мысль хронологически неустареваема, он повторяет её, доводя до катастрофической угрозы: «Худшими врагами себе являемся мы сами, и в этом всё наше несчастье. В эту-то опасную сторону дела, т.е. в сторону лечения самих себя, и должны идти наши усилия, чтобы избежать ужасного Божьего наказания… Иначе оно будет неминуемо». Сколько раз Снесарев об этом подумает, скажет, напишет, да был бы услышан!

Глядя, какая идёт чехарда со сменой начальников Генштаба, он сетует на извечное российское неумение «выбирать соответствующих людей на соответствующие места», то есть он, не называя, подразумевает философское основоположение Григория Сковороды — правило «сродности», при котором бы служба человека наиболее соответствовала заложенным в нём задаткам.

В чём спасение России? Этот вопрос, как грозный посыльный будущего, настоятельно требовал ответа уже в начале двадцатого века. Снесарев считал — в сохранении духовности, в сохранении нравственных устоев России, в разумном следовании всему лучшему, что накопили за века Восток и Запад, в движении вперёд «без скачков и утопий, без разрывов с прошлым», в нравственной ответственности общества за всё происходящее и нравственной обязанности нести национальную ношу, «в обращении к национализму, единственному чистому и глубокому источнику всякого истинного творчества: государственного, общественного и художественного», в осознании того, что «только платформы либерализма в чистом его понимании и национализма заслуживают серьёзного внимания».

Российская империя с вечной мерзлотой тундры и Сибири, открытая арктическим ветрам, пыталась выйти тремя флангами, пробиться тремя клиньями к тёплой южной воде. Правый фланг — Константинополь, центр — Индия или Персия, левый — Дальний Восток, Жёлтое море. Сильно пишет об этом — о русском движении к Великому океану — геополитик Вандам (Алексей Ефимович Едрихин).

Изданный в 1912 году в суворинском «Новом времени» труд «Наше положение» есть глубокий геополитический взгляд на судьбы России и мира.

У России, увы, не было великих политиков (были великие религиозные подвижники, религиозные мыслители, великие

поэты, композиторы, художники), а настоящих политиков — по пальцам перечесть. Горчаков, Милютин, Столыпин не были политиками в узком смысле, то есть сугубыми политиками. Были, правда, полководцы выдающиеся из рода Шейных, из рода Скопиных, ещё Салтыков, Румянцев, Суворов, Ермолов, Скобелев, Брусилов, Корнилов, Врангель, Рокоссовский, Жуков… — но их судьбами распоряжались часто лукавая политика и временщики-политики! Едрихин своё небольшое, но замечательное по ясности и панорамности сочинение «Величайшее из искусств. (Обзор современного положения в свете высшей стратегии)», 1913, предварил эпиграфом — словами известного публициста-монархиста М.О. Меньшикова о кустарности отечественной политики: «Мне кажется, что наша политика так же кустарна, как и наша промышленность».

«Германская» позиция Снесарева оказалась наиболее исторически оправданной, наиболее проницательной. Теперь-то не надо взбираться ни на какой Монблан, чтоб видеть это. Пробушевали две мировые войны, страшные и для России, и для Германии. Слова американского сенатора Трумэна, эдакого Герострата двадцатого века: «Пусть они как можно дольше убивают друг друга». Они — это русские и немцы. Слова — как радиоактивная пыль от атомных бомб, вскоре сброшенных на Японию по недоброй, сумасбродной воле американской верхушки и всё того же Трумэна, ставшего президентом Америки.

Но тогдашняя официальная политика — в жёстком русле Антанты, и проницательный Снесарев, да ещё в таком серьёзном ведомстве, как Генеральный штаб, явно неудобен и для официального Петербурга, и для столичной англофильской элиты. Но есть испытанное правило — отодвижение, перемещение, даже повышение… Подальше от столицы, поближе к границе.

10

Перед отъездом на западную границу он обойдёт все привычные адреса жительства семьи, совершит и нечто вроде прогулок по знаменитым местам, где они с женой бывали вместе. Стрелка, Александро-Невская лавра, Императорский музей Александра Третьего, Мариинский театр.

Подолгу он будет выстаивать у Александрийского столпа, который венчал ангел, и на Сенатской площади, на которой его родственник, высокий духовный деятель Евгений (Болховитинов), увещевал декабристов не воспламенять духа мятежа и сойти с огнегрозящей стези, расстроить не для битвы же с иноземцем

выстроенное каре. И ангел, и духовный пастырь молились за Россию. Молился и Снесарев.

В ПРИГРАНИЧНОМ ГОРОДКЕ НА РЕКЕ СМОТРИЧ. 1910–1914

Осень 1910 года. Перед его глазами Каменец-Подольск — губернский город Подольской губернии, ныне Хмельницкой области Украины. Утопающий в вишнёвых, яблоневых садах городок расположен на реке Смотрич — левом притоке Днестра. Каменец — старинный славянский город на оживлённых скрестьях истории, счастливый или горестный перекрёсток дорог разных племён и народов.

1

Не раз переходил он из рук в руки, и кто только не осаждал его — турки, поляки, казаки, молдавские воеводы. (В пору своего гетманства Пётр Дорошенко, свидетельствует историк, привёл сюда триста тысяч турок, и Каменец был предан ятагану и огню, а церкви были превращены в мечети. Что до самого гетмана, московская власть, как и часто бывало в таких случаях в отечественной истории (назвать хотя бы Костюшко, Шамиля) да и длится по сей день, предоставила бывшему недругу режим наибольшего благоприятствования: гетман был великодушно принят в Москве, воеводствовал в Вятке.)

И всё же Подолия — край благословенный. Привлекательный географически, богатый природно. Но век назад, как перешедший к Российской империи, он представлялся русскому человеку не менее захолустным и далёким, нежели Камчатка или Сахалин.

Иван Бунин, земляк Снесарева по Воронежской губернии, в молодости проехавший местами, упомянутыми в «Слове о полку Иго-реве», не побывал здесь, в Прикарпатской Руси, зато в ожидании жребия быть призванным в армию рисовал своё возможное будущее: «…в тесноте, в холоде и махорочном дыму вагона, среди криков пьяных мне придётся ехать, одинокому, потерянному, в какую-нибудь Каменец-Подольскую губернию…» Говорится так, словно последняя — Богом забытая тьмутаракань, некая безжизненная островная земля в далёком океане.

А одногодок Бунина и его друг Александр Куприн, будущий писатель, после окончания юнкерского училища в 1890 году был услан в пехотный Днепровский полк, как пишет его дочь Ксения, «в самую глушь Юго-западного края — Проскуров. Жизнь захолустного городка он описал в своём “Поединке”. Чтобы

вырваться из засасывающей трясины, подпоручик Куприн стал готовиться к экзаменам в Академию Генерального штаба». Рядом со Снесаревым могла сложиться военная судьба Куприна, поступи он в Академию. Но по пути в Петербург на Днепре, на барже-ресторане, он подрался с военным, который был бит им из-за нарушающих офицерский кодекс чести приставаний к девушке-официантке и после жалобы которого наш рыцарь, будущий автор «Олеси», «Колеса времени», «Юнкеров», не был допущен к экзаменам.

Куприн и сам пишет, как он страдал тоской по малой родине, когда судьба забросила его в нежеланные места: «Как нестерпимо были тяжелы первые дни и недели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, суровый, бледный, скучный быт… А главное — и это всего острее чувствовалось — дикий, ломаный язык, возмутительная смесь языков русского, малорусского, польского и молдавского». Куприн признаётся, что ночами после снов, где видениями вставали улицы и церкви Москвы, он просыпался от рыданий, столь густослёзных, что хоть подушку выжимай.

Тесть Снесарева яростно нападал на «Поединок» Куприна, обвиняя в какой-то мере автора, не увидевшего ничего хорошего в армейской среде, а более всего — местное командование за безрадостную картину, там изображённую, и объяснял всё отсутствием энергии и настоящего дела, близостью к безответственному Западу, зауряд-чиновниками, а не прирождёнными военными, отсутствием умного и верящего в своё дело командира. И ударял словами Скобелева: «Бездействие порождает упадок духа, пьянство, болезни; солдат и офицер должны быть заняты, поэтому, кроме постоянных учений, офицеры должны поощрять чтение и устройство игр, вести курс занятий и, в первую очередь, сами иметь дело». Ветеран рассказывал, как при движении русских в Среднюю Азию командование после взятия какой-нибудь обжитой туземной пяди тотчас же распоряжалось приступить к постройке русского города: жилых домов, присутственных мест и зданий, солдатских казарм, непременного горсада.

В Каменец-Подольске — монастырь Святой Троицы, церковь Святителя Николы, ещё тринадцатого века. И польский костёл, и турецкий минарет. На утёсе — старинная крепость.

«Старая крепость» — так называется трилогия уроженца Каменец-Подольска Владимира Беляева (1907–1990), по мотивам которой созданы два кинофильма о приключениях подростков приграничного городка в годы Гражданской войны. В своё время писатель известен был и памфлетами против украинских «самостийников» и католической церкви: говорящее, характерное

название сборника публицистики — «Формула яда».

Когда Снесарев прибыл в Каменец-Подольск, Беляеву было три года, а когда уезжал — десять лет. А в год смерти Снесарева Беляев начал писать «Старую крепость». Писатель, наверное, мог бы написать о бесконечно долгом разорении здешнего края — о пылающей Подолии в Первой мировой войне, перешедшей в бог знает какую войну. (И тем не менее «Старая крепость» — в детстве одно из увлекательных прочтений.)

2

Каменец-Подольск понравился Снесареву. Он был поживописней и народом поболее, чем ненавистный Куприну Проскуров, который-то и находился в нескольких десятках вёрст. К слову сказать, когда в Проскурове недавний генштабист побывал в первый раз, он перечитал купринский «Поединок» и при всей своей любви к отечественной словесности вынужден был согласиться со своим тестем, во взгляде которого на армейскую службу было более цельной правды, нежели у Куприна. Не только художественной, как у писателя. Дело-служение спасает человека, а Ромашов, купринский герой, не смог воспринять жизнь как дело-служение. А раз так, не только люди и городок, но даже природа не могла его врачевать и даже не была ему мила. Места же хорошие. Кругом шли холмы и долины, и почва благодатная, тучная, и взрастали на ней виноградники — такие же, как на Дону, или иные, но в любом случае, глядя на них, Снесарев словно переносился на донскую родину.

Первые месяцы ушли на обустройство не столько своего гнезда, сколько дивизионного. Расквартированной в Каменец-Подольске 2-й Сводной казачьей дивизии не хватало казарм; для военных нужд снимались частные дома, обходилось это для гарнизона довольно дорого, и цены росли. По договорённости воинских властей с городским самоуправлением предполагалось возвести казарменный комплекс во второй половине 1911 года, но денег было выделено недостаточно, дело застопорилось, и худая обустроенность дивизии была головной болью начальника штаба до той поры, пока не началась война и стало не до благоустроенных казарм.

На первой же неделе Снесарев побывал на границе на реке Збруч.

Понравился городок и Евгении Васильевне, она, неотразимая, бывала на празднествах местной «знати». Правда, скоро всё это надоело, а через два года родилась Женечка, стало и вовсе не до спектаклей, всякого рода вечеров и празднеств. В доме всегда

было много народу. Водились и четвероногие любимцы: собаки, лошади, кошки. Даже ворона. Даже многопудовая хрюшка, однажды вломившаяся в лавку и приволокшая оттуда мешок муки для многочисленного выводка поросят. Жили Снесаревы сначала на улице Московской, после пожара переехали на улицу Почтамтскую.

Начальники Сводной дивизии — генералы Авдеев и Родионов, позже робкий Жигалин, затем храбрый Павлов. Из офицеров наиболее приметные — подполковник Певнев, лихой наездник, не за горами крёстный отец единственной дочери Снесарева, замначальника штаба капитан Петровский да немного мешковатый, из терских казаков капитан Бобрышев, любимец старших сыновей, которые звали его Ваня Ванич. Его жена, крёстная снесаревскои дочери, натура художественная и образованная, любила принимать гостей в хорошо обустроенном доме. Разумеется, добрых знакомых у Снесарева было куда больше, он всех офицеров знал в лицо и пофамильно, да и среди неофицеров, среди горожан образовался немалый круг, где можно было побеседовать, отвлечься от дивизионных хлопот, отдохнуть.

В Сводной дивизии были казаки войск: Донского, Кубанского, Терского, Уральского. Учения и состязания особого рода: скачки с препятствиями, джигитовка, рубка лозы. Или преодоление оврагов, хворостяных барьеров — двухаршинных плетней, соломенных копён, рядов бочек, поваленных деревьев, так называемой мёртвой стенки. А состязания офицеров — на собственной лошади проскакать двадцать пять вёрст! Собиралось множество зрителей. Гостям предлагали завтрак в походном шатре. Раздавали призы.

И ни один праздник не обходился без казачьих песен. Одна звучала всякий раз. Мол, по Дону гуляет казак молодой. Понятно, что всем было понятно, что испокон веку донскому казаку менее всего выпадало именно «гулять» по Дону, по родной реке. По своей воле, что пуще неволи, а позже и по государевой, уходил он в далёкие походы: на Яик, на Терек, за Урал, в Семиречье, в Сибирь, пока не поставил остроги на Дальнем Востоке, на виду у Тихого океана. А на Западе его конь цокал копытами по мостовым европейских столиц: Кенигсберга, Вены, Берлина, Милана, Парижа. А Дон тем часом тосковал по своему далеко скачущему сыну, был хмур, мутен-мутнёхонек и словно слезами истекал.

И часто, когда Снесарев слышал песни о Доне, он, словно воочию, видел главную казачью реку с её то крутыми меловыми, то низкими песчаными берегами, с её пойменными полноцветными лугами, дубравами и осиновыми колками, с её сёлами, слободами и станицами, и какая там жизнь течёт, какая

уходит и какая приходит.

Начальнику штаба полагались денщики: один был приставлен к саду, другой к лошадям, третий ко двору, чтобы дом не оставался без дров и воды. Но такая картина вскоре переменилась. Однажды ночью у парадной двери прозвенел звонок. На пороге стояла Таня Проскурякова, горничная семьи Снесаревых в Петербурге, с чемоданом и плачущая: городок с вокзалом на отдалении показался ей из-за незнания грозящим и страшным. Словно боясь быть прогнанной, она спешила выговориться, мол, там, куда она поступила на работу, было совсем не так, и вот она, получив двухмесячное жалованье, взяла и приехала, надеясь, что её не прогонят. И когда вечером того же дня Андрей Евгеньевич пришёл со службы, он услышал её звонкий, распорядительный голос, уже что-то указывающий казакам. Особенно — понравившемуся ей Осипу (Осип Ефанов, терской казак, родом из станицы Лысогорская близ Пятигорска, в час джигитовки упал, отшиб себе почку, и его перевели в нестроевые. Его назначили к Снесареву денщиком, он стал ещё и поваром. Во время войны он всюду сопровождал Андрея Евгеньевича, был как бы связным между фронтом и Петербургом). Семья Снесаревых стала доброй колыбелью ещё одной семьи: в конце войны Осип и Таня поженятся, много доброго приняв в свои сердца и от Андрея Евгеньевича и от Евгении Васильевны. Но прежде женитьбы была масса шутливых сцен, признаний, недоразумений, ссор, а подчас и забавно-комического и, разумеется, не только в духе казаческом: однажды Таня, рассердясь за что-то на симпатичного ей Осипа, погналась за ним со скалкой, и тот, не зная, куда спрятаться от неё, вбежал в конюшню и нырнул под брюхо коня, зная, что уж там-то он в безопасности: его возлюбленная коней побаивалась.

3

Киев — здесь сходилось многое. Церковный иерарх и историк Болховитинов похоронен в Софийском соборе. В марте 1911 года — убийство ученика духовного училища Андрея Ющинского. Дело Бейлиса. Газета «Киевлянин», её издатель — монархист Шульгин. 1 сентября 1911 года Столыпин убит в Киевском городском оперном театре. По-настоящему государственный патриотический ум, великий русский преобразователь, о ком печать судила «с той размашистой самоуверенной пошлостью, которую в XX веке никто не выразил так отъявленно, как журналисты», — скажет десятилетия спустя Солженицын в «Августе четырнадцатого». Да если бы только журналисты! Если

бы только режиссёры да адвокаты — «нанятая совесть», как говорил Достоевский. Неудобен он оказался и для царской семьи, и для прогрессивной ложи, и для консервативной скамьи. В западных странах он был воспринят как великий деятель, а у нас? «Хоронила Россия своего лучшего — за сто лет или за двести — главу правительства при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых. От эмигрантов-террористов до благочестивого царя». Разумеется, были искренне горевавшие, страдавшие, понимавшие, кого лишилась страна. Разумеется, Снесарев был среди них. Выстрел в Столыпина был воспринят им как выстрел в Россию.

1912 год — особо значимый для Снесаревых. Как и для всего человечества. В сущности, как и любой год всемирной истории. Спираль войн раскручивалась. Ещё осенью 1911 года Италия объявила войну Турции, некогда грозной Османской империи, решив, что турецкие владения в Северной Африке — Триполитания и Киренаика — более хороши будут как колонии Италии. Туркам пришлось отойти в глубь африканской пустыни. Но против итальянцев поднялись арабские добровольцы из Туниса, Алжира и Египта. В отместку туркам итальянцы бомбили Дарданеллы. Итальянцам помогла обратить африканские земли в свою колонию Первая балканская война 1912 года, понудившая султана вывести войска из Триполитании и Киренаики (будущей Ливии) и предоставить им автономию. Болгария и Сербия, стоявшие во главе Балканского союза, надеялись получить выход к морям: Болгария, захватившая Македонию, часть Фракии и Салоники, — в Эгейское море, а Сербия, поделив с Грецией Албанию, — в Адриатическое. Турция отказалась предоставить Македонии и Фракии автономию, тогда Балканский союз — Болгария, Греция, Сербия, Черногория — объявил войну многовековой твердыне полумесяца.

Успехи союзников были не в радость не только туркам, но и европейцам. Россия, которая сама никогда не забывала о Константинополе и проливах, предложила своё посредничество в мирных переговорах, тут вмешались Австро-Венгрия и Германия, отнюдь не заинтересованные в выходе Сербии к Адриатике.

В Лондоне начали вырабатываться условия мира, но в январе 1913 года в Турции произошёл переворот, и новое правительство «младотурок» отказалось принять эти условия. Возобновились военные действия неудачно для Турции: она потеряла все европейские владения, кроме Стамбула.

Вспыхнула Вторая балканская война между Болгарией и её бывшими союзниками, к которым присоединились Румыния и Турция. Австро-Венгрии удалось расколоть Балканский союз: она

смотрела на него как на орудие Антанты и особенно России. Болгары напали на греческие позиции в Македонии, а Румыния двинула войска на Софию. Нарушив Лондонское соглашение, Турция заняла Адрианополь. Болгарии пришлось сменить боевые знамёна на белые флаги сдачи. Она потеряла большую часть своих приобретений в Македонии и Фракии. Адрианополь остался за Турцией.

…В январе 1912 года Снесарев выступает в Пушкинском народном доме с лекцией «Пробуждение национализма в Азии». В Пушкинском доме отмечался в январе и день памяти великого поэта, и на вечере Андрей Евгеньевич не без вдохновения прочитал «Песнь о вещем Олеге», «Бородинскую годовщину» и отрывок из «Полтавы», а также исполнил романс на пушкинские слова «Я вас любил…», после чего в губернском городке его узнают и как замечательного певца.

Каменец-Подольск входил в Киевский военный округ, и Снесареву тем же месяцем приходится ехать в Киев на годовой доклад-отчёт.

В февральские дни в дивизии, как и во всей русской армии, был трёхдневный траур по Милютину, четыре года не дожившему до ста лет. Военный министр в продолжение двадцати лет (1861–1881) — его реформы: созданы военные округа, введена всеобщая воинская повинность, вместо двадцати пяти лет солдатской службы — шесть, отменены телесные наказания, стали обучать солдат грамоте. Осада Плевны — его успех. За свой труд «История войны России с Францией в царствование Императора Павла I» был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

В апреле 1912 года — Международный конгресс ориенталистов в Афинах. Во втором номере журнала «Мир Ислама» за 1912 год, в отделе хроники сообщается, что «Общество востоковедения принимало участие в XVI Международном конгрессе ориенталистов в лице почетной председательницы О.С. Лебедевой, проф. Ф.И. Кнауэра и действительного члена полк. А.Е. Снесарева». Конгресс проходил весной 1912 года, Снесареву предстояло выступить с докладами «Die Wiege der Geografie» — «Пути географии» и «Das heilige Buch des Bergfolkes» — «Современная книга горцев». Евгения Васильевна в своём дневнике от 14 марта 1912 года записывает: «Везде что-то неспокойно… Дарданеллы минированы. Боюсь за Андрюшину поездку в Афины, как бы не налетели на мину».

(Допуск: военный учёный осматривал Парфенон, готов был поговорить с античными историками, поэтами, героями, с Александром Македонском на древнегреческом языке, который

хорошо изучил уже в гимназические годы и часто к нему возвращался. Думал о так ослабившем христианский мир разделении Церкви на восточную и западную, православную и католическую. Ещё думал о трагическом конце Византии, об исходе греческих учёных в города Западной Европы после падения под напором турок Константинополя, и более раннего исхода учёных, после штурма и разграбления ромейской столицы крестоносцами, так что вольно или невольно Византия — источник западноевропейского Возрождения. А папы и либералы выставили её как запредельный жупел. Разумеется, было немало ромейских лукавства и жестокости, но разве остальной европейский мир не знал ни кинжала, ни яда?)

В архиве дочери никаких сведений о конгрессе ориенталистов в Греции — ни проспектов, ни тезисов, ни иных свидетельств в виде, скажем, пригласительного билета — не сохранилось. Знавшая едва не каждый шаг отца, дочь о конгрессе в столице античного мира и об участии в нём отца ничего определённого сказать не могла. Скорее всего, дело обстояло так. Когда разразилась Первая мировая война и стали слышны неотдалённые звуки австрийских пушек, семья вынуждена была срочно оставить приграничный Каменец-Подольск и с великими хлопотами перебраться в Петербург. При спешных сборах старались взять самое необходимое. Тут было не до пригласительных билетов на миновавший и такой далёкий от нагрянувших грозных событий конгресс…

…О нём ещё в гимназические и университетские годы шла молва как о счастливце-языкознавце: дескать, постижение любого языка давалось ему за считаные недели. Снесарев знал древнегреческий и латынь, многие славянские языки (даже любил петь на украинском, белорусском, сербском), знал главные европейские языки, главные азиатские, так что часто употребляемая цифра 14 не является точной. Да и не в том суть, знал ли он на два-три языка больше или меньше, чем обычно указывается. За верное сказать, что Снесарев — полиглот, соединивший в своём языковом мире древность и современность, Европу и Азию. И где бы он ни был, на годы или на месяцы, он старался изучать местные языки, и без труда они ему давались, как было и с киргизским, и с русинским. Он и в языке, как и в политике, евразиец.

В апреле 1912 года потерпел крушение «Титаник», роскошный океанский лайнер, таких размеров, что в его чреве, верно, разместилась бы вся некогда грозная испанская Великая армада. К услугам богатейших пассажиров были веранды с пальмами, отменно подобранный оркестр, турецкие бани,

изысканные вина и яства… Через три дня после отплытия от английского берега огромный корабль, ударясь об огромный айсберг, стал погружаться в океанские пучины и неотвратимо пошёл ко дну.

…И так же, как «Титаник», Европа погружалась в пучины, правда, ещё не всем видимые.

В августе 1912 года скончался Суворин, появилась ленинская статья о нём. Но до Суворина ли, тем более до Ленина, тогда ещё известного лишь в радикальном политическом круге.

В октябре 1912 года в воскресенье в Пушкинском доме Снесарев прочёл лекцию, пафос которой — «Отечественная война как величайший подвиг народа…». Лекция сопровождалась «туманными картинами» — диапозитивами — из серии картин Верещагина «Отечественная война 1812 года».

Евгения Васильевна вела подробные записи о детях. Дочь Женечка родилась в декабре 1912 года. Её братья подрастали и во всём отличались друг от друга. Евгений (в семье — Геня) смуглый, темноволосый, не умел себя занимать, ему всегда хотелось быть с кем-нибудь; ходил на гимнастику в группу «соколят». Кирилл (в семье — Кира) ковыльно-белый, любил игрушечных лошадок из дерева, из глины, из папье-маше. Счастлив был от одного вида живой лошади. Умел и любил играть в одиночку, и главными героями его игр, как когда-то и в детстве его отца, выступали кони, которым он придавал диковинные окрасы.

Позднее у детей появилась страсть к оловянным солдатикам (отец наблюдал, как они играют в солдатики, думал о великих битвах и великих полководцах, думал, как и в детстве своём, о том, что если бы заменить погибающих живых солдат на оловянных: погибает живой, но его заменяет оловянный, а погибший оживает).

В 1913 году летом детишек повезли в Анапу — на детский курорт. Няня трудно переносила качку, море ей было в страдание, она не чаяла дождаться, когда закончится путешествие из Одессы на кавказское побережье, из-за морской болезни её всю ломало-изламывало, а детишки расползались по пароходу — кто к матросам, кто на мостик к капитану, их-то морская болезнь не брала. Когда после приезда няня рассказала об этом, Андрей Евгеньевич от души посмеялся: мол, «снесарята» вообразили корабль островком родины средь враждебных волн и поспешили искать границы с четырёх сторон, чтобы в случае чего оборонять родные пределы и, разумеется, няню от враждебных нашествий.

Снесарев, председатель русского отдела Международной разграничительной комиссии на русско-австрийской границе, не

раз выезжает в Вену.

В семье сохранилась грамота: «Божиею милостию мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем через сие всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что показатель сего — Председатель русского отдела Международной комиссии по проверке Русско-Австрийской границы, полковник Генерального штаба Андрей Евгеньевич Снесарев, отправляется отсюда за границу с правом неоднократного переезда через оную в течение одного года и возвращается затем обратно в Россию. Того ради дружебно просим все высокие Области и приглашаем каждого, кому сие предъявляется. Нашим же воинским и гражданским управителям Всемилостивейше повелеваем — полковника Андрея Евгеньевича Снесарева не только свободно и без задержки везде пропускать и всякое благоволение и вспоможение ему оказывать. Во свидетельство того и для свободного проезда дан сей паспорт с приложением Нашей государственной печати в С.-Петербурге. Апреля, 22-го дня 1913 года. По указу Его Императорского величества товарищ Министра иностранных дел».

В феврале 1914 года в Вене проходили переговоры о пограничных картах, о подробностях работы топографов — русских и австрийских, о способах двухсторонней проверки пограничной линии. Протокол сохранился на немецком языке, перевод сделан Снесаревым, причём на самом протоколе его рукой сделаны пометки — до минут означенное время приезда: Вена — Львов — Подволочье — Волочиск.

Забавная, грустная картина. Великие монархии доживают свой век, подземные и наземные гулы сотрясают континенты, скоро и от Австро-Венгерской, и от Российской империй останутся лишь обгорелые головешки и лоскутья некогда славных знамён, а два умных полковника и даже целые две комиссии ведут тяжбу за какие-то километры, полоски земли, словно их страны за прежний век с четвертью не могли определить эти границы…

Снесарев был не новичок по части границы. Более того, он был редкостный мыслитель и деятель по оптимальной прокладке межгосударственного разделительного пояса. Он уже обустраивал серьёзный участок российской границы на Памире. Теперь — на прикарпатских землях. Для него граница являлась понятием не только географическим, государственным, но и психологическим. И философским. И даже онтологическим. Человек и человечество всё время у границы, в бреду пограничных ситуаций. Разумеется, граница защищает от видимых нападений, предупреждает их. Но — движение идей; движение эпидемий; движение землетрясений

и не-ботрясений… для них границ не существует. Даже самых наисовершенных.

Но есть геополитики, военные мыслители разных стран. Среди русских — Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы (их геополитика — прежде всего Святая Русь), Языков, Леонтьев, Данилевский, Милютин. Можно было назвать ещё дюжину имён, среди которых и он, меньше всего думающий о том, что он среди первых.

А из зарубежных — Фридрих Ратцель, его последователи Рудольф Челен (он и ввёл в обиход понятие-термин «геополитика»), Фридрих Науманн, ещё Карл Хаусхофер, немец, советник японцев, и Свен Ге-дин, швед, поклонник германизма (последние оба одних лет со Снесаревым), ещё фон Сект, немец, советник Чан Кай-ши, а из англичан — Хелфорд Макиндер. И как ни глубоки теоретически немцы и близкие им шведы, но практически англичане их «переигрывают». С какой стати, скажем, члену английского парламента сэру Макиндеру, профессору, автору знаменитой «Географической оси истории», появляться в 1919 году в захолустном Таганроге? Он что, поклонник Петра Первого, присмотревшего здешнюю бухту, или почитатель таланта Чехова? Вовсе нет! Здесь о ту пору — деникинские войска, здесь встреча с белыми верхами, которые вскоре начинают действовать не согласно ли наставлениям англичанина, организовавшего вовсе не бескорыстную британскую помощь пушками и пулемётами. Но это ещё впереди.

С австрийской стороны — за председателя полковник Салагар. Вместе с ним в Вене слушали «Реквием» Моцарта. Снесарев хотел разглядеть певших в хоре мужчин и женщин, пели они божественно, как посланцы Творца. Он думал, что эти звуки — высшее, что дано человечеству, он готов был закрыть глаза на часто внедуховно-мирской натиск католической церкви при утверждении власти не только над человеческими душами, но и странами, на папство и далеко не всегда праведных понтификов, на индульгенции… готов был благодарно поклониться за реквием; за орган, этот величавый, строго-торжественный музыкальный град, таящий и исторгающий божественные каскады скорби и надежды. Снесарев и Салагар подружились, их жёны тоже, передавали друг другу подарки, не только всякие сувенирные милые безделицы, но и банки с пахучим вареньем, ежевичным, вишнёвым, персиковым. С середины января до середины февраля 1914 года Снесарев и жена вместе: сначала в двухнедельной поездке в Вену, далее в путешествии по Венеции, Флоренции, Риму, Ницце, Парижу, Мюнхену, Цюриху (в Цюрихе и ему неизвестный Ленин), и снова вернулись в Вену. Впечатления

многообразные, сложные.

В марте 1914 года Снесарев узнал о смерти Семёнова-Тян-Шанского. Это была большая утрата, и национальная, и личная, и он глубоко переживал. С обострённой болью и словно бы внове проглядывал он тома «Полного географического описания нашего Отечества — настольной и дорожной книги для русских людей». Полистал второй том, посвященный среднерусской чернозёмной полосе, нашёл и вслух прочёл о родной слободе: «Старая Калитва, имеющая 5400 жителей, волостное правление, школу, богадельню, лавки, 20 водяных и 44 ветряных мельницы и 4 ярмарки». Он читал о Воронеже, Острогожске, в других томах — о Новочеркасске, Каменец-Подольске, Ташкенте… Возникал из многотомника образ необъятной страны. Что-то с нею будет?

4

В то последнее мирное лето, совсем незадолго до войны, во время скачек, которые воспринимались в городке словно самый захватывающий праздник, одна лошадь сошла с дорожки, зацепила скамью. Скамья опрокинулась и сломала шестилетнему Кирилке ногу, что стало большим переживанием семьи, ещё не подозревающей, как жизнь со всеми обойдётся немилосердно, поломает их судьбы, судьбы родины и мира.

Сгущаются тучи на международных горизонтах. Люди живут вроде и обычной жизнью, но чувствуется тревога. Угроза неотвратимо приближается, как горящая степь. Что будет с Россией? Что будет с Европой? Что будет с миром, наконец?

1 апреля 1914 года в штабе Киевского военного округа Снесарев делает доклад: «К положению дел на франко-немецкой границе». А на его границе уже неспокойно. В конце июня Андрей Евгеньевич отправляется на манёвры. На столе лежат напоминания из «Военной энциклопедии» о присылке числящихся за ним статей… Он много писал для «Военной энциклопедии», первый том которой вышел в свет ещё в 1911 году (статьи «Герат», «Гильгит», «Голькар», «Индийские войны англичан», «Индийский вопрос»).

В 1914 году издание прекратилось. Тогда многое прекратилось. И многое началось…

В конце июня пишет жене из Межибужского замка: ездил-де по горам, по лесам на своём Легкомысленном (имя лошади). Идут бригадные учения. Дни тёплые, ровные.

Письма, не дающие ясности. То обещает скоро возвратиться, то направляется к Городку, дабы произвести на кого-то впечатление (на кого?), то собирается в Вену на встречу с

полковником Салагаром опять делить приграничные полоски. Какая там встреча! Не пройдёт и месяца, как Снесарев и Салагар будут стоять на противоположных прикарпатских холмах, и вверенные им солдаты будут стрелять друг в друга, и пушки с противолежащих холмов будут осыпать их раскалёнными осколками.

Семья срочно эвакуируется из Каменец-Подольска; у Кирилки ещё не совсем зажила нога, Женю палила сильная простуда. Переезд был тяжёлым, ехали через Киев в Петербург к дедушке Зайцеву.

При переезде из Каменец-Подольска в Петербург потеряна библиотека.

Есть фотография незадолго до войны 1914 года, словно бы на лестнице, по нисходящей. Куда? В скорогрядущий ад земной? Здесь — счастливая семья счастливой или, точнее говоря, ещё не порушенной России. В полковничьей форме Андрей Евгеньевич, молодая, ещё не увядшая в испытаниях Евгения Васильевна. Трое детей — народный прирост, об этом Снесарев беспокоился ещё до женитьбы. Будут и ещё дети, будут даже малые иные радости — но уже в другой России — словно бы и не России.

ХОЛМЫ ПОБЕД ОЗЁРА ПОРАЖЕНИЙ. 1914

«Все вооружённые пророки победили, а безоружные погибли» — эти слова Макиавелли вспоминал Снесарев не единожды. К началу Первой мировой войны, пусть по-разному, был вооружён едва не весь мир. Но будут сражаться не пророки и не во имя высших духовных начал, будут сражаться монополии из-за передела мира. Сражаться, разумеется, не свою кровь теряя.

1

И бесчисленные вокзалы Российской империи отправляли миллионы крестьян, одетых в солдатские шинели, на три года и ещё неизвестно на сколько вынужденных не косы и рубанки держать в руках, а винтовки, винтовки, винтовки… И оркестры вздымали скорбные, потрясающие и возносящие звуки «Прощания славянки» — марша, созданного жившим в Чернозёмном крае и здесь завершившим земную жизнь военным музыкантом Агапкиным; и вдохновенный марш уводил на поля сражений, в славу, в гибель полки, дивизии, корпуса. И сколько их, известных и никому не известных, отважных и робких, сильных и слабых, скоро падут на полях небывалых сражений!

Таков жребий России: война за войной, тысячи их со времён ранней Руси, но эта война по численности воюющих и по железной оснастке грозилась быть неслыханной и невиданной. И здесь даже не было традиционного натиска объединённой Европы на Россию, как в наполеоновском нашествии двунадесяти языков или в Крымской кампании, где католические, протестантские и мусульманские силы дружно и совокупно со всех сторон света набросились на русские имперские границы. Нет, здесь серединные страны, германский волк, себя не щадя, растягивая себя до хруста в костях, кинулся на разно-лежащие добычи или, точнее, редуты, твердыни, стены: и на Океан (Англия), и на Континент (Россия). Германским Генштабом или были забыты или отбрасывались как устаревшие предупреждения Наполеона о необходимости если не союза, то хотя бы мира, а не вражды с Россией. И совсем непростительно было обойдено не столь давнее предупреждение Бисмарка, создателя Германской империи: «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских… Эти последние, даже если их

расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезаемого кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей…»

Русские верхи, государственные и общественные, по своему пониманию России и её геополитического пути будто пребывали на двух берегах непереплываемой реки.

Одни приветствовали союз с Англией, словно позабыв умение последней создавать себеудобные, себевыгодные коалиции, воевать чужими штыками, загребать жар чужими руками; словно не она — повивальная бабушка пораженческой для России Крымской кампании, или не она устроительница противорусских Парижского, Берлинского, Лондонского конгрессов, или не она договорно, льготными кредитами и газетным криком поощряла и без обычной для неё утайки поддерживала японцев в не нужной России дальневосточной войне.

Другие говорили о вечной интриге и корысти Англии и союз видели более предпочтительным с Германией, причём были здесь не только почвенники Тютчев, Достоевский, но и либеральные Милютин, Витте. Русские англофилы указывали на вечное давление германского мира на мир славянский, Drang nach Osten, взгляд германцев на славян как на исторически обречённых нести ярем низшей расы, — будто взгляд Гегеля или тем более Маркса и был взгляд немецкого народа. Русские германофилы, более чем сдержанно-недоверчиво относясь к Англии, исповедующей бога прагматики и корысти, напоминали о том, что Россия и Германия не воевали со времён Фридриха Великого (наполеоновская принудительная эпоха не в счёт).

Член Государственного Совета, умнейший и проницательнейший П.Н. Дурново, министр внутренних дел в 1905 году, сумевший обуздать тогдашнюю революцию, в записке к царю за полгода с небольшим до Первой мировой войны предупреждал о последствиях, катастрофических для России, возьми она на себя «роль тарана, пробивающего толщу немецкой обороны».

Но государственные и общественные умы, и лучшие и худшие, ломали копья, как быть и с кем быть, а история вычерчивала свой план и тракт, и, видно, такая историческая судьба России: или по воле, неподготовленности и бездарности политических верхов совершать гибельные шаги, или по образу Святой Руси, по высшим христианским понятиям жертвовать собою во имя других, быть побеждённо страдающей, нежели победительно преуспевающей.

2

Уже в начале войны — и радость победы на галицийских холмах, и горечь поражения у Мазурских озёр. И здесь надобно вспомнить роман Александра Солженицына «Август четырнадцатого» да и всё «Красное колесо». Вспомнить о «книжном» Воротынцеве, офицере-генштабисте, по духу родственном Снесареву, о реальном генерале Самсонове — он служил в Туркестане, затем вместе с Куропаткиным, Жилинским, Юденичем наступал, отступал на сопках Маньчжурии — трагическая судьба. Вспомнить и Солженицына, воевавшего в 1945 году в Восточной Пруссии. Даже, быть может, Грюнвальдскую битву вспомнить:

> Грюнвальд. Танненберг. Поле гибели. Скорбная мысль:
> «Твои христианские души, Господь, не враги!»
> Славяне, германцы — народы — для сечи сошлись?
> И ветер в хоругвях. И вороны режут круги.

«Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией в “вечном союзе”, как учил и жаждал Достоевский. (И как Воротынцев тоже предпочитал.) Куда веселей было бы так же развить и укрепить наш народ, как Германия — свой. Но сложилось — воевать, и гордость наших генштабистов была — воевать достойно» («Август четырнадцатого»).

Одна стать — чреда патриотических заявлений с трибун, газетных полос, собраний, совсем иная стать — начать войну с первого дня и первого приказа четко, упредительно, разумно, ясно для всех. Увы, у русских запев дал царский манифест, душевно и эмоционально приемлемый, очевидный по искренности, но и обшесловный. Это ещё полбеды, но приказы командующих русскими фронтами и армиями оказались не на высоте военной чёткости, ясности и безусловности. В «Службе Генерального штаба» выдающийся военный учёный, профессор А.А. Зайцов даёт разбор приказов француза Жоффра и русских Жилинского и Самсонова, у последних — приказы беспомощные, нечёткие и длиннотные. И удивительные выражения, трансформация «озёрного пространства» у Жилинского в провиденциальное «в заозёрном пространстве» у Самсонова.

Вечные истоки муз — жизнь и гибель, любовь и ненависть, жестокость и милосердие, — сочетая высь и пропасть, нигде не проявляются более сильно, пограничнo, чем на войне. Минорное изречение «когда гремят пушки, музы молчат» реальностью

обычно не подкрепляется. Поэзия — соприсущее бытию состояние, и крылья муз взмахивают, опаляемые под залпами-огнями орудий.

Многие поэты откликнулись на начало войны. Тон их строк был или пафосно поверхностен или же глубинно-трагичен: «Дождём размытые тяжёлые дороги и топи страшные неведомых болот» (Сергей Бехтеев).

В стихотворении Осипа Мандельштама, написанном в декабре 1914 года, чувствуется и память о недавнем победном летне-осеннем галицииском наступлении, и надежда, и, как иные полагают, уход от римско-католической идеи, и органическое приобщение к русской почве; между тем находят в нём и некое пародирование:

> В белом раю лежит богатырь:
> Пахарь войны, пожилой мужик.
> В серых глазах мировая ширь:
> Великорусский державный лик…

Офицер и поэт, вернее, поэт и офицер, по-лермонтовски — носитель чести, Николай Гумилев именно в военных стихах явил себя как подлинный талант, в его стихах суровая и праведная фронтовая страда, а воины — недавние пахари и косари — в испытательный час родины подвижнически действуют на ниве войны:

> И воистину светло и свято
> Дело величавое войны,
> Серафимы, ясны и крылаты,
> За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих На полях, омоченных в крови, Подвиг сеющих и славу жнущих, Ныне, Господи, благослови.

Художественные, литературные именитости в числе впечатляющем устремились в шумноголосые эстрадные читки, дабы «вдохновить» на подвиг солдатскую массу и трудящийся народ. Но не все. Александр Блок отказался участвовать в этом смотре-параде прогрессивных декламаторов. И объяснил свой отказ жёстко: «Одни кровь проливают, другие стихи читают…» Но в начальные недели войны он часто приходил на вокзал провожать воинские эшелоны. Подолгу стоял на перроне, слушал отчаянно-залихватские и горько-прощальные песни, пьяные мужские крики, женские плачи и рыдания, ранимо наблюдал

изматывающее душу зрелище: «Без конца взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон». В этом мерном, овеянном народной песенностью, но и как бы тяжело идущем, скорбном ритме гениального блоковского стихотворения — бесконечность мира и войны, близость кровавого окопа, обречённость и мужество, боль за солдата, за народ, за Россию.

Эта жалость — её заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — её застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей…

3

На кровавых галицийских полях — полк, дивизия, корпус Снесарева: его судьба как военачальника.

За три месяца до войны в Киевском военном округе проводилась военная игра. Разумеется, самую искусную и безошибочно исполненную игру корректирует жизнь, но здесь ошибка была заложена в самом основании игры: она проводилась в уверенности, что развертывание австро-венгерской армии будет проходить по плану, приобретённому, а попросту говоря, купленному русской разведкой, в частности, опытным контрразведчиком Марченко у восходящей звезды австрийского Генерального штаба полковника Редля; между тем боевые действия в августе 1914 года разворачивались при иных условиях: узнав о предательстве Редля, австрийская контрразведка «подсказала» ему застрелиться, а Генштаб, на сколько мог, изменил свой план: была произведена перегруппировка, полосы обороны и развёртывания удалены от границы на сто и даже двести километров, так что сразу русский удар пришёлся в пустоту.

Неужели, думал Снесарев, нельзя было перепроверить и для нового плана найти нового Редля, коль уж пошёл русский Генштаб по неправедному, но для контрразведок мира привычному пути подкупа?

Германия к 1914 году была готова к войне и опасалась ждать того дня, когда в такой же готовности будут и страны Антанты. Требовался более или менее благовидный предлог. Такой предлог скоро представился.

28 июня 1914 года выстрелом боснийского серба Гаврилы Принципа, студента и члена масонской ложи, в Сараеве был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанд (и не потому

ли, быть может, что он, доброжелатель славянства, будущее Австрии видел в союзе с Россией, но не в войне с нею?).

Австрия предъявила Сербии ультиматум — намеренно воинственный, посягающий на сербский суверенитет и непосильный для полной исполнимости. Горы страниц, не меньше чем об Аустерлице или Ватерлоо, исписаны как об убийстве, так и о калейдоскопе событий, последовавших вслед за ним, но многое и поныне остается неясным, во всяком случае, труднообъяснимым с точки зрения нормальной логики.

Мобилизация в России была объявлена 17 июля 1914 года. Через два дня Германия устами своего посланника в Петербурге ставит российское Министерство иностранных дел в известность, что с полуночи она находится в состоянии войны с Россией. Ещё через пять дней войну России объявляет Австрия. И недели не потребовалось, чтобы произошёл обмен такого рода «любезностями» между серединными государствами и Антантой.

4

За немногие недели русская армия завоевала большие земли, принадлежавшие Австро-Венгрии, и осенью взошла на карпатские перевалы. Среди взошедших был и Снесарев со своим полком.

Наступление против Австро-Венгрии, да и движение русских в Восточной Пруссии, победа у Гумбинена, перетекшая в поражение у Мазурских озёр, самсоновская катастрофа — всё это помогло выстоять западным союзникам, на что не раз указывали военные, политики, историки. (А в Восточной Пруссии — русская спешка, отсутствие тяжёлых батарей, никудышняя связь, легко прослушиваемая немцами, странные действия русского немца Ренненкампфа, враждебная территория.) Самсонов — толковый военачальник и добропорядочный, достойный, но не знавший края человек, а мог знать, ибо по замыслу Столыпина предполагался на должность генерал-губернатора Варшавы, да после гибели премьера-преобразователя Жилинский сумел перейти Самсонову дорогу. (Грустный штрих: немцы тело застрелившегося Самсонова нашли и почестно похоронили в Вилленберге. А вот как большевики обошлись с прахом генерала Корнилова — могилу раскопали, тело повесили на главной площади Екатеринодара, долго глумились, сожгли и развеяли прах.)

Головин, выдающийся военный ум, в своём труде «Из истории кампании 1914 года на Русском фронте» пишет: «В нас говорило чувство долга защитить память той армии, которая, в полном смысле пожертвовав собой, дала победу своим союзникам…»

«Обязательство начать решительные действия против Германии на 15-й день мобилизации является в полном смысле слова роковым решением… преступное по своему легкомыслию и стратегическому невежеству, это обязательство тяжёлым грузом ложится на кампанию 1914 года… Это в полном смысле слова государственное преступление».

Историческая справедливость побуждает вспомнить, что русский Генеральный штаб изначально не планировал столь трудноисполнимое, невыгодное, даже безграмотное решение: начать войну через полмесяца после мобилизации. Но менялись люди в государстве, правительстве, самом Генштабе, Россия поддавалась давлению Франции. И выступила бедная страна в начале войны, неподготовленная, и лишь Гумбинен — «забытый день русской славы» — оказался победным; немцы вынуждены были перебросить из Франции в Восточную Пруссию два корпуса, останься они на Марне, Западный фронт Антанты, скорее всего, был бы разбит.

Черчилль, испытанный недоброжелатель России, тем не менее ратовал за историческую истину в стиле некоей лирической публицистики: «Надо признать справедливым промелькнувшее одно время в иностранной военной литературе выражение, что сражение на Марне, или, как его называют, “Чудо на Марне”, было выиграно русскими казаками. Последнее, конечно, надо отнести на счёт пристрастия иностранцев к употреблению слов “русский казак”. Но сущность всей фразы верна. Да. Чудо на Марне было предрешено 20 августа на поле встречи XVII немецкого и III русского корпусов».

Английский посланник в России Джордж Бьюкенен, деливший мир не только по водоразделу Англия — Германия, но прежде всего по ведомствам либералов и реакционеров (последнее слово в негативном, разумеется, контексте упоминается в его «Записках дипломата» множество раз), говорит: «Если бы Россия считалась только со своими интересами, это был бы для неё лучший способ действия, но ей приходилось считаться со своими союзниками… русские руководящие круги в своём стремлении облегчить наступление на западе зашли слишком далеко для сложного механизма своей армии. России приходилось очень тяжело… начался вводный акт великой русской трагедии».

Ллойд Джордж, британский премьер-министр в годы Первой мировой войны, незадолго до начала Второй мировой войны вспоминал и напоминал: «Идеалом Германии является и всегда была война, быстро доводимая до конца… В 1914 году планы были составлены точно с такой же целью, и она чуть-чуть не была

достигнута. И она была бы достигнута, если бы не Россия… Если бы не было жертв со стороны России в 1914 году, то немецкие войска не только захватили бы Париж, но их гарнизоны по сие время находились бы в Бельгии и Франции».

Выдающиеся германские военачальники также высоко ставили стойкость русского фронта, их взгляд обобщённо сформулировал генерал Блюментрит уже после Второй мировой войны: «Во время Первой мировой войны наши потери на Восточном фронте были значительно больше потерь, понесённых нами на Западном фронте с 1914 по 1918 год… Русская армия отличалась замечательной стойкостью…»

А вот что говорит много лет спустя после битвы, на исходе своей жизни, непосредственный участник (и один из творцов) «Чуда на Марне», командующий Девятой французской армией — главной ударной силой французского воинства — Фош: «Мы не можем забывать о наших союзниках на Восточном фронте, о русской армии, которая своим активным вмешательством отвлекла на себя значительную часть сил противника и тем позволила нам одержать победу на Марне». Он же: если бы не русские — Париж пал.

Барбара Такман, автор книги «Августовские пушки», подчёркивает жертвенность России, спасительную для Франции: «Чего бы она ни стоила России, эта жертва дала французам то, что они хотели: уменьшение германских сил на Западном фронте». «Если бы немцы не перебросили два корпуса на Русский фронт, один из них защитил бы правый фланг Бюлова и прикрыл брешь между ним и Клюком; другой корпус поддержал бы Хаузена, и тогда Фоша, возможно, удалось бы разбить. Россия, верная союзническому долгу, начала наступление без соответствующей подготовки и оттянула на себя эти части».

Сколько ещё раз, в урез себе, Россия, «верная союзническому долгу», будет, преждевременно и не совсем подготовясь, наступать. Первое, что приходит на ум, — Арденны во Второй мировой войне. Немцы меньшими силами под конец войны двинулись на американцев и англичан, и те стали не просто пятиться, отступать, а весьма молодецки убегать, как если бы на спортивной дистанции. И посыпались просьбы западных союзников ускорить русское наступление. И советская сторона при недостаточной передышке и неполной подготовленности войск наступление своё действительно ускорила.

И дала собраться с духом Второму фронту — Западному — теперь уже в сорок пятом, через тридцать лет после обескровившей русских блокады и взятия Перемышля и неуслышанной, неуваженной просьбы русских помочь им в 1915

году — в пору Великого Отступления русских армий из завоёванных Карпат. Умел Запад блюсти свои интересы. Вот как напыщенно, свысока отвечал командующий французской армией Жоффр на зов о помощи: «Поверьте, я чувствую, сколь дорого обходится русскому народу эта война, но я опасаюсь, что вы не в состоянии оценить значение тех потерь, которые мы сами несём. Мы теряем в этих боях цвет нации, и я вижу, как после войны мы очутимся в отношении национальной культуры перед огромной пропастью». Словно русские у Мазурских озёр и на холмах Галиции не тот же самый цвет офицерства и нации теряли, а некие социальные «отбросы» — внеразумные, вненравственные, внетрудящиеся сброды.

Ломала не только война сама по себе, но и неправда войны, поистине мировой бойни, ложь тех, кто был не в окопах, но обрёк других на окопы.

Барбюс, герои которого в «Огне» видели, как земля разверзлась, как «со свистом разрывается шрапнель, наделённая металлической душой», как под тяжёлыми фугасами «продолжается разгром земли», как их товарищи «столпились на краю испепелённого, неизвестного мира», — они видят также «враждебность явлений и людей правде», и против них, невесть за что гибнущих, «не только чудовищные хищники, финансисты, крупные и мелкие дельцы, которые заперлись в своих замках и домах, живут войной и мирно благоденствуют в годы войны», но словно бы и «вечные противники выходят из мрака прошлого и вступают в грозовой мрак настоящего». И всё же… Хотя «день полон ночи», но «между двух тёмных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, всё-таки является вестью, что солнце существует». Олдингтон (его роман «Смерть героя» — о том же, что и «Огонь») в рассказе «Прощайте, воспоминания» сказал: «Всё, что движется к фронту, полно сил, юности, жизни. Всё, что движется с фронта, бессильно, дряхло, мертво… сонмы призраков заполняют дорогу — это армии павших в бою, грозно молчащих героев; батальон за батальоном, бригада за бригадой проходит по дороге загубленная юность Европы… Грозно молчащие товарищи наши! Мы, которые тоже были на волосок от смерти, прощаемся с вами». Ремарк в знаменитом романе «На Западном фронте без перемен», наполненном сильными сценами горклого быта войны, в посвятительном слове сказал выразительно, что книга — не обличение, не исповедь, а «только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов».

Потерянное поколение — так отложилось оно в

западноевропейском сознании. У русских своё потерянное поколение не обрело такого статуса, поскольку в большей части было доуничтожено в Гражданской войне, а в дальнейших переломах России всё смешалось: и непотерянные становились потерянными, и наоборот.

Удивительно, что великое испытание Первой мировой войной в России не дало таких книг, как на Западе, где «Смерть героя» Р. Олдингтона, «Огонь» А. Барбюса, «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя, «На Западном фронте без перемен» Э. Ремарка, «В стальных грозах» Э. Юнгера — только малая часть художественного и мемуарного массива о мировом побоище. У русских же из наиболее известного — небольшие сцены в «Тихом Доне», в «Хождении по мукам». Правда, было ещё трёхтомное «Преображение России», да не самое лучшее произведение советской эпохи. А солженицынский «Август четырнадцатого» — отклик во времени более поздний, нежели немецких, французских, английских писателей.

5

Но есть фронтовые письма, дневники, заметки русских участников Первой мировой войны.

Фронтовые письма Снесарева — удивительный и по-своему единственный такого рода эпистолярный массив, по крайней мере из дошедших до нас. Письма с войны, в которых пересекаются и переплетаются военно-бытовое, историческое, философское, лирическое. Некоторые из них адресованы официальным организациям и общественным деятелям, друзьям и родственникам, но основная часть — это письма одному человеку. Письма жене. Это гимн семье. Сколько их, таковых писем, и открыток, и закрыток? Несколько лет длится война, и едва не каждый день Снесарев пишет их. А он не простой солдат, а командир, и времени в самый обрез. Он посвящает их жене, как воин, политик и как… поэт. Ожидающая его с войны жена в его обращении: «моя помощница, подруга, жена и владычица», «моё упование и надежда, мой домашний жертвенник, пред которым я стою на коленях и несу свои молитвы»; она и сероглазая жёнушка, и нежная полевая былинка, и беленький цветок, и сизокрылая голубка, и сокровище; то рыбка, то ласточка, то ангел-жёнушка, то лапушка-жёнушка, то… наседка, а то и Пенелопа — и всегда милая, дорогая, славная, ненаглядная, ласковая, золотая, даже алмазная и даже бриллиантовая. И всегда — единственная. И ещё сотни раз повторяется: наш выводок, наши малые, троица, три якоря — дети.

Кроме неизбежных деловых да нечастых писем друзьям и родственникам он пишет более всего семье, об этом знает полк, дивизия, корпус. «Зная мою слабость, устраивают особый спектакль: когда я прихожу на позицию (а о приходе всегда знают по телефону), половина людей лежит на животах и строчит письма “своим”… Хорошо хоть то, что ловят меня на очень полезной вещи».

Да, семья — родина! Если Родина — дерево, семьи — её листва.

Ещё фронтовой дневник. Его он начал вести не с первого месяца войны и сожалел, что не имел возможности начать раньше. Дневник нередко повторяет мысли и эпизоды писем, разумеется, не буква в букву; главное же, дневник — это большой тезис к большой работе, быть может, более широкой, нежели названная им «Огневая тактика». Это остов обзорно-исследовательского труда военного мыслителя и практика, у которого счастливое сочетание: и наблюдать фронт с командного пункта, предводительствуя по восходящей полком, бригадой, дивизией, корпусом, и знать фронт изнутри; нередко — из окопа. И это не большевистская «Окопная правда» — газета безответственно-агитационная, а правда настоящая, выстраданная, вобравшая солдатскую страду и боль; правда одного окопа и всего пространства и воздуха войны. Масса цифр, числа убитых — всё фиксируется тщательно, будто однажды поможет погибшим восстать из мёртвых. Дневник от начала до конца — стремительно разворачивающийся свиток, в котором перемежаются наблюдения, действия, размышления у передовой, в траншее, на поле боя, особенности в управлении, скажем, полком и дивизией, работа с подчинёнными, формирование воинского духа, разборы удачных и неудачных атак, боёв и сражений, наступлений и отступлений, проницательное видение проблем от сугубо огневых до интендантских, распада и разложения армии, солдата, высокая оценка офицерского корпуса, а также психологические характеристики известных полководцев и военачальников Первой мировой войны: Брусилова, Лечицкого, Корнилова, Рузского, Иванова, Алексеева, Каледина, Зайончковского, Щербачёва, Головина, Черемисова, Кознакова, Павлова, Ханжина, Едрихина (Вандама), Эрдели…

В письмах и дневниковых записях — чреда верных наблюдений и заметок, подчас пророческого видения государственного будущего России и главных мировых стран, наших отношений с союзниками в сферах политической, военной, народоведческой, педагогической! И даже — литературной!

Истинная радость читать их, исполненных сердечности,

справедливости, озабоченного взгляда на происходящее, и не обуза, а радость цитировать их обстоятельно, что и будет впереди, поскольку образ, в них являющийся, настолько глубок, полноцветен, что излишней представляется всякая неумеренная сторонняя «литературная» прорисовка.

6

Войну Снесарев начал в Восьмой армии — одной из самых деятельных на Юго-западном фронте, который в свою очередь был одним из самых напряжённых среди русских фронтов Первой мировой войны. В этой армии — Брусилов, Каледин, Корнилов, Деникин, Ханжин, Марков, Гутор, Кознаков, Павлов, Келлер, Зайончковский, Покровский… Вообще на Карпатском направлении — много выдающихся помимо названных военных: Лечицкий, Врангель, Щербачёв, Головин, Черемисов, Крымов, Краснов, Кутепов, Дроздовский, Маннергейм…

Ещё* не знает Снесарев, сколько времени, нервов, трудов, бессонниц, сколько жизни ляжет под плавящий каток войны, не знает, и какие базовые точки выпадут ему в фронтовые годины, но мы-то задним числом знаем, где долее всего или, пусть и ненадолго, напряженней всего придётся ему испытать войны: это прикарпатские, карпатские земли, это Каменец-Подольск, Черновцы, Бучач, Монастыржеска, Посада-Работыцка, Самбор, перевал Ужок, Кирлибаба — «Орлиное гнездо», Бряза, Коломыя, Зивачув, Тысмяница, Сюлко…

В преддверии войны Снесарев «иконку из Почаева надел и почувствовал себя совершенно спокойно…», и спокойствие, столь необходимое в военной страде, подтверждает в открытке, посланной жене уже с занятой австрийской территории: «Дорогая моя ненаглядная Женюра! С 1 по 7 августа дивизия в непрерывных боях; жив и здоров. Вчера первые значительной частью перешли границу, и теперь нам будет легче и безопаснее… Был и под ружейным, и под орудийным огнём, и вышло то, что предполагал: чувствую себя совершенно спокойным…»

Более обстоятельно о тех днях-часах повествуют «Мои воспоминания» Брусилова, тогда командующего Восьмой армией. Снесарев как участник позже при прочтении не находил их приблизительными, исказительными. Боевое крещение Сводная казачья дивизия приняла в первые же недели войны близ местечка Городок, в полусотне вёрст от Каменец-Подольска, на реке Збруч, где проходила русско-австрийская граница. На Збруче кроме пехотных застав изготовилась ещё австрийская кавалерийская дивизия. Она попыталась сломать казачью

дивизию впереди левого фланга армии, у Городка. Казаков поддерживали четыре роты пехотинцев, они густо залегли по околице местечка. А пулемёты дивизии стояли так, что могли обстреливать всю местность перед залегшими пехотинцами. Австрийская конница понеслась развёрнутым строем, без разведки. Эту отважную, но неуместную, бессмысленную атаку русские встретили ружейным и пулемётным огнём, исход её для австрийцев был плачевным. Снесарев видел, как по полю бегали ошалелые люди и лошади. Он понимал, что для довершения разгрома надо было двинуть Донскую казачью бригаду, находившуюся в резерве у начальника дивизии, но тот оказался робок, нерешителен. К слову, скоро он был смещён, как обмолвился Снесарев в письме: «акт разумный, но, может, и случайный». Весьма потрёпанной австрийской дивизии всё-таки удалось перебраться через Збруч на свой берег.

Русские армии стали двигаться одновременно и на Северо-западном фронте, где в сражении под Гумбиненом немцы попятились, но вскоре разгромили русских у Мазурских озёр, и на Юго-западном, где в августе — сентябре развернулась Галицийская битва. Юго-западный фронт выгибался четырёхсоткилометровой дугою. Австрийцы заняли было Каменец-Подольск, но уже через два дня оставили его и даже возвратили взятую с жителей контрибуцию, узнав, что русские войска перешли пограничную реку Збруч и двинулись к Тарнопрлю. Восьмая армия под командованием генерала Брусилова и Третья армия под командованием генерала Рузского, вторгшись в Галицию, наступали на Львов и Галич. Левый фланг Восьмой армии надёжно подпирала Сводная казачья дивизия, которой теперь командовал генерал Павлов. Она двигалась через Чортков на Бучач, далее на Сатанов. Чортков, Саганов — ну что за названия, некая географическая дьяволиада, и всё же русские преодолеют их. Командарм отмечает удачные действия Сводной дивизии при взятии Чорткова, генерал-майору Павлову объявляет благодарность.

10 августа 1914 года дивизия ведёт бой у местечка Бучач. («За отличие в делах против неприятеля полковник Генерального штаба начальник штаба 2-й сводной казачьей дивизии Андрей Снесарев награждён орденом Владимира третьей степени с мечами», — позже, ровно через четыре месяца, сообщит «Русский инвалид».)

Через сутки — тяжелейший, от раннего солнца и дотемна, бой под Монастыржеской. Снесарев «за особые отличия вне нормы награждён Георгиевским оружием». Высочайший приказ 24 февраля 1915 года также обнародован в «Русском инвалиде», и

также с опозданием: «Командиру пехотного полка 133-го Симферопольского Андрею Снесареву за то, что, будучи начальником штаба 2-й казачьей сводной дивизии, 12 августа 1914 года под Монастыржеской, у опушки леса, когда обнаружился охват с трёх сторон противником наших смешанных частей, вместе с хорунжим Голубинским (там же и убитым) и Ковалёвым собрал рассеянные части и в ста метрах от неприятельской цепи руководил огнём».

Бой под Монастыржеской трижды-четырежды отбрасывал Снесарева на самую границу гибели, и Андрей Евгеньевич не раз вспоминал его и в письмах, и в беседах с женой, и в дневнике.

…Городок Монастыржеска полыхал добиблейским, довременным полыхом. Огонь не щадил ни камня, ни дерева, ни человека. Снесарев с горсткой спешенных казаков выбирался из города последним из отступавших, и град осколков, и железные рои пуль, казалось, в любой миг оборвут попятный, арьергардный шаг начальника штаба, дивизия которого то ли залегла за холмами, то ли вовсе полегла.

В полуверсте от Монастыржески за увалом пригородной гряды ему попались впереди отступавшие, но остановившиеся, может, от усталости, а может, от уязвлённости из-за своего лихого бега. Урядник Линейного полка, годами вполовину моложе начштаба, отдал ему лошадь (позже за спасение своего начальника он был отмечен Георгиевским крестом). Австрийцы наступали неудержимо-вдохновенно, казалось, что их семикратно больше, окружение возникало неожиданно и повсюду.

Снесарев всё-таки пробился к своему штабу. Там был и начальник дивизии Павлов, человек большой отваги, умелый в наступлении, но не любивший обороняться. А приходилось именно обороняться. Австрийцев было куда больше. Снесарев, мига не теряя, наинужным образом располагал казаков и пехотинцев, под злой посвист ищущих пуль ездил верхом меж молодыми, ещё не побывавшими в боях воинами, дабы поднять их дух. На какую-то четверть часа выдалось затишье. И снова наступательные команды на немецком, и снова пулемётный, винтовочный огонь. И не успел оглянуться, как его и двух хорошо знакомых ему офицеров — Голубинского и Ковалёва — цепко, с трёх сторон и ближе сотни метров, окружили. Казаки смешались. Начальника штаба ранило, а дважды на его глазах раненный Голубинский был убит: словно бы споткнулся, упал и больше не встал. Снесарев потом не раз с тоской вспомнит своего товарища, но здесь пришлось собрать волю и чувства в кулак, чтобы отвести однополчан от паники и прорвать окружение. Казалось бы, позади самое худшее. Но тут снова волнами пошли австрийцы. Пуля

пробила фуражку, обожгла волосы. Тяжело раненная кобыла Галя немыслимо как дотянулась до спасительного оврага.

Через год, в письме к жене 12 августа 1915 года, он напишет: «Целый этот день, от туманного холодного рассвета до тёмной ночи, я балансировал между жизнью и смертью… И вспоминая всё это, я не могу не видеть во всём благосклонности ко мне судьбы, и дальнейшие дни моей жизни я вправе считать благосклонным подарком Создателя».

7

Из обзорно-аналитических работ военных историков и мемуаристов русской эмиграции — Головина, Доманевского, Байова, Гулевича, Кондзеровского, Гурко, Данилова, Деникина, Лукомского, а также оставшихся на родине Зайончковского, Белого, Базаревского — видятся как общая картина войны, так и штрихи, частности, без которых и самой картины нет.

В августе — трёхдневные бои в створе рек Гнилая Липа и Золотая Липа. Двадцать четвёртый армейский корпус овладел сильно укреплённым Галичем почти без потерь. Сводная казачья дивизия заняла Станислав и устремилась на Калуш, Болехув, Стрый. Укреплённый Миколаев после внушительной артподготовки был взят тоже почти без потерь, гарнизон частью попал в плен, а частью отступил. Вскоре армиями генерала Брусилова и генерала Рузского был взят и Львов, и командарм Брусилов в главном городе Галиции, во дворце наместника обосновался вместе с армейским штабом. И Львов, он же Лемберг, тоже «почти без потерь»? Уклончиво-страховочный эвфемизм «почти без потерь» — частый гость в военных сводках, трудах, мемуарах. «Почти» включает гибель хотя бы одного воина? Но разве жизнь одного человека не потеря невосполнимая, даже если этот человек мал-безвестен?

Мировая война заглотнула и выплеснула с противостоящих сторон не только горы металла. Но и горы бумаги: директивы, донесения, рапорты, реляции, наградные листы, не говоря уже о мемуарных, документальных, художественных страницах, ею вызванных. И обе стороны «изъяснялись» на языке, не совсем обычном, изобилующем и штампами, и метафорами, враз становящимися штампами. Там битвы «разгораются», словно они костры или зори; бой «закипает», словно какой-нибудь бульон; высотами, городами и деревнями «овладевают» — будто речь, по крайней мере, о женщинах; ещё город «взят» — как если бы взят нож со стола; сражение «выиграно», словно некое спортивное состязание. Ну и уж коли «наши», то наступают, отступают,

штурмуют, обороняются непременно геройски, отважно, доблестно, храбро, бесстрашно… Некий военный чиновно-журналистский жаргон. А за словами — жизнь и гибель воина, сотен, тысяч, миллионов их!

Снесарев — большую часть месяца в каждодневных боях, видит кровь и смерть. В августе он полмесяца не пишет жене ни строчки. Вроде и не было Бучача и Монастыржески. И лишь в письме в конце сентября называет навсегда для него памятные местечки и фамилии убитых и объясняет своё молчание так: «Я не хотел тебе писать об этом по многим причинам. Есть и у нас убитые (немного) и раненые… Мне как-то не хотелось быть вестником смерти, да и люди-то все близкие… мы и в своём-то кругу стараемся говорить об этом поменьше…»

В самом начале августа в письме из Ходорова он затрагивает вопрос, к которому будет возвращаться снова и снова на протяжении всей своей военной страды: «Не знаю, привела ли ты свою мысль в исполнение: поступить сестрой милосердия… мне думается, что это дело не плохое, но ты всё равно от меня будешь не близко: мы, кавалерия, всё время впереди, а ты очутишься где-либо сзади… А наши малыши? Я не хочу на тебя нажимать, так как считаю твою мысль высокой и строго субъективной, но думал бы, что достаточно и моей работы на пользу родины…»

Итак, Снесарев, взирая на фронт панорамно и без иллюзий, понимает с незатуманенной очевидностью, что не всем же представительницам слабого пола устремляться на фронт в сестры милосердия: есть тыловая страда, требуется забота о стариках и детях; и хотя от семьи достаточно его фронтовых трудов, но не настаивает запретительно, оставляя окончательное решение за женой — «и опять-таки смотри». Позже Снесарев увидит сестёр милосердия самых разных — из простых и нередко аристократических фамилий, красивых и некрасивых, кротких и строгих, улыбчивых и печальных, дочек губернаторов и генералов, дочек своих влиятельных знакомых, жён и дочерей разных племён и наречий. Подвижницы на галицийских и иных полях. Великие княжны. Жена поэта Блока. Дочь Льва Толстого… Тут лента скорби и подвижничества тянется через десятилетия к девушкам-сестрам Великой Отечественной войны, столь проникновенно изображённым в «Крещении» писателя Ивана Акулова — «уральского кряжа», как назовёт его в предисловии к его трёхтомнику другой сильный наш писатель Борис Можаев.

Письмо «золотой женушке» от 8 сентября 1914 года посылается из Старого Самбора, исторически примечательного польского городка. И пусть не сохранился замок воеводы Мнишка, и те липы, под которыми расцветала юность его,

воеводской, дочери — будущей царицы на московском престоле, но Снесарев без труда мог представить лица и картины тех времён и, конечно, не мог не подумать о превратностях человеческой судьбы, зная, в какую даль, в какую степь, всё дальше от родного парка и от царско-московских палат уносило «царицу русской смуты» с её полуразбойной охраной — мимо нерадушного, чуть было не взявшего её в плен Воронежа, всё дальше от Дона под защиту Астрахани или ещё куда-нибудь, лишь бы остаться в живых, лишь бы сохранить в живых сына. Но пространства от судьбы не спасают.

«Подошли к самым Карпатам и стоим у их подножья… в том самом месте, которое воспевается Пушкиным (Лжедимитрий и Марина). Окрестности прекрасны, воздух чист и свеж. Выпадают дни, когда мы можем немного приотдохнуть».

«Воспевается Пушкиным…» — сказано, пожалуй, слишком с завышением, но прикарпатский уголок в пушкинском «Борисе Годунове» малой и беглой сценкой упомянут:

«Замок воеводы Мнишка в Самборе

Ряд освещенных комнат… Музыка играет польский. Самозванец идёт с Мариною в первой паре. Марина *(тихо Димитрию)*

Да, ввечеру, в одиннадцать часов, В аллее лип, я завтра у фонтана».

(Эдакое от начала семнадцатого века завлекательное рандеву. А далеко за липами польского парка зреет русская смута, народное испытание, прочувствованное национальным гением. Сколько раз каждым думающим русским прочитана эта знаменательная пушкинская и народная драма, в которой народ, в конечном счёте, устроитель судеб мира, не может устроить собственной судьбы. «Народ безмолвствует». Если сюда добавим пушкинское же — про бунт бессмысленный и беспощадный, то вполне поймём, почему нить отечественной истории, сотканная из покорности и бунта, беспрепятственно тянется через века, словно иные — вне черноты жизни и истории — цветы на неоглядной русской земле-почве не растут…)

Через десять дней пишет: «Будем живы-здоровы, всё с тобою вспомним, поговорим, переживём…» Покамест же… всюду — война, во всём — война, надо всем — война. Правда, вовсе увести от воспоминаний о былом, мирном и она не может; многое, вспоминаясь, отметается или призывается на помощь, чаще всего сравнивается: «Последние 3–4 дня идёт дождь попеременно со снегом: стоим высоко (высота вроде Ошской), холодно и ветрено, но воздух хороший, чувствуются горы, их склоны, синева…»

«Ветрено, ветер, ветры» — сколько раз повторятся эти слова

на снесаревских страницах — ветры памирско-ошские, среднеазиатские, каспийские, балтийские, карпатские, беломорские; ветры, в которых пронизывающая стужа гор, обжигающая солёность моря, сырость приболотных низин; ветры, в которых тоска и беспощадная радость перемен, и суровые гулы надвигающихся, редко радостных новых времён; да и сама война — это страшный многоцветный ветер, более всего красный и чёрный…

Через два месяца после начала войны он словно бы мимоходом напишет: «Война — это что-то особенное, она всё меняет, всё освещает под своим углом, всё расценивает и раскладывает по-своему. О ней книги написаны, а ничего ясного не сказано». Эти слова с ещё большим моральным правом истины мог он повторить и в конце войны. А с ним — и миллионы воевавших.

Война и семья — для Снесарева на протяжении нескольких лет главная антитеза. Война — часто гибель, семья — всегда жизнь. Война — близко, семья — далеко. Война — сокрушение и разрушение, семья — милосердие и созидание.

В письме от 11 октября 1914 года, посланном из Дрогобыча, читаем: «Стало у нас несколько спокойнее, больше свободного времени и больше стало тянуть к вам… и понятно, или воевать, или жить дома и получать те радости, что даёт своё гнездо… Только вы далеко, моя золотая четвёрка, я несусь мыслью к вам, и в моём засушенном кровавыми картинами сердце поднимаются забытые тёплые тревога и тоска… Три месяца видеть смерть, кровь, жертвы… это закаляет, делает человека жёстко-спокойным и отучает от тихих грёз мирного времени…»

8

Но снова обратимся к трудам уже названных военных историков — чего достигла Россия, за пять месяцев успев похоронить у прусских озёр и на прикарпатских холмах отборные силы офицерского корпуса и сотни тысяч солдат — вчерашних крестьян.

После Галича и Львова у офицеров и солдат — дух, как сошлись в том советские историки, наступательный. Командование Юго-западного фронта разработало операцию: в треугольнике между Вислой и Саном разгромить две неприятельские армии четырьмя русскими армиями. Сводной казачьей группе Павлова и Снесарева надлежало переправиться на южный берег Днестра, взять Стрый и вести разведку в направлении Карпатских проходов.

(Продвижение враждебных армий маятниковое: Каменец-Подольск, Стрый, Монастыржеска, местечки у рек Коропец, Гнилая Липа, Золотая Липа — то под русскими, то под австрийцами.) Казачья конница, преследуя отступавших от Миколаева, целилась на Стрый и на Самбор, а далее к перевалу Турки-Ломница. У Гнилой Липы австрийцы попытались остановить русских, но были разбиты, и это свело на нет победу их на севере в Томашовском сражении.

Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич предписывает «покончить с австрийцами до подхода с запада германских подкреплений», командующий Юго-западным фронтом Иванов приказывает начать общее наступление и отбросить австрийцев к Висле.

Городокское (Гродекское) сражение, в котором австрийцы нацелились разбить Третью и Восьмую русские армии и вернуть утраченные территории, развернулось в лесисто-холмистой местности. В лесах особенно не навоюешься, особенно большими массами. Потому-то и в документе, и в художественном тексте сплошь и рядом — «поля сражений», но не горы и не леса сражений. Конница и артиллерия находились в плену дорог с их непролазной от больших дождей грязью. Сражение началось 6 сентября 1914 года, когда Девятый русский корпус, двигавшийся на Раву-Русскую, столкнулся с австрийцами. Сводный казачий отряд Павлова выдвигался к Стрыю. Бои у Каменной Горы, у лесистых высот Козий хребет, у Малой Вишни. Стало ясно, что русским противостоит не слабый заслон, прикрывавший отход австрийских армий из Томашова, но мощная группировка. Идут упорные бои по всему, без малого в шестьдесят километров, фронту Восьмой армии. Вскоре австрийские войска отступили с огромными потерями: более 300 тысяч убитыми и пленными. Городокское четырёхдневное сражение, не затихавшее ни на час ни ночью, ни днём, решило исход Галицийской битвы. Сводная казачья группа Павлова и Снесарева вошла в Самбор и через Старое Место была направлена в Карпаты к городку Турка, чтобы захватить перевал, за которым расстилалась Венгерская равнина.

Галицийская битва — с 5 августа по 13 сентября 1914 года — одна из крупнейших стратегических операций. Германия, беспрестанно вынужденная оглядываться на отступающую по галицийским землям Австрию, вынужденная перебросить отборные корпуса из Франции против русских, потерпела поражение в сентябрьском 1914 года сражении на Марне — притоке Сены. Предположение Шлиффена о том, что «судьба Австрии решится не на Буге, а на Сене», оказалось проницательно-верным.

А Галицийская группа Брусилова (Восьмая, Третья и Блокадная армии) готовилась штурмовать Перемышль. Австрийцами была перехвачена радиограмма о скором штурме крепости, и они резко усилили нажим на перевал Ужок. (Коней на переправе, верно, не меняют, но избавляться от собственной бессистемности и безалаберности, от тьмы ошибок, от неумения даже себя пожалеть можно и нужно хоть на мосту, хоть в воде, хоть под водой. Уж эти радиоперехваты! И у Самсонова они в значительной степени подарили победу немцам: все радиоразговоры русских шли открытым текстом, и вся картина русских в Восточной Пруссии была у немцев как на ладони). Начавшийся штурм Перемышля не задался, и пришлось снять блокаду. Непрерывные дожди испортили дороги, надо было ждать.

Вскоре после Галицийской битвы началась Варшавско-Ивангородская операция, в которой с обеих сторон участвовало до миллиона человек. Она длилась более десяти дней — 15–26 сентября 1914 года. После разгрома австрийцев в Галицийской битве появилась реальная возможность вторжения русских войск в Силезию — юго-восточную часть Германии. Гинденбург и Людендорф — опытные вожди на Восточном фронте — решили упредить русских, ударить по Ивангороду и Варшаве, смять войска Западного фронта и северный фланг Юго-западного. Но испытанные полки Юго-западного фронта, победители в Галицийской битве, совершив немыслимо трудный марш в сотни километров, появились на польской земле. Германский марш победителей по улицам Варшавы в первый год войны не состоялся.

Лодзинская операция — позднеосенняя и последняя в 1914 году. И обоюдно безуспешная. Разработанное Ставкой вторжение в пределы Германии не состоялось. Германское командование перебросило с Запада и других направлений крупные силы. Ударной группе генерала Шеффера удалось обойти Вторую русскую армию и выйти ей в тыл, но сама группа оказалась в окружении, откуда, прежде всего из-за ошибок генерала Ренненкампфа, ей удалось вырваться. «Крупная оперативная цель уничтожить русских в излучине Вислы не была достигнута», — писал Эрих Людендорф в книге «Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг.». Война из маневренной перешла в позиционную, конца ей стало не видно.

9

Командиру 133-го Симферопольского полка 34-й дивизии

Снесареву, возглавившему полк с 30 октября 1914 года, по Высочайшему приказу за особое отличие — за взятие перевала Ужок — 3 ноября 1914 года объявлено Высочайшее благоволение.

Идут последние месяцы первого года войны. Снесарев в ноябрьском письме к жене мельком отмечает штрих, для него, безусловно, значительный: «…В головах у меня стоит полковое знамя и хранит мой сон…»

Полк для него в те осенне-зимние месяцы всё равно что каждодневное открытие новой густозаселённой страны, данной ему в управление. Пусть это не дивизия, не корпус, тем более не армия. Но это реальная сила. Он слишком хорошо знал историю войн и государств, чтобы не помнить, что полк мог решить исход дворцового переворота, мог спасти сотни людей при землетрясении, мог победить превосходящего противника или полечь под залпами вражеских орудий. Само слово «полк» дышало стариной, первыми походами времён юного Отечества, поэтическими и трагическими реминисценциями «Слова о полку Игореве»…

Полк состоял из тысяч живых душ — тысяч вселенных, и создать из них небывалую, слитную семью и не дать ей пропасть, но научить едино и верно действовать и было его первейшей заботой. Делясь с женой всем существенным и сокровенным, он в письме из Явора от 29 ноября 1914 года считает необходимым поделиться и этим: «…я чувствую каждый день, что мне Государем вручены 4 тысячи душ, драгоценных и великих, душ русских, и что я должен их уберечь в сложной обстановке войны…

И когда я тихо брожу взад-вперёд около дома, а на полугорке копаются мои люди, или слышится смех и болтовня, или несется их песня (отдал приказание петь песни, до меня было запрещено), я иначе не думаю об них, как в том духе, что это мои дети, мне Богом и Царём вручённые, и что я должен быть готов каждую минуту дать за них ответ… и понятно, что мне приходится много говорить, наставлять, журить или хвалить, как это делается в каждой семье, и без чего семьи настоящей нет. Как розданы твои посылки, не могу тебе ещё сказать, так как это будет делаться вечером, а Горнштейн выезжает сейчас… Он человек интересный, прибыл из Америки для отбывания воинской повинности и ведёт себя молодцом, не походя на своих сородичей…»

(На Памире у него уже были сотни подчинённых, но здесь речь о тысячах, а настанет час, когда речь пойдёт о десятках тысяч: командир корпуса, начальник обороны Царицына и Западной завесы! Беречь солдата, как умели Суворов, Ушаков, Нахимов, Скобелев, Снесарев, Рокоссовский, или направлять в

огонь, думая больше о победе, нежели о жертвах, как умели Наполеон, Корнилов, Жуков, австрийские, турецкие военачальники. Но гениальность полководца или же, скажем так, искусство любого военачальника — в умении в противоборстве с врагом потерять как можно меньше подчинённых.)

А через несколько дней, 4–6 декабря 1914 года, ему и возглавляемому им полку выпадает кровавое испытание — трёхдневный жесточайший бой у Посада-Работыцка, у шоссе Троица-Работыцка, у деревни Цысова. Может, по его полку пуль было выпущено и поменьше, чем по казакам и пехотинцам ранее при Бучаче и Монастыржеске, но австрийцы шли в прорыв, а прорывающиеся всегда отчаянно-сильней и опасней, чем в обычном режиме наступающие…

«За особые отличия» командир полка представляется к ордену Святого Георгия четвёртой степени, получает его полтора года спустя. Правда, «особые отличия» Снесарева характеризуются весьма общо и несколько залихватски, в стилистике газетного военного штампа не только в «Русском инвалиде», но и в самом Высочайшем приказе: «находясь во время боя под действительным ружейным огнём, подвергая свою жизнь явной опасности и воодушевляя нижних чинов, молодецким наступлением штыками выбил противника из ряда окопов и занял деревню Цысова, где и укрепился». Снесарев в июльском дневнике 1916 года, словно бы комментируя Высочайший приказ, излагающий кратко его подвиг, пишет: «Но ведь забыты: восстановление блокады Перемышля (честь моя и моего полка); восстановление линии, брошенной 9-й кавалерийской дивизией и двумя пехотными полками (величина подвига и обстановка); атака полком целой дивизии (смелость шага)… Иначе выходит подвиг ретивого ротного командира… не больше».

Итак, первый бой полк с честью выдержал, и воля, слово, присутствие под огнём командира полка здесь сказались в решающей степени. Но дальше стало ясно, что одними внешними боями дела не решить, надо постоянно вести «внутренние бои»: изгонять из полка интриги, зависть, обман, трусость, нерадивость хозяйственных служб, подчас волевую несобранность командиров и опасную для передовой беспечность нижних чинов. Через десяток дней в письме из Старого Самбора об этом говорится: «Думал над некоторыми мудрёными вопросами по управлению полком; надо сделать некоторые шаги против взаимных интриг и некоторой развязности хозяйственной части полка, и я всё взвешивал в голове, как бы это сделать умнее, не лопаясь, подобно ракете. Вчера собирал офицеров, беседовал с ними на разные темы и нравственного, и тактического характера и

лишний раз убедился, какой прекрасный состав дал мне Бог, как внимательно они меня слушали…»

Через два-три месяца Снесарев исследует и объяснит себе тончайшие связи полка во всём: от человека до коня, от окопа до кухни… Он увидит и выходы полка на общегосударственное и на духовно-вечное — через службы в церкви, уходящие в небо горные хребты, через интендантство, почту, тыл, газетчиков — во всяких проявлениях: высоких, обыденных, праздничных, забавных, грустных, тягостных, недобрых и т.п. Он видит, что и в этой войне, более «железной», чем прежние, оправдывает себя связка: человек — оружие — конь. Конь — статья особая. Перед глазами Снесарева прошли тысячи лошадей самых разных пород. С десяти лет он уже был цепким наездником, и надолго с конём не расставался. Огромная лошадиная лава (когда-то мирные косяки, табуны) — в Сводной казачьей дивизии. И перед войной, и в войну у него были свои и высокоценимые лошади. Маша (Галя) ещё недавно тяжело раненная, вынесла его из пекла, оказалась спасительницей, и он ревностно оберегал её: щадил и холил. Жеребец Легкомысленный вполне оправдывал свою кличку: он не боялся человеческого крика, орудийного грохота, мог, не слушаясь поводьев, устремиться хоть по крутой горной тропе, хоть с обрыва, хоть под пули. Наконец, редкостной красоты, на загляденье был жеребец Орёл, но его в трудный, рискованный час не возьмёшь: он маловынослив, годился более для праздничного действа, для парада, но на передовой «парадиться некогда»…

И, конечно, силой, бывшей выше и человека, и изобретённого им оружия, и приручённого им коня, от дней творения оставалась сила Неба, сила Бога, кроткая сила Церкви, и Снесарев это чувствовал, может, и генетически, как выходец из духовного сословия, истового рода истовых священников; и он всегда заботился, чтобы в полку отмечались религиозные праздники, православные, мусульманские, чтобы молитва сопутствовала солдату в утренний и вечерний час, чтобы каждый погибший был отпет, и чтобы после атак и контратак быстро выраставшие кладбища были ухоженными. Он любил бывать в горных русинских церковках, не озадачиваясь, какой там чин преобладал — строго православный или униатский: образ Христа, душа Христа в христианской церкви присутствуют неизменно.

В войне люди гибнут во всякое время и на всякой местности. Но война в летние месяцы совсем не то, что в зимние, когда всё окрестное цепенеет, словно в глубоком сугробном плену, когда глубоко легшие снега не дают двигаться ни человеку, ни машине, ни коню, когда мороз бьёт всё живое двадцатью-тридцатью, а то и

более градусами. Разумеется, и война в горах куда тяжелее, нежели на равнине. Командующий армией, принявшей на себя значительные тяготы первого года войны в Карпатах, генерал Брусилов в своих воспоминаниях сетует, что выпала «борьба не только с врагом, но и с природой и климатом. Каждый хребет, каждая гора, каждый лес были задолго, заблаговременно укреплены, приходилось шаг за шагом сбивать противника с сильных природных позиций, карабкаться по обледенелым скатам, дни и ночи проводить в боевых частях при сильных морозах».

В конце декабря на Юго-западном фронте наступило затишье. На других — и вовсе. Кампания 1914 года никому не дала реального перевеса. Никому не дано было одержать победу в битве, которая бы решила исход войны. Германский «блиц» не удался, но и Антанта понесла потери огромные.

В новогоднюю ночь Снесарев подводит итоги фронтового полугода, что он и что Россия потеряли… А что приобрели? Он ещё более, чем в мирной жизни, убедился, что без семьи и родины — человек, даже талантливый, часто пустоцвет. Он тысячекратно увидел и прочувствовал справедливость поговорки: кому война, а кому мать родна. Он понял, что когда иррациональные силы начинают двигать колесницей истории, мало что зависит от человека, и всё же зависит! А Россия шла своим жертвенным путём, и эту её провиденциальную, святую жертвенность никто, кроме Господа Бога, отменить не мог.

Да никто, или почти никто, в западном мире и понять не мог, как и не мог оценить.

ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. 1915

В 1915 году по России пришёлся главный удар Серединных стран. Иначе называя — Центральных держав. Исторически, пожалуй, некорректно называть их Тройственным союзом (такое название было в ходу и в политических кругах, и в дипломатических бумагах), ибо третья союзница — Италия, ещё не успев услышать выстрел со стороны Антанты, уже подумывала, как изменить немцам, почувствовав будущий окончательный успех не за ними; а может, и оттого ещё апеннинский союзник был ненадёжен, что итальянскому общественному сознанию неприятен был стародавний австрийский пресс, вечно нависавший над Италией австрийский меч. В январе — феврале в Восточной Пруссии немцы предприняли Августовскую операцию, стремясь окружить Десятую армию Северо-западного фронта. Русских потеснили. Но успех полугодичной давности (разгром русских у Мазурских озёр) повторить не удалось. Между тем и в Карпаты перебрасывались немецкие полки, дивизии, корпуса… Русские армии были сильно ослаблены, не хватало офицеров, ещё катастрофичней — унтер-офицеров, более других погибших. Натиск австро-германских войск в феврале усилился, особенно на фронте Самбор — Стрый — Долина. Наступательно — атака за атакой — продвигалась австрийская армия генерала Лизингена, бои — почти беспрерывные.

И вдруг — гром с ясного неба — 9 марта 1915 года гарнизон крепости Перемышль поднял белый флаг. Сто двадцать тысяч солдат, две с половиной тысячи офицеров взяты в плен. Трофеи — около тысячи орудий. Это была победа, небывалая на всех операционных направлениях Антанты, но для русских в Карпатах — и последняя.

Снесарев всё время находился на передовой. В его письмах много размышлений о фронтовой обстановке, об ответственности командира полка, о способах поднимать воинов в бой, о чувстве полкового содружества, о душе русского солдата, способной быть и жёстко-отважной, и мягко-милосердной, и сострадательной к врагу. Зарождается идея будущей книги «Огневая тактика».

1

Его письмо от 18–19 января 1915 года вмещает и абзац с забавным эпизодом о том, как лично раздавал сапоги офицерам,

поскольку о солдатах приучил заботиться своих помощников, «а офицеру как помочь: он не просит, а на подошву ему посмотреть не догадаешься», и краткий рассказ о бое, и размышление о русских широких душах («уж такая мы Богом обласканная порода»), о солдатах, готовых побеждённых беречь больше самих себя: «…бой идёт непрерывно уже неделю… напирали четверные силы противника, и я должен был решить вопрос, отгрызаться ли от него зубами или отбиваться кулаками. Пустив в ход пулемёты, артиллерию и штыки, я успешно продержался до ночи, а ночью стал трепать моего соперника непрерывными атаками, с утра их возобновил и, в конце концов, убедил его, что не он сильнее меня вчетверо; а я сильнее его… в результате его отступление с позиции…

Как это ясно на войне, как ярки здесь русские черты характера. Когда я ещё был у Павлова и отбивался против обхода (за что представлен в генералы), я долго потом ждал сотни с боевого участка; а особенно запоздала одна, и это меня волновало, так как нам предстоял страшно трудный путь горами, лесом в ужасно тёмную ночь… Она появилась поздно, 8 человек несли большие носилки с раненым, что их и задержало… Я первую минуту вообразил, что принесли нашего офицера, и каково было моё удивление: это несли грузного раненого австрийца, с которым они часа три перед этим вели жаркий бой. И они несли его, чередуясь чрез 100–200 шагов, и мучались, и спотыкались, и утирали свои потные лбы… и всё это после больших трудов боевого дня. Кому даны такие подвиги, кроме нас, русских?.. Вчера приводят ко мне 18 пленных мадьяров (так как они прошли уже через солдатские руки, то из карманов, как сказал выше и как всегда бывает, почти у каждого высматривало то или другое солдатское достояние); наши денщики заволновались и забегали: чем будут угощать, пока делается расспрос… порезали сало в куски и зажарили, отдали свои хлеб, табак, сахар… даже суровые, измученные и упрямые лица венгров не в силах выдержать, и на них после нашей русской обработки налетает тёплая благодарная улыбка…» Поскольку Снесареву полковой щит в противостоянии с венграми пришлось держать даже чаще, нежели с австрийцами, то и пришлось познакомиться с ними даже покороче, чем с австрийцами, причём знакомство складывалось разностороннее: и при пленении и допросе или разговоре с пленными мадьярами, и во фронтовой участи многострадальных не без мадьярской «помощи» русинских деревень.

Месяцем позже, 16 февраля 1915 года, он напишет: «Здесь много приходят к нам русинов, просящих у меня отпуска в

Россию, что я и даю. Между детьми попадаются круглые сироты, и офицеры мало-помалу разбирают их себе. Не хочешь ли ты нам сироту, девочку или мальчика, лет 10–12? Как тебе думается?.. Жителей стояла сегодня целая масса, и я разговорился с ними. Нищета страшная и лишения несказанные. Особенно их возмущает ненужная и дикая жестокость мадьяров. “Мы понимаем, — говорит один, — что война не игрушка, но зачем делать из неё сплошное страдание и для мирных жителей? Пули убивают и нас, снаряд случайно подожжёт и дом, но зачем делать это с умыслом? Ваши солдаты живут среди нас, и мы только подкармливаемся около, а мадьярские тащат из деревень к себе в окопы всё, что найдут, даже наших жён”. “Ну что же, — шутит один из офицеров, — возьмут какую-либо старуху, меньше ртов останется”. “Нужна им старуха, — вставляет со смехом молодой русин, — они выбирают красивую да толстую”. Оказывается, я запрещаю приезд супруг офицерских на театр войны, а мой соперник, какой-либо командир венгерского полка, смотрит сквозь пальцы на то, что его офицеры и солдаты устраивают из окопов дома свиданий…»

Немного погодя, 10 марта 1915 года, — снова «венгерский» мотив: «В соседней комнате сидит австрийский офицер (венгерец), и мои офицеры (все еле-еле говорящие немцы) стараются с ним настроить беседу… Офицер пришёл с промокшими ногами, всё это с него снято и сушится, а он сидит в валенках одного из моих офицеров… он в таком восторге от этого ножного маскарада, что непрестанно посматривает на свою новую обувь. Вокруг него сидят мои офицеры и наперерыв пичкают, засматривая ему в рот (ест ли, мол), а снаружи пленных обступили солдаты и тоже оделяют чем Бог послал… Картина обычная, как я тебе писал».

(Итак, русская незлобивость, сопереживательность, вечная потребность последнюю рубаху отдать погорельцу, любому, кто долу пригнут бедой. А венгры, они же мадьяры, во Второй мировой войне, на Дону в сорок втором, близ снесаревской родины, лютовали куда жесточе немцев. Расстреляли стариков, детей и женщин в слободе Босовка, напротив Павловска. И не в одной Босовке жгли хаты, убивали стариков, насиловали женщин. На Дону Вторая отборная венгерская армия окопалась от Воронежа и Гремячьего до Белогорья и ниже по течению реки. Приволжские, придонские, земли европейской части России обосновывались венгерскими главарями как историческая венгерская родина (справедливость требует упомянуть, покинутая ими по доброй, непритеснительной воле). Хорти-сын был здесь, вскоре и погиб в самолёте при подлёте к Дону. Сражались не

воины прежней орды. Хватало батальона русских, чтобы ввести в паническое состояние венгерскую дивизию. Об этом венгр-офицер Гергени пишет красноречиво. Живые, они окопались на высоких холмах, а наши вынуждены были штурмовать те родные и одновременно враждебные холмы.

В восьмидесятые годы ушедшего века в нескольких изданиях была опубликована статья автора этих строк «Плацдармы памяти», посвященная увековечению фронтовой памяти и воронежской полосы ратной славы. Было много писем, обсуждений, рассмотрений и решений на властных уровнях. Ветераны Великой Отечественной, приняв общий смысл написанного, высказались против воинских памятников на нашей земле немцам, итальянцам, венграм и другим захватчикам; в статье были строки о том, что таковые строгие напоминатели о страшной косовице всемирной войны и по милосердию нашего народа, и по грядущему духу времени, и по традиции, — как, скажем, красно-серый гранит с надписью в честь храбрецов-шведов, погибших близ Полтавы, или монумент погибшим французам на поле Бородинском, — рано или поздно появятся. Они и появились. Теперь на придонском взгорье у близворонежских сёл Рудкино и Гремячье можно увидеть мемориал погибшим венграм — размерами он превосходит мемориалы на иных полях сражений в честь русско-советских войск.

2

Наблюдения за «своими» и «чужими» в дни сражений и в дни затиший невольно побуждают Снесарева просматривать все попадающиеся газеты — как война, окопы, враги, плен видятся в призме корреспондентского глаза и пера. Видятся в часто искажённом преломлении, словно цепь горных хребтов отделяет пишущих от окопов. В письме от 31 января 1915 года он даже высказывает жене предположение, которое не знающему войны во всех её изнанках, тенях и трясинах, показалось бы забавным, а кому-то и обидным: «У меня приходит курьёзная мысль: в последнее время в письмах тебе я привожу некоторые военные эпизоды из переживаемых нами. Не служит ли это причиной недохода некоторых из моих писем? Вскроют, прочитают… и используют для сообщений в газету, для статьи, для фельетона. Зачем изобретательному корреспонденту рисковать головой: сделайся своим человеком в цензурной комиссии и материалу хоть отбавляй…»; но такого рода строки — свидетельство не то что тотального неприятия печати, но бесчисленно многих из тех,

кто ради красного словца не пожалеет и отца, кто нечестен в слове, ловок, труслив и фанаберист.

Негативно «газетный синдром» продолжится на протяжении всей войны, едва пройдёт неделя после вышенаписанного им, как последует новый залп по «господам газетчикам»: «Хотя с опозданием, но мы читаем газеты и Боже мой: как бедны темы гг. газетчиков, как много они врут, как раздувают пустые факты и как странно идут мимо дел, трогательных и поразительных… Виден человек, желающий заработать и натягивающий на картину войны своё дырявое, узкое, а часто и малодушное понимание. А сколько технического невежества? Конечно, военное дело есть дело специальное, но пишущему о нём надо познакомиться с азами. Сколько говорят о доведённой до нищеты Галиции, а что приводят, кроме общих слов? Вот тебе несколько примеров. Между моим полком и противником лежит нейтральная деревня, куда спускаются то мои, то их разведчики: их — чтобы окончательно дограбить что есть; мои — чтобы подобрать оружие и добыть языка (поймать пленных). Деревня разбита артиллерией, в избах окон нет, жители её покинули: мужчины, чтобы не попасть в солдаты, женщины, чтобы избежать насилования со стороны мадьяров; дети постарше приплелись к нам пешком, малых принесли на руках… Остались в деревне старики и старухи, которые не могут перевалить через горы… Они остались одинокими в разрушенной деревне, плачут старческими слезами и ждут смерти… она не заставит себя ждать и придёт в форме голода. Разведчики отдают свой хлеб, но ведь его мало. Что бы накрутил газетчик на тему о деревне со стариками!»

За годы войны у Снесарева сложится неколебимое убеждение: «Гораздо правильнее, если общество будет черпать свой материал и создавать свои впечатления от нас, т.е. первоисточника, людей, проникнутых долгом и полной верой в конечную победу и величие нашей Родины, но не ослеплённых туманом самообольщения или густо-розовым колоритом, чем от газетных работников, у которых не разберёшь, где кончаются факты и начинается фантазия, где начинается чувство патриота и кончается потребность рыночной рекламы из-за куска хлеба…»

3

Но, разумеется, проглядывание газет было занятием мелкостепенным, и ежели не забывать гумилёвское метафорическое изречение: слово поднимает даже мёртвых, слово сокрушает города — то такой силы слово, разумеется, было не

газетное, да и не поэтическое, увы, и даже не песенное. Была реальная жизнь полка, были приказы по полку, были окопы, хлюпающая грязь, атаки, свист пуль и осколков, и тысяча забот командира полка.

10 февраля 1915 года частью своих терзаний и забот делится с женой: «…думаю о тех текущих вопросах, которые я должен решить. Править полком дело, несомненно, трудное, особенно в военное время; к вопросам мирного порядка — нудным и глубоким, смешным и драматичным — война приклеивает вопросы боевые, всегда роковые, глубокие и серьёзные, где всё важно, всё ответственно, всё тревожит душу и совесть. Возьми одни офицерские награды. От меня исходит, например, представление офицера к Георгию; но ведь это факт, который сверху донизу изменяет будущий облик его жизни: предельный батальонный командир до этого офицер с Георгием станет минимум полковой командир. Как нужно подумать над вопросом, чтобы не поднять недостойного и не обидеть товарищей. А награды нижних чинов, дающие счастливцу на всю жизнь от 12 руб. в год и более? А в его крестьянском обиходе разве это пустяк?.. А выполнение боевых задач, влекущих за собою смерти и ранения? И всё это должно быть продумано и рассмотрено со всех сторон, в глубину и ширь, а есть ли на это время? В боевые моменты судьба пошлёт для решения рокового вопроса каких-либо жалких и нервных пять минут, когда ты и сам — решающий вопрос — будешь находиться под шрапнельным и ружейным огнём. Вот почему все выводы военных, сделанные в тиши кабинета, так часто не совпадают со впечатлениями и пониманием практиков войны. Бой был бы пустая задача, если бы её пришлось решать, сидя в уютном кабинете и располагая для решения неограниченным временем. Увы, её решаешь под огнём и даются тебе минуты времени…»

На лечение в столицу едет бывший адъютант, командир роты поляк Роман Островский, и Снесарев в письме от 5 марта 1915 года просит, как о близком родственнике, похлопотать о нём — побывать в Главном штабе у друзей и выкроить ему место в военном госпитале. Забота о подчинённых, о боевых товарищах, об однополчанах — по движению сердца, а не по тактическим соображениям, хотя, разумеется, командир полка рад был бы, если бы наиболее отважные, сильные, преданные однополчане выходили живыми из огня атак и из-под ножей хирургов. А далее — опять-таки о существе своего командирского дела с его невидимыми слезами, необходимыми предугадываниями, непредвиденными заботами: «Вообще работа командира полка наиболее трудна с его чёрного входа, о котором никто не говорит

и которым пренебрегают военные историки, а она играет большую роль в благополучном ходе полкового корабля, несёт с собою удачи, несёт с собою поражения. Нужна и строгость, и гибкость, и изворотливость, и хитрость, чтобы дирижировать тем, что зовется суммой человеческих страстей, слабостей, настроений, фантазий, больных опасений и т.п. Командиры полков заболевают нервно не от страха пред смертью и пулями, а от непрерывного напряжения по управлению людьми, по направлению этой сложной машины к благому исходу. Одни из нас (как один из моих товарищей по академии) думают, что всего можно достичь одной строгостью или судом, и что же? Все их офицеры уплыли из полка по тем или другим причинам, которых сам Соломон не предусмотрит, больше по нервному расстройству. Другой думает взять одной простотой и лаской, и хотя орудие оказывается всё же лучше строгости, но, не будучи универсальным, и оно не дает хороших плодов…»

Через десяток дней — опять в письме все та же полковая дума и песня: «Полк — вещь сложная, особенно при тех понятиях, которые я ношу в своём сердце… настойчиво требую от ротных командиров, чтобы нравственная и бытовая жизнь людей по возможности шла своим чередом, как бы горяч и продолжителен ни был бой… Я пробовал поначалу давать только общие директивы, но не тут-то было. Для убитых забывают вырыть могилу, в бане нет пару и из котлов исчерпана вода, в ротах нет починки сапог (в некоторых, конечно), на позицию не все подаются ротные кухни, между ротными командирами возникают распри… и приходится волей-неволей бродить, подобно старой ключнице, по углам, досматривать… На войне хороший и нравственно красивый человек становится ещё лучше, но зато средний или плохой человек ниспадает до степени возмутительной дряни…

Много видишь… такого, о чём военные историки не только не будут говорить, а не будут даже и знать».

Об истории, а попутно и историках, в том числе военных, он, привыкший дышать «воздухом прошлого», размышлял постоянно. Однажды заметил: «Интересно сближать далёкое с настоящим и усматривать, как многое уцелело». Кроме начальника полка да причастных, никому более не видимая зыбь малой реки — малой обыденной истории: в один день приходится радоваться и огорчаться, награждать и ругаться, прикалывать солдатский Георгиевский крест и срывать петлицы, независимо от того, кто их провинившийся носитель — каптенармус, фельдфебель или прапорщик с университетским значком. «Это теневая сторона командирского управления, скрытая от глаз военных историков».

Снесарев не раз бывал свидетелем тому, как при неудаче, в которой редко бывает повинен один, «все ищут виновного и хотят свалить на него вину — путь, не ведущий к раскрытию правды… И никто её так и не узнает, а историк отличится от современников только тем, что правду эту выдумает…»

И потому его фронтовые письма и дневники — потребность сказать современникам слово правды, слово очевидца и ратника, могущего открытыми глазами увидеть хотя бы верхушку, надводную часть айсберга, в которую вморожен и плавит её раскалённый воюющий человеческий мир. «Пусть история врёт, и в будущем всё будет спутано, но хотя бы современники знали и чувствовали правду».

Размышляя о потаённых сторонах войны, однажды (письмо от 30 июля 1916 года) скажет: «…если бы войну вскрыть по всем её швам, по всем её многосложным влияниям и отзвукам… что бы тогда открыли и какой конечный суд вынесли бы её великому значению… Историки, как дети на берегу моря, бросаются на самые яркие камни, забывая про более скромные, про песок и глину… я боюсь, что и о нашей войне они скажут своё слово, как дети…»

Да и сама история — выскажется он позже в письме от 22 июня 1917 года — «старушка слепая и узкая, она говорит по моде и любит усваивать модные напевы»; тогда же в дневнике запишет: «Начинают искать стрелочника… Но правды не будут знать и знать не захотят; в русской истории будет какое-то туманное пятно, над разгадкой которого много прольёт поту какой-либо далёкий историю).

И однако в какие бы «модные» одежды история ни рядилась, вернее, в какие бы одежды её ни рядили люди, у неё своё, неотменимое движение; а политикам, историкам, журналистам, писателям, общественным трибунам, часто глубоко и не знающим всей трагической сути происшедшего, происходящего, всякий раз хочется историю улучшить или ухудшить, задним числом переделать, перелицевать, переиначить в событиях, эпизодах, именах, выдать большое за малое, малое за большое, а о невыгодном, им чуждом, просто умолчать.

История пишется народной кровью, народной страдой, и, может, потому она почти никогда ничему не учит власть имущих, особенно взявших её не по уму, не по отваге, не по чести.

4

А поскольку ни журналисты, ни военные историки не видят или не знают всех негромких, невыигрышных, неявных сторон

войны, Снесарев хочет запечатлеть их сам — через письма, через дневник. И через фотографии!

В открытке от 8 февраля 1915 года уже привычно-неизбежные строки о полковой жизни: «У меня в полку всё протекает благополучно, больных мало, и это меня очень радует. На войне приходится более бороться с болезнями, чем с пулями и снарядами противника…» — предварит сообщением о том, что послал четыре снимка, пусть и не совсем удачные, но кое-что из фронтовой жизни рассказывающие. Снесарев, посылая фотографии и получая их от родных, в запечатленных мгновениях вновь видел семью вместе; к тому же он собирался и надеялся увековечить путь полка и тех, кого завтра, может, и не будет, о чём он скажет и в письме к жене от 12 апреля 1915 года: «… теперь рассматриваю ваши карточки… Ейка (дочь, будущая Евгения Андреевна. — *Авт.)* очень жива, и потому всё выходит с какой-либо гримасой. По фотографии вижу, что ты сшила себе очень красивое платье… Нас фотографировали довольно часто (за обедом, с русинскими девушками в день Пасхи, среди захваченных нами орудий и т.п.), но всё это ещё не готово, и мне выслать тебе нечего. У меня есть даже специалист-фотограф, которого я держу на роли полкового фотографа для собирания материалов по истории полка».

5

Но письма и фотографии дела не решают. Каждодневно, каждоминутно надо готовить полк к боям. Бой — работа полка. Полк должен иметь всё, что необходимо для боя и жизни в перерыве меж боями. Снесарев втягивает жену в водоворот хозяйственных нужд полка. Требуются, и просит жену озаботиться, то сапоги, то цейсовские бинокли, то позже — кабельный провод, свечи, простое серое мыло и т.д.

Вот «лирика» очередной февральской открытки: «…Мне нужны бинокли: 16 призматических (ценой 43–50 рублей штука) и 32 бинокля для нижних чинов (защитного цвета, ценою в 18 рублей). Обойди магазины и, если можно найти, телеграфируй сюда, и я вышлю тебе деньги и дам вообще наряд на покупку…»

В тылу можно было если не всё, то многое найти и приобрести. В тылу — дальнем и ближнем — едва ли не всё продавалось и покупалось. От секретных «дел» до женских тел. Особенно возмущал офицеров передовой ближний тыл.

И Снесарева отнюдь не радовала «деятельность» такого тыла, его бесчисленных служб, служителей и служительниц… Он даже не мог удержаться, чтобы не передать жене рассказ

однополчанина, который прибыл из Львова — тыла ближнего, и увидел там тьму врачей, военных чиновников, офицеров, убежавших с позиций, поглядел на полусалонный, себя и всех стращающий мирок: дескать, находящихся на передовой уже обошли, уже разбили, уже расправляются с несдавшимися; однополчанин не без сарказма утверждал, что в том большом городе и Суворов стал бы трусом; ещё изумлялся тому, сколь город напичкан бегунами-женолюбцами и как изобильно всякого рода женщин, якобы сестёр милосердия, а на поверку лёгких любительниц тыловых наслаждений, ненасытных сладострастниц, в фронтовой среде иронически, не без остроумия окрещённых кузинами милосердия.

Флюиды этой вакхической вольности достигают даже окопа. Снесарев вынужден издать приказ, воспрещающий жёнам прибывать на передовую для свиданий с мужьями. И что же? «Начинаются выпрашивания об отпусках или лечении, появляется сонм жён, в воздухе попахивает республикой… совсем становится неладно».

26 февраля 1915 года Снесарев пишет жене: «…начиная с раннего утра 21-го и кончая ранним утром сегодня нам некогда было и дыхнуть. На мой славный и молодецкий полк (говорю это теперь со вполне спокойной совестью) навалилось два полных полка австрийских и ещё один егерский батальон, поддержанные подавляющей (тяжёлой и полевой) артиллерией и многочисленными пулемётами, т.е. силы, втрое нас превосходящие. Начался непрерывный шестидневный (считая и сегодня) бой, в котором противник, пользуясь превосходством сил, решил нас смять и сбросить с позиции. Последовали непрерывные атаки, особенно ночные, адский огонь… артиллерии рвал землю и наши окопы, австрийцы прибегали к фокусам, вроде щитов или забрасывания нас ослепительными гранатами… словом, пустили в ход все свои ресурсы. Мы отбивались огнём и переходом в штыковые атаки… я потерял свыше 250 человек убитыми и ранеными, а противник не менее тысячи убитыми… Дело за 21–26 февраля будет самым ярким делом в истории моего молодого полка и одним из крупных за текущую кампанию…»

Через пару недель, уже в марте — письмо, где снова бой, рассказ о приокопном эпизоде продлевается размышлениями о главной австрийской крепости — Перемышле, казалось бы, неприступной и всё-таки поднявшей перед русскими белый флаг. О бое же он рассказывает, не забывая даже забавный штрих. Двукратно превосходящие австрийцы двинулись в атаку на полк, но тот в ночной час перешёл в контратаку, пленил 250 нижних

чинов и захватил пулемёт.

На врагов, от стрельбы которых гибнут его однополчане и в любой миг может погибнуть он сам, Снесарев смотрит как на разнообразные проявления и искривления образа Божьего. Густой обстрел, штыковая атака — от этого на войне никуда не деться, но когда враг пленён, Андрей Евгеньевич всегда невольно видит в нём чьего-то мужа, чьего-то брата, чьего-то сына. Приводят к нему австрийского прапорщика, юношу лет двадцати, и он прежде всего справляется о его семье; оказывается, мать-вдова при расставании с единственным сыном больше не надеялась его увидеть, раз столько кругом потерь, давно ничего о нём не знает, давно не получала весточки, и командир враждебного пленному полка требует, не дожидаясь завтра, написать матери письмо; и лишь после — допросить и выяснить меру его необходимой или добровольной жестокости, если таковые есть.

6

Идёт весна, идут бои. Талый грязный снег и высокое чистое небо в высоких горах. Незримо и зримо сияет главный православный, да и всехристианский праздник, который в полку встречен — по фронтовым возможностям, — так явствует из письма «ненаглядной и золотой жёнушке от 23 марта 1915 года: «Пасху мы встретили скромно. Всё как-то не задалось из-за этих непрерывных боёв. Так как все на позиции, то в церковь нас собралось очень немного: я, штаб, несколько артиллеристов да люди от команд и знаменной полуроты… Крестьян было много, с торжественными свечами… процесс “слияния церквей” у нас протекает незаметно… да и процесса как-то никакого нет: молимся Богу вместе… На вершине нашей главной позиции был организован большой хор, который в полночь торжественно и могуче запел “Христос Воскресе…”»

И в этом же высоком письме — о неуладицах фронтового быта, о человеческой недобросовестности и даже низости, об интендантстве, всегда запаздывающем с грузами, всегда недодающем, всегда крадущем — порицаемом во всех армиях и проворачивающем свои миллионные делишки во всех армиях; интендантство — «какое-то канцелярское, не военное учреждение, не имеющее никакой нравственной связи с войсками…»

И действительно, командиру полка приходится несколько суток подряд быть на острие боя, руководить ротами и батальонами, которым противостоят австрийцы, трёхкратно общими силами превосходящие, а интенданты именно тут

уведомляют о срочном предоставлении справки, прямо-таки всеохватной: о лошадях, упряжи, сёдлах, подсумках, ремнях, винтовках, штыках… Что оставалось делать командиру полка? Пригласить их на передовую да в час атаки дать им в руки эти самые винтовки со штыками? Так интенданты окопов не любят, на передовую их не дозовёшься.

«Единственно, в чём они подвинулись вперёд, это в том отношении, что не воруют так, как в Японскую кампанию, а понимание дела, и чувств, и нужд военных осталось прежнее… сухое, канцелярское, малодушно формальное». (При чтении записи Снесарева об интендантах невольно приходят на память грустные и не без сарказма слова монархического публициста и мыслителя Солоневича из статьи «Миф о Николае Втором» про неуёмный интендантский грабёж в Крымскую войну, и особенно в Японскую, когда поражение на Дальнем Востоке было достигнуто «соединёнными усилиями японцев, интендантства и интеллигенции».)

Идёт обычная фронтовая жизнь-страда, которая находит отражение в письмах. Всякая всячина, подчас значимая, подчас мелкая, хотя и не пустяшная. То придан полку отряд санитарных собак, умных и жертвенных, четвероногих с тем чувством долга, какого не худо бы «признанять и некоторым из двуногих»; то солдатское чаепитие, когда каждый молодец, «чудо-богатырь», с отменным удовольствием выпивает треть ведра чаевого кипятка; то лесное домоустроение, когда один, мастеровитый и доброусердный, из плотников-умельцев сколачивает домик телефонистов, а десяток из неумеющих или не хотящих держать топор в руках с ленцой спорит, как лучше сделать; то тщательная маскировка полковых бараков густолиственными кустарниками, ветками и травами; то попеременного успеха «бои» начальства со своими же подчинёнными, умудряющимися чистый лес испакостить у каждого дерева — их заставляют ходить в лес по-японски, с лопаткой, чтобы не оставлять «пахучих следов», но закапывать их.

Набегают и случаи не совсем рядовые. Прибыл на фронт председатель Государственной думы М.В. Родзянко и вознамерился посетить позиции снесаревского полка (думский вождь, родом из Екатеринослава, пожелал поприветствовать земляков-екатеринославцев); но полк стоял на самой кромке передовой, не ровен час немудрено было попасть под плотный обстрел австрийцев, и командир полка отговорил высокого гостя от небезопасной затеи.

А погода становилась всё весеннее, русины выехали пахать землю, откуда-то у них, вынужденных быть по-горски скрытыми и

экономными, появились лошади, коровы, овцы, казалось бы, не могшие уцелеть в войне; появились, казалось бы, и надежды, и дай Бог!

7

Русские в Карпатах стояли у перевалов, даже на перевалах, с которых если не открывалась Венгерская равнина, то в один марш-бросок можно было бы выйти на её простор, целя острие своего удара на Будапешт, а он совсем недалёк от Вены.

Германский Генштаб нервничает: если не отбросить русских от Карпат, не сокрушить их у их же границ, они появятся в некий летний, отнюдь не прекрасный час у стен Вены, Будапешта, Берлина. Сменивший Мольтке-младшего на посту начальника германского Генерального штаба Эрих Фалькенгайн (его труд «Верховное командование 1914–1916 в его важнейших решениях» через несколько лет Снесарев переведёт и напишет к нему предисловие) не только сомневался в способности австрийцев и венгров устоять перед русскими без немецкой помощи, он был убеждён в том, что надо было немедленно и непосредственно поддержать Карпатский фронт. Фалькенгайн пишет, что с болью в сердце он «должен был решиться на использование на востоке молодых корпусов — единственного к тому моменту общего резерва… Такое решение знаменовало собою отказ, и притом уже на долгое время, от всяких активных предприятий крупного размаха на Западе».

Прорыв поручался генералу Августу Макензену, который участвовал ещё во Франко-прусской войне 1870–1871 годов и в своё время был адъютантом Арнольда фон Шлиффена — автора плана Шлиффена от 1905 года, коим руководствовалось германское командование в Первой и Второй мировых войнах. Для операции — готовилась в условиях строгой секретности — были взяты отборные войска с французского театра, и, чтобы дезориентировать русскую разведку, немецкие эшелоны с запада двигались кружным путём. Были проведены отвлекающие демонстративные операции на Ипре и в Курляндии.

Место прорыва — Горлице. Пехоты у Макензена было вдвое больше, превосходство в артиллерии — шестикратное, а в тяжёлой — сорокакратное! Германская артиллерия повсюдно и решительно преобладала, а впервые применённые немцами миномёты своим адским грохотом в Горлицком прорыве произведут на русских психологически устрашающее, даже деморализующее воздействие, не меньшее, чем скоро на самих немцев — английские танки или советские «катюши» в

последующей мировой войне.

Наступление началось 19 апреля 1915 года. Группировка Макензена, созданная из переброшенных с Западного фронта трёх ударных немецких корпусов, с ночи обрушила на русские позиции залпы сотен (600!) тяжёлых орудий и двинулась как таран. В десять утра начался штурм русских позиций на тридцатипятикилометровой полосе. Немецкий таран наткнулся на упорное сопротивление русских. Но тяжёлая артиллерия не оставляла камня на камне впереди себя. Горлицкая операция, так названная по месту прорыва, длилась пятьдесят с небольшим суток. Русские были вынуждены уходить из трудно давшейся им Галиции. Уничтожались мосты и железные дороги, угонялись паровозы и вагоны. Германский успех достигался медленно. Людендорф объяснял это необходимостью исправлять разрушенные дороги. Но были и другие причины: расстройство австро-венгерской армии — и немцам ничего не оставалось, как своими дивизиями и корпусами усиливать Восточный фронт, хотя приходилось оглядываться и на Италию, которая изменила Серединным державам и «своевременно» встала под знамёна Антанты, надеясь оказаться при победителях — неужели таким весьма не величественным образом надеясь напомнить о былом римском величии?

Перемышль, «ключ ко всей Галиции», взятый русскими 22 марта 1915 года (2500 офицеров, 120 тысяч солдат, 900 орудий — добыча), через два с небольшим месяца, в июне, был оставлен. Вскоре, в июне, та же участь постигла и Галич, и Львов.

Снесарев вывел свой полк из-под Львова — из-под германского огненного утюга. Отдалённые перезвоны и параллели истории: в другой войне, в горящем сорок первом, генерал Власов сумеет вывести из-под Львова, из окружения вверенный ему механизированный корпус, а в битве под Москвой проявит себя как сильный командарм; это потом уже в северных лесных болотах Мясного бора — окружение и разгром возглавляемой Власовым Второй ударной армии, попадание армейской верхушки в плен, формирование им из советских пленных антисоветской Русской освободительной армии (РОА) под неусыпно-неприязненным контролем Гитлера и справедливое бытование в советском сознании фамилии генерала Власова в контексте предательства.

8

За два месяца Галиция снова стала австрийской. Галиция, за месяцы завоёванная, за месяцы и была потеряна. Галиция,

Волынь, Буковина… Русины, гуцулы, поляки… австрийцы, венгры, молдаване. И, разумеется, евреи, близкая черта оседлости, евреи, о которых местный судья сказал Снесареву, что последние — владыки Галиции. Это было в 1915 году, а через тридцать лет, в конце Второй мировой войны, Андреас, герой беспросветной жутковато-сюрреалистической повести Генриха Бёлля «Поезд пришёл вовремя» («Между Лембергом и Черновицами»), мается чувством вины за… погромы и предчувствием скорой гибели — даже не во времени, а в пространстве. И тёмное это пространство… «Галиция, мрачное слово, страшное слово и всё-таки прекрасное. Что-то от неслышно вонзающегося ножа… Он снова молится за черновицких евреев, за евреев Станислава и Коломыи. Здесь, в Галиции, повсюду евреи. Галиция — это слово как змея, но только с малюсенькими ножками, змея, похожая на кинжал, змея с блестящими глазами, она легко ползёт по земле и режет её, режет землю пополам… Стрый… Какое страшное название, похожее на штрих, кровавый штрих на моей шее. В Стрые меня убьют…» (Можно было бы добавить, что звучание названия галицийского городка — как скок по битому стеклу. Как острый гвоздь, этот Стрый. И в таких городках и на холмистых окрестностях гибли солдаты снесаревского полка, его бригады, его дивизии.)

9

Свен Гедин, с первого часа приветствовавший войну: «Мировая история не знает ничего более грандиозного, чем эта война немцев против остальной Европы, и ничего более позорного, чем политика Англии», успевший побывать в германской Ставке и повстречаться с императором Вильгельмом Вторым, начальником Генштаба фон Мольтке, канцлером Бетманом-Гольдвегом и успевший издать книгу «С Западного фронта», по весне 1915 года появился на Восточно-Прусском и Австрийском фронтах. Его маршрут: Летцен — ставка Гинденбурга и Людендорфа, Гумбинен, Инстербург; далее — Буковина, Галиция: Черновцы, Горлице, Ярослав, Перемышль, Львов. Попозже — Варшава. В Прикарпатье попал под обстрел Маннергейма, соратника Снесарева по Туркестану и карпатским окопам, финского шведа, русского военного географа и военачальника; потом, после развала Российской империи, отделения от неё Финляндии, в которой Маннергейм окажется среди первых лиц молодой североевропейской страны, они подружатся — шведский путешественник и финский, прежде русский, военачальник.

Гедин видел, как Макензен и Сект побеждают, отвоёвывают Перемышль. Он несколько раз побывал в русских окопах, видел зажатые в мёртвых руках солдатские письма, часть взял с собой. Позже писал: «Осматривая окопы, я просмотрел много разных писем… они выдают преданность браку, любовь к русской земле и к родным местам, тягу к тем, кто далеко, и стремление к миру, крепкую веру в помощь Бога и встречу, если Бог даст. Но чего нет в этих письмах, так это ненависти. Можно часами сидеть и читать страницу за страницей и ни за что не найти недоброжелательного или злого слова о противнике…

Душа русского народа — до крайности загадочная вещь. С одной стороны, трогательные и жалостливые чувства, которые выражены в письмах, с другой — жестокость, более чем зверская… С одной стороны, добродушие, которое на Пасху приводит к вражеским позициям с хлебом-солью и крашеными яйцами, с другой — злоба, которая приходит в прусские дома с огнём и мечом. «Поскоблите русского, и появится татарин», — гласит французская пословица, смысл которой мог осознать весь мир в ходе этой войны. И всё же, если сравнить тон в русских письмах с тоном английской прессы, русские крестьяне покажутся, что касается благородства души и чистоты сердца, стоящими на более высоком культурном уровне, чем английские джентльмены». Эти строки из книги «Война против России», спешно написанной Свеном Гединым на основе своих дневников, где помимо рассуждений о двойственности русской души и условном джентльменстве англичан немало страниц отдано рассказу о встречах со знаменитостями, а знаменитости первого ряда: император Франц Иосиф, император Вильгельм, германский генералитет: Гинденбург, Людендорф, Макензен, Сект… После этой книги автор был исключён из Русского Географического общества, Британского Географического общества.

(Гедин осматривает поля побед своего любимца шведского короля Карла, окопы вчерашних сражений, встречается с мировыми знаменитостями, а Снесарев в это время воюет, и сырые задымленные окопы — его каждодневный быт.)

В «Войне против России», нет, ещё раньше — в «Слове предупреждения» Гедин рассуждает о казачьей угрозе (далась им эта угроза, скажем, ещё Наполеон предрекал: «Через полвека Россия будет либо под властью революции, либо под властью казаков», а Гедина-то во время снежной бури спас казак Чернов); ещё, возомнив себя геополитиком, предупреждает о якобы русской угрозе Швеции и Норвегии, о Российской империи, потерпевшей неудачи при выходе к Персидскому заливу, то есть Индийскому океану, к Тихому океану, а теперь стремящейся через

незамерзающие скандинавские порты выйти к Атлантическому океану. С другой стороны, хорошо говорит о русских, выше, чем об английских джентльменах. Он же защищает Россию от клеветы при вторжении в Тибет и захвате Лхасы войсками английского экспедиционного корпуса Янгхазбенда в 1904 году; сотни британцами убитых, а угрожает Тибету якобы Россия: она усиливает своё влияние на Тибет и рассматривает его как плацдарм против англичан в Индии. Керзон обосновывал разбойничье нападение посланных им соотечественников «русской опасностью». Свен Гедин видит в этом «чистый вымысел» и, не боясь, что его статья «Английское наступление на Тибет» обойдётся ему в половину английских друзей, публикует её в берлинском еженедельнике.

(Побочное, хотя и остросюжетное, и даже значительное — Снесарев, ему знакомый Нотович, его тибетское путешествие, «Тибетское Евангелие»… Но это требует особого рассказа.)

Есть такое, что объединяет Снесарева и Гедина: они — одногодки, они за разное не любят Англию: Снесарев — за её лукавство и расчёт в политике, не считающейся с другими народами, Гедин — за измену «германскому» духу; думают о противоанглийском союзе Германии и России — Континент против Океана. Но один видел в истории тысячелетний натиск франко-германского мира на славянство и Россию, другой — натиск России и всего славянства на Западную Европу; и это когда ранними западноевропейцами были лишены земли и жизни поморяне, бодричи, полабские славяне. Снесарев воспринимал так называемое «Завещание Петра» как фальсификацию, Гедин, может, тоже понимал его историческую недостоверность. Но раз даже Наполеон использовал его против русских, почему бы снова и снова не запугивать им, тем более что именно первый русский император «нецивилизованно» обошёлся с непобедимым шведским королём. Гедину справедливо оценить Россию мешала Полтава, разгром русскими его любимого героя Карла Двенадцатого. Но и Снесареву пристрастность мешала во взгляде на труды и мысли выдающегося путешественника и скоропишущёго публициста. Дневниковая запись от 17 июля 1916 года: «Просматривал книжку Свена Гедина… Противная книга, скорее памфлет, написанная с целью оправдать немцев… Глава о Вильгельме приподнята и сладка до приторности: почти Бог — праведный, честный, великодушный, а гениален до крайности. Дальше в дифирамбах идти нельзя… А когда-то ухаживал за Женюшей. Свинья полосатая» — несколько разнится в оценке самого уровня книги в письме того же дня, но причина недоброжелательной пристрастности в письме доведена до

энергической лирической и ругательской завершённости: «В одном из домов захваченной нами деревни найден труд Свена Гедина под заглавием “Ein Volk in Waffen” (“Вооружённый народ”), от прошлого года. Задача этого “израиля в шведской шкуре” защитить и оправдать немцев. Написано очень искусно. Я читаю только некоторые, наиболее пикантные куски. И странно, я ловлю себя на том, что к автору брошюры в глубине души во мне живёт ещё ревность, как-то забавно удержавшаяся в какой-то небольшой складке моего сложного сердца. Я ему могу простить и его брехливые книги, и его блестящую торговлю своими “научными” работами, прощаю даже брошюру, может быть, подсказанную искренними убеждениями — кто знает, но я не могу простить, что когда-то в глубине Азии в живописном уголке — уголке Бабура, прилепившемся на склоне массивов, он позволил себе ухаживать за моей будущей жёнкой… каналья, свинья этакая!»

Дал он волю пристрастным, резче сказать, неприязнью наполненным чувствам!

10

В мае 1915 года Евгения Васильевна получает от мужа письмо, пожалуй, неожиданное. Предваряемое зачином о бессонных соловьях, мол, как только начинается ночная ружейная и артиллерийская канонада, бурно и как по команде, поднимают они, сладкоголосые, неописуемо-заполошное пение, словно надеясь звуками жизни и любви если не победить, то хотя бы заглушить звуки гибели и смерти. А дальше — нечто просительное, говорящее о том, что в нём геополитик и военный мыслитель не сгорел в галицийских огнях: «Я был начальником штаба дивизии, теперь командир полка; это две разные точки зрения для операций на войне. Но мне хотелось бы посмотреть на неё с пункта, более высокого. Не можешь ли ты найти в Петрограде м-me Алексееву (она, вероятно, там) и через неё похлопотать за меня пред её супругом Михаилом Васильевичем. Дело в том, что рано или поздно мне должны дать генерала, а значит, разлучить с полком и дать какую-либо другую должность; было бы прекрасно, если бы новая ступень привела меня в такой пункт, из которого я мог бы осветить и объяснить многие вопросы с теперешних углов зрения мне тёмные и неясные. Война полна загадок, и нам, которые живут и мыслят в её сферах, хочется возможно глубже проникнуть в её тайники, как духовные, так и материальные. И странно, каждая война идёт со своими законами и правилами, ломает то, что было как будто бы и прочно

установлено её предшественницей, создает новое полотно истин. Я часто часами ломаю голову над целой суммой вопросов и своё бессилие их решить объясняю недостаточно удобной перспективой моего положения… слишком у меня в моей работе мало стратегии и всё заполнено сплошной тактикой…»

Это как заброс удочки, впрочем, без надежды тут же вытянуть краснопёрку. На будущее — донести до начальника штаба Ставки М.В. Алексеева пожелание фронтового бессменного воина; Снесарев ещё раз-другой вернётся к этому. А военная страда идёт своей чередой. В мае проводит более чем удачный бой — общедивизионный успех: «Полк рядом штыковых атак выбил противника из сети сложных окопов, прогнал его и занял его позиции…» И это радовало, но даже и здесь горечь. «Дело было блестящее, пожалуй, что лучше прежних… Сегодня прошёл окопы и благодарил людей: довольны, смеются… потерял я много: 56 убитыми и 164 ранеными, потери, ещё мною с полком не испытанные. Мною, потому что у других потери бывают иные…»

Ещё же горечь — узнал о пленении Корнилова. «Я его близко знал и хорошо понял; в нём не было чего-либо выдающегося, но его трудолюбие, ясность военной мысли и принципиальная (не чиновничья) исполнительность всегда меня сильно подкупали. Чувствительны в нём были военный темперамент и ненасытимое честолюбие… оно-то его, по моему мнению, и довело до ранения и затем пленения. Мне жаль Лавра Георгиевича и как моего друга, и как военного целой головой выше многих и многих».

Хоть и нечастые, подворачиваются и радости. Нахлынули чувства донской родины, когда в первых майских днях нечаянно повстречался разъезд Сводной казачьей дивизии. Мало того, что сама дивизия оставила в нём светлый след и «пахнуло чем-то родным» при виде казаков, те ещё оказались донцами, да ещё и из Первого казачьего округа, из станиц, когда-то родных Снесареву, — Камышевской, Мариинской, Константиновской. Разговорились о Доне и сошлись на том, что сколь по-своему ни красивы Збруч, Днестр, Коропец, Прут, Сан, но и совокупно взятые не в силах они потягаться с тихим Доном протяжённостью, величавостью, меловыми гребнями да пойменными лугами и лесами.

В нескольких письмах к жене спрашивает о её приезде в Каменец-Подольск, и даже как о деле решённом: «Пиши мне определённо, когда ты направишься в Каменец, чтобы мне не писать… зря в Петроград…»

Немцы победно идут по Галиции, скоро вся граница затрещит, кажется, не час думать о приезде в прифронтовой городок, даже если Петроград и начинает вызывать опасения самого разного свойства. Есть станицы в Области войска

Донского, где живут родственники, есть воронежский Острогожск — о них бы и думать как о возможных пристанищах. Да так и выйдет, что семье придётся обретаться именно там.

На целую психологическую повесть, исполненную трагедийного и непостижимого рока, — письмо от 23 мая 1915 года о неожиданной смерти штабс-капитана Мельникова.

В гранатной перестрелке его ранило, и рана, на первый погляд, казалась лёгкою — осколок зацепил мякоть ноги. Раненый тут же мог ходить, не испытывая боли. Но вскоре поднялась температура, и в считаные часы его не стало. Лекари сошлись на том, что осколок, зацепив земли, захватил оттуда злокачественный, быстродействующий вирус. «Смерть покойного поразила и меня, и офицеров. Он имел уже Георгия и Георгиевское оружие, стоял на пороге хорошей карьеры и вызывал всеобщую зависть и пересуды. Друзей у него в полку почти не было, а недоброжелателей много; последние находили, что я к Мельникову несколько пристрастен, выделяю его и т.п. Даже первый слух о лёгкости раны вызвал старые толки о везенье… И разом небольшой осколок гранаты в союзе с микробом сказал всем, что все эти пересуды, зависть, говор… всё это пустота пред законами и велениями судьбы. И я, отправляя офицеров на панихиду, сказал им: “Молитесь усердно, многие из вас очень грешны пред покойником”. Он симпатичен, правда, не был, эгоист, замкнутый, хороший актёр и т.п., но искусный ротный командир и храбрый офицер, роту его я считал одной из лучших в полку. Получив Георгия, он сильно изменился… и мне было очень больно и обидно наблюдать это, но, увы, мы бессильны предвидеть такие психические изменения. Словом, смерть В.В. Мельникова вызвала много дум и много философии…»

«…Наша улица в Каменце, кажется, Зелёная?» — так заканчивается письмо мужа, почему-то надеющегося, даже верящего, что жена его в этот час, вернее всего, по дороге в Каменец. Какой там Каменец, когда Великое отступление приближается к внутренним пределам империи! Может, оно ещё и не называется так, но и Снесарев вовлечён в этот трагедийный отход, о чём месяцем позже скажет:«…мы постепенно отходим с Карпат… На Днестре, у Большого болота (деревни Долобово и Хлопынцы), мы задержались на целый месяц, а затем начали отступать далее. Этот отход вызывался какими-то неудачами то севернее, то южнее нас, ибо мы-то били противника систематично: за это время я захватил 11 пулемётов, до 40 офицеров и около 2 тысяч нижних чинов…»

Недолгое летнее затишье. Целые дни не слыхать канонады, разве что изредка с австрийской стороны гремят одиночные выстрелы, неприцельные и бесцельные, должные разве напомнить, что ничто ещё не закончилось, и самые страшные канонады впереди. Командиру полка удаётся выкроить время и на окрестные прогулки, и на чтение, поскольку полк как единый организм ровно живёт им отлаженной жизнью. Приезжал командарм Брусилов, и не без гордости Снесарев сообщает жене, что авторитетный в военных кругах генерал «…заметно выделил мой полк, приветливо поговорив с ребятами и раздав много Георгиевских медалей… Я доволен более всего тем, что блестящее боевое состояние полка достигнуто (насколько это зависело от меня, командира полка) моими мозгами и сердцем, теми принципами, которые я выносил в своей голове и которые оспариваются очень многими…»

На прогулках же — думы о семье, о родных. Жену наставляет: «…чувствую, что живёшь ты слишком нервной жизнью, этак, моя детка, ты у меня сгоришь через два года, если даже не раньше. Будь, моя славная, философом и бери себя в руки, а ещё лучше — базируйся на своё верующее сердце, помня “без воли Его и волос не упадёт с головы вашей”. Пишет ей о родственнике Серёже Вилкове, побывавшем у него в гостях. (Сережа Вилков, выпускник Петербургского университета и Артиллерийской школы, воевал тоже на Юго-западном фронте, на прикарпатских холмах. Но гибель свою нашёл на родине: вместе с отцом и братом был убит разбойными молодчиками хитрохваткого Киквидзе, командира-снабженца совнаркомовских семеек. Позже фамилией этого Киквидзе, большевистскими перьями вставленного в ряд кристальных и пламенных, назовут донской хутор Зубрилов, переназванный ли возвратно хотя бы ныне? Трудно было найти большего глумления над местными казаками, хлебнувшими горя от этого «кристалла» из молодых да ранних. Только пустеет нынешняя сельская Россия повсеместно, наверное, уже и хутора того с щедросемейными куренями нет, и что тогда в возвратной смене чужевнесённого волевого названия на изначальное?)

Успевая в затишные дни много прочитать, пишет о впечатлении от Мережковского: «Величина он не огромная, так… компилятор с целым кругом предвзятых идей, но писатель опытный, искусившийся, понимающий читателя… он не даёт результатов изучения истории, а прямо выдумывает. Но отдельные места, но божественная Флоренция, по которой я бегал с деткой, а эта площадь с палаццо Веккио и т.д. и т.д. Читаешь и

несёшься туда вновь со своей жёнушкой, любуешься апельсинами и синевой воздуха, дышишь воздухом прошлого». Пишет о впечатлении, которое произвела на солдат присланная женою и обошедшая окопы икона Христа: «В народе нашем глубоко живёт уважение к старым иконам, к строгому и тёмному лику Спасителя».

Да, недолгое летнее затишье. Бывает так, что, обходя передовые полковые позиции, проходя целые вёрсты вдоль австрийских окопов, он не услышит ни одного выстрела с враждебной стороны. Вроде и нет войны, вроде навсегда закончилась она. Поля ржи и овса мирны, метёлки злаков переливаются под ветром, словно волны морские; можно сказать и — волны донские. Время крестьянской страды — и думы его крестьянские: «Рожь уже поспела, и мне жалко видеть многие из полос её, лишённые хозяина… колосья гнутся… ещё 2–3 дня — и зерно будет осыпаться… “где же кормилец, чего же он ждёт”».

Великое отступление тяготеет надо всем: над огненным полем обороны или атаки и над золотистым мирным полем, ржаным или ячменным клином, над деревнями и крестьянскими семьями, над крестьянскими душами — что завтра будет?

Если разлад в крестьянском мире, тревога народной души Снесареву ещё понятны, то для него решительно чужды как пораженческие, так и шапкозакидательские импульсы чиновной и общественной столичной верхушки, видать, позабывшей, откуда рыба гниёт. Он был против войны с германским миром, задолго и не однажды доказательно и проницательно объяснял пагубность и роковые последствия противоборства Российской и Германской империй, но коль нежеланная эта война началась, он по долгу и совести стал воевать, естественно, думая о победе, и ему мелки и порочны были многословные трибуны, сцены и кабинеты, разглагольствующие о войне, какой бы они окраски и направленности ни были: левой или правой, критикански-либеральной или пафосно-патриотической. Он пишет: «Нам смешон, например, и непонятен каркающий тон Меньшикова, который почему-то вздумал поучать российскую публику, как нехорошо быть побеждённым. Что это его надоумило? Почему ему приходит на ум распространяться о потере территорий, о выплате контрибуции и невыгодном торговом договоре? Можно ещё говорить о разуме вчинания войны, об её создании или принятии, но раз уже она начата, о чём можно думать, как не о конечной нашей победе и только о ней? И зачем мы будем думать о чём-либо ином? Нам это иначе не рисуется. Неужто у вас есть какие-либо течения или настроения, которые оправдывают поучения Михаилы Осиповича?..»

Так-то так, но на русском фронте недостаёт не то что тяжёлых батарей, но даже подчас и винтовок, и случались же дни, когда приходилось солдатам обороняться пиками и алебардами, и само явление «алебардистов», неслыханное, дикое в двадцатом веке, было каким-то чудовищным довеском к спорам «огнепоклонников» и «штыколюбцев» — военных теоретиков огневой или штыковой силы. Потому каких только настроений и словесных построений ни возникало в столице и провинции.

Прочитав о первом заседании Думы, Снесарев ещё раз убедился, что от этой сокровищницы многоговорений, и часто пустоговорений, добра стране не ждать. Особенно — от левых. Как и лево-правых. И от социалистов, и от конституционных специалистов. «Они думают, что человек создан для конституции, а не конституция для человека… и вообще, эта гадкая манера всякую нашу невзгоду сейчас же использовать для своих партийных целей. Это так и веет от речи Милюкова: России плохо, так дайте нам конституцию…».

И в то же время не от отечественных общественных палат и умов, а из-за границы доносятся слова благодарности жертвенной России, её духовной крепости. Из прессы узнал, что выступавший в Лондоне на площади Св. Павла английский епископ сказал о его Родине: «Россия никогда не будет побеждена, пока существует мир, и это не только благодаря обширности её территории, а главным образом благодаря величию духа русского народа». В тот день, раздавая поротно кресты, он говорил перед солдатами так проникновенно, что они «фыркали носами, как лошади на пыльной дороге; никогда мне мой язык и пафос не пригождались более, чем в сегодняшнем поле у колосьев хлеба с одной стороны и окопов — с другой…»

А Великое отступление продолжается. Из австрийского плаката, а не из родной Ставки Снесарев узнаёт, что немцы уже на Висле, в главном городе Польши. Варшава, а за нею теряющие русские вывески Ивангород, Новогеоргиевск, Брест-Литовск. Разумеется, люди его ранга знали, что по русским мобилизационным планам Варшава и близкие ей крепости могли быть оставлены уже в первые дни войны, а не год спустя. И всё же потеря Варшавы стала для него потрясением: «Моё бедное русское самолюбие страдало тяжко. Я никогда не думал, чтобы немцы нас могли одолевать в полевом бою, нас с татарской кровью на три четверти и с чистотою нравственного и физического состояния…»

Итак, Великое отступление 1915 года — едва не по всей западной границе Российской империи. И как при всяком наступлении противника (какой бы страны и национальности он

ни был), едва не впереди шли грабёж, жестокое обращение с пленными, с оккупированным населением. Отбиралось всё, что можно было отобрать. Мирные жители выставлялись как прикрытие впереди атакующих. Разнонародные массы покидали родные города и веси и уходили с отступающими русскими войсками. А начался исход мирных поселений ещё по весне, с галицийских долин и нагорий.

Деникин в «Очерках русской смуты» пишет: «Помню дни тяжкого отступления из Галиции, когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и деревни, обезумевшая толпа народа, с женщинами, детьми, скотом и скарбом… Марков шёл в арьергарде и должен был немедленно взорвать мост, кажется, через Стырь, у которого столпилось живое человеческое море. Но горе людское его тронуло, и он шесть часов вёл ещё бой за переправу, рискуя быть отрезанным, пока не прошла последняя повозка беженцев». Но Марков, будущий герой Добровольческой армии, в молодом, почти в пушкинском возрасте погибший, человек действительно беспримерных отваги и чести, был, может, один такой на весь фронт, его на каждой переправе не поставишь, и в столпотворениях у переправ, мостов, перекрёстков люди гибли в не меньшем числе, чем если бы под залпами орудий.

Великое отступление, обойденное великими летописцами из писателей, историков, поэтов и лишь вскользь упомянутое очевидцами, так или иначе продолжается и поныне. Теперь уже со всех сторон — геополитической, территориальной, духовно-нравственной, генетической, демографической…

12

Август, начало месяца. «В лесу есть маленький домик, вроде охотничьего, а возле него у дороги стоял кивот с иконой Богоматери “Mater Dolorosa”. В день нашего ухода, несмотря на дождь, мы пошли с моим начальником связи, чтобы посмотреть на Богоматерь; две слезы её, катящиеся по прекрасному лицу, произвели на моего молодого товарища такое сильное впечатление, что он видел их во сне. Мы пришли и пробыли несколько минут в тихом, уютном, давно покинутом месте. Лил дождь, кругом было пустынно, обрушенно, забыто. Плачущая Богоматерь чудно гармонировала с углом, в котором некогда жили весело и на который теперь слезливо проливал дождь свои лёгкие капли. Деревья качали своими верхушками…»

Картина благодати лесного уголка с иконой Богородицы умиляет, но успокоить надолго не может. Ибо война всё перебарывает и затмевает, она каждый день стреляет и убивает,

да и не даёт забыть уже прошедшие фронтовые месяцы, в которых целые полки погибли, другие — были на волосок от гибели. А одиночная человеческая жизнь стала как жизнь птицы, на которую открылась беззапретная охота.

Уже годовщина… страшный, казалось, конца не имеющий августовский день под Монастыржеской, в котором он, Снесарев, под огнём находясь с утра до позднего вечера, уцелел чудом, благодаря милости судьбы: «Все эти картины, как живые, как вылепленные из мрамора, встают пред моими духовными глазами, и я оборачиваюсь на них с каким-то удивительным настроением: то я чувствую себя человеком, взирающим с того света — спокойно, холодно, то меня пробирает дрожь, когда я подумаю, что был так близко от конца…»

Год миновал, и снова август, и снова тяжёлый бой. Теперь командир полка на широкое наступательное движение австрийцев ответил противоходом — дружной полковой контратакой. Противник потерял около полутора тысяч солдат и офицеров, вынужден был также уступить свои позиции.

Но нет радости без горести: ранены ротные командиры, любимцы Снесарева — Чунихин и Писанский. В октябре Чунихин снова будет ранен — смертельно. И сколько раз командир вспомнит их с печалью и благодарностью!

13

На исходе августа 1915 года на пике отступления был отстранён от должности Верховного главнокомандующего великий князь Николай Николаевич, эффектный, импозантный, но то ли в растерянности от фронтовых неудач исчерпавший военно-предводительские возможности. Верховное командование принял на себя последний русский царь, духовный стоялец за Отечество, но не обладавший достаточными полководческими данными, повелевающей силой, военной харизмой; замена, действительно необходимая, вызвала раздражение и новую ненависть в Петербурге с его склонными к государственной измене, сплетавшими её министрами, думцами, Прогрессивным блоком, всевозможными союзами, клубами и ложами; да и высший офицерский корпус, не только в малой либеральной своей части, а и патриотический, монархический, испытал некое разочарование: может, и хорош был царь как духовный вождь, как символ стоицизма и жертвенности, может, даже являл поступки святого, но… не взялся же в своё время Сергий Радонежский возглавить русскую рать на поле Куликовом; он сделал большее: он её благословил на победительный подвиг.

Многим казалось, что за самоутверждённого нового Верховного главнокомандующего будет решать начальник штаба Ставки, в данном случае генерал Алексеев, хотя и кабинетный, канцелярский, но многоработящий и стратег не из худших; правда, и не из твёрдых, волевых, так что всё-таки было неясно, кто же будет держать кормило, но уже ясно, что не одна личность, а объединённые по-разному силы, очевидные и неочевидные.

В письме от 28 августа 1915 года Снесарев сообщает: «Веду дневник почти без пропусков… О событиях в дневнике я пишу мало, больше останавливаюсь на думах и впечатлениях, проверяю свои старые выводы и мало-помалу стараюсь разобраться в легионе поднятых войною тем. Она должна перевернуть всю Европу, перечертить государства, пересмотреть некоторые науки и дать новый тон искусствам; и нам надо суметь почерпнуть из неё все те поучения и выводы, которые только можно сделать, дабы по возможности облегчить плечи наших детей и внуков…»

Дневник Снесарев вёл и в предвоенные, и в послевоенные годы, пусть и не до конца своей жизни, но до конца ясности своей памяти. Сохранись этот совокупный дневник за полвека такой бурной и трагической русской жизни, он бы, при всей искренней субъективности, явил документ большой правды и панорамности. Но если текст большого дневника условно и хронологически разделим на дневники пространственные — «карпатский», «царицынский», «смоленский», «северный», то увидим, что полностью сохранился разве первый; в остальных недостаёт страниц и даже тетрадей.

В начале осени, как и в конце весны, у Снесарева в письмах к жене снова слышим просительные нотки: разузнать, могут ли ему в Петрограде временно предоставить «генштабовское» место с тем, чтобы он чуть «приотдохнул» от войны, а затем снова вернулся на фронт; надеется на высокие знакомства жены, когда она работала в Зимнем дворце, — быть может, кто-то посодействует.

Через несколько дней — опять: «…Не можешь ли ты сейчас же начать зондировать почву, чтобы мне в Петрограде или где-либо было предоставлено генеральское место (Военное училище, Азиатский отдел, место в Главном штабе или Главном управлении Генерального штаба и т.п.). Я на войне 14 месяцев и в сплошном бою… думаю, случай единственный в своём роде. Другие или позже явились, или были в отпусках, или в командировках, или, наконец, отдыхали за лёгкими ранениями. Моя мысль идёт к тому, чтобы немного отдохнуть и собраться с силами, а затем, если война затянется, я вновь махну на фронт…»

Просит он, как и в мае 1915 года, как и в предыдущем письме, разумеется, не корысти и не карьеры ради, но в убеждении, что, повидавший и южные, и западные границы, повоевавший и как штабист, и как командир-окопник, он и его военные практика, опыт и интуиция пригодились бы в высоких сферах Генштаба.

Снова и снова возвращается к бою от 24 августа — трагическому для его полка бою. «Как много на войне зависит от счастья — есть оно, всё идёт прекрасно, покинуло — в один момент можно потерять не только жизнь, но и доброе имя. Это наблюдаешь всюду, и это более всего на войне угнетает».

«…Конечно, всё горе в том, что ты стала на наиболее тяжкое предположение, что твоего супруга разжалуют, — пишет жене в письме 9 сентября 1915 года. — Ты права, у нас так устроено, что за неудачу или за прямое несчастье, бывает, что и разжалуют, но… меня пока представили в генералы. Мне же лично страшно не это разжалование, а мысль, меня удручавшая несколько дней и сверлившая моё сердце, а именно: не виновен ли я чём лично, не упустил ли я что-либо, не был ли небрежен или слишком доверчив и т.п. И я работал целую неделю над этим… расспрашивая всех, кто мог осветить дело, ставя себя на положение обвиняемого, делая себя и других прокурорами… Теперь всё это миновало, и я смотрю на прошлое уже успокоенный… мне ясна эта сложная, но глубоко драматичная картина. *Я* сделал всё, что мог, вплоть до 8-часового пребывания под адским огнём, присутствия на всех наиболее угрожаемых пунктах, контузии и ухода с поля с последними цепями на глазах неприятельских цепей, следовавших в 200 шагах за мною…»

Терзания от неудачи в бою долго не оставляют его сердце и ум. Позже (в письме от 18 октября 1915 года) пишет, что в беседе с командиром дивизии тот, на удивление, по поводу несчастного боя 24 августа «приводит много моих доводов, которые некогда мне трудно было ему привить. Когда-то я говорил ему о подавляющих силах врага (1–2 дивизии), о невозможности подводить резервы по огневым полям, о необходимости своевременно удалить некоторые части и т.п. Теперь он повторяет всё это, выдавая за свои выводы. Дело в том, что найден был австрийский документ, из которого увидели всё то, о чём я тщетно говорил им. Я страшно рад, что поведение полка вырисовано теперь в самом блестящем свете, так как он боролся с восьмерными силами и погиб с честью. Никто не смеет теперь бросить в него камень осуждения».

Его размышления — как кто из начальников держится и удерживается или выпроваживается из армии — словно

добавления к пережитому им и его полком. Письмо через полгода — от 4 апреля 1916 года: «…нам известно, что в Австрии за время кампании прогнано большинство генералов. Люди стоят пред мудрым делом, результаты видят, но причин понять не могут и резкую неудачу валят на первую причину, которая представляется их куцему уму… А этой причиной часто является человек… и его гонят… держат таких, за которых только их прошлое, связи и кумовство». А один из «таких», и конечно же, не один, может быть, является крупной, пока скрытой, причиной больших грядущих неудач.

Когда Черчилль во время немецких бомбардировок на одной из пресс-конференций наставлял британских журналистов, дескать, они должны позабыть все темы, страсти и слова, кроме одних, — германская авиация ежедневно бомбит Англию, — и писать только эти слова ежедневно во всех газетах, он не был ни вызывающ, ни оригинален. Сколько сходного говорилось до него в соответственной национальной обстановке. Нечто подобное говорил и русский царь в дни мировой войны. «Что естественнее и глубже слов Государя, сказавшего, что теперь надо думать о войне и пока больше ни о чём, — пишет Андрей Евгеньевич в письме жене от 7 сентября 1915 года, — а между тем у вас начинают думать о чём хотите, только не о войне… “Русские ведомости”… утверждают, что теперь насущное время для коренных реформ… Это во время войны-то?.. Кто же перестраивает корабль, когда вокруг него хлещут бури и раскатываются волны! Только думают о непогоде и спасении. Стихнет буря, придут в гавань, тогда перестраивай и перекрашивай корабль хоть сверху донизу!»

(Сентябрь — октябрь 1915 года. Отпуск, встреча с семьёй. Это первая встреча во время войны. Жена — в ускоренной военными невзгодами грустной поре — предшественнице женского увядания, хотя в этой поре она ещё более мила и обаятельна. Часто бывали на Неве, в Летнем саду, в тех памятных уголках, в которых они любили отдыхать по переезде из Ташкента в Петербург. Но ссор избежать не удалось, как бывает у глубоко любящих людей, жаждущих быть едиными во всём.)

14

В письмах Снесарева с июля по октябрь 1914 года, в бытность его начальником штаба Сводной казачьей дивизии, названия мест: Голосково, Городок, Требуховцы, Ходоров, Любен Великий, Самбор, Старый Самбор, Борыня, Пидбуж, Дрогобыч, Ластовка; места, где завязывались жестокие бои: Бучач, Монастыржеска,

Городок, Чортков, Стырь, Миколаев, Гнилая Липа, Золотая Липа, Садова Вишня, Стрый, Турки, перевал Ужок… В письмах с октября 1914 года по октябрь 1915 года, в бытность его командиром полка, названия мест и повторяющиеся, и новые: Сянки, Лопушанка, Борыня, Шельбицко, Стрельбиче, Явора, Яблонка Нижняя, Новоселице… большинство названий мест славянские, более того старорусские, русинские, это земля русинов, долгохранителей родного языка, родных традиций.

Русины — Прикарпатская, Червонная Русь, и они русскими ощущали себя все эти долгие века, какие бы нашественники и угнетатели ни появлялись в их краях: турки, поляки, австрийцы, евреи, венгры. На русинах вполне подтверждалась старая истина: чем многотерпеливее народ, чем вернее и преданней он своему прошлому, тем больше гнетут его властные верхи.

Во время европейских революций 1848–1849 годов в адресе на имя австрийского губернатора список пожеланий или требований русинов весьма умерен: введение в школах и присутственных местах Восточной Галиции родного языка, доступ русинов ко всем должностям и уравнение в правах духовенства всех вероисповеданий. Но и этому списку не дан был ход. Более того, австро-венгерские власти русинов переименовали в… рутенов, дабы и главный — этимологический — корень убить. Но народная память не выпалывается, как трава. Сколь бы ни была жестока и даже искусна власть, отнять у русинов прошлое не удалось. Разумеется, сказали сокровенное и подвижники культуры Карпатской Руси. Александр Духнович (1803–1865) — духовный деятель, издатель, поэт, чей стих «Я русин был, есмь и буду…» стал народной песней ещё при жизни автора, а стихотворение «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон» утвердилось как гимн Прикарпатской Руси (1919–1939). Или Яков Голо-вацкий (1814–1888) — учёный, поэт, основатель Галицко-русской матицы — просветительской организации, издававшей книги на родном языке, профессор русского языка и словесности во Львовском университете, уволенный за участие в Этнографической выставке в Москве в 1867 году; эмигрировал в Россию, возглавил Виленскую археографическую комиссию, издал трёхтомник «Народные песни Галицкой и Угорской Руси». Или Александр Павлович (1819–1900), священник и поэт, младший друг Духновича, пропевший соловьиную песню «Карпатскому милому краю».

Были подвижники истории карпатского славянства и в России. Учёный Фёдор Аристов (1888–1932) создал в Москве Карпато-русский музей (1907–1917), в котором были собраны научные и художественные книги о Прикарпатской и

Закарпатской Руси, рисунки, карты, фотографии, около пяти тысяч рукописей: автобиографии, дневники, письма, воспоминания закарпатских писателей и учёных.

Однажды Снесарев, находясь в Москве, побывал в том музее, но он, разумеется, не мог предположить, какая печальная участь постигнет духовную, культурную сокровищницу Карпатской Руси. В начале Первой мировой войны особняк приспособят под лазарет, а музейные коллекции, запаковав в ящики, свезут на городской склад. Его в революционное смутовременье разграбят. Редкостные экспонаты исчезнут бесследно.

Брусилов в книге воспоминаний, говоря о нетерпеливом и далеко не приветном отношении галицийских поляков, евреев к русским войскам, противоположно отмечает русинов, из-за своего «русофильства» испытавших австрийских, венгерских тюрем (на отвоёванной территории Брусилов оттуда велел их выпустить), концлагерных бараков, проволоки и иных утеснений. «Русины, — пишет он, — естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазе-пинцев, выставивших против нас несколько легионов».

Снесарев, более чем в других, провоевав в русинских землях, сопереживательно воспринимал тяжкую долю небольшого народа, который инстинктивно ощущал себя ветвью народа большого, упрямо считал себя русским; Андрей Евгеньевич удивлялся и радовался этой душевной верности и крепости, чем мог, помогал горским славянам. Не однажды захватывало его особенное грустно-трепетное чувство в небольших деревянных русинских церковках, где его солдаты молились так трогательно и истово, «как только молятся на войне или, по словам поговорки, на море».

15

Три последних месяца 1915 года Снесарев — командир бригады 34-й пехотной дивизии Восьмой армии. В бригаде — 134-й Феодосийский и 135-й Керчь-Еникальский пехотные полки. Уже больше года — одно и то же: окопы, атаки, стрельба. Да грязь, да пыль. Монотонность войны ещё несноснее монотонности мирной скучной жизни. Теперь у него два полка, и сколько времени, сердца и воли потребуется, чтобы собрать каждый как единое целое, вдохнуть в них чувство единой семьи, подготовить для побед.

А прежний, выпестованный им, начинает рушиться медленно, но необратимо, как дом, оставленный без хорошего хозяина. Раненые офицеры в полк не хотят возвращаться, многократно

раненные подают рапорта об уходе. «Доктор Богорад острит над ними: “Они, как прежние запорожцы, хотят своего кошевого… и никакого другого… Подай им батьку Снесарева”». Дисциплина тает с очевидностью весеннего снега, и известия о неостановимом превращении ещё недавно ударно подготовленного полка в зауряд-полк приносит бывшему его командиру не только горечь разлуки, но и горечное сознание надвигающейся гибели — до атаки, до погибельного боя.

И сколько ещё так — вдали от семьи, от мирной жизни, от исполнения замысла в сфере науки, геополитики, педагогики? Приходят на ум слова одного генерала, случайного попутчика в вагонном купе: «Течение дня ещё можно заметить, но полёт месяцев и годов быстр до неудержимости…»

Настраивают на мирный, почти семейный лад трое казаков, обслуживающих командира бригады, — Трофим, Осип и Кара-Георгий… Они, как младшие братья, ревнуют своего начальника, но все ему верны и преданы.

Радуется, словно на миг возвратил невозвратимое, когда он, четыре года прослуживший в кавалерийской дивизии, а теперь пехотный бригадный, на осенней проверке конного парка бригады профессионально оценочно пропустил перед своими глазами полтысячи лошадей, немало удивив офицеров и ветеринара быстротой и точностью оценок. Кони — на всю жизнь его слабость, и он часто с улыбкой любил повторять старинное наблюдение, что в мире есть совершенные по красоте создания, и прежде всего — женщина и лошадь; разумеется, они дочери природы — вечной и необозримой по воле и благодати Творца.

В письме от 25 октября 1915 года находим слова, удивительно сильные по лирическому чувству человеческой всемирности, жажды бесконечных времени и пространства: «… Огромный дом, скорее дворец, стоит на высоком холме, покрытом с одного своего ската парком; на востоке видна деревня, южнее её долина, с протекающей по ней речонкой… горизонт большой, вид внушительный. А тут ещё эта осень, с воем ветра, падающими хлопьями золотистых листьев и с нервными стаями галок, кричащих и плавающих в воздухе… Я хожу по аллеям, ветер хлещет мне в лицо, будто хочет прогнать мои назойливые думы, а сверху смеются галки, перебивая одна другую и купаясь в струях воздуха. “Смотрите, — читаю я их галочью болтовню, — о чём это думает там этот глупый человек, и пора бы ему измерить аллею своими шагами… не сто раз же делать эту промерку”. А глупый человек ходит всё и ходит, а для его дум и фантазии мало не только ближайшего театра войны, мало всей его страны, мало того текущего клочка времени, которое сейчас развертывается…

Он расширяет и место, и время, и всё же теснота душит и жмёт его».

Панорамность взгляда, расширяющиеся время и пространство. А ещё — почти поэтическое чувствование ветра. Ветер звучит во многих строках и размышлениях геополитика, словно и их — ветра, бури, урагана — силы и векторы имеют геополитическое значение. Пятидесятилетний человек, испытавший и мирной жизни и военной страды, вскользь обронит в одном из писем: «смотрю впереди своего века» — не похвальба, а грустное признание.

А вокруг — пули, окопы, грязь и хлябь, и гибель, и награды за воинские заслуги, и сколь ни понимает Снесарев их известную условность и лежащую на них человеческую субъективность, случайность, но задержка высокоценимого им ордена Святого Георгия, к которому он не вчера представлен, некоей занозой отдаётся в его строках жене: «О моём Георгии опять ничего не знаю… Я вижу перед собою такую массу в этом отношении и огорчений, и несправедливостей, что моя личная неудача кажется маленькой, совсем тонущей в море чужих неудач, ошибок и огорчений… Вчера на позиции я ездил с артиллерийским подполковником, и он мне рассказал, как у него два раза дело не вышло с Георгием… И когда, говорит он, я написал об этом своей жене, она мне ответила: “Нам всё равно, придёшь ли ты, украшенный отличиями или нет, лишь бы пришёл, а о том, что ты свой долг выполнял и выполнил, я — твоя жена — знаю, и людской суд или его сомнения для меня пустяки…” Он передавал это мне с улыбкой, но… я чувствовал много перенесённых горя и боли. “Да, теперь всё позабыто, и можно улыбаться”, — бессознательно ответил он на мою догадку».

В письме от 30 октября 1915 года уведомляет жену, что, как выпадет свободная минута, занят набросками военного теоретического труда, и ему требуются отечественные и иностранные армейские уставы, учебники тактик, книги по истории войн, мемуары великих полководцев, «чтобы выловить их приёмы и манеру воспитывать…» Но таковых книг нет во всех Карпатах с их главными городами, не говоря уже о глухих карпатских теснинах, лесных нагорьях, бедных деревеньках и малых городках, где ему приходится дислоцироваться.

В этом же письме советует, как лучше поступить в поисках багажа, затерявшегося при перевозе из Каменец-Подольска. Надеется, что библиотека уцелела и не пропадёт, поскольку на всех корешках книг его фамилия. «Конечно, за такой длинный период наше добро свелось к пустякам. Библиотеку же можно будет перекупить на том аукционе, который, вероятно, состоится,

если все наши блага не попали к иностранцам…» Вопрос возможной утраты имущества и компенсации за него — для семьи явно болезненный и материально, да и морально, поскольку многие вещи стали одушевлёнными — помощниками, друзьями, соучастниками красивого, ладного быта; и через полмесяца Снесарев вновь к нему возвращается: «Если столько дадут за наш пропавший багаж, как ты это пишешь, это будет очень хорошо. У нас получится достояние, приносящее (вместе с прежним) до 2 тысяч в год, а это позволит нам иначе взглянуть на мир Божий. Сколько раз мне приходило в голову или выкинуть какую-либо штуку (вроде книги, статьи…), или просто бросить службу, но этот постоянный рабий страх за существование, за кусок хлеба сковывал мою волю и размах. Теперь, если бы я даже моментально вышел со службы, у нас с моей пенсией будет не менее 4 тысяч, а с этим можно жить припеваючи и поднять детей. Пишу, конечно, чисто теоретически, так как сейчас не такое время (время великой борьбы), чтобы думать об уходе».

Андрей Евгеньевич не из одних книг, разумеется, но из жизни знал, скольким крупным, талантливым, даже отмеченным искрами гениальности людям эти страх, тревога, забота о куске хлеба насущного пригашали пламень вдохновений, подрезали взлёт и даже полёт, скольких великих поэм, симфоний, полотен не досчитался мир из-за этого, а теперь и себе вынужден был признаться в том, что волю и размах сковывает именно подёнщина добывания самого необходимого для семейного стола.

Под бездомно гудящий, всезаполоняющий ветер, из-за которого лишаются эха даже редкие ружейные выстрелы, остра боль. Скончался от ран ротный его полка, прапорщик Дмитрий Чунихин, надёжный воин, всегда готовый постоять за окопных товарищей своих, серьёзный и весёлый, вдумчивый и шутник, размашисто одарённый. Снесареву он был дорог как человек воинского долга, чести, он ему был как младший друг, он годился бы ему в сыновья, «22-летний ребёнок». Комполка хлопотал о Георгиевском оружии для него, и Чунихин получил его — уже после своей смерти. Снесареву попал в руки дневник прапорщика, где он о своём командире несколько раз «упомянул тоном самой глубокой привязанности… Это дорого потому, что неподдельно и искренно». Чем-то судьба Чунихина напоминала судьбу убитого Мельникова, только тот был эгоцентричен, надменен, не допускал в свой мир других, а Чунихин был солнечен и открыт. Война и смерть не разбирают, кто лучше, кто хуже, хотя достойных настигают чаще, нежели им противоположных.

В конце ноября выпавший было снег сходит, наступает слякоть, хорошо известная семье Снесаревых по Каменец-Подольску. Он снова оказался на Каменецко-Ларгинской дороге, размытой, исчёрканной глубокими колеями, загромождённой брошенными повозками, разбитыми орудиями, павшими лошадьми. (Невольно вспоминалась былая слава. Дорога былой славы. Приходили на ум времена и имена Петра Румянцева, Григория Потёмкина и даже Петра Первого; ещё и Карла Двенадцатого и Ивана Мазепы — все они побывали здесь.) «Кстати о Ларге. Она теперь заглохла, никого там нет; её буфетчиков я вижу перекочевавшими на новые станции, одни на Здолбуново, другие — на Шепетовку… побежали, как крысы с погибающего корабля. И Каменец попутно приходит мне в голову, и я не знаю, как вспоминать его. Были там люди хорошие, там родилась наша дочка… и, пожалуй, всё. Отними это, и останется он не более, как случайный этап или ступень на пути офицера Генштаба».

Декабрьская пора — затишная. Ни частых, ни редких атак, позиционное сидение, но чтобы полки по первой команде встали и устремились в атаку, требуется постоянно бывать в окопах, беседами и чутким словом крепить дух подчинённых. В письме от 5 декабря 1915 года пишет о том, что побывал на празднике Феодосийского полка, и ему пришлась по душе речь батюшки — о. Льва, который говорил о терпении, подвиге, женских верности и капризе, привёл исторический пример, как во время войны молодая красавица графиня Потоцкая на балу танцевала с одним пылко влюблённым в неё офицером и вдруг, прервав танец, сказала своему обожателю, как если бы была царицей полумира: «Я с вами окончу танец, но тогда, когда вы вернётесь победителем». В этом же письме сообщает радостную для него весть: в полк вернулся, убежав из плена, унтер-офицер Ургачёв, уже третий из ранено-пленённых. «Нет лучшего доказательства прочности полка, как возврат из плена этих орлов в своё гнездо. Ведь сколько они должны при этом вынесть, выстрадать, и каково должно быть в них тяготение к полку и какое должно быть в душе горделивое чувство свободы…»

Что-то приходится корректировать по части тактики — не только в отношениях с врагом, но и в отношениях с однополчанами, даже друзьями. В декабре нечаянный выдался вечер горячей, без недоговорок, беседы, когда он несколько часов кряду проспорил с «коренниками»: Тринёвым, Кременчуцким, Волнянским и Колумбовым; почувствовал, что и друзья, разумеется, не первейшие, не давней, долгой службы, за его шагами наблюдали, быть может, даже придирчивей и

требовательней других. «Тактика — вещь определённая, и её в общих тонах преподают одинаково, но ту тактику, которой я держался… хотели обесценить, хотя, кроме победы, она полку ничего не давала, а людям хранила сверх того покой, здоровье и тёплый уют. В этом мы оказались согласны все пятеро, хотя в словах моих собеседников проглядывала мысль о моей гордости и одинокости, которые мне, по-видимому, довольно вредили в глазах начальства и равных товарищей… Во всяком случае, многое мне стало яснее, а выяснять — хотя и прошлое — всегда не поздно…»

Когда Снесарев однажды признается, что солдатская шинель ему так нравится, что он с удовольствием её надевает и ходит в ней, это не было жестом внешним, но, может быть, и наивно выраженным и всё же корневым проявлением солидарности с солдатом, с воином передовой. А окопы, цепи траншей — не просто густые оспины войны, угрюмо-нагие рвы. Они своеобразные, вдруг выросшие и в земле упрятанные деревни, где вчерашние крестьяне, скучая и тоскуя по страде мирной, вынуждены заниматься всем, что называется страдой военной.

«Этой ночью, — пишет 19 декабря 1915 года, — был в окопах и проверял полевые караулы… Мне пришлось наблюдать окопную жизнь ночью, и в ней много своеобразного, грустного и мрачно-красивого… Видишь, ползут фигуры то с мешками хлеба для роты, то с досками, то идут отдельные посыльные… мелькает ласковый огонёк и слышны речь или тихое пение… А в воздухе неумолчно гудят одинокие выстрелы и жалобно свистит пуля, словно ей страшно хочется загубить жизнь человеческую, и она упорно ищет на пути своём человека… Ночь тёмная, но её хмурый фон бороздят то осветительные ракеты, то лукавый и жадный сноп прожектора.

И думаешь, наблюдая жизнь, сколько этого пару и крепости в нашем солдате, который в этих погребах копается и живёт по месяцам, нос к носу с неприятелем… И мне думается, отчего это наши военные корреспонденты не поживут немного в окопах, чтобы понаблюдать их интересную жизнь и потом рассказать о ней людям. Обыкновенно они снимаются у пушек на “передовых” позициях, а такие пушки подчас стоят от окопов верстах в трёх-четырёх… И выходит, что корреспонденты могут воочию видеть только штабы, тыловую и обозную жизнь, т.е. то, что наименее интересно и наименее характеризует войну; а о последней им приходится получать данные из вторых рук, от тыловых господ или от раненых. Эта же категория людей сама или мало знает, или рисует боевую жизнь нервно и пристрастно. Всё это очень грустно, потому что между корреспондентами есть немало

талантливых и искренних людей, и они могли бы сказать своё хорошее слово».

(Андрей Платонов — корреспондент окопа. Его солдат — пахарь и плотник, и война — его вынужденная страда. Есть ещё «окопная проза» лейтенантов — писателей Ивана Акулова, Виктора Астафьева, Владимира Богомолова, Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Константина Воробьёва, Вячеслава Кондратьева, Виктора Курочкина, Виктора Некрасова, Евгения Носова, потом пути их разойдутся, но допрежде о Второй мировой войне, пройдя через поля и холмы сражений, они скажут так, что, читая их книги, слышишь затруднённо-прерывистое дыхание правды.)

17

«Где ты, какая ты, смееёшься или плачешь? Уже привыкаешь к тому, что между нами лежат пространства…» — слова эти, однажды письмом схваченные (7 декабря 1915 года), давно звучали непрерывным рефреном во всём его существе, особенно в долгие осенние, зимние вечерние часы, когда тоска по семье обострялась. Всю боль, печаль, нежность он не мог вместить в письма, но когда писал их, словно видел родных перед глазами и, как уже чужое, врагом занятое поле, отвоёвывал своё прошлое.

Если вычленить письма сугубо семейные, в них явственны два начала, два словно бы искрящих провода, а проще говоря — две нити. Одна нить — детский мир, троица малых.

Отец слышит каждый вздох каждого из своих детей, он врач, педагог, просветитель, печётся о верности или выверенности каждого их шага, он нацеливает на разумные труд и отдых, он тревожится за здоровье и сохранность их, чем бы они ни занимались: катанием на коньках, бегом, книгами — он не забывает спросить, достаточно ли они едят овощей и фруктов, он предупреждает, что «обильная музыка может сказаться на нервах», как позже увидит угрозу детскому здоровью в частом просмотре удлинённых киносеансов: «В кинематограф посылай детей поменьше, так как это крайне вредная вещь и для детской психики (излишняя, неуловимая детьми торопливость действий вне времени и места), и для глаз. Вырастут — успеют насмотреться»; он даёт в письмах существенные пояснения житейского и нравственного характера, подобно следующим: «У Гени есть это сильно развитое чувство эгоизма, особенно резко проявляемое в разгар игры, когда он готов даже правила игры ломать в сторону своей выгоды. Это хорошо и плохо. Хорошо для боя в жизни, где удачи порой приходится выгрызать зубами, а для этого надо их хорошо чувствовать и сознавать; это плохо с

высокой плоскости идеала и с точек зрения более широкого миропонимания… конечно, я говорил бы с ним на тему, что всегда нужно быть справедливым, что лучше, красивее и правильнее даже пострадать за это, потерять личную выгоду… Откуда это у него? Я в детские годы был Иван-простота, говорил, не знаю урока (хотя и знал), когда все гуртом говорили это, гиб за товарищей при всяких случаях… то же в университете, то же в Академии. В этих смыслах простота-Кирилленок пока ближе ко мне»; позже — 1 августа 1916 года: «Относительно Гени… Вся задача (педагогическая) с ним — это приучить его к систематическому труду… У него способности блестящие, и они могут его испортить, давая ему всё слишком легко. А между тем без привычки к труду в жизни не хватит и самых выдающихся способностей… жизнь становится сложнее и труднее, борьба за существование злее, наука больше, специализация уже и тоньше. Только паруя способности с умением работать, можно стать борцом, пробить себе дорогу и принести людям пользу… в размере полученных от Бога дарований»; «Следи, мать, за тем, чтобы слова “знаменитость”, или “красавица”, или “умница” поменьше долетали до детей, они должны быть скромны, а если и выйдет из них что крупное и родине полезное, мы с тобой будем смотреть на это, как на подарок Бога».

Ещё одна нить — отношения их, мужа и жены, в которых ушедшее, постоянно воскрешаемое памятью, живёт сегодня и переходит в завтра. Солнечный Туркестан и промозглый Петербург — любовь, вера, преданность, но случалось и такое, в намёках скользящее, что нынче трудно разобрать, увидеть как эпизод или настроение. Но главное — любовь, вера, преданность. Снесарев внеоговорочно убеждён, что без любви, увенчанной семьёй, победы на войне — ни единичной, ни общенациональной — настоящей победы быть не может. Своими настроениями он делится с женой: «На фоне военных переживаний прошлое нашей брачной жизни смотрится с ещё большей серьёзностью и с ещё большим углублением. Могли ли мы прожить лучше, я не знаю, но в основе нашего брака лежали начала прочные и вечные, и всё ими освящалось и направлялось. Только при них можно создавать брак, как, с другой стороны, только при них можно воевать… иначе война придушит и смутит своими сложными и тяжкими картинами».

Он объясняет, почему временами непривычно редок в письмах — объясняет суеверием, которое подчас поднимается в нём едва ли не вровень с пушкинским. Сердце захоланывает, когда рассыплется соль, или многократно гаснет свеча, или нечаянно утром встанет не с той ноги. Тут многое набирается:

одна чёрная кошка на дороге, два жёлтых цветка во сне, шесть молчаливых птиц в небе… А вот неказистая, кривая палка, словно охранный посох. С нею он нигде не расстаётся, поскольку она сопутствует ему во всех удачных боях и победных сражениях. Странно подобные поклоны приметам наблюдать у сына православного и чуждого всяким суевериям священника, но, наверное, здесь тот случай, когда яблоко далеко от яблони падает.

Вдруг вспоминает осеннее посещение петербургского дома Федченко в первый свой отпуск-приезд с войны и невольно уносится мыслью в Ташкент, где надо было случиться одной из первых горькопамятных размолвок: «…Дом Федченко какой-то диковинный… В душе человека есть какие-то упорные и злые уголки, которые… злым огоньком тлеют до могилы. Увы, это грустно, но так человечно. И о тебе, моя детка, они все запоздало мечтают… Я никогда тебя не ревновал к Федченко, но каждый раз, когда я думаю об их мечтаниях, где-то в глубине, на самом донышке моего тревожного сердца, что-то начинает колыхаться, и нервные струны звенят …»

(Да, ревность Снесарева ещё с тех знойно-туркестанских времён, а может, и ранее — ещё с отроческих… Вообще Андрей Евгеньевич бывал ревнив к знакомым и даже друзьям, которым верил и доверял до какого-то укольного мига. Так было и с Григоровым, сотоварищем по ташкентской квартире, среди главных лиц по праздничному ритуалу на свадьбе, и с Пославским, и с Федченко… Справедливости ради надо сказать, что и Евгения Васильевна страдала необъяснимо-беспочвенными приступами ревности, словно находясь в плену у стародавней приметы: чем больше любят, тем больше ревнуют. Разумеется, вернее было бы сказать: чем больше любят, тем больше страдают. Никто из двоих не давал и малой тени, малого повода поддаваться «чудовищу с зелёными глазами», как определил ревность самый ценимый Снесаревым англичанин — Шекспир. И когда настигнет, ударит испытание Соловками, Северными лагерями, чувство ревности не только бесповоротно уйдёт, но и вспоминаться будет как тягостная морока, с ними ли бывшая.)

«Целую мою невесту, — пишет в письме от 2 ноября 1915 года, — на которую косо посматривал, подходя от дверей церкви к коврику и аналою… ты была страшно серьёзна и проникнута важными думами… и я тут же решил спокойно: это хорошо, надёжная, т.е. на вещи смотрит строго, и религиозная… Я чувствовал себя или пловцом, достигшим гавани, или учеником, получившим награду… но взор уже скользил дальше: там что будет?.. Увы, несказанно бессилен человек пред полотном своего

будущего!..»

Через полмесяца: «Твои письма от 5 и 7 ноября — два ярких контраста: первое резко тоскующее и второе резко веселящееся. В Каунпоре (Индия) есть статуя на месте массовой когда-то гибели англичан… Как всегда, ввиду бедности британцев статуя прислана откуда-то со стороны, чуть ли не президентом Соединённых Штатов, изображает она ангела, у которого одна сторона лица суровая, а другая — улыбающаяся. При чтении твоих через день идущих писем я вспомнил об этом двойном лике ангела. И вправду, детка, если срок писанья ты ещё сократишь, то, переходя от грустного письма к весёлому, ты не успеешь всё лицо перевести на улыбку, и отставшая часть будет ещё плакать, в то время как торопящаяся начнёт уже хохотать… точь-в-точь, как у Каунпорской статуи.

Мы живём втроём: я, Тринёв и адъютант, и много спорим или, скорее, рассуждаем. Тринёв вырос на Дону, а учился в Константинов-ской станице (в 35 верстах от моей); и у нас с ним зацепок давно было много. Посещают нас очень многие, и разговоры не умолкают».

Он пишет письмо 21 ноября 1915 года — дата, незабываемая из постоянно живого туркестанского прошлого: «Я сел сегодня писать потому, что 21 ноября и моя мысль тонет в прошлом. Уж это моё прошлое! Нет большего раба, нет более горячего поклонника, как я, пред тенями и властью минувшего… И ты, лучезарная, освещенная солнцем, взволнованная… стоишь пред моими глазами в далёком домике, отнесённом от тебя на тысячи верст…»

Через месяц: «Вспомнил я наше первое с тобой музицирование: папа с мамой сидели в столовой, а мы разбирали, а потом исполняли какой-то романс (забыл, какой, но такой славный и широкий); ты старалась вовсю (тебе было 15–16 лет), а я был проникнут каким-то особенным настроением. Я уже много пел, многие мне аккомпанировали, слушали меня большие залы со многими людьми… там мною руководило и чувство гордости, и славы, и известного творчества… а тут было два человека, о которых я и не думал. Я пел только… только для маленькой женщины-ребёнка, о которой я мечтал уже тогда странными и туманными грёзами и в душу которой я хотел переложить и свои думы, и робкие надежды, и далёкую даль неясных ещё и мне самому горизонтов…»

Через день — снова исповедальные, поэтические, благодарственные строки: «Дорогая моя, славная, ласковая, беленькая, шатененькая, тоненькая… сижу сейчас и думаю, что ты у меня завтра именинница, и мне весело и уютно думать об

этом… Если бы тебя не было, я бы остался один до конца дней своих, брёл бы по земле одинокой тропою, пока не ослабли бы ноги и не приютил бы меня случайный забор житейской улицы, а ветер не закрыл бы моих усталых глаз навеки. Но ты нашлась где-то в точке мира, в любимом Бабуром городке, затерянном на краю Туркестана и приплюснутом к могучим контрфорсам Алая; нашлась тогда, когда уже многое и многое меня или утомило, или разочаровало, когда я понял горечь быстротекущих восторгов и расценил отраву сладостей жизни, когда, ещё не живши, я уставал жить и, сторонясь наслаждений, я уже уставал наслаждаться… Ты нашлась, русалкой поднялась из волн Ак-Буры, и с полудетской простотой, с ласковостью нелукавого сердца сказала мне: “Ну пойдём, брось хмурить брови и давай заживём в мире по-новому…” И мы пошли, и зажили, и понесли в люди нашу веру и наши сердца, наделали много глупостей… и люди нас обманули, и жизнь над нами надсмеялась… Но мы не заробели и старались лишь о том, чтобы наш челнок обеспечить прочными якорями… их мы нашли три и, опершись на них, сделали наш чёлн устойчивым и определённым. Мы продолжали путь с новыми силами и тем, которые согрешили пред нами в прошлом, мы стали слать нашу смешливую улыбку, а потом и прощенье… Моё бедное сердце окутывает тихая радость, а в душе встает благодарение Творцу, который дал мне жёнушку и никогда не забывал нас в нашем пути…»

Русские религиозные мыслители полагали, что безрелигиозный человек резче всего проявляется в отсутствии у него жертвенного чувства к семье, к церкви, к родине, а также к государству как двуединству защиты личности и угрозы для личности. Снесарев — решительно противоположный образец здесь, и в нём все названные ипостаси находят своего честного истолкователя и верного защитника.

18

Страшные, в сущности, строки пишет в предновогодний день — 31 декабря 1915 года. Хотя, казалось бы, для войны эка невидаль: расстрелян солдат. Но — расстрелян в канун Рождества Христова; расстрелян своими; расстрелян как перебежчик. Такого — и попытки перебежать к австрийцам, и приговора к казни — в дивизии ещё не было. Священник, причащавший несчастного, рассказал Снесареву о том, как бременягостно было перенести обряд расстрела и ему, и офицерам, каким надлежало присутствовать при расстреле: их лица были белей полотна, белей савана. Зато нижние чины, что исполнители, что

выделенные от рот (для педагогического назидания?) наблюдатели, были обычны, спокойны и не то что покорны, а словно бы равнодушны. «По-видимому, солдаты отнеслись безразлично, как к одной ещё мимоходящей смерти, но принесённой своими, а не врагом. Осип так характеризовал отношение их: “Что ж, заслужил своё… не полатается бегать…” Когда я задумаюсь над сотнями тех смертей, которые ходят вокруг нас вот уже второй год, ходят изо дня в день, делая сердце жёстким и угрюмо-холодным, приучая его и воображение ко всем текущим ужасам, то что тогда значит лишняя и притом одинокая смерть? Был человек, и нет его, вот и всё… Осипу и говорить об этом неинтересно: “Не ходи куда не нужно”».

(Расстрел перебежчика — «что тогда значит лишняя и притом одинокая смерть?» Ещё одна, которой могло бы не быть? Разумеется, одиночная смерть — невесть какая редкость, привычное, каждый умирает в одиночку. Но чтобы «лишняя»? Эпитет, уместный разве в устах Господа Бога, но у него лишних нет. Для войны же этот эпитет из сентиментально-побочных, в ней работают другие эпитеты — информационные: «ещё живые» или «уже погибшие».)

19 Последней русской операцией 1915 года — декабрьским наступлением войск Юго-западного фронта — Ставка надеялась отвести австро-германский молот от истекающей кровью Сербии. Сербия, чья столица была подвергнута кромешному обстрелу уже в первый день войны, чья армия уступала австрийцам во всём, кроме обречённого мужества, долго выстоять не могла. Между тем осенью 1915 года она вынуждена была обороняться со всех сторон. Германская армия Макензена, подвергнув небывало разрушительной бомбардировке Белград, переправилась через Дунай и Саву, австрийцы форсировали Дрину, болгары надвинулись с востока, а на западе, у Адриатики, располагались гористые территории албанцев, под огненацеленной и огнеизвергающейся враждой которых сербскому вооружённому народу вскоре придётся отступать к морю в страшных условиях непогоды и ненависти, каких, может быть, не испытывала ни одна армия за все века от сотворения мира. В обширном труде «Мировая война 1914–1915 гг.» А.М. Зайончковский полагает, что «единственно возможным спасением для сербов было предупредить выступление Болгарии и напасть на неё во время мобилизации. Это могло бы сразу вывести Болгарию из строя или даже передать её в руки Антанты. Однако такому акту воспротивилась под давлением Англии Антанта, которая предала, таким образом, Сербию полному уничтожению». Зайончковский называет и другие способы — уже солидарной — помощи сербам,

столь же успешно отвергнутые союзниками, и оставалось одно: помочь сербам через русское наступление.

Третья армия под командованием генерала Щербачёва, бывшего перед войной пять лет начальником Николаевской академии Генерального штаба, поначалу готовилась быть отправленной в Болгарию, — эта страна с лёгкостью непамятливой женщины забыла про славянские жертвы России при освобождении её, веками туреченной и протуреченной, и без мало-мальских угрызений совести объявила войну России, присоединяясь к Серединному блоку. Но что можно было сделать с одной, и не самой закалённой, армией во враждебной стране? Да и как её перебросить туда? Румыны, ещё не надумавшие, к какому союзу причалить, отказались пропустить русские войска через свои земли, а десантировать войска на болгарский берег Чёрного моря, освоенного германскими подлодками, без близкой базы при осенней непогоде было предельно рискованно.

Щербачёв склонил царя перебросить армию из Одессы в Карпаты и там предпринять наступление, чтобы оттянуть австрийцев от балканских операционных линий и прежде всего от Сербии. Но и в Карпатах она, вынужденная словно бы растопыренными пальцами бить по широкой полосе прорыва, успеха достичь не смогла. Подкрепления ей не дали. Командующий Юго-западным фронтом Иванов ничем не стал помогать одинокой армии. Соседние армии, кроме разве Девятой, стояли на месте. Липкий снег мокропогодицы, грязь, полное бездорожье довершили пораженческий исход.

К концу 1915 года план Шлиффена — план короткой войны — провалился: будто самый точный скорый сошёл с рельсов. Антанта противопоставила немецкому иной план — медленного изымания германской энергии. На первый взгляд, успехи Германии велики: на Восточном фронте русская армия оставила Галицию, Польшу и часть Литвы, Болгария присоединилась к германскому блоку, создан единый союзный пояс от Ламанша до Дарданелл и далее, почти сломлена Сербия, в России появилось недовольство неудачами в войне, продовольственными затруднениями, неспособностью справиться со снабжением окопов. (О интенданты! Снесарев об это ведомство «ранился» не раз, знал, что это была напасть целых армий и целых стран.) С другой стороны, перед Германией грозно маячили горизонты затяжной войны, так называемое мировое общественное мнение осудило подводную войну, постепенно спадал губительный наплыв немецких подлодок, американцы настраивались помогать Антанте, а союзники Германии всё больше превращались в непосильные для неё вериги.

И снова исторически (или историками) отвергаемое «если бы…». Если бы не русский фронт, немцы бы одни, без союзников, с методической выверенностью разделались с Францией. Но в 1915 году Восточный, то есть русский, фронт был главным полем битвы Первой мировой войны. Русские, отступая, изматывая себя и наступавшие германские корпуса, давали Франции передохнуть, изготовиться к победным сражениям.

В конце декабря 1915 года Снесарева извещают о производстве его в генералы…

ЛУЦК, ПАМЯТНИК ВСЕМ ПОГИБШИМ. 1916

В Луцке есть (метафизически всегда будет — даже порушенный) памятник-мавзолей над могилой павших австрийцев; в могилу захоронены и воины враждебной стороны. Надпись на памятнике: «Справедливый спутник! Под этими холмами спят достойные восхищения храбрецы, которые в великих боях за Отечество и Императора жизни свои положили. Здесь также покоятся и их враги, присоединённые с уважением. Мир вам, благочестивые души!»

Каких редакций нет, но суть единая: примирение, предсмертное или посмертное прощение в потустороннем мире тех, кто в земной жизни по своей или чужой воле были врагами. Поздней осенью 1916 года в дневнике Снесарева отмечено, что офицер для поручений Михаил Буд-ков прислал письмо с латинской выпиской на чёрной мраморной доске Луцкого мавзолея: *«Siste viator! Hi tumuli tegunt illos fortes admirantos, qui vitam in magna bella pro patria et Jmperatore dillecta posuerant. Hie etiam hostes guondam cum caritate conjuncti reguiescant. Avete piae animael»* («Путник, остановись! Здесь погребены те люди удивительной силы, которые отдали жизнь в великой войне за родину и дорогого императора. Здесь также покоятся враги, некогда к ним с почтением присоединённые. Поклонись их верным долгу душам!»)

Не раз упоминал о памятнике, воздвигнутом австрийцами в Луцке над братской могилой, и славный генерал Ханжин, передавая латинскую надпись так: «Путник, остановись! Здесь погребены те, что пали за Родину и монарха… здесь же с ними погребены и враги, к общей могиле присоединённые без злобы». Это «присоединённые без злобы» Снесареву, как он сам говорил, очень пришлось по душе: «Это дивно хорошо… присоединённые без злобы!»

А как уже не за горами революция в северной столице отделит на Марсовом поле жертвы нового порядка от жертв старого порядка? С брезгливостью жестокосердной атаманши. «Слишком много страсти, много мстительности обнаружили страницы революции, что лишает и её, и возвещённые ею свободы спокойствия и благородства, — убеждённо, справедливо выскажется Снесарев. — Или это нервность, или боязнь, или отсутствие кругозора? На Марсовом поле тщательно отделяют жертвы — защитников Нового порядка от защитников Старого. А

последние не более, как люди, верные тому, чему принесли присягу и во что веровали…»

1

В 1916 году германское Верховное главнокомандование решило главный удар обрушить на Верден, мощную и основную препятственную крепость на пути германских дивизий к близкой французской столице. Сражение началось 21 февраля. После массированной многочасовой артподготовки немцы пошли в наступление. Невиданные по ожесточённости бои продолжались до сентября, но французская оборона — как ни трещала — выстояла. Французам удалось удержать фронт ещё и благодаря весенним, крайне тяжёлым для русских операциям меж озёрами Нарочь и Вишневское, как справедливо о том сказал выдающийся военный мыслитель Керсновский: «Выручая Верден в марте 1916 года, мы положили у неразбитой немецкой проволоки у Нарочи двести тысяч русских офицеров и солдат, надорвали свои силы на весь остаток кампании и не получили от союзников даже простой благодарности…»; разумеется, на исходе битвы под Вердном отразилось также противоборство русских и австро-венгров в Карпатах и Прикарпатье, куда немцы снова были вынуждены направлять свои полки, столь необходимые под Верденом.

2

На Восточном фронте наступательные операции в 1916 году немцами не предполагались. Стратегическая оборона виделась здесь более предпочтительной. Понятно, что у Германии главным противником была Франция: немцам надо было удержать, сохранить за собою Эльзас и усмирить, если не похоронить реваншистские французские настроения. А снова затевать фронтальное в тысячекилометровой растяжке наступление против русских у немцев не было ни расчёта, ни порыва. Восточный фронт не сулил ничего скороуспешного. Не надломленной поражениями на втором году войны оставалась боеспособность русских, и, как и во все времена у враждебных России полководцев, у германского главнокомандования рождалось нечто вроде иррационального ужаса перед безграничными людскими, материальными возможностями русских и русскими пространствами, где русско-европейские степи, леса, болота и возвышенности, разметнувшись на тысячи вёрст, уходят в Сибирь, в Азию, аж до Тихого океана.

В марте 1916 года командующим Юго-западным фронтом был

назначен Брусилов. Он учёл уроки предыдущих кампаний, посчитал возможным отказаться от классических способов прорыва неприятельской обороны и предложил рискованный план: атаковать не на узком участке, а по всей — на сотни вёрст — фронтовой полосе. Для прорыва необходимо было сосредоточить крупные силы, что не укрылось бы от воздушной разведки, и противник, без труда обнаружив, куда именно нацелен главный удар, принял бы срочные противомеры. И Брусилов распорядился земляные работы и подготовку к прорыву начать в каждой армии, в каждом корпусе на выбранных ими участках, так что австрийцам оставалось гадать, куда именно вонзится наступательный клин русских.

Без поддержки соседних фронтов «брусиловское» наступление, разумеется, не могло решить ни исхода войны, ни даже исхода противостояния на тысячевёрстной полосе. Однако командующие сопредельными фронтами Куропаткин, Эверт и бывшие у них в подчинении во время Русско-японской войны начштаба Ставки Алексеев и сменённый Брусиловым, но всё ещё влиятельный недавний командующий Юго-западным фронтом Иванов по существу-то не поддержали Брусилова и, словно напуганно помнящие дальневосточный синдром и удерживаемые им, использовали совокупность задержек, проволочек, опозданий, перерешений, бездеятельных многотерпений.

Раздастся приказ, и атакующие войска всех четырёх «брусиловских» армий двинутся на широком участке — тоже что-то вроде фронтовой новинки-уловки на тот час: каждая армия имеет свой сектор прорыва. Основная задача возлагалась на две армии. Восьмая (генерал Каледин) устремится на Луцк. Девятая (генерал Лечицкий) прикроет левый фланг операции, своими возможными успехами косвенно воздействуя на Румынию: та всё не могла выбрать, куда ей пристать: к Антанте или к Серединным державам. В этой весьма динамичной армии и выпало около года воевать Снесареву — сначала начальником штаба 12-й пехотной дивизии, затем командиром 64-й пехотной дивизии. Между ударными армиями находились Седьмая армия (генерал Щербачёв) и Одиннадцатая армия (генерал Сахаров), должные решать вспомогательные задачи.

А покамест идёт подготовка к Луцкому прорыву, ещё и не известно, именно ли он станет главным…

3

И весь шестнадцатый год, как и предыдущие, так и последующие годы войны, Андрей Евгеньевич во фронтовом

потоке живёт настроением неизбывной думы о жене и детях. Он в свободный час прогуливается по горному лесу, а ему вспоминается далёкий странный луг в Риме около собора Св. Павла. И он испытывает сильнейшее желание снова побывать с женой в Вечном городе, который «царит один — властный и вечный — в тайниках потрясённой души».

Несколькими днями спустя он полушутливо, а может, и не без гордости оценивает художественно-авангардистские упражнения дочери, мол, её «девочка со скакалкой» и особенно «чёрт» — вещи серьёзные, и «пора посылать их футуристам (или кубистам, или как их там) … им они пригодятся для будущей выставки…»

Снесарев, росший в окружении сестёр, прекрасно понимал, сколь непростая задача — воспитывать единственную дочь в окружении братьев: не избаловать её и не огрубить; он постоянно думает о ней, и письма разных лет доносят следы этих дум. Он хотел бы оградить её от чёрных сторон жизни, но она, исполненная великого по беззаветности чувства к отцу, поедет к нему в Северные лагеря, сверх меры насмотрится этих чёрных сторон, а вместе с тем на всю жизнь останется душой светлой, лучисто-светлой.

И снова, и снова — думы о семье, строки о семье, бесплодные попытки выяснения отношений с женой, грустно-никчемных разбирательств-зановоповторений, давних и недавних, дневных и ночных размолвок, обид, подобий ссор, каких и в помине не должно бы быть. Но, как говорится, бес — в мелочах.

Ещё раньше он в одном из писем поверял жене распространённое на войне убеждение, что «самые капризные мужья возвращаются с войны кроткими и терпеливыми, настолько война углубляет их психику и делает в их глазах мелким и пустым всё то, что ранее волновало их, вызывая с их стороны досаду и капризы…» Но не у всех так и не всегда так. Всё намного грустней, неожиданней, непредвиденней.

27 февраля 1916 года покаянно пишет: «Дорогая моя грустная жёнушка!.. Есть, значит, причины, которые сильнее нас с тобою. Люди мы с тобой не плохие, жизнь понимаем серьёзно и стараемся жить разумно, друг друга любим… Что же ещё? Вероятно, это не всё. Ты, имея большую душу, полная высоких и глубоких задач, всё же не умеешь вовремя сдержать своих нервов или налёта гнева, а я, при всей своей опытности и наблюдательности, не способен заблаговременно предусмотреть и предупредить твою вспышку. А в результате, случайный факт — и мы с тобой накануне расставанья мучаемся целую ночь, как будто нам ещё быть вместе целые месяцы и как будто на другой

день я не уезжаю… да ещё куда? На поле крови! Действительно, нашли время капризничать и препираться! Это так странно, так непонятно, как будто мы с тобою пара врагов, которым мешают поссориться, и они ловят для этого первую возможность: ночной покров… Я более склонен винить себя, и, между прочим, мне приходила и такая мысль: может быть, если бы я не был почти вдвое тебя старше, твоя и психика, и физика пошли бы иным путём, более ровным и нормальным, нервы твои так не растрепались бы… Словом, думал я много и на разные лады, но менее всего на ту тему, что я стану менее любить свою жену, а тем более перестану уважать её. Ну да оставим это…» (Но не оставляется. Разгадка большой любви — малой ссоры не разгадывается, письмами её тоже не разгадать, не поправить, но от писем, как от чего-то реально и созидательно исполняемого, уходить не хочется, и он не уходит. Обоих их спросить, что же произошло в февральскую последнюю тогда вместе ночь 1916 года, когда Снесарев на считаный срок сумел навестить семью в Петрограде? Из-за чего? Да никто бы из них толком не разъяснил, откуда полыхнул огонь размолвки.)

«Может быть, во всём виновата моя гордость, — принимает муж вину на себя в письме жене от 16 марта 1916 года, — я хочу, чтобы выбранная мною женщина была совершенство и в духовном, и в физическом смысле, и когда случается что-либо, посягающее на такой вывод, я чувствую себя задетым… Ну да теперь всё это пустяки, так как на последней странице твоего письма стоят слова “безгранично тебя любящая”, и вся наша философия, все наши споры летят вдребезги, как царства мрака и теней от золотого луча Солнца».

А через несколько дней ставит точку, после которой диалоги, споры, обиды в этом круге представляются исчерпанными, разрывающими круг: «…Я у тебя, золотая моя жёнушка, забыл попросить прощение, но это неспроста: как я ни грешен пред тобою всякими согрешениями, ты меня всё равно простишь… Батюшке на все вопросы отвечал “грешен”, а когда спросил, не грешу ли перед женою, отвечал “нет”… Батюшка только и мог ответить: “Конечно, конечно”».

4

С февраля по сентябрь 1916 года Снесарев — начальник штаба 12-й пехотной дивизии в Девятой армии; в мае — июле (Луцкий прорыв) руководил полками бригады; за бои 28 мая и 12 июня награждён орденами Святого Станислава первой степени, Святой Анны первой степени с мечами. Штаб дивизии для него

дело более чем известное, немало, правда, значило — что за дивизия и кто её командир? Дивизия — из обстрелянных, боевых, командиром дивизии — генерал-майор М.В. Ханжин, артиллерист. Брусилов пишет в «Воспоминаниях: «…Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался на месте, но вперёд не шёл, и, ободрив его несколькими прочувствованными словами, он сам стал перед полком и пошёл вперёд. Полк двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение… Такие личные примеры имеют ещё то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат привыкает верить и любит его всем сердцем».

Дивизионные будни, неизменные думы о семье. Дальнейшие его строки, как и предыдущие, хотя и пронизаны чувствами семейственности, но не только: они обо всём, чем всколыхивалась фронтовая и тыловая жизнь, они органично вмещают всю полноту фронтовой жизни, передовой, окопа, и раздумья о минувшем, и текущие тревоги, и краткие рассказы, и свои мысли о старых заброшенных усадьбах и парках, о Пушкине, Толстом, Достоевском, о больших и малых военных чинах, горестные раздумья о сестрах милосердия, о столичных съездах, столь хвалимых, скажем, Брусиловым, но истинное, малосоответствующее декларируемому статусу значение которых Снесарев понимал гораздо глубже; записи о встречах с фронтовыми друзьями ещё по молодости, и как многих их уже недостаёт, коль война — будь она победа или поражение — всегда гибель; причём распространенное убеждение — гибель лучших.

Сокрушается о прерванных судьбах боевых товарищей по Академии Генштаба, своего академического выпуска, погибших (скорбно-примечательный штрих), будучи командирами полков, то есть наиболее близкими к окопам, видит их облик и подвиг прекрасным, крестным, называет их фамилии: Вицнуда, Сегеркранц, Жуков, Орлов; через несколько дней мартиролог расширяет: Тетруев, Березин, Румянцев, Карпов… Вынужден признать: «жатва обильная…»

А ещё и вовсе не академические, а фронтовыми буднями, атаками, тяготами передовых позиций породнённые друзья: Панаев, Голубинский, Зимин, Лопухин, Мельников, Чунихин… Они уже покоятся под могильными крестами. Другим хрупко-временного деревянного креста ждать недолго.

«Эту сторону войны мы все забыли. Проза её и великие текущие нужды, эмалевые кресты так берут всех нас, что о могилах и крестах деревянных нам некогда подумать, как

следует… Их так много кругом, они так обыденны, что внимание утомляется, а рука устаёт креститься. А между тем под ними-то и лежат герои, хотя часто другие носят заслуженные теми кресты…»

Снесарев сетует, что человек организован, в сущности, не тонко: малочувствующим, бессильным видеть даль. Ему, с уместными почестями похоронившему подчинённых на карпатских лесных холмах, хотелось бы видеть, что происходит в семьях осиротелых, чем и как они живут в глубине России — в родной донской стороне, да и на Печоре и Северной Двине, да и за Волгой, за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, наконец. Но не дано человеку хотя бы внешне проницать даль: ни ему, воюющему, видеть далёкие мирные избы, над которыми, быть может, кружат птицы гибели близких, ни живущим в тех избах видеть тихие родные могилы, словно ждущие скорого забвенья травой за отсутствием родного пригляда. (Бог весть, встречаются ли убитые там, но живые, слава Богу, встречаются здесь, подчас и не думая о встрече, не надеясь за давностью лет и бытовой ненадёжностью времени.)

«Позавчера был у Марка Семеновича, — письмо от 21 февраля 1916 года, — (я тебе писал: мой друг по Нижне-Чирской прогимназии, с которым мы не виделись 33 года), обедал и разговаривали без конца. Интересно было выслушать из его уст, каким я тогда был, как выглядел и чем занимался. Был я, по его словам, высоким и тонким “отроком”, с тонким девичьим голосом, страшно конфузливый и застенчивый; красоты был исключительной: имел мечтательные серо-голубые глаза, матово-бледное лицо и густую шапку волос, всегда поэтически небрежную. В попойках их никогда не принимал участия, больше был одинок и много читал. Все они (полстаницы молодежи) были влюблены в одну девочку (Елена Хопёрская), но любила она меня, и любила страшно и верно… как только могут любить в 14 лет: до гроба. Я провёл у него 2 часа, и всё далекое прошлое встало живым пред моими глазами… Многих товарищей уже нет, что и естественно, многие погибли от пьянства, что менее естественно и печально…» (В дневнике последняя фраза добавляется жалеющим, минорным, меланхолическим — «лишь немногие достигли высот».) В начале марта его вызывают в штаб корпуса, он там находит много знакомцев, о многом и долго беседует с корпусным: «Каледин… у нас много общего… Теперешний корпус не похож на 7-й: тот — немецкий, а этот не только русский, но и казачий: Каледин, Ханжин, я, Рыбальченко — командир нашей бригады, Корольков — командир одного полка, — все казаки. Немецких фамилий нет и в помине».

И это говорит Снесарев, видевший в немцах органических союзников, и вот она, реальность меняющихся русел, жизнь, всех и вся меняющая!

Граф Келлер — он что, русский-русский? В нём разве нет немецкого: крови, чувства чести, тяги к порядку? Между тем именно его в один из мартовских дней навещает Снесарев, они беседуют долго и обо всём, днём позже ему граф шлёт свои размышления-выводы о декабрьской провальной операции, и — замечает Снесарев — «в них много правды». (Генерал-лейтенант Келлер, «первая шашка России», человек чести и мужества, поздней осенью 1918 года благословлённый в Киево-Печерской лавре митрополитом Антонием (Храповицким) на выступление против большевиков, надеявшийся вскоре «поднять Императорский Штандарт над Священным Кремлём», но перед отъездом из Киева убитый петлюровцами на Софийской площади. Фёдор Артурович не оставил ни военных трудов, ни мемуаров, храбро воевал и погиб от тёмных сил, как погибли тысячи, десятки тысяч русских офицеров-монархистов.)

Весенний день, а на сердце безотрадно, чтоб не сказать уныло, и мысли совсем невесёлые: «Грустно подумать, что минет война, из углов вылезут тараканы, и бедные боевые пчёлы будут задушены массой, отодвинуты на задний план, и их труды, их военные работы будут обесценены и заменены глубоко мирными расценками».

В начале апреля стало известно, что Каледин назначен командующим Восьмой армией, а командиром корпуса будет Кознаков, бывший начальник 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

В начале апреля Снесарев (его дивизия находилась в резерве, на отдыхе) на несколько суток обрёл кров в брошенном, запущенном поместье в пятнадцати верстах южнее Хотина. В поместье было много книг и многолетних выпусков «Современника» и «Русской мысли». Как только вошёл в гостиную, он сразу обратил внимание на фамильную библиотеку в трёх высоких шкафах. Но к книгам даже не стал притрагиваться, чтоб не расстраиваться от невозможности их прочитать. Решил проглядеть стопки журналов. Открыл первый глянувшийся «Современник», был он 1856 года, открыл первую страницу. Стихи Пушкина. Они заканчивались так:

Мне милый лик блеснет во сне,
И вновь я к жизни пламенею.

Он их прочитал вслух, несколько раз повторил их.

Тем же месяцем шлёт домой фотографии, среди них и снимки с выпестованным конём Ужком. Не то констатирует, не то жалуется, что приходится позировать фотографам-съёмщикам, которые, только появись на прогулке, тут как тут: «Ваше превосходительство, нельзя ли там сесть (лечь, стать, повернуться боком…)»; но Снесарев и сам никогда не чурался объектива, всегда был не прочь сфотографироваться и сфотографировать всё, что его окружало, да и его идея — фотолетопись полка.

«У нас стоит роскошная погода (как исключение, сегодня немного дождит)… — пишет в конце апреля. — За это время мы ожили, отдохнули, ребята подзагорели и раздались, поздороваешься — орут барабаном, о землю ступят — гул идёт… Божественные люди! До земли клонишься перед великим стратегом земли Русской — русской бабой, которая народила этого народу в таком обилии, что ему нет конца и краю».

«Нет конца и краю…»? Снесарев, как и ранее Менделеев, как и другие судьбой Отечества озабоченные современники, быть может, надеялся, что большой прирост народа в конце девятнадцатого века будет продолжаться и далее — при естественно-эволюционном развитии России. Но… Несколько раз по-страшному пустят ей кровь, и к концу двадцатого века вместо предполагавшихся четырёхсот миллионов русских останутся не столь великие десятки миллионов волеослабленных, духовно пригнетённых, корнеизраненных, лишающихся почвы и неба, обворованных соотечественников.

До Снесарева доходят вести о союзах и съездах, о бесконечной их «корпоративной болтовне», и он недоумённо размышляет-вопрошает: «Конечно, наша просвещённая интеллигенция в поте лица своего хлопочет за эти союзы, провидя в их организации будущую свободную, демократическую Россию… Право, наблюдая такие вещи, на минуту можно подумать, что нет глупее твари, как русский интеллигент, бестолково кричащий о свободах… Кому и чему он служит своим криком?»

«Стоят дни пригожие, но настроение неважное… — жалуется жене в письме от 5 мая, — долгое стояние в резерве человека балует и настраивает на тыловой лад: чем ближе к окопам, тем всё яснее, цельнее, совесть спокойнее. А здесь начинаешь думать, что зря получаешь деньги. Я понимаю тех израненных офицеров, которые на 2–3-й месяц лечения начинают стесняться выходить на улицу; их, как они говорят, стыдит каждая пара детских глаз, таящая в себе суровый вопрос: “Что ты тут, дядя, делаешь среди нас, маленьких, почему не воюешь?”

От Михаила Васильевича получил письмо в очень печальном

тоне: очевидно, как человек простой и привыкающий, он чувствует себя там одиноким и печальным. Но, увы, всё на войне горит много быстрее, чем в минуты мира, и я с грустью замечаю, как быстро исчезает и летит в реку забвения его добрая память…»

Печальное письмо Михаила Васильевича Ханжина — словно предчувствие его ломаного будущего. Он проявит себя толковым генералом и военным министром у Колчака, да только самого Колчака скоро расстреляют большевики, и Ханжину придётся спешно перебраться в Китай, мытарствовать там, но и быть председателем попечительского совета по охране русских военных кладбищ. В 1945 году советские военные власти его арестуют, приговорят к заключению и только через десять лет освободят из лагеря, но проживёт он после того недолго.

5

Снесарев и по глубине чувства, и по православному семейному воспитанию не мог не думать снова и снова о сестрах, столь далёких от него вёрстами, но бесконечно близких. Его мучают думы о сестрах, что-то не так сложилось у них, как обещалось природой, давшей им и добрый нрав, и красоту, и россыпь дарований. Многое — не так.

Его любимая сестрица Кая, поверенная его молодых честолюбивых упований, хранительница его тайн и писем, чуткая и неизменно внимательная, совсем недавно огорчила именно нечуткостью и невниманием. Так, пустяк. Заехавший к ней его писарь возвратился из Москвы с тремя коробками сластей, но без письма, даже малой записки, с устным от неё наказом кланяться. Брат был то ли раздосадован, то ли огорчён, хотя и понимал, что всё это выеденного яйца не стоит. Понимал и более драматичное: не будет уже никогда тех сокровенных, многочисленных, спешивших к нему в Туркестан писем, все сестрины письма для него закончились, как памирские туманы.

У сестры — своё. Он уже столько повидал разорённых войной семей, но живых надеждой — детьми, пусть временно и голодными, лишёнными детского счастья. У Клавдии такой надежды не было. «А судьба много положила и в её колыбель, и на путь-дорогу её жизни: дала богатую и талантливую натуру, широкую почву для восприятий, дала хорошего и крепко любящего мужа, дала богатство… но каким-то косым случайным ударом она не дала ей материнства и… обездолила, опечалила всё…»

Судьбы сестёр, как судьбы полевых цветков, от которых отвернулась благосклонная природа, обрушила на них непогоды

и заморозки, и брат всё это видит и ничем не может помочь им, словно в необходимый миг помощи теряющий и ноги, и руки, и язык.

(В Свирских лагерях, в Кеми и на Соловках, в отрыве от семьи, раздумья Снесарева о драме рода особенно обострятся. Гибель Тростянского, Вилковых, сёстры-неудачливицы, бездетность Каи и болезнь Веры, молчание брата Павла, ранняя смерть сыновей Кирилла, Евгения, и уже за пределами его жизни — гибель под Москвой в начале войны ушедшего добровольцем его младшего сына Александра. Что ж, семейные трагедии — на всех материках, у всех сословий, у сильных и слабых, богатых и сирых. Только, скажем, о драме предпоследнего австрийского монарха, императора Франца Иосифа, потерявшего всех родных от брата и жены до сына, о ней знают, а о каком-то безвестном крестьянине, всех и вся потерявшего, — кто и что знает о нём?)

6

Думал он и о других сестрах: не родных по крови, но родных по жертвенному чувству. Скорее для него даже не сестёр, а дочерей, как он воспринимал их, отгоняя от себя естественные влечения мужчины. Найдётся ли в скорогрядущей литературе, думал он, слово о юных подвижницах с прекрасными глазами и чуткими руками, беззаветных сестрах милосердия, разумеется, разных: и до конца несущих свой крест милостный, и подчас не выдерживающих — уходящих или утопающих в случайных ласках?

Как они рвутся на фронт, в ближние от огня госпитали, вот и его племянница Леля Вилкова тоже. В письме от 8 июня 1916 года Снесарев посчитал необходимым высказаться об этом так, как оно есть: «Если присмотреться ближе к миру сестёр милосердия, то радости мало. Работа — высокая, большая и трудная — всего не заполняет, а вне этой работы стоит та же не разрешённая Лелей жизнь, которая подстережёт её и здесь, и подстережёт ядовитее.

Здесь атмосфера нервнее, смерть витает над всем, кладя на людские дела печать и большой азартности, и большой часто беспринципности. Человек, который завтра умрёт, сегодня спешит жить, пьёт соки жизни, увлекая в это опьянение и других… Жалко, что свою мысль мне нельзя иллюстрировать примерами, а они типичны. Вспомни, жёнушка, “Пир во время чумы” или “Декамерон” Боккаччио… Жизнь на вулкане создаёт свою канву, которая полна каприза, прыжков и крайностей. В этой ли канве Леля отыщет себе ответ на запросы и найдёт пристанище? Да ещё с её нервами и больными притязаниями…

Немало сестёр, раньше никогда не куривших, девушек высокого происхождения, начинают на войне курить и курят запоем. И когда говоришь с ними, отвечают, что иначе не могут… Какой же должен быть кругом кавардак и нервоз, если девушка начинает питаться никотином и питается им запоем… Пусть об этом подумают невропатологи или психиатры, но мне эта картина в связи с другими говорит многое, и взбудораженный, больной и неудовлетворённый мир сестры милосердия мне больше всего виден сквозь эту частую и густую пелену табачного дыма…»

Через месяц в письме жене от 17 июля 1916 года снова невесело рассуждает о возможном будущем своей племянницы как сестры милосердия: «…Ты пишешь, что Леля поехала в Борисоглебск, а оттуда, если удастся, проберётся на фронт. Ещё больше, чем прежде, я настроен против подобных экспериментов для девушки. Что делать, война имеет свою изнанку, и таковая бьёт жестоко по линии наименьшего сопротивления… а что может быть слабее девушки, попавшей на кровавое поле народного состязания…»

Позже добавит: «…постоянная масса офицеров — артиллеристы, лётчики, пехотинцы, — которую я там видел, упрощённая обстановка, перемешивание с мужчинами, ругающаяся, выполняющая обязанности перед природой солдатчина, раскрытые больные, из которых некоторым надо вставлять катетер… как это всё должно действовать и на стыдливость, и на нервы, и на половую сторону, и на взгляды. Кого такая обстановка не дожмёт донизу?»

Снесарев воспитывал в подчинённых братское и пресекал подчас скотское отношение к сестрам милосердия. Всегда старался отвечать на их частые письма. Обедал с ними. Читал им стихи: пушкинские, лермонтовские, тютчевские. А ещё — эти беседы, полные узнавания ими нового, поездки в полки или на богослужение, где для них много нового и интересного, речи, посвящения-экспромты высокой чести офицеров. В каждой из них он видит избранницу или родную сестру незнакомого своего соратника, будущую мать, и для него не имеет значения, кто она: девушка из простой семьи или родственница высшего армейского чина, графская или княжеская дочь. Он и подшучивает над последними: «всё это французит, англизирует» — речь о сестрах из высоких сфер (жёны и дочери директора департамента, губернатора и вице-губернатора, командующего одной из армий и т.п.), составивших «фешенебельный» отрад, опекаемый Красным Крестом и Московским железнодорожным узлом; сестрам этого отрада не понравилась назначенная им дивизия, и они запросились к Снесареву, в подчинённых которого на всём

пространстве исхолмленных Карпат они видели воинов наиболее воспитанных, благородно-рыцарственных, во всяком случае, не могущих обидеть.

7

Лето 1916 года. Луцкий прорыв, вскоре фронтовая и народная молва назовёт его Брусиловским, хотя не меньше оснований было назвать его Калединским. Луцк не столь давно уже был взят с ходу Железной дивизией Деникина. Его пришлось оставить и теперь снова брать, уже как город на стратегическом направлении. 23 мая Восьмая армия Каледина прорвала первую оборону противника и 25 мая вошла в Луцк, Седьмая армия ворвалась в Язловец. Войска Девятой армии в первый же день заняли всю передовую полосу противника и быстро продвигались на запад. Восьмая армия, которой Брусилов отводил главную роль, должна была двигаться к Ковелю, крупному железнодорожному узлу. Наступление в значительной степени зависело от своевременной помощи Западного фронта, которым командовал Эверт; последний же запаздывал, действовал несогласованно. Немцев особенно тревожила угроза потерять Ковель, и туда были незамедлительно направлены войска из-под Вердена и с итальянского фронта. Наступательная операция Юго-западного фронта летом 1916 года (несмотря на незавершённость: Ковель взять не удалось) прежде всего облегчила положение западных союзников, косвенно спасла Италию от разгрома её германцами и понудила Румынию встать на сторону Антанты.

Прорыв готовился тщательно. План прорыва разрабатывался и на карте и на местности.

Наступательные залпы раздались на заре 22 мая. В полдень, после шестичасовой артподготовки, одновременно поднялись в атаку четыре полка. За австро-венграми была создана ливневая завеса заградительного огня. Русские ударные полки шли вперёд безостановочно, часто врываясь в первую линию австрийских окопов, часто идя поверху, перескакивая или набрасывая на них заранее заготовленные мостки. На поддержку спешили бойцы второго эшелона. Мадьяры начали сдаваться в плен. Целыми толпами бежали они на восток, обстреливаемые собственной артиллерией…

Успех Девятой армии был очевиден: захвачены сотни офицеров, восемнадцать тысяч солдат. Австрийский генерал Пфлянцер-Балтин, командующий Седьмой венгерской армией, сообщал главному командованию: «Группа Бенигни не способна

оказывать какое-либо сопротивление неприятельскому наступлению до тех пор, пока ей не будет представлен какой-то отдых».

Девятой армии Лечицкого, нацеленной на Станиславов, Коломыю, надлежало срочно форсировать Прут на участке румынской границы и отбросить австрийцев за реку Сирет…

12-я пехотная дивизия вышла к Пруту, по той стороне которого стояли австрийцы. Река шириной за полусотню метров. Южный, австрийцами занятый берег, против которого находился левый фланг дивизии русских, тянется грядой вершин высотой до двухсот метров, с крутыми склонами к реке. Вершины командуют над всей местностью. На фронте дивизии было три глубоких брода. Дивизия час за часом, раз за разом «обучалась», как быстро и не теряя солдат форсировать реку. Действительно перебралась на другой берег Прута успешно — вброд и по быстро наведённому понтонному мосту.

Снесарев в дневнике записывает, что 28 мая был славный бой и что ему вверены два полка, называет географические точки: Чёрный Поток, Похорлоуц, Юркоуц, Валява. Весь день идёт дождь. В Валяве приходится заночевать. Его пленяет достоинство радушного гостеприимства хозяйки — дородной, красивой, немолодой женщины с белыми волосами. Рассказывает о том, как она успокаивала пленного австрийца: «Чего горюешь… русские придут, они хорошие люди…»

И Снесарев восклицает: «Россия показала себя в блестящем нравственном свете!..» Как ему до прожильной боли хочется, чтобы слова женщины с белыми волосами звучали как можно чаще из сотен, тысяч, миллионов уст и чтобы действиями русских оправдывались эти слова; он прекрасно понимает, что его эмоциональный восклик о нравственном свете России на войне при строгом практическом взгляде утемнён тьмами тёмных пятен, подобно тому как сильный и внешне приглядный корабль по днищу облеплен вязкими гирляндами ракушек.

И тьма не заставляет ждать. Через несколько недель он запишет в дневнике: «Коломыя. Вчера ночью приехал сюда на автомобиле… Город милый, весь в зелени… Хотя был специальный приказ не грабить, много разграблено. С дикой жадностью ищется спиртное, и люди напиваются до одури… Сегодня был случай смертельного ранения одного интеллигентного русского, который вздумал остановить грабёж в соседнем доме. Убийцы… оба пьяные, выстрелили из винтовки в живот. Осталась жена и 7 детей…

Офицерство если и не грабит, то жадно раскупает вина, не заботясь о плате. Один аптекарь в несколько минут продал на 2

тысячи…»

С надеждой отмечает, что вне этой кровавой беды и суеты пребывают разве дети, воспринимающие музыку враждебных полков как праздник, хранимые то ли своими ангелами, то ли природными инстинктами; их ещё не обременённый детский ум не хочет видеть зло; только став взрослыми, они вспомнят разрушительные картины мировой драмы.

Через десяток дней — уже из Герасимува: «Изнанка войны: разграбленное всюду добро, поломанные и оборванные сады и нестерпимый всюду вас преследующий запах “сидевшего” солдата. Он ужасен, он портит вам всё, душит собою даже страшные, трупные картины войны. От него некуда деться, так как самые уединённые, часто красивые и прохладные места и являются убежищем опоражнивающегося…»

6 июня полки Снесарева помогают корпусу графа Келлера форсировать реку Сирет.

Эрих фон Фалькенгайн в уже названной книге «Верховное командование 1914–1916 в его важнейших решениях» не без разочарования и досады констатирует, что австро-венгерские войска отхлынули назад перед натиском русских армий, и стало ясно, что без немецкой поддержки им грозит разгром. В Галицию в который раз перебрасываются германские полки и дивизии.

А задачи, возложенные на Девятую армию, были выполнены более чем убедительно. По директиве Брусилова ей предстояла вспомогательная роль: отвлечь внимание противника от ковельского направления, то есть главного удара, который был возложен на Восьмую армию. Тем не менее ей удалось так потрясти войска Пфлянцер-Балтина, что они были вынуждены оставить всю Буковину и часть Южной Галиции. Успехи Девятой армии подвигли Румынию выступить на стороне Антанты. Девятая армия Лечицкого опережала все армии Юго-западного фронта, в успехе всей Брусиловской операции её большая заслуга.

Ханжин, тогда начальник 12-й дивизии, в боевой аттестации-характеристике на Снесарева от 17 апреля 1916 года, ещё до летних сражений, отмечал, что тот «обладает широким образованием — общим и военным; владеет французским и немецким языками; военное дело понимает, обладает большим и разносторонним боевым опытом, как прошедший боевую страду командира пехотного полка и бригады и начальника штаба кавалерийской и пехотной дивизий. К службе относится с редкой добросовестностью. Храбр и мужественен; во всякой обстановке сохраняет самообладание и полное спокойствие; всегда бодр; на подчинённых производит самое лучшее влияние, вызывая и поддерживая в них бодрое, спокойное и уверенное настроение,

относится к ним мягко, сердечно, внимательно и заботливо. Здоровья прочного… достоин выдвижения на должность начальника дивизии и на должности по Генеральному штабу — начальника штаба корпуса и генерал-квартирмейстера армии — “вне очереди”».

К концу июля Юго-западный фронт снова перешёл в наступление. При переменном успехе в Карпатах и перед фронтом Девятой армии отход противника потерял всякий строй и лад. Продвижение русских на Карпатах заставило немцев перебрасывать туда свои войска. А на правом фланге фронта из-за ненастной погоды и неготовности приданной ему гвардии наступление пришлось отложить, но, раз начавшись, оно потерпело неудачу. Тяжёлых орудий, аэропланов да и солдат у атакующих было меньше. И в конце июля 1916 года Брусилов приказал правофланговым армиям фронта перейти к обороне. Ковельская операция была передана Западному фронту. Брусиловский (Луцкий) успех справедливее было бы назвать полууспехом-полунеуспехом.

Тем временем Девятая армия заняла Надворную и Станиславов. Армия на растяжке в двести вёрст действовала в трёх направлениях против превосходящих австро-германских войск и при подавляющем огне их тяжёлой артиллерии. Да и погода не благоприятствовала: шли дожди, грунт размок; горная артиллерия отставала. И всё же армия Лечицкого неуклонно двигалась вперёд, под пулями поднимаясь на две-три горные вершины ежедневно.

В конце июля с Западного фронта в Девятую армию, в восемнадцатый корпус, была переведена 64-я пехотная дивизия, что немало значило для будущей фронтовой судьбы нашего героя.

А в августе 1916 года Румыния подписала с Россией конвенцию о военном выступлении, хотя два года было непонятно, к какой стороне примкнёт. За четыре месяца боёв на стороне Антанты румынская армия, вообще не отличавшаяся стойкостью, оказалась разгромленной до последнего полка, поверженной под корень, и почти вся страна была занята немцами. И пришлось России перебрасывать свои дивизии на помощь румынам и для защиты собственной южной границы: вступление Румынии в войну ухудшило положение России стратегически.

Брусилов в «Воспоминаниях» дал такую оценку военной деятельности в лето 1916 года наступавшего под его командованием Юго-западного фронта:

«1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот

фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания… Он выполнил данную ему задачу спасти Италию от разгрома и выхода её из войны и, кроме того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год.

2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт удара так и не нанёс, а Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с японской войны “терпение, терпение, терпение”. Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооружённой силой и не только не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником.

3. По тем средствам, которые имелись у Юго-западного фронта, он сделал всё, что мог, и большего выполнить был не в состоянии — я, по крайней мере, не мог. Если бы вместо меня был военный гений Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо грандиозное, но таких претензий у меня не было и быть не могло…»

Ещё командующий фронтом оспаривает утверждения своих недругов, порицающих его за отказ от главного — одного-единственного — прорыва, а наступавшего несколькими ударными группами.

Брусилов свои мысли подкрепляет весомым авторитетом с враждебной стороны — начальником германского Генерального штаба Людендорфом, строками из его невесёлых воспоминаний: «4 июня русские атаковали австро-венгерский фронт восточнее Луцка, у Тарнополя и непосредственно севернее Днестра. Атака начата была русскими без значительного превосходства сил. В районе Тарнополя граф фон Ботмер, вступивший после генерала фон Лизингена в командование юго-германской армией, начисто отбил русскую атаку, но в остальных двух районах русские одержали полный успех и глубоко прорвали австро-венгерский фронт. Но ещё хуже было то, что австро-венгерские войска проявили при этом столь слабую боеспособность, что положение Восточного фронта сразу стало исключительно серьёзным. Несмотря на то, что мы сами рассчитывали перейти в наступление, мы немедленно подготовили несколько дивизий для отправки на юг. Фронт генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского действовал в этих обстоятельствах таким же образом. Германское военное командование сделало на этих обоих фронтах большие позаимствования, а также подвезло дивизии с

запада. В то время сражение на Сомме ещё не началось. Австро-Венгрия постепенно прекратила наступление в Италии и также перебросила войска на Восточный фронт… Обстановка коренным образом изменилась. С началом сражения на Сомме и с выступлением Румынии она вскоре ещё раз должна была измениться не в нашу пользу…»

По-разному можно относиться к личности, военному дарованию и, наконец, малоуместному «революционерству» Брусилова, вынужденного (или по своей воле вздумавшего) одно время быть в пристяжных у военного министра Керенского, в котором не было ни на гран ни военного, ни министра, ни хотя бы честного заботника о России. Русский генералитет, в его патриотической части, враз забыл победы Брусилова, он мог ему простить даже поражения, но «братания» с внутренними врагами России простить не мог. Снесарев не принимал в Брусилове его армейское ораторство, его негативное отношение к Корнилову, Каледину, его не в меру широко разлитое скептическое отношение к «академикам» — выпускникам Императорской Николаевской академии Генерального штаба, некоторые черты его характера. И всё же именно Снесарева просил Брусилов незадолго до смерти разобраться в его бумагах, в его военно-творческом наследии, именно Снесарев вёл траурный митинг на похоронах Брусилова на Новодевичьем кладбище и именно Брусилов и Снесарев чекистскими верхами выставлялись как организаторы Русского национального союза, Русского монархического союза, Русского союза георгиевских кавалеров и т.д. и т.п.

8

В снесаревских письмах, в дневниковых записях, разумеется, чувствуется дыхание летнего наступления 1916 года. Да и всё, что волнует, радует, огорчает: и бедствия родины, и церковь, и семья, и воспитание малых и юных, и бедные сестры милосердия, и загубившие свою жизнь его друзья.

«…Был под всяческими огнями, какие только есть на свете», — пишет в конце мая, а через несколько дней, в начале июня, столь тяжелы его строки, словно он кладёт на картину густые, кровью пропитанные мазки: «…Мы много видим кругом трупов и крови, как мясники на городской бойне, мы шагаем спокойно по окровавленным полям, мы к этому постоянному кладбищу привыкли, но когда гибнут те, которые около нас близко, с которыми мы говорили и делились впечатлениями, то их смерть бьёт нас по нервам… она говорит, что могли мы пасть, а они

остаться».

В городке Зелена на реке Прут, остановясь на двухдневное проживание в запущенном барском домике возле церкви, дважды за два дня и подолгу беседует с баронессой Василько — родственницей сербских правителей Милана, Обреновичей. Когда-то богатая и знатная, теперь нищая. Обычная история. Имела замечательный голос, да знатные родители не дали взойти на сценические подмостки. Или смотрели на это как на плебейское, не аристократическое занятие, или ещё почему, но вышло, как у сестры Снесарева Клавдии, имевшей отменный голос, но… родственники перекрыли ей дорогу на сцену. Много говорили о сербах, и она, уверенная в провиденциальной предназначенности Сербии, как и России, с горечью, но и с пафосом, правда, едва заметным, несколько раз повторила, видать, давно выстраданное, что, мол, Сербия — небесная страна, и пушками, бомбами, револьверами ничего не решить.

Снесарев видел, что жители — австрийцы и венгры — боятся не одних казаков, а и сербов. «В Сербии в последние минуты её борьбы на сцену выступили малыши и женщины, вооружённые бомбами и револьверами. Последовали народная борьба, вызвавшая страшное ожесточение с обеих сторон, и мероприятия австрийцев, перешедшие всякий предел разума и человечности. Власти приказали “не щадить”, а разошедшаяся солдатчина стала насиловать и убивать беспощадно… получилась война “потусторонняя”, где тактика, месть и пьяный разгул переплелись в уродливую и страшную верёвку. А теперь австрийцы ждут мести и со страхом спрашивают, нет ли среди нас сербов».

Между тем в плен к русским попадают огромные массы, да ещё по лесам бродят тьмы и тьмы австрийцев и венгров, готовых сдаться. Но и русских в германском плену едва ли меньше. При компактности германской территории пленные — это проблема для Германии. Но ещё большая — для России, поскольку её организационные навыки далеко не так велики, как немецкие. Куда пленных девать? Где размещать? Даже обезоруженные, они вместе представляли грозную тлеющую силу, в любой миг готовую вспыхнуть. Побеждённые, они, находясь в России, стали временными победителями, как, например, белочехи: много пришлось натерпеться от них и красным, и белым, и невоюющим русским людям; так же и от мадьяр, и от австрийцев.

Судя по пленным, и до победы рукой подать. А она добывается прежде всего солдатской и офицерской отвагой и кровью. Пусть ещё не победа, но в любом случае военные — люди чести, веры и верности; разумеется, и фронтовой дружбы, самой бескорыстной на земле.

В тот июнь он не то что пишет, а начерчивает в письме к жене горделивые слова: «И думаю я: такие трогательные и высокие минуты дано переживать нам, военным людям, полагающим “души за други своя”, только нам, а не людям во фраках, может быть, более нас умным, развитым, но умеющим проливать только чернила…»

«…радость не потому, что белый крестик даёт мне преимущества — это дело преходящее, — а потому, что он включает меня в семью храбрых; самая аристократическая семья, которую я только могу представить и о которой в душе я давно мечтал. Аристократизм есть разный: по происхождению (дворяне…), по уму (учёные…), по дарованию и таланту (артисты, художники…), по золоту (миллиардеры, богачи…) и т.д. — всё это аристократизм почтенный, заслуживающий внимания, но меня гораздо более трогает аристократизм по другому признаку — по храбрости, по способности в нужные минуты “положить жизнь свою за други своя”…» — напишет Андрей Евгеньевич год с лишним спустя.

Лето жаркое, жара страшная. Недели сражений чередуются с неделями затиший. Не хочется даже читать. Снесарев отмечает: «После двухмесячного перерыва сели играть в карты, но я весь извёлся: то мне казалось, что думают слишком долго, то жара томила, то изводили трубокуры…»(Карты — слабость Снесарева, разумеется, это не рулетка Достоевского, но было нечто сближающее их и здесь; главное же, изначально — оба военные, один — имевший военно-инженерное образование, другой — однажды надеявшийся его иметь; оба — мыслители, православные государственники.)

9

В июле пришел Высочайший приказ о награждении Снесарева орденом Святого Георгия за прошлогодний декабрьский бой у Посада-Работыцка. Но нерасплесканно-полной радости не было, может, из-за несколько формальной и усечённой оценки Государственной думой подвига его полка, ни мало ни много восстановившего блокаду Перемышля: «…забыто сказать, что мой 3-батальонный полк бросился на целую мадьярскую дивизию, т.е. на 4 полка… Конечно, я получил награду, и значит, мой подвиг награждён, но полк теряет». Но более всего его огорчает невнимание именно полка, вернее полкового начальства. Он получил поздравления от выпускников Московского университета и Академии Генштаба, близких сослуживцев, и только в последнюю очередь — от родного полка: «…Почему так поздно,

да и не так удачно… В полку, по-видимому, началась переоценка ценностей: пошли вверх люди недостойные и вообще некрупные, в опалу попали люди большие, мужественные и надёжные. Очевидно, режим выдвинул людей, умеющих подогнуться и ответить мягким да…»

(Что поделать, так по всей стране, да и во всём мире, да и во все времена.)

10

За несколько дней до 22 июня 1916 года — трагического, пораженческого дня его дивизии — Снесарев, ничему, казалось бы, на войне уже не привыкший удивляться, удивляется массе пленных: австрийцев, мадьяр, чехов. Непроизвольно думает о товарище-враге Салагаре, с которым они определяли пояс границы, хлопоча и споря иногда из-за полуверсты. «Теперь придётся отдать огромные площади! — восклицает он, не называя, но подразумевая, кому отойдут эти площади, словно на миг забывая роковые превратности войны и мира, движущие ими иррациональные, а подчас и человечески-притаённые, закулисные силы, но тут же и выравнивая своё суждение, отмечая им уровень всесильного и непредсказуемого: — Так сильна и велика война по её влиянию на судьбы народов и царств: в мирное время спорят с пеной у рта из-за пустяка, клочка земли, а пришла война и всё смела, нивелировала, перевернула вверх дном старые порядки, права и собственности и всё сделала по-своему… на всё наложила могучую печать своей силы и власти».

Но вот 22 июня, в будущей войне роковой первый день, а здесь роковой для дивизии, в которой Снесарев — начальник штаба. Деревня Зивачув — какое невнятное, зевательно-чавкающее, вязкое название! Что же случилось? Ханжин из дивизии ушёл. Прискакал генерал Вирановский, ухватливый, имеющий смутное представление о чести, не лишённый остроумия, нравящийся женщинам и даже молодым офицерам, поскольку позволял вольности, на войне неуместные. За командование сугубо стрелковыми частями, а также лёгкость нрава и нацеленность на женщин прозван Стрелком. Но против австрийцев он оказался стрелком никудышным. Ханжин бы не дал погубить дивизию. А Стрелок…

И вот осмысление всего случившегося в дневниковых записях за последнюю треть августа. Снесарев находился на холме у деревни Герасимув, близ шоссе. Бой начался с утра, а потерю его пульса начальник штаба почувствовал в полдень. Австрийцы перебарывают и огнём, и тактикой. Тогда он отправляется в 45-й

полк, на себя принимающий главный удар. Наблюдательный пункт командира полка полуразрушен и деморализован. Много убитых. Погибли почти все офицеры. Перебиты телефонисты, связь потеряна. Командир полка в крайнем удручении: осталась треть полка, ослабленная духом и сердцами, с кем наступать, а тут начальствующие крикуны на безопасном отдалении приказывают атаковать и непременно взять Зивачув и высоту 353. «Что же? Взять так взять. Поднялись… и умерли».

А ведь не надо было носить генеральских звёзд, не надо было дослуживаться до командира корпуса и начальника дивизии, чтобы упредить поражение, видимое даже невоенному человеку: если дивизия заступает на позицию в ночь, а утром ей приказано атаковать, можно ли ожидать чего-то победного? Разве не разумнее было дать осмотреться, почувствовать почву и дух местности, разузнать, что такое этот Зивачув, разузнать, сколько австрийских солдат и пушек, где им выгоднее всего наступать и отступать.

«…Что же должен был делать начальник дивизии? Или просить два дня для осмотра, или требовать обстановки. Ни то ни другое сделано не было… и дивизия легла.

…Начинают подыскивать стрелочника… А почему бы не съехаться в штаб корпуса, обсудить, сделать искренний вывод и иметь мужество послать его дальше: была неудача, но на ней учимся, чтобы избежать повторения таковых в будущем… И во всём этом вновь не видно военного воспитания…

…Моя белая страница, мне нечего сегодня занести на твоё поле. Душа моя суха, и кто её высушил, не знаю…»

Было отчего душе быть сухой! Он, берёгший солдата, видел, как по приказу свыше ложились они снопами в несчастном бою у Зивачува. Несчастный день — 22 июня. А ещё недавно, 28 мая, был славный бой, которым руководил Снесарев и за который новоявленный начальник дивизии Георгий Николаевич Вирановский, увиденный сослуживцами как Стрелок, а Снесаревым как «пустобрёх, фантазёр и трус», ловко получит орден Святого Георгия.

Поучительный июньский бой вызвал сгусток переживаний и камнепад мыслей. Ясно было: «После войны должна появиться целая литература и притом столь сложная, нервная и противоречивая, что в истине не нам суждено будет разобраться. Ещё вопрос, разберётся ли поколение наших сыновей, которое выступит на сцену мыслителей, толкователей и дирижёров не ранее как через 25 лет».

В июле Снесареву предлагают штаб особого корпуса, в котором корпусный командир — Зайончковский. Дал согласие. А пока ждал нового назначения, в дивизию пожаловали японцы: из Генерального штаба генерал-лейтенант Масатиро Фукуда, полковник Исазака, главный атташе при Ставке полковник Одигири, военный агент в Петрограде капитан 1-го ранга Арая, капитан Ямамото и подполковник Йеда. С ними флигель-адъютант граф Замойский и ещё несколько сопровождающих. Побывали на наблюдательном пункте, возвратясь, отменно отобедали. Начальник дивизии Вирановский — большой дока привечать гостей. Вина как воды в Японском море. Но гости пьют, а ума не теряют. Спрашивают по делу, отвечают по существу.

У Ямамото — орден Сокола, по значению равный ордену Святого Георгия. Ордену сопутствует легенда: в незапамятные времена микадо на войне заблудился с большим войском так, что, казалось, уже и не выбраться из враждебных горных теснин. И тут на дереве увидели сокола. Тот взлетел и полетел тихо, оставляя за собой, словно розоватый пояс, ясно видимый след, за которым войско и проследовало. Выйдя на удобное для битвы холмистое поле, столкнулось там с врагом и победило его. Так что орден дают тем, кто идёт в бой впереди и ведёт за ним ступающих к победе. «Легенда восходящего народа», как выразился Снесарев. Он же сразу почувствовал уровень японской гостевой делегации: «Все шесть — люди серьёзные. По некоторым брошенным фразам Фукуды видно, что военное дело понимают в корень… Воевать с ними, конечно, будем, но в голову или после англичан, вот в чём вопрос?»

Положим, с англичанами нам пришлось воевать все последние века, причём лишь однажды, в Крымской кампании, явно, а обычно Англия воевала и побарывала своими дипломатами и эмиссарами, своими заговорами, комбинациями и коалициями, своими сверхприбылями, поступавшими со всех концов угнетённого света. А вот над Японией, над бедной страной, уже сгоравшей от радиоактивного дождя американских атомных бомб, триумф выдастся полный: в сорок пятом советские войска в две недели проутюжат Маньчжурию, у сопок которой истечёт кровью Квантунская армия, как сорок лет назад армия русская.

12

«…Природа проще, справедливее и гуманнее; в её целях и средствах всегда много милосердия и снисходительности… — утверждается в такой мысли и в таком настроении муж в письме

жене от 23 июля 1916 года. — Я поворачиваю голову на пережитое мною на войне, на всё её окружающее, на её лицевую и обратную стороны, и тогда думы становятся сложными, запутанными и пугливыми, заключения подходят робко, и я, как старый богатырь земли русской, чувствую себя на роковом перепутье: “направо поедешь — сам погибнешь, налево поедешь — конь погибнет”. Но налетит ветер, освежит моё лицо и спугнёт, как стаю птиц, мои тревожные думы; я оглядываюсь вокруг: проглянул луч солнца, зеленей взглянула мне в глаза зелёная каёмка лесов, поплыл, словно аэроплан, аист… Бог с ними, с думами! За всех не передумаешь, и слёз людских, слёз грешного мира не вытрешь; у меня есть моя маленькая жёнка, думающая обо мне, моя маленькая троица, и с меня довольно, если я сделаю их счастливыми по силе моей воли и разумения».

Он не раз думал об этом: слёзы грешного мира не осушишь. Но он всегда помнил Достоевского с его слезинкой ребёнка. И снова, как только ранился о чью-то гибель, внутренне плакал. Какое беспощадное ко всем время! Он понимал что и сильных людей сламывает, и крепкие узы разрывает, а когда на слабых давят — тут уж на долгие годы благочестного не жди. Вот и жене пишет про Григоровых. Как-никак друзья по Ташкенту, по Петербургу. «У Григоровых, конечно, супружеского благополучия ожидать трудно, особенно теперь, в войну, когда всё трещит: государства, народы… что такое семьи, по сравнению с этими группами… Теперь война, вынужденная жизнь врозь, когда только нравственные узы ещё могут держаться, а другие… могут потухнуть, как огонь без дров. Сколько слышишь разных вещей, неожиданных, грандиозных по сложности и драматизму… даже Пенелопам начинает надоедать ожидание своих одиссеев… Чувству чуждо расставание, пространство губит всякое чувство…»

Между тем некая раздвоенность подстерегает даже такого цельного человека, как Снесарев. Он редко сомневался, где ему быть в час войны. Разумеется, на фронтовой полосе, в окопе, на поле битвы! Но вот в письме от 8 августа 1916 года просвечивают оттенки, не совсем привычные, даже совсем непривычные для его ясного взгляда: «Во имя идеи, во имя великой борьбы, переживаемой миром, я хотел бы быть здесь, но у меня много данных сомневаться, что от меня возьмут то, что я могу дать… Опыт (и не меня лишь касающийся) показывает, что силы — мозговые и нервные — применяются не всегда целесообразно, иногда совсем не применяются, часто вкривь и вкось. Конечно, война — дело сложное, в большинстве своих форм — совершенно новое, все мы на ней учимся, пробуем, гадаем… я это допускаю и мирюсь с этим. И тем не менее неудачное или случайное

использование военно-интеллигентного материала меня прямо смущает. В мирное время я объяснил бы это протекцией или кумовством, а в военное время мне стыдно прибегать к такому объяснению… слишком уж это непригодно для лика великой войны. А отсюда я уже не так нервно цепляюсь за окопы, как прежде, а куда мне хочется приклонить мою головушку, я не знаю…»

В этом же письме упоминается про места на Хопре и Бузулуке, о которых Снесарев не раз слышал, что они красивы и богаты, много лесов и рыбы; по всей видимости, семья начинала подумывать, где бы можно было переждать хотя бы в относительном спокойстве и довольстве подступавшие времена. Ибо через пару недель в снесаревской строке снова некий географический причал: «…осень часто на Дону бывает лучше всяких сезонов… осень с её фруктами, арбузами, виноградом».

Ora et labora. Bellum et labora. Работа и молитва. Война и молитва.

«С утра я пошёл Богу молиться и молился с таким настроением — полным и приподнятым, как давно не молился, — сообщает жене в письме от 16 августа 1916 года. — Теперь я командую временно дивизией… Пели певчие головного полка… и я вместе с этими серыми, ходящими пред ликом смерти людьми молился Создателю мира с чувством глубокой веры и признательности… Батюшка сказал короткую, но хорошую проповедь и окончательно меня растрогал. Тема её: Богородица — покров всех, к ней идущих со смиренным и чистым сердцем. Будьте чисты: щадите храмы, кому бы в них ни поклонялись, воюйте со врагом, неся ему в сердце меч, а не с жёнами и детьми, которые встречаются на вашем пути и выносят все невзгоды войны…»

Война полыхает, уходят из жизни воины, и часто — друзья, близкие, товарищи. Полк за последние бои потерял многих: кто ранен, кто вовсе убит. Гибель Тринёва особенно тяжёлым камнем легла на сердце. Земляк, спорщик, фронтовой друг, предчувствовавший и не раз, когда потерял двоих друзей, повторявший, что будет убит. Веря в своё предчувствие, стал сторожек, даже робок. Имея целый расклад наград, всё хлопотал и торопился получить орден Святого Георгия, к которому был представлен Снесаревым, после гибели Тринёва грустно вопрошавшим: «…Зачем была эта суета, это беспокойство о земных украшениях, когда его подкарауливала смерть?»

Снесарев, сознавая бессилие своё и мира, не раз повторял грустную сентенцию о том, что, мол, всех слёз людских не вытрешь, но слёзы эти, сиротство мира, разруха мира всё время

отзывались в его сердце саднящей болью. Человеческой растерянностью и пониманием неизбежности многого, что на земле происходит, дышит письмо жене от 21 августа 1916 года: «Кругом нас, куда ни придём, бабы, дети и старики, мужчин нет, словно их вымели веником. Нужда кругом большая; если бы не наши солдаты, население умирало бы с голоду. Грустно видеть, как эта тяжкая нужда всё выбивает в человеке — нравственное, стыдливое, возвышенное… Война, при всем её суровом величии и необъятности размаха, — во многих своих углах жестокая кровавая драма, особенно там, где она бьёт мимоходом посторонних. Эти посторонние, забитые чёрным крылом войны, — одно из тягостных её явлений; в минуты раздумий они встают предо мною как живые и просят меня ответить им: “Зачем, что они сделали?..” Ребёнок с простреленными ногами, принесённый в лазарет… крестьянин, убитый на улице и свалившийся в канаву с окаменелым недоумением на лице, корова, валяющаяся около пруда с вывороченными внутренностями, беременная баба, убитая пулемётом с аэроплана, аист, поражённый прямо в сердце и уже мертвецом планирующий к земле… И сколько их, и зачем они? Я знаю некоторых людей, храбрых и бодро смотрящих в лицо смерти, которые уверенно говорят, что после войны они ни секунды не останутся в рядах войска. Я их понимаю, этих жалостливых людей, хотя очень плохих философов. Я сам очень много страдаю с моей жалостливостью от многих картин, но остаюсь при вере, что война и великое дело, и дело неизбежное. Ибо иначе пришлось бы категорически осудить мыслительный аппарат человечества, не сумевший вычеркнуть войну из своего мирового обихода. В том-то и дело, что война влита в существо нашего мира как один из величайших факторов юридического, экономического и нравственного характера».

Часто размышляя о войне, Снесарев и его друзья-сослуживцы сходились на том, что она никогда не сдастся, не закончится, не уйдёт, а «будет ещё злее, открытее, жгучее».

13

Вторую половину августа 1916 года Снесарев проводит в Яремезе, удаётся побывать и в недалёкой Ямне. Чудесные карпатские уголки для влюблённых, для поэтов, для философов… места божественные, на вечное загляденье. Австрийцы называют их едва не лучшими в Европе. Во всяком случае, сюда любят приезжать на отдых даже швейцарцы, которых, казалось бы, никакими красотами природы не удивить. Глубокая живописная долина, по горным скосам — хвойные, лиственные леса,

хрустальные снопы водопадов, луговые цветные скатёрки. Через Прут перекинут арочный железнодорожный мост, словно бы пришелец из другого мира. И хотя ниже мост для телег, ещё ниже мост для пешеходов, но, кажется, что человеческая жизнь выпадает здесь редким и издалека счастливцам как праздник на краткий срок, а обычной человеческой жизни здесь вовсе и нет. Но она есть и движется под диктовку войны. Ходят по горным тропам старики, старухи, совсем малые дети. А чаще одинокие женщины и полудевушки-полудети.

«Они выпрашивают хлеб, за ягоды ли (малина), за проданную ли любовь. “Что тебе нужно?” — спрашивает солдат девушку после жарких поцелуев. “Хлеба”, — отвечает почти ребёнок, уже без стеснения оправляя свой костюм…» — беспомощно замечает Снесарев, понимающий, сколько гибнет здесь любви, которая в другие времена могла бы стать нравственным, лирическим образцом целого народа.

14

Последнюю неделю августа Снесареву выпало провести в Кавказской дивизии, возглавлял которую генерал-лейтенант Хельмицкий. Дивизия располагалась в округе Зелены, полки: Екатеринодарский (Кубанский), Осетинский, Кизляро-Гребенский Его Величества и Дагестанский. Что называется, с первого взгляда и слова сдружились с подполковником Хандиевым, командиром Дагестанского полка.

Дневниковые записи тех дней свидетельствуют о коротко выдавшемся отдыхе в прелестном уголке земного шара. «Живу в охотничьем доме в глубокой зелёной и красивой долине с командиром одного кавалерийского кавказского полка, начинаю понемногу практиковать… по-кумыкски (наречье тюркское), живём на чёрном хлебе, а с сегодняшнего дня начинаем наслаждаться шашлыком: ребята у противника сбарантовали барана…» Далее пишет, что его товарищи — офицеры разной крови: осетины, ингуши, аварцы, что их душевным разговорам нет конца и что как странно было услышать ему в лесистой глуши зурну и увидеть танец дагестанцев — танец, которым нельзя было не залюбоваться, ибо он весь шёл от сердца и столь жарок, экспрессивен, что даже сосновый лес словно бы слушал и посмеивался над человеческим неугомоном. Интересные люди. Интересные обычаи. Живое чувство родного корня. Один осетин знает едва ли не всех единокровников, воюющих в Карпатах. Грустно было расставаться с кавказцами, с которыми надёжно было рассуждать, быстро приходя к согласию, о воинской чести, о

храбрых и трусливых, о том, что ловкоудачливые и шумливо похваляющиеся «трын-чики мирного времени», в бою обычно трусливы и слабы, а храбры чаще всего люди скромные, спокойные, подчас простоватые; почти всегда храбры спортсмены…

«Командующий полком (аварец) подавал мне пальто, что вначале меня стесняло, но скоро я заметил, что это у них в старом обычае — почитать старших и начальников… Оригинально, что командующий полком (аварец, сын переводчика при пленном Шамиле, магометанин) любит иронизировать над крайним фанатизмом некоторых из магометан по поводу свинины, обрядности и т.п., точь-в-точь как у нас передовая молодёжь любит пошутить относительно некоторых обрядов и верований. Расстались мы очень трогательно и сердечно. Они кормили меня пять дней, и я просил адъютанта моего позондировать почву, не должны ли мы им. Получилась забавная сцена. Аварский офицер громко рассмеялся, находя шутку моего адъютанта очень забавной, но когда тот повторил, то аварец открыл глаза и заявил решительным тоном: “Довольно, а то я обижусь…” Да, у них это ясно».

Вот и Россия воюющая. Русские, осетины, аварцы, ингуши и десятки других больших и малых народов. Были инородческие области, освобождённые от воинской повинности, хотя и среди них объявлялись в немалом числе добровольцы; были, разумеется, и не желавшие воевать, убегавшие с фронта, а если и остававшиеся на войне, то подальше от передовой, богатевшие на войне, на крови, на страданиях других. И всё же не ими определялись дух и погода на войне, и если и уместно слово «россияне», то более всего здесь, на необозримом фронтовом поле.

Снесарев хорошо знал мусульманский мир, но более среднеазиатский, а Кавказ, воспетый его любимыми поэтами, сильно и мужественно открывался через нечаянно встреченных им фронтовиков-кавказцев, и он не прочь был заняться кавказскими языками и сожалел, что его пребывание в среде сынов Кавказа оказалось непродолжительным.

В последний день августа Снесарев, как это он любил делать и прежде, пустынной горной тропой, даже вовсе истаявшей, взобрался на самый пик высокой сопки, оттуда открывались зелёные, манящие дали дальние, зубчатые стены синеватых лесов, горные пропасти, речки, водопады. Взбираться в такую высь человеку за пятьдесят — не прогулочная пробежка по ровнолежащему приусадебному парку, но разве не он благодарно воскликнул: «Как часто я буду чувствовать благо того, что я

никогда не пил и не курил… иду, как коза, никто за мной не угонится». Он долго стоял, потом сидел на поваленном буке, думая примирённо-грустно, благодарный Богу за отца и мать, за сестёр, за жену и детей, за все большие и малые радости, которыми одарила судьба.

Спускался той же тропинкой, кругом первозданный лес, и вдруг увидел брошенный закопчённый котёл, сундук и вразброс мадьярские газеты. Из тех газет, которые на любых языках непременно что-нибудь да врут и будут врать до скончания века.

Грустно-умиротворённому состоянию Снесарева вполне соответствовало меланхолическое двустрочие Шиллера, которое он, спускаясь вниз, повторял и повторял:

Юноша в море стремится на тысяче суден,

На утлой ладье возвращается в гавань старик.

В ту же ночь ему приснилось, что его взяли в плен, и он проснулся весь в ледяном поту. Он не мог себя представить пленником, хотя не раз бывал в шаге от этого. (Русский страх плена. Жажда бежать даже от почётного плена. Может, начиная с князя Игоря Новгород-Северского, может, и раньше. Сколько их в Первой и Второй мировых войнах? И фамилии не последние: Корнилов, Тухачевский, Карбышев… Иные, чтоб не попасть в плен, стрелялись — Самсонов… Иные — из плена в плен по нескольку раз.)

15

Фронтовая жизнь. И рассказ о ней в письмах жене. И взгляд на неё через запись дневника. Снесарев словно бы проходит три круга. В них — одно время, одна территория, но они отнюдь не одинаковые, не обручи одного диаметра, они — просто об одном, и прочитав письма жене в бытность его начальником штаба дивизии, и читая дневниковые записи тех же месяцев, видишь различие явственно. В письмах — душевное настроение, лирическое переживание. В дневнике — теоретическое видение, размышление, афористические штрихи военного поля, времени, события, оценка событийного военным мыслителем. Снесарев знал и штаб, знал и строй, и, конечно, если бы всё то, что он знал, о чём частично сказал в дневниках, письмах, статьях, военных трудах, выдано было некоей обобщающей книгой, такая книга могла стать настольной для военных. Малая толика из дневниковых записей за летние месяцы 1916 года словно бы страница той пока не осуществлённой книги:

«…Стратегия, не есть ли это политика, приправленная оружием. Может быть, на время войны стратегия над политикой,

а последняя ей помогает… Есть перелом (момент), за которым начинается победа. Перелом этот вызывается угнетением духа (паникой, страхом, волнением) одной стороны…

…Начали мы маневрировать, и оно нам не даётся: разрываемся, упускаем противника, атакуем поодиночке, выдаём друг друга, не верим, врём и т.п. Что тут больше: тактической ли неготовности или отсутствия воспитания? Для сильной и дружной тактики нужно воспитание: 1) чувства товарищеского долга; 2) чувства гражданственности или общего дела; 3) чувства правдивости; 4) гражданского мужества…

…Штаб — одно, строй — другое, чаще взаимные, подстерегающие друг друга враги… Один — у бумаги, другой — у огня… И вновь — воспитание…

…Правильно: быть на объективном месте, но внушать людям, что не прочь посмотреть на них в окопах… когда это не повредит делу управления… “Посещение” должно исходить из нравственных соображений, чтобы солдат почувствовал, что в страшную минуту паники и огня начальник может явиться среди них… И опять всё сводится к недостатку в военном воспитании…

…Всякий начальник должен иметь в виду: что, всё подготовив (довольно шаблонно) и выпустив части, он может каждую минуту спуститься с трона своего наблюдательного пункта в борющуюся, нервную, может быть, изнемогающую массу его дивизии и помочь ей личным присутствием, словом, примером, может быть, готовностью вместе умереть…

…Наша армия представляет в большинстве своих членов того сына евангельской притчи, который сказал отцу, что идёт работать и… не пошёл. Наша система военного воспитания растит и ширит такой тип, растит, практикуя хамство, капризность, беспринципность. В результате затурканный человек, как в древности пытаемый, смотрит в глаза своему “палачу” и старается прочесть, что тому угодно, чтобы так и сделать… И есть какой-то дьявольский “закон”, что воспитанный в таких ежовых рукавицах начальник, сделавшись старшим, забывает тягость и гнёт системы (в своё время он её критиковал) и неизменно надевает сам ежовые рукавицы… И идёт система беличьим колесом, без изменений и улучшений…

…Между картой и природой много разницы, и надо сначала изучить природу, а потом смотреть карту.

…Подготовка боя состоит из рекогносцировки (блуждание начальника возле будущих боевых мест, близкое их обозрение, общение с бойцами, впитывание их духа и т.п.) и отдачи распоряжений, вытекающих из задачи, данной свыше, и обстановки, данной сниже… Начальнику надо всё это выполнить:

без первой будет пропасть и теория (голая), без второй — будет толпа, безорганизованность.

…Между приказанием и исполнением — пропасть.

…Редкие люди мыслят идеями или определёнными ранее созданными понятиями; большинство мыслят настроениями (о них спорят, ломают копья)…

…На войне есть часть боевая (огневая) и часть административно-хозяйственная. Во второй лошадь должна быть чиста и накормлена, телега цела, прибыть вовремя и куда нужно — точно, строго, неизменно. На пути — лень, забывчивость, слабость и т.д. Всё должна побороть дисциплина… Но в боевой… дисциплины недостаточно, нужно что-то иное: постоянное (воспитание, убеждение, организация, предусмотрение) и моментальное — личное влияние, пример, риск, огненное слово, шутка… Вот та демаркационная линия, которая отделяет огневую тактику от прочих…»

Предусмотрение, упреждение, указание для последующих поколений — эти понятия терминологически политической и военной направленности Снесарев наполнил такими рассуждениями, размышлениями, пророческими заглядами в будущее, что они стали поистине «снесаревскими». И его мысли об Антанте, Афганистане, судьбах России, будущем доминировании (не вечном) англо-саксонского мира, грядущем восхождении Востока предусмотрительны, упредительны, указательны настолько, что невольно думаешь: вот рядом с нами человек с панорамным и безошибочным видением происшедшего на избыве двадцатого века, происходящего в начале двадцать первого, и его оценки текущего звучат с точностью почти математической.

Картины войны столь подчас удручающи, что генерал словно забывает напрочь об огневой тактике, о теоретических и практических началах и концах войны и битвы и прибегает к слогу, совмещающему и информационное, и лирическое. Последующие из Хомякува, Иванюковки и близ Хорохолина августовские записи уходят от аналитического абриса фронтовой мысли и обстановки, в них выступает душевное состояние — чаще сожалеющее, минорно-лирическое:

…Какой кругом простор: холмы, зелень, перелески… Думаешь над тем, как было бы хорошо, если бы тело так же долго оставалось юным и восприимчивым, как и душа… а без него она так же дряхла и вяла, как и тело… Как мы, ходящие вокруг смерти, привыкаем и к ней и к мысли о ней. Одна сестра расставалась с офицером и спокойно договаривалась: “Будешь убит, и я покончу с собою”. Он спокойно: “Только проверив

слух… не торопись. А если буду ранен, то жди результата". Как будто разговор идёт об уплате рублёвого долга…

…Передумаешь, ходя без конца, вспомнишь друзей и недругов, тех, что любил, и тех, что на любовь ответили злобой и насмешкой, и, наконец, тех, что тебя любили и которых ты оттолкнул… Зачем, ты не скажешь, хотя по натуре добр и страшно жалостлив… Эти в тумане, казалось, лежали на той тропинке, по которой ты ходишь, смотрели на тебя грустно и ёжились от боли, когда ты переступал чрез них…»

(Снова и снова возвращался к мысли, что взаимные отношения таят роковые последствия, что если они весомы даже на такой предельно испытательной войне, значит когда-нибудь и война, и страна окажутся перед катастрофой. Надо, надо глубоко, неопровержимо написать об этих взаимных отношениях, коль от них — едва не половина наших потерь.)

16

1 сентября 1916 года целый день моросит дождь. На фронтовой полосе — затишье. Погода — кому водку пить, кому читать, но под дождь, сыпкий, затяжной дождь, никому не хочется покидать кров, какой бы он ни был. В этот день и за два предыдущих Снесарев прочитал и приложение к «Ниве» за 1913 год, и слабое сочинение про доктора Фаустуса, и более значительное — про древний библейский мир… а вокруг — война.

И всю ночь ему не спится. Не одна такая ночь, мысленно и шутливо прозванная им «философской», выпадет ему в жизни, когда он меньше чем за полсуток передумает о разном до бесконечности: что было в его жизни и жизни мира, что могло бы быть, что будет.

1 сентября его предки праздновали Новый год. Разумеется, иначе, чем в послепетровские времена, когда главной княгиней праздника стала сосна. Сколько их на Карпатах, сколько сосновых домовин опущено в могильные ямы! Два года длится война, или две тысячи лет, или двадцать тысяч лет, или сколько их там у человечества? Он бы мог понять пацифистов, каковыми были Кант, Вольтер, Толстой, но не мог принять их вневременные, внепространственные мировзывающие абстракции. Ибо действительность — война всех против всех. Хищных против мирных. Сильных против слабых. Слабых против сильных. Война-нападение. Война-защита. Он — защитник Отечества, его Отечество не объявляло этой войны, и он воюет, сражается, обороняется — и так будет — до последней пяди, до последней

капли крови.

А возглашать, словесно ополчаться против войны — всё равно что размахивать картонным мечом перед водопадом в попытке прекратить его гулкий обвал или тем же мечом размахивать перед огненной лавой вулкана.

«ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО» — ПЕРСТ, УКАЗУЮЩИЙ НА ВЕНУ. 1916

Девятая армия, восемнадцатый корпус. 64-я дивизия — одна из самых крупных в корпусе и армии. С сентября по декабрь 1916 года, четыре месяца Снесарев возглавляет эту дивизию: временно исполняет обязанности её начальника. Корпус медленно наступает в Лесистых Карпатах, мрачных, диких, почти неприступных. Приходится брать одну вершину за другой, карабкаясь без дорог, под проливным дождём, под снегом, часто без орудийной поддержки, почти всегда без горячей пищи, отбиваясь к тому же от весьма энергичных германских контратак.

Названия мест, где приостановилась дивизия, поэтические: Молдава, Конский завод Лучина. На этом поэзия кончалась: дивизия выдалась на редкость трудной. Десять тысяч штыков, а числилось вдвое больше, «между списочным составом и штыковой действительностью пропасть» обнаружил новый начальник. Куда подевались, куда разбрелись остальные, как их собрать? Завершал командование дивизией больной и старый генерал Жданко, действительно ждавший более спокойной, мирной жизни. В дивизии «всё брело, как могло», «не было видно общей руки».

Что может значить одна дивизия для всей страны? Снесарев хорошо помнил незначительную по меркам шедшей Первой мировой войны схватку более чем столетней давности австрийцев и французов у итальянского городка Маренго, когда именно дивизия генерала Дезе, подоспевшая вовремя, переборола австрийцев, спасла, казалось, уже проигранное Наполеоном сражение. Дезе погиб, а Наполеон с того дня зашагал к вершинам славы.

Через полтора месяца — сильные и победные бои дивизии, интенсивно подготовленной новым командиром, у реки Золотая Быстрица, Кирлибабы, «Орлиного гнезда». Представлен к ордену Святого Георгия третьей степени и через восемь месяцев увенчан им.

1

Армейская страда, штабная и окопная, хозяйственная и боевая. В письмах, дневниковых записях — жизнь и смерть, благодарность милостям судьбы (радуется тому, что Корнилову «удалось выскочить из плена»), родина и семья и, конечно же,

заботы и мысли по управлению дивизией. Привычные и всё же новые — дивизионные — будни…

«Моя дивизия 64-я, — пишет он в письме от 13 сентября 1916 года, — пробивает дорогу к Кирлибабе; полки в ней: 253-й Перекопский, 254-й Николаевский, 255-й Аккерманский и 256-й Елисаветградский… Кроме моих четырёх полков в состав дивизии входит ещё один полк (Молодеченский), много артиллерии, два партизанских отряда, казачья сотня и т.п. Так смотри, моя золотая, на карте Кирлибабу, под которой полукругом сидит дивизия, а я со штабом от нее в 8 верстах; а по шоссе Молдава — Селетин раскинуты мои тыловые учреждения».

Ему, взявшись за переделки и поправки, действительно приходится вертеться белкой в колесе: «всё надо починять, везде поднимать, ломать, учить…» Посещать артбатареи, тыловые части, лазареты, перевязочные отряды, бывать в обозах, до всего доглядывая: от коломази и упряжи до коней и тыловых подчинённых. Внимательно осмотреть конный парк — в дивизии девять тысяч лошадей. Но прежде всего — окопы. И он бывает в них каждодневно, поначалу вызывая у солдат удивление и недоумение: генералы, разве что чудаки, разве что не до конца генералы, в окопы к ним обычно не заглядывают. Тем более в секреты — дозоры, совсем близкие к вражеским траншеям. Но скоро удивление сменяется уважением — солдаты начинают понимать, что такой командир, который уже успел их хорошо одеть и накормить, сумеет о них позаботиться во всём, и в бою их сберечь, а коль выпадет им густо погибать, то и он себя не побережёт.

Считает для себя непременным бывать на праздниках полков и, разумеется, на конфессиональных праздниках. В один из сентябрьских дней он присутствовал на мусульманском празднике, и ему было умиротворённо видеть, как верующие солдаты-мусульмане с Волги и Урала, на большой поляне обращенные к Мекке, «положив под ноги шинели… молились жарко, как молятся люди, соскучившиеся по молитве». Ему радостно было накормить их праздничным обедом, поблагодарить за службу, выслушать благодарность муллы и татар-офицеров.

Улучив свободный час, любит побродить окрестными полями и горными лесами, нарвать и послать жене осенних цветов — «последний вздох зелёных полей, последний привет холодеющих Карпат».

Полки, да ещё артиллерийский дивизион, сапёрные роты, перевязочные отряды, транспорты, хлебопекарни, воздухоплавательная рота, обоз… Всего более 30 тысяч человек.

Едва не половину из окопных бойцов ещё найти надо, вернуть, ежели они живы и возвратимы, или, в противном случае, исключить из списков полков, чтоб никого не вводили в заблуждение «бумажные» батальоны. Начальник дивизии считал эту трудную поисковую работу первостепенно необходимой, прекрасно зная, что «можно перейти на войну с бумажными единицами… и проиграть дело», как то случилось с французами во Франко-прусской войне 1870 года.

Вскоре начальник дивизии собрал всех командиров полков. Были разобраны штатный, списочный и наличный составы полков, подготовлены соответствующие действительности списки дивизии, и тут же был издан давно необходимый приказ.

Без затяжки в дивизию «нагрянул» командующий армией генерал Лечицкии, осмотрел Елисаветградскии полк. Снесарев слыхивал про него не самое лучшее, мол, сух, строг и всегда ругается… Умные и порядочные люди сразу чувствуют сильные стороны друг друга, Лечицкии и Снесарев за каких-нибудь полдня прониклись взаимной симпатией.

Признание комдива в письме от 21 сентября 1916 года: «… Вчера он был и поразил всех своим “новым” и “необычным” поведением. До сих пор это была гроза, да ещё сухая (как мне говорили, может быть, и привирая), но я его нашёл спокойным, замечания делающим спокойным и достойным тоном, обращающим внимание на вещи, действительно заслуживающие внимания и подталкивания, а часто даже приветливым… Осмотрев полк, командующий остался, по-видимому, очень доволен и чувствовал себя всюду очень уютно и весело. И я это понимаю. Мысль послать в дивизию меня для коренного лечения принадлежит ему, и теперь он видел, что лечение началось и ведётся и что есть уже признаки начинающегося выздоровления. Конечно, и корпусный командир немало наговорил ему про мои посещения окопов, даже секретов, про моё постоянное нахождение под огнём, что в своё время корпусного командира (как я слышал) приводило в восторг. Да и сам командующий куда ни обращался его взор видел печать моего труда: в окопах, в резерве, на батареях, в тылу».

Вынесенное комдивом впечатление: прост, деловит, разумен… — не расходилось с мнениями высоких сослуживцев. Генерал Зайонч-ковский о Лечицком: «Человек с железной волей, выжимавший от войск на войне всё, что только они могли дать». Генерал Саввич: «Знаю его три с половиной года. Кроме военной службы, нет никаких интересов. Никому не сделал зла. Въехал в его армию и вижу, что она особенная: видны на всём труд, мысль и дисциплина». Стоящий над ними по служебной лестнице

генерал Брусилов в своих мемуарах высоко отзывается о Лечицком: по душе ему был наступательный дух человека, который славно воевал в Карпатах, грустная кончина которого в 1923 году в Москве, в тюрьме, лишний раз заставляла думать, что у большевиков во врагах оказаться мог любой и каждый.

21 сентября 1916 года Снесарев побывал на празднике Елисаветградского полка, сказал простую, всем понятную, горестную и горделивую речь. Смысл её — на всё происходящее гляжу с печалью и радостью: с печалью — не все вернутся; с радостью — ни одному поколению не пришла такая великая доля, как нам, «положить жизнь за други своя». Целые поколения будут пользоваться сохранёнными ценностями, наслаждаться, из-за пустяка лить потоки чернил. Но чтобы жизнь, какая б она ни выдалась, продолжалась, на охранной черте стояли рыцари окопа, солдаты и офицеры, в том числе и Елисаветградского полка.

Между тем в дивизии многое выползает наружу, скрытое под спудом из-за недосмотра одних, лености других и злоупотребления третьих. Да, великая война убивает жизнечеловеческие миллионы, а кому-то приносит миллионы денежные. Для кого-то — святое дело, для кого-то — прибыльный гешефт. В дневнике за 28 сентября 1916 года — запись о панихиде по погибшему офицеру Аккерманско-го полка и о встрече с близкими убитого: «За телом приехали старик-отец со старой матерью и сестра-курсистка. Мать дрожит, пьёт воду, говорит больше других. Единственный сын, поддерживал их… Сестра оказывается молодой женой (урожденная Мальцева), во время вскрытия гроба потеряла равновесие, бросилась целовать, но удержали… Шёл за гробом с версту, родители ехали, жена шла за гробом, держалась, но всё в ней дрожало (писала ему 2 раза в день). Когда на литии стали поминать “раба Божия Витовта, живот свой положившего за Царя и родину”, вся вздрогнула… Сергей Иванович Соллогуб много её успокаивал, гладил по голове, когда она плакала: “Увидим лучшие дни, вы молоды… хорошо, что у вас детей нет”. Она: “Мне очень жаль, всё была бы от него память…” Женщина с красиво очерченным лицом, с несомненным волевым элементом… Офицеры сделали из австрийской проволоки венок покойному и сказали матери: “Это память от нас ему, погибшему у проволоки…” Всё вышло трогательно и хорошо: проводили с оркестром, дали старикам лошадей. Удалось внимание сочетать с осторожной тактичностью… Таких картин — сколько их! И если бы их все пережить, как эту, сегодня, сердце давно лопнуло бы от грусти и страданий…»

Женщины, теряющие близких. Женщины, готовые потерять себя. Быть убитыми физически, но не запятнанными нравственно. В октябрьском дневнике 1916 года — целая гроздь записей о сестрах милосердия, их высоком и жертвенном служении.

«…Вчера устраивали прощальный вечер 3-му хирургическому передовому отряду… Вечер прошёл смешливо-грустно, проводили сестёр до их дома и ещё долго говорили у их порога… Много было шуток вообще и остроумных бросков, но все они, как плющом, были перевиты грустью: мы взаимно привыкли друг к другу, а они… сироты, выброшенные на простор и риск боевого поля, где они найдут такой приют, ласку без мужских притязаний, шутку без сальностей, возможность довериться без риска погибнуть?.. Где? Нигде. И они это чувствуют, и дарят нас улыбкой благодарности, и грустят глубоко, расставаясь с нами…

Сестры на войне страшно ценят внимание, особенно тогда, когда под его покровом не скрывается ни опасность оскорбления, ни посягательство на честь. Все на них смотрят как на своих полевых жён, смотрят часто глазами дикарей, только без умыкания или набрасывания втихомолку; такова психика людей, ежедневно видящих смерть и дышащих запахом крови. Жертвуя всем и никогда не ручаясь за приход последнего дня их жизни, эти люди не могут ни понять, ни снизойти к “маленькой” и “малодушной” мысли уберегания чести женской или сохранения девственности, они готовы всё отдать, они, над которыми завтра висит меч смерти: здоровье, семью, честь, жизнь… и они не могут понять, как другие могут отвлекаться разными пустяками. И сестры понимают эту притязательность людей *morituri* и согласны, что в ней много правды, но… те-то могут умереть и умирают, но они-то мало имеют шансов на это… На вопрос, готовы ли они умереть, большинство ответят словом “да”… И мечутся они между двумя скалами, из которых на одной написано “горе погибшей, которая будет жить”, а на другой — “отдайтесь нам, которые завтра могут умереть”… Как охотно они пойдут на ласку, но чтобы она не переходила пределов, как убеждённо и тепло говорят они, что они должны служить не одним раненым, но и тем, которых могут ранить… Но как? Они смущаются и отвечают: “Уютом, лаской”… и встречают со стороны *morituri* насмешки: “Скажите, мы всё на карту, а они… наше боевое измученное сердце хотят питать леденцами”».

Сестры, рискуя жизнью и страдая в непривычной среде, получают медали — достаточная ли награда их бескорыстного труда, их жертвенности? Ольга Лобанова-Ростовская, Мария

Мегорская, Констанция Орловская, Полина Развезева, Вера Старк, Елена Чарторижская, сестры милосердия 12-й пехотной дивизии награждаются Георгиевскими медалями четвёртой степени… малая степень для большого подвига.

Снесаревские строки о сестрах на войне — это целая поэма. Поэма о женщине. О молодой, сострадательной, милосердной, преданной. Сколько верного взгляда, чуткого сердца, понимания и внимания! Где бы он ни был, он понимает психологию сестёр — быть ближе к опасности, к передовой, где больше огня, а значит и раненых, которым надо оказать первую помощь. Придя в 64-ю дивизию, он отдал распоряжение, чтобы сестёр в дни боёв направлять «на передовые перевязочные пункты полков — идеал сестёр и большое облегчение для раненых». Он бы их всех готов обнять, не как праздный бунинский герой всех молодых наташек в вечерней тёмной аллее, но как воин — подвижниц, которым надо пройти крестный путь без обычного сна, отдыха и лживых наслаждений, а пройдут — даст Бог, всё образуется!

3

Во второй половине сентября в дивизии побывал помощник английского военного агента майор Торнхилл. Он родился в Индии, всю жизнь прослужил там, и, естественно, Снесареву с ним было о чём поговорить в диалоге на индийскую тему, вполне устраивавшем обоих, поскольку англичанин снесаревские труды не читал. «К удаче для меня, мои литературные работы ему неизвестны», — шутливо оценил встречу русский генерал. При прощании англичанин подарил книгу К. Чуковского «Заговорили молчавшие»… с надписью «Генералу А.Е. Снесареву, привет от английской армии». В дневнике 11 октября 1916 года Андрей Евгеньевич заметит: «Книга написана с искусством, но очень пристрастно. Конечно, англичане как купцы о себе говорить умеют, и деловито-хвастливый тон их писем и заявлений производит впечатление, но грустно наблюдать, как далеко поддался автор этому впечатлению… до национального безразличия и самоунижения. Достаточно сравнить “потери” в письмах с потерями в действительности или вспомнить книгу Хоккера… Всё это, в корне корней, то же торгашество, хотя и замаскированное, а также аристократизм нации».

В начале октября дивизию посетили итальянцы: генерал-адъютант короля граф Ромеи Лонгена, подполковник маркиз Ориго, скульптор, известный и в России: его проект памятника Александру Освободителю отмечен был второй премией, и капитан Дебертини, о чём и сообщает Снесарев жене в письме, не

лишённом юмористической окраски, от 7 октября 1916 года: «Графа Ромеи Лонгена мне удалось дотащить до окопов… на наблюдательном пункте нас обстреляли; граф видел австрийские окопы с проволокой в 300 шагах впереди… всё это привело его в такой восторг, что он обещал донести на другой же день своему монарху, а Государю Императору обещал рассказать при первом же случае. По адресу моего хладнокровия под огнём и “полного презрения к смерти” он говорил такие вещи, что если он Государю расскажет половину только, не миновать мне корпуса. Мне он обещал выхлопотать у короля какой-то крест на шею с зелёной лентой, соответствующий нашему Георгию 3-й степени. Ужин прошёл у нас блестяще. Я сказал по-французски короткую здравицу за короля Италии, после чего граф произнёс длинную речь по-итальянски, на которую я ответил длинной речью по-русски… Уехали наши гости пьяными и 7 вёрст пели не то русские, не то итальянские песни. Словом, с моим появлением всё радикально меняется: шлют британцев, шлют итальянцев, скоро присылают румын…»

Иностранцы приехали-уехали, и вся недолга, а что посерьёзнее — так это кадровые рокировки, переходы и замены. Корпусный командир Крузенштерн, высоко ценивший Снесарева, пострадал при поездке на автомобиле и взят в Военный совет. Корпус принял генерал Саввич, почти незнакомый. Пройдёт несколько недель, Саввича переведут заведовать снабжением Северного фронта, а на корпус будет назначен Зайончковский.

Ещё серьёзнее обозначилось то обстоятельство, что с начала октября корпус и его дивизия из Девятой армии Лечицкого переведены в Восьмую армию Каледина. Как если бы приходилось начинать всё сначала. Лечицкий, с которым Снесарев близко сошёлся в вопросах военно-воспитательных, весьма выделял его из генеральской чреды и полагал его дивизионный пост скромно малым по его военным дарованиям, а возвращение дивизии в Восьмую армию делало положение Снесарева вновь неопределённым, поскольку не было ясности, сочтёт ли Каледин целесообразным видеть его на посту начальника дивизии.

4

Осенью 1916 года Снесареву выпадает встречаться со многими известными военачальниками и фронтовыми чинами: Платоном Алексеевичем Лечицким, Алексеем Максимовичем Калединым, Николаем Федоровичем Крузенштерном, Анатолием Киприяновичем Келчевским, Сергеем Сергеевичем Саввичем, Андреем Медардовичем Зайончковским, Алексеем Степановичем

Потаповым, с Георгием Ивановичем Кортацци, с которым служил в Главном управлении квартирмейстерства, бывшим до Снесарева командиром Симферопольского полка, а в это время дежурным генералом штаба армий Юго-западного фронта…

9 октября 1916 года в Лучине и в Брязе с утра всё пришло в движение. Полки 64-й дивизии сменили полки 78-й дивизии, которая крайне неудачно выступила на этом участке фронта, потеряв часть окопов, а главное — более пяти тысяч штыков, тысячи пропавших без вести. Позиция имеет в длину до восемнадцати вёрст; штаб в Брязе.

В начале октября в штабе соседней дивизии Снесарев встретился и беседовал с новым корпусным командиром генералом Саввичем. Первое впечатление двойственное. Чувствуются воля, трудолюбие, усердие, но, как сперва ему покажется, «нет сияния мысли». К тому же ему «странно видеть полного генерала без статутных наград».

Через три дня в дневнике записывает: «Саввич начинает проявлять свою мысль и волю. Он является сырой и старой тактической величиной, которая умеет требовать, но слабо знает, что нужно требовать; отсюда нажим по каждому поводу… Ещё новый тип (после бездельника Экка или неподготовленного, хотя и храброго и пробующего что-то Кознакова) корпусного командира, который может только нервировать… и мешать спокойному и планомерному ходу работы… Недаром нет статутных наград!»

Впору сказать: дались Снесареву эти статутные награды, будто они не только награды, о которых ещё Суворов говаривал, что они людьми даются, а люди могут обмануться, но некие индульгенции на ошибки или гарантии на будущую безошибочность. По счастью и справедливости, отношения наладились, стали уважительными и даже доверительными, о чём вполне свидетельствует пространная запись в дневнике от 13 октября 1916 года: «В 12 часов приехал корпусный командир Саввич Сергей Сергеевич. Много говорили о делах, а в конце он разошёлся и заговорил о пережитом. Иванова (Николай Иудович) называет невеждой, лукавым и неискренним человеком. “Зимнюю кампанию (в декабре 1915 г.) спроектировал и обдумал я, а Иванов испортил: кисло доложил Государю, прибывшему для командования кавалерийской группой Абраму Драгомирову бросил фразу «из этого ничего не выйдет», когда уже всё было готово, сказал, что запасы по ту сторону Днепра… Занимался сплетней, подхалимничаньем и девчонками: армии лишал всякого порыва… Всё вертел, что Брусилов плох. Николай Николаевич: «Николай Иудович, если Брусилов так плох,

удаляйте его хоть сейчас…» Иванов выслушал, но… не сделал. Приехал Трепов и привёз ему приказ Государя подать на покой «по болезни». Вероятно, это сделал Михаил Васильевич (Алексеев), который хорошо знал Иудовича. «Человек, у которого, кроме бороды, нет ничего русского»… Брусилов — человек настроения. Во время отступления бежал, и нельзя было остановить, впал в панику (Трусилов) … Хотели офицеры Генерального штаба его арестовать и приволочить во фронт. Пролом весною 1916 года не его мысль, это сделали 7-я и, особенно, 9-я армия, предоставленные совершенно своим силам. Брусилов ломил на Ковель, уложил гвардию; видя успех на юге, не поддержал его, продолжая долбить всё туда же, пока не стали у него отбирать корпуса… Алексеев — труженик… Сам слаб, много влияний….”»

Вот гримасы судьбы. И Саввич, и Снесарев — державники, монархисты. Но… через полгода: на станции древнеславного города Псков в вагоне императорского поезда, где генерал-лейтенант Рузский понуждает царя к отречению, волею обстоятельств присутствующий Саввич тихо плачет — оплакивает Отречение, не в силах что-либо изменить. Снесареву же через полтора с небольшим года придётся выступать на стороне красных, вожди которых ещё задолго до прихода к власти как могли расшатывали многостолетний ствол самодержавного государства.

19 октября 1916 года (через полгода после дивизионной характеристики, данной Ханжиным) Саввич составил на Снесарева корпусную аттестацию. «Несмотря на кратковременное нахождение в составе корпуса аттестуемого в качестве временно командующего 64-й пехотной дивизией, он зарекомендовал себя храбрым, с большим боевым служебным опытом, в высшей степени деятельным, знающим, очень требовательным и заботящимся о вверенных ему частях и чинах. Это даёт мне право аттестовать его выдающимся начальником, достойным выдвижения на должность начальника пехотной дивизии “вне очереди”».

А ещё не было обороны «Орлиного гнезда», сечи у Золотой Быстрины, Кирлибабы.

Хорошими дивизионными помощниками Снесареву становятся начальник штаба Сергей Иванович Соллогуб, душевно открытый, разумный и смелый человек, поэтически настроенный, хорошо владеющий слогом, одинаково искусным и при написании штабных бумаг, и при написании экспромтных посвящений сестрам милосердия; командиры полков Александр Георгиевич Лигнау (с которым он потом разделит дни северной

ссылки), Николай Маркович Побылевский, Василий Кондратьевич Криштопенко, Матвей Константинович Романико, Михаил Александрович Стугин; командиры батальонов Андрей Агапитович Гавриленко, Василий Васильевич Лихачев, Владимир Георгиевич Латий, Владимир Георгиевич Шепель, начальник артиллерийского дивизиона Николай Дмитриевич Невадовский.

А были и ещё и меньшего ранга подчинённые, которые, как, например, начальник конвоя, «осетин, простой человек, солдат храбрый и исполнительный», надёжный воин, дослужившийся до прапорщика, заслуживший полный комплект солдатских Георгиевских крестов, вызывали в Снесареве чувство благодарности и вспоминались не раз уже в другой, невоенной жизни.

Он взял за каждодневное правило посещение полков. «Вчера я был в одном полку… — пишет в письме от 15 октября 1916 года. — В бытовом отношении интересно, что делает людская масса (или некоторые её члены), чтобы удалить себя от окопов, как многое распыляется, но в направлении назад, а не вперёд. Вот где можно бы изучать еврейский вопрос во всей его наготе, бесцеремонности и гибкости, вот где он ясен как на ладони, а не на фоне нашей “общественности” или печати».

Между тем его положение по-прежнему остаётся неопределённым. Пошёл уже второй месяц, как он командует дивизией. Чуть было не отправили его начальником румынской дивизии с придачей русской стрелковой бригады, да Лечицкий не решился: некому поручить дивизию; позже снова возникла мысль отправить его в румынские войска — уже инструктором, но командир корпуса Саввич заявил, что дивизия занимает самый ответственный участок в его корпусе и сдать её другому генералу он не может; на это скоро последовал ответ, что командировка в Румынию вовсе отменяется.

Однажды наткнулся на «Киевскую мысль» октябрьского дня и в письме жене не без полуудивления-полувопроса иронически пишет: «Что-то у вас там происходит, и все вы очень нервничаете; выходит, в окопах-то у нас много спокойнее и яснее: вышел цел и невредим, вечером поблагодарил Бога, и всё просто, а у вас заботы конца-краю нету: Россию надо перестраивать, и каждому хочется на свой лад, а она не даётся — я, говорит, строилась тысячу лет русскими людьми, строилась в поте лица, на крови и белых костях… Что сделаете с этой строптивой и грубой бабой! Я, конечно, на стороне культурных интернациональных просветителей, и мне глубоко их жаль, что они втяпались в эту грязную историю с непросвещённой дикаркой».

«Сегодня ехал в слякоть, холод, метель, — запись от 7

октября 1916 года, — аллеей в лесу и думал, зачем я маюсь… Ведёт что-то, что выше и глубже нас…»

Снесарев, как и прежде, приказал благоустраивать могилы павших и делать надписи. Он сочинил сам основную надпись, которая по необходимости лишь частично видоизменялась: «Воинам благочестивым, кровью и честью венчанным, нижним чинам 64-й пехотной дивизии, погибшим геройской смертью в бою 4–6 сентября 1916 года. Мир праху вашему, дорогие защитники. Спите спокойно в Карпатских горах».

Но даже и горы не дают спокойствия. И в горах погибший не может чувствовать себя навсегда нетревожимо. Прах его может быть настигнут на горных склонах, высотах, перевалах; и не на могилах ли Первой мировой войны нарезала свои траншеи Вторая мировая! Но и не только очередная война — угроза погибшим воинам, покоящимся в братских или одиночных могилах. Тут невольно приходят на память русские классики. Скажем, пророчески-поэтические строки Лермонтова, любимого поэта Снесарева, о человеке — предпринимателе и приобретателе, полагающем себя властелином земли: «Он настроит дымных келий по уступам гор; в глубине твоих ущелий загремит топор…»

В летопись военной страды в Лесистых Карпатах словно бы впаивается эпизод из фантастической повести Андрея Платонова «Потомки солнца», в которой главный герой озабочен — экий вселенский размах! — радикальной перестройкой земного шара. Своё оружие — «сконцентрированный ультрасвет» — он применяет в уверенности, что совершает благо для земли и человека. Забыта малость: ни земля, ни человек не спрошены, хотят ли они этого бесчеловечного, насильственно внедряемого «блага».

Подопытная часть земли велика и территориально, и исторически — Карпаты. Испытание, исторгающее «апокалипсические» сполохи и ураганы, кончается тем, что «от Карпат не остаётся и песчинки на память». Сметена не только часть земной территории, но и часть всемирной души, всечеловеческой памяти и истории. Чей замысел? Что за сатанинская воля подсказывает и направляет?

Какое уж тут «присоединённые без злобы»!

5

В снесаревских строках замелькали названия: Бряза, Кирлибаба и новорождённое — «Орлиное гнездо».

21 октября 1916 года начальник дивизии издаёт приказ по

«Орлиному гнезду», в котором констатируется предписанное им прежде укрепление обороны, так как австрийцы не оставят попыток овладеть небольшим, но остронацеленным на них выступом: «В течение последних дней выдвинутый фас 253-го пехотного Перекопского полка подвергался неоднократному обстрелу тяжёлой и лёгкой артиллерии неприятеля. Вчера, 20 октября, я обошёл совместно с начальником штаба окопы этого фаса, дабы на месте выяснить положение вещей. Слабое место обороны выдвинутого фаса — это возможность изоляции его от остальной боевой линии путём огня неприятельской артиллерии и вероятность больших потерь при артиллерийской подготовке к атаке. С радостью увидел, что мои неоднократно даваемые указания об увеличении обороноспособности этого важного участка, дающего возможность наблюдать Кирлибабу, проведены в жизнь командующим полком со многими ценными дополнениями…

В виду возможности полнейшей изоляции этого участка с началом боя, когда участок уподобится осаждённой крепости, командир 2-го батальона штабс-капитан Гавриленко назначен командующим полком комендантом выдвинутого фаса с подчинением ему всех рот, занимающих там позиции… По справедливости можно теперь назвать выдвинутый фас “Орлиным гнездом” и штабс-капитана Гавриленко комендантом “Орлиного гнезда”… Связь “Орлиного гнезда” со штабом полка налажена хорошо…»

При осмотре с наблюдательного пункта вид Кирлибабы с её костелами в долине Золотой Быстрицы предстал взору Снесарева как дивный, и он сожалеюще подумал, что война не пощадит ещё один живописный уголок, веками радовавший проживавших здесь. В городке Кирлибаба австрийцы расположили свои батареи, превратив его в военный лагерь, и с «Орлиного гнезда» всё это очень хорошо просматривалось: батареи, кухни, биваки, ещё не охваченные огнём…

Непривычный — благодарственный — приказ от 30 октября 1916 года за подписью командира Перекопского полка Побылевского: «Не успели австро-германцы навалиться на наши передовые окопы, на наблюдательный пункт прибыл Его Превосходительство начальник дивизии. В течение двух дней боя, 23 и 24 октября, Его Превосходительство безотлучно был с нами и лично руководил боем, подымая дух бодрости у защитников “Орлиного гнезда”…

За бои 23 и 24 октября Его Превосходительство изволил пожаловать и лично приколоть к груди более отличившихся нижних чинов 4 георгиевских креста 3-й степени, 13 георгиевских

крестов 4-й степени и 6 георгиевских медалей 4-й степени.

Объявляя о таком внимании и сердечной заботе о нас, Его Превосходительство уверен, что перекопцы не останутся в долгу и новым своим делом постараются порадовать Его Превосходительство».

После раздачи крестов и медалей Снесареву был поднесён снарядный металлический стакан, перевитый проволокой, украшенный ножами, с подвешенными часами. Батальонный командир подполковник Лихачёв, вручая подарок, прочитал: «Нашему лихому боевому орлу генералу Снесареву, вовремя прилетевшему к своему “Орлиному гнезду” и защищавшему его с беззаветной храбростью и доблестью от нападения злых хищников австро-германцев 23 и 24 октября 1916 года. Благодарные и крепко любящие его перекопцы. 26 октября 1916 года. “Орлиное гнездо”».

Снесарев был столь обрадован, даже растроган пришедшимся по сердцу подарком — изобретением подчинённых, что не раз повторял: «Есть Георгий сверху, а это был мой Георгий, поднесённый снизу… Пусть заслужат и дождутся другие».

6

Три ночи после кровавых трёх суток на «Орлином гнезде» он плохо спал и после коротких полузасыпаний, с открытыми ли, закрытыми ли глазами, снова и снова видел картины противоборства, переживал происшедшее, каждый шаг, каждый час. Даже малейшие подробности вставали как образы кровавого месива, мужества, его надёжного руководства.

Этот скалистый выступ, на высоте почти полутора километров, названный им в приказе «Орлиным гнездом», глубоко врезался в австрийские позиции, естественно, далеко отходя от своих, — был чем-то вроде маленькой «Курской дуги» грядущей войны. Выступ, крайне для австрийцев неудобный, их раздражавший, ими названный: «палец, указывающий на Вену»; и, конечно, им не терпелось отсечь его, уничтожить его опасную нацеленность. Окружив гребень почти со всех сторон, они его каждодневно обстреливали из пушек, тревожили атаками, так что ранее находившаяся здесь 78-я дивизия генерала С.К. Добровольского (будущего участника Белого движения, командовавшего войсками Черноморского побережья, в 1923 году вернувшегося в Советскую Россию) даже хотела без огня уступить австрийцам этот «проклятый палец».

Но Снесарев, сразу оценив достоинства «Орлиного гнезда»: возможность постоянного панорамного обзора, возможность

основательно потревожить Кирлибабу, которую австрийцы самонадеянно, не подумав о жителях, превратили в военный лагерь с незамаскированными батареями, — сразу укрепил его самыми сильными ротами самого сильного полка.

Противник не замедлил себя ждать. 19 октября после полудня он буквально накрыл «гнездо» движущейся армадой артиллерийского огня, не умолкавшего до сумерек. Двое были убиты, пятнадцать ранено; и самое опасное, самое тревожащее: в этом многочасовом аду, где деревья взлетали вверх, зависая корнями на высоте, где окопы и блиндажи перевертывало вверх дном, двое солдат сошли с ума.

На другой день Снесарев вместе с Соллогубом в семь часов утра отправился к чреватому гибелью выступу. Заведомо смертельные места, простреливаемые отовсюду, миновали почти в тишине… противник спал после артиллерийского многочасового надсадного огня. Но когда начдив и начштаба на самом «гнезде» стали обходить окопы, огонь австрийцев, окопы которых кое-где располагались в ста метрах, заполыхал со всех сторон… Снесарев обошёл окопы, здоровался, благодарил солдат и офицеров, находил ободряющие слова. Разумеется, для солдат это было новое потрясение, но уже радостное, духоукрепляющее: «Чего же страшно, когда сам начальник дивизии к ним в гости пришёл».

Возвращались по узкой перемычке, отделявшей полуокружённое австрийцами «Орлиное гнездо» от основных дивизионных позиций, под свист ноющих ищущих пуль («жалится — душу ищет», солдатская примета), под ружейным и артиллерийским огнём. Разумеется, его могли убить. Но это был как раз тот случай, когда начальнику надлежало побывать в самом пекле, чтобы быть спокойным за оставшихся там. Только так можно было предотвратить ливень паники в скором бою.

И новый бой, теперь уже с атаками многочисленных австрийцев, начался действительно скоро.

А день 23 октября задался яркий, солнечный, ничем, на первый погляд, не грозивший, не обещавший железного гула и грохота. Снесарев с утра решил привести в порядок бумажные дела, но в восемь утра австрийские батареи обрушили на Перекопский и Николаевский полки прежде невиданный здесь огонь. Эскортируемый казаками начальник дивизии поспешил на угрожаемый участок. Прибыл и узнал, что полки атаку отбили, но передние окопы «Орлиного гнезда», после нескольких штыковых схваток заваленные русскими и австрийскими погибшими, а ещё поверху комьями земли, сломанными деревьями, ветвями, пришлось оставить и отойти в следующие. А артиллерийский

огонь перерос в беспрерывный, австрийцы явно готовились ко второй, теперь широкозахватной атаке. Начальник дивизии снова почувствовал необходимость побывать в пекле «Орлиного гнезда», но оно оказалось под сплошным пологом артиллерийского огня, а мост-перемычка — в развалинах, и рота, направленная на помощь «Орлиному гнезду», была не в силах туда пробиться.

Мимоходом зашёл он на артиллерийский наблюдательный пункт, где осмотрел весь левый фланг атакуемого «Орлиного гнезда», отдал распоряжения и пошутил с артиллеристами, уверявшими, что надо смотреть в их трубы, тщательно укрывшись, а не в бинокль, высунувшись за бруствер… Тут подошёл командир Перекопского полка полковник Побылевский, и с ним Снесарев поспешил в четвёртый батальон, на правый фланг атакуемых. У штаба батальона встретил командира, принял рапорт, поздоровался с резервными, а потом узким ходом сообщения прошёл в окопы рот, которые отбили первую атаку. Солдаты успокоились, но были ещё возбуждены и приподняты недавним. Начальник дивизии поблагодарил их, вновь почувствовав, как много значит его благодарственное, ободрительное слово.

В полдень — новая атака, несколько суженная — на роты Перекопского полка. И эта атака — как круто взявшая разбег волна, вынужденная при ударе о прочную преграду откатиться. «Орлиное гнездо» — как утёс, разбивающий волну атакующих.

После повторной неудачи австрийцы решили сузить сектор атаки и артиллерийской подготовки и обрушиться единственно на «Орлиное гнездо». Опять загрохотали пушки, казалось, что их подвезли сюда со всех Карпат, — грохот стоял невообразимый, стрельба тяжёлая, сокрушительная: ни одного уцелевшего блиндажа, окопа, повалены деревья, повреждена связь, кухонные котлы разбиты… Андрей Евгеньевич временами переговаривался по телефону со своим тёзкой Андреем Агапитовичем Гавриленко, командиром первого батальона, и радовался, что тот духом не падал.

После пятнадцати часов пошла третья атака на «Орлиное гнездо». Австрийцы продвинулись почти до штаба батальона. Во всех ротах — потери. В передней части «Орлиного гнезда» направленная на поддержку и каким-то чудом успевшая пробиться часть шестой роты приняла удар в штыки и, не отступив, в схватке почти вся погибла. Противник взошёл к окопам оборонявшихся, захватил пулемёт, но из резерва устремилась вторая рота с ротным командиром Спеваковым и младшим офицером Воробьёвым… и завязалась штыковая бойня, пулемёт был отобран, и австрийцы сброшены вниз. Но горькая

весть: Спеваков и Воробьев пали в штыковой схватке.

Два взвода первой роты, выдвинувшись на тысячу шагов вперёд, в заставе, отбиваются от обходов и атак, укрощая наступательный дух нескольких австрийских рот. В сумерки орудийный огонь затихает, австрийцы выматываются: они уложили склоны «Орлиного гнезда» сотнями убитых, потеряли не один взвод пленными, истратили до двадцати тысяч снарядов, но не взяли, что называется, ни пяди желанного выступа.

Для окончательного успеха требовалась ещё и контратака на вытянутые внизу австрийские позиции. На атаке настаивали из штаба корпуса: «Люди, вне крови ходящие, думают только исполнительно». Но командир батальона, он же комендант «Орлиного гнезда», не спешил сломя голову исполнить приказ, заботясь прежде всего о том, как привести в порядок окопы, а главное, успокоить, пусть и от победы, нервно-возбужденных, усталых солдат.

На следующий день при поддержке заградительного орудийного огня атака удалась, австрийцы и вовсе были оттеснены от «Орлиного гнезда». Победа была полная и громкая. Дважды дивизия попала в сведения Ставки, звонили и благодарили по связи командующий Восьмой армией Каледин и командующий Юго-западным фронтом Брусилов — последний пространно и тепло.

Как развивались события у Золотой Быстрицы, у Кирлибабы, поблизости от «Орлиного гнезда» и непосредственно в «Орлином гнезде», словом, в тех местах, о которых и треть века спустя вспоминали фронтовики (об этом пишется, например, в мемуарах маршала Василевского «Дело всей жизни»), — подробности находим и в дневнике Андрея Евгеньевича, и в его письмах Евгении Васильевне.

Письма к жене от 20 октября и 25 октября 1916 года, в которых рассказывается об «Орлином гнезде», разделяет неожиданно небольшое, весьма выразительное письмо-выпад против «бестолковщины в постановке принятого на себя дела Союзами городов и Земским… Какие-то безусые мальчишки (как и большинство наших уполномоченных Красного Креста) разъезжают на экипажах или автомобилях… Эти все уполномоченные всяких этих союзов — бездельники и ненужные люди с точки зрения дела, безнравственники по своему уклонению от окопов в великую нашу войну. А у вас крик о недопущении общественных сил к служению на войне! Кого они дурачат или обманывают, а может быть, зачем сами так слепо ошибаются?»

(Была гора Орлиное Гнездо в Порт-Артуре, которую японцы

заняли в декабре 1904 года, а Снесарев оборонял «Орлиное гнездо» в октябре 1916 года, почти через двенадцать лет и за тысячи вёрст от Порт-Артура.)

Через долгие месяцы придёт достойная награда. 27 июня 1917 года Снесарев получит телеграмму: «Дармия. Начдиву 159 пехотной. Генералу Снесареву. Приказом 15 июня № 17450, Вы пожалованы Георгием 3. Поздравляю. 17450. Архангельский».

Официальное опубликование приказа с описанием подвига появится в газете «Армия и флот свободной России»: «Командующему 159-й пехотной дивизией Андрею Снесареву за то, что: 1) временно командуя 64-й пехотной дивизией в бою 23 октября 1916 г. в районе Кирлибабы, когда противник после сильной артиллерийской подготовки повёл атаку с целью прорыва нашей главной позиции в направлении высот 1318–1527, лично руководил отбитием атак на решительном участке 253-го пехотного Перекопского полка, а когда с наступлением темноты противнику удалось закрепиться в двух наших полуразрушенных окопах, внезапной штыковой атакой в ночь на 24 октября выбил противника из наших окопов, отбросив его за линию его исходного положения. Трофеи: 3 офицера, 185 солдат, 3 пулемёта, 3 бомбомёта и 2 миномёта; 2) командуя той же дивизией, после ряда личных разведок под действительным огнём противника разработал план прорыва позиций противника, прикрывавших участок шоссе Кирлибаба — Якобени; перед самой уже атакой воодушевил людей, находясь в передовых окопах, а в момент движения рот в атаку, презрев очевидную опасность и находясь под сильным и действительным огнём противника, лично стал во главе наступающих рот и направлял их в атаку. Когда же наша пехота, преодолев сильное сопротивление противника, прорвала позицию последнего, лично повёл в атаку 2-й батальон 255-го пехотного Аккерманского полка, чем закрепил наше положение, отбив ряд контратак сильных резервов противника. В результате этих действий наши войска овладели позицией противника и прекратили движение по шоссе на участке Кирлибаба — Якобени. Трофеи: 19 офицеров, 863 солдата, 11 пулеметов, 4 бомбомёта и 2 штурмовых орудия».

В конце октября в дивизию заехал инспектор артиллерии Михаил Васильевич Ханжин, и Андрей Евгеньевич со щемящей тоской на-всегдашнего расставания почувствовал, сколь сильно он любит друга-сослуживца, простого, искреннего, скромного. Ханжин говорил, что «главное теперь — начальники дивизий: полки — малая единица, быстро исчезающая, а дивизия что-то более устойчивое; корпус — далёкая инстанция, к тому же у корпусного командира нет воспитательных влияний и функций;

где начальники дивизий хороши, там и дело идёт. Для “хорошего” надобны храбрость, общение (окопы) и честность в труде».

Как эти мысли созвучны были мыслям Снесарева о дивизии — оптимальной фронтовой единице, мобильной, насыщенной, сильной. Три дюжины таких дивизий в силах решить исход не только битвы, но и войны. Разумеется, когда дивизионный командир соответствен и ответствен.

За короткий срок Снесарев вывел вверенную ему «единицу» в лучшие, он много размышлял о её духе и живой плоти — о солдатах и офицерах, которым в любой миг может выпасть гибель; его строки о дивизии, на которую распространяются общие законы войны, огневой тактики, в которой есть свои особенности и незаурядного искусства требует управление ею, исполнены точности, широты взгляда, глубины всестороннего анализа сугубо военно-полевого, психологического, педагогического.

7

Последние дни октября — затишные. Разумеется, фронтовые хлопоты не отпускают. То бумаги, то окопы, то постройка дороги, близкой к передовой. И всё же удаётся и почитать, и предаться воспоминаниям, и даже поспорить об исторических взглядах Ключевского с нервной, но необидчивой и внимающей курсисткой. У неё задиристо детское представление об отечественной истории, почему бы ей и не подсказать нечто существенное, коли слушает? Снесарев с молодых лет стремился постичь движение и тайные начала отечественной истории, он прочитал бездну и зарубежных, и отечественных историков, из русских более других ценя Карамзина, Погодина, далеко не всего Ключевского, а при чтении соловьёвской «Истории России с древнейших времён» испытывая нечто подобное тому, что испытывал Толстой, недоумевавший: «Читаешь эту историю и невольно приходишь к выводу, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство?»

Были и куда солиднее спорщики, нежели случайная курсистка. Артиллерийский чин, сослуживец Василий Фадеевич Кирей, будущий участник Белого движения, в разговоре любит ссылаться на полководцев и знатоков военного дела ушедших столетий, и в одну из их прогулок приводит изречение Чингисхана — какое высшее счастье в жизни: «Гнать перед собою бегущего врага, топтать его поля, ласкать его женщин». У

Снесарева, как молния, вспыхивает название одной из многих задуманных книг — «Философия войны». И это изречение — именно туда. И дать ему первую оценку именно здесь, на холмистой карпатской тропинке, кстати, ископычены ли именно эти холмы монгольскими туменами? Быть может, Чингисхан и не знал про Нагорную проповедь. Но человечество сделало не один шаг по дороге нравственности и милосердия со времён монгольских нашествий. Гнать бегущего врага — это ещё понятно. Но истаптывать поля — от дикости и злобы души и тела, а не от нужд войны… Тем более ласкать женщин, не могших без смертного отвращения испытывать надругательную вражескую плоть. (Легенда, быть может, — Темучину-Чингисхану трёхчастное изречение, с заключительной посылкой о ласкании чужих женщин, диктовал некий комплекс: его молодая жена была уведена вождём одного из соседних племён и возвратилась через девять месяцев, так что старший сын будущего завоевателя полумира оказался не родным ему по крови.). Но если, засмеялся оппонент-сослуживец, убрать истаптывание полей и на-сильное ласкание женщин — кто же будет гнать врага? Вот такое высшее счастье…

8

Новый месяц — ноябрь — начинался с известий не веселящих. Ладно бы — новое и непонятно куда назначение. Во всяком случае, на дивизию, которой он два месяца откомандовал и которая заслужила известность и признание от соседних дивизий до Ставки Верховного главнокомандующего, назначают временно командовать генерала Эрдели, начальника 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Для Эрдели — понижение, хотя, может, и так: принять столь отлаженную и проявившую себя в испытаниях дивизию кому не хочется! Но и Снесареву её никому отдавать не хочется.

Другое известие — совсем из неприятных, как бы рукопачкающих: военно-полевой суд над двумя артиллеристами, обвиняемыми в грабеже и изнасиловании. Снесарев почти убеждён, что суд приговорит нижних чинов к расстрелу, и думает об этом спокойно: «Мы все ходим перед смертью, и она нас не страшит, не нервирует. Она чаще всего выступает как искупление, или для достижения боевого успеха, или за грех некоторых для назидания многим. Ведь какой-либо промах при решении боевой задачи — и мы предаём смерти сотни людей… лучших и храбрых, ибо они скорее её находят…»

Тогда же, в начале ноября, в письме к жене дает необходимые

разъяснения насчёт статута ордена Святого Георгия: «Статья 58 Статута (императорского военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия…) гласит: “Имена и фамилии всех Георгиевских Кавалеров увековечиваются занесением их на мраморные доски, как в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве, так и в тех учебных заведениях, в коих они воспитывались”. Говоря обо мне, эта статья должна затрагивать: Новочеркасскую мужскую гимназию (Нижне-Чирской прогимназии уже нет), Московский университет, Алексеевское пехотное училище (в Москве) и Военную академию. Про последние два заведения как военные думать не приходится — они сами следят, а в первые два можно написать… Хочу это не для самовосхваления, а для того чтобы гражданские заведения знали эту статью и подумали над нею… Я думаю, ты можешь прямо сказать: считаю необходимым сообщить, что супруг мой, кончивший ваше заведение тогда-то, в эту великую войну получил орден… за то-то, а в конце ссылка на 58-ю статью Статута. А там они, как знают».

И сколь зловещей бывает ирония судьбы, проявляющаяся в событийных, времясводящих, именных, цифровых совпадениях. В Российской империи 58-я статья — оценка мужества и ратного подвига воина, в СССР 58-я статья — политическая, жёсткоприговорная: или расстрельная, или лагерная. В начале тридцатых именно по этой статье Снесарев три благодатных для творчества года вынужден будет «посвятить» Соловкам, Свирским и Кемским лагерям.

В начале ноября снова выпало недолгое затишье, изредка лениво переругивались пушки, изредка раздавались явно без определённой цели ружейные выстрелы, даже частые здесь ветры примолкли, иногда даже падал украдочно-робкий, хотя и хлопьями, снег, осенние дни располагали к прогулкам по окрестным холмам, к раздумьям, к молодым воспоминаниям и поэтическому настроению, благодаря которому вдруг и без спроса являлись на память стихи. Чаще всего лермонтовские. Вспоминались «Ангел», «Русалка», «Нищий», «Тучи», «Ветка Палестины», «Воздушный корабль», «Дума», «Бородино», «На севере диком стоит одиноко…», «Утёс», «Парус», «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Выхожу один я на дорогу…». Раньше, в гимназические и университетские годы, знал наизусть «Демона», «Песню про купца Калашникова», да с той поры не однажды Дон унёс свои воды в море и словно бы память унёс. Вернее, утекающая жизнь и всепомнящую память уносит.

Юный поэт сказал так и столько, словно прожил вдвое больше гениальных своих лет. А он, воин и военный мыслитель,

действительно по годам вдвое старше Лермонтова, ещё не написал и малой части того, что задумал и считал необходимым для геополитически беспечного, непросвещённого человечества. Но ведь и Лермонтов, внешне малорослый, а по духу великан, даже не с колокольню Ивана Великого, как писал Белинский, а подоблачный, космический, с мятежными и проникновенно-покаянными заглядами в небо, разве всё задуманное исполнил?

Но неоднократная дуэль, зачем? Зачем он искал гибели и смерти? Или то был крик безусловной солидарности с Пушкиным? Дуэль уже тем преступна, что на ней убит Пушкин. Что бы там ни говорил философ Соловьёв о полной воплощённости пушкинского гения в отпущенные ему годы, никому не дано знать, что поэт-пророк унёс с собой в могилу вместе с ранней физической гибелью. Вечный Пушкин. Невольник чести. А сколько бесчестных бретёров, ловких прицельников жили да и поживают припеваючи и без угрызений, убивая на дуэли лучших? В этом смысле дуэль в Японии намного честнее, Снесарев, во всяком случае, был в это. убеждён, размышляя: «Дерутся на шашках (это “красиво”) чаще всего и всегда до смерти одного из участников, а остающийся в живых делает себе харакири. Это дуэль, которая влечёт за собою две жертвы и является актом глубоким по смыслу и твёрдым, чисто волевым по исполнению. Тут нет ни лукавства, ни трусости, ни водевиля, ни игры в гордость или честь. А у нас вокруг одной попытки на дуэль наговорят столько вздору и напустят столько словесной вони, что только плечами разведёшь. Дуэль как веру можно чувствовать, носить в себе как что-то. Официально она строго связана с вашим внутренним бытием, а раз это испарилось, нечего и поднимать об этом вопрос… словами духовной дыры не залатаешь. Александр III хорошо говорил по поводу дуэлей: “При моём деде дуэли строго запрещались, а люди шли на них, рискуя и жизнью… при отце на дуэли смотрели сквозь пальцы, но люди уже меньше дуэлировались; я разрешил дуэли, а людей к барьеру и “канатом не притянешь…” Просто, человечно и ясно, как и многое, что говорил этот простой и прямой Царь».

К середине ноября в дивизию приехал генерал Эрдели, в скором будущем один из главных военачальников Белой армии, а покамест меняющий или вынужденный сменить кавалерийскую дивизию на обычную пехотную. В том-то и песня, что дивизия за два месяца из обычной превратилась в выдающуюся. Снесарев прибытие своего преемника принял без обиды и горечи, спокойно; два генерала даже нашли в разговорах немало точек соприкосновения. Правда, подчинённым, не только привыкшим к начальнику дивизии, но и полюбившим его за открытость и

мужество, за едва не каждодневное посещение окопов, основательное, рабоче-созидательное, а не миговое, рекламно-пафосное, за умение ободрить солдат, даже в трудный час встать впереди, умение всё взвешивать и поступать по разуму, умение беречь офицера и нижнего чина, расставаться с ним тяжело.

«Слушайте все» — обращение, может быть, и не из лучших, не самое уместное, даже претенциозное, но Снесарев не стал его менять. 15 ноября в штабе Перекопского полка он вместе с Соллогубом подписывает приказ. Полкам, батальонам, ротам раздаются листки: «Слушайте все! Сегодня, 15 ноября, чуть рассеется туман, грохот наших пушек возвестит, что настала давно жданная минута. Знайте, что в ту минуту, когда неприятельская артиллерия откроет ответный огонь по нашим окопам, я также сижу вместе с вами в окопах 15-й роты Перекопского полка и слышу, как бьются ваши сердца! Со мною… в окопах представитель доблестной союзной японской армии капитан Куроки, которого вы уже видели у себя на боевой линии и который шлёт вам пожелания успеха и победы. Когда вы двинетесь неудержимо в атаку, то знайте, что я с любовью и верой слежу за каждым вашим шагом и вовремя подведу резервы, дабы развить ваш успех. Батареи! Помогайте пехоте. Полки! Помогайте друг другу и равняйтесь по передним. Итак, перекрестясь, вперёд за правое дело! С нами Бог!..»

Но серединный день ноября и особенно последующий за ним не стали звёздными днями дивизии. Бывают такие бои, когда нет ни поражения, ни победы, и для противоборствующих сторон такой бой — разочарование, угнетающее дух не меньше поражения.

С самого утра Снесарев, начальник штаба Соллогуб, российского Генерального штаба подполковник Инютин, японского Генерального штаба капитан Куроки оказались очевидцами и едва не жертвами взаимной артподготовки, когда неподалёку взлетают и падают вырванные с корнем деревья и земля мириадами брызг разлетается кругом.

В одиннадцать утра роты поднимаются в атаку, но не все, недружно, одни покидают окопы с криками и без, другие заминаются, потом первые под густым огнём залегают, последующие роты выжидают, мнутся в окопах, пока начальник дивизии и начальник штаба не вскакивают на бруствер, подавая пример, словно выдёргивая магнитом остальных своими первыми наступательными шагами, и так поступают трижды. Роты вроде бы удачно штурмуют высоту, а затем откатываются назад — несколько раз за день.

«Начал накрапывать дождь, прибывают пленные; 1307 —

занятая нами — переходит из рук в руки…» — так завершается первый боевой день в глазах и меланхолических словах начальника дивизии. Но всё-таки победа за его ротами. Потери в дивизии были малые, несравнимые с австрийскими, да и много пленных захватили наступавшие.

На следующий день — «туман с проморзлотою». В такую непогодь трудно солдату подняться из окопа, трудно начальнику воодушевить подчинённых бежать куда-то в глухую пропасть тумана, в никуда, да ещё когда воины измучены предыдущим днём, а артиллерия не помощница, да и невозможно увидеть плоды её помощи в такую туманно-молочную непроглядь. Его верные помощники — командиры батальонов, изреженных рот — словно надломились вчерашним днём, их словно подменили, и Полтанов, и Шепель, и Петров по духу и отдалённо не напоминают погибшего на «Орлином гнезде» командира роты Спевакова, который в нужный миг первым делал наступательный шаг, отважен был неизменно, никогда не заботился о наградах, и ответ которого на скорогрозящий ему Георгиевский крест: «Ну какой там придётся — Георгиевский или деревянный» — вспомнил Снесарев в этот туманный день, как ещё десятки раз вспомнит за свою жизнь.

В этот день, согласно приказу сверху из корпуса, надлежало взять и удержать высоты 1318 и «Голый пуп». Поскольку на командиров батальонов и рот словно нашло непривычное и небывалое прежде оцепенение, начальник дивизии посылает начальника штаба организовать атаку, напутствуя не горячиться и беречь себя. С его помощью австрийцев удалось сбить с «Голого пупа», но вскоре он был ранен, наступательное движение застопорилось, пришлось возвращаться в свои окопы. Начинались сумерки, впрочем, весь день был как сумерки. Тягостное чувство Снесарева, вынужденного по приказу сверху участвовать в заведомо безуспешном предприятии, усугублялось тревогой за судьбу раненого Соллогуба.

Узнав о ранении начальника штаба и не зная, какой оно тяжести, Снесарев на миг поддался такой тоске, словно потерял родного брата. Неужели ещё одним дорогим именем пополнится список его «личных» утрат?

По счастью, обошлось. Хотя могло трагически кончиться и уже после ранения. О чём Соллогуб и поведал Снесареву через несколько дней, при отъезде на лечение. Его, раненного в голову, беспомощного, несли на носилках, а когда совсем близко разорвался снаряд, с перепугу, непроизвольно бросили оземь живую тяжесть, и начштаба скатился под уклон. Затем, стонущего от боли, его снова водрузили на носилки, и он попросил: «Вы уж

меня, братцы, тихонько опускайте!» Под взрывами пришлось ещё несколько раз останавливаться и припадать к земле, но теперь уже носилки не бросали, а бережно опускали. Соллогуб крепко держал в руке образок Сергия Радонежского и молился, молился. Когда впереди показались нечёткие фигуры, все подумали: австрийцы. У начштаба не оказалось на тот час револьвера, яд был далеко под шинелью, у солдат не было винтовок, чтобы по его просьбе-приказу покончить с ним. Он поцеловал образок и ещё крепче прижал его в руке к груди. К доброй для всех развязке это оказались не австрийцы, а знакомые сапёры.

Снесарев представил Соллогуба к ордену Святого Георгия. Его верный и мужественный помощник уезжал в тыл на лечение. Расставаясь, двое сильных мужчин чуть не расплакались. Вскоре Снесареву передали письмо: «Ваше Превосходительство, дорогой начальник и учитель, уезжая с мест, где наши жизни и интересы шли, переплетаясь друг с другом, я не могу не бросить тоскливый взгляд назад, т.к. Вы здесь остаётесь. Эти 11 недель будут самым лучшим моим воспоминанием. Спасибо Вам за всё: за учение, за расширение военного моего горизонта, за привитие мне навыков огневой тактики, за последнюю, наконец, Вашу ласку… за моё представление. Дай Вам Бог успеха и да сохранит Вас Господь. Искренно преданный и сердечно любящий Вас Сергей Соллогуб».

А ещё недавно было 9 ноября 1916 года, обоих вызывали в корпус, которым теперь командовал новый генерал (после войны Зайончковский и Снесарев станут друзьями, в Москве станут часто бывать в гостях друг у друга, станут единомышленниками на военно-теоретическом поприще).

«В 3 часа прибыл генерал Зайончковский, которому я был представлен… Зайончковский говорил главным образом о пережитом в Румынии… “Кошмар”, — как он повторял… Делал всё, чтобы освободили, ругался, писал дерзкие телеграммы, не исполнил приказа короля и т.п. Просил прислать русских штаб-офицеров, ему отказали; французы прислали генерала и 50 офицеров Генерального штаба, и теперь там захвачено влияние… отметил неудачную с политической точки зрения мысль послать Сербскую дивизию (сначала дрались хорошо, а потом стали уходить с позиции, когда заметили несерьёзность решения задачи… “нас обязательно расстреляют”): пленные болгары говорили, что у каждого болгарина дрожала рука, когда он поднимал ружьё на русского, но когда рядом с ним они увидели презренного торгаша румына, а с другой стороны своего исторического врага серба, то они подняли руку и на русского. “Можно ли так по-детски решать вопрос?..” О румынской армии говорит с полным презрением. Трусы, болтуны и полны

самомнения; врут сколько влезет. Дисциплина слабая: позицию займут аванпостами, а всю дивизию оттянут вёрст на 15 назад, в деревню: холодно, мол… Попробуешь соединиться — мадам Минареско говорит с мадам Подареску… и ничего не поделаешь.

Насколько всё это отвечает истине, сказать трудно: много личного элемента, немало хвастовства, но большая наблюдательность, политическая подготовленность и природный разум…»

Десять дней спустя Снесарев и Зайончковский снова встречаются — теперь уже комкор приезжает в дивизию, излагает суть обстановки. Катастрофа в соседней дивизии: погибло почти десять тысяч человек, а на участке корпуса, в створе между дивизиями, требуется наступление. Кто его возглавит?

Зайончковский рассказывает о разговоре с Калединым. Сначала комкор предложил на разбитую дивизию направить Снесарева, чтобы сколь можно быстрее поправить положение, а сюда — уже намеченного Эрдели. На что командующий армией возразил: «Не годится. Тут будет незнающий Эрдели, там незнающий Снесарев». Тогда Зайончковский предложил усилить 64-ю дивизию несколькими полками и артиллерийскими дивизионами и Снесареву поручить главный удар на участке корпуса. Каледин, спросив, остались ли резервы, согласился.

Снесарев обрадован и воодушевлён, обедая с Зайончковским, теперь полностью принимающими, радушными глазами смотрит на своего начальника и доброго вестника, находя его очень живым и остроумным.

9

«А теперь дело стоит так, — не без гордости пишет он жене в письмах от 21 ноября и следующего дня, — так как у меня был большой успех, а на главном ударе нашего корпуса — неуспех, дают мне силы, и я буду работать…

На остальных участках армии должны были мне помогать демонстрацией, а я должен был наносить удар… Мне сказали, что 25 ноября, вероятно, будет атака, почему ночью я подтянул все части своего “отряда” (так как неудобно было его назвать корпусом и дать в подчинение генерал-майору, который по канцелярским расчётам не дорос ещё до дивизии, то создалось такое лукавое, но, если хочешь, и лестное название “Отряд генерала Снесарева…”) и к рассвету занял предбоевое расположение. И вот утром я получаю известие, что всё отменяется и что три полка с некоторой артиллерией я должен немедленно отдать. Мои полковые командиры, офицеры и ребята

были в таком отчаянии: так всё было продумано и так было много шансов на блестящий успех; когда я по телефону отменял свой приказ, то мне в ответ слышались слёзы. Но что делать: подлые романешти отдали Бухарест, и нужно было им на помощь посылать то, что было под рукою».

Вот и торжество случая — благоприятного или неблагоприятного — на войне. В данном случае — неблагоприятного. Всё было готово к тому, чтобы состояться большой победе. Но не состоялась. Румыны сдали свою столицу — помогай румынам, как прежде бывало не раз у России, помогавшей всем своим чаще мнимым союзникам.

Оставалось одно: успокоить своё воинство и вернуть ему прежний наступательный дух — передать дивизию другим на той высоте, какой она, ещё недавно «слабая числом и духом», достигла его трудами, его волей, его душой. Ещё недавно растрёпанная — теперь лучшая дивизия в армии. Не отступающая, а наступающая. Не теряющая своих пленными, но берущая в плен (за два месяца пленены сорок офицеров и две тысячи нижних чинов, да ещё трофеи: тридцать пулемётов, бомбомёты, прожектора — в их лучах хорошо ночные карпатские холмы просматриваются…).

Снесарев называет свою дивизию своим детищем, своей Ейкой, по ласкательному имени дочери Женечки. И приходится всё это оставлять и на других холмах, с другими полками осуществлять военное миропонимание.

А его военное миропонимание — уже целая энциклопедия, которую хранят память и мозговые клетки. И на всём останавливается его проницательный взгляд. Скажем, он давно уже видит, что между пехотой и артиллерией — пропасть, что, поскольку артиллерия, прикрываясь своей особой миссией, не хочет подчиняться, но желает быть в барском положении и воевать по своему настроению и пониманию, надо восстановить единоначалие и единоответственность.

А насколько кровнотрепетна его мысль о сбережении унтер-офицерского корпуса, которому он ещё со времён ранней службы придавал высокое значение. Теперь же, после действительно невосполнимых потерь, он пишет в дневнике так, как если бы это была докладная записка начальнику Генерального штаба: «В Перекопском полку при выступлении было около 90 унтер-офицеров на роту (подпоручик на взвод, фельдфебель — отделение и унтер-офицер через 2–3… в рядах); все они легли зря, и потом на 250 — два унтер-офицера, а позднее и ни одного… То же и с офицерами: 19-я дивизия под Рогатиным, 24–30 августа Львовские бои и затем под Перемышлем… вся легла,

на взводах погибли опытные штабс-капитаны, будущие не только батальонные командиры, а и полковые… остались прапорщики… Таким образом, отсутствие организационной предусмотрительности лишило нас в первые же два месяца всякого запаса офицеров и унтер-офицеров… глупее глупого. А между тем этот запас должен был бы быть распределён по разрядам, так же как и общий имперский состав пополнений, дабы на каждую сотню рядовых пополнения было бы, скажем, 1–2 офицера и 5–6 унтер-офицеров… и так до окончания войны…»

Отсутствие организационной предусмотрительности — почти роковое упущение, но если бы только это отсутствие…

В начале ноября 1916 года умер польский писатель Сенкевич, автор знаменитого романа «Quo vadis». Камо грядеши? Куда идёшь? А в начале эры Христовой христианский мир, ныне разделённый, был един, он ещё помнил Христа, он был беззаветен, и апостолы, и пастыри его шли на мученическую смерть. Для Снесарева роман был по-настоящему значимым; не без интереса прочитал он и «Крестоносцев» — из более поздних, уже не римских, а славянских времён.

Смерть Сенкевича даже на фоне великих потерь мировой войны ощущалась как духовная утрата европейского континента.

Через несколько дней скончался престарелый австрийский император Франц-Иосиф, не доживший самую временную малость до гибели своей монархии, но уже видевший её конец.

А в Брязе, как и на всём пространстве русских фронтов, отмечают праздник Святого Георгия. «Настроение славное, чувствуешь, что принадлежишь к семье храбрых, к специальной аристократии духа (другие — ума, денег, таланта, происхождения и т.п., т.е. ума, таланта или денег — в прошлом. Идея историческая: деды поработали и сделали почти всё, что положено их роду, дети отдыхают, но пользуются благами); нас потом затрут другие аристократии, когда минует военная гроза, но ведь мы работали не для толпы и печати; мы делали своё дело по внутреннему голосу, и с минованием войны мы скромно станем в сторону, создав для других жизнь, которой некогда мы умели рисковать…»

10

Воистину — Запад есть Запад, Восток есть Восток… Снесарев в течение долгих недель мог убедиться в этом, наблюдая двух «наблюдателей» — японца Куроки и англичанина Пирса.

Куроки, капитан Генерального штаба японской службы, племянник знаменитого генерала-однофамильца, командующего

на полях Маньчжурии Первой японской армией, владельца шашки, которой тысяча лет, был неизменно симпатичен Снесареву, хотя после войны он слышал, что Куроки-племянник приложил свою руку к пропаже «золотого вагона» Колчака; впрочем, привязка — на уровне слуха, а не документа. Да и что золото! Снесарев понимал, что двум странам ещё придётся жёстко столкнуться, и грустно чувствовать, что на противоположной стороне окажутся симпатичные тебе люди.

На полмесяца к вверенной Снесареву дивизии прикомандирован англичанин профессор Пирс (Пэре) из Ливерпульского университета. Его занимает санитарное состояние и снабжение русской армии. Интерес всесторонне расширился, когда он поговорил со Снесаревым и поразился энциклопедическим знаниям русского фронтового генерала, в том числе и знаниям по истории Британской империи, его широте взглядов, проницательности и открытости. И когда в конце командировки, в начале декабря Пирс, благодарный за гостеприимство, придёт прощаться, они проговорят долго и искренно. И главная и объединяющая мысль обоих — величие русской жертвы и честного ратного труда.

А вскоре после приезда Пирса Снесарев пригласит его на обед в штаб Перекопского полка. И начальник дивизии, и командир полка скажут щедрые слова в честь английского гостя, на что профессор Пирс ответит пространно и взволнованно, дескать, они, англичане и французы, по-настоящему не знали России. И только теперь стало им ясно, что она, Россия, их спасла наступлением в Восточной Пруссии и в Карпатах. И они, англичане и французы, в неоплатном долгу перед русскими, так как они дают металл и технические средства, а Россия самое дорогое — сынов. Они только теперь поняли величие и самопожертвование восточной союзницы — великой страны России, и они преклоняются перед гением её народа и её культурой и искренне кланяются её несравненной армии.

«Присутствие иностранцев у меня в дивизии и у меня за столом, — пишет Снесарев в конце ноября, — делает нашу жизнь разнообразнее, а офицеров дивизии более гордыми: “Вот, послали к нам, знают, что мы не ударим лицом в грязь” или “иностранцы все к нам жалуют, значит, у нас интересно…”»

С японцем Куроки у англичанина Пирса всё время — пикировки по разным поводам, особенно возмущал британца обычай харакири: «грубый, отсталый азиатский обычай», на что Куроки застенчиво отвечал: «Вы так на харакири нападаете, потому что сами не можете, а у нас, если так надо, то хорошо; это хорошо, пока люди могут». По мнению Андрея Евгеньевича, «Пирс

и Куроки — антиподы; первый — парламентарий и хитроумный Одиссей, второй — монархист и чёрный. Пирс называет Куроки каменным человеком, на что тот отвечает: “Хорошо, так и надо…” И так без конца: и не могут они договориться, и чует англичанин, что ему японца не сдвинуть с места, чует, что его страна уже пережила такое время и стоит на других устоях: политика, деньги, хитрость…»

Запись в дневнике 30 ноября 1916 года: «На пути перед высотою 1527 встречаю англичанина и японца. Они заметно враждуют друг с другом. Японец говорит, что англичанин хитрый, а японец — простой и храбрый, а англичанин говорит: он, вероятно, не был в Европе, поэтому он немножко “наивный”… Сыны двух стран-контрастов, похожих только тем, что они расположены на островах, но одна — упадающая и базирующаяся на мозги и хитрость, а другая — восходящая, могущая базироваться на сердце… Бернард Пирс… Кто он такой? Профессор русской литературы (официально), или корреспондент, или шпион, или контролёр, или связник (“будить союзническое настроение”)? Не догадаешься, да и не нужно пробовать. Англия — страна умная и практичная, она имеет свои вековечные приёмы. Начать с Вильсона, бывшего при Кутузове! Пирс хороший наблюдатель, болтун, занимательный рассказчик, хотя масштаба узкого, более технического. Сегодня мы с ним много говорили, и он мне рассказал немало любопытного…»

Пирс, узнав, что за два года войны русскими потеряно более трёх с половиной миллионов человек, сообщил эту цифру премьеру Ллойд Джорджу и маршалу Китченеру, последний бросил все свои расчёты и ответил: «Теперь начнёмте думать сначала»; в Англии даже у верхов нет ясности, чего стоит России держать тысячекилометровый фронт, а русский посол в Лондоне почему-то скрывал цифру действительных потерь.

В последний день ноября, перед близким своим отъездом, и Пирс, и Куроки также были на позициях, но на опасные точки Снесарев их не взял: не дай бог подстрелят.

Тема двух наблюдателей, двух разных, далеко удалённых миров несколько раз возникает и в письмах к жене: «…Это два антипода: один сын законченной и, вероятно, умирающей страны, базирующейся на ум, политику, деньги, и другой — сын молодой страны, страны растущей, базирующейся на доблесть, сердце и способность самопожертвования своих сынов. И нужно видеть в это время, как крепки у японца черты лица, когда он говорит это, и как упорно бывают направлены куда-то его глаза… Ясно, человек не зря говорит, а что говорит, то и сделает. А англичанин, наоборот, производит впечатление человека хотя во

много раз более интеллигентного, учёного и опытного, но виляющего, взвешивающего и осматривающегося.

И какой японец монархист! Когда ему дают какую-либо задачу, очень трудную, то, поводя немного глазами, он вдруг как по вдохновению отвечает: “Император прикажет — и будет сделано…”

…Сегодня от меня уехал Куроки, уехал с печалью в сердце и выражая мне на прощание тысячи благодарностей, трогательных своим тоном и нескладным русским языком. Я привык к этому, может быть, дикому, но гордому и храброму самураю, когда-то моему врагу, а теперь самому лояльному и искреннему союзнику. И он привык ко мне, может быть, даже полюбил, ценя во мне многие качества боевого начальника; он умел простить мне, как не все мои подчинённые, некоторые мои боевые эксцессы и риски, упорно повторяя, что всё это “надо, это хорошо”. Он много мне рассказал интересного про свою молодую страну, про её будущий восход и розовые горизонты. Он боялся только одного, что американские или английские идеи проникнут к ним слишком скоро и глубоко, убьют седые заветы, предадут забвению старину и под обольстительной вывеской культуры сделают его народ слабым, уступчивым и трусливым. И я не посмел даже его разуверять, потому что всё это будет, будет как неизбежный закон природы, как течение ручья, бегущего с камня на камень, как рождение снега глубокой осенью и исчезновение его под солнцем весны».

11

Запись в дневнике 3 декабря 1916 года: «В Москве на случай бунта, готовы пулемёты, пулемётчиками при них молодые купчики Москвы, уклоняющиеся от германских пулемётов… Я узнаю тебя, либеральная передовая Москва!..»

О Москве — либеральной, красной, радикальной — он напишет и резче, ранимо видя частые, как ядовитые грибы, наросты и текущего, и более отдалённого верхневластного временщичества.

«Сегодня ко мне в руки попало несколько газет, — пишет жене

4 декабря 1916 года. — Я их умудрился прочитать одну за другою подряд и в конце чтения почувствовал, что я обалдел форменным образом: лампу стал принимать за умывальник, а свою скромную походную кровать за какую-то рыжую корову. И я вполне понимаю, что вы все там, имеющие несчастье питаться этим бумажным навозом, окончательно все одурели и очумели, и

убеждён, правую руку мешаете с левой…»

Запись в дневнике 4 декабря 1916 года: «Теперь в тылу все политиканствуют и на страданиях страны хотят построить новый порядок и своё благополучие… Армию — эту жертвующую собой, умирающую, лучшую часть России — не слушают, её мнения знать не хотят. Её похваливают, как некогда хвалили гладиаторов в цирке…»

Срок командования дивизией заканчивался. Дивизия выправлена и считается лучшей в корпусе. В ближайшее время должен приехать новый начдив — генерал Эрдели. Снесарев прощается с дивизией — то с одним полком, то с другим, то с артиллерийским дивизионом; ему кричат «ура» при входе, а когда уезжает, несут на руках до коня или экипажа. Ему подносят стихи. На проводах Андрея Евгеньевича

5 декабря 1916 года ему подарили Георгиевскую шашку с надписью: «Нашему доблестному, бесстрашному орлу-командиру с ангельским сердцем генерал-майору Снесареву в память славных боев 64-й дивизии в Лесистых Карпатах 1916 г. В.К. Криштопенко, Н.Д. Невадовский, М.А. Стугин, Н.Н. Полтанов, В.Г. Шепель, В.В. Лихачев, С.И. Соллогуб».

Последний служебный день в дивизии — 9 декабря. В этот день в дивизии должен был побывать великий князь Георгий Михайлович, родной внук Николая Первого и, что для Андрея Евгеньевича было существенней, управляющий Русским музеем имени Александра Третьего. Достойно встретить гостя царственной фамилии командир корпуса Зайончковский попросил Снесарева, который формально был уже вне дивизии, но оставался для неё непререкаемым авторитетом.

Великий князь прибыл в первой половине дня, оказался прост, естествен, искренен, вне даже малой тени подчас демонстрируемой в таких случаях избранности. Вопросы его были дельны, и он умел выслушивать отвечающих. Трогательно, без пафоса и спешки, раздал он Георгиевские кресты, и для воинов-окопников радостно было получить награду, да ещё из рук «Царева вестника милости». Затем он роздал кресты раненым, и хотя исполнял это отнюдь не впервые, но признательность офицеров и нижних чинов была столь очевидно выражаемой, что великий князь даже разволновался. «Награда не *morituris, mortuis».*

Затем в штабе — завтрак, общение с офицерами и сестрами милосердия, которые растаивают начальный ледок, и завтрак затягивается, полный радушия, гостеприимства, взаимной доверчивости и, наконец, веселья, подбивающего на кавказские песни.

«Свита говорит, что так нигде не было, и великий князь

заметно доволен. *Я* сижу против, и мы много говорим… Нехорошо, что его все хотят просить о наградах и др. Я стараюсь уклониться, а надбавок крестов (как у других) решительно отказываюсь выпросить. Великий князь охотно говорит обо всём и не политиканствует. О Государе тон почтительно-тёплый… Обо мне он всё узнал (лично спросил, как я ходил в атаку) и кое-что записал…

Зайончковский меня целует за смотр и низко кланяется. Смотр прошёл прекрасно, великий князь обещал в тот же день телеграфировать Государю».

Что же до искусства, Снесареву удалось поговорить с князем не столько о Русском музее, сколько о Верещагине, художнике, который оказался дорог и князю именно суровым запечатлением истории Отечества, а верещагинская картина «Наполеон в Кремле во время пожара» у обоих — среди выделенных.

(В начале 1919 года великого князя Георгия Михайловича вместе с тремя другими великими князьями — Николаем Михайловичем, Дмитрием Константиновичем, Павлом Александровичем — расстреляют в Петропавловской крепости. Что вменялось им в вину? За что их расстреляли? «В порядке красного террора» и в ответ на «злодейское убийство в Германии товарищей Розы Люксембург и Карла Либкнехта». Повешенные на кронверке Петропавловской крепости декабристы, «замышлявшие на цареубийство», теоретически расправлявшиеся с царской семьёй, в лице большевиков нашли своих не обременённых нравственными терзаниями преемников, которые в Екатеринбурге, Алапаевске и Петропавловской крепости оставили кровавые следы расправы над царской династией.)

На другой день Снесарев уже в Черновцах. Дивизионная страда позади, через неделю он приедет проститься.

12

В Черновцах остановился в гостинице. Холод, неуют. В штабе армии узнал, что один из его приказов рекомендован как образцовый всем корпусам и дивизиям. Здесь познакомился с членами армейской «Думы Георгиевского оружия» — полковниками Шпаковским, Кривицким, подполковниками Антипиным, Самохваловым, Рацуцким. Ещё Арсений Петрович Петровский — добрый старый знакомый.

Всегда строгий, малоулыбчивый Каледин встретил Снесарева очень радушно, за завтраком сидели рядом и говорили охотно, непринуждённо, как сто лет знакомые, как единомышленники. Нечаянно всплыл Дон, и когда заговорили о родной для обоих

реке, с неизгонимой хмурью лицо Каледина просветлело, даже тревожные складки на лбу и в межбровье словно бы разгладились.

Несколько дней плотной, с утра до вечера, увлечённой работы в армейской «Думе Георгиевского оружия». Рад был хорошей, свободной и честной обстановке. Вопросы о награждении решались обстоятельно, взвешенно, по совести, тщательно выискивались и отметались ложные представления, подмены, мошенничество. Рад был, что при строгом отборе не был «отодвинут» его помощник и друг Лихачёв: все сошлись на утвердительном слове «достоин». А сколько их, недостойных, всякого рода «стрелков», вёртких честолюбцев, ловких штабников, всякого рода опекаемых и продвигаемых жаждало заполучить высокие награды, которыми бы по справедливости должно отмечать отважных, честных, ходящих по краю пропасти, умеющих беречь чужую жизнь и готовых свою жизнь положить за други своя.

«Страшнее всего воровство боевой награды; это воровство крови, чести и гордости… А мы встречаем на каждом шагу: командиры артиллерийских дивизионов — у командиров батарей, командиры батарей — у младших… начальники штабов дивизии — у кого придётся. Делается это назойливо, с брехней, даже с унижением и критикой обворовываемых».

«Вчера вечером провёл время с Эрдели и Покровским. Первому характеризовал полки и командиров их, а второй нам рассказывал о своих прошлых мытарствах с Мёртвой головою…»

Мёртвая голова, он же Мишель Вейс, он же Михаил Алексеевич Беляев. Все трое — и Покровский, и Эрдели, и Снесарев — знают о нём, канцеляристе, ещё со времён Русско-японской войны, рутинном штабном начальнике, незаслуженном генерале, бесполезном представителе русской армии в румынской главной квартире (как возмущался последним Зайончковский!); но, разумеется, никто и предположить не может апофеоза его карьеры: в начале семнадцатого по настоянию царицы он будет назначен военным министром. Правда, министру не дадут ни поработать, ни отдохнуть. Февральские власти арестуют его и посадят в Петропавловскую крепость. Большевики его выпустят и — не пройдёт года — расстреляют.

16 декабря Снесарев приезжает в Брязу. В последний раз подписывает наградные листы, сочиняет прощальную телефонограмму, говорит по телефону с командирами полков. Ночевать ему приходится в одном доме с Иваном Егоровичем Эрдели, его преемником, его в некотором роде соперником-вытеснителем. Но, разговорясь, они найдут их сближающее и

проговорят до полуночи. Вынесенное из затянувшегося разговора впечатление: «Он говорлив и уступчив, не уловить, во что он верит и чего желает…»

Наутро в Брязе — прощание с дивизией. Со всеми помощниками, друзьями распростился — обнялся, расцеловался… На пути выстроились батальоны Перекопского полка, оркестр играет и звучит беспрерывное «ура!». Снесарева только и хватает на несколько фраз — перехватывает горло. Подходят батальонные командиры, подходят офицеры, и никто не прячет слёз. Он едет вдоль фронта, отдавая честь… «чувства много: они меня любят, эти серые представители любимого мною полка… А там пролетели дома Брязы, и всё осталось в прошлом… и былой труд, и бои, и пережитый риск, полный пафоса, и любовь людской массы, и думы, и боевые мечты… Всё мимо, всё туда, в ту пропасть, что зовётся прошлым…»

Под вечер он возвращается в Черновцы, встречается с графом Гейденом. О нём уместно сказать здесь несколько слов. Граф Дмитрий Фёдорович Гейден (1862–1926) — после Русско-японской войны вышел в чине полковника в отставку. Депутат Государственной думы. В Первой мировой войне исполнял должность дежурного генерала в штабе Восьмой армии. В революцию принял сторону белых, служил в Добровольческой армии. В июне — августе 1919 года был начальником гарнизона города Царицына. Знал, разумеется, что годом назад красными войсками командовал здесь Снесарев. Говорили о нём по-разному, но обычно — уважительно, как о человеке чести. Кроме разве большевиков. Не о нём ли писал Ленин в стиле ругательном, как это он чаще всего делал со всеми, кто был иных, чем у него, воззрений и жизненных правил?

В долгой беседе Снесарев делился своими излюбленными мыслями об огневой тактике. Главное — духовное начало: с подчинёнными надо сродниться; пойдут в атаку только за таким командиром, которому верят, которого постоянно видят в окопах, который делит с ними хлеб-соль, который всё делает для того, чтобы как можно меньше их полегло в бою, для чего тщательно и аналитически изучает местность, предусмотрительно готовит в свои союзники скорое боевое поле.

Наутро Дмитрий Фёдорович Гейден, «истинный и искренний либерал», предоставляет автомобиль, чтобы довезти до Каменец-Подольска. Погода дождливая, что согласно примете, для Снесарева почти безусловной, к удаче. Но на душе уныло. В полдень автомобиль доставляет его в Каменец-Подольск, и пока он идёт от вокзала до дома близкого ему Евстафия Константиновича Истомина, встречает нескольких знакомых, и

никто его не узнаёт — «война людей меняет, делая их иными».

А 23 декабря он прибывает в Петроград, где отпуск его прихватывает и неделю следующего года — семнадцатого, рокового… Первое и безошибочное впечатление от столицы находим в дневниковых записях.

«Петроград интересен как тыловой центр в дни тяжкой и великой войны. Он нервен, полон пересудов и сплетен, лишен нормальной, уравновешенной перспективы. Конечно, война — дело большое и трудное, она несёт с собою различные лишения, но всю эту трудную и сложную картину надо понимать, надо уложить в ясные рамки, чтобы создавать верные выводы. Путаница причин с последствиями, смешное расширение размеров тех и других, создание новых причин, смешных и карикатурных по своему содержанию… Это всюду, на каждом шагу. Например, взять одного Распутина. Сколько легенд с ним связано, сколько силы (и политической, и половой, и какой угодно) ему приписывается. Может быть, он в действительности является марионеткой какой-то скрытой, но определённой и большой силы? Теперь он убит; по естеству вещей ему должна найтись замена…

Второй пример: сумма слухов и гаданий вокруг молодой Государыни… слух о передаче в её руки всего внутреннего управления как несомненный венец сплетнического творчества Петрограда… Этих двух примеров достаточно, чтобы представить нервную и нравственную физиономию Петрограда; откуда что идёт, кто, чем и для чего дирижирует, какая основа для слагания всяких слухов и сплетен, кто на это может дать определённый ответ?»

Его развёрнутый вопрос и есть ответ. В одной из недавних «молодогвардейских» книг о Распутине высказывается предположение, по крайней мере, в других случаях двумя-тремя столетиями подтверждаемое, об английском следе. Может, шире — о масонском следе. Известно, что Распутин (здесь не рассматривается его тёмная сторона, его, может, и блудливо-похотливая одержимость) решительно был против того, чтобы Россия воевала с Германией, он даже слал царю отчаянные телеграммы из Сибири, находясь там в летние дни начала войны; быть может, он непостижимым чутьём чувствовал, что традиционные угрозы, исходящие от Англии, сработают и на этот раз, и — погибельно.

Из дневника узнаём, что Новый год встречают Снесарев с женой на службе в соседнем монастыре… Там же пишет, что отношения с женой «не без шероховатостей, возникающих спорадически». Подчас — словно на разных берегах, на разных

языках. Об «искусственности», об условности и «неестественности» брака — социально несовершенного установления, может, впервые заговорит именно в отпуске. Тем не менее брак, а строже и глубже говоря, повенчанность мужа и жены — несомненная ценность, в конце концов, и часто счастливая привычка, отсюда и страх разрушить пусть и крепкое, но всегда хрупкое здание — семейное гнездо. Говорит и о «бессознательном выравнивании прав», о которых сознательно-нацеленно трубит пресса, словно околдованная феминистками, суфражистками, боевистками…

Было время обдумать темы будущей книги «Огневая тактика». Последняя, как часть общей тактики, являет ясно отмежёванное поле идей, исследований, правил и действий. Здесь всё имеет значение — положительное или отрицательное — и действительное или мнимое военное воспитание, и способность или неспособность командира в нужную минуту встать под смерч смерти, и духовная, физическая, моральная подготовленность или неподготовленность нижнего чина. А разве не существенные недуги, приходящие в армию из общества, — «карьеризм (сначала личная удача, а затем общая), враньё, отсутствие чувства взаимной выручки (даже злорадство по поводу неудач), гражданское малодушие…»?

Дневник — россыпь мыслей и наблюдений для «Огневой тактики». Делающий заметки убеждён, что понятие это широкое и предполагает многое: «Чтобы поднять человека на бой, сделать его боеспособным, нужна широкая захватывающая система, в которой ни от чего нельзя отказываться и в которую бы входило привитие долга, внушение страха, привычка к порядку, вызывание понимания…»

По мнению испытанного военачальника, неудача любой операции — это непродуманность её внизу, то есть в сфере огневой тактики… «Всегда чувствуется какая-то демаркационная линия между общей тактикой и огневой тактикой… по законам первой — приехал начальник и завтра ведёт солдат в бой, а по второй он должен ответить: пушками и местностью я возьмусь распоряжаться хоть сейчас, а сердцами людскими — нет, для этого дайте время; я должен их понять, а они меня… Разве первые дни так смотрели на меня офицеры и солдаты, как теперь? Нам история оставила в наследство кукареку и причуды Суворова, белого коня и белый китель Скобелева, приёмы других… всё это — область огневой тактики: поднятие настроения и связь начальника с подчинёнными…»

Снесарев, за долгие месяцы войны пройдя через окопы и высоты, проведя десятки боёв, вынес глубокое убеждение, что

прежде чем начинать какое-либо дело, надо его рассмотреть с разных сторон, осмыслить главный путь и поле боевой страды, семь раз отмерить, чтобы отрезать: «И вся подготовка к бою сводится к массе разных расчётов — духовного, материального, топографического, организационного и т.д. содержания. Нет и тени чего-либо возвышенного, красивого, гениального. В основе успеха — труд упорный и всепроникающий, конечно, при знании дела вообще и солдатской души и тела, в частности…»

Он мысленным взором окидывает древние времена и в мирный, и в немирный час, он видит, что «дисциплина начиналась с пелёнок и не была тяжела, так как была второй натурой».

Уже отвоевав более двух лет, глубокой осенью 1916 года Снесарев скажет: «…Вообще, мы не только воюем, мы много мыслим, анализируем и рассуждаем; целая семья вопросов, ходящая вокруг явлений войны… волнует наши мысли и ждёт от нас тех или иных решений. И воюя, отвлекая нашу мысль и нервы боевой работой, мы не забываем, что на нас в те же минуты лежит обязанность наблюдать и делать выводы… они так нужны будут после войны. Иначе загалдят другие, которые смерть видели разве во сне, а не лицом к лицу, и о боевых полях, о том, как люди живут, двигаются на них и достигают победы, они станут говорить под диктовку своей нездоровой и малодушной фантазии».

И чтоб упредить этих тыловых публицистов-историков, малодушных фантазёров, всякого рода «оценщиков-стрелков», он, во время отпуска так надеявшийся перечитать страницы мировой литературы, откладывает в сторону любимых Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина, Тютчева, Гоголя, Лермонтова, Достоевского. Он просматривает военные книги, мемуары полководцев, вспоминает недавний фронт, делает записи.

КНИГА ВТОРАЯ

РУССКИЙ ИЗЛОМ. 1917

В январе 1917 года Снесарев назначен на должность начальника штаба Двенадцатого корпуса Девятой армии. Девятая армия — одна из самых крепких и стойких. Другие армии тоже могли бы подтянуться, имея достаточную огневую мощь, и она ожидалась.

И снаряды, и патроны теперь производились в преизбыточной численности, их хватило бы для долгих, затяжных сражений. Начало года, сложись всё по-хорошему, обещало России успех. Но…

Независимо от того, какой переворот (февральский или октябрьский, выпестованный февральским,) имел в виду Черчилль, но слова его — грустная оценка происшедшего с Россией в 1917 году: «Ни к одной из наций рок не был так беспощаден, как к России. Её корабль пошёл ко дну, когда гавань уже была на виду…»

1

8 января 1917 года Снесарев трудно расстаётся с семьёй: и дети и жена не отпускают его до последнего мига, словно втайне надеясь, что он опоздает на поезд и таким образом опоздает на все поезда, уходящие на фронт. Но вечером он уже в купе, и синий экспресс увозит его в неизвестность, вернее на фронт, ещё вернее — в Ставку, которая, вынужденно оставив Барановичи, перебралась в Могилёв — город со столь потусторонним внежизненным названием, столь неуместным для высшего военного органа Российской империи. Большая радость: едет с ним его младший, неизменно верный друг Сергей Иванович Соллогуб, и они до полуночи говорят о недавнем былом и как сложится дальше.

В Могилёв поезд приходит утром. Мирный городок, хотя и переполненный военными.

Но здесь есть сравнительный смысл взглянуть на Могилёв грядущий, из другой войны, глазами писателя Платонова, который в репортаже «Город на Днепре», опубликованном в «Красной звезде» в июне 1944 года, писал: «Могилёв стоит на возвышенном правом берегу Днепра. Летнее солнце освещает сейчас его печальные строения — каменные стены без крыш и окон, обезглавленную каланчу, мёртвые руины. Гарь пожаров стелется… Из города группами выводят пленных. Мы всматриваемся в их лица. Иные… выражают смертное отчаяние,

иные фаталистическую обречённость, подобную спокойствию, иные — затаённую ненависть к победителям». Что ж, ненависть к победителям — чувство, знакомое побеждённым во всех войнах и во всех веках, только, как часто случается в беге истории, победителей-то нет. Есть разве что победители на час.

Разместись в номере, крохотном и бессовестно дорогом, Снесарев идёт завтракать, где встречает Лукомского, который с ним «мило беседует и передаёт впечатления своей дочери» (Лукомский — будущий участник Белого движения, начальник штаба Добровольческой армии, его дочь — сестра милосердия хирургического передового отряда в снесаревской дивизии); видит друзей и знакомых — Базаревского, графа Ромеи, Кондзеровского; встретясь в Ставке со Скалоном, всё ещё полковником, постаревшим и сникшим, вспоминают дорогие и уже дальние дни совместной службы в Главном управлении Генерального штаба.

На следующий день Снесарев решил навестить генерал-адъютанта Н.И. Иванова, знакомого ему ещё по Киевскому военному округу, недавнего командующего Юго-западным фронтом, человека, которого многие военные воспринимали как ошибочную личность на столь ответственных постах. Были, разумеется, и защитники его имени, как, например, генерал Краснов, но Снесарев был не из их числа. Что его побудило встретиться с Ивановым: первое ли впечатление, когда он, едучи с вокзала, увидел его, генерал-адъютанта, ещё недавно повелевавшего сотнями тысяч солдат, офицеров и генералов, а тут шедшего одиноко, неприкаянно по привокзальной улице, остановившегося и давшего нищему денег, нехитрое любопытство или желание что-то прояснить в человеке, который имел власть над ним, его солдатами и его начальниками. Жил Иванов, как и многие в Ставке, в вагоне, неподалёку от вокзала. О встрече Снесарев посчитал необходимым рассказать подробно, и дневниковая запись — грустное эмоциональное переживание, может быть, непроизвольно адресуемое потомкам.

«Я пришел, он отослал подполковника и встретил меня словами: “Я вас не узнал. Вы как будто стали выше… Что скажете?” Мы сели. Генерал Иванов почти не изменился, глаза только несколько впали, да в бороду прибавилось 1–2 лишних седых волоса. Вопрос намекал на допущение какой-то с моей стороны просьбы; очевидно, визитёры Иванова по большей части просители и, как позднее я убедился из разговора, часто жалобщики: нормального интереса и вопросов военно-научного порядка, очевидно, генерал-адъютант Иванов ни в ком не вызывает… кроме меня. Я ответил: “К вашему

высокопревосходительству у меня никакой просьбы нет, но я решил посетить своего старого начальника, чтобы приветствовать его и справиться о здоровье". "И что же, — подхватил Иванов, — вы ожидали увидеть согбенного, пришибленного, болезненного старца?" Отвечал отрицательно…»

И тут Иванов стал делиться предположениями, почему он был смещён. Надоедал начальнику штаба в Ставке письмами и телеграммами о работе тыла, из рук вон плохой, часто оспаривал директивы высшего военного руководства, упорно возражал против мартовской операции у озёр Нарочь и Вишневское из-за погоды-распутицы, недостаточной подготовленности низших командных чинов, неналаженной связи с тылом.

В этих своих возражениях он встречал противодействие своих коллег — командующих фронтами Куропаткина и Эверта, якобы жаждавших драться и бывших уверенными в победе; их поддерживал Алексеев — он спал и видел, как русские войска входят в Берлин.

Операция провалилась, и оправдавшееся «злое пророчество» Иванова, как он полагал, явилось причиной его отставки. Называл он и другие догадки, с иными можно было согласиться, но чего Снесарев никак не мог принять в Иванове — его упорного желания видеть в армии только худшее: большие потери, слабый боевой дух, пренебрежение тыла окопами, повсеместно плохое снабжение. Андрей Евгеньевич доказательно возражал, но видно было, что Николаю Иудовичу это не требовалось: удалённый от армейского верха, он словно бы мстил родной армии своим неверием и угрюмым брюзжанием.

«Мы расстались, генерал-адъютант Иванов производит самое безотрадное впечатление. В этом историческом человеке — будирующем, интригующем, болтающем направо и налево с целью злословия и всё великое топчущем под пятою личного благополучия — я узнаю мою некультурную, грязную и узкую родину, её изнанку, её больную сердцевину… Как могли эти люди достигать высот? Как могли они править людьми? Как могли они решать исторические вопросы?»

Через каких-нибудь полтора месяца Иванов всплывёт в Петрограде командующим Петроградским военным округом: 27 февраля 1917 года император всероссийский после встречи и долгой беседы с ним направит его в столицу с войсками «водворить порядок». Это перед самым своим отречением, в канун февральских событий! Арестованный Временным правительством и освобождённый в конце года, Иванов уедет на Дон, поддержит Краснова, примет пост командующего Особой Южной армией, скорее опереточной, нежели реальной, но ни руководить по-

настоящему, ни воевать ему уже не придётся: вскоре он умрёт от тифа, не щадившего ни рядовых, ни командующих.

Утром 11 января Снесарев прибывает в Киев. На этот раз не стал навещать своих знакомых, а решил день посвятить прогулке по городу, который давно уже находил одним из самых красивых для своих глаз и одним из самых дорогих для своего чувства древней родины («Углубляюсь тёплым и растроганным сердцем в седую старину моей страны»). Может, немало значило и то, что именно в Киеве осуществлял своё высокое православное служение, своё духовное просветительство уроженец Воронежской губернии, не только его земляк, но и его родственник знаменитый Болховитинов, в монашестве о. Евгений, митрополит Киевский и Галицкий, похороненный в Сретенском приделе Софийского собора. Бывая там, Снесарев подолгу простаивал у черномраморного надгробья, погружаясь, словно в волны родного для обоих Дона, в исторические глубины Отечества и Православия, обуреваемый чувствами высшей предопределённости и неисповедимости судеб.

На этот раз для молитвы и осмотра он избрал собор Владимирский. По Бибиковскому бульвару неспешным шагом добрёл он до его врат и паперти. Заканчивалось богослужение. Помолясь, он долго пробыл в соборе, пленясь художественной росписью Васнецова, а также Нестерова, расписавшего притворы «нежными одухотворёнными тонами… образы с худыми телами и условным ландшафтом»; хороши и орнаменты Врубеля, росписи Сведомского, Пимоненко, Котарбинского, но Васнецов и Нестеров давно уже были для него наиболее значительными выразителями национальной художественной мысли — былинной и православной, и их полотна и росписи он готов был рассматривать часами.

После соборной службы и духовной пленённости васнецовскими, нестеровскими иконами-картинами, умиротворённый, он шёл по Фундуклеевской, как вдруг встретилось нечто такое, что сразу напомнило и о том, как нарастает армейская разболтанность, ещё недавно немыслимая, и какая на дворе политическая погода, и куда скатывается империя, — «разваленной толпой прошла военная команда». Снесарева особенно укололо, что это была частица его мира — военного, и он резко приказал: «Команда идёт бабами… старший, собери людей!» Солдаты подтянулись и пошли, как им должно идти. Но окружающие уже дышали воздухом свободы: три курсистки, словно обидясь на слово «бабы», не к ним ли отнесённое, смерили его насмешливыми и не лишёнными высокомерности взглядами; молодой киевлянин, видать, юрист, видать, адвокат, не без

робости крикнул вослед: «Нет ответственного министерства, вот офицеры и забываются на улицах».

На Крещатике он долго простоял в хвосте очереди, ожидая конку в направлении Лавры, а когда очутился в пещерах с мощами преподобных Антония и Феодосия, былинного Ильи Муромца, «опять вступил в трогательную старину, которая меня согрела, приласкала и проводила…»

На следующий день Снесарев — уже в Каменец-Подольске, куда добираться ему выпало с полковником-инженером Алымовым, шестидесятипятилетним, но ещё не отставным. Подружась за недолгие часы, они переговорили и о Руси, трагической былым, и о России, трагической нынешним. Один из рассказов полковника невозразимо иллюстрирует тезис современного отечественного философа А.С. Панарина о жизнекрепости и разносудебности иронии и пафоса — еврейской иронии и русского пафоса. Обратимся к дневниковой записи: «Это хороший, прекрасно настроенный человек, который добровольно пошёл на войну и теперь недоволен, что много получает денег… Он представляет собою прекрасную смесь монархиста с прогрессистом и искренно болящим за текущие внутренние неурядицы… привёл интересный случай: он ехал с одним присяжным поверенным, и тот, узнав о его смоленском имении, рекомендовал таковое продать по мотивам: 1) получит миллион, 2) всё равно крестьяне его ограбят. “Вы какой национальности?” — “Вам зачем это?” — “Да вы мне скажите”. — “Ну, положим, еврей”. — “Так вот, видите, в ваших расчётах и выкладках много правды, но вы забыли одно: моё имение — это моё родовое гнездо, в котором я буду умирать, а с продажей его мне умереть негде”».

Снесарев предполагает, что присяжный поверенный не понял или не принял эмоционально-ностальгического чувства и в душе посмеялся над наивностью арийца. И действительно, что останется от тех имений с их прудами, родниками, парками? Что останется от родовых многостолетних гнёзд? Мерзость запустения, развалённые церквушки, порушенные склепы и клочки платьев голубых на ветках тёрна в терновых зарослях… Это ли не поражение пафоса! Пафоса не в его чистом назывном виде, но в сложной гамме чувствований воодушевления, жертвенности, чести, стыда, совестливости, виноватости перед страдающими, которых так много на родине и в мире. Присяжный поверенный вполне мог поиронизировать над заведомо «проигрышной» верностью русского человека родной земле, которую время, лихолетья, сломы природные и человеческие в силах изувечить, обезобразить и снести всё, что на ней есть, —

парк, сад, холмы, могилы, церковь. Превратить в иное.

По прибытии в Каменец-Подольск Снесарев навещает семью Истоминых — близких знакомых. Отдохнув, переодевшись, идёт в штаб фронта, встречается с А.А. Брусиловым, Н.Н. Духониным, Г.И. Кортацци, от которого узнаёт, что его опять обошли дивизией, хотя Брусилов, высокого мнения о Снесареве, хотел дать ему дивизию… Но объявилась целая когорта гвардейских кандидатов-претендентов, и командующий фронтом поостерёгся будить их недовольство.

2

14 января — Каменец-Подольск, Коломыя, Тартарув. Он уже назначен Ставкой начальником штаба Двенадцатого корпуса, ему высылают автомобиль из 12-й дивизии, в Коломые он встречается с уже бывшим начальником штаба корпуса Константином Фёдоровичем Щедриным, ещё ничего не ведающим, затем следует в Тартарув, в дивизию, которой отдано более полугода беспрерывных трудов, чувств, бессонниц, ума и сердца.

Вечером начальник дивизии приглашает Снесарева в перевязочный отряд Красного Креста, который ещё недавно был в ведении 64-й дивизии — снесаревской. Естественно, сестры милосердия искренне обрадовались, много шума и крика. В долгой и живой беседе они иронизируют над сменившим Снесарева Эрдели, его манерами, подчас более женскими, нежели мужскими, переходящими в манерничанье… Пусть и так, но на Андрея Евгеньевича это заглазное обсуждение начальника производит грустное впечатление: «говорит об умелом вступлении девиц в нашу грешную жизнь».

Дальнейшее течение вечера скрашивает беседа с сестрой милосердия-голландкой, сорокалетней дамой, весьма начитанной, по образованию лингвисткой, хорошо знающей до десятка языков, кроме… русского; на французском они начали с географии, многозначащей в жизни и судьбе стран, а затем перекинулись на тюркские языки и наречия, до которых у голландки был интерес, а у Снесарева — большой запас знаний, часть из них он и обрушил на лингвистку; при прощании она восторженно призналась, что «никогда не думала в диких Карпатах вести с русским генералом такой захватывающий разговор…»

Снесарев чувствовал, что от дивизии отвык и смотрит на неё словно бы посторонними глазами. Впечатление о некогда родной дивизии — самое безотрадное. Пишет, что «Вирановский с пируэтом балерины явился в прекрасную дивизию, снял с неё

пенки, обезлюдил, разложил и, ничему не научивши хорошему, ушёл»; пишет, что «…вообще на всём фоне 12-й дивизии развал и непорядок: лёгкая, развратная и трусливая рука Стрелка наложила на всё здание свой отпечаток, разложила прекрасное здание, сложенное трудами и мужеством Ханжина, не внесла ничего полезного и, воровка, ушла восвояси…»

И всё же напрочь вырвать ещё недавно родную дивизию — всё равно что вырвать кровеносную жилу из своего сердца. Он подолгу разговаривает с новым начальником дивизии — человеком «тихим, скромным, трудолюбивым», который, находясь в Ставке, вынес оттуда наблюдения и впечатления — именно свои. Снесареву они показались интересными. «Государыня хорошо говорит по-русски, с лёгким, еле заметным акцентом, женщина властная и сильная духом… во внутренних делах имеет большое влияние… Основная черта Романовых — женолюбие, привыкание к одной женщине, семейность, и вообще это примерная пара… Государь не от мира сего; он, кажется, ближе к Богу, и иные минуты кажется, что он очень далёк от земли и грязных людей и взирает на них с какой-то рассеянностью и холодным безразличием…»

Всю вторую половину января Снесарев пребывает в Коломые, где разместился штаб Двенадцатого армейского корпуса. Образовалась вакансия штаб-офицера Генерального штаба, и Снесарев просит фронт и хорошего знакомого в Ставке генерал-майора Раттэля назначить на неё Генерального штаба капитана Соллогуба, испытанного фронтового друга. В эти дни Снесарева часто навещает Нечволодов, генерал, историк, близкий к Государю. Он замечательный и многознающий рассказчик, но «человек экспансивный и нуждается… в поправках и в сдержанном доверии…»

Забавный штрих, подтверждающий известное правило: то ничего, то что хочешь. Когда Снесареву уже было определено стать начальником штаба Двенадцатого корпуса, генерал Каледин, командующий Восьмой армией, велел запросить его частным образом, не готов ли он принять штаб Двадцать третьего корпуса, который был приписан к Восьмой армии. Видимо, Каледин, близко узнав Снесарева, хотел, чтобы тот остался в его армии. Предложение достойного генерала Андрей Евгеньевич принял за честь, и всё же вынужден был им поступиться, ответив, что уже дал согласие на штаб Двенадцатого корпуса и теперь, к сожалению, считает неудобным изменить своё решение. Несомненно, имело значение и то, что с генералом Экком, командиром корпуса, куда приглашался Снесарев, у него были прежде, пусть и мелкие, но размолвки, могшие или пропасть или

разрастись. А на Двенадцатый корпус его пригласил, даже просил его командир генерал Кознаков, давно им знаемый и уважаемый военачальник.

24 января Снесарев едет в Сорок первый корпус, где с его командиром Бельковичем оговаривает *modus* смены корпусов. Командир корпуса «производит прекрасное впечатление простотою (несколько грубою), непосредственностью, отсутствием формализма и разумностью в суждениях, но… как будто некоторым ущербом в волевой части и способностью больше сомневаться и дольше, чем следовало…

Вечером — проводы генерал-майора Щедрина, где нас угощают очень обильно; около меня… пьют бесконечно, пока не хмелеют (теперь только разбавленный спирт) … Дым стоит коромыслом, лампы чуть не гаснут… Внешне — атмосфера кабацкая, но настроение тёплое и хорошее… В час… я ухожу, чувствуя, что к утру или ночи сидение с трубкокурами даром мне не пройдёт…»

Действительно, сидение с трубкокурами обошлось в дорогое удовольствие — на другой день Снесарев поднялся с чадной головной болью, весь землисто-зелёный и такой обессиленный, словно вагон мешков перетаскал, — не хватало сил даже побриться. Но дела — не отложить. С утра с помощником Владимиром Константиновичем Гершельманом пишет приказ о своём назначении, встречается и докладывает командующему корпусом. А вечером повторяется вчерашнее: у Леонида Афанасьевича Савчинского по второму кругу затеяны проводы Щедрина. Играют в винт, ужинают хлебосольно и многовыпивочно.

Начальник штаба — дивизионного, корпусного, армейского — фигура высокостатутная. Деникин, правда, говорил, что должность начальника штаба, в известной степени, обезличивает назначенного на штабной пост. Но надо быть Снесаревым, чтобы в любом назначении и любой обстановке не стать обезличенным. Талант сильнее любых интриг обезлички, тем более его талант — яркий, цельный и многообразный.

Последующие январские дни — в обычной штабной, подчас суетливой работе, посещениях дивизий и полков, докладах и беседах с комкором. Когда выпадают прогулки, много раздумывает, прежде всего, над вопросами неразберихи в войне, неточными решениями, неразвитостью духовных начал. Записывает в дневнике: «Сколько опытов, инструкций и нововведений дала война, и как во многих вопросах мы шагнули вперёд, и только мы ни одного шагу не сделали в принципах и приёмах подбора и формирования начальнического персонала…

Выдвинуты ли отмеченные даром и духом люди? Уловлены ли шансы и способы выделения? Вообще, духовная сторона дела не затронута, мы с ней играемся, не более».

Снесарева немало удивило, когда ему знакомый фронтовик сказал, что, дескать, молодые офицеры от Вирановского в восторге. Он не один месяц пробыл бок о бок с последним, и, подавляя неприязненное чувство к человеку, далёкому не только ему, но и настоящим нуждам войны, не «сродственному» избранному делу, как говаривал один бродячий и глубокий славянский философ, не мог понять или принять мотивы молодого восхищения. Да, панибратства, застольного размаха, умения вписаться в любую кампанию и даже стать в ней ведущим — всего этого у Вирановского не отнять, но не этим же города берут, а тем более долго и с малыми жертвами воюют, и Снесарев с надеждой истины замечает: «Пусть история врёт, и в будущем будет всё спутано, но хотя бы современники знали и чувствовали правду». С горечью размышляет: «Когда видишь орден на чьей-либо груди, то первым делом возникает вопрос: не грудь ли это лжеца или вора, укравшего награду у убитого друга или скромного подчинённого, а может быть, это грудь человека, имеющего связи или знакомства… Это приходит в голову, а должно бы приходить другое: вот человек, который некогда был на волоске от смерти, но который не пал духом, сделал подвиг, а Бог сохранил ему жизнь…» Но от червя сомнений трудно было избавиться, поскольку Снесарев в среде награждённых видел этот легион ложно отмеченных — ловких и бесстыжих «пенкоснимателей», которые разве что у краешка войны побывали, хорошо ещё, если безграмотными приказами не уложили погибельно солдатские роты.

Суровая же реальность войны, суровая её правда заключались в умении маложертвенно воевать, а если выпадет погибать подчинённым — при необходимости погибнуть и самому. Погибнуть осмысленно, достойно и мужественно. Погибнуть, хоть ты трижды начальник.

Идея самопожертвования — роковая и глубинная идея войны. Сокровенная и единственно нелицемерная. Она полностью захватывает отважных и честных.

Однажды к нему зашёл батюшка запасного полка, лет за тридцать. Он вызвался на войну добровольцем, был в боях, но вскоре ему запретили ходить в атаки, да и показываться в окопах: мол, черно одет… «Стараешься наставлять паству, — говорит он, — да верят ли? Другое дело, если сам можешь в первом деле показать примером, что верен сам-то своим словам».

Во время одной из прогулок по улочкам Коломыи, в тихое и

морозное предсумеречье, на пути ему встречается мальчик, играющий с колесом, вернее, тем, что от разваленного колеса осталось. Это у него некое подобие игры в футбол. Мальчика, в негреющие лохмотья одетого, пробирает стужа, он закрывает и трёт озяблыми руками красные уши, но играть не перестаёт. Он не замечает прохожих. И это видение убогой игры маленького человека вызывает в Снесареве гамму чувств и мыслей, грусти, даже тоски, но, быть может, и надежды. «Как счастлив и как несчастен он в одно и то же время, что не замечает тех грозных явлений, которые бушуют вокруг него; счастлив потому, что иначе они убили бы его, задушив его юное восприятие и огадив его первые робкие думы, несчастлив потому, что мимо его плывут мировые события, а он смотрит на них случайным взором непонимающего животного…» И далее: «Дети должны играть, бегать и скакать, хотя бы это делалось на страшном фоне войны; природа физической жизни говорит в них сильнее, чем природа восприятий и восприятий обобщённых…» Надеется и верит, что война «бессильна над растущим поколением…» Но что будет с этим растущим поколением? Какой ему жребий выпадет, покамест единому в своём желании игры и радости? Что привнесут нынешние дети в мир? Станут ли жить по заповедям Христа, будут ли тянуться к гармонии Моцарта и Пушкина? Пли и они попадут под жернова очередной войны, и могилы их обозначатся скоровкопанными крестами, придавятся разнопородными камнями, порастут жёсткими травами?

Вскоре он вновь вернётся к волнующему его и напишет жене: «Дети на войне, когда победитель вступает во взятый город, толпами бегут за вступающими колоннами, смеются и пляшут… а там в комнатах, в тёмных углах, в эти минуты прячутся их матери и старшие сестры, дрожат от страха и плачут горючими слезами… Дети останутся детьми, и только после, сквозь дымку смутных воспоминаний, они припомнят то крупное и великое, и ужасное, и красивое, что они когда-то пережили и мимо чего они проскакали на одной ножке, упорно продолжая свою детскую игру…»

Подоспела пора прощаться с Коломыей. Отужинав у генерала Веселаго, командующий корпусом, начальник штаба, его помощник и корпусный врач отправляются на поезд, поскольку выяснилось, что автомобили по занесённой снегами дороге не пройдут. Едут в одном купе. Гершельман много рассказывает про декабристов, которых он очень хорошо знает (его жена — правнучка декабриста). «Он поражает подробностями и точностью передаваемых им сведений (Шервуд, Май-Борода…). Между прочим, он говорит, что люди эти и их дело перекрашены, что по

существу — как и думает, например, Платонов — это было чисто дворянское движение, а не влечение широких слоев к более просвещённым формам жизни. Я засыпаю под его интересный рассказ; когда я проснулся… мне было стыдно за свою неделикатность и слабую заинтересованность».

Многое из того, что услышал Снесарев о декабристах, было ему известно, одно время он пытался всесторонне осмыслить это противоречивое движение, читал о нём разное, иные из декабристов ему были симпатичны, и всё же он окончательно утвердился в мысли, что то явление было более заимствованное, фрондёрское, нежели органично-национальное. «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена…» — поэт резок: едва ли у народа выкраивались досуг и страсть поносить заблудших, но вероломство, измена присяге, царствующей фамилии… что было, то было, и Снесареву слова Тютчева являлись на память не раз.

В последний день января утром, сойдя с поезда, Снесарев и его товарищи на автомобилях переезжают на новое место. В Тысмянице теперь располагается штаб корпуса, а весь корпус тянется вдоль реки Голутвинница Быстрая. Для начальника штаба заготовлена просторная комната в четыре окна, глядящие на юг, откуда в солнечные часы проливается ласковый свет. После обеда начальник штаба едет в Станиславов, где посещает обе дивизии, чтобы и их сориентировать и сориентироваться самому.

День спустя Снесарев с удовольствием побывал на солдатском спектакле инженерного полка. Публика благодарная — офицеры, солдаты, сестры, местные жители… Под занавес — «Як умру, то поховайте…»

(Помню, как в детстве, в отрочестве любил декламировать эти прекрасные начальные строки, волновала ритмика стиха, волновали первые две строфы, а далее уже было вроде и второстепенное; но у Шевченко, моего любимого в детстве поэта, там-то, в последних строфах, и кипела уже неостановимая ярость и ненависть к назначенным врагам; Гоголь в беседе с земляками — учёным Бодянским и писателем Данилевским указывал на это отсутствие любви и энергии добра в немалом числе строк Кобзаря; Данилевский дал описание той беседы в «Знакомстве с Гоголем». Опуская возражения Бодянского, частично процитируем сказанное Гоголем про собственно творчество Шевченко: «Дёгтю много… дёгтю больше, чем самой поэзии. Нам… надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке одного, владычного языка для всех родных нам племён… язык Пушкина… нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, нетленная поэзия добра, правды и красоты. Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем

помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они всё ещё дожёвывают европейские давно выкинутые жмаки. Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные… Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, Кто дал нам вечное человеческое слово…»

Снесарев, имея в себе токи русско-украинской крови, близкое бытие родственных славянских душ, не без горечи воспринимал заочную взаиморазмолвку сыновей славянства. Он по-гоголевски верил в то, что Свет Христов нравственно преобразует человека. «Молился Создателю мира с чувством глубокой веры и признательности»; «Слово Божие будет так же раздаваться по церквам и полям…»; но и понимал он, что многое в творчестве Шевченко вызвано и объяснимо «закрепостительными» обстоятельствами жизни. Ему, с детства любившему слушать и петь чудесные малороссийские, украинские народные песни, было очевидным осуществлённое стремление Кобзаря литературно возвысить и обогатить родной народный язык.)

Разумеется, спектакли — редкость. А военные вопросы объявляются самые неожиданные. Новое наступает каждодневно, ежечасно. Прослушав германскую радиотелеграмму, мысль, отражённую точками или тире с расстояния едва ли не в тысячу километров от Берлина до Тысмяницы, Снесарев понимает, что это лишь начало. Что наступит время, когда мысль перестанет быть сокровенной тайной и силой внутри человека, что её можно будет, против воли человека, выявлять, расшифровывать, выставлять на всеобщее обозрение.

Начальник штаба не только старается ничего не упустить, всем интересуется, часто привнося своё видение — перспективное. С начальником радиотелеграфной станции вырабатывает инструкцию, как помешать корректировке стрельбы с австрийских аэропланов; с начальником бронебойных отделений обсуждают план, как бронебойщикам поступать при атаке и при обороне. Делает выводку лошадям Крымского эскадрона, расспрашивает конников, что у тех наболело на душе, что не так. Беседой доволен: «Все татарчуки — народ прочный и простой; они смотрят внимательно и бодро… Командир эскадрона рассказывает случай, что к ним пришли совратители. Результат был неожиданный: их связали, наколотили всласть, а потом представили начальству. “Люди верные, прочные и Царя любят”, — говорит эскадронный командир».

Делами приходится заниматься с утра до глубокого вечера. «Бумаги плывут непрерывным потоком, и если пропустить, то они

накапливаются свыше предела». И всё же успевает читать и даже давать оценки прочитанному, как в случае с «Последним фаворитом» Льва Жданова, который интересен «объективной художественностью историка, знанием языка того времени и простотой…» Строго говоря, интерес был не столько к книге, сколько к именам, первозначимым в отечественной политической истории. Екатерина и Потёмкин верстали новые границы на берегах Чёрного моря и близ Карпат, в тех местах, где воевал Снесарев. Сколь тогда Россия раздалась в своих границах, и дело было за малым, чтобы русские закрепились на Босфоре, вернули Константинополь православному миру, вышли в Средиземноморье, возможность чего издалека видел Вольтер и, как бы между прочим, «подсказывал» Екатерине — просветительнице, завоевательнице и устроительнице завоёванных земель.

На третий день февраля Снесарев вместе с корреспондентом «Армейского вестника» Иваном Даниловичем Швец-Шевченко (псевдоним — Днепровский) с утра выехали на позицию 117-й дивизии, сначала на автомобиле, а когда застряли в снегах, пересели на санки. Несмотря на снег и ветер, беседа со Швецом оживлённая — о жизни в окопах, прапорщиках в атаках, о тылах. Они проезжают городок Лысец, ещё полгода назад красивый и уютный, теперь же в прах разрушенный. До городка Стебник им приходится добираться пешком… В разговоре, уже о разном, Швец вдруг делится со Снесаревым своей горестью: расстался с женщиной (не уточняя — любимая или нет), и его миросозерцание на переломе; на что Снесарев грубовато, по-фронтовому отвечает, что из-за юбки не переменил бы даже исподников: миросозерцание — слишком серьёзное для мужчины, неизбежного воина, дело, чтобы послушно менялось от изменчивости и измены женщины. В Стебнике поразились именно женщинам, весёлым, смеющимся так, словно на дворе праздник, а не война, — «они давно покончили с некоторыми из сомнений и пустили в оборот свой капитал; это даёт им пищу и удовлетворение… Встречает меня полковник Носович, мой ученик (вертун и спортсмен) … и говорит без умолку… Он всё знает и всё может, он здоров, жив и тренирован… Окопы — моя сфера…»

Через день побывали в 75-й дивизии, где на радость и Снесарева, и корреспондента им встретился поручик Минин, командир роты, находчивый, неунывный человек; но главное, разумеется, в другом: он — потомок Козьмы Минина, духовного вождя Нижегородского, переросшего во всерусское ополчение, спасителя русского государства от великой смуты. «Он говорит

нижегородским говором, деловит и весел… Он не спит целыми ночами: “Нельзя, всё равно разбудят”… Он говорит только о деле, будто и не знает, какое великое дело он делает».

Корреспондент оказался не на час залетай-пером, а человеком основательным, готовым побольше увидеть, почувствовать и жизнь штаба, и жизнь окопа, не боящимся передовой, о чём среди прочего и сообщается в письме Андрея Евгеньевича к жене: «С ротными командирами — чаще всего детьми лет 22–23 — я говорю без конца и нарочно навожу темы так, что сотруднику ярче и трогательнее обрисовывается великая и самоотверженная работа этих боевых тружеников. И я достигаю своей цели, так как… он не один раз высказывает мне свои восторги и свои налетевшие думы красивым звучным языком литературного работника. “Заметьте разницу, — твержу я ему, — ваши тыловые господа становятся вне себя, если недоспят 2–3 часа, если не получат любимого… блюда, если министром назначат не того человека, которого он наметил, а эти окопные люди в наиболее счастливое для них (в смысле безопасности) и спокойное время не спят все ночи подряд — неделю, месяц, два месяца — и не раздеваясь целые сутки… это их счастливая норма, от которой идут разных ступеней «неудачи»: лёгкое ранение, тяжкое, уродство на всю жизнь, смерть… и всё же они ровны, спокойны и веселы, они бодры духом, и с их уст не слетает никакой кислой фразы. Бог — хранитель да здоровая боевая приподнятость берегут в норме их душу и тело. И разве вы хоть от одного из них слышали о его риске, большом подвиге, лишениях? Нет, они вам говорят о «деле», которое удалось или которое не удалось… с сибиряками, например, всякое «дело» обеспечено… и только: скромно и деловито. Делая великое дело, они горды душой, и им не нужно ни ваше одобрение, ни даже одобрение того страшного жупела, перед которым ползает весь тыл, и только окопный человек держит горделиво свою голову; я разумею общественное мнение”».

До сих пор моей комнатке не хватало картин, но вчера я сумел привезти две: одну маленькую — вид деревни и другую порядочную: довольно хорошую копию с картины Верещагина «Наполеон в Кремле во время пожара».

В первых числах февраля Снесареву сообщают, что он заявлен представительствовать в Главной английской армии. «Устраивает ли это меня, и сам не могу сказать. Думаю, что моя кандидатура будет где-либо перехвачена, как многие другие. А мой глаз был бы понадёжнее других, которые так ослеплены англичанами».

С командировкой в британские войска не сладилось, чем Снесарев и не был огорчён, поскольку хватало огорчений иного

рода. Чувствовал он нарастание неких подземных гулов и скорых земных сотрясений, в разломы которых стремительно начнёт заваливаться и армия, и родина. А пока всё — на уровне армейского тихо ухудшающегося быта, тихо ухудшающейся дисциплины, непонимания даже в своём корпусе, борьбы честолюбий от окопа до Таврического дворца.

Корпусный инженер «ревизует» инженерный полк, понтонный батальон, гидротехнический отдел, словно бы части ему подведомственные, а командиры их остаются не у дел, без вины «переведёнными в резерв». Снесарев пытался с корпусным инженером объясниться по-доброму, дескать, «люди, прослужившие долго и желающие работать в дни великой войны, устранены от дела пришельцем, младшим в чинах и менее опытным в боевом смысле; они, конечно, обижены, и устанавливаются такие отношения, которые не обещают успеха делу». Корпусный инженер словно из глухих, слушает только себя, непонятно зачем запальчиво рассказывает, как у них работают на каких-то постройках, не понимая или притворяясь непонимающим, что «там — дело денежное, а около огня — иначе». И не уволишь его вдруг, и заменить вроде бы некем, а он невольный разрушитель в собственном корпусе.

Иное дело Носович — душевная радость Снесарева, которая болью отдастся после царицынских событий. Он перебежит к белым, но, собственно, бежать некуда было: ни к белым, ни к красным, ни даже в иные страны. Потому что рвалась пуповина главная — родины и личности, личности и Бога.

«Носович… весь в деле, всё знает и на всё даёт ответы. У него много живости, энергии… его приёмы (полное нестреляние, отход перед партиями неприятельских разведчиков и затем охват их в клещи, обучение всех пулемётному делу, система распределения рот — обязательно взвод в кулаке ротного командира…) заслуживают полного внимания, а многие — и подражания… Его лестница, набрасываемая на проволочное заграждение, как подспорье очень занимательна. Вообще Носович — человек живой и пытливый, молодой и хорошо подготовленный — прекрасное боевое явление (при его несомненном мужестве) на нашем довольно сером начальническом фоне…»

3

В феврале семнадцатого Снесарев впервые по-настоящему сталкивается с проблемами недобросовестности, лукавства, подмены во взгляде союзников на коренные вещи войны, в их взаимоотношениях, когда вполне очевидная жертвенность

русских союзникам покажется недостаточной. После войны ему к этому узлу из действительных и ложных посылок придётся возвращаться всерьёз, на уровне науки и государства, в жёстком диалоге — кто кому должен: Россия Антанте или же Антанта России. А тут из военной газеты он узнаёт, что член французского парламента Фавр на заседании палаты заявил, что число мужчин, состоящих на военной службе в союзных странах, выражается в таких пропорциях в отношении к общей цифре мужского населения: во Франции в армии находится 1 на 6 человек, в Великобритании 1 на 11, в Италии 1 на 11, а в России 1 на 20. Вовсе небезобидна выходка недобросовестного или неумного депутата, и, огорчённый французской бестактностью, Снесарев даёт необходимые разъяснения: «Нашу страну хотят представить и коварной в союзных обязательствах (меньше, мол, других выставляет), и вяло приподнятой. Так правда вот в чём: в России 200 миллионов населения (немного меньше), из них мужчин, скажем, 100 миллионов (будет меньше), а под ружьём стоит (или военнообязанными) не менее 12 миллионов, т.е. один человек приходится на 8 душ мужского населения. В Великобритании значится 400 миллионов, из них мужчин 200 миллионов, а под ружьём максимум 5 миллионов… т.е. один воюющий приходится на 40 душ мужского населения. Если допустить, что подсчёт Фавра относительно Франции и Италии верен, то получим… во Франции — 1 чел. на 6; в России — 1 чел. на 8, в Италии — 1 чел. на 11; в Великобритании — 1 чел. на 40. Я именно подчёркиваю слово “Великобритания”. Но и страдающую больше других Францию в этом случае я не жалею: её женщина не хочет рожать, не хочет нести мук рождения и выращивания детей, хочет быть изящной и свободной… а страна в годы испытаний и несёт кару за такое легкомыслие её дочерей. Воюют не в момент только войны, а воюют много раньше, чем раздались первые звуки выстрелов: женщины рожают и воспитывают воинов, учёные изучают войну и её новые формы, заводы льют пушки и готовят снаряды… Да ещё вопрос — насколько 2-е и 3-е существенное дело, может быть, зерно победы в том, кто кого перерожает, какой страны женщина более окажется сильной в выполнении своей государственной задачи».

Снесарев сколько раз думал, что России разумнее быть одинокой, как в Крымской войне, да и ранее, да и позже, чем иметь таких союзников, как Антанта. Слишком они разные — жертвенная Россия и себялюбивая, прагматическая Антанта.

Да что французские ораторы, когда и отечественных хватает. Мастеров или создавать, или подменять общественное мнение. Никто из них ради высокой идеи не пожертвует жизнью, никогда

не узнаешь, «в какой мере и кому дорога та или иная нравственная мысль; о ней одинаково сильно и чувствительно говорят Керенский, Чхеидзе, Милюков, Маклаков, Львов, Марков II, Пуришкевич, Дубровин и т.д., одинаково горячо, а люди разные и думают разно. А вот на войне люди тотчас же классифицируются до ясности голубого неба или текущего прозрачного ручья; одни могут умереть за други своя — спокойно и радостно, другие — под напряжением или подъёмом, а третьи не могут, ценят слишком жизнь… А в тылу не они ли оказались бы на язык сильнее, ярче, страстнее?..»

Корпусный командир, генерал от кавалерии Николай Николаевич Кознаков, — именно из первых: «Ясен до ясности голубого неба… простой и добрый, но вместе с тем, по принципам, требовательный и в случае нужды даже жестокий». Месяцем позже: «…Он хороший кристаллически-ясный человек и бесконечно доброжелательный; любит быть строгим, но это у него не выходит за пределы 5 минут…»

За несколько недель вместе в долгие вечерние часы о чём только они не переговорят: об английской ростовщической ловкости и сербской упорной отваге, о судьбах Константинополя и Санкт-Петербурга, о Милютине и Столыпине, о Кавказе и Дальнем Востоке… Да и о вещах более житейских, часто грустных, а то и трагических.

Из письма жене: «Командир корпуса любит поговорить, имеет хорошую память и очень красивую восприимчивость (сам человек простой, сердечный, много видавший); я, придя с позиции, говорю ему, как снаряд попал случайно и убил двух офицеров в землянке… Он меня выслушал и говорит: “Судьба… всё судьба. И вот вам пример. У генерала Казбека, ныне умершего, было три сына, все Волынского полка; два были в полку и были убиты, третий оставался где-то в тылу, а когда узнал про смерть братьев, то сказал: *«В* полку исчезла фамилия Казбек. Я должен идти в полк и восстановить фамилию». Мать в слёзы, а сын упорствует. Государь, узнав о случае, приказал передать старушке, что он побережёт её сына, и приказал назначить его в автомобильную команду в Петроград. Случилось, что Казбек ехал в Царское Село, налетел на шлагбаум, который был опущен, и чего не заметили, и третьему сыну снесло череп… всё судьба, и если мне написано в книге миров или судеб погибнуть когда-то от штукатурки, которая свалится с потолка, то эта штукатурка не забудет свалиться в указанный ей момент, а голова ни в коем случае не забудет в этот самый момент подставиться…” — так заканчивая, корпусный командир глазами повел задумчиво на потолок и слегка улыбнулся. Ты поймёшь, что так думающие люди могут

быть только храбрыми».

Получает от Лихачёва тёплое письмо: «Ваше Превосходительство, дорогой Андрей Евгеньевич!.. Так и кажется, что загудит телефонная трубка и услышу знакомый, ласковый голос: “Здравствуйте, Василий Васильевич, а чем Вы сегодня кормили людей, а что у Вас на фронте?” и т.д. Давно ли всё это было? Давно ли ходили мы с Вами по “аллее любви” на “Орлином гнезде” и пили “в два счёта” чай у Андрея Агапитовича Гавриленко?.. Теперь вот старички-перекопцы соберёмся и начинаем вспоминать дорогое прошлое. Пройдут не только месяцы, но и годы, а бои в Лесистых Карпатах не забудутся никогда. И долго-долго будут ещё говорить о бое 15 ноября, когда сам начальник дивизии ходил в атаку…»

Прочитав письмо, с нежностью подумает о младшем друге. Подумает о «красивой игре природы», когда люди боевые обычно добры, милосердны, сострадательны. На его боевом пути сколько встретилось их: Павлов, Ханжин, Чунихин, Соллогуб, Черёмухин. Разумеется, и Лихачёв. Естественно, у природы, уже безо всякой игры, есть и обратная сторона: «Люди злые и жестокие — люди не боевые, не храбрые».

Бывая каждый день в окопах, на передовой, Снесарев среди множества встреч одной особенно обрадовался. Как добрый жест судьбы — улыбчивый вестник донской родины, станичник из Камышевской станицы. Переговорили, казалось бы, обо всём: перебрали каждый уголок станицы, каждую вербу у Дона, каждое имя, а наговориться не могли. Выяснилось, что могила отца-батюшки ухожена, в порядке.

Снесарев не мог об этом не сказать в письме «жёнушке и Женюшке»: «Я велел станичнику написать его отцу письмо, а сам сделал приписку, в которой кланялся отцу и честной станице… Воображаю, какой переполох произойдёт в станице! А тут ещё подпись — Генерального штаба генерал-майор кавалер ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия такой-то! Моя счастливая приписка! Сколько любопытных и глубоко польщённых глаз будут смотреть на неё? А так как некоторые из собственников этих глаз насчитывают не менее 80 на своих плечах, то, вероятно, и всплакнут эти усталые глаза. Буду писать на днях атаману, чтобы станица выбрала меня своим почётным стариком; это мне очень польстит».

К середине февраля генерал обошёл и изучил позиции всего корпуса, сосредоточенного близ железнодорожных линий Станиславов — Калуш и Станиславов — Галич. Эти начальнически-ответственные рекогносцировки он осуществлял всякий раз, когда получал новое назначение, и никогда не

надоедало ему посещать окопы, встречаться и беседовать с людьми окопа — нижними чинами или командирами батальонов, рот, взводов.

Радуют его батальонные командиры. Образы впечатляющие, «художественные», для настоящей книги о войне. Капитан Мельников (отсутствие внешней дородности, душевная чистота ребёнка и дух богатыря), на таких и батальоны, и армии держатся. Снесарев не скрывает своего восхищения им: «… худенький, чёрненький небольшой человек, живой и искренний; кавалер всех орденов, которые он мог получить плюс Георгий, Георгиевское оружие и британский Военный крест. Он ясен, как ключевая вода, и говорит то, что думает и что переживает: счастливая доля людей мужественных, живущих в военной обстановке. Ранен был 3–4 раза, отняли правую руку, и он… и не думает об этом: да и нужно ли человеку две руки? Он, по его словам, и в первые минуты не предавался горю, и когда доктора пробовали спасти руку, он им советовал оставить попытки… Мы с ним делимся впечатлениями, говорим свободно и легко, словно знакомы сто лет…»

22 февраля, в этот день у Андрея Евгеньевича хорошее настроение. Прежде всего, встал рано и уйму дел успел переделать. А ещё — в пришедших номерах «Армейского вестника» за пятнадцатое и шестнадцатое февраля опубликованы репортажи Днепровского «Среди них» и «По лобному месту», в которых корреспондент рассказал о посещении с генералом Снесаревым окопов Кинбурнского и Малмыжского полков. И рассказал без привычной в газетчиках поверхности, обездушенности, незнания окопной жизни и души воина, фальшивых интонаций и содержательной неправды, неумения или нежелания осмыслить фронт как мир особый, но и по-человечески обычный, только находящийся на пограничной, предельно испытательной черте.

Снесаревские признательные слова: «Манера уже достаточно зрелая, местами только видна шероховатость или куцость, но теплоты много и есть красивые надумки… Я описан лестными штрихами… номера читаются нарасхват».

На другой день начальник корпусного штаба едет в Станиславов, в Кубанский полк. Здесь прапорщики сдают экзамен. Снесарев видит недостаточную организационную, техническую, духовную их подготовленность. Разумеется, это не прапорщики первых месяцев войны, выпускники полноценных училищ, те давно покоятся в братских и каких придётся могилах. Эти — наспех проученные и, по сути, ещё не обстрелянные. «Но души, светящиеся сквозь окна молодых глаз, но весёлость и

оживление, но неугомонные надежды и готовность на подвиг… Это лучшее, что наблюдаешь в них…»

Возвращаясь через Марковце и Хомякув, он и узнавал и не узнавал знакомые местечки. Не узнавал — из-за жалкого, руинного вида, недавней разрушенности и теперь покинутости: «Кому они нужны, кто их разрушил?.. Всё прошлое промелькнуло мимо коротким ожогом… хотя прошло уже более полгода; немного для мирного времени, но для военного — целая пропасть времени… Прошло, ну и прошло, как проходит всё в жизни, сваливаясь в ту пустоту, которую люди зовут прошлым…»

Всякая радость на каждоминутно гибельной войне значительней, нежели в ровные дни мира. Радость Снесареву-книжнику: генерал Нечволодов подарил ему роскошно изданный четырёхтомник своих «Сказаний о Русской земле» с великолепными гравюрами. При каждом свободном часе Снесарев разрезал листы, подолгу любовался гравюрами, полиграфическим исполнением, принимался за чтение. Сложившееся мнение излагал жене так: «Это не история, это сказания: национально-русский перепев своей истории… Много исторических неточностей, но национальная и художественная правды соблюдены, а они, может быть, выше всяких других… Тон взят замечательный; близок к летописи и сказаниям, описываются жития святых, истории основания монастырей, появления чудотворных икон и т.п. История оставляет хорошее, русское настроение, и даже чувство несколько сентиментальное и наивное от сырой старины, получаемое от некоторых страниц, не принижает… главного настроения, а делает его разнообразнее, теплее и свежее». Позже ей же напишет: «Я нет-нет да нахожу полчасика свободных, чтобы перелистать “Сказания о Русской земле” Нечволодова, и мне всё больше и больше нравится и взятый тон, и тепло-патриотическая манера изложения. Кое-что всегда нахожу совершенно новое. Например, приведено немецкое изображение Василия Ивановича III с такой латинской надписью: “Я, по праву отцовской крови, — Царь и Государь руссов; почётных названий своей власти не покупал я ни у кого какими-либо просьбами или ценою; не подчинён я никаким законам другого властелина, но, веруя во единого Христа, презираю почёт, выпрошенный у других”. Не правда ли, как это гордо, просто и хорошо».

В Слобудке на празднике Богородчанского полка и после Снесарев переживает особенные, давно столь живо не испытанные чувства соборности и веры. Хотя, казалось бы, всё давно привычное: молитва, солдаты прикладываются к кресту и Евангелию, а потом церемониал. Обед в охотничьем доме. Но

житейски-задушевная, не поучающая, а зовущая речь комкора воодушевляет воинов — и не только новичков, и радостно сверкают их глаза, и звучат возгласы победы. «И когда ночью они встают пред моими глазами, я вижу всех их не в форме мрачных теней, хотя тень смерти висит над каждым из них, не в саванах, не грустными со слезами на глазах, а весёлыми, лучезарными, с усмешкой на молодых лицах и с очами, полными восторга и надежд…»

Под занавес февраля пишет письмо Ивану Александровичу Родионову, в течение двух военных лет бывшему редактором ежедневной газеты Юго-западного фронта «Армейский вестник», просит выслать номера газеты в Петербург, для снесаревской семьи, о чём уведомляет жену: «Это даст тебе возможность подробнее знать, что у нас происходит, и даст в руки газету… в которой тон взят тёплый и полный любви к родине и окопному работнику…»

(С Родионовым, уроженцем станицы Мариинская, они были знакомы давно, Снесарев читал его «Тихий Дон» — тихие, непритязательные очерки об истории казачества от ранневольных времён до конца века девятнадцатого.

Через годы после Первой мировой и Гражданской войн даже название шолоховского романа как заимствованное, не первооткрытое ставилось в упрёк создателю трагедийной — о народе и принятой народом — книги. Родионов, сколько известно, нигде письменно не высказался с осуждением разветвлённого обвинительного нападa на Шолохова, на якобы не его или не одним им созданный «Тихий Дон», но даже и скажи он защитное слово, это бы не помогло приостановить разбега окололитературного колеса в уже заданной колее.)

Тогда же, в конце февраля 1917 года, он оставляет в дневнике «славянскую» запись, весьма глубокую, и в духе Леонтьева и Достоевского, в которой не то что развенчивается славянофильская надежда, но, во всяком случае, указывается если не на тяготение, то на привязанность западных славян к Европе, объяснимое исторически, экономически, где-то религиозно, где-то смешанно-генетически: «Вчера посетил чешскую роту, и они пропели мне несколько песен… Песни хороши, особенно одна сербская. Воодушевления особенного нет; более неволи, чем доброй воли. Типа чешского нет, все разные. По рассказу ротного командира, свободу потеряли в 1620 году, а теперь воюют если и не для освобождения Чехии, то хотя бы по чувству общеславянского долга; чтобы не было упрёка, что не приняли участия в великом моменте. Много Европы, сдержанность, отдельные смотрят исподлобья… Почти все холостые, приняли

православие. Религиозная идея как орудие политики понимается ясно, и религия ближе к политике, чем к молитве; оттуда быстрая перемена религии».

Начало марта, за полтора месяца — никаких военных действий ни в корпусе, ни в армии. В воздухе чувствуется, надвигается что-то зловещее, разрушительное. В избытке споров, слухов, обычно подтверждаемых, и тревожных размышлений. Дневник и письма к жене фиксируют: «Сегодня по телеграфным данным Государственная дума и Государственный совет прекратили свои заседания до апреля, а почему — была ли внешняя причина или просто воля Государя — нам пока неизвестно. Нас только, помню, в своё время удивило решение Думы почтить память умершего Алексеенко прекращением занятий, т.е. переходом к безделью. Что подумает покойный Алексеенко — человек хороший и трудолюбивый, видя оттуда, как его память в дни общего боевого труда, когда дорога каждая минута, его товарищи почтили переходом к безделию! И вяжется ли это решение с постоянным криком, что их поздно созывают, не дают работать и т.п. Мы своё великое дело и понимаем, и выполняем иначе. Генерал Лопухин (мой приятель, офицер Генштаба и университетский), будучи бригадным, ведёт бой и в его разгаре получает известие, что в этом же бою убит его единственный сын, за которого в мирное время они дрожали с матерью. И Лопухин, получив весть, снимает шапку, осеняет себя крестом, надевает шапку вновь и говорит: “Потом погорюем и помолимся, а теперь будем продолжать наше дело”. Потом он и сам был убит… Раз дело действительно велико и раз в него веруешь, оно всё кроет, оно всего выше, и его величавый ход не прекратят ни смерть, ни лишения, ни личные скорби…»

«…доходят вести о крайнем разгуле черни, избиении или издевательствах над офицерами, насиловании женщин, грабежах… в Петрограде, Москве, Киеве, притом эти гадости совершаются в большинстве случаев солдатами; конечно, среди них много переодетых… как воспринимает армия — здешняя, фронтовая — всё то, что происходит сейчас в России? Она как-то насторожилась, съёжилась и молчит. Но что означает это молчание, кто скажет? Бережём её мы изо всех сил, так как глубоко все убеждены, что если она выйдет из рук и пойдёт по пути каких бы то ни было — освободительных или погромных — эксцессов, то в нашей бедной стране не останется камня на камне. Русский солдат — величественен, красив и чуден, когда он держится в узде железной дисциплины и делает своё ратное дело, но, выпущенный из рук и занятый делами посторонними, он ужасен. Мы это понимаем крепко, и все наши силы направлены к

тому, чтобы сохранить армию на высоте её боевого долга.

Мы почти единодушны в догадке, что Правительство в руках депутатов от рабочих и солдат, и тем только можем объяснить некоторые распоряжения, которые могут расшатать дисциплину и сделать армию менее грозной врагу, а то и совсем не грозной. А одна крупная неудача на фронте — и из свободной России моментально получится разнузданная Россия. Если бы только Правительство могло понять, что её опора и друг — воюющая армия, а комитет рабочих и солдат со всеми другими рабочими и солдатами, минимум, горячий, зарывающийся и не знающий ни страны, ни армии товарищ. Может быть, чувствуя это, они зовут Корнилова, но что он может сделать и что он может изменить? Написать трафаретный приказ с вестью о свободном народе, для этого нужно не более 5 минут, но останется этот приказ на сердце людей не более следующих 5 минут…»

«В тылу, за спиной трудящейся армии, ею прикрытые и не угрожаемые, люди делают свои дела: Милюковы и Гучковы добиваются портфелей, евреи и дельцы делаются миллионерами, лабазники “мародёрствуют”. Свободная профессия (третье сословие) вырывает власть у бюрократии и дворянства…

Разница между тылом и фронтом: там укусит блоха — и тыляк чувствует себя несчастным и жалуется, на фронте — его ранят серьёзно, а он говорит “ничего” и возвращается в строй…»

«Председатель Государственой думы Головин (кадет) был первый из членов, взявший концессию… скрыто умело». (Высший думец, то есть высокооплачиваемый чиновник, и он же предприниматель, вернее, приобретатель, вернее, хвататель? Лиха беда начало, в конце того недавно ушедшего века подобные ухватчики и держатели власти так оберут государство и народ, что Россия станет едва не главной страной частных миллиардных состояний. — *Авт.)*

«События протекают крупные, и люди подгибаются под их тяжестью. Я и мне подобные, три года ходившие перед ликом смерти, не склонны бояться людей и их деяний, а только Бога и его суда. Наша задача — победить, и мы победим, а что делается в тылу, чего ищут тыловые люди — этим мы заниматься не будем: некогда. Если они правы, мы первые порадуемся, т.к., умирая за Родину, мы ей не враги, любим её не менее других…

Великий князь Кирилл Владимирович явился к Родзянко и предложил услуги: благодарили и просили ждать… Очутился среди журналистов. Думаю, что Михаилу Владимировичу Родзянко (кавалергарду) было не по себе от этих великокняжеских услуг…» (И Родзянко вспомнит-напишет: «Прибытие члена Императорского Дома с красным бантом на

груди во главе вверенной его командованию части войск знаменовало собой явное нарушение присяги Государю императору…» Разве что не добавит, как сам провоцировал нарушение присяги, будущую измену, потерю чести, когда, как председатель Государственной думы, не останавливал радикальный антигосударственный, антимонархический уклон. — *Авт.)*

«…земледельческая Россия — больше 80% — сидит в окопах и борется, помогает же делу фабрично-промышленная Россия… Отсюда нравственного оправдания для построенного не будет, и его придётся искать… Может быть, после войны, но как и какою ценою, кто знает? Многочисленные аресты… Кому помешали вчера назначенные министры? Они и в технику-то не успели войти! И в результате может получиться вывод о мародёрстве власти, не более, а это было бы печально!… дальше будет анархия! Допустим, но кто её вызвал? Теперь мы напрасно бы ждали ответа. Ответит история и воздаст каждому по делам его».

«Государя уже запросто называют Николаем Романовым; срывают все императорские эмблемы, Сухомлинова проводят между рядов преображенцев… Зачем это? Это говорит о страстях и мстительности: его ведь ещё не судили. В Москве выдуманы какие-то военные комиссии, где появляются рядом представители от офицеров и солдат. Кто эту глупость мог выдумать? Какое может быть панибратство между офицером и солдатом? Последний начнёт после “судить” и приказы, и боевые решения… Таковые часто с его солдатского горизонта могут быть грешными, да и вообще критиковать можно всё, был бы язык… Этим можно расшатать дисциплину очень быстро. Да и вообще теперь будут бороться две идеи: в тылу — личной свободы и широких прав, на фронте — строгого единоначалия и железной дисциплины…»

«…Конечно, не надо ни снимать гербов, ни стаскивать Столыпина: это пристрастие и говорит о недостатке достоинства. Это теперь, может быть, прошлое, а к своему прошлому всякая страна должна относиться с уважением, иначе у неё не будет будущего…»

«Пути революции те же, пока не появляются Наполеон или Галифе…

Сегодня А.И. Гучкову (письмо от 11 марта 1917. — *Авт.)* написал следующее:

“Милостивый государь Александр Иванович!

Наша великая и честно исполняющая свой ратный долг армия стоит сейчас, как часовой, на страже достоинства и величия страны. Смущать её в эти многотрудные дни какими-либо реформами или новшествами, не вытекающими непосредственно

из существа поставленной армии задачи — победить во что бы то ни стало, я считаю и несвоевременным, и опасным. Армия в массе может не понять этих новых идей как следует, не связать их с устоями военного дела, т.е. строгим единоначалием и престижем — скажу даже гипнозом — власти, и в результате начнутся шатания, рознь, действия вразброд. А такая армия, я глубоко убеждён, не выполнит своего победного долга и даже будет опасна тому новому порядку вещей в нашей родине, который только что появился на свет и который, естественно, нежен и хрупок, как новорождённое дитя.

Уважающий Вас Ваш покорный слуга А. Снесарев"».

Общепринятая словесная формула. Ни о каком уважении и покорном служении, разумеется, и слова быть не могло, знай Андрей Евгеньевич всю подноготную антигосударственного, антимонархического заговора, в котором адресат был одним из главных в Военной ложе, одним их первых нарушителей присяги, одним из деятельных «рыцарей» когда-то в войнах, а теперь — в измене.

В день написания письма Гучкову Снесарев с комкором Кознаковым побывали на крестинах в Рогатинском полку. Музыка играла полковой марш… Но что это был за марш, более похожий на замедленный вальс на исходе бальной ночи, когда устали и музыканты, и танцующие.

«Вероятно, боевой пафос, разжиженный теперь суммою новых идей и не фиксированный на определённом лице, исчезнет навеки. Всё имеет свои законы и свою благоприятную обстановку. С опытами электричества в сырости не разойдёшься…

Чувствовалась необходимость согреть, успокоить, возвратить вырванную из-под ног скамейку. Я попросил разрешения и сказал: "Я боевой офицер и георгиевский кавалер — ложь, лицемерие и скрытность мне чужды… Теперь там (на родине) не так легко: много страданий, сомнений, горя, труда… Мы стоим особо… И понимаем мы задачу, и умираем иначе. Там три "жертвы революции" вызывают кортеж, флаги, одобрение толпы, а мы помрём, и первые часы разве ветер обласкает холодеющее тело, а затем — скромный холм, и путник не догадается потом, кто лежит под холмом и чем билось когда-то горячее сердце… Этой скромной смертью мы и горды; ни почестей, ни рекламы нам не надо…

Будем же крепкой семьёй, возьмём крепко друг друга за руки и выполним свой ратный долг перед нашей великой страной…" У очень многих были слёзы на глазах…»

(В конце того же мятущегося века тоже три жертвы, близ Белого дома в Москве, нарочито публичное лжепокаяние

«конституционного гаранта», себячтущая, себяхранящая «спайка»: «…возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Насколько снесаревские слова значительней и по духу жертвенности, и по достоинству военной чести!)

Ломалась не только судьба царской семьи, ломалась многовековая монархия — навальным, спешным, злым образом. «Кругом измена и трусость и обман!» — Снесарев не мог знать об этой дневниковой, после вынужденного отречения, записи Государя, но и сам думал сходно, видя верхнеэтажный разлив измены, подмены и замены всего и вся в разнузданные дни «Великой фальшивки февраля», как позже в одноимённой книге известного монархиста Солоневича будет определена сущность февральской революции, феврале-мартовского зачина послеимперской смуты. Сходно-соответственная запись и в снесаревской странице:

«Дни можно назвать, в некотором отношении, днями хамства и предательства. Великий князь Николай Михайлович позирует перед корреспондентами и выворачивает семейную наготу Романовых, пороча, как может, главу. Генерал-адъютант Рузский (первый предложивший Государю отречься) тоже старается лягнуть поваленного событиями недавнего вершителя судеб нашей родины. Эверт, Щербачёв и т.д. чуть ли не заделались “товарищами”… Спешат, упали, о достоинстве забыли… Вообще, после революции оподление будет сильное, и только после начнётся оздоровление…»

В «Киевской мысли» Снесарев наткнулся на весьма примечательные слова великого князя Кирилла Владимировича: «Мой дворник и я — мы одинаково видели, что со старым правительством Россия потеряет всё и в тылу, и на фронте. Не видела этого только царствовавшая семья».

(Даже если это стократ так, то не великому князю говорить так, да ещё беря во союзники своего дворника. И сей князь за границей будет претендовать на царский престол, примет звание Блюстителя русского императорского Престола и даже — титул Русского императора?!)

Между тем Снесарев пишет: «…Мои мальчики ведут себя с достоинством: старший не хочет ни за что надевать красный бант, младший негодует, что вынесли портрет Государя… Словом, ведут себя благороднее и строже, чем Рузский, Брусилов, Воейков и большинство великих князей…»

Разве что Воейков ошибочно помещён в малопочтенный ряд, который теми предфевральскими и феврале-мартовскими днями начат и продолжен: «аксельбантные» начальник Штаба Верховного главнокомандующего генерал-адъютант Алексеев, в

зарубежном русско-монархическом стане из-за измены Государю не оправданный даже последующим сопротивлением большевистской власти; замещавший Алексеева в месяцы его болезни генерал-лейтенант Ромейко-Гурко; командующие фронтами Рузский, Брусилов, Эверт; генералы Ставки Лукомскии, Данилов, Борисов; другие известные и малоизвестные члены «Военной ложи»; Крымов — тоже; Корнилов — тоже; «прогрессивные» представители венценосного семейства, великие и малые князья во мнозе…

«Кругом измена и трусость и обман!» — обречённо и точно запишет в своём дневнике последний русский император, вольно или невольно вынося приговор предательскому окружению.

Ладно бы, нетерпеливые в разрушительных вожделениях полуинтеллегентные себялюбцы-флагманы общественности да злобные поводыри толпы, от Милюкова до Бубликова, от Родичева до Кирпичникова; но генералы… люди присяги, люди, которым Государь доверял, они даже не ушли с поля битв, а заплели боевое поле Отечества незримой колючей проволокой, какую их Верховному главнокомандующему уже не дано было прорвать… они, такие влиятельно-известные, такие разные и такие одинаковые — Алексеев, Брусилов, Рузский, Деникин, даже Корнилов, один из некрасящих «подвигов» которого — арест царской семьи, — все они словно поддались миражу, наваждению, антимонархическому, а значит, и антигосударственному заданию; ни один император по всей протяжённости мировой истории не испытал такой измены присяге среди приближённых генералов, как русский царь.

И задолго до трагического принудительного Отречения и позже наиболее проницательным и честным из соотечественников тяжело было чувствовать, сознавать, видеть, что Россию усердно, зло и прицельно сокрушают не только мировые силы враждебных и «союзных» стран, их политических и дипломатических ведомств, спецслужб, банков, всевозможных масонских лож, тайных и явных антирусских обществ и партий; не только внутрироссийские ниспровергатели традиционной отечественной жизни, взращённые на западных разрушительных теориях и подпитываемые собственными злобой и ненавистью либерал-радикалы, социал-демократы, эсеры, большевики, меньшевики и прочая, и прочая, с революционно-мировыми притязаниями.

Не без успеха поражению империи способствует по милости и слабости верховной власти предательство государственной и военной «элиты». И даже — семейной, династической.

И, конечно же, — словесные упражнения внепатриотической Государственной думы — «проедалки» народных денег и

упований; и даже «патриотизм» московских, европейски образованных купцов-миллионеров, пребывающих на скачках и рассуждающих так, словно гибель нескольких миллионов русских солдат для них — что скирда сгоревших соломин. У них — «дело».

Генерал Снесарев в те дни не мог, естественно, читать страницы, написанные генералом-артиллеристом Маниковским (книга А. А. Маниковского «Боевое снабжение русской армии в войну 1914–1918 гг.» выйдет в свет в Москве через три года после отречения императора и крушения империи), но, прочитав позже, разделит вполне их истину и справедливость, очевидную даже в малом числе строк: «Тут ярко сказалось могущественное влияние на наш правительственный аппарат частной промышленности и банков, державших её в кабале. Поход представителей сих учреждений против казенных заводов, стоявших всегда, что называется, поперёк горла частным заводчикам, начался уже давно… не прекращался всё время и, конечно, принёс немалый вред делу обороны государства».

«Дни хамства и предательства», — не раз об этом, пусть и иными словами, подумает, скажет, напишет Андрей Евгеньевич. Дни и месяцы семнадцатого года из века двадцатого — всероссийское состояние анархической распоясанности, тогда ещё не управляемого хаоса; красный флаг, который легко и небрежно Октябрь забирает у беспомощного Февраля; разноглазые борцы за новое, пёстрые деятели без чести и совести, знатоки юриспруденции без памяти о Суде Божьем.

И именно в веке двадцатом, в годах пятом… семнадцатом… и далее, и далее до лет завершающих, Россия, средневековая Святая Русь, «страна, граничащая с Богом», земля, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя», страна — Дом Богородицы, превратилась в жертву бесконечно варьируемого эксперимента, в некий полигон «дьяволиады»…

Уже победно и тлетворно гулял по фронтам делающий из армии агрессивную вольницу приказ № 1, который родился в недрах Совета рабочих и (скороприбавленных) солдатских депутатов, первые главари-направники которого — Чхеидзе, Керенский, Суханов (Гиммер), Соколов, Стеклов (Нахамкес), Гольденберг, — «пораженцы» и ненавистиники патриотизма, по их же собственному признанию и по делам их: «В день, когда мы “сделали революцию”, мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию» (Гольденберг). Бессмысленны и лукавы вот уже скоро век длящиеся разговоры о качественном отличии двух революционных переворотов — февральского и октябрьского, либерального и диктатурного. Их различие —

поверхностно-политическое, но не глубинно-духовное, не корневое. Их роднящее качество — синдром измены и предательства, жажда любыми путями низвернуть традиционно-самодержавную, православную Россию, равнодушие, если не злое бесчувствие к судьбам её народа. В сущности, это единый Заговор и Переворот, а не помесячные революции, которые облегчённые перья историков и художников слова называли и снова готовы назвать Великой Революцией. В дни Отречения реальную власть сумел захватить Петроградский Совет, а не картинно-заявленный временный Комитет Государственной думы (Керенский выпорхнул и там, и там), и Временное правительство во всех смыслах оказалось временным, напрасно и глупо надеясь выбраться из сопряжённых вагонов двоевластия неестественным путём — либеральным, но… революционно-карательным. Октябрь логично вытекал из Февраля. Стоящие за ними агрессивные силы — порождения одной (мировой и отечественной, внешней и внутренней) «дьяволиады» — ненависти и злобы с разновариантными насильственными способами переделки многовековой державы и народа. «Разрушай, развращай, убивай»… эту «тюрьму народов», этот народ-«держиморду» — начертано было на их зримых и незримых флагах измены и предательства, кроваво-запекшейся нетерпимости и мести.

Великий князь Александр Михайлович Романов в «Книге воспоминаний», изданной пятнадцать лет спустя после слома монархии, дал неприемлемую для будущей якобы политкорректности, толерантности, далёкую от светской, великокняжеской изящной стилистики, убийственно-резкую характеристику основных, на его взгляд и убеждение, антимонархических легионов разрушительства: «Как это бывает с каждой заразной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных разносчиках заразы: мышах, крысах и насекомых… Или же, выражаясь более литературно, следует признать, что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков заразы.

Трон Романовых пал не под напором предтеч Советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворной знати, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и и других общественных деятелей, живших щедротами Империи».

Но неужели среди «побеждающих» сил не нашлось или не могло найтись ни одного достойного дела, ни одного светлого ума — возвышенного, движимого честью и совестью?!

Через семьдесят лет в «побеждающей» верхушке горбачевско-

ельцинской перестройки — словно слепок, словно клон либерально-революционного семнадцатого года — или тоже не могло найтись ни одного достойного дела, ни одного светлого ума — возвышенного, движимого честью и совестью?!

17 марта Снесарев ездил в Бучач, где состоялось армейское заседание: командующий Щербачёв, Головин, Незнамов, Черкасов, Степанов, Энгель, полковник Шуберский. Речь о солдатских комитетах. Снесарев настаивал на том, что должна быть единая и общая позиция в отношении комитетов, а именно: мы — воины, всё для войны и для победы, остальное приложится… Поскольку само наличие комитетов и их деятельность, вернее бездеятельность, глубоко противны духу военной дисциплины — свести их на роль хозяйственных контролёров… Возражали нервно, особенно Головин: надо вызвать доверие, иначе всё пропало; надо гасить страсти… Снесарев доказывал даже несколько непривычно — на повышенном тоне: не надо ходить вокруг да около, надо держать военный лик прямо и гордо… что это за орган — исполнительный или совещательный? Во всяком случае, в заключительном слове командующий повторил его мысль: будем держать воинский лик…

(Николай Николаевич Головин — знаменитый военный теоретик, выпускник и преподаватель Академии Генштаба, как и Снесарев, закончил войну генерал-лейтенантом. Участник Белого движения. Во Франции основал Военно-научные курсы, с 1928 года — его имени. Автор знаменитых трудов: «Военные усилия России в Мировой войне», «Российская контрреволюция 1917–1918 гг.», «Наука о войне. О социологическом изучении войны», «Тихоокеанская проблема XX столетия».

Грустно, но ничего не поделать: столь выдающиеся военные мыслители, как Снесарев, Вандам, Головин, часто словно не понимают друг друга. Все живут Россией, все постоянно размышляют о России, но даже в мелочах подчас не сходятся.)

Развал набирает неотвратимый ход. К марту 1917 года страшные цифры русских потерь: миллион семьсот тысяч погибших, миллионы пленных. А из воюющих — девятьсот тысяч беглых, «но на них корм идёт, т.е. воруют до полумиллиона в день», — убийственная справка.

В штаб корпуса от вышестоящих военных поступило письмо-предложение убавить дисциплинарную власть начальников, чтобы она сводилась разве к замечаниям и выговорам, ни к чему не обязывающим. В сущности, это было очередное звено в цепи предписаний, вольно или невольно развращавших армию, делавших её небоеспособной. Ответ велено было представить

через три часа после получения.

«Комкор (по моему вдохновению и редакции) ответил так: “Военная наука и вековой опыт войн говорят, что в боевые времена начальник в целях достижения победных результатов должен быть облечён полной мощью, и, конечно, дисциплинарной. Убавлять её в настоящие минуты недопустимо, страшно и грешно, т.к. это угрожает дисциплине, из-за этого погибнут в бою лишние тысячи душ, и притом лучших, и под сомнение будет поставлен весь вопрос о конечной победе. Говорю это как старый солдат и верный слуга моей великой родины за себя и всех начальников вверенного мне корпуса до командиров полков включительно, которые в этом великом для нас вопросе высказались одинаково. Кознаков”».

Снесарев не без оснований опасался, что штаб армии даст какой-нибудь увёртливо-малодушный ответ, но, по крайней мере, его корпус ответил достойно и честно. «Может быть, да и наверно, с нами не согласятся, но мы своё слово сказали, и в грехе последующего разгрома армии с нас должна быть снята значительная доля содеянного греха… Кем? Кто скажет?»

10 марта 1917 года Андрей Евгеньевич пишет пространное письмо жене, в котором верно углядывается не только фронтовая, но и столичная обстановка и в котором строки тоски от происходящего побеждаются строками надежды: «На нас теперь ложится невероятно тяжкая задача, вызванная тем, что, с одной стороны, хотят победить (не знаю, насколько искренне), а с другой стороны, делают ряд распоряжений и нововведений, которые расслабляют дисциплину и делают армию небоеспособной… Думают, что воззваниями и фразами — и только ими — можно послать человека на смерть. Мы боремся изо всех сил, стараясь и отстоять свои углы зрения и спасти армию от разложения. Ведь хорошо то, что солдаты идут к нам, как к родным, с руками, полными газет и австрийских прокламаций; хорошо, что всё-таки нам они больше верят, уже по одному тому, что все эти писатели с ними на смерть не пойдут, а мы пойдём и ходили… Что у вас совершается, нам неясно, но, по-видимому, Временное правительство никакой реальной силы не имеет, и всем заправляет комитет депутатов от рабочих и солдат. Может быть, мы и ошибаемся, но солдаты понимают вещи только так, и в них заметно растёт нехорошее чувство. Они говорят: “Вы там остались в Петрограде хранить свободы! Не дураков нашли. Пожалуйте-ка в окопы, а мы за вас там попробуем беречь свободы”. Но самое страшное — это некоторые признаки, что союзники, кажется, думают нас пустить по ветру…

Наша прежняя братская весёлость, трудовой пафос и

мужественные порывы — всё это теперь отравлено налётшими невзгодами, работаешь как автомат, работаешь по инерции, по глубоко сидящему чувству долга, которое, к нашему счастью, ничто выскрести не может. Посмотришь, поизучаешь, а затем опять и опять льётся наша тревожная и нервная беседа о невзгодах, о переживаемом армией кризисе, о грядущем возможном риске крупной неудачи. Повторяю, на смерть человека не пошлёшь одной звонкой фразой. Сегодня, по приходе домой, меня ожидало большое удовольствие: из Камышевской станицы пришёл ответ на мою приписку. Она читалась на станичном сборе и всколыхнула всю честную станицу… Сам я, читая нескладные строки, улетел далеко от печальных переживаний настоящего к уютным углам моей улетевшей юности, где всё было так приветливо и безоблачно, где поля были так тепло ласковы, люди добры, даль обольстительна. Где это всё делось и зачем так сказочно быстро пролетело всё это мимо?..

Такие ли невзгоды переживала наша родина! Переживёт и эту, я в это крепко верую; верую в здравый смысл моего народа и в жизненные соки моей Родины».

Вера — внутреннее состояние человека, внешние обстоятельства обычно не в силах поколебать её крепость. Тем более вера человека, который и поступает по вере и видит по вере. Для него воевать так воевать, а не полувоевать-полуотдыхать, он сам себе признаётся, что во всём многомиллионном воинстве побил все рекорды по числу фронтовых буден, а отпускных и выдалось всего-то месяца полтора. А видит он не только черты развала и дезертирствующих, предающих… С Западного фронта прибыли лётчики-истребители, и Снесарев не налюбуется ими: «Мальчишки один лучше другого: сухие, тренированные, с красивым — живым и печальным — взором». Он несколько раз ездил к ним, не раз сбивавшим вражеские истребители, не раз сбиваемым и чудом ещё живущим. Среди лётчиков оказался знакомый — поручик Русанов, которому он в бытность в Ташкенте преподавал математику в кадетском корпусе. Снесарева интересовали и волновали даже не воздушные пути войны, а именно эти молодые люди, люди неба, люди духа, на смерть глядящие так же спокойно, как и на жизнь. Грустно было осознавать, что судьба их, как и судьбы тысяч и миллионов простых ратников войны, часто, слишком часто зависела от невежественной или лукавой воли политических и военных временщиков — временных и никогда не убывающих.

Сколь ни была крепка вера в духовные силы родины, разум народа, конечную победу добра, но происходившее на родине,

словно чёрной завесью демонических крыл, затемняло горизонты, и мучительные переживания усугублялись ежедневно.

«На станции Жмеринка раненый прапорщик идёт мимо группы солдат и отвечает им на отдание чести, но один солдат продолжает курить. Прапорщик: “Почему ты не отдал мне чести?” Солдат: “Временное правительство приказало говорить на «вы» и не отдавать чести”. Прапорщик: “Тогда прошу меня извинить”. Солдат уходит, приводит толпу (в 200 человек), подходит к прапорщику и со словами: “За то, что вы на мои слова ответили дерзостью” — убивает его наповал. Офицеры к коменданту: “Примите меры к аресту…” Комендант: “Теперь каждый заботится о своей жизни… Прошу не поднимать истории”».

Снесарева поражает этот уже не случайный случай, он записывает рассказанное, но таким эпизодам несть числа, все их не запишешь, а записанным, зафиксированным ничему реально не поможешь.

Когда присяга попирает присягу, когда присягнувшие оказываются «плясунами, как Брусилов, Рузский, Леш…», как не без иронического презрения именует их Снесарев, когда далеко не худших командиров увольняют, заменяя безграмотными сладкопевцами свободы, когда сотнями убивают офицеров только за то, что они офицеры, когда убивают сильных военачальников, таких как адмиралы Бутаков, Вирен, а у последнего насилуют дочь и измываются над женой, когда политические выскочки чернят, пачкают многовековой ствол государства, его монархические, православные, соборные начала, когда русских изгоняют с окраинных имперских территорий только за то, что они русские, когда всечувствующая мать пишет сыну-воину: «Береги себя, сын, погибать теперь не из-за чего», — разве слепому только не видно, что к родине подступают (подсупили уже!) времена и временщики предельно революционной и анархической развращённости.

И словно воспроизведутся они! Керенская верхушка вела к ленинской, более жестокой; отступнически-уступчивая горбачёвская — к ельцинской, напоминательно большевистски-безжалостной. Большевики в 1918 году разогнали Учредительное собрание, рыночные большевики в 1993 году расстреляли парламент — Верховный Совет страны.

Изданный временной властью приказ об омоложении армии преследовал цели более политические, идеологические, групповые, нежели военно-благоустроительные.

Среди первых попал под этот приказ комкор Кознаков, один из самых уважаемых Снесаревым в генеральском корпусе. Вскоре по той же редакции, что и Кознаков, отчислен Нечволодов;

Снесарев полагал — за «Сказания о Русской земле».

В конце марта ему было предложено принять 159-ю пехотную дивизию. Поскольку он значился по фронту тридцатым, если не далее, кандидатом и поскольку Кознаков уже ушёл, Снесарев, не раздумывая, согласился. Дивизия располагалась около Трембовли, командовал ею генерал Черемисов, который принял Двенадцатый корпус. «Что за дивизия, не знаю, — пишет в тот же день жене, — но она находится в резерве и по слухам трудится, маршируя с красными флагами. Ну, это дело временное и налётное: в нашем корпусе я достиг того, что решительно никаких манифестаций не было, а красные бантики носили 2–3 дня, да и то одиночные люди…» Тут же не забывает и семейного переезда из Петербурга — где вернее остановиться, где спокойнее: казачий ли хутор Самсонов, или уездный Острогожск. В письме снова строки веры в лучшую будущность своего народа: «В мою великую страну и мой великий народ я верую прочно, верую в его жизненность, в его здравый смысл и глубоко убеждён, что из невзгод и испытаний он выйдет не разбитым на куски, а могучей и единой семьёю 170-миллионного народа».

В апреле — опять о том же, словно он сам себя убеждает: «Я верую в здравый смысл русского народа, который в глубине своих здоровых нервов и ещё свежего разума найдёт прочный источник для дальнейшего благого и здорового государственного строительства».

Per aspera ad astra? Метафорически-романтическое понимание государственного строительства и даже космического пути, высказанное вскоре после снесаревского письма молодым воронежцем Платоновым, звучит так: «Русскому мужику тесны его пашни, и он выехал пахать звёзды».

А Родина за двадцатый век и руинно разрушалась, и высотно возрождалась. Народ, строя и воюя, теряя лучших, угасая в пассионарности на предельных своих и мировых разломах, всего испытал: и земных терний, и космического взлёта своих сыновей, и надежды полумира, и ненависти полумира. И через несколько десятилетий после снесаревского письма — крестьянского рода философ Зиновьев, эмигрировавший, поглядевший на заокеанские свободы и вновь возвратившийся, трагически увидит и предскажет: «Впереди самый страшный этап антирусского проекта: он касается присутствия русских в истории человечества. Сущность этой части проекта — постепенно искажая и занижая вклад русских в историю, в конце концов исключить из памяти человечества все следы их пребывания в истории вообще… Это “вычёркивание” русских из истории уже практически происходит. Причём делается это педантично, планомерно. Такая

фальсификация истории не раз делалась в прошлом. А с современными средствами это — заурядная проблема».

И как же трудно устоять, если, при очевидной любви к своей многостральной родине, даже такие чуткие и глубокие люди, как Зиновьев, по его же признанию, «целились в коммунизм, а попали в Россию»; а при очевидной ненависти — сокрушать Россию не требуется никакого искусства. Большое зеркало разбивается на мелкие куски…

Или «Мы есть и будем» — несмотря на миллионнократно просчитанный тотальный, глобальный план руссоненавистников?! Но для этого надо — устоять. А чтобы устоять — надо видеть и понимать. А чтобы видеть и понимать — надо знать прошлое мира и чувствовать будущее мира. И если бы только это…

Здесь уместно сказать вот о чём. При любой, самой трагической, жизнеломающей, жизнеобрывной участи нашего народа, русский мир как православная цивилизация, как духовное явление, как метафизическая страна останется жить в вечности, пока не будет положен предел человеческому существованию на земле. И тому подтверждение — даже историческое, генетическое, кровное, пусть и грустное: русские сотнями тысяч крепких пахарей и кротких прекрасных женщин уводились на невольничьи рынки Востока и Запада, миллионами уходили в эмиграцию после внутригосударственных русских смут, и по всей планете, во всяком случае, в Европе, Азии и Америке, вне России русская кровь, перемешавшись и породнясь с другими кровями, живёт-пульсирует в созидательной жизни человечества. И если даже народы, меньшие численностью и духовно-культурным наследием, именами и событиями, неуничтожимы (у Бога всегда бессмертие и дитю малому), то большое вневременно сохранится во всеобъемлющем архиве Творца.

4

К 4 апреля 1917 года Снесареву приказано быть в 159-й дивизии, дислоцировавшейся на правом фланге Двадцать второго корпуса Седьмой армии. «Участок самый плохой и со стороны противника наиболее активный: прут германцы и турки, ведут минные галереи, работают бомбомётами, миномётами и т.д.».

Из Тысменицы ехал через Коропец, Бучач (знакомые и когда-то смертельно опасные — узнаваемые и неузнаваемые) в Струсов. Было ветрено, пронизывающе холодно. Встретился с Черемисовым «просто, отдалённо дружески». Владимир

Андреевич Черемисов, недавний начальник дивизии, назначенный командовать Двенадцатым корпусом, а вскоре и армией (Восьмой) и даже армиями Юго-западного и Северного фронтов, всё-таки более известен не как практик, а как сильный военный теоретик, составивший в Императорской академии Генштаба незадолго до Первой мировой войны вместе с Н.П. Михневичем, Д.Г. Щербачёвым, Н.Н. Головиным, А.Г. Елчаниновым, АА. Незнамовым, А.К. Келчевским удивительно яркое созвездие. Общо знакомя Снесарева с обстановкой, Черемисов вынужден был признать, что дивизия обделена и бедна артиллерийским и конным парками, да и толковыми офицерами. Правда, выяснилось, что в дивизии, расположенной в Сюлке, Ахалкалинским полком командует Владимир Георгиевич Шепель, близкий по 64-й дивизии. Значит, на один полк уже можно было положиться.

Но пойдут ли остальные полки на позиции? «Полки двинулись, а затем отказались, затем была вынесена резолюция, что не могут, т.к. позиция в дурном состоянии, нет проволоки… Части совершенно развинчены и небоеспособны… Чувствуешь себя в не совсем покорённом городе… могут подстрелить, могут забунтовать».

Теми же днями Снесарев снова встречается с Черемисовым, они долго и душевно говорят, на многое у них родственные взгляды, хотя, конечно, дивизия расхаживает с красными бантами, политиканствует из-за попустительства и неуместной мягкости именно Черемисова, который, как мог почувствовать Снесарев, «человек простой, несложный, жизненный».

В первые дни апреля приехали члены Государственной думы Дуров и Демидов, в полках произносили речи. Снесарев — выдающийся лектор, беседовавший со многими — от крестьянина до великого князя и высоких военных посланников, говоривший на разных языках, видел, что ораторы оба слабые, и солдаты в большинстве — «бедные, тёмные люди, закруженные вихрем событий, жадно просящие разгадок и условно настроившиеся на непонятные слова…»

Но были — целыми батальонами и даже полками — враждебные, словно заражённые бациллами агрессивности. «Один солдат — красивый, худоватый, довольно наглый — держал речь: “Мы босые… Куда мы пойдём… жалованье — пустяк…” Его толпа одобряла зловещим “правильно”. Чувствуешь себя не совсем приятно: ещё 2–3 оратора — и толпа может разорвать в клочья. Вот что значит строить что-либо на настроении! А теперь на нём хотят построить государство… вышел дружинник толстый, как боров: “Мы голодаем, нам кушать хочется; один офицер съедает,

сколько нас и 1 тысяча не съедает…” Что можно построить на этом тёмном и несуразном красноречии? А остальные тысячи ещё темнее. И при народном голосовании (выбор, например, президента) куда пойдут эти голоса: сколько будет куплено, споено, обмануто, затуркано, зажжено… А скажут: народ захотел…»

Поразительный, проницающий взгляд: словно речь идёт о российских президентских выборах образца 1996 года. Здесь невольно вспомнишь и Льва Тихомирова, его продиктованныые заботами сердечной истины глубоко верные слова о демократических выборах и свободах.

Снесарев, понимая, что нововверенная дивизия принесёт ему куда больше невзгод, нежели лавров, невольно вспоминал свой послужной список, своих начальников и подчинённых. Узнав о назначении Гутора, Веселовского, Киселевского, Бельковича, Крылова и Квецинского командующими армиями, вспоминал встречи с ними и совместную службу с некоторыми из них и думал о том, что в жизни его «волны, всюду волны», за высокой волной — низкая, за ласковой — коварная; как складывалось у него по службе хорошо, ровно и успешно у непосредственных военачальников Павлова, Ханжина, Кознакова, как складывалось трудно, плохо, подчас скверно у Гутора и особенно — у Вирановского. Что-то теперь его ждёт?

Начало апреля. Выступал на позиции полк. И в нём двести человек оказались босыми, их пришлось оставить, но неизвестно, лучше ли себя чувствовали ушедшие на позиции и не предпочли бы они остаться босыми. В первые месяцы войны было не так. Но теперь… «Ночь спал нервно — чудился конец мира: вероятный отголосок суммы недавно пережитого…» Наверное, не только отголоски пережитого, но и мучительных раздумий о судьбах родины и мира, в последнее время приобретавших эсхатологические угрозы и зыбкие контуры конечной катастрофы.

Прибыв в Сюлко, встретился с людьми, ему интересными. За годы войны были десятки и сотни встреч с разного уровня военными и гражданскими деятелями, но интерес всматриваться снова и снова в знакомых, тем более впервые встреченных, за первичным образом одного человека видеть сколок с образа родины никогда в Снесареве не угасал. На этот раз он побывал у начальника 23-й дивизии генерала Курдюкова, который внешне был разительно похож на Ермолова и сразу навевал ассоциации с Отечественной войны столетней давности; а затем встреча и затяжной разговор с Вандамом. В сущности — встреча двух проницательнейших геополитиков России, мы бы о ней вовсе ничего не знали, если бы не запись в снесаревском дневнике: «…

Говорим с Вандамом. Он сильно смущён: его волнуют и общие обстоятельства, и его личная отсталость, а также необходимость быть выбранным… Его мысли: 1) революцию сделала Англия, но не предвидела её размаха; 2) комитет рабочих и солдатских депутатов направляется еврейством и большим капиталом; 3) армия ими разложена, между офицерами и солдатами проложена классовая рознь…»

Далее Снесарев воочию, собственными глазами увидел бунт: не поддаваясь ни уговорам, ни приказам, полк на боевые позиции идти отказался. Военачальник, что называется, от Бога, впервые видел взбунтовавшихся, причём — его дивизии, в любой миг готовой взорваться, как пороховая бочка. Самое печальное или постыдное заключалось в том, что в какой-то степени «подготовил» военную часть к неповиновению его боевой товарищ генерал Черемисов: это он уступил разрушителям дисциплины — невежественным волонтёрам — свободы: дескать, требуйте себе красные банты, ко мне заходите в любое время, когда захотите… А он-то понимал, что такое обрыв воинской традиции, порядка, уставных отношений, командирской воли, он, выдающийся военный мыслитель!

На другой день Снесарев снова у Курдюкова, там и Вандам. Ждут армейскую делегацию из двух солдат и двух офицеров, прибудут скоро уговаривать полк идти в окопы. Разговор невесёлый. Снесарев наблюдает, как интересный ему Вандам «по обыкновению красиво фантазирует»: мол, нет резона здесь наступать германцам, раз из Галиции русским всё равно придётся уйти. Повторяет мысль о революционных кознях консервативной Англии… Считает, что появление Америки как союзницы Антанты на Европейском материке — это поднятие мира англосаксов, объединённого, предельно прагматического и эгоистического грядущего властителя земли…

В разговоре вспоминают ещё одного военного мыслителя, со временем неоспоримо выдающегося Головина, у которого тоже нет возможности по-настоящему заниматься ни теоретическими, ни фронтовыми практическими делами, его, надо думать, угнетает странная миссия: «В Бучаче — Временное правительство в лице Головина и его штаба и Комитет депутатов — какая-то солдатская организация…»

Мучительно раздумывает Снесарев, как митингующей своей дивизии, стреляющей уток, кур и гусей, вернуть необходимую боеспособность.

Не то что совершить подвиг атаки, а хотя бы добраться в окопы — кто только её ни уговаривал, ни увещевал, ни пытался усовестить, ни пытался ей приказать! Генерал Черемисов, члены

Государственной думы, заезжие инспекционные начальники, офицеры и комитет Двинского полка, исполнительный комитет армейской организации, снова — генерал Черемисов, депутации от матросов и унтер-офицеров. Снесарев чуть не полдня увещевал-совестил-приказывал, и, как выразился он, такая сумма уговорителей (да ещё каких!) не могла дотянуть полка до окопов. И даже займи окопы эта полудезертирствующая, гусе-уткострелляющая, анархиствующая солдатская масса, как её устремить из окопов в атаку?

Выезжает с Марковым в городок Литвинов. Нижние чины смотрят дикарями, чести не отдают… Оттуда едет в Подгайцы и Завалув. Здесь докладывает комкору Николаю Афанасьевичу Обручеву о дивизионном мятеже-неповиновении, и оба сходятся на мысли: дивизию в резерв, на подробный разбор, может быть, придётся и расформировать. В Бучаче Снесарев встречается с Незнамовым: «Он всё знает, даже мою речь и готовность выводить каждую роту на позиции, он высказывает нескладно афоризм о том, что на войне вся дисциплина построена на вероятной смерти впереди и обязательной сзади». Затем обстоятельно, со всеми малоприятными для честных военных подробностями Снесарев докладывает новоназначенному командующему Седьмой армией Бельковичу. Командующий негодует то ли на времена и Временное правительство, то ли на дивизию и дает согласие её подержать, а затем направить в резерв и на разбирательство. Снесарев просит снять с него неблагодарный груз, но Белькович не приказывает, а, в свою очередь, просит понести крест…

Расформирование всей дивизии — случай экстраординарный, позорящий войска, но на фоне накатывающего развала уже и этот позор не позор.

И притом на съезде в Каменец-Подольске начальник Генерального штаба Ставки Алексеев заявил, правда, унылым, угнетённым тоном, что с Седьмой армией ещё благополучно; на что командующий Восьмой армией Каледин угрюмо откликнулся: дескать, не знает, есть ли у него теперь армия как таковая, то есть способная воевать.

А атаки на армию идут со всех сторон. В снесаревской дивизии один офицер, то ли толстовствующий, то ли шпионствующий, смущал низшие чины, отвергая окопы и войну. Причём окопы он даже не видел, в атаки тем более не поднимался. Тогда комдив приказал ему обойти окопы лично и доложить об их состоянии. Однако этот «благожелатель» солдатских сердец струсил: в окопы не пошёл, сорвал с себя погоны и заявил, что он ни старому, ни новому правительству не присягал, что он «свободный гражданин», а не офицер, и желает

жить по заветам Христа. Начальник дивизии велел неуместного «пацифиста» арестовать и предать полевому суду за подстрекательство к бунту и за трусость…

Случай, разумеется, не единичный, но его хотя бы можно разрешить волею местной военной власти. Сложней и драматичней — с воплощением приказа об омоложении армии. «Как принцип, оно не плохо, — пишет он жене в одном из апрельских писем, — но на практике задача решается и слишком быстро, и не всегда удачно… в офицерскую среду брошено огромное яблоко раздора, практика омоложения вносит полную переустановку офицерских дум, пониманий, привычек. И опасно то, что эти эксперименты и другие делаются над армией — институтом старым, как свет, если хотите, грубым, но определённым и неизменным. Отмените войну, говорю я многим, а за этим вычеркните из жизни государства всё то, что зовётся её вооружённой силой, но раз вы этого не можете, поступайте так, как указывает военная наука… другого исхода нет. Во Франции вне боевой обстановки или службы офицер и солдат — одно и то же, но в бою, например, офицер имеет право (и практически это осуществляет) пристрелить солдата. В устоях армии нет эволюционирования, и армий нет ни передовых, ни ретроградных — есть разницы бытовые, разницы за большую культуру страны, но не более, да и те-то разницы не касаются существа дела».

В адресованных жене письмах, как и прежде, возвращается к своим знакомым, друзьям по службе и по фронту. Строки о Корнилове исполненныы чувства очевидной сопереживательности: «Кого мне жаль, это Лавра Георгиевича; в конечный его успех я не верую; всё, что он может достигнуть, это внешняя благопристойность и наружный покой, но внутренней спайки и прочной дисциплины ему не создать: против его одинокого центростремительного напряжения будут работать десятки центробежных сил, и они его сомнут. Сколько раз, я думаю, он вспомнит свою славную дивизию или корпус, как часто, мне думается, его тянет на боевое поле, где много страшного, где машет смерть своими чёрными крыльями, но где нет условностей, нет политики, и сердце храброго человека находит себе здесь и утеху, и удовлетворение. Передай ему мой поклон и благодари за добрую память».

Запись в дневнике от 17 апреля 1917 года: «Сегодня посетил роты… здороваются неважно. Заехал к Шепелю, с которым пошли на позицию. Он полон мрачных дум… Одно нам ясно, что Временное правительство будет повешено…

Крестьяне ясны: “Дайте нам земли и царя”. — “Зачем царя?” — “Для порядку”. Увы, здравый смысл им ясно говорит, что

прежде всего нужен порядок… А там права, свободы…»

(Что до справедливого суда над временщиками, политическими авантюристами верхнего радикального ряда — здесь честные общественные умы, даже и проницательные, как Снесарев, ошибутся: никакого суда над ними не будет, кроме разве морального, но что он им?.. Точно так же через десятки лет выйдет сухою из воды команда «младореформаторов» и их приверженцев при вполне управляемом — и не только «семьёю» — первороссийском президенте и даже изловчится ухватить материальные богатства и иные «призы» в разорённой стране; а ещё прежде — горбачевские невдумчивые соделатели и дельцы перестройки, а ещё прежде… Едва ли таковых устыжает и наводит на смирение даже это: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата!»)

В конце апреля семья переехала из Петрограда в Острогожск. А Снесарев получил приказ о награждении орденом Св. Анны первой степени с мечами — седьмая награда за войну. Позже скажет: «Весть о Св. Анне я принял уже совсем равнодушно: потому ли, что давно знал о ней и видел в этом лишь выполнение формальности, потому ли, что в народной армии награды вообще теряют свою соль». Награда была заслуженной, но подмены даже словесного ряда, вроде армии народной, а республики свободной, а правительства, пекущегося о благе народных свобод, обесценивали и саму награду: получить её в двоевластное время, при правительстве, в котором первые скрипки играли выскочки керенские, было всё равно, что получать награду через десятки лет при ельцинском вакханальном режиме.

5

В апреле 1917 года Соединённые Штаты Америки оповестили мир о вступлении в войну на стороне Антанты. Повод — подводные операции Германии. Однако весьма существенным было свержение русской монархии и приход к власти буржуазной верхушки. Заокеанские друзья-соперники русской буржуазии рассчитывали получить возможность контроля над политическими и экономическими сферами России, да и не только России, — Европа, словно в ночном бурном море огромный дредноут на маяк, невольно разворачивалась и вглядывалась в заатлантическое североамериканское побережье, вынужденная взирать на статую Свободы, как на свою то ли спасительницу, то ли уже повелительницу.

ЭШЕЛОНЫ СПЕШАТ В ТУПИКИ. 1917

Ленинские «Апрельские тезисы» обещали скорую социалистическую революцию. В Февральской, буржуазно-демократической, трагедия и фарс переплетались, как сиамские близнецы, героизм не был тем качеством, которым бы могли похвастаться вожди Февраля.

Мало кто из порядочных людей мог бы умилиться хоть Февральской, хоть обещаемой социалистической революциями, но чёрная масса силы была именно за ними, переходящими друг в друга, как матрёшка в матрёшку.

1

«Я вновь задумываюсь о нашей революции. Она началась видимым пустяком, где-то… криком: “хлеба!”, дня 2 длилась бессистемно… Кадеты были озадачены и совершенно не готовы, почему власть попала в руки рабоче-солдатской группы, которая и правит сейчас Россией… кадеты сделали что могли; чтобы сохранить своё существование, они поплыли по течению: стали за демократическую республику, за отчуждение земель… А товарищи распоясались вовсю: им, ничего не имеющим лично и изжившим чувство государственности, жалеть было нечего, и они “дали”: крестьянам землю, рабочим 8-часовой труд, германцам и Турции — проливы, Австрии — Галицию. Что им наша история и наши мечты о Святой Софии? О присоединении к государственному стволу Галицийской ветки? О неизбежном обеднении России в лице крестьянина, лишённого хозяйственных побуждений?..»

Читая статьи в «Историческом вестнике», Снесарев поддаётся грустным мыслям, что его народу суждено, как Моисею, умереть в пустыне, и хотя по-прежнему верит в здравый смысл, душевное народное здоровье, при которых только и возможно благоразумное государственное устроение Отечества, но ближайшие горизонты занавешены свинцовыми тучами. Он также не без грусти видит, что «вырвавшись на свободу, люди только о свободе и думают и упиваются подчас без памяти этим ядовитым для многих напитком». Ему хотелось разговаривать с женой о родине, именно о родине, и мысленно он говорил, и ложились на лист строки: «Страшнее всего и больнее то, что об ней теперь меньше всего думают, все готовы отдать другим из её великого,

потом и кровью скованного достояния: юг — украинцам, Армению — Турции, Галицию — Австрии, проливы — Турции… идите, собирайтесь и вы, другие, может быть, и вам что-либо нужно: у нас есть ещё Кавказ, Сибирь, Туркестан… Вот чего я не могу понять. Свободы — хорошо; рассредоточение власти — прекрасно, форма правления, которую выберет народ (верую в одну, но подпишусь под той, которую выберет), но зачем рваться на клочки, зачем разгораживать и тащить по прутьям гнездо? Я хочу быть сыном 200-миллионной семьи, а не какого-либо 10-миллионного курятника; как сын первой, я чувствую себя великим и гордым, мне милее и сладостнее мой труд, ласковее и спокойнее рисуется моя будущая могила… маленький холмик на необъятном просторе моей огромной родины».

Но как было спасти Отечество, когда всюду — «тревожное дезертирство… проявления неповиновения и нарушения дисциплины, аграрные злоупотребления, произвол и леность рабочих, отвоевавших себе 8-часовой день, разгул газет, пьяно следующих за улицей, молчание и забитость трезвых голосов…» И самое сердцеразрывающее, что и на фронте нет ни порядка, ни слаженности, ни боевого духа, и какую часть ни возьми — работают мало и вяло, винтовки не чистят, разведки нет, с офицерами обходятся словно с врагами, зато врагов принимают для задушевных бесед, словно братьев родных. Да что офицеры, если временная власть провоцирует против генералов монархических или патриотических настроений, сколь бы они ни были дельны как военные. Когда к генералу Каледину пришли праздные энтузиасты с революционными флагами, он угрюмо и словно бы жалеючи депутацию спросил: «А молились ли вы Богу?» — «Это наше личное дело!» — с вызовом ответствовали манифестанты и долго ещё размахивали флагами, словно они, по меньшей мере, победители при Бородино. Генерала Миллера и вовсе арестовали, когда тот приказал: «Уберите эти красные тряпки».

(Евгения Карловича Миллера сразу после октябрьского переворота большевики приговорят к заочной казни, но, спасшись, он ещё побывает и командующим Северной армией, и начальником штаба генерала Врангеля, и председателем Русского общевоинского союза — до той поры, пока не будет похищен агентами советской разведки, вывезен в СССР и в 1939 году расстрелян.)

2

А что же всё-таки в снесаревской «вольницкой» дивизии в

апрельские дни 1917 года?

Хорошо, что возвращаются старые проверенные друзья. Начальником штаба присылают Соллогуба, о чём Снесарев просил и его, и вышестоящих, а Лихачёва назначают командиром второго полка дивизии, другой полк возглавляет Петровский, бывший командир Азовского полка. Кликни он клич, к нему бы немедля потянулись люди из прежде руководимых им полков и дивизий, но эта перетяжка должна иметь разумный предел. Набирать своих, лучших, и обесценивать другие части не годится: не администрация же американских президентов, а фронт. Пока ещё фронт, хранящий честь.

Для него дивизия что больной ребёнок. Вылечить можно только своими трудами, нервами, бессонницами. Своим сердцем. Своей любовью. Целительные лекарства — и искреннее слово, и личный пример. Но, чувствует Снесарев, даже если его дивизия обретёт военную упругость и наступательный дух, даже если дюжина будет таковых, даже если корпуса восстанут из погибших, уже трудно что-либо выправить. Дух политической верхушки враждебен родине, да и в стране многое сдвинулось, смешалось, подпало под власть смуты, а столичный Петроград — главный смутьян.

«И всё смутно, всё запутанно в стране, неумолимые законы революции властно ведут её в тупик… Больная фантазия, раздражённые политические настроения и общий невроз царствуют вовсю, люди при первом шуме берутся за оружие, и улицы кишат толпами… Хуже всего, что войска выходят из казарм по требованию “кого-то”, сами не зная потом кого… Так было в Италии, в её городах, в Средние века, когда люди ходили вооружёнными, при первой тревоге запирали лавки, слабые прятались в домах, а сильные выскакивали на улицы, и начиналась резня…»

«…закон революции — движение до политического абсурда, за которым начинается отрезвление, а с ним — искание покоя и порядка…»

Но, чувствует Снесарев, не скоро начнётся это отрезвление. Он даже всё больше сомневается, своими сомнениями делясь с женой, следует ли идти сыну Кириллу в кадетский корпус: «В ближайшей к нам России не будет иметь смысла быть ни военным, ни духовным. Дальше, может быть, изменится, но пока на близкое к нам время эти профессии не дадут ни обеспечения, ни удовлетворения гордости. Офицерство так много переживает сейчас и так много уже пережило, что всё (или многое) из наиболее сильного и талантливого побежит из горьких тисков этой профессии и займётся другим делом. Нужны будут года — и

года немалые, чтобы пережитое пало в реку забвения, и на зелёном её берегу возросли новые горизонты и новые надежды. Наша революция, как и всякая революция вообще, имеет и хорошие, и плохие стороны, — как мягкосердечная революция, она, может быть, имеет даже больше светлых сторон, но относительно офицерства она была мачехой и очень тяжёлой…»

Да разве только для офицеров она мачеха? Для народа — мачеха. И потому — подальше бы от неё, во всяком случае, любая семья любой страны не для баррикад же Всевышним сотворяется!

«Я лично рад, что мальчики скорее унесут ноги из петроградской обстановки и заживут в обстановке, близкой к деревенской. Какое уж там ученье, когда в Петрограде лишь притаилась революция, и она готова вспыхнуть… Я думаю, у вас в Острогожске будет хорошо, — я помню, там при доме есть сад, и не маленький, кажется, недалеко поле, есть речка… Как мне думается, тянет теперь каждого из взбаламученного людского моря к тихой и спокойной пристани природы, на зелень травы, под ласковый луч солнца!»

Хотя тут же добавляет, что и природа несёт успокоение лишь временное, так как не на всё, в мире происходящее, может ответить.

И политические угрозы таит революция, и экономические, а они пострашнее митинговой площадки и даже картины стянутого с трибуны оратора-сладкопевца, и эти его опасения фиксируют его строки:

«…Очевидно, насчёт труда мы пока не только не двинулись вперёд, а сильно попятились. И это одно (остальное пустяки, мы вовремя повернём туда, куда нужно) меня только и печалит: слишком уж страшно для меня обеднение России, начатое и наполовину сделанное войной, а теперь продолжаемое и завершаемое революцией…

Это такое явление, которое приводит в трепет… да и не меня одного, а и многих благомыслящих людей, смотрящих более или менее широко на вещи. Это нас ведёт к экономическому рабству — игу, более тяжкому, чем политическое, и не одному лишь германскому, а германо-французо-англо-американо-японскому…

Рабочие, которые так горды добычей 8-часового рабочего дня, первые поймут отраву своих политических надежд, так как первые попадут в тиски голода, и понятно: ни одна русская фабрика, с её отсталой техникой и повышенной платой при пониженном труде рабочих, будет не в силах конкурировать с фабрикой Запада, а даже самый горячий патриот недолго будет покупать за рубль аршин отечественного ситцу, когда у соседей он сможет его купить за 10–15 коп. И рухнут все эти наши

фабрики, и бедный наш рабочий станет работать ещё менее чем 8 часов, т.е. совсем не работать, так как платить-то будет некому, да и не из чего…» — словно вчера или даже сегодня сказанные слова!

«Для современной обстановки русскому человеку недостаёт двух данных: образования и чувства гражданственности, увы, не привитых старым режимом; раньше первое заменялось опеканием бюрократии, второе выбивалось палкой. Не стало этой “помощи”, и столбы рухнули… Что это значит в общей экономике государства, и какое страшное экономическое рабство готовится нам в будущем, об этом и говорить страшно…»

3

А в Государственной думе — запоздало хорошие речи, уже не имеющие смысла, раньше надо было думать и предусматривать, чем обернутся прежние зажигательные, блескучие, развал провоцирующие словопады. Родзянко говорит об армии как защитнице народной чести. Гучков сетует, что, казалось, новая армия революции затмит старую подневольную, но всё же родную и славную армию старой России. Но нет! Отечество на краю гибели. Керенский нервно говорит о взбунтовавшихся рабочих. Церетели готов поставить на бедной стране крест.

Снесарев заочно возражает временщикам, подобно подросткам, ухватившимся за руль корабля: «И только мы, третий год ходящие под ликом смерти, на события смотрим спокойно и с достоинством: мы не впадали в истеричный пафос в первые дни революции, когда всё было покрыто розовым флёром, мы не впадаем в истеричное отчаяние, когда со всех углов на нас глянули тёмные рожи анархии… мы и тогда понимали, что в восторг приходят от вывесочных радостей, нам и теперь ясно, что в ужас приходят от вымученных ужасов…»

6 мая 1917 года раздумья-строки Снесарева — прорицательного характера, и не на год. На десятилетия. «Представители буржуазии решили уступить дорогу социалистам: “Пожалуйте, господа, довольно разыгрывать безответственных критиков… примите книги (ключи) в руки”. Это очень печально, но, может быть, это скорее приведёт к развязке узла, который держится полной путаницей понятий и нервно-произвольным учётом общественных сил. Если социалисты на Руси имеют реальную (не книжную или искусственно раздутую) силу, то, конечно, Россия, а в частности армия, послушает их голоса и пойдёт за ними, но если нет? В этой-то очень вероятной возможности и коренится весь драматизм и даже ужас

эксперимента. У кадетов есть образованность, специальность знаний, технический опыт по управлению и личный авторитет (у некоторых), а у социалистов, за малыми исключениями, ничего этого нет, их знают в узких специальных кругах, но Россия *en masse* их не знает, а крестьянская масса и подавно, да кроме того, вожаками являются в большинстве случаев инородцы… Теперь об этом только догадываются по честным и открыто выставленным фамилиям Церетели или Чхеидзе, а ведь потом раскроют и псевдоним, маскарад долго не продержится… страна пойдёт ещё левее к тем, которые сулят ещё более: не только землю сейчас… но сейчас и дворцы, банки и всякие благополучия… а там анархия, вновь трепетное искание лучших русских людей, мобилизация крестьянских трезвых масс и искание прежде всего власти, а с нею порядка и покоя. *Я* почти убеждён, что всё так будет, что эту многострадальную Голгофу ещё раз придётся пройти моей бедной стране…»

Холодный майский день. Сильный ветер. На пригорке, недалеко от дороги, сопровождаемой двумя рядами тополей, Снесарев беседует с офицерами. Честные и отважные воины стойко держались на передовой, а теперь все в один голос заявляют, что при первой возможности уйдут в иностранную армию. Дескать, здесь надобности в них нет.

Это показатель. Никогда прежде не ходили в иностранные армии русские офицеры. Наполеон, будучи молодым, хотел попасть на русскую службу, может быть, с русской границы через Индию одолел бы и Англию; как бы то ни было, у западноевропейского офицерства со службой в чужих армиях куда проще было. Ещё со Средних веков. Словно в командировку поехать.

А вот теперь и русские. И время, и отнюдь не время. Лучшие уедут, кому же родину заново воссоздавать из руин? Он обращается к умницам-офицерам так, как если бы они и были власть имущие, — мол, оставьте вопросы о форме правления… это глупость: поставьте Царя, поставьте президента, поставьте фонограф — это всё равно, но дайте стране мудрые законы и строго блюдите за их исполнением… И далее говорит, что надо заняться двумя вещами, необходимыми всегда любому народу и государству, — воспитать народ и собрать экономическую мощь. «Сделать народ правдивым, законопослушным, трудолюбивым, верным слову и проникнутым долгом… Теперь он распущен, лжив, развратен, дик. А затем накопите в стране капитал… теперь страна нища…»

Об этом же он напишет и жене. А ещё: «…пахнуло на меня весною, деревней и простором; я страшно рад, что вы вырвались

из Петрограда — города, который сам себя скоро перестанет понимать, а страна его давно не понимает… как, впрочем, и он её…

Цветы твои дошли свежими, и я много и долго их целовал: они родные, они совсем близко от того места, где я родился (Большая Ка-литва)».

Почему-то Снесарев Старую Калитву, свою малую родину, называет здесь Большой Калитвой. Оговорился? Или такою — большою — зыбко мерцала из глубин детства, в просторе задонской и заоколичной полевой дали?

После телефонного узнавания друг друга, заехал генерал Кивекэс, предшественник Снесарева по Памирскому отряду, с новым начальником штаба 159-й дивизии Ларко, эстонцем по происхождению, что Андрея Евгеньевича обрадовало: «Эстонцы — народ прочный… и с ними работать приятно». Кивекэс словно вернул Туркестан, жаркие дни, их общую молодость: бодрый, неунывающий, уверенный в себе; несмотря на время поражений, чувствует себя победителем. Прочный и ясный человек. После войны думает уехать в края молодости: «Возвращусь к солнцу… Кто пожил в Туркестане, у того в сердце остаётся неизлечимая тоска по солнцу». Видать, так. В стихотворении «Туркестанские генералы» хорошо передал это ощущение поэт Николай Гумилёв, отец выдающегося историка-евразийца: «И сразу сердце защемит тоска по солнцу Туркестана».

На заседании Государственной думы 8 мая 1917 года — продовольственные дела. Шингарёв, «крестьянский министр», тоже уроженец Воронежской губернии, сказал: «Положение необычайно тяжёлое. Революция вызвала чрезвычайные стремления к расширению прав и совершенно притупила сознание долга и обязанностей. Расходы растут с каждым днём. Доходы государства совершенно приостановились… мы стоим у пустого сундука».

(Ещё не совсем у пустого. Ещё звонят в колокола церкви и монастыри, в которых хранятся великие национальные сокровища — их скоро большевики изымут и разграбят; ещё хранятся в северных раскольничьих деревнях, поморских, сибирских сёлах старинные иконы, старинная утварь, семейные ценности; ещё не уничтожены под корень дворянские роды, духовные, офицерские, купеческие, крепко-крестьянские — целые сословия.)

«Спокойно ли у вас в Острогожске?» — тревожится Снесарев за семью, перенося фронт в тыл. Вернее, фронтовую и прифронтовую атмосферу в далёкий городок Воронежской губернии. Спрашивая о муже сестры священнике о. Алексее Тростянском, об отношении к нему прихожан, прежде неизменно

душевном и почтительном, тут же рассказывает фронтовой эпизод, когда в пятницу солдаты избирают молодого корнета эскадронным командиром, а в субботу арестовывают. Уже случалось и пострашнее: младшего офицера избирают в полковники, а через день расстреливают. Благодарит жену и за письмо со штемпелем станции Грязи и особенно за мужественное и небрезгливое отношение к солдатской массе в поездке по железной дороге: «Ты имела дело с “православными”, с которыми я имею дело вот скоро три года. Ты у меня непобедимая, и тебя ничем не проберёшь, эта мысль мне тотчас же пришла в голову. Да, они, конечно, в массе люди добрые и славные, если 1) их не отравят теориями, для них непонятными и 2) если их не провоцируют разные проходимцы. Объясните первые и избавьте от вторых — обычно патентованных трусов, всё равно для нас бесполезных, — и наш солдат засияет прежним ореолом непобедимого страстотерпца… употребляю это слово потому, что главным фактором солдатского подвига являлось долготерпение и многотерпение». И тут же рассказывает жене потрясающий эпизод, в котором явлен двуединый образ солдатской толпы, могущей быть жестокой и способной к милосердию: «Идёт ко мне эшелон в 800 человек, и на одной станции была долгая остановка, а поблизости был спиртовой склад. Началась агитация и переговоры, чтобы добыть спирта, начали раздаваться крики: “Взломать”, “разбить” и т.п. Начальник эшелона подпоручик (лет 20–21, не более) начинает уговаривать, объяснять, усовещивать, бранить — ничего не помогает. В воздухе пахнет бунтом и развалом. Тогда, потрясённый и измученный, он закрывает лицо руками и начинает рыдать тяжкими и горькими слезами. Отрезвило ли это горячих, пристыдило ли большинство, но стали люди успокаиваться, уходить от склада, а потом сели в поезд и поехали дальше. Начальник станции и спрашивает: “Как вы это сделали? А в прошлый раз, представьте, офицеры ничего не могли поделать: люди разбили склад, упились, убили шесть офицеров, а седьмого, которого не добили, на другой день из прапорщиков произвели в полковники…” Когда всё придёт в норму и спокойная история будет подводить свои нелицемерные итоги, кто-либо из её деятелей всё же будет выбит из колеи равнодушия, читая такие факты. И задумается он над тем, кто же виноват и кому это было нужно — поставить офицеров на склоне величайшей войны в такое положение, что только тяжкие слёзы с их стороны — одинокое, оставленное им орудие — могли вернуть людей на путь порядка!..»

4

А между тем Брусилов, с мая Верховный главнокомандующий, «товарищески» роднился с солдатской массой, митинговал и в солдатские ряды бросал неизменный вопрос: какая армия лучше — прежняя царская или теперешняя революционная? «Теперешняя!» — насмешливо кричали. «Тут сквозила передержка — разумели некоторые лучший уклад жизни, а не вопрос о боеспособности. Когда Брусилов орал и махал красным флагом, повторялись голоса (кажется, и Бельковича): “Боже, зачем он это говорит?” И грустно, и страшно, и гадко!» Далее Снесарев пишет о другом, но, в сущности, всё о том же, хотя и происходящем вдалеке от фронтовых не пушек, а ораторствующих языков: «Товарищи становятся более разнообразными: на Волге пароходы ходят, куда прикажут солдаты… Постоянный пикник… В Царицыне Совет рабочих и солдатских депутатов наложил на Царицын контрибуцию в полтора миллиона рублей — для увеличения жалованья солдатам и солдаткам… Видно, анархия эволюционирует… Надо ждать варягов с востока или с запада…»

Снесарев едва ли мог предположить, какой зигзаг начертит судьба: через год он поедет в Царицын военным руководителем Северо-Кавказского округа и будет иметь возможность не только поглядеть на Волгу с пароходами и без, но и послушать речи и приказы этого самого Совета рабочих и солдатских депутатов. Да ещё и на себе ощутить гримасы всё той же анархии.

В мае 1917 года Керенский сменил Гучкова — возложил на себя обязанности военного министра, что уже было полной бессмыслицей, поскольку Гучков и сам когда-то воевал, и обладал военными знаниями, а Керенский как военный был красноговорящий нуль.

Тогда же Верховным главнокомандующим стал Брусилов. Скоро предпринятое им наступление Юго-западного фронта скоро и выдохлось. Второй «брусиловский» прорыв не удался, да уже и не мог удаться. Ибо и сам командующий был не тот, что прежде; легко передислоцировавшись в поборника новоявленных «временных», их безответственных свобод, повинен в поражении был и он; и это о нём, Брусилове, Снесарев ещё в марте выразился резко, недвусмысленно: «Каков этот вчерашний социал-демократ, а позавчерашний — военный автократ! Воспитанный в конюшне великого князя Николая Николаевича и пропитанный духом подхалимства, он пополз теперь животом пред м-me Революцией!»

Снесарев был не единственным из русских военачальников, столь суровым к Брусилову после февральских перелицеваний. Ничего не было сугубо личного, водораздел лёг именно через

Февраль. Снесарев ценил Брусилова. Брусилов ценил Снесарева. Правда, в одном из приказов он, высоко ставя его научно-теоретические знания, считал его более кабинетным, штабным военным деятелем. Но тут не лишне сказать, что сам Брусилов, не окончивший Академии Генштаба, ревнив был к кабинетникам. В его воспоминаниях есть о том, что, мол, великие полководцы прошлого академий не кончали; правда, всё это подаётся косвенно, через разговор молодых офицеров Генштаба и запальчивого «неакадемического» полковника, который им доказывал, что Александр Македонский, Наполеон и Суворов академий не кончали и побеждали, а в Русско-японской войне всё начальство во главе с Куропаткиным было из «академиков» — а не то что не победили, но и едва ноги унесли с маньчжурских сопок.

Чапаевское настроение!

И сколько бы опереточный Керенский (даже вкупе с популярным Брусиловым) ни разъезжал по фронту, сколько бы ни выступал, ни призывал войска, развращённые камарильей керенских, они не хотели воевать. Между тем газета «Киевская мысль» спешит уведомить читателя: военного министра носят на руках, он воодушевляет! А на самом деле в гвардейском гренадерском полку Керенского оплевали, в Финляндской дивизии вступили с ним в пререкания, немыслимые прежде даже в отношениях рядового и прапорщика; еле удалось военного министра увести от греха подальше.

А в Подгайцах, где располагался штаб армии, Керенский, видать, в знак неколебимой солидарности с западными «союзниками» одетый по-английски в гетры, кепи, кричал-воодушевлял, тянулся на цыпочки, подпрыгивал, размахивал руками, сотрясал воздух исступлённо-возбуждёнными возгласами, действительно, как митинговый оратор и оракул. Самое забавное и грустное, что и Брусилов также, размахивая красным флагом, кричал: «Это революционное знамя вручил мне военный министр…» — словно то знамя ему вручил сам Господь Бог или, по крайней мере, генералиссимус Суворов.

Оценка Снесарева жёсткая: «Какая-то лёгкая митинговая комедия, не достойная ни грозного момента и сурового дела, ни самих руководителей, а Брусилов заслуживает просто презрения. Впечатление минутное — на короткое время, пока Керенского несли на руках, а затем ни следа, как от пены морской…» Не менее строгая оценка — в снесаревском дневнике в самом описании картины майского посещения Керенским двух Заамурских полков: «Керенский не поздоровался и начал вопросом: правда ли, что у вас не хотят воевать? Гробовое

молчание. Правда, что не хотят переходить в наступление? Гробовое молчание. Начинает речь обычного типа, но в более нервно-раздражительном тоне. Из строя — ни звука… Наблюдается определённое явление: Керенский производит впечатление, может быть, даже энтузиазм в больших штабах — фронта (Каменец), армии (Подгайцы), где нет солдат, а рабочие, переодетые в солдатское платье… приветствуют в нём — бессознательно или сознательно — социалиста, товарища, а не военного министра; где же он подходит к настоящей солдатской массе, там контакта нет, там он чужой человек и… гробовое молчание…»

Керенский и Брусилов, словно в артистическом турне, разъезжают по армии, а настоящей армии уже не существует. Снесарев, отходя со своей сменённой у окопов дивизией, с колющим сердце бессилием видит, что всё в разбросе, развале, великая убыль народным деньгам, никакого порядка (разве так было в славной дивизии у «Орлиного гнезда»!) и горестно размышляет, как всегда, математически точно:

«Переделка армии фабрикой — эксперимент наименее удачный… и психика, и идеология рабочего (особенно сознательного) совсем иная, чем у солдата (настоящего, конечно) … Солдат — государственник, строитель и разрушитель царств, губящий гнездо столетий и строящий новое на столетия; рабочий — человек без исторической перспективы, безгосударственник… Прошлое и общее для него вздор. В рабочем столетиями и испытаниями накапливалась ненависть против имущих что-либо, эта ненависть — постоянный горючий материал… Рабочие — однородная масса, одинаковая, тренированная; два-три трафаретных слова — и она готова; солдаты — масса сложная, глубокая, разная… Толковать надо долго, да и то не дотолкуешься.

Вообще, мы запутались в понятиях. Керенский говорит, что русская армия самая демократическая в мире; надо же понять, что армии в России больше нет ни на фронте, ни внутри. Прежде чем к вещи прилагать эпитеты (большой, малый, хороший, зелёный), надо установить раньше, существует ли сама вещь… Может быть, не нужно терять зря слова. Ведь вернуть винтовки в руки группе детей или толпе, толкающейся на ярмарочной площади, это ещё не значит сделать её армией».

5

Получив краткосрочный отпуск в конце мая — начале июня, Снесарев отправляется в дальний путь, в Острогожск, и среди

загаженных территорий, безладицы, гвалта, пьяных солдат с неизменными девками, размахивающих то ли флагами, то ли красными тряпками, перед Струсовым видит польские полки, которые, как и в начале войны, идут ровно и слаженно, с патриотическими знамёнами. Смотреть — загляденье! Эти полки через три года будут бить войска революционного, советского Тухачевского, скоро славного своими победами над русским крестьянством и чуть-чуть над русским белым воинством. А покамест польские полки — ещё здоровые сколки армий российской и австрийской.

В Киеве Снесарев, имея толику свободного времени, отправился к памятнику Столыпину. Памятника уже не было: мутная революционная волна свалила его с постамента. «Им нужны великие потрясения, нам…» — далее пророческая надпись была сбита.

Что теперь нужно нам, идущим над пропастью?

Через три дня он был в Острогожске, и не надо было иметь двух пар глаз, чтобы увидеть, какие неприглядные мазки положила революция на «милый, спокойный и красивый город». Таковым он был с начальных поселенческих времён, а теперь — грязь и навоз, «общественный сад запущен, занятая женская гимназия загажена… Власть захвачена Советом рабочих и солдатских депутатов…»

Уходил с женой и детьми к Тихой Сосне, за речкой расстилался луг, на нём купно росли вербы. Паслись коровы. Совсем неподалеку, у противоположного берега, пощипывала траву, видать, намученная, с впалыми боками гнедая лошадка, время от времени взбрасывая голову и поглядывая так, словно спрашивая, где бы ей найти лучшие и травы, и луг, и жизнь.

В Острогожске Снесареву принесли прочитать брошюру депутата Государственной думы Пуришкевича. (Снесарев не раз встречался с Пуришкевичем, нельзя сказать, что был дружен, но ценил и некоторые его выступления на трибуне Государственной думы, и его, одного из подвижников Красного Креста, помощь фронтовым окопам. Пуришкевич всё время со своим санитарным поездом пропадал на фронте, тыл не работающий, а праздноболтающий был ему неприятен — как ближний, так и дальний).

Подумать только — брошюра распространялась по России нелегальным путём! А как же свобода печати? Да никак! Не могла понравиться ни Временному правительству, ни Совету рабочих и крестьянских депутатов эта брошюра. Называлась она «Без забрала». Открытое письмо петроградским революционным вождям.

«Назовитесь, наконец, кто вы такие? Дайте ответ России! Кто

вас призвал к власти? Какова профессия ваша? Кто уполномочил вас, наконец, говорить от имени народа и истолковывать его желания? Великое государство, будь оно монархией или республикой, не может управляться псевдонимами. Не товарищи Пётр, Василий, Нахамкес (Стеклов) должны и вправе руководить 180-миллионным народом, а только те, которые пользуются у него известностью, которых он знает, которым он верит и за которыми пойдёт…»

(Разумеется, в этом своём негодовании Пуришкевич не был одинок, правда, у других акценты расширяются, политики предстают не в отрыве от народа. Мелким и недостойным политикам позволяют кренить государственный корабль совокупные народные равнодушие, неразделимые смирение и мятеж, отсутствие разумной политической воли, гражданственная непросвещённость и атакующее, откуда-то нахлынувшее безбожие. Бунин в те же поры, что и Пуришкевич, пишет в предшествовавших «Окаянным дням» дневниках: «Опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т.д.». Или в подобных случаях, где смыкается тайное, человечески злобное и иррациональное, от воли народной мало что зависит, во всяком случае, доживи Бунин до конца двадцатого века, не пришлось ли ему опять бы по той же логике досадовать на народ: управляется «какими-то» Гайдарами, бурбулисами, Чубайсами, Козыревыми, березовскими, «семибанкирщиками» и несть им числа. Но тогда и предшествовавшие «добрые человеки из Политбюро» вроде Горбачёва, Шеварднадзе, Яковлева ничем не пригляднее.)

Снесарев, прочитав близкие к концу письма-инвективы строки, задумался, и не враз его отпустила мысль: сколько в этом письме правды, сколько её на противоположной стороне, есть ли она сегодня, эта правда, «Русская правда» со времён Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, Святая Русь со времён Сергия Радонежского, Нила Столбенского, Иосифа Волоцкого, всё-таки Святая Русь — на небесных, а не на земных просторах. Ибо «нет правды на земле». А выше? Но на земле многое-то и от человека зависит, его честной воли, свободной воли его выбора.

Надобно было всё-таки отдохнуть и от трёх лет войны, и от нынешнего политического безудержа, и Снесарев пытается отдохнуть. Читает, гуляет низовыми приречными улочками, берегом реки, забредает на луг, но на душе отдыха нет и радости нет, а смутно долетающие фронтовые и столичные известия и вовсе не радуют. Лечицкий, славный командарм, ушёл из армии, не приняв слова «демократия» в его либерально-временщическом

окрасе; сказал, что его демократией не запугать: он мужицкого, крестьянского корня; он военный не из худших и потому порядок уважающий, но «фабрике повиноваться не намеренный». Сколько тут яви, сколько мифа, трудно сообразить, но дыма без огня не бывает.

Самое же грустное — дом, лишившийся лада. Да, собственно, семье приходилось и жить не дома; а тут здоровье жены — словно надломленное: стала более чем всегда бледна, стала часто падать в обмороки и поддаваться чувству угнетённости — в одну из ночей вдруг вспомнила, что муж неверно её понял… тому тринадцать лет назад!

6

Возвратясь из отпуска, Снесарев на следующее же утро отправляется в полки. Он едет вдоль леса правым берегом Золотой Липы и ловит себя на мысли, что уже бывал здесь, что его, как и сотен тысяч офицеров и солдат, боевая страда все три года ограничена прикарпатской территорией, что позиционное однообразное сидение с временными перетягами удач, отступлениями, наступлениями утомляет воина, не даёт ему дальнейших горизонта и надежды, что сама война эта, ещё недавно отечественная, после февральских событий становится ненужной, бессмысленной, хотя, разумеется, он как военный не покидает свой пост, даже если наводнение скроет здание, какое он охраняет.

Он беседует с каждой ротой в отдельности, расспрашивает о нуждах, рассказывает об увиденном на придонской Воронежской земле, вдалеке от фронта, но не чувствует, как бывало раньше, благодарного отзыва, весёлого подъёма, открытости; может, оттого, что сердце утомилось от комитетов, свобод и нововведений. И всё же как разительно отличались пусть уже и подточенной дисциплиной солдаты передовой, воины его ещё недавно разболтанной дивизии от солдат тыла — ушедших в самовольный отпуск, приотставших, недопивших, одним словом, дезертировавших, на которых он насмотрелся в недавней поездке: «…всю дорогу, когда я видел всюду солдата: в вагоне, на его крыше, в залах, на перроне, в деревнях, поле, около колодезей, у будки сторожа — и всюду он был хозяин положения: наглый, разнузданный, по-свински понимающий свободы, — мне было тоскливо, и путь мой был неприятен. И всё ему уступало дорогу, все с ним любезничали, интеллигенты готовы были предложить папиросу, барышни — побеседовать с “солдатиком”, и на всех лицах я не прочитал уважения к окопному герою, спасителю

родины, а лишь боязнь, как бы этот “спаситель” не укусил, не заругался, не сделал какой-либо непристойности. Это было вынужденное всеобщим запугом лицемерие, заискивание пред разошедшимся и опасным в своём разгуле тёмным человеком… Как полегчало на моём сердце, когда я приблизился к окопным солдатам, а там и к моей дивизии: здесь и порядок, и люди начеку, и отдание чести. Всё это я им высказал, благодарил за рост сознательности и за понимание своего боевого долга. Со всех сторон слышу, что дивизия постепенно завоёвывает новую репутацию, вселяет надежды и выдвигается в ряд лучших первостепенных дивизий».

Решение дивизии, вынесенное на следующий день после прихода к границе: «1917 года, июля 15-го дня, общество офицеров и солдат полков дивизии единогласно постановило: … позиции на рубеже земли Русской у речки Збруч оборонять до последнего человека и до последней капли крови. Всякого, кто, не будучи ранен, в страхе или панике покинет ряды товарищей или будет подговаривать к этому других, немедленно, без суда расстреливать на месте как изменника России; воинские части, оставляющие вопреки распоряжениям военного начальника боевую позицию, встречать пулемётным и артиллерийским огнём резервных частей».

Пресечение огнём бегущих с поля боя? А что делать? Снесарев видывал этих панически бросивших огневые поля — они скоро превращались в сбродные толпы, становились дезертирами и наводили ужас на местное население, грабили, насиловали, убивали, они были хозяевами поездов и вокзалов, просёлочных дорог и лесных деревень. Но тогда выходит — заградотряды? Разве они не будущее сталинское изобретение?

Скорее, изобретение конъюнктурной исторической публицистики, наверное же, знавшей, как ещё в древности и Средние века встречали бегущих и расправлялись с ними Запад и Восток, Римская империя и Золотая Орда. А бегущие и дезертирствующие в семнадцатом — последствия, прежде всего, революционной смуты и либеральствующе провоцирующих распоряжений и действий Временного правительства. Уместно сказать — и атеистических настроений…

Снесарев просматривает «Русские ведомости», где в выступлении епископа Андрея Уфимского на московском съезде духовенства и мирян предсказывается и рисуется бедственное состояние Православия. Говорят не только об отделении Церкви от государства. Уже требуют передать церковно-приходские школы светской власти. В Киево-Печерской лавре типографские машины у церкви отобраны, запрещено печатание молитвенников

и Евангелий. В изъятой у духовенства типографии Троице-Сергиевой лавры якобы предполагают печатать Ренана и подряд разноконфессиональные, а более всего атеистические книги. Московская синодальная типография «экспроприирована» у духовенства, в ней печатаются социалистические манифесты и листки против Церкви…

«Вот вам и первенство православной церкви, — не без горечи констатирует Снесарев, — мне говорили, что Киевская лавра оставшуюся у неё старую типографскую машину передала в аренду еврею, надеясь хоть таким способом возобновить печатание христианской литературы…»

7

Летнее наступление в Прикарпатье сразу не заладилось, тому была масса причин, но хватало двух. Как в том анекдоте, когда Фридрих Великий спрашивает своих генералов: «Почему не взята крепость?» На что генералы бодро ему отвечают: «Тому 102 причины. Первая — не успели подтянуть пушки, вторая — не подоспели солдаты…» — «Достаточно!» — остановил король. Так и здесь две плавные причины: присутствие бездарной верховной власти (фронтовые единомышленники Снесарева всё более утверждались в мысли, что «в России её отбросы, соорганизовавшись в группы, правят страной»), отсутствие былого морального духа в войсках; а строже — отсутствие самой армии…

Снесарев жестоко, не жалеючи думает о тех, кого он всегда любил, перед кем преклонялся, в большое сердце и большой шаг которых он верил, кого умел беречь в боях, кого считал лучшей частью сильного, великодушного народа-правдолюбца.

Слова, может быть, лексически и не украшающие снесаревский слог, но жёсткая их правда — отражение очевидной картины по всей границе войны: «…окружающий меня православный люд: без времени жрущий, целый день пьющий чай, по-мужичьи двигающийся (без пояса, расстёгнутый, в перевалку…) и без конца лениво работающий — говорит моему чуткому сердцу, что шансы плохи, что он — развинченная и разобранная машина, конченый и подвига не даст, а без подвига нет в бою успеха». И далее: «Здесь выясняется картина неудачи… офицеры одиноко бросались вперёд и гибли, лучшие люди бросались подбирать офицеров и… погибали, а стадо оставалось на месте, может быть, злорадствуя. Всё вышло разрозненно, а главная причина: нравственный развал…»

Нравственный развал на русской земле да и во всём мире — это уже невидимая тень Антихриста. Снесарев с фронтовыми

друзьями перечитывают Апокалипсис, поражаясь, как мало в молодости приоткрылось им «Откровение». Другие времена надежд и упований? Кто ещё четверть века назад думал о всеевропейском взаимном истреблении народов? Теперь учёной атеистической фразой как неким заклинанием уже не отмахнёшься от прихода Антихриста, который, как убеждён его фронтовой товарищ, «всех объединит на принципе сытости живота. Теперь всё идёт к этому… Класс встаёт на класс, и если кончится мировая война — начнётся гражданская… И закричат все: приходи кто-либо, примири и дай покой, и придёт Он, но не Христос, строивший мир на непротивлении злу и отказе от мирских благ, а Антихрист, имеющий <целью> собрать людей на идее сытого желудка при наименьшем труде».

Снесареву теперь всё реже удавалось читать газетные издания столиц, но время от времени попадались более близкие по расстоянию, разные по направленности «Киевлянин» и «Киевская мысль».

Он видел, как революция буквально тонет не в переменах, а подменах, несоответствиях, лживых построениях, и передовица Шульгина «Пусти, я сам» не без язвительного искусства рисовала общий несклад этой повальной переиначки. Дескать, в монархические времена скрипач проникновенно играет, и его, естественно, принимают и слушают; в традиционно демократических странах — одобряют или гонят; при теперешнем, «временщическом» гуляй-режиме всяк, кому вздумается, взбирается на сцену, вырывает скрипку у профессионала — «сопельные меломаны учат…».

Снесарев добавляет, что примеров таких тьма-тьмущая: хозяйственные служащие в Академии наук заявляют право участвовать в учёных заседаниях; на переосвидетельствованиях солдаты оспаривают врачебные консилиумы; архитектор, строящий дорогу или здание, должен защищать проект перед комитетом, а в комитете том — фельдшер, слесарь и обозный, да ещё оные комитетчики так резонёрствуют, словно именно они воздвигали, по крайней мере, Невский проспект.

А реальная жизнь, по счастью, не подчиняется даже революциям и революционерам: достаточно, скажем, было удалить Колчака от командования Черноморским флотом, как на Чёрном море беспрепятственно загулял германский военный корабль «Гебен»… Снесарев сокрушается не только тому, что в революционный семнадцатый столько всего дикого, неразумного, кровавого происходит, но что всё это пристрастно оценивается, ложно истолковывается или вовсе скрывается: «…начинают искать стрелочника; вероятно, таким окажется большевизм,

влиянием которого всё и объясняется. Может быть, что-либо будет придумано и по адресу нашего брата. Но правды не будут знать и знать не захотят…» Правду-то хотят узнать, да откуда её узнать? «…Я сейчас прочитываю газеты (только, к сожалению, «Киевскую мысль»), и я, право, не узнаю в описаниях её то, что я вижу своими собственными глазами. Вранье и трактование событий под нужными для нас углами были обычным и постоянным для нас грехом, но до таких пределов, как теперь, мы никогда не доходили. Зачем? Это, прежде всего, некультурно, а затем нежизненно: с ложью можно весь свет пройти, да назад не вернёшься…»

Июньские бои киевский интеллектуальный листок описывает в своём привычном фальшь-пафосе: «С исключительным подъёмом было принято известие, что руководство боевыми действиями происходит при ближайшем участии и контроле Керенского и комиссаров с.-р. Савинкова и с.-д. Кириенко…»

«Дальше в лжи идти нельзя», — скажет, прочитав, Снесарев. Он, побывав в прифронтовом лесу, видит другое: «Неорганизованные и разрозненные группы, без офицеров, кое-где доигрывают в карты… Картина страшная… Вонь страшная… А никому нет до этого дела, как никому нет дела до России…»

И только офицерский корпус помнит о чести. Офицеры, «пасынки революции», «свечи, запалённые с двух концов»… Офицеры, уже погибшие в Карпатах и у Мазурских озёр, словно подавали изглубинный голос завета: всё вынести и не потерять чести, милосердного начала и умения прощать.

На фронте тысячекратно передавалась из уст в уста «молитва офицера из действующей армии». Пусть художественно слабая (не до художества!), она, скорее всего, была рождена на первых порах революции, когда множество офицеров в Кронштадте и Гельсингфорсе стали первыми жертвами революционного неуёма. Сколько их ещё падёт — не от германцев, но от недавних подданных Российской империи! На Волге и Дону, Северной Двине и Днепре, в Белом и Чёрном морях, в Петрограде и губернских и даже уездных городах, И, конечно же, страшный солнечный Крым, стократно политый русской офицерской кровью.

Христос Всеблагий, Всесвятый, Бесконечный,
Услыши молитву мою.
Услыши меня, мой защитник предвечный,
Пошли мне погибель в бою…

Под конец июня командир корпуса назначил в Сюлко

собрание начальников дивизий и их штабов, чтобы обдумать намеченное на ближайшие дни наступление. Длилось совещание долго, но без глубоких тактических соображений или хотя бы интересных искорок мысли. Может, общая обстановка не располагала к необходимому и для военных вдохновению, предшествующему аналитическим разработкам, может, придавливали вести — последние июньские вести, не все из которых следовало принимать на веру: Белькович оставил армию якобы по интриге Незнамова; Скобельцын удалён за то, что дивизия не пошла в наступление; разве что у Черемисова победа — четыре тысячи пленных; высоковспрыгнувший адвокат Соколов, не без которого появился на свет либеральный, разлагающий приказ № 1, затеял на фронте уговаривать один полк, где, в солопение не вслушиваясь, присяжного поверенного со товарищи крепко побили, попросив больше не путаться под ногами.

Как бы то ни было, Снесарев с тоской мысленно и на бумаге подводит неутешительный итог: «Наше заседание кислое: рассуждаем, зная, что ничего не выйдет, никто не пойдёт в наступление…»

8

А в стране — не только прибойные волны революции, но и противовстречные волны. С одной стороны, стрельба, помимо фронтовых передовых, и в глубоких тылах, и беспрерывные по стране совещания, съезды, комиссии, надзоры, движения анархистского и либерального толка. С другой стороны, готовящиеся Православный Собор по избранию в Москве патриарха, двести лет отсутствовавшего на русской земле, Всеказачий съезд в Новочеркасске, да и просто крестьянин, не переставший возделывать поле, — всё это было далеко от революционной суеты да и враждебно ей.

И среди женщин не всем же быть пассионарными социалистками-террористками! Женщины в слободе Ольховатка Острогожского уезда, куда припожаловали подкомиссары Временного правительства агитировать за Временное правительство, за его войну и бестолковщину, с позором и убийственно-язвительными приговорками вымели «временщиков» из слободы, как выметают сор на току.

«Твоя жанровая картина об Ольховатке удивительна, — отвечает Снесарев на одно из июньских писем жены, — я хохотал… Бабы — народ прочный и довольно консервативный, их появления на сцене “товарищи”, очевидно, не рассчитали, и

оказалось, что против бабьего митинга или сборища они совершенно бессильны. Разогнать их пожарной кишкой, а тем более пулей (да баба наша посмелее нынешнего воина — её не запугаешь) не позволяет статья… их партийного трафарета — надо людей убеждать разумным словом, а повести бабу на классовых интересах, на ненависти к буржуям или вообще на социалистических помочах, так ведь баба слишком разумна и практична как мать, домоседка и собственница (всё-таки печка да горшка два есть), чтобы попасть в товарищеские шоры, да сверх того её к этому и не готовили…»

Что поделать, выступать перед солдатами приходилось и Снесареву, поскольку чисто военные способы воздействия на войска Керенский и его компания поспешили отменить как реакционные, монархические, не соответствующие духу свобод. Вот и говори, ораторствуй во всю ивановскую, ежели не изобьют. Андрей Евгеньевич с улыбкой отмечает в дневнике, что в один день произнёс тринадцать речей, если считать по полчаса на речь, то получится ораторствование чуть не в треть суток… Разумеется, прекрасный оратор, лектор, собеседник, он умел говорить в любой обстановке, при любых слушателях и сотни раз беседовал с солдатами на отдыхе, перед атакой и после атаки, но теперь пробиться к солдатскому сердцу, смущённому облегчёнными речами временных комиссаров, стало труднее. Разумеется, он по-прежнему навещает окопы. Но вот едет мимо полков: Литовского, Волынского, Кексгольмского, гвардейских стрелковых — «всюду неорганизованные разрозненные группы, играют в карты… всё развалено, живёт врозь, ни указаний, ни связи, ни общего содружества… И успели развалить в какие-нибудь три с половиной месяца…»

Единственное утешение тех дней — поступившая 27 июня 1917 года телеграмма начальника Главного штаба генерал-лейтенанта А.П. Архангельского о награждении Снесарева орденом Святого Георгия третьей степени. К слову вспомнить, Алексей Петрович был добрым вестником о пожаловании Андрею Евгеньевичу ордена Святого Георгия четвёртой степени. Получить известие от уважаемого генерала было вдвойне приятно. Позже уважаем тот был и в среде эмиграции, где долее других возглавлял в 1938–1957 годах (после Врангеля, Кутепова, Миллера, Абрамова) Русский общевоинский союз — наиболее крупную и влиятельную организацию, объединявшую русские военные силы во многих странах мира.

Снесарев послал благодарственную телеграмму в 64-ю дивизию. Пришла и ему поздравительная телеграмма. В письме от 30 июня Снесарев записывает свой разговор о семье: о жене, о

сыновьях Гене и Кирилке как будущем военном, и на вопрос собеседника «и даже в случае милиции?» отвечает: «Это дело не меняет: родину всегда должен кто-нибудь защищать или быть готовым к защите, и наш второй мальчик носит в груди подходящее для такого грозного и великого дела сердце».

В начале июля командиру дивизии строят землянку, которая по замыслу должна быть удобной, надёжной, просторной. Но строят так медленно, словно закончить её надо не ранее зимы. Потешут брёвна, поговорят, покурят, снова потешут, поговорят, покурят — эдак с полдня. Не сапёры, а копотухи. «А между тем вся Россия так работает, — сокрушается Снесарев, — мало и вяло».

В начале июля в письме отцу и матери жены делится возможностями своего будущего, безотрывного от Родины: «… Каковы мои планы на будущее? Сейчас трудно говорить о нём, когда туманен и неясен завтрашний день России… с началом мира нам придётся перестраивать армию заново сверху донизу или… перестать существовать как единое, цельное и сильное государство. В этом труде найдётся уголок и моим, какие они есть, дарованиям. А нет, найду и другую работу — ценз у меня большой. Вообще же, не знаю. Сейчас я работаю, как часовой на посту, хотя порою волны наводнения доходят чуть ли не до шеи. Но что делать? Поста мы не имеем право бросать и не бросим».

И словно бы продолжая начатую мысль о своём будущем, в письме жене размышляет: «Если бы меня выбрали почётным казаком Камышевской станицы, я бы не прочь был пойти к Каледину; Араканцев — это мой товарищ по Академии, и когда я… ездил в Михайловскую, я в Урюпинской заходил к Араканцеву, и мы много с ним тогда проговорили и провспоминали прошлое. Сверх того я убеждён, какие бы ни свершались в России пертурбации, на Дону было и останется спокойно. Мне приходило даже иногда на мысль сплавить вас всех на тихий Дон».

(Нет, не тихим выдастся Дон, отсюда — начало белой борьбы, а позже разделится он, как на уходящие друг от друга протоки-рукава, на враждебные друг другу казачьи силы, заполыхает Вёшенским восстанием, будет, словно штыками, насквозь проколот карательными красными войсками. Снесарев помнил донской край мирным, единым, богатым, может, именно такая детская и юношеская память не давала проявиться обычной его проницательности и увидеть огнём объятый день завтрашнего Дона.)

А фронтовые летние дни проходят в чересполосице дурного и совсем дурного, редко хорошего или, по крайней мере, грустного.

Войны словно бы и нет — ни канонады, ни даже одиночных выстрелов, редки учения, ещё реже — атаки и контратаки. Действительно, довоевывание. Хотя Ставка шлёт директивы, штабы пишут, военачальники тасуются, как короли и валеты в карточной колоде.

Заехал проститься отстранённый от дивизии старый приятель, будущий участник Белого движения Скобельцын, отец будущего советского академика-физика, который откроет электронно-ядерные ливни, ядерный каскадный процесс и многое другое, благодаря чему станет знаменит. Снесарев в нескольких строках и с грустью, и с невольным юмором, и с радостью пишет о кадровых перетасовках: «Отстранил его Гутор, который сам сейчас отстранён. На место Гутора назначен Лавр Георгиевич, о котором в газетах пишут очень тепло и красиво как о народном герое. Я рад за этого хорошего человека и моего личного друга».

Поутру генерал участвовал в празднике мусульман своей дивизии, присутствовал на моленье, поздравлял, пил чай, чем несказанно обрадовал солдат, в основном с Волги и Кавказа, да и сам напитался от них радостью, видя, что у них не угас государственный инстинкт и что они «понимают пользу дисциплины и не утеряли веры в своего Бога».

У многих это чувство государственности и долга измялось в окопах, поколебалось царевым отречением, было оглушено комиссарствующей ратью, и как плоды этой митингующей рати, готовой ради обманной свободы иссечь на куски государство, Снесарев отмечает ещё в начале войны немыслимое: «Великорусы-солдаты (конечно, из мерзавцев) говорят: мы дойдём до Киева, а там пойдём к себе, а хохлы пусть себя обороняют сами, своё хохлацкое царство. Так наивно и не вовремя надумана самостийность Украины». И великорусы не чают добраться до далёкой своей сибирской или онежской деревни, да в ней и увидеть своё государство. И донские, и уральские, и иные казаки не прочь отделиться от большой Родины, слышал же он, как из его дивизии казаки вместе с верным ему Осипом в вечерний час тихо переговаривались, мол, бог с ней, с Россией, казакам лучше жить самим по себе, вот только не ошибиться бы, кого выбрать: атамана или… короля.

Армию словно дьявольский вихрь рассеял на воюющих, пленённых и дезертирствующих. Последние — самая зловонная короста армии. «Они, эти бродяги, дезертиры, грабители, насильники… трусливые и дрянные солдаты, отравляют всё наше существование; ещё нам-то в этом отношении сносно, так как мы всегда в сфере огня, а бездельники эти его не любят, но дальше от нас вглубь дезертиры собираются кучами и толпами, и там они

ужас не только для населения, но и для штабов, транспортов, обозов. Когда мы их встречаем на нашем пути, то кричим им: “Куда тащишься, сволочь!” — и они, поджав хвост, виновато плетут нам какую-либо оправдательную историю, но на 20–25 вёрст от фронта они уже дерзки и невиновны, они рассказывают другие истории и ведут себя нагло. На 30–35 вёрст их наиболее густая волна, а дальше в глубь страны они всё больше и больше редеют, пока, наконец, не становятся отдельными единицами; такие единицы улавливаются ещё даже на 150 верстах от фронта. Что они делают, этого нельзя передать; даже мы иногда, проезжая ночью по деревням, слышим крики насилуемых женщин, но у нас эти насильники, как правило, обычно этим самым актом и кончают свою карьеру. Глубже — эта картина шире, ужаснее… невиданный и неузнаваемый лик армии, эта картина завершения трёхлетней войны — вот это видеть нестерпимо… и некуда скрыться от всего этого».

8

И вдруг во второй половине июля тональность его настроений, впечатлений, размышлений меняется. Оттого ли, что противник, так долго наступавший, приостановлен; оттого ли, что его дивизия расположилась неподалёку от Хотина, местечка, славного русской победой ещё в середине восемнадцатого века, победой, воспетой великим Ломоносовым в «Оде на взятие Хотина» в новых, силлабо-тонических ритмах, живых в русской поэзии и поныне; оттого ли, что его дивизия преображается, крепнет, обращает на себя соседское внимание способностью снова наступать, «вчера один из полков моих принимал участие в деле и вёл себя прекрасно, никакого сравнения с другими»; наконец, оттого ли, что думающий о родине, о стране детства везде находит для воспоминаний и сравнений родственные степи и холмы: «Кругом степная природа, всё покрыто степными цветами, и сухой ветер играет изгибами земли, как это я часто наблюдал в дни золотого детства. После обеда все разморены от жары, ложатся спать, а я беру двух казаков и иду на пункт. Они тоже воспринимают аналогию и повторяют мне: “Совсем как у нас на Дону летом”. И они начинают пересчитывать цветы, давая им забавные станичные названия, которые несут меня к прошлому, и я то смеюсь, то предаюсь грусти… я не особенно люблю взращённые человеком цветы, но посеянные рукой Бога на степном просторе я люблю безумно, как могу я любить. Ведь и моё сердце выросло на степных просторах…»

Теми днями — его первый приказ «о движении вперёд

бронированного поезда». Было самое вольготное время для неподчиняющихся, и начальник бронепоезда поначалу заупрямился; пришлось Снесареву в несвойственных ему тонах просительности уламывать его, пока тот согласился дать подприказ двигаться. Но драма, разумеется, заключалась не в задержке, а в самой сути главных слов приказа — «движение вперёд». Строго говоря, куда вперёд? На запад, где немцы? На север, где временная, временщическая клика? На восток, где дезертиры загаживают дороги и вагоны? Через год бронепоезда станут железными многожерловыми убийцами всех, противящихся уже большевистской революции, и, как всюду, в двухполюсном мире за его бойницами будут находиться злые и способные к милосердию, знающие и обманутые, мрачные и весёлые.

И трудно сказать, куда прогромыхал и как далеко ушёл тот бронепоезд, — может быть, предвестник грозного красного гула, вполне вероятно, и поныне гулко и тяжело катящийся на красных колесах.

Временное правительство, дёргаясь слева направо, справа налево или дёргаемое таким образом, ввело на фронте революционные суды. Возвратилась смертная казнь. Военно-полевые, теперь революционные суды выглядели так: наряду с тремя офицерами ещё и три солдата. Снесарев сразу почувствовал, что этот демократический придаток в судах — три солдата (эх, широка Русь от птицы-тройки до тройки ОПТУ) — «окажется самым злым, требовательным и карающим», и что надо «рекомендовать осмотрительность и обязательное присутствие защитника (новый закон допускает его присутствие, но не делает его обязательным)».

В начале июля дивизия Снесарева переведена в войска Корнилова, что не могло его не радовать. Кроме того, его представили к чину генерал-лейтенанта, он стал кандидатом на должность командующего корпусом. Последнее могло состояться в самом скором времени.

Корпусной командир генерал Обручев перед отбытием снесаревской дивизии отдал благодарственный и высоко оценивающий её и её командира приказ. Снесареву сообщили также, правда, не из Ставки, а значит, слух: «Дивизия значится в числе претендующих на гвардейское достоинство, когда настоящая гвардия будет лишена его… я лично считаю, что моя дивизия, держа себя, правда, неизменно прилично, ничего особенного не совершила, но на фоне теперешних безобразий и скромные подвиги заслуживают возведения в степень крупных».

Во второй половине июля вместо Брусилова Верховным главнокомандующим назначают Корнилова; это обстоятельство и радует Снесарева, и тревожит: удастся ли новому Верховному, его другу, поправить почти непоправимое?

Заметно и радующе изменилось отношение к офицерам. «Это наши спасители и наши мученики», — часто слышится теперь. Причём почти везде и у многих. Даже Керенский невольно воскликнул: «Это удивительная группа… только она одна не заявила ко мне никакой просьбы».

И Снесарев пишет жене: «Как я рад, что это, наконец, понимают, и тягчайший грех революции выходит наружу… Пред нами, как живая, во всей яркости прошла вся эта драма, пережитая армией, её развал, агония, её почти склонение к небытию со всеми страшными картинами трусости, подлости, измен, предательства, и теперь, когда армию понемногу возвращают к её нормальной организации, мы видим её постепенное пробуждение как от летаргического сна. И нам всё это понятно, мы говорили всё это раньше (так я писал и А.И. Гучкову, когда он просил нас высказаться по поводу вводимых реформ) и не считали себя какими-то особыми пророками. И тем удивительнее для нас слышать разные объяснения, которые дают в Петрограде прибывшие с фронта. Они находят здесь и революционные, и контрреволюционные настроения, возлагают надежды на комитеты… словом, стараются плыть в море своей условной вымученной стилистики, не имеющей ничего общего ни с армией, ни с её жизнью, ни с её переживаниями… здесь всё совершается совершенно иначе: или много проще, или много сложнее, чем думают “мыслители”…

Как-то вы там живёте, как твоё здоровье, моя лапушка? *Я* боюсь, что вам в тылу наши события на фронте кажутся более страшными, чем они бывают на самом деле. Хотя Куропаткина и называли мастером отступления, но это искусство не большое и довольно простое; обыкновенно ждут ночи и под покровом темноты, оставив немного людей, покидают позицию… Одно горе — усталость в ногах и ноющая боль в сердце».

(Андрей Евгеньевич, Ваше Превосходительство, господин и товарищ генерал! Вы пережили Великое отступление 1915 года, отступление 1917 года, а наша с вами Родина ещё переживёт страшное, с миллионными потерями убитых и пленённых, отступление первых лет Великой Отечественной войны, да ещё — революционно-криминальный погром в конце двадцатого столетия, когда очередная временщическая бригада-семья,

руководимая якобы конституционным гарантом-прорабом, а на самом деле искусно подвигаемая западными политиками и собственными жадностью и безрассудностью, нанесёт такой предательский, заплечный удар по России, какой не наносили турки, шведы, французы, вместе взятые; или масоны Февраля и большевики Октября, вместе взятые.)

Снесаревские записи и строки лета 1917 года:

«…В Киеве непрерывные кражи и грабежи… Грушевский, инициатор украинского движения, уличается в связях с австрийцами и в получении от них денег, что-то вроде Ленина, субсидируемого германцами… Какова картинка “товарищеского” обрабатывания России! И я понимаю теперь, как создаётся в стране реакция: одного волнует и пугает необеспеченность жизни и имущества, помещика — жизнь на вулкане под угрозой крестьянского движения, меня — дикая организация почты… Слагаемые многочисленны, сложны и разнообразны, их историк и не разберёт, а скажет только своё слово о конечной сумме: в таком-то месяце в стране стала наблюдаться реакция, которая к такому-то моменту усилилась и тогда-то дала такие-то результаты.

…Начало Московского совещания, речь Керенского и т.п. Кроме пужания и властнической натуги в речи ничего нет. Я ждал от него большей решительности, а главное — большей смелости. Народник, который стращает насилием, — жалкий и смешной тип. Возвратить смертную казнь, ввести цензуру, да ещё усмотрительную, опираться на казаков… и всё ещё величать себя народником или социалистом, ведь это курам на смех. Так грубо не проваливалась в жизни ни одна политическая платформа…»

В «Тихом Доне» около трёх страниц отдано Московскому государственному совещанию. В перерыве меж заседаниями в кулуарах Большого театра, насколько можно уединяясь, разговаривают Корнилов и Каледин. Об армии, растлеваемой большевистскими и иными агитблудословами, о неумных внегосударственных шагах Временного правительства, о необходимости действовать решительно, на рубеже предельного, даже обнажая фронт, дабы германскими наступающими полками вразумить «временных».

На вопрос Верховного главнокомандующего о настроениях на Дону атаман Области войска Донского, недавний герой Луцкого прорыва, отвечает:

«— Нет у меня прежней веры в казака… И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс: казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних… Земля… вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и

тех и других…

— Могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют?

— Не только приют, но и защиту. Казаки ведь исстари славятся гостеприимством и хлебосольством. — В первый раз за всё время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда.

Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с Декларацией двенадцати казачьих войск».

Дон, после большевистского переворота принимающий — не только военных Алексеева, Корнилова, Деникина, Лукомского, Маркова, но и общественно-цивильных, строго говоря, никчёмных, «переодетых», не знающих ни казачьего мира, ни России разнопартийных Милюкова, Савинкова, Завойко, Фёдорова, Керенского и легион им подобных, — Дон ещё может защитить их, но скоро он уже и себя не защитит, выгорая от красного пала.

Ничто не спасёт казаков — разорят их уклад, сожгут станицы, кого недостреляют — изгонят с родины.

«Я со своим домом всё стою на тех же местах; вчера у нас была служба в малюсенькой, но очень уютной церкви; солдат была масса, пел маленький хор… простые напевы… Вообще, ребята начинают поворачивать к Богу, догадываясь, что без него ровно ничего не выходит: ни победы, ни порядка, ни духовного покоя. По вечерам, когда тухнет заря, я вновь начинаю слышать “Отче наш”… поют роты, собравшиеся на поверку. А то ведь по первоначалу… молиться отказались: “Это старый, мол, режим…” Я приказал сказать, что все мы, и наши дети, и наши внуки давно будем гнить в земле, а этот режим — Слово Божие — будет так же раздаваться по церквям и полям, как он несётся теперь, как он несся сотни лет назад… не старый, а вечный режим. На полях приступают к уборке кукурузы… последнее слово жатвы.

Вчера с нами обедал один генерал и дивился нашей застольной дисциплине: офицеры раньше меня не сядут, курят по разрешении, раньше выходят — спрашивают моего разрешения и т.п. Он всё удивлялся: “А у нас (в другой дивизии) всякий сам по себе: курит, уходит…” Я мог только ответить: “Вы, генерал, прогрессивны, а мы — народ ретроградный”».

10

Непреходящие чувства великой беды и бессмысленности всего происходящего. Нет прежней воли, прежних желаний, прежних надежд. Тем не менее, разум и душу происходящее волнует — волнует положение родины и семьи.

Переживает за Корнилова, о «диктаторском» шаге которого — попытке навести порядок в столице — толкуют вкривь и вкось. Военные сходятся на том, что какая-то группа, зная его горячность, подтолкнула его на заведомо обречённый шаг, оставив одиноким перед судом; многие, и не только военные, полагают, что «Керенский был заодно с Корниловым, но дело не вышло, и первый предал второго… Среди офицерства ходит догадка, что оба… хотели просто-напросто избавиться от Петроградского Совета, но это не удалось».

Общественное мнение на корниловском «мятеже» сразу раздвоилось: либеральное — осудительное, патриотическое — сочувственное. «Теперь в России есть только две партии: партии развала и партия порядка. У партии развала — вождь Александр Керенский. Вождём же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась», — слова отечественного философа Ивана Ильина на одном из общественных московских совещаний афористично и точно объясняют суть происшедшего.

Читает мало. Удаётся познакомиться с лекцией Евгения Трубецкого — прекрасной, на взгляд Снесарева, и этот эпитет в его устах вполне понятен: ему были близки идеи о духовно-культурной самобытности России. Вскоре прочтение — иного рода: «Начал знакомиться с коммунистическими евангелиями; прочитал Манифест коммунистов (Маркса и Энгельса) и подивился невежеству и самоуверенности этих двух пророков… некоторые страницы нельзя прочитать без улыбки».

Постоянно думает о семье, вполне убеждённый, что в Петроград ей не следует возвращаться, о чём не забывает письменно напомнить жене: «Я думаю, что тебе надо оставаться в Острогожске… Кроме же Острогожска, куда же тебе деться?» И о другом сердце болит. У его семьи есть радушный притул-уголок в уездном городке, но миллионы тех порядочных, не крикливых, не заграбастых, кто потерял в лихолетье свои дома и хижины, свой скарб, свой служебный статус, куда им? Им-то куда?

Письма первых чисел осени 1917 года свидетельствуют, что и у самого Андрея Евгеньевича настроение не из радостных, да и откуда ему было взяться, если лучшее в Отечестве губилось, худшее, подобно полчищам сороконожек, оскверняло ниву и душу Родины.

«Только что объехал поля, где производятся занятия двух моих полков… Была у солдата нашего душа, да ещё какая душа — беззаветная, мужественная, стойкая, мировая, а теперь кто-то подкрался к нашему солдату и выкрал — нет мало — вырезал его

душу, и осталась там пустота. И как к этой пустоте подойти, как её взволновать, как её поднять на подвиг, как в неё всунуть лик родины, никто не знает: секрет потерян».

«…для всякого благомыслящего и смотрящего несколько вперёд картина ясна: страна идёт к экономическому и политическому краху… в мои годы и с моим кругозором трудно человеку замкнуться в личное счастье; судьбы общего, большого, страны властно стучатся в сердце… если в моё сердце, маленькое и ограниченное, как в сердце всякого человека, нашла себе дорогу общая скорбь, массовое горе, необъятная болезнь, переживаемая страной, что же тогда делается с моим бедным сердцем, как ему скорбно, как ему тяжко, как ему страшно. И что же удивительного, что сны неясно-спутанные, дикие тревожат мой сон, что ночью я просыпаюсь внезапно, как от кошмара, и долго лежу с открытыми глазами… и тогда стану я у какого-либо дерева, стою минуту за минутой и смотрю на голубое небо, туда, где мысль простых людей располагает стопы создателя миров, и мои сухие губы шепчут: “Спаси и сохрани, Ты, пострадавший за нас на Кресте”».

«Был сегодня в церкви… Певчие пели очень хорошо, некоторые вещи очень тихо. Батюшка сказал краткое слово о Богородице как защитнице всех страждущих и трогательно закончил своё слово фразой: “Царица Небесная, спаси русскую землю”».

На этом фоне служебные успехи и чиноповышения представлялись мелкими, малонужными, и Снесарев не особенно сокрушался, когда его назначение начальником штаба армии не состоялось из-за девятидневной задержки в Ставку телеграммы с его согласием. Правда, вскоре он был назначен на должность командира корпуса, но он-то понимал, что в текущем мутном потоке мало что значит стать и командиром корпуса.

11

Два месяца, с сентября по ноябрь 1917 года, Снесарев — командир Девятого армейского корпуса. Сначала ему предложили командование Двенадцатым, что его вполне устраивало: корпус был ему хорошо знаком. Но потом было приказано принять Девятый корпус в составе Второй армии. А это уже Западный фронт, который, признал Снесарев, два года опытов не имеет, разве что отрицательные.

Некоторые офицеры не побывали и в десятке боёв. Разумеется, им было дивно услышать, что их новый комкор провёл семьдесят пять боевых операций. Стотысячный корпус с

конным парком в тридцать пять тысяч лошадей дислоцировался между Выгановским озером и станцией Барановичи на ломаной полосе в шестьдесят с лишним вёрст.

Репутация у корпуса не самая плохая. До Снесарева им командовали военачальники также незаурядные — Щербачёв, Драгомиров, Киселевский, более слабый Тележников (Шрейдер). Поначалу Снесарев несколько стеснялся приказывать целому созвездию генералов, бывших старше его годами, но вскоре освоился; да и не в том была неловкость для всех, а в том, что без прямого военного дела корпус обесцвечивался. Работы — в сутки вместить бы ещё одни сутки, и то всего комкору не переделать. Он понимал, что самое трудное повлиять и на обстановку, и на людей непосредственно, для чего требовалось хотя бы раз быть увиденным и услышанным. Но слишком разбросан корпус, он, давно не воюющий, словно усыплён у этого болотистого Выгановского озера.

А что такое подвижный, изготовленный к битвам, волевой корпус — не для Снесарева объяснение, прекрасно знавшего военную историю, знавшего, например, что корпус французского маршала Даву одним сражением под Ауэрштедтом в 1806 году, в сущности, решил участь Пруссии — стать привязанной к колеснице Наполеона, а другой наполеоновский маршал Мюрат одним своим корпусом вошёл в Рим, дабы исполнить императорское повеленье: упразднить тысячелетний Ватикан как государство.

Но там были иные пространства. Иная реальность. Иные времена.

В письмах и дневниках Снесарева — его раздумья и строки о литературе и слове, о больших именах и географических точках-названиях, о русском народе и других народах.

Снесареву, как всякому нормально чувствующему человеку, было бы всё одно больно, кто бы ни истерзал в недобрый час его далёкую родственницу-отроковицу из тринадцатого, пятнадцатого и любого века: монгол, или венгр, или московит (русский разбойник). Одинаково мучительно. Равно как и подвиг во имя человека и человечества — кто бы его носитель ни был, радость и гордость за него. Хотя, разумеется, ближе соотчич, представитель родной страны. Разумеется, ему было в гордость, что, скажем, «Братьев Карамазовых», создал его соотечественник. Но кто приемлет гордость за отечественное, за его органические вершины, приемлет и ответственность за его трясины, бездны, котлованы, из которых нередко вырастают уродливые пирамиды и башни прогресса.

Славянство — его постоянная дума и боль. Он слишком

глубоко постиг геополитические реальности, проницательно узрел будущий геополитический облик мира, чтобы наивно верить в особый славянский путь и разделять славянофильские, тем более панславистские иллюзии. Но он прекрасно знает открытую миру сердечную культуру славянских народов. Он любит и поёт не только русские песни, но и украинские, белорусские, сербские.

Снесарев часто обращается к другим нациям. Он встречается с представителями десятков больших и малых народов, понимая, что они, пусть дурные, пусть хорошие, ещё не весь народ. Более того, он полностью разделяет слова Льва Толстого из «Воскресения»: «Одно из самых обычных и распространённых суеверий то, что каждый человек имеет свои определённые свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т.д. Люди не бывают такими… Люди как реки, вода во всех одинакова и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских…»

Снесарев в любом народе осмысливает, понимает, принимает его исторический путь.

В строке его — часто о евреях. «Сейчас Суббота, и в нашем местечке праздник: утром прошли в синагогу старики в длинных до пят сюртуках с книгами в руках; в одном случае Библию несла 5–6-летняя девочка, делая большие шаги за своим дедушкой. Теперь старики и старушки сидят у домов, а молодёжь (больше девицы) ходит (одна к другой) в гости… стариков, чтущих своего Бога и прилежных в чтении Библии, я уважаю: определённо, идейно и прочно», — напишет он в июльском письме 1917 года.

Великому воздаётся как великому. В устах и письмах Снесарева не раз звучит имя Моисея, вождя еврейского народа; звучат и имена библейских пророков, на все человеческие времена видящих тщету власти и накопления богатства, безбоязненно изобличающих обман, жестокость, губительные пороки. Но и суетно-суетливое, всерыночное, ростовщическое им воспринимается соответственно именно как суетно-суетливое, всерыночное, ростовщическое. После всего увиденного в столицах и на фронтах не без горечи явится мысль, что последнее — нарастающее.

Снесарев, уже в Острогожске, перелистывал дневники, попросил жену дать письма — и всё перечитал, и вырисовывалась картина тяжёлая, высокая, героическая, низкая, три ратно-военных года России, равные трёмстам мирным. Предсмутные времена. Смутные времена. Послесмутные времена. Люди их так

делят, а Бог посылает. Или люди сначала их делают, затем делят?

ПОЛГОДА В ОСТРОГОЖСКЕ. 1917–1918

В ноябре 1917 года Снесарев, провоевав более трёх лет на западной границе, выбыл в долгосрочный отпуск.

В осень 1917 года — приснопамятное «быховское сидение»: в маленьком городке Быхов, в бывшем монастыре, приспособленном под женскую гимназию, в свою очередь наскоро превращенную в тюрьму для российски известных не только в военной среде сидельцев, томились в заключении его друзья, знакомые, сотоварищи по Академии Генштаба и внеакадемические — Корнилов, Деникин, Лукомский, Романовский, Марков, Эрдели, и, проезжая западные земли ещё недавней империи, Снесарев не мог не думать о них. Да неясным был и его самого завтрашний день.

Его путь — через Киев и Харьков — уже приводил в Острогожск, где нашла приют семья, добравшись сюда из Петрограда в конце апреля, и где он в краткосрочном отпуске провёл последние майские и начальные июньские дни 1917 года. Была тогда возможность вставать поздно, около десяти утра, с давно не испытываемым избытком читать и отдыхать. Хотя голова и сердце не переставали болеть ни минуты при известиях о том, что творилось и близ северной столицы, и на окраинах империи. В дневниковой записи от 29 мая — об издевательствах матросни в Кронштадте и о положении в Ашхабаде, где «много русских сёл вырезано». Прошло несколько месяцев с той поры, положение усугубилось. Ещё перед первым приездом в уездный городок на Тихой Сосне в письме от 31 марта 1917 года он, советуя семье перебраться в Острогожск, надеется и уповает, что Алёша, родственник-священник, «пользуется такой симпатией, что под его кровлей будет совершенно надёжно…»

1

И вот он приехал, и, увы, неспокоен, расхристан и грязен уездный центр, городок с большими культурными традициями, Воронежские Афины, как его называли то ли с умилением, то ли с гордостью, то ли с иронией. Родина рано ушедшего Станкевича, предки которого выходцы из Сербии, мыслителя и поэта, одного из зачинателей философского делания в России. Родина Никитенко, академика из крепостных, дневник которого с описанием общественно-литературной жизни на протяжении

десятилетий он читал. Родина Крамского, картины которого видел в Третьяковке. И не просто видел — «Майская ночь» волновала его необъяснимо и несказанно. Здесь бывал Рылеев — и его стихи и Думы он читал, строки, исполненные восхищения здешними местами и Малороссией, восхищения несколько надуманного, заёмного, но сам образ человека, пережившего духовное затмение и просветление («Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твёрдо шествует к Христовой чаше»), вызывал сочувствие. А задолго до Кондратия Рылеева забредал в Острогожск Григорий Сковорода, народный философ, мысль которого о «сродстве», то есть служении человека тому делу, на которое более всего данных отпустила ему природа, была кровно близка Снесареву, и он считал наисущественным воплощать эту мысль во всём строе русской жизни.

Казачий атаман Заруцкий — из русинов, из Прикарпатской Руси. Он хотел было после Смуты захватить Воронеж, но был разбит царскими войсками князя Одоевского не без помощи воронежцев, и Снесарев в Острогожске имел время подумать о нём, как и о запорожцах, спаливших Воронеж на пятом году от рождения крепости; как и о Сагайдачном и Дорошенко, разорительно шедших по холмистым полям и городкам будущего Чернозёмного края и песнями не обойденных. Лихие люди были его предки-родственнички: иногда ему казалось, что не иссохли его корешки и запорожские…

Построен был Острогожск московскими воеводами ещё в середине семнадцатого века, а среди первых насельников его были украинские казаки во главе с полковником Иваном Дзиньковским, пожелавшие обосноваться под дланью московской власти. Дарованы им были всякие льготы: вольно и поля возделывать, и мельницы на реках ставить, и рыбу ловить; разумеется, также «конно, людно и оружно» нести защитные службы, ведь сам Острогожск возник как оборонительно-наступательная крепость на знаменитой Белгородской засечной черте протяжённостью в восемьсот вёрст.

Все, казалось бы, у Дзиньковского было для души: и полевой простор, и добронравная семья, и достаток в доме. Ан нет, захотелось чего-то иного — противовластного. Знакомый Степана Разина, он поддержал его младшего брата Фрола Разина, когда тот по Дону подплыл на мятежных стругах к близкому Коротояку, при успехе целясь дальше на Воронеж. Фрол Разин был разбит, Ивана Дзиньковского свои же выдали московским властям, недавнего вождя на Тихой Сосне казнили, а детишек его сослали в Сибирь. Снесарев не раз думал о судьбах и братьев Разиных, и детей Дзиньковского, могших столько добра принести родной

земле, но…

Вскоре ему понадобилось побывать в близком Воронеже, тоже некогда стоявшем главнейшим форпостом на Белгородской черте, далеко не рядовом губернском городе, исторический путь и облик которого он знал по «Описанию Воронежской губернии», составленному его знаменитым родственником, историком и духовным пастырем Болховитиновым. Разумеется, начинать отсчёт воронежских веков должно не с царева указа 1585 года: «… на Дону на Воронеже, не доезжая Богатого затона два днища, велено поставить город Воронеж». История Воронежа, его имени, его человеческого голоса куда древнее крепости от конца шестнадцатого века. Во времени более давнем — и Мамаево нашествие, отдых орды у плавного втока Воронежа в Дон перед последним броском на поле Куликово; и испытательное противостояние русских и монголо-татар на реке Воронеж, когда первые на требование батыевых посланников отдать бескровной данью десятину всего ответили по чести: «Коли нас не будет, то всё ваше будет»; и не обойденный летописями эпизод — в 1177 году от крепкой руки Всеволода Большое Гнездо битый князь Ярополк бежал на Воронеж, где «переходил из града в град, не зная, куда деться от печали и скорби» и где был схвачен и выдан сильной власти.

И, наконец, вовсе в дымке — скифская приворонежская древность. Следы той древности — разве что курганы. А так… и более близкие времена — словно теряют голос, слово, вещественный мир. Новое время не просто теснит старое, новое равнодушно и зло расправляется с ним, хоронит его под ударными волнами войн, разоряет разрушительными лихолетьями, пожарами, уничтожает древние сокровища и текущий быт. Уничтожает память.

…Почти весь короткий декабрьский день он отдал приречным буграм Воронежа, откуда открывалась далеко видимая ногайская сторона, и он мысленно похвалил средневековую Московскую Русь не только за Воронеж, но и за систему городков-крепостей по всей южной черте государства, потому что только так, а не сторожами, засеками или запалёнными травами при ветре в сторону Крыма можно было осуществлять геополитическое продвижение на юг. Размеренно продвигаться, а не постоянно обороняться. Впрочем, только ли юг был опасен? Или веками не исходили угрозы и с востока, и с запада? Безопасен был разве студёный север, но он такие ледяные ветры гнал по равнинной, никакими северными горами не защищенной России, что Снесарев ощущал этот пронизывающий, колющий, как иглами, ледяной ветер даже здесь, на воронежских

буграх, в тысячах вёрст от Северного Ледовитого океана.

Но что теперь рассуждать о геополитических реальностях, потерях и надеждах России? Не только недавно присоединённые иноплеменные окраины полыхают боями, хаосом и ненавистью. Совсем недавно Украинская Рада, должная печься о своём народе, братском русскому, объявила о самостийности Украины, правда, оставив за границами нового государства Крым и часть новороссийских земель, — то ли из чувства исторической справедливости, то ли из моральных соображений, едва ли возможных на подобных ристалищах; но если всё было так, то позже постарались «подправить» украинцев русско-советские временщики, легкодумно отказавшись от Крыма, как от некой игрушки-безделки, а не от незаменимого стратегического полуостровного клина.

Снесарев до позднего вечера бродил улочками и воронежскими буграми, спустился к реке, где когда-то располагалась верфь, и «великое корабельное строение» обошлось народу в неисчислимые потери людьми и лесами; исходил «никитинские» места, поклонился могиле поэта, стихи которого в молодости самозабвенно любил и в подражание которым исписал не одну дюжину страниц.

Существенное не только для Острогожска — встреча на майдане и берегах Острогощи и Тихой Сосны Петра Первого и Мазепы. Как обманывает и как обманывается история! Какие подарки привёз гетман царю, какие отдарки щедрые получил, сколько выпито и хороших и дурных вин здесь, на берегу Острогощи, в далёкий осенний день, да всё во имя дружбы и крепкого славянского, христианского единства, какой драгоценными каменьями убранный щит положил гетман к стопам царя, опять-таки во имя дружбы, воинского братства!

Века спустя падал над Острогожском лёгкий снег, застилая белыми скатертями большой луг, укрывая белыми платками луговые вербы и, казалось, навсегда укрывая и былое городка, и всю отечественную историю. Снесарев в свободный час спускался к реке, думал о тех безвестных крестьянах, казаках, которым изломали жизнь царь и гетман, и не было у него никакого благодарного чувства к последним. Самовластники, которым дано было распоряжаться человеческими судьбами, и не найти среди них владык милосердных.

В библиотеке священника Тростянского попалась ему на глаза книжица краеведа, священника, педагога Н.А. Куфаева «Слобода Старая Калитва (бывший уездный город и потом заштатный)». Читал наивные, задушевные, из сердца идущие строки, и из текста явствовало, что не за дальними временами

было лучше, нежели теперь, а с той поры, как книжица была издана, миновало уже три десятка лет, ещё не было продразвёрсток, ещё не полыхнуло в Старой Калитве колесниковское восстание… словом, читал Снесарев строки священника-просветителя не без ностальгического чувства, и зыбко вспоминалась родина: «Слобода Старая Калитва — одно из самых привольных мест не только в Острогожском уезде, но и во всей Воронежской губернии: не во многих сёлах столько земли — пахотной и сенокосной, и редки ныне слободы и сёла со строевым лесом и таким обилием озёр, рек и речек… Прихожане — народ религиозный, церковь посещают усердно, посты соблюдают исправно, храмовые праздники и дни Рождества и Пасхи встречают и провожают с благочестием… Калитва на своём протяжении представляет целый ряд холмов, разделённых ярами да оврагами. Замечательнейший Липовый яр… Ещё замечательнее в Калитве был в своё время овраг, именуемый Тулкой… та самая Тупка, где когда-то и вода шумела, и мельницы работали. Теперь в Тупке той вместо мельниц — хижины, а вместо воды — крейда да навоз. С того времени в Калитве и вокруг неё много изменилось: Дон идёт по руслу новому, горы обнажились — на них ни лесу, ни былинки, ни травинки! Неизменный один луг, вечно свежий и зелёный: се вечная Калита!»

Снова он перечитал «Фрегат “Паллада”» — любимую книгу отца, и ещё «Обломова» и «Обрыв», и в который раз подивился, сколь океанически велика русская литература.

Тихая Сосна, косогорный, где крутой, где пологий спуск к реке, Провал, или Провальня (местное название), луга. Слободы Новая Сотня и Лушниковка. Большой собор, торговые ряды, городской сад, домик Крамского, спокойные, чуть озябшие заречные дали. Но нет спокойствия в уездном городке.

2

В Острогожске в октябре 1917 года, за месяц до приезда отца, родились Георгий и Александр, близнецы, в честь великомученика Георгия и благоверного князя Александра Невского названные. Крестными стали генерал Лавр Георгиевич Корнилов и полковник Генерального штаба Сергей Иванович Соллогуб, начштаба 64-й дивизии, имя которого значилось среди сослуживцев, оставивших свои подписи на георгиевском оружии, и здесь, в Острогожске, позже пропавшем, при кратковременном, но злом хозяйничании анархистов. Крёстные отцы — заочные. А крестил о. Алексей Тростянский, исполненный благодарной и

благодатной радости: даже в смутное время не умаляется их род, а он — листик с древа православного и вселенского древа Божиего.

Подрастала и радовала дочка Женя. Сидит на коленях у отца и читает из какой-то книжки по слогам: «Когда я была маленькой…» Отец смеётся: «А сейчас ты очень большая». И задумывается.

Он вспоминал фронтовые уголки: холмы, деревни, сёла, городки, где бывал, каждый — Богом данный. Одни — смерть и гибель. Другие — краткий отдых… Слободзея, Несвой, Берестье, Малинцы, Ржаванцы, Похорлоуц, Юркоуц, Зелена на Пруте, Новоселица, Коломыя, Зивачув, Герасимув, Чертовец, Жакоцин, Слободчина, Богородичин, Хостув, Марковцы, Лядске Шляхетске, Чернеюв, Хомякув, Иванюкувка, Подлипник, Хорохолин, Надворна, Яремезе, Тартарув, Черновцы, Молдава, Лучина, Бряза, Тысменица, Струсов, Сюлко… большинство названий — славянские.

Снесарев вспоминал эпизоды, встречи прикарпатские, фронтовые, нечаянные. Краткие, но из тех, что не забываются, — с сыном великого поэта полковником Фёдором Тютчевым, скоро погибшим от ран, с врачом Михаилом Булгаковым, будущим автором «Белой гвардии» и «Дьяволиады», с офицером-связистом Владимиром Зворыкиным, будущим создателем (только уже за океаном) чёрно-белого и цветного телевидения.

А куда жизнь разбросала друзей? Поделил Февраль? Теперь и вовсе поделит Октябрь. К власти пришли те, кто не пощадит никого. Эти-то уж возьмут меч революции в свои беспощадные руки. И что же — помогать им держать меч? В начале Первой мировой войны было проще. А теперь? «Такова уж природа меча. Свят он в руках святых, мерзок в руках разбойничьих. Своей же собственной внутренней природы он не имеет» (В.Ф. Эрн). Русский геополитик Снесарев русского философа Эрна не читал, но думал в родственном ему духе.

Да, все они воевали за родину и друга своя, не жалея жизни своей, и что родина, народ и ещё не погибшие друзья — что они обрели, какой милостью вознаграждены?

Брусилов книгу «Мои воспоминания» заканчивает так: «В заключение мне хочется сказать, какое глубокое чувство благодарности сохранилось в душе моей ко всем верившим мне дорогим войскам. По слову моему они шли за Россию на смерть, увечья, страдания. И всё это зря… Да простят они мне это, ибо я в том не повинен: провидеть будущее я не мог!». Здесь есть некий экзальтационный пафос, но есть страшные и справедливые по сути слова: «И всё это зря…»

И сотни генералов, весь офицерский корпус понимали: всё это зря. Большевики не протянут руку западным плутократиям разве лишь потому, что тоже хотят владеть миром — через мировую революцию, но сама революция, любая революция — именно детище западных «либертэ»: свободных обществ, западных банков и прессы, держащих республики на поводке условной демократии. Монархисты революций не совершают.

Часто в Острогожске читал он детям, особенно дочери Жене, сказки Андерсена: «Гречиха», «Судьба репейника», «Новое платье короля», «Девочка со спичками», «Затонувший монастырь», «Последний сон старого дуба», «Колокол», «Русалка», проникнутые духом добра, нежности, справедливости, поэтическими и высокими христианскими чувствами.

В Копенгагене на морском берегу, на избыве бухты, грациозная на морском валуне, к той поре уже красовалась бронзовая Русалочка. Снесарев, побывавший в Копенгагене годами раньше, не мог её увидеть воочию; но русалок хватало и своих, из местных тихососненских, донских поверий, может, из этих поверий да волшебных повествований Гоголя и родилась «Майская ночь» Крамского, где русалки пребывают на ночном берегу, словно на тайном сборе отрешённых и друг другу чуждых красавиц.

3

И сколько длится зима, неподалёку от спуска к Тихой Сосне, в саду дома на улице Богоявленской, где Снесаревы живут у Тростянских, Женечка ежедневно катается на коньках. На коньках-трёхполозках, чтоб устойчивее, пошла в отца, тот прекрасно катался.

Незаметно подступает ранняя весна. Тихая Сосна неподалёку, под горой, и Андрей Евгеньевич с дочкой часто спускаются к реке. Льдины, большие и малые, цепляясь друг за друга, заданно и обречённо плывут, а отец и дочь наблюдают, как медленно они, словно сизые баржи, вернее палубы стужи, плывут, и куда они? О чём думает отец? Он молчит, молчит…

Появляется старший брат Геня, нажимает сестрёнке на нос и весело объявляет: «Динь-динь, Репьёвка! Динь-динь, Коротояк! Динь-динь, Россошь!»

Пишет из Острогожска 4 марта 1918 года отцу и матери жены, сообщает о получении их письма и целой связки писем от родных: «Обстановка всюду однообразно безотрадна, и сгущение красок зависит от степени впечатлительности пишущего». Наиболее нервно воспринимает происходящее его родной брат.

Годами молчавший, он вдруг напоминает о себе растерянно и просительно. «Брат готов куда-либо бежать — в Америку или в Англию — и спрашивает у меня маршрут через Авганистан [так в документе]. Хотя такая мысль может быть подсказана только безумием, но, вероятно, в обстановке есть многое, что толкает на безумные шаги. Буду писать ответ и советовать самообладание; покинуть Родину можно, и для этого найдутся пути и более близкие, чем авганский, но с кем же страна останется и что с нею будет?..»

О том чтобы покинуть родину, речь не шла не только у военных, но и у гражданских. Генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, позже эмигрировавший из России, в молодости думал так: «Я принадлежал к тем людям, которые сознательно не попали, скажем, в эмиграцию, к белым… Просто я считал, что надо быть в пределах границ своего Отечества. И всё. И сражаться с тем, кто извне в границы моего Отечества приходит. Я был достаточно грамотным человеком, чтобы видеть, что белое движение несерьёзное…»

4

16 апреля 1918 года в Острогожске Снесарев делает первую запись в «царицынском» дневнике: «Рассказали мне: в Ольховатке (около Старой Калитвы) был бунт против реквизиции…»

Через два года в самой Старой Калитве не бунт, а настоящее восстание заполыхает, и сколько взаимной жестокости будет там, и расскажут ему об этом на Соловках мятежные земляки-колесниковцы, иные из них позже будут судимы ещё как фёдоровцы — сектанты, глава которых Фёдор Рыбалкин призывал на безбожную власть все кары небесные и обещал, что Москва в скором времени провалится в тартарары, а столицей России станет Новый Лиман — ничем не примечательное село Воронежской губернии.

А Корнилова уже не было в живых. Корнилов, с отчаянной бессмысленностью бросивший войска на Екатеринодар, после двухдневного неудачного штурма решивший самолично вести войска в наступление, незадолго перед тем был убит осколками снаряда, выпущенного из пушки красных со стороны такого близкого, такого далёкого и недостижимого Екатеринодара.

Корниловский Ледяной поход, словно предельно натянутая звенящая струна, оборвался с гибелью белого вождя. Но будущее Ледяного похода ещё только начиналось. Этот жертвенный порыв русской молодежи, юных гимназистов, юнкеров, кадетов, молоденьких офицеров не мог не остаться незамеченным в

России и мире. Он отсвечивал сиянием великомученичества. Кто-то из военачальников, кажется, Краснов, считал его по самоотверженности выше даже суворовского Альпийского похода.

Известный русский, а затем ещё более известный советский писатель в книге «Восемнадцатый год» сказал о нём: «Белые нашли в нём впервые свой язык, свою легенду, получили боевую терминологию — всё, вплоть до новоучреждённого белого ордена, изображающего на георгиевской ленте меч и терновый венец».

Да, это была пора, которая соответствовала первой части горестно выдохнутого Шульгиным признания, в котором в конечной оценке движения белых свет и мрак, добро и зло неразделимо слились: «Белые начали своё дело как святые, а закончили как разбойники».

Снесарев ещё перемогается в Острогожске, а его знакомые и даже друзья — обречённые смельчаки из офицерского корпуса — идут с винтовками на штурм красного бронепоезда, бронированного угрюмого безоконного чудища с амбразурами для пушек и пулемётов.

В красных бронепоездах — и наивные борцы за царство справедливости, и пьяная матросня и солдатня, и в безопасном удобстве меньшевистски-большевистски всероссийский военный руководитель Троцкий… Писатель Всеволод Иванов даже воспел один из этих бронированных составов в романе «Бронепоезд 14–69». Писатель Андрей Платонов тоже любил паровоз, но о бронепоезде нашёл жёсткие слова: «…казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда».

5

Краснов среди «красных» знакомых Корнилова не называет Снесарева — тот ещё в Острогожске.

О других же пишет: «Вряд ли Корнилов мог допустить, что его товарищи по академии Незнамов, Балтийский, Лебедев, Раттэль, Бонч-Бруевич станут преподавать основы стратегии Лейбе Бронштейну… или что… Брусилов и его ближайшие начальники на войне Клембовский, Зайончковский, Парский, Сытин, Гутор и другие всю силу своего образования и ума положат на формирование Красной армии в противовес его Добровольческой армии».

Но большевикам надо было или срочно создавать армию или отдавать власть. Последнюю же они не для того захватывали или, скорее, подбирали, чтобы кому бы то ни было её отдать. Их декрет о мире среди западных союзников по Антанте не сработал.

Тогда большевики пошли на сепаратные переговоры с Германией — переговоры неумные и дипломатически беспомощные. Не приняв требований Германии поступиться ста пятьюдесятью тысячами квадратных километров былой Российской империи, прервав переговоры, не имея единства на верхах, и даже среди главной двоицы, пытаясь защититься… декретом «Социалистическое Отечество в опасности». Не сумев воспрепятствовать договору германского правительства с украинской Центральной Радой, всюду теснимая германскими войсками, большевистская власть, подписав в марте 1918 года невыгодный, унизительный Брестский договор, обязывалась увеличить «отказную» территорию семикратно, демобилизовать все войска, уплатить Германии контрибуцию в шесть миллиардов марок.

На экстренно собранном Седьмом партийном съезде решено было перейти к всеобщей мобилизации. Вводилась всеобщая воинская повинность. Был создан Высший военный совет (впоследствии Реввоенсовет республики) для руководства действиями и организацией армии, учреждены комиссариаты по военным делам. Выборность командного состава отменялась.

На Восьмом партийном съезде разгорелись страсти по вопросу о старых военных специалистах — реальных знатоках военной теории и практики. Высказывалось мнение отвести военспецам роль консультантов, а командных постов им не доверять. Но сошлись на том, что «мы без военных специалистов и старых кадровых офицеров, не имея своего командного состава, не имея за душой ничего в военном отношении, не обойдёмся в деле организации армии».

В апреле по зовущей телеграмме Бонч-Бруевича, военного руководителя Высшего военного совета, Снесарев едет в Москву, куда из Петрограда перебралась Совнаркомом вызванная из Могилёва Ставка Верховного главнокомандующего — генералы ГС. Лукирский, К.И. Величко, А.С. Гришинский, Н.И. Раттэль, А.А. Сулейман, М.М. Загю… В Совнаркоме было принято решение о создании военных округов: Московского, Ярославского, Беломорского, Орловского, Приуральского, Приволжского, Северо-Кавказского.

Клич «Социалистическое Отечество в опасности!» (немцы наступают) привлёк многих из офицерского и генеральского корпуса на сторону новой власти. Они мыслили не политически, а геополитически.

Снесарев вспоминает о своих друзьях-товарищах здесь, в Острогожске, а много позже и в вагоне, который, наглухо примкнутый к железному поясу ссыльного состава, доставит его в

Северные лагеря; вспомнит и возвратясь оттуда, незадолго до смерти, в 1937 году, уже смутно различая друзей, словно бы уходящих в туманы, откуда не возвращаются.

ЦАРИЦЫНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 1918

Добирается Снесарев до Москвы, судя по дневнику, с крайними неудобствами, с пересадками, долгими часами простаивая в Лисках, Воронеже, на заворонежских узловых и крупных станциях. Едва ли не проще было дойти пешком.

Не может не поразиться глупости, безалаберности происходящего, когда, скажем, главковерх Антонов (Овсеенко), зачем-то пожаловавший в Острогожск, Лиски, занимает аж шесть вагонов, но не имеет ни штаба, ни карт: «Народу много, а толку нет… знающих — никого. При обороне нет ни орудий, ни пулемётов… а в тылу — бронированные поезда, новейшие орудия и пулемётов несть числа. Штабы катаются по всем направлениям… Игра в войну — самая страшная из игр».

Лишь на пятый день поездки — 4 мая (21 апреля по старому исчислению) Снесарев — в Москве. Сразу же направляется к сослуживцам-генштабистам.

Высокие военные чины, пошедшие служить новой власти, жили у Александровского вокзала (несколько раз переименованного, ныне Белорусского), в вагонах привокзального поезда. Вагонах, внешне мало отличимых друг от друга. Но только внешне…

В первый же день побывал он у Болховитинова, знакомого ещё по давним годам учения в Академии, тот устроился в вагоне поистине историческом, роковом, не оставляющем сердце и воображение безучастными, — «в вагоне-салоне № 468, в котором ездил когда-то Столыпин, потом Керенский (с ногами забившийся в угол кожаного дивана, когда ему делали доклад). Из этого же вагона тянули на самосуд Духонина…» — запишет Снесарев в дневник. В одном вагоне — причудливая связка разновеликих имён, скорбная скрижаль российской действительности. Благородная и трагическая фигура Столыпина, опереточный анфас-профиль Керенского и опять-таки трагическая фигура Духонина, выпустившего будущих вождей и воителей Белого движения Корнилова, Лукомского, Деникина, Маркова, Романовского из Быховской тюрьмы и знавшего, что за этим последует, как злобной стаей с ним расправятся красные.

1

Но почему он всё-таки поехал — принял предложение

большевиков? Разумеется, суть не в этом растиражированном выражении «народ не ошибается». «Трудно сразу понять всё происшедшее, — скажет Снесарев (в пересказе другого человека). — Но если русский народ пошёл за большевиками, то я с ними. Ведь народ не ошибается». Народ за годы войны он повидал во всяких ипостасях — от жертвенника до рвача, от кроткого до разбойника, от воина до дезертира… Дело, разумеется, глубже. Да, конечно, семья. Снесарев уже знал, как обходилась новая власть, при её карательных наклонностях, со строптивыми генералами и офицерами, знал, и как жестоко расправлялась она с их семьями. А для Снесарева семья всё: и родной очаг, и Отечество, и Вселенная. В подпитанном их разрушительными идеями разгуле самостийности большевики пытались снова скрепить былую Российскую империю, направляя свои ещё беспомощные войска то на Украину, то в Туркестан, то в Закавказье. Геополитические импульсы. И ещё. Он был военный, и ему не хотелось вкладывать меч в ножны, пока в стране разбойничают шайки, отряды, полчища бандитствующие; да и немцы подзадержались у берегов Дона; да и Антанта из тех союзников, что недруга хуже: тоже не прочь «упорядочить» российские территории. (Даже США выступят против вожделенно желанного англичанами и иными европейскими и азиатскими политическими верхами поделения России на куски (через федерации, конфедерации — лоскутки былой империи), выступят не из любви, конечно, к России, но опасаясь установления колониального владычества Англии на Кавказе, Японии — на Дальнем Востоке, а значит, и преобладающего влияния их монополий, а не американских.)

Писатель, литературовед, историк Вадим Кожинов в своей глубоко осмысленной книге «Россия. Век XX» сказал не вскользь, но варьируя, что отношение к большевистской власти, которое выразилось «…в жизненном выборе почти половины генералов и офицеров Генерального штаба… было проявлением истинного патриотизма, мучительно озабоченного вопросом о самом бытии России, а не вопросом, скажем, о том, будет ли в России парламент». Белое же движение, его вожди, его верхи вольно или невольно оказались на поводу у западных демократий. Зависимость от Запада, отсутствие геополитического горизонта или нежелание его видеть из-за ближней цели и ближней черты, отчего многими военными предвиделась бесперспективность белых. Наконец, надежда через худшее прийти к лучшему — так думали многие порядочные люди. Они понимали, что если всюду будут худшие, то откуда же взяться лучшему.

2

Итак, первый московский день. «Москва пыльна и грязна до неузнаваемости; люди мрачны и бледны, подозрительно косятся друг на друга… Прибыл на вокзал, легко нашёл поезд, сначала встретил молодых Тавашерну, Александрова… Ковалевского… Показывают мне успехи немцев: занято Чертково, возле Валуек кольцом идут наши позиции. Красная гвардия ведёт себя презренно: малый нажим, и всё отлетает на десятки вёрст, германец рвёт их как паутину. Молодёжь настроена оппозиционно, все меня зовут “ваше превосходительство” и делают нужные реверансы… Здесь всё наше, и сюда “тов.” дух не пройдёт.

Иду к Сулейману. Он объясняет мне деловую сторону… он полинял, нравственно рассосался и превозносит ум, а особенно волевую сторону Ленина и Троцкого. Первый — сама простота, ходит в старомодном костюме, носит с собою хлеб с маслом в бумажке, — словом, очевидный бессребреник… и легенды о подкупе — явная выдумка. Сильный диалектик, он никогда не станет в тупик… он столб, на котором всё держится. Троцкий — воля; он ходит лучше одетый… его иногда сбивают. Остальные — мелкота, хотя идейные люди между ними есть… Все эти наблюдения и выводы Сулеймана — человека глупого и сдавшего — не стоят, конечно, и медного гроша. Меня зовут к Бонч-Бруевичу…

Мы начинаем о деле… Воронеж и Орёл отпадают как дела маленькие, мне предлагаются округа Западно-Сибирский и Северо-Кавказский — беру последний; входят 3 казачьих области, Дагестанская, Ставропольская и Черноморская губернии…»

Может, Снесарев до конца почему-то и отказывался понимать, сколь огромный груз взваливал он на себя, ибо Царицын тех месяцев был для страны важнее, чем даже Москва и Петроград. Город на Волге по своему географическому положению являлся вратами ко всему юго-востоку, к продовольственным (хлеб, рыба, скот) и топливным (уголь, нефть) ресурсам. Через него осуществлялась связь с Поволжьем, Астраханью, Баку, внешними рынками. Ключ к главному хлебному амбару, Царицын — словно клин между белыми войсками Дона и Урала: в этом было экономическое, стратегическое и политическое значение его для красных.

«Идём на заседание, и я вижу товарища Троцкого… довольно красивый, но типичный еврей, с жестами и даже с акцентом… Около него адмирал Беренс, который мне приветливо улыбается при здоровании. Троцкий выслушивает, записывает… скоро

уходит, и Болховитинов за ним. (“Что это у него два Георгия, что это значит?” Болховитинов: “1-й — боевой, 2-й — очень боевой”. — “А хорош ли он как администратор?..” — “Он командовал Памирским отрядом” и т.д.)

Болховитинов, как увидел потом, ведёт себя недостойно… впечатление отвратительное. Бонча скверно “докладывает”, но унижение маскирует грубым деловым тоном — существо также подлое… Троцкий, вероятно, замечает, и едва ли это к пользе и почёту друзей-однокурсников… Это во всяком случае лишнее. *Я* плетусь, усталый, домой, пью чай… ложусь рано спать без определённой перспективы… Мне приходит на память мысль о “плохих решениях”… да и действительно ли хорошо решение? Настроение моё грустно — один в грязной комнате накануне Светлого праздника, без пасхального яйца и после знакомства с Керенским № 2».

На другой день Снесарев пешком добирается до вокзала, вспоминая, как в студенческие годы «когда-то шёл бледный молодой человек и на него многие смотрели, теперь идёт старый и угрюмый, и ни для кого он не интересен, раз не видно ни его положения, ни его чина…» Суть, разумеется, не в чине, на исторических разломах обычно никому ни до кого нет дела, замечают разве самых нужных для личных устроений; и думает Андрей Евгеньевич больше о другом: где ему и его семье укажет судьба пристанище и выдастся ли ему снова, как в годы молодости, жить в Москве, или же придётся обретаться в каком-нибудь уездном городке вроде Острогожска, или же и вовсе выпадет мыкаться по стране, всё ещё большой.

День за днём — в хлопотах, которые Снесарев ощущает как пустые, а может, и сомнительные. Заседание, ещё заседание и далее заседание. Выбирается комиссия, которая тоже неизвестно когда должна заседать. Перебравшись к сестре Клавдии на Пречистенку, испытав волны былой сестринской теплоты, Снесарев спит убойным сном, но просыпается вдруг от нехорошего чувства чего-то непоправимого в его судьбе и судьбе родины: «На душе неважно: втюхался в историю, несомненно… хорошие решения приходят при хорошей обстановке, а у меня что-то в машине “сошло с шурупов”…»

На другой день: «У Антонова нет даже карт. Работает и день, и ночь; к нему все и за всем, начиная от портянок, больше за деньгами… Счёта никакого. Блаженный главковерх сам говорит: “Надо бы вести учёт, да у меня куда-то исчезли 2 миллиона…”

Сегодня нашёл Носовича и после некоторых раздумий уговорил его. Он берётся за работу…»

Час от часу не легче. Неразумная трата времени —

малоделание, вернее, ничегонеделание.

9 мая: «Пошёл к партизанам, поговорил с Носовичем, затем завернул на Поварскую, 20 (рядом, у родственников жены, прежде жил писатель Иван Бунин. — *Авт.),* где договорился с интендантом Иосифом Михайловичем Рождественским…»

Через два дня: «Формирование идёт, намечаются главные персонажи. Был на вокзале, где Болховитинов дал мне массу законодательной бумаги. Он дерзок на словах — сплошное актёрство и "деловитость", но ему отвечают тем же. Много говорил с Ал. Ник. Ковалевским — он готов идти ко мне, но вопрос нравственного порядка… выяснил ему личную плоскость, и он успокоился. Признаёт, что и Бонча, и Леонид Митрофанович предадут брата родного… и довольно дёшево. Из разговоров выясняю поведение товарищей… много интересного сообщает Иосиф Михайлович… из нескольких десятков выпущенных миллиардов только небольшая часть зафиксирована как пошедшая на дело, большая часть — прилипла к рукам и где-то застряла…»

Ещё через два дня: «Сегодня… я и Анатолий Леонидович пошли на Новинский бульвар получать деньги. На дороге нас нагнал политкомиссар Карл Иванович Зедин, латыш, прапорщик морской службы. Латыш как латыш, простой, деловой, несколько фантазёр; работающий над докладом "Национализация флота"…» Через несколько дней добавит: «Зедин — идейный работник: ругает банды, присутствие в отрядах женщин, говорит о людях, не желающих умереть.

…Сегодня получил директиву, которая меня окрыляет, — задача чисто боевая и притом с немцами… могу на "контрреволюционеров" махнуть рукой…

15 мая побывал на вокзале, помог военным, нацеленным на среднеазиатский фронт, в тонкостях разобраться в туркестанской дислокации. После обеда зашёл в Высший военный совет… Троцкий сидел жёлтый, мрачный и нервный… вероятно, плохо приходится. Карл Иванович рвёт и мечет: он нигде никого не застаёт и никто ничего не знает… "Прежде был бюрократизм, а сейчас ещё хуже… получаю жалованье и ничего не могу сделать… мне стыдно". Какой чудак, если искренно, то это вот социалист…»

А между тем в округе, куда Снесареву скоро надлежит ехать, тоже ничего хорошего.

Трифонов сообщает, что Дон «белеет» решительно и что белые генералы Попов и Деникин победно обосновались на линии Лихая — Царицын… и что с захватом Усть-Медведицы создаётся действительно угроза Царицыну, т.е. полный отрез юга России.

От Ковалевского Снесарев узнаёт, что оренбургские и уральские казаки соединились; «казаки дерутся иначе — поняли — доходили до Николаевска, угрожают Самаре…»

Сколько раз, наверное, можно было сбросить Советы — Колчак, Юденич, Деникин, Врангель, Кутепов… но «союзникам» это было не нужно, пусть длится убивающая Россию анархия.

Снесарев живёт у сестры Каи (Клавдии) на Пречистенке. Немцы у Дона, недалеко от его родных мест. Дела развиваются стремительно. 8 мая у него на руках удостоверение военного руководителя Северо-Кавказского военного округа, подписанное Лениным, Троцким и Бонч-Бруевичем. Согласился, а на душе кошки скребут, чувствует: что-то не то сделал. 12 мая, правда, его мрачное настроение развеивает и просветляет Директива Высшего военного совета войскам Северо-Кавказского военного округа об обороне Дона и Северного Кавказа от наступающих немецких войск. И всё же… он понимает, что борьба с немцами — часть его задачи.

18 мая — день особенный в жизни Снесарева, день вызова и выбора: «Подал Бонч-Бруевичу письмо, в котором поднял вопрос об участии в Гражданской войне. Товарищи одобрили мой шаг: надо же наконец решить этот вопрос и поставить точку над i, иначе все здесь крутят, в частной беседе успокаивают, а ясного ответа не дают…»

В направленном в Высший военный совет письме Снесарев предлагает создать регулярную армию для защиты от внешнего врага, и ей не должно участвовать в Гражданской войне. Воевать с оккупантами, а не соотечественниками. О письме заговорили не так давно, да и обнаружить его пока не удаётся. А оно — знаковое.

Любопытен ход разбирательства этого письма 21 мая. Троцкий, Бонч-Бруевич, Антонов-Овсеенко — это «товарищи», они не очень обременяют себя нравственными вопросами. Но и боевые товарищи — Потапов, Болховитинов — тоже не поддерживают. В дневниковой записи от 21 мая об этом совещании такие строки: «В 4 часа состоялось заседание ВВС. Сначала очередные вопросы предлагал Леонид Митрофанович… Затем появилось много железнодорожников во главе с Невским… Железнодорожники уходят — и мой вопрос. Троцкий читает, как будто немного озадачен или недоволен, я развиваю мои тезисы, немного расширяя рамки и уединяя будущую армию. За мною говорит Бонч-Бруевич, что надо немцев считать главными врагами. Карл Иванович… находит возможным снаряжать лёгкие отряды с подходящим военным руководителем… Я быстро поддерживаю его… Начинает говорить Антонов, говорит умно и

дельно, чисто по-военному: “Единство фронта, трудность разграничить, элемент партийности в самом вопросе”. Я поворачиваю в область нравственной платформы, но чувствую, что совершенно одинок: “товарищи” поддержать меня не могут, а товарищи предали; Ник. Мих. Потапов накануне говорил, что это дело нас не касается, Болховитинова я просил, Бонча что-то говорил, как-то само собою вопрос снялся с рассмотрения. Троцкий всё же что-то говорил о компромиссе, о решении на месте. (Троцкий вполне понимал, что никакого компромисса быть не может, и на месте ничего в этом смысле решить нельзя, но почему он не категоричен, как всегда? У него жена Наталья — дочь донского казака. Пусть вторая, но с нею он прожил до почти невероятного мексиканского конца. Впрочем, родство с казаками едва ли имело для него значение. Изготовил же он изуверский приказ № 100 — по Вёшенскому восстанию! — *Авт.)* На душе у меня неважно, но я своё дело сделал, бумага была рассмотрена и не сказано ни “да”, ни “нет”… Тоска страшная… Правильно ли я сделал, на верный ли стал путь? Я полон сомнений… Ехать не хочется…»

3

Но 26 мая он уже в Царицыне. Едут вместе с ним фронтовые сотоварищи Носович, Ковалевский, Чебышев — племянник великого математика. Недолгая утренняя остановка на станции Серебряково (Михайловка) — первая встреча с Мироновым и его боевыми сотоварищами, которые называют себя военной коллегией, тройкой, что для Снесарева звучит внове, ещё не привычно.

Миронов, из казаков Усть-Медведицкой станицы, докладывает о разбросанности сил, отсутствии сборных пунктов, об удручающей дисциплине и малой сознательности красных «дружин», готовых каждому новому начальнику выразить шумное недоверие. Вне всякой связи с предыдущим сообщает, что его голова осуждена, то есть приговорена, кадетами. Видимо, это заставляет его переживать, хотя, знать бы ему, что после обвинительных писем в адрес революции его действительно лишат головы, но кадеты здесь будут ни при чём. С казаком-командиром справится, а вернее, расправится Троцкий, многопоспешавший, многоуспевавший. (Так, в июне 1918 года, когда Снесарев будет выстраивать оборону Царицына, именно по настоянию Троцкого расстреляют «за контрреволюционные действия» адмирала Щастного, весьма дельного морского военачальника, который после Брестского мира сумел провести

значительную часть Балтийского флота из Гельсинфорса в Кронштадт, не потеряв при этом ни одного корабля).

Впечатление Снесарева о Миронове фиксирует дневник того же дня: «Наблюдательный пункт артиллерии понимает как холмик, с которого лучше видать. Словом, темнота порядочная, но всё же что-то делает… *Я* даю указание, как выправить слишком прижатое к реке расположение, наладить связь… Он не то соглашается, не то пробует оспаривать, но, главное, у него нет ни почвы, ни веры. Всё это народ кормящийся или развлекающийся и очень редко искренний. Но часто тёмный работник… Дело выходит гнилым и надежд мало».

В полдень Снесарев и его штабная команда прибывают в Царицын, поезд встаёт на запасной путь. Первое, что бросается в глаза: дождь, грязь, красный флаг над вокзалом.

Снесарев уже был осведомлён, что горделивый флаг над вокзалом — отнюдь не свидетельство крепости новой власти. Вокруг Царицына смыкалось кольцо, в город стекались беженцы из районов, занятых немцами. В царицынской большевистской парторганизации состояло около полутора тысяч человек. Издавалась газета «Борьба».

Были активны эсеры. Наряду с царицынским Совдепом существовали городская дума, продовольственная управа.. Бульвары затоплялись гуляющими, музыка томила и веселила, в витринах магазинов была разложена всяческая снедь — от кетовой икры до заморских ананасов; повсюду — торжество спекуляции. О том, чтобы помочь голодающей стране, мало кто думал. На станции стояли составы с хлебом, но отправлять их не торопились. Бои разворачивались в десятке километров от Царицына. Украинские части, анархически настроенные и нередко «усиленные» многопогулявшими бандами, при переходе на территорию России надлежало расформировывать и разоружать, что с ходу исполнить не удавалось. Таких «войск» было ни много ни мало около 200 эшелонов — они спали и видели, как разгромить и разграбить Царицын. Банда атамана Петренко объединилась с «сибирскими анархистами» и 12 мая открыла по городу пулемётный огонь; против них выдвинулся бронепоезд «Большевик». Мятеж был подавлен. Но мелкие и совсем мелкие мятежи — всех против всех — не прекращались ни на день.

А Волга — «простор и роскошь». Снесарев стоял на берегу, видел песчаный левый берег, вспоминал своё служебное путешествие по Волге и думал о Волге, исторически столь великой в судьбах племён, народов и его народа — русского. Нижний Новгород, Самара, Симбирск, Казань, Царицын,

Астрахань — какие исторические завязки, драмы, походы, победы-поражения!

В девять вечера — заседание штаба обороны. Председательствует С.К. Минин. Вопросы о прирезке к округу дополнительных территорий: Астраханской губернии, части Самарской, западного побережья Каспийского моря с Баку, о взаимном сближении специалистов, об упразднении военной коллегии Е.А. Трифонова. В дневнике читаем: «Председатель Минин — несомненное дарование, привычка, осторожность, воля. Он с места берёт удачный тон и ставит вопросы на деловую точку. Говорит ещё Ерман, малый неглупый, но легче лёгкого… Остальные слушают, трудятся, исполняют. Безлюдие несомненное. Я говорю краткую речь, кое-где подогревая слова, осторожно и осмотрительно… такая аудитория для меня впервые: в шапках, курят, говорят, входят…»

Встречались ли в Царицыне Трифонов и Снесарев? Здесь уместно сказать о двух братьях Трифоновых, из донских казаков, которым по военной надобности пришлось бывать и в Царицыне. В «Отблеске костра» писатель Юрий Трифонов приводит запись — телеграмму отца В.А. Трифонова от 17 мая 1918 года. Тот, сначала, побывавший в Тихорецкой и предотвративший кровопролитие, встав на сторону местного Совета в его споре с Сорокиным, сообщает о своей поездке и предлагает должные, на его взгляд, меры, а далее: «Думаю дождаться Снесарева. Сообщите, когда он выехал, где находится в настоящее время. В Царицыне нужно создать окружной и оперативный центр, объединив организации Снесарева и Центроюга, эвакуированного из Донецкого бассейна…» 26 мая Трифонов прибыл в Москву, а Снесарев — в Царицын.

Из сборника «Краснознамённый Северо-Кавказский» (Ростов, 1971): «А.Е. Снесарев также много времени проводил в войсках. 26 и 27 мая, например, он наместах беседовал со всеми начальниками крупных отрядов, выставленных для охраны Грязе-Царицынского участка железной дороги. При этом военный руководитель СКВО вскрыл серьёзные недостатки в несении службы, в подготовке комсостава. Особенно резко он выступал против разобщённых отрядов, местнических настроений и так определил ближайшие задачи: заново переформировать армии и полки, проверить степень их сознательности и надёжности; всем поднять дисциплину, наладить организацию штабов, связи, разведки, т.к. при существующем состоянии можно ожидать лишь напрасных жертв».

Идёт своеобразная тотальная рекогносцировка. Снесарев — суток не хватает — знакомится с общей обстановкой, местной

властью, командирами, отрядами, географически перспективными или опасными операционными точками. Между тем приходится присутствовать и на собраниях, заседаниях, совещаниях, которые нередко занимают столько времени и сил, что присутствующие, будь они, скажем, направлены на рытьё канала, могли бы прорыть немалой протяжённости канал. У Снесарева даже оказывается занесённой в дневник весьма характерная сценка, которая через день после его приезда происходит в музее, где заседает Царицынский исполнительный комитет:

«Какая-то баба с папироской во рту вырывает у Носовича стул, оставленный только что Ковалевским. Носович удерживает: “придёт”, та упорствует: “не дам, должна исполнить приказание исполнительного комитета”. Носович уступает, и баба уносит 4 стула; затем их приносит и расставляет по старым местам какой-то солдат, а скоро опять уносит баба…»

Не заседание, а улица. Долго сидящие в шапках перебрасываются незначащими разговорцами, курят, галдят, даже переходят на крик, прежде чем наступает настрой по-настоящему деловой.

Разумеется, любой власти приходится не только заседать в густоговорениях, но и действовать.

Совсем незадолго до приезда Снесарева царицынские власти обезоружили так называемый Первый революционный полк (восемьсот человек). Какими же доблестями он примечателен? «На каждом солдате нашли 105 золотых монет и 1 пуд 3 фунта серебром… командир с мешочком скрылся». А сколько их, таковых «революционных» полков, отрядов, дружин, поездов, эскадронов, анархиствующие воители которых до трясовицы держат при себе подобные «мешочки» с награбленными или украденными драгоценностями?!

Из сборника «Краснознаменный Северо-Кавказский» (Ростов, 1971): «Сразу же по прибытии в Царицын 30 мая окружной комиссар К.Я. Зедин и военный руководитель А.Е. Снесарев с группой сотрудников штаба и управления комиссариата выехали в отряды и части Красной армии Северного Кавказа, которые вели военные действия. Они побывали в частях, обеспечивавших связь Царицына с Кубанью и Черноморьем по линии железной дороги Царицын — Великокняжеская — Тихорецкая и державших основной фронт на юго-востоке страны — фронт против немецких и красново-деникинских войск. Изучив положение на местах, руководители округа тут же оказали помощь командирам частей и отрядов…»

Небольшие в три сотни человек отряды громко именовались

армиями. Всего набиралось сто тысяч штыков, но значили они не более ста испытанных штыков. Гвалт, пьянство и стяжательство. Награбленное золото-серебро. Выборные командиры не имели реальной власти. Снесарев объявляет войну хаосу: создаёт штаб и коллегию военного комиссариата, постепенно упраздняет выборность, упраздняет или прикрывает армейские комитеты. Более того, и здесь геополитический импульс побуждает его думать не о сиюминутном успехе, а видеть дальше: «…с полной лояльностью работаю по воссозданию боевой мощи Республики и по обороне её границ…» — мысль о «прирезке» к округу Астраханской губернии и западного побережья Каспия…

4

Война против немцев? Да нет, всё оказалось не так просто. Грустная и очевидная реальность — казаки против казаков. Противостояние — дикое, без уберегающего разума и жалости.

Метаясь меж красными и белыми, казаки сведут на нет свои силы и возможности, вожди казачества, его патриотически настроенные атаманы Каледин и Краснов мало что смогут. И один покончит с собою, другой эмигрирует. Правда, Краснов попытается противостоять ветру смуты, накрывшему Дон и Россию, он даже ухватится за создание Южной армии, ведя переговоры с Головиным, желая видеть командующим армией хорошо известных офицерству Головина, Щербачёва или Иванова. Головин отказался, и Щербачёв отказался, а доживавший в Новочеркасске бывший командующий Юго-западным фронтом Иванов, почему-то весьма ценимый Красновым за «скромность и благородность», в противовес почти презрительным оценкам крупнозаметных военачальников, в том числе и Снесарева, согласится. Южная армия формировалась на основе киевского союза «Наша родина» — организации монархической, руководимой генералом Семёновым. По настоянию Краснова штаб Семёнова и первый корпус перебрались в Кантемировку, где атаман надеялся, что в слободской тихой глубинке и станет усиливаться покамест существовавшая разве что в названии Южная армия. Но… в двухтысячном, припожаловавшем с Украины так называемом Воронежском корпусе более половины были полицейские, сестры милосердия, отвоевавшие полковники и отслужившие градоначальники, сопутствующие дамы и девицы.

«Вся эта публика, — не без досады замечает Краснов, — заполнила Кантемировку шумом и скандалами». Саратовский и Астраханский корпуса видимой грозной силы армии не добавили. Скоро она как склеилась, так и рассыпалась.

Краснов успеет повидать страшные зверства красных и напишет об этом. Чего стоит одно его воспоминание о восьмидесятилетнем священнике станицы Вёшенская, которого бесчинствующие устроители нового мира вздумают обвенчать с… кобылой. И надругательство состоится в церкви, глумление пройдёт пред алтарём.

В «Тихом Доне» об этом не рассказывается, писатель не имел никакой возможности об этом сказать, но, к художнической его чести, сумел-таки дать в романе тёмный образ разложившегося красного отряда «из разноплемённых и разнузданных солдат», который шумно бесчинствует на своём пути. Вообще многие географические уголки, события, имена упоминаются на страницах и у Краснова, и у Шолохова, причём в родственной подчас тональности. Недаром Сталин при встрече с Шолоховым в московском доме Горького — особняке промышленника Рябушинского, подаренном пролетарскому писателю большевистской властью, — пенял автору «Тихого Дона», что тот обелил белых, слишком мягкими, «положительными» красками нарисовал их, с чувствуемой внутренней симпатией, и не только рядовых, но и Корнилова, Каледина, Богаевского. Да, Сталин уберёг создателя национальной эпопеи от ретивых подручных главного тогда чекиста Ягоды, но простить за белых никак не мог: в письме, написанном за два года до встречи в особняке, а опубликованном через двадцать лет в послевоенном собрании сочинений, есть почти приговорное: «Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своём “Тихом Доне” ряд грубейших ошибок…»

5

В распоряжении Андрея Евгеньевича поезд, на котором ему приходится часто переезжать с места на место. Передвижений много — мелькают названия: Тихорецкая, Камышин, Поворино, Алексиково, Воронеж, Балашов, Лиски…

31 мая на пути из Царицына в Тихорецкую узнаёт о взаимной жестокости кем-то срежиссированной «народной войны», разновидя-щих казаков в станицах Нагаевская, Верхняя Курмоярская. Суд один: «К стенке!» Убивает отец сына, убивает сын отца, братья идут на братьев. А кругом родная степь, в нескольких десятках вёрст — холмик отцовской могилы. «На мгновение мне кажется, что я приеду в Камышевку, как когда-то давно я попадал неизменно в неё со всех сторон… на душе тихо-грустно, но не тяжко: было и отжито, что делать…»

В Великокняжеской — изучение позиции от станицы

Романовская до Маныча. Семь отрядов горланствующих, делами, вернее подобьями их, похожих, как близнецы: всюду боевые приказы проходят через митинг — «согласуются». Заходит разговор об артподготовке, тут дебелый матрос хвастается, как в Ростове звонарь ударил в колокол, а он с дружками по ярусу колокольни «бабахнул» из орудий. Тельняшечного церквоборца явно не хотят слушать. Снесарев видит, что неприязненное чувство матрос вызывает не только в нём.

На другой день — Тихорецкая. Штаб Калнина, главкома Красной армии Северного Кавказа. Снесаревым овладевают грустные мысли… Похвалиться нечем. Приказания не исполняются. Эшелон грузится два дня, когда он два дня назад уже должен быть участником боя. «Нельзя собрать никаких сведений: где, что, сколько…» И ни на кого нельзя положиться. Отряд в две тысячи человек может называться армией, но эту армию, как надтреснутый орех, с ходу может расколотить любой батальон, будь то белый или германский. Иногда и вовсе дело до боя не доходит: красный отряд меж станицами Торговая и Целинная, поставив чучела, покинул окопы и растёкся по полям и станицам. Да что, если и достаточно испытанные войска Сорокина и Автономова развращены картами, хмельными загулами и шапкозакидательством.

В ожидании Калнина Снесарев и Зедин пьют чай с прекрасным хлебом, маслом и сыром. Снесарев чувствует, что Зедин даже стыдится есть, видать, помня о голодающих. Он, хотя и политизирован сверх меры — участник штурма Зимнего, но человек совестливый. Не пройдёт и года, как погибнет в боях под Ригой. Латыш прямодушный и искренний — полная противоположность ловко-поворотливому Вацетису и многим его сотоварищам — «латышским стрелкам».

Калнин приезжает к вечеру. Беседа с ним не из обнадёживающих. Тьма отрядов с громкими названиями, тьма начальников, а толку нет. Отряды «подчинены Федько (начальнику по внутреннему фронту), но лишь в том смысле, что, отдавши безграмотное распоряжение (во столько-то двигаться туда одному, во столько-то другому туда — и точка), он затем мечется от отряда к отряду… связи нет, исполнительности нет: не то пошли и куда-то дошли, не то совсем не пошли», — запишет в дневнике Снесарев. Бесчинствуют анархистские шайки, вроде отряда Маруси — Маруси Никифоровой, объявленной вне закона и промышляющей в лесу к северу от станицы Кагальницкая.

Сколько было их, этих властолюбивых «марусь и машек», не щадивших ни старых ни малых! Этих «товарищей роз и розалий», жаждавших расстрельными приказами устращать Одессу, Киев,

Крым, да и Каспий, Балтику, Беломорье и даже самолично «пускать в расход» врагов революции в подвалах чрезвычаек! Они во всякое смутновременье объявляются в пугающей бесчисленности. Терпимо бы, когда мужья или любовники у них, властолюбивых фурий, и только у них, подвизались на вторых ролях. А когда они, будучи у жён своих под каблуком, на вторых ролях, выпархивают в роли первых на государственную лестницу — губернаторами, министрами, президентами и т.д., то худо становится всем: и мирным, и военным, и губернии, и государству. Такая подчас злопросчитанная, подчас иррациональная режиссура!

В письме к жене от 18 июня 1918 года из Царицына Снесарев пишет, что побывал в десятидневной инспекции по своему «буйному округу» и далее — в Балашове, Камышине, Лисках, Поворино, Воронеже. Ещё сообщает, что масса работы и он закипает как в котле, но и постепенно налаживается ход огромной разболтанной машины округа.

19 июня 1918 года состоялось чрезвычайное собрание членов совета, штаба обороны, военно-казачьей секции, профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, Центрального совета профессиональных союзов, Совета народного хозяйства и командиров воинских частей, на котором было принято постановление объявить город на военном положении, объявить партии меньшевиков и правых эсеров предательскими, запретить пользоваться гудками. Утверждены и более жёсткие предписания, запреты и угрозы. Нельзя находиться на улице с 10 часов вечера до 5 часов утра; сеющих панику отдавать под суд; застигнутых с оружием в руках расстреливать; из умеющих владеть оружием создать боевые единицы и отправить их на фронт. «Документы о героической обороне Царицына в 1918 г.» (1942. Книга издана в самый раз: немцы у Волги!).

Газета «Борьба» от 21 июня 1918 года изложила выступление А.Е. Снесарева: «Защита Царицына ввиду его теперешнего значения — дело всенародное. Не может быть спора о том, защищать город или нет, весь вопрос в следующем: какие силы необходимы для его защиты? Царицын — сердце всей страны, и наша задача — отстоять его».

6

23 июня 1918 года А.Е. Снесаревым был подписан приказ № 4 о формировании и боевых задачах группы Ворошилова. Опираясь на предписание военного руководителя Высшего военного совета

Бонч-Бруевича от 9 июня 1918 года за № 2393, подчинившего все отряды Советской республики южнее Воронежской губернии руководителю Северо-Кавказского военного округа, Снесарев приказывает создать из оставшихся частей (Третьей, Пятой армий, из населения Морозовского и Донецкого округов) группу под командованием Ворошилова, которому предписывается очистить от казаков земли левого берега Дона, захватить мосты и переправы через Дон, вести деятельную разведку, а также выстраивать из полупартизанских отрядов регулярные части.

Ворошилов, не кончавший ни военной академии, ни военного училища, ни даже самой скромной военной школы, к той поре едва ли что читавший по военной науке, учившийся воевать среди вольницы отступавших с Украины и не знавших армейской дисциплины отрядов, иначе, как по-партизански, и не мог мыслить и далее «партизанщины» горизонта не видел. Это было очевидно не только для военного ума Снесарева, но даже и для сумевшего стать главным военным страны Троцкого, который не без саркастического запала утверждал, что «никакой изменник и перебежчик и все перебежчики вместе не причинили и не могли причинить Советской России столько вреда, сколько причинили ей партизанщина на Северном Кавказе, махновщина и григорьевщина на Украине»; он понимал, что без военных «спецов» не обойтись, и, конечно же, отдавал должное военным дарованиям Снесарева, о чём свидетельствует, казалось бы, частное, замечание в книге Троцкого «Как вооружалась революция»: «Тов. Снесарев лучше других подошёл к сути, предложив для военного дела термин “обнаученное искусство”. Можно, конечно, выдумать десяток других терминов, и я не предлагаю узаконить термин Снесарева, но, по-моему, автор термина показал себя более свободным от цеховых предрассудков, когда сказал: “Я и названия ремесла не испугаюсь, тем более не испугаюсь искусства”».

Есть свидетельства (в частности, письмо А.А. Токарева), что Калинин, председатель ВЦИКа, на которого Снесарев как знаток военного дела произвёл сильное впечатление при встрече на Смоленщине, предлагал командующего Западной армией на пост военного консультанта председателя Совнаркома. Заупрямился наркомвоендел, который, быть может, с удовольствием желал бы иметь такого уровня консультанта в своём ведомстве. Но Снесарев не пожелал бы этого видеть и в дурном сне: для него Троцкий — Керенский № 2. Разумеется, не испытывал он тяги и стать консультантом Ленина. Оба они были для него прежде всего разрушителями Отечества: а то, что начали они выстраивать и обещались построить в варианте-режиме мирового

революционного счастья, маячило как угрожающий призрак, всё ненасытнее требовавший реальной крови.

1 июля 1918 года Снесарев подписывает приказ № 10, который начинался словами: «Скорейшее восстановление железнодорожного сообщения с Северным Кавказом, единственного сейчас по линии Царицын — Тихорецкая, является нашей насущной задачей. Необходимо помнить, что население центральных русских губерний уже фактически голодает, и поэтому скорейшая поставка ему кавказского хлеба — наша первейшая и священная обязанность».

3–16 июля начальник округа осмотрел Гашуно-Котельнический район, откуда предполагалось начать операцию по очистке железных дорог, вплоть до станции Тихорецкая, и по деблокаде группы Калнина, уточнил на месте обстановку и дал боевые задачи частям. В скоро последовавшем приказе № 11 войскам Болоцкого надлежало провести основное наступление, а отрядам Ворошилова предписывалось охранять Царицын с запада, выполнять задачи демонстрационного и разведывательного характера. Приказ не был подписан политкомиссаром округа Зединым, который стал настаивать на подчинении войск опытного Болоцкого неопытному Ворошилову. Снесарев вынужден был обратиться в Высший военный совет Советской России с письмом, обстоятельным и весьма обоснованным. Неподписание его приказа политкомиссаром округа он объясняет даже не возможной осторожностью, но отсутствием военного видения, охвата вопроса в целом: «С подчинением т. Ворошилову войск т. Болоцкого у первого оказался бы настолько длинный фронт и столько войск, что, имея в виду отсутствие у него достаточно налаженного штаба и соответствующих военных специалистов, справиться с предстоящими в том случае трудностями управления и руководства войсками он совершенно был бы не в состоянии, да ему пришлось бы в своём лице объединить две совершенно разные по цели и направлению операции, чего мы тщательно избегаем». Оценка Снесаревым «полководческих» данных будущего наркома по военным и морским делам страны не оставляет надежд на успешную развязку царицынского узла: «Лично т. Ворошилов как войсковой начальник не обладает достаточно нужными качествами; так, например, он, получив приказ о смене подчинёнными ему войсками нуждающихся в отдыхе частей Царицынского гарнизона на позиции у Кривой Музги, этого приказа не выполнил… 13 июля я встретил т. Ворошилова на станции Царицын, причём штаб свой он оставил, не сообщив мне, не уведомив штаб округа о своём заместителе. Из этого я заключаю, что он недостаточно

проникнут чувством долга и не придерживается элементарных правил командования войсками, почему скорее он подлежал бы удалению с занимаемой должности, чем доверие ему руководства сложной операцией на громадном фронте…»

Знать бы (или вспомнить) эти строго ответственные слова руководству страны в тридцатые — сороковые годы, может, и не было бы столь катастрофических потерь в сорок первом, в начале Великой Отечественной войны; да вся беда в том, что руководитель страны и долгие годы руководитель всех её войск были друзьями, и подружились они именно в Царицыне, где Снесарев оказался не «их» человеком. Письмо в Высший военный совет он заканчивал твёрдо и разумно-требовательно: «Считаю происшедшее разногласие между мною и военным комиссаром т. Зединым настолько существенным, что прошу по этому поводу самого строгого и определённого решения. Если я как военный руководитель неправ в своих чисто военных доводах, то, конечно, не могу оставаться на своём посту; если же неправ т. Зедин, то, во избежание вредных для этого разногласий между ним и мною, полагал бы необходимым заменить его другим лицом. Как военный руководитель и человек я добросовестно и с полной лояльностью работаю по воссозданию боевой мощи республики и по обороне её границ, но для успешности дела считаю необходимым настаивать на вполне исчерпывающем ответе на затронутый в настоящем письме вопрос».

Сколько их подвизалось здесь, командиров, комиссаров, «самочинных полководцев» вроде Киквидзе, одного из наиболее «бессовестных разбойников и грабителей», как его аттестовал снесаревский соратник Носович, или вроде Федько и прочих, и Зедин был далеко не худший из них. Но не подписанный им приказ — не осуществлённая по замыслу Снесарева операция. Это дало возможность Краснову нанести удар в северном направлении: он стремился соединиться с Колчаком и белыми силами Южного Урала. А группа Калнина была вскоре разгромлена Деникиным.

7

Вот ирония судьбы: и Снесарев, и Краснов понимают, где главные противостояния, естественно, понимают и тактические частности; но двое на разных берегах, и Снесарев не даёт приказа бить по расходящимся линиям — на Тихорецкую и Новочеркасск (где казачий атаман Краснов), может, и из генетических, но также и прежде всего из тактических соображений. А Сталин ударил и был разбит.

О Краснове уместно сказать подробнее. Четырьмя годами моложе Снесарева, учился в Академии Генштаба. Военный журналист. Участник Русско-японской войны. В начале Первой мировой войны командовал «Дикой дивизией», в 1915–1917 годах руководил после Павлова 2-й Сводной казачьей дивизией, в которой начинал войну и Снесарев, 1-й Кубанской дивизией. Награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени. В августе 1917 года назначен Корниловым командиром Третьего конного корпуса, которому надлежало идти на Петроград для подавления смуты. В конце семнадцатого года уехал на Дон. В мае 1918 года войсковой круг избрал его атаманом. Создал Донскую армию, действия которой доставляли немало хлопот большевикам. Держался германской ориентации, вернее, «политики здравого смысла», хотя в конце года согласился на единое командование белыми армиями под главенством Деникина, который разве что не двигал свои войска под французскими, английскими флагами, наивно надеясь на решительную помощь Антанты. Позже, перебравшись в Прибалтику, Краснов помогал генералу Юденичу. После его неудачного похода на Петроград переселился во Францию. В 1943 году — бесславная страница — начальник Главного управления казачьими войсками в Германии. В 1945 году англичанами выдан, как и тысячи других, даже и не воевавших, казаков с их семьями, женщинами и детьми, советским оккупационным властям. (При насильственной выдаче английские, американские власти и их подчинённые — эти поборники свобод и прав человека — расправлялись с казачьим миром не хуже Свердлова и Троцкого и без намёка уступки им в жестокости.) В начале 1947 года семидесятисемилетний Краснов казнён в Москве, повешен во дворе Бутырской тюрьмы вместе с генералом Шкуро и ещё несколькими военными.

Краснов — незаурядный писатель, автор исторических повествований, воспоминаний, романов «Опавшие листья», «Единая и неделимая», «Всё проходит», «Понять-простить», «Домой»… Особенно значителен его трёхтомный роман «От двуглавого орла к красному знамени», который словно «подсказывает» будущему автору «Тихого Дона» не только панораму гражданского хаоса в России и на Дону, но и некий угол зрения, во всяком случае, есть совпадающие тональности, художественные прорисовки и оценки выдающихся деятелей Белого дела, одни и те же территории, имена (в Стокгольме на встрече со студентами после вручения Нобелевской премии Шолохов прямо сказал, что прочитанные им мемуары Деникина, Краснова, Луком-ского так или иначе отозвались в главном его романе).

Что же до Снесарева, то здесь совпадающие взгляды просто не могут не быть — по возрасту, опыту военному, органическому чувству Отчизны. Роднят их размышления о «единой и неделимой», о фронте и тыле, о Доне, о конях… Терзания красновского героя генерала Саблина, в высшей степени достойного человека, сродни терзаниям Снесарева: допустимо ли морально служить кроваво-враждебному новому, чтоб его «усовершенствовать». А разве не близки по духу и справедливости Снесареву размышления Краснова о России и союзниках: «В Версале одни не понимали… Другие желали видеть Россию уничтоженной, сгоревшей на медленном огне. Кроме той политики, которую вели военные начальники, видевшие в русских союзников, друзей, несчастных погибающих братьев и от всей души желавшие им помочь, была ещё другая, большая политика, видевшая в России угрозу Персии, Индии и Ближнему Востоку, и вот эта-то другая политика и отставляла все распоряжения первой политики».

8

Штрих, растиражированный: Будённого поразило появление вместе со Сталиным Снесарева, «высокого пожилого человека с безукоризненной выправкой, в полной форме генерал-лейтенанта старой Русской армии. Меня, как и других, прежде всего удивило, почему Снесарев в генеральских погонах: ведь красноармейцы относились к “золотопогонникам” с неприкрытой враждой и носить погоны было небезопасно. Кто-то даже сказал ему об этом. Андрей Евгеньевич ответил: “Погоны — знак военных заслуг перед Отечеством…”»

Предполагается, может, и не без оснований, что Сталину образ Снесарева именно как генерала в форме запомнился в завидно-хорошем смысле, и он в сорок третьем, на переломе войны, ввёл в советских войсках такую же форму, вернул армии погоны.

Мог ли реально Снесарев всё сделать так, как смог бы по военным своим знаниям и дарованиям? Едва ли. Много было привходящего. Поскольку Царицын стал на какое-то время главенствующей пядью и для красных, и для белых, о нём вспоминают и красные, и белые. Среди вспоминающих белых и Деникин. Они вместе в одно время учились в Академии Генштаба, воевали на одном фронте и даже в одной армии. Но Снесарев, однажды назвав Деникина в ряду других, нигде обстоятельно не говорит о нём, может, разве в письмах и дневниках, уничтоженных или иначе не сохранившихся. Деникин же в

«Очерках русской смуты» Снесарева упомянет именно в связи с Царицыном:

«Спор решила Москва… назначив военным руководителем генерал-майора Снесарева (он генерал-лейтенант. — *Авт.)*.

Снесарев осел в Царицыне, откуда и правил фиктивно, так как со взятием нами Торговой (12 июня) почти вся связь его с северокавказскими войсками была утеряна. Фактически командовал Калнин, латыш, кажется, подполковник, имевший свой штаб в Тихорецкой.

После разгрома большевиков под Тихорецкой и Кущёвской Снесарев был обвинён в “контрреволюции” и смещён; 21 июля, за несколько дней до падения Екатеринодара, главнокомандующим был назначен “бандит и провокатор” Сорокин, которого официальные “Известия” переименовали в спасителя республики».

Деникин и Снесарев — на разных берегах, и нет в живых Корнилова, дорогого для обоих.

А Сталин разворачивается так, словно не Троцкий, скажем, а Снесарев — его главный противник. Правда, поначалу в сталинских письмах Ленину задевается именно Троцкий, которому надо «вдолбить в голову», чтобы не раздавал «направо и налево мандаты… без ведома местных людей». Сталин не просит — требует для себя всей полноты власти на юге, в том числе и военной, он угрожает Ленину: «…и конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит».

Наконец, 16 июля председателю Совнаркома поступает сталинская телеграмма, в которой военный руководитель Северо-Кавказского округа аттестуется заранее обвинительно, бездоказательно обвинительно, но психологически в чём-то и точно: «Военрук Снесарев, по-моему, очень умело саботирует дело… (Сталин сообщает о своей инспекции на фронт и своём решении для очищения линий Котельниково — Тихорецкая за бронепоездом двинуть войска — 12 тысяч, якобы скованные распоряжениями военрука. — *Авт.)* Теперь две просьбы к Вам, т. Ленин: первая — убрать Снесарева, который не в силах, не может, не способен и не хочет вести войну с контрреволюцией, со своими земляками-казаками. Может быть, он и хорош в войне с немцами, но в войне с контрреволюцией он — серьёзный тормоз…» Ленин поддался напору Сталина, на телеграмме начертал: «По-моему, согласиться со Сталиным».

А уже через три дня, 19 июля, весь штаб военного руководителя округа по распоряжению наркома Джугашвили (Сталина), «товарища инородца», как именовал его Снесарев, был заключён в плавучую тюрьму — на «царицынскую баржу», о

которой потом писано-переписано!..

Был арестован и Снесарев, и только незамедлительная инспекция Высшего военного совета отвела расправу от него, его ближайших помощников Ковалевского и Носовича.

В июле 1918 года приказом из Москвы Снесарев был отозван для доклада Высшему военному совету, реальная власть перешла в руки Военного совета Северо-Кавказского округа (Сталин, Минин и Ворошилов).

В июле 1918 года в Екатеринбурге — расстрел трёхсотлетней династии. Независимо оттого, кто был повинен в аресте и крайне опасных принудительных передвижениях лишённого власти царя и его родных (здесь и февралисты-временщики, и большевики-временщики), независимо от того, каков был замысел и характер убийства (глубокопродуманный или явившийся вдруг, похожий на ритуальный или и впрямь ритуальный), чудовищное убиение царя, его жены, его дочерей и больного сына, да ещё приближённых двора, иначе как бесчеловечным не назовёшь. (Английская королевская верхушка близкого родственника, недавнего русского монарха, не пожелала взять под своё сильное крыло: британскому и королевскому, и либеральному верхоправству Россия годилась без руля и без ветрил, без символа власти, без всего, что могло бы её вновь поднять из руин.)

В неладный для себя июль Снесарев, по природе и по духу монархо-державник, узнаёт о расстреле династии. Даже не зная жуткие подробности расправы (подвал Ипатьевского дома, убийство невинной юности, хладнокровие и одержимость убийц!..), Снесарев не мог не быть глубоко потрясеным убийством царской семьи. Нам, однако, не известно, доверил ли он свои чувствования и переживания бумаге: шестьдесят страниц «царицынского» дневника, где Снесарев просто не мог не написать о своей тяжбе со Сталиным и Ворошиловым, вырваны либо в те опасно-межвластные царицынские дни, либо во время ареста 1930 года. Кто вырвал? Может, жена, может, тесть Зайцев, он был персональным пенсионером, обыски у персональных запрещались, и всё же от беды подальше рискованные страницы за верное было уничтожить.

Был ли заговор в штабе Северо-Кавказского округа? Из знающих — Носович. Его свидетельство не могло быть беспристрастным. Многократно в разных изданиях повторенное: заподозренные в заговоре офицеры-штабисты Северо-Кавказского округа без суда и следствия были расстреляны. А царицынская баржа-тюрьма пущена на дно. Действительно так? Или же миф, возникающий и творящий в любом времени, обжитом пространстве и в любой обстановке, возобладал и здесь?

На «снесаревском поле» ныне сходятся военные исследователи, учёные — географы, писатели, журналисты, педагоги. И разнообразные ипостаси творческого наследия, а также жизненного пути великого геополитика высвечиваются достаточно ясно. Но с баржей многие строки рождают понятное недоумение. Пишут, что в отрядах под Царицыном были арестованы тысячи военспецов (откуда столько?), недавно перешедших на сторону революции (не только перешедших, но и мобилизованных), что их согнали на стоявшую у городского причала баржу, превращенную в плавучую тюрьму, что тут же их стали расстреливать как врагов и предателей без суда и следствия, что впоследствии баржа затонула вместе с заключёнными при загадочных обстоятельствах.

Да, была великая, длившаяся более двух десятилетий трагедия офицерства (есть и книга «Трагедия русского офицерства», изданная за границей ещё в 1923 году военным мыслителем, полковником Генштаба А.Л. Мариюшкиным, под тем же названием — книги С.В Волкова, Я.Ю. Тинченко), и были расстрелянные и затопляемые баржи, были Кронштадт, Архангельск, моря Балтийское, Каспийское, Белое; был, наконец, Крым, неистовавшие революционные палачи Розалия Землячка и Бела Кун, великие тысячи расстрелянных офицеров в одной только солнечно-горестной Тавриде. Не озабоченным народными судьбами то местническим, то размашисто-вселенским политикам, а таковых во все времена хоть пруд пруди, недосуг понять русскую боль и русскую память. Прискорбнее, когда и учёным-историкам, и писателям недостаёт должного понимания и необходимой чуткости.

9

В дневнике от 22 ноября 1916 года Снесарев запишет: «Граф Алексей Николаевич Толстой… “Хромой барин”, “Овражки” и “Маша”. Интереснее всего первое: расслабленный, толстовец… князь Краснопольский, который в конце концов ползёт к жене своей Кате несколько вёрст; остальное — пустячное. Манера вроде Шмелёва, но гораздо менее талантлив». Снесарев похвалил «Хромого барина» Толстого, а писатель в повести «Хлеб», впервые под заглавием «Хлеб (Оборона Царицына)», напечатанной в 1937 году в журнале «Молодая гвардия», поспешливым, «хромым» пером исказил образ Снесарева. Зачем? В последней автобиографии Толстой по поводу повести «Хлеб» сетовал, и заявлял, и похвалялся: «Я слышал много упрёков по поводу этой повести, в основном они сводились к тому, что она суха и

“деловита”. В оправдание могу сказать одно: “Хлеб” был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится, я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные… без дерзаний нет искусства. Любопытно, что “Хлеб”, так же как и “Пётр”, может быть, даже в большем количестве переведён почти на все языки мира».

Выходит, по всему миру шла оценка Снесарева, его штаба Алексеем Толстым — человеком, далёким от геополитического видения и понимания военного искусства. Книга издана в тридцать седьмом, Андрей Евгеньевич уже не мог её прочитать…

«Самый старший за столом — военный руководитель силами Северного Кавказа Снесарев — небольшой, плотный, в очках, с мясистым носом, с короткими ежиком седоватыми волосами сообразно своему бывшему чину и теперешнему положению строго поглядывал из-за стёкол.

Он был из той уже вырождающейся породы русских людей, которая сформировалась в тусклые времена затишья царствования Александра Третьего. Он по-своему любил родину, никогда не задумываясь, что именно в ней ему дорого, и если бы его спросили об этом, он, несколько подумав, наверное бы, ответил, что любит родину, как должен любить солдат.

Позор японской войны (он начал её с чина подполковника) поколебал его душевное равновесие и бездумную веру в незыблемость государственного строя. Он прочёл несколько “красных” брошюрок и пришёл к выводу, что так или иначе столкновение между опорочившей себя царской властью и народом неизбежно. Этот вывод спокойно улёгся в его уме.

Во время мировой войны он не проявил — уже в чине генерала — ни живости ума, ни таланта. Эта война была выше его понимания. Потеря Польши, разгром в Галиции, измена Сухомлинова и Ренненкампфа, бездарность высшего командования, грязный скандал с Распутиным вернули его из воинствующего патриотизма к прежней мысли о неизбежной революции. Он ждал её, и даже в октябрьский переворот, когда его обывательское воображение отказывалось что-либо понять, он остался на стороне красных. Он полагал, что революционные страсти, митинги, красные знамёна, весь водоворот сдвинутых с места человеческих масс уляжется и всё придёт в порядок.

Поход Корнилова с горстью офицеров и мальчишек-кадетов на завоевание Северного Кавказа он счёл безумной авантюрой. Но когда Добровольческая армия, окрепшая в степных станицах Егорлыцкой и Мечетинской, начала бить главкома Сорокина,

возомнившего себя Наполеоном, когда атаман Краснов в пышных универсалах заговорил о “православной матушке России”, на Снесарева пахнуло давно утраченным, родным, вековечным…» Здесь что ни предложение — подмена, искажение, неправда. Талантливый писатель оказался «середнячком», пытаясь не без политической диктовки представить «середнячком» Снесарева.

Хлеб — евангелически высокое слово для русского человека, а здесь посредственная писанина под высоким названием. Да и полупоездной, полухлебный роман Всеволода Иванова «Пархоменко», где часть глав отдана царицынским событиям, тоже ничем не примечателен и зачем писан, ведомо одному автору. Ладно бы писатели, люди в некотором роде вольные, и коли нравственное и эстетическое в них дремлет, тут уже не спрашивай точности и добросовестности. Но чего нельзя понять, так это когда подобными «хлебами», то есть историческими трудами, потчуют современников историки с почтенными научными званиями, историки, которые, применительно к политическим ветрам и обстоятельствам, так исторически неточны и недобросовестны, так искажают прошлое, что некогда им и на миг задуматься о будущем хотя бы своего учёного имени.

В книге Э.Б. Генкиной «Борьба за Царицын в 1918 г.», изданной Госполитиздатом в 1940 году, вне надлежащих документальных подтверждений Снесарев и его штаб предстают весьма тенденциозно, в свете неприглядном. Четверть века спустя молодые офицеры-учёные, слушатели Военно-политической академии В. Дудник и Д. Смирнов выступают в «Военно-историческом журнале» (1965, № 2) с биографически-воссоздательной статьёй, пусть и с несколько «недоговорённым» названием «Вся жизнь — науке», в которой, по сути, впервые после десятилетий-замалчиваний воздавалось должное Андрею Евгеньевичу, вкратце, правдиво освещались его жизненный путь, значение его военной, научной, педагогической деятельности для страны; статья явилась, как очистительная надежда, как провозвестница скорого признания великого имени; говоря о Царицыне, авторы не обошли молчанием исторически поверхностные, одномерные, мифотворящие труды, в том числе и «Борьбу за Царицын в 1918 г.». Незамедлительно, с реакцией и расторопностью, не всегда удающейся (или уместной) даже молодости, в журнал было направлено рассерженное письмо старшего научного сотрудника Института истории АН СССР, профессора Генкиной, на которое пришлось отвечать не только авторам статьи, но и редакции «Военно-исторического журнала» (1965, № 8): «От историка требуется высокая принципиальность, в оценке событий и лиц он не должен поддаваться конъюнктурным

влияниям, обязан исходить из достоверных, точных фактов, не допуская произвольного их толкования».

Ничего доброго не говорится о Снесареве и в книге профессора Академии Генерального штаба РККА В.А. Меликова «Героическая оборона Царицына», вышедшей в свет в Воениздате в том же 1940 году. В книге есть любопытные сведения и оценки происходившего, даётся общая картина обороны, но и весьма очевиден тенденциозный вектор — возвеличения стоявших тогда у власти, пренебрежения к ушедшим побеждённым. Снесарев в этом исследовании ни много ни мало — «ставленник… Троцкого», «активный саботажник», автор приказов с пассивными, «паллиативными формулировками»… Разумеется, противостоящие ему Сталин и Ворошилов — стратегические и тактические полководцы нового времени, которые (прочитывается за строками книги), если потребуется, во имя революционной целесообразности не то что баржу с подозреваемыми, а целый флот потопят.

НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ. 1918–1919

Нет, неспроста Снесарева если не влекла, то всегда интересовала граница, и «Созидание границы» он перевёл с английского не языковой тренировки ради, а как необходимое внутреннее задание, пусть и в своё удовольствие. Мистика или власть судьбы — он вновь на границе. В третий раз. Были Памирские и Карпатские горы, теперь болотистые западнорусские и белорусские земли.

Ещё недавно — завеса, то есть нечто вроде ненадёжного робкого занавеса, отнюдь не железного. Но завеса — не граница, завеса более пригодна для театра, а не для территорий-полос, в час войны взламываемых войсками.

1

Итак, приказом Реввоенсовета от 11 сентября 1918 года Снесарев назначен начальником обороны Западного района Завесы. В следующем месяце Западный район преобразуется в отдельную Западную армию: стало ясно как день, что отрядами Завесы границы не защитить и не прикрыть главные операционные линии, ведущие к столицам. Возглавляемая Снесаревым Западная армия освобождает Белоруссию, входит в Литву и в марте 1919 года переименовывается в Белорусско-литовскую, а в июне того же года переименовывается снова и окончательно в Шестнадцатую армию. Штаб — сначала в Калуге, а с октября 1918 года — в Смоленске.

Здесь узнаёт, что недавними сентябрьскими днями в Пятигорске казнены генералы Радко-Дмитриев и Рузский. Последний давно ли требовал отречения царя и, естественно, не мог быть среди «героев» Снесарева. Но само убийство… генерал казнён как заложник: на кладбище, где Рузскому велено было рыть могилу самому себе, ему истыкал шею кинжалом и отрубил голову всесильный замначальника ЧК Северного Кавказа и Кубани Атарбеков. Да, Рузский, военный, присягнувший императору и в трагический час требоваший от императора отречения — нетерпеливо, грубо, в стилистике «ну, что медлите!», такой защитник Отечества Снесареву был более чем неприятен, но подлость и низость расправы над ним…

Ещё одна из того же ряда новость. Сорокин, расправясь с пришлыми руководителями Северо-Кавказской республики, был

объявлен вне закона и расстрелян, и у Снесарева было двойственное отношение как к расстрелянному «кубанскому Наполеону», так и к тем, кого он расстрелял. Годы спустя, отдыхая в Пятигорске, Андрей Евгеньевич не раз подумает об этих жестоких смертельных брызгах гражданского смерча.

Остановился Снесарев в Смоленске по адресу: ул. Пятницкая, 5. Штаб расположился в здании бывшего Благородного собрания. Его штаб — люди долга: дни и ночи заняты теоретически и практически над тем, как укрепить обороноспособность России на подходах к Польше и Балтике.

Смоленск — страж Руси. Командарм просматривал сочинения по его обороне в разные века, часть — из ранее прочитанного: о древнерусском Смоленском княжестве, о поистине драматической обороне Смоленска жителями и войсками полководца Михаила Шеина, об Отечественной войне 1812 года на смоленской земле.

План заманивания Наполеона в глубь России уже предвидел Ростопчин, а Барклай де Толли, раненый, разворачивал его ещё в 1807 году в Мемеле перед Нибуром, на тот день наиболее глубоким знатоком, живописателем, историком Римской империи; историк древности хотел увидеть и близкое будущее современных ему великих империй, и полководец уверял его, что наступающая империя будет наступать вплоть до русской столицы, а отступающая — отступать, может, даже и вплоть до столицы, но победит — отступающая.

Снесарев не мог без улыбки читать, а потом и рассказывать о курьёзной сцене, приключившейся в селе Гаврики между двумя героями Отечественной войны 1812 года. Там Барклай де Толли и Багратион столкнулись в непримиримом споре: отступать или наступать. Спорящие осыпали друг друга последними словами, а Ермолов, не менее значительный герой войны, стоя у ворот усадебного двора, никого не пускал и объяснял, что командующие совещаются.

Но более приходилось не о былых оборонах книги читать, а о новой возможной обороне Смоленска думать. Потому командарм часто разъезжал по фронтовой линии, изломанной на сотни вёрст. В самом городе было спокойно, фронт находился на некотором отдалении. Но было много раненых, размещённых повсюду: в госпиталях, в присутственных местах, в школах, в домах. В городе организуются курсы подготовки комсостава, и Андрей Евгеньевич предполагает на этих курсах прочитать курс лекций на тему «Огневая тактика».

Войсковым начальником Смоленска оказался его друг по Московскому пехотному училищу — Фёдор Андреевич Шевелёв. В его радушно-гостеприимном доме Андрей Евгеньевич часто

проводил время; вспоминали училище, общих друзей; пел под аккомпанемент дочери друга «Белеет парус…», «Лесного царя», с женой друга исполнял «Не искушай меня без нужды», «Сомнение».

2

В октябре 1918 года Америка послала Германии предписательную ноту, в Европу направлены американские войска — сотни тысяч заокеанских солдат. Вскоре Вильгельм отрёкся от престола, а кронпринц отказался от прав на престол Германской империи.

На Западном фронте заключено перемирие. Условия перемирия предельно тяжёлые, но германское правительство приняло их и обратилось к американскому президенту Томасу Вудро Вильсону с просьбой об их смягчении, так как непомерно кабальные эти условия надолго разрушили бы немецкую хозяйственную жизнь.

Война 1914–1918 годов обошлась Германии в 20 миллиардов фунтов стерлингов; контрибуции же она должна была уплатить 8 миллиардов фунтов, в рассрочку на 40 лет, что с процентами в конечном счёте составило бы 16 миллиардов фунтов (журнал «Военное дело», 1918). Ллойд Джордж заявил, что во все века существовал принцип «платить должен побеждённый», и пусть Германия возместит союзникам все расходы войны.

3

ВЦИК на заседании 1 сентября 1918 года установил орден Красной Звезды, присуждаемый гражданам, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности (журнал «Военное дело», 1918). В одном из майских выпусков «Известий» опубликована статья Н. Подвойского «Создание трехмиллионной армии». Вот тебе и мир народам!

В ноябре Снесарев вызван в Москву. В столице холодно и голодно. Вацетис принял не сразу и предложил прийти на следующий день. В ожидании Раггэля, начальника штаба Реввоенсовета, рассматривает настенные картины, всё больше сюжетно-исторические, несколько пейзажных. От пришедшего Раттэля узнает о бегстве Носовича к белогвардейцам; по-видимому, недоверие к командному составу, чуть было улегшееся, на революционных верхах обострилось снова, и Носович не стал испытывать судьбу. Раттэль не в духе: постоянная текучка, работать трудно и не с кем. Вацетис и на

другой день ничего хорошего и дельного не сказал, кроме как наступать. Всё так: наступательно-военный мир — народам, земля — погибшим!

Возвратясь в Смоленск, командарм выехал по фронту через Витебск на Торопец и Великие Луки. Великий по названию городок — старый, скромный, деревянный. Штаб дивизии — на верхнем этаже гимназии, внизу занимается вторая смена.

Снесареву, три года провоевавшему за тысячи вёрст от российских столиц, трудно свыкнуться с мыслью, что война, странная, неклассическая, как чёрно-красная тушь, разлилась по всей стране, а его раздетые, разутые и худо вооружённые полки бедствуют в опасной близости от Москвы.

«Полки и команды выстроены. Меня приветствуют словом “здравствуйте”. Потом по мере нашего хода атмосфера разогревается, слышится дружное “здравия желаем”. Ко мне подходят с рапортом: “гражданин командующий” или “товарищ командующий” — люди… хотят быть приятными. Обоз — две жалкие телеги, испорченная кухня, жалкие сани, и это — на весь полк. Люди должны держаться железной дороги или умереть с голоду, оторвавшись от неё. Ночью прибывает начдив Ольдерроге и комиссар Сергеев (умный и конфузливый). Выслушиваем доклад — ничего нет для жизни и боя, принимаем решение: революционный способ — рвать где удастся, рвать первыми».

Короткая остановка в Витебске, далее — Смоленск. Командарму, зная, что его семья в Острогожске, с тревогой сообщают, что Лиски взяты белыми, казаки под Давыдовкой, красные отошли к Острогожску. Информация — от Дона до Атлантического океана — угнетает. Украина кипит «незалежными» страстями, Скоропадский, скорей всего, скоро упадёт, генерал Келлер назначен главковерхом над гетманскими силами, Страсбург взят французскими войсками, в Москве тягчайший продовольственный и топливный кризис, во Львове погром евреев — сотни убитых на улицах…

Три погибшие европейские монархии, три исторически великие империи лежат в развалинах, крови и пепле, и разбойничьи ветры свистят над ними.

В ноябре 1918 года Германия, так же как и Россия, была ввергнута в пучину хаоса, подпала под власть революции, как и везде, анархиствующей и тем не менее, как и везде, мировыми силами управляемой. Брестский договор перестал что-нибудь значить. Немцы уходили… И тут же, словно из-под земли, повыпархивала тьма всяческих «национальных отрядов свободы и независимости»: от польских легионеров до финских. И если у немцев был какой-никакой порядок и какая-никакая этика войны

(с безоружными мирными людьми не воевать), то поляки, захватив на несколько дней покинутую немцами Вильну, так расправлялись с мирными русскими жителями, словно именно они не дали их предкам тремя столетиями назад надолго обосноваться в Москве, у государева престола.

А тон реляций с западных окраин, печатаемых в журнале «Военное дело», газете «Известия» в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого годов, всё более наступателен, и, судя по нему, новая власть не прочь закрепиться на старых имперских рубежах. «Наши войска продолжают наступление… Захватили 1 паровоз…»; «Продвижение советских войск идёт всё более ускоренным темпом… На днях надо ждать занятия Минска… Мы постепенно приближаемся к демаркационной линии, намеченной по Брестскому договору»; «Наши войска заняли Молодечно… Продолжают наступление на Новогрудск… заняли Калинковичи, Мозырь, Речицу»; отвоеван Минск, «на очереди Вильно, Барановичи, Брест…»; «Советская власть в Вильне — Совет начинает развивать энергичную деятельность».

Западные области — снова русские благодаря и Снесареву, но скоро всё прахом пустит Тухачевский, в лихокавалерийском наскоке достигнув приваршавских берегов Вислы и столь же быстро оттуда откатившись едва не до Днепра, а ещё более — Реввоенсовет и упрямый Сталин, которые, надеясь захватить Львов, не дали дополнительных войск на подмогу Тухачевскому.

В декабре 1918 года вверенными Снесареву войсками были снова отвоеваны Минск, Полоцк, Гомель (приближаясь к скорогрядущей «Линии Керзона») от сборных, наверное, точнее сбродных отрядов — польских, шведских, финских. Но воевать было мудрено: иногда — некому, чаще — нечем. Побывав в Великих Луках, он почти с отчаянием скажет: «В дивизии ничего нет — ни тёплой одежды, ни сапог, ни винтовок… Это хуже всякой турецкой (армии)… Я чувствую, что на душе моей нехорошо — этот всеобщий жестокий развал моей страны гнетёт меня до земли…» Развал действительно всеобщий: от столицы до уездного городка, от университета до гимназии, от генерала до солдата, и не было на русской земле уголка, где бы человек мог себя чувствовать защищенным.

4

В Острогожске Алексея Ивановича Тростянского уже не было в живых. Командарм запишет позже: «В моей природе есть что-то от Поликрата, да стыдно как-то никоим образом не пострадать среди океана страданий… Но бедный Алёша!»

В Острогожске произошло вот что: город переходил из рук в руки разных банд: зелёных, чёрных, самостийных, атаманных и безатаманных… 13 ноября 1918 года в городе очередная банда подожгла спирто-водочный завод — «монополька» заполыхала не на час. Среди дня вдруг раздался набат (кто звонил — так и не выяснилось), и вооружённая толпа повалила к дому Тростянского. Начался грабёж. (Георгиевское оружие — шашка с привинченным на эфесе эмалевым Георгиевским крестиком, с надписью от сослуживцев — пропало во время того грабежа и разбоя.)

Вскоре о. Алексея увели неизвестно куда. Оказалось — к церкви, где безбожные молодцы, надеясь поживиться, не пощадили даже алтаря. К вечеру священника привели обратно, избитого, с кровоподтёками на лице, и снова принялись грабить и стрелять в комнатах. Один из бандитов бросил заряженную винтовку на маленьких сыновей командарма, лежавших на кроватке. О. Алексея снова увели к церкви, где грозились изрубить его шашками; потом двинулись дальше и за Думным мостом велели снять шубу, сапоги и рясу. После этого — расстреляли. Уже мёртвого иссекли шашками. И только на третий день дозволили захоронить человека, который сотни и сотни раз за свою жизнь крестил, венчал, отпевал земляков, был душевным связным меж их земными и потусторонними пределами.

5

«Интересно перечитать роман “Бесы” Достоевского, о котором в некоторых кругах говорят как о пророческом сочинении…» — запись в «смоленском» дневнике Снесарева, пожалуй, и неожиданная. Что ему до некоторых кругов?

Достоевский читан им многократно, осмыслен и не оспорен днями мира и войны, одинаково психологически трагедийными; и, разумеется, произведения Достоевского он считал книгами пророческими. Он в Оптиной пустыни полдня пробыл у знаменитого скита, с удивительной ясностью видя оттуда географическую и духовную русскую даль, надеясь, что Алёша и духовно-праведные рати русских мальчиков помогут России устоять. Что ж, тёмная сила на этот раз, вернее, и на этот раз оказалась сильнее — хитростью, лукавством, жестокостью.

6

Девятнадцатый год начинался не лучше семнадцатого или восемнадцатого. Нехватка всего, кроме разрухи и дикости, зыбкость в тылу и на фронте, как на глухом белорусском болоте.

Глубоко потрясли Снесарева и зигзаги судеб Носовича и Ковалевского, давних друзей-единомышленников, первых помощников его в царицынском штабе. Потрясение сгустилось до взрывного ещё и из-за того, что это он их уговорил поехать с ним в Царицын. И вот их исход — Носович, во всех смыслах блистательный офицер, ушёл к белым, «утёк самым наглым образом, забрал секретные бумаги, в автомобиле… А Ковалевский был судим, оправдан, а в ночь его вызвали… и расстреляли. Это ужасно, это говорит, что та несовершенная организация, которую зовут рев. трибуналом, не удовлетворяет сердец… её обходят, ей не повинуются…».

В январе 1919 года Западная армия вступила в Вильну, вскоре — в Гродно.

В конце января прибыли Окулов, Вацетис. Инспекционные поездки — Орша, Могилёв, Калинковичи, Овруч, Лунинец, Бобруйск, Минск.

В Смоленске Снесарева ждёт телеграмма с приказом взять Ков-но и Гродно — подпись Вацетис, копия Троцкому и Ленину. Снесарев лишний раз убеждается в неответственном слове и «гибкости» руководящего латыша: «Приказ расходится с нашей с Вацетисом беседой, видимо, подсказан политическими соображениями. “Известия” (1919): 17 февраля созывается съезд Советов Литвы (в Вильно); аграрная реформа в Белоруссии… федерация Белоруссии с Российской Советской Республикой».

7

В феврале 1919 года Снесарев едет за семьёй в Острогожск. В Орле не пропускают… Простояли три дня, пока шла переписка с Москвой и Смоленском. Дорога занесена снегами. Ехал через Елец, Валуйки, Алексеевку. В Острогожске пробыл с 19 по 26 февраля. У могилы родственника-священника Алексея Тростянского долго стоял в грустных раздумьях. «Быть может, он успокоится в своём случайном приюте — человек, так много дававший и так мало получавший».

Обратно добирались через Валуйки, Касторную, Елец, Орёл — стояли, еле двигались. Вскоре в Смоленск из Петербурга приехали родители жены. Зайцев поступил на работу в штаб Белорусско-литовской армии «состоящим для поручений при командарме».

В феврале 1919 года был создан Западный фронт, командующим назначен Д.Н. Надёжный. А обстановка ненадёжная. Свидетельствуют об этом и весенние страницы «смоленского» дневника.

Начало марта. «На фронте положение дел серьёзное, особенно на левом фланге и в центре… Рота была посажена в вагоны, а к месту назначения прибыли пустые вагоны». Поездка с командующим фронтом по ответственным или уязвимым участкам. Надёжный «работает и горячится, однако малоразговорчив… считает, на линии нужно объяснять, толковать, наставлять, требовать». 23 марта прибыли в Минск: встреча с комбригами Маевским, Добровольским, Борисовым… Позднее Снесарев телеграфировал из Минска: «Осмотрев жизнь и деятельность командиров и комиссаров… я нахожу, что им, скорее, нужно в ноги поклониться, чем думать об их арестах или каких-либо репрессиях…»

27 марта. «Барановичи. Ночуем. Охраны нет, людей нет… Противник мог бы нас всех прикончить. Связи нет. Остановили паровоз у немецких позиций, осматриваем. Проволока шириной 400 шагов, окопы удобные, продуманные, всюду сигнализация. А у нас война на авось, людскими телами».

На другой день пишет: «Вильно… Вот Гедиминова гора, три белых креста. Город старый и красивый, нерусский». Снесарев вглядывался в силуэт Вильно, видел за непроницаемой маской сникшее выражение лица Александра Первого на балу в Вильно, когда ему сообщили, что Наполеон перешёл через Неман… Но даже тогда, в грозный майский час 1812 года, почти никто не сомневался, что Вильно останется в пределах Российской империи. Наполеону не Россия была нужна, а союз с Россией. А теперь три белых креста как три вопроса.

Приезд в Могилёв — грустный печальный город, откуда русская Ставка недавней мировой войны целила свои стрелы на Берлин; и не устремились эти стрелы во всей силе и точности, поскольку много неправды было в той войне. И лилась русская кровь, не только спасая жизни и победы «союзных» армий, но и приуготовляя большие банковские и территориальные приращения мировых верхов, погружая в пучину великую страну.

Через Вильно и Минск — не семь вёрст киселя хлебать — возвращаются в Смоленск. Через Вильно — ещё” можно. Скоро, в апреле, главный литовский город отнимут у большевиков, а эта потеря не предусматривалась в их вдруг объявившемся геополитическом раскладе. 26 апреля на станции Солы — телефонный разговор Снесарева с Лениным и Вацетисом. Настаивают на энергичном движении на Вильно.

Люди приходят в начальники, уходят в подчинённые, меняются местами, должностями, и трудно сказать, чего тут больше — строки в книге судеб, или игры случая, или, ещё проще говоря, произвола, растерянности и неумелости власти. И

главной власти — тоже. Трудно объяснить, почему казачий командир Миронов вдруг отзывается с Донца, перебрасывается с Дона на берег Днепра и здесь выступает как помощник Снесарева, а затем и сменяет его. Никогда по-настоящему не командовавший дивизиями и корпусами, не имевший панорамного видения войны, не искушённый в стратегических вопросах, он, конечно, по чьей-то правящей воле мог сменить Снесарева, но заменить его никак не мог. Андрею Евгеньевичу он хотя бы объяснил причины отхода казаков: «…утомление, обман союзников, сумма неудачных эпизодов», но для снесаревской команды единомышленников, штаба и полевых командиров Шестнадцатой армии сие не было существенным; у них была своя печаль: нехватка сил на западной границе, мятеж в Гомеле, потеря Вильно и многое другое, что они верили побороть только со Снесаревым. И потому Миронов стал для них чужак с первого слова и первого приказа.

24 мая от Надёжного была получена телеграмма, приказывающая Снесареву срочно выехать по службе в Серпухов. Снесарев ехал с Мининым, который приезжал в Смоленск во главе комиссии по проверке положения дел… Он тоже сын сельского священника, но он принял важный пост в ВЧК, и начальный их разговор более был похож на допрос: почему в царицынском штабе у Снесарева оказались изменники? И лишь после достойных прямых ответов, не унижающих ушедшего к белым Носовича и расстрелянных Ковалевского, Рождественского, Чебышева, Краснокутского, разговор выровнялся и пошёл о разном. Больше — о Царицыне.

А Миронов был вскоре отозван на Дон. Им были недовольны штабисты и полевые командиры, он вызвал их раздражение. Вот строки из письма Токарева от 18 июня 1919 года: «…одним из самых интересных эпизодов нашей жизни был отъезд Миронова (срок для выезда был дан 6 часов). Сцена прощания происходила ночью, он чувствовал себя таким жалким, таким приниженным, что кроме жалости к этому заблудшему человеку никто ничего не чувствовал, даже о злобе и намёка ни у кого не появилось».

У детей своя жизнь, свои игры, своя память. Неподалёку от временного крова (семья Снесаревых жила на Почтамтской улице в доме бывшего банкира Шварца), начинаясь у Воскресенского монастыря, крутая улица тянулась и вверх — к парку, и вниз — к Днепру, и детям эта улица стала родной, каждый день выводя их к заветным уголкам: к стенам Смоленского кремля, к главной площади и парку с памятником Глинке, к днепровскому берегу. Во всём Смоленске не было соли. Не было её и в доме, а без неё всё казалось невкусным и несъедобным. Женя читала тогда

«Зимовье на Студёной» Мамина-Сибиряка, где есть рыба, да нет соли, и соль приобретает значение бесценное.

Весной 1919 года в Смоленск на гастроли приехали А.В. Неждановa, Н.С. Голованов, С.И. Мигай, А.В. Богданович. Остановились у Снесаревых. Концерт проходил в зале бывшего Дворянского собрания. Зрители разнообразные: и знатоки, ценители пения, и далёкие от консерваторий красноармейцы. Запах духов из семейной шкатулки перемешивался с запахом махорки, рядом с песцовым боа сидели видавшие вида линялые косоворотки защитного цвета с аккуратно пришитыми белыми подворотничками… Успех был редкостный, публика отхлопала ладони. Гонорар артистам был выплачен ржаной мукой, а Неждановой поднесли венок из лавровых листьев, пусть и взятых не от живой ветки средиземноморского лавра, а в продовольственном магазине, и всё же лавровых.

Тогда же в доме Снесаревых случилось несчастье. Кирилке, которому в Каменец-Подольске лошадь на скачках, зацепив скамью, повредила правую ногу, снова, теперь уже в Смоленске, выпало страдать именно из-за правой ноги, по которой он нечаянно ударил топором. Исхудалый, он часами лежал в комнате на диване и читал. Однажды разразилась гроза. Вдруг в маленькую щель форточки огненной змеёй вползла шаровая молния. Она медленно, словно что высматривая, проплыла по комнате, вернулась к форточке и исчезла. Кира лежал не шелохнувшись, широко раскрытыми глазами глядел непонятно куда, как заворожённый.

Снесарев, на войне ставший опасаться всяких примет, уже не мог уйти от этих примет. Рушилась держава. А тут — шаровая молния, сгусток страшной безличной энергии — в доме. Что будет с семьёй? Молния не выходила из головы. Он вспоминал молнии детства, но и там не находил утешений: кого-то убило под старой грушей, кого-то — на сенокосном лугу, двоих детишек — у мелового берега Дона.

8

Заметки в дневнике: «На первой лекции было около 100 человек, на второй — вдвое больше… Слушатели милы, просты и искренни. Читать — одно наслаждение. Это не в учёном обществе и не обязательный курс». Лекции-беседы — душевная потребность Снесарева, и он готов читать их в любом городе, в любой обстановке, в любой среде.

В Смоленском университете он выступил с лекциями о восточном вопросе, о Средней Азии, Индии. Но более всего — о

мужественных оборонах Смоленска в разные века, об Отечественной войне 1812 года. И всё-таки читаемое — это дальнее. Даже мировая война — отошедшее. А вот как рассказать — без изъятий — о нынешней, многим непонятной войне, полыхающей едва не в каждой губернии ещё недавно великой страны?

И кто руководит в военном смысле? Троцкий — «Керенский № 2». Антонов-Овсеенко — «блаженный главковерх». Временно сменивший Снесарева на посту командующего Белорусско-литовской армией Миронов «не то командир, не то товарищ». Или Вацетис… Бывший полковник, восходяще командующий латышской дивизией, войсками Восточного фронта, всеми вооружёнными силами республики: «Кругом него только латыши… русским духом не пахнет… Он ординарен до крайности, мысли его простоваты, разумны, если угодно, но и только. О русском народе он говорит с худо скрываемым презрением и повторяет, что ему нужна палка… Словом, ловкий инородец, взобравшийся наверх среди русского кладбища».

Думал часто о том, как топорно-грубо организуется любая власть, кого — из самых одноидейно-примитивных и самовлюблённых — выталкивает на самый верх; думал о том, как обычно бесталанна и жестока любая власть, особенно же революционная — послефевральская, послеоктябрьская — власть, повинная в гибели сорока тысяч детей Петрограда и скольких вне Петрограда, да и в чём только не повинная! Думал, как крутят человеком обстоятельства, близких людей делающие чужими, друзей — врагами. Разумеется же, не враг ему Юденич, славный туркестанско-памирскими и кавказскими делами, но могло так случиться, что ему бы пришлось противостоять Юденичу, когда тот нацелил свои войска на Петроград, город, им обоим враждебный своей революционностью.

28 июня 1919 года, в день, когда был подписан Версальский договор, в день, когда был убит эрцгерцог Фердинанд, ещё в день Видовдан — день битвы на Косовом поле и навечной духовной победы сербского народа, почти пятилетняя военная страда Снесарева закончилась: он получил назначение на должность начальника Академии Генерального штаба — его родной и теперь уже совсем иной.

Здесь нелишне сказать о мытарствах Академии в приволжских, уральских, сибирских краях в начале Гражданской войны. «После октябрьского свержения власти либералов социалистами Академию пытались закрыть, но на это не дал согласия Ленин. Весной 1918 года, когда все опасались возобновления германского наступления, М. Бонч-Бруевич

отправил её на Урал, в Екатеринбург, а когда ему начал угрожать Колчак, Академию переправили в Казань. Когда последняя была захвачена белыми, то большинство состава Академии перешло на их сторону. Дальше пошла одиссея движения на восток с концом на острове Русский. Новую, Красную, Академию Генштаба организовали в Москве ещё осенью 1918 года, но первый её начальник, бывший генерал Климович, смог только укомплектовать и разместить Академию» (А.Е. Снесарев. «Введение в военную географию». 2006. Предисловие Е.Ф. Морозова, И.С. Даниленко.).

НА ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ СТРАНЫ. 1919–1923

Снесарев должность начальника Академии Генерального штаба исполнял с июля 1919-го по август 1921-го — два года. Первый начальник Академии генерал А.К. Климович пробыл в этой должности немногим больше полугода. И справедливо позже вспоминал, что «воздвигнутое наскоро здание военной науки далеко ещё не было закончено и, оставаясь в лесах, требовало достройки и отделки… Эта работа выпала на долю товарища А.Е. Снесарева».

1

Москва 1919 года была столицей послесмутного государства со всеми последствиями — неустроенная, голодная, злая. Никем не взятая в пленение, она всё-таки была захваченной — чужой. Самозванная и вненациональная власть? Но большевики-захватчики становились государственниками. Власть тоже не сплошная река антинациональности, антинародности. А геополитика выше политики. А духовность и нравственность выше прогресса. А правда выше силы. И выше России, как говорил Достоевский. «Не в силе Бог, а в правде», — ещё когда сказал Александр Невский. Правда и гонимая восстанет.

Со всех сторон подступалась, огненными валами катилась Гражданская война. Со всех сторон союзники и соседи не прочь были отхватить у России её драматические территории.

Странная страна Россия: в ней даже у страдающих от государства невытравим государственный взгляд: предпочесть соборное своему, личному, хорошо исполнить выпавшее или назначенное дело, будь оно большое или малое — родничок, ручей, приток, впадающие в реку по имени государство. Разумеется, государство — это не двойник Отечества, но всё же и не только рать высших чиновников; «начальство не равно Отечеству», — сказал писатель. Начальство не равно и государству, у государства своё историческое, нам подчас кажущееся иррациональным, а по высшим начертаниям провиденциальное движение.

Общая защита государства требовала и большой армии, и непосредственно сил каждого на своём месте.

Академии Генерального штаба надлежало давать не только высшее военное и исчерпывающее специальное, но и, возможно,

широкое общее образование, дабы лица, окончившие её, могли занять штабные и командные должности и были способны откликнуться на все вызовы политической, общественной и международной жизни. Срок обучения устанавливался трёхгодичный для основного курса и одногодичный для ускоренного курса усовершенствования старшего командного состава.

Академия расположилась в доме на Воздвиженке, исторически незаурядном: дворец Разумовского, позже Шереметевский дворец, затем Московская городская дума, затем Охотничий клуб; если не забывать, что после Академии здесь разместится кремлёвская больница, особняк вполне заслуживает не только в архитектурном смысле сложной и неоднозначной оценки, ибо в нём, построенном для жизни, учились древней военной науке убивать и древнему Гиппократову завету исцелять.

Двери Академия открыла в декабре 1918 года, зачислено было около двухсот слушателей. Преподавать направили крупных военных специалистов из бывших генералов и офицеров русской армии, то были А.А. Свечин, В.Ф. Новицкий, К.И. Величко, Б.М. Шапошников, Н.Г. Корсун… Преподаватели опирались на опыт мировой войны, слушателей испытывала совсем иная война — Гражданская, и многие предпочитали, чтобы именно её огненные сполохи освещали страницы профессорских лекций и промёрзлые стены Академии.

Раздавались настойчивые и нетерпеливые голоса, чтобы ввести прикладное преподавание взамен лекционной схоластики. Новый начальник резко выступил против. Он считал, что нельзя ставить академический курс в зависимость от слабой подготовки учащихся и «снизить Академию до степени простой, грубо ремесленной школы».

В преподавателях оказались знакомые и друзья Снесарева — разные, но вполне понятные для его ясного ума и открытого сердца. Слушатели же были пестры, шумливы, непосредственны во всём: и в очевидно приемлемом, и в сомнительном. «Мне было ясно с первых же шагов, что эти “буревестники” создадут для меня как начальника сложную обстановку. И что придётся поломать голову, чтобы установить с ними нужные отношения. Чтобы ближе подойти к ним, знать их настроения, я остановился на системе “открытых дверей”: двери моего кабинета и моей квартиры были открыты для всех и во всякое время», — вспоминал Снесарев академические дни. Главное его правило как начальника Академии: «Я готов был идти по путям замены плохого старого хорошим новым, даже сомнительного прежнего хотя бы также сомнительным новым, но я не мог поступиться

хорошим и определённо необходимым прошлым в пользу ещё не испытанного, хотя бы обольстительного грядущего».

Зима выдалась холодная. Закутанные с ног до головы слушатели пытались вести записи, выводили топографические штрихи. И что это были за штрихи! Своевременно Академия дровами не запаслась, случалось так, что недоставало огня, чтобы приготовить обед. По аудиториям холод гулял, словно гонимый полярными ветрами. Слушатели да и преподаватели весь день не раздевались и всё одно мерзли, иные заболевали. И только Снесарев, в назначенный миг появляясь перед слушателями, неизменно снимал шинель и папаху, словно бы он попадал в тёплую гостиную, а не в промороженную аудиторию: памирские и карпатские студёные зимы, верно, пошли ему во благо, прочно закалив его с ног до головы.

Не хватало не только топлива, но и учебных пособий. Решено было издавать читаемые профессорами лекции. За два года образовалась библиотека, необходимая для учебного процесса и научной работы.

Помощником и верным младшим другом Снесарева во многих его начинаниях стал первый слушатель Академии Фёдор Никонов. Несуетливый, но предельно собранный и энергичный человек, потомственный иконописец, он, как не раз говорил, не стал бы нарушать семейный завет, мирно-прекрасное занятие отца, деда и прадеда, но время заставило его пойти по военной стезе, ибо таким образом, практически и не откладывая дела в долгий ящик, можно было помочь Родине. Окончив Академию и адъюнктуру, он поступил на исторический факультет Московского государственного университета, успешно учился и окончил среди лучших. После ареста Снесарева он продолжал его поддерживать чем только мог. Помогал и его семье при строительстве дома в Кускове, бесконечно рад был реабилитации старшего наставника. Он тоже отбыл своё в местах известных, и, штрих любопытный и показательный для атмосферы карающей эпохи, в его обвинительном заключении угрожающе прочерчивала лист фраза-строка: «демонстрировал свою привязанность к Снесареву». Остаётся сказать, что сыновья Фёдора Павловича — Павел и Михаил — продолжат традицию семейного «художества», станут известными живописцами, а старший брат, ещё и скульптор, изготовит памятник, который установят на могиле Снесарева на Ваганьковском кладбище.

Начальник Академии был её мозг, воля и сердце: и хозяйственник, и учёный-ориенталист, страновед, геополитик, статистик, математик, историк, этнограф, военный педагог-преподаватель. Прочитанные им курсы лекций: «Огневая

тактика», «Современная стратегия», «Философия войны», «Военная география», «Афганистан» — слово новатора в военной науке.

При нём в Академии были образованы Военно-научное общество, Восточное отделение, Опытная психологическая лаборатория. Последняя — уникальное образование: использовались, по сути, новые методы — генетический, психопатологический, экспериментально-психологический, исследовались проблемы воли, внушения и воздействия, такие неопределённые понятия, как моральное состояние, дух армии, настроение войск.

2

Начиная с весны 1918 года не уставали полыхать поля Гражданской войны. От Чёрного до Белого моря, от Каспия до Балтики, от Волги до Днепра, от Дальнего Востока до западных границ шли в атаки и контратаки солдатские цепи, наступали и отступали армии, гремели пушки, громыхали бронепоезда, мчались конные лавы.

Весной 1920 года устремились в широкое наступление поляки, вознамерясь захватить земли, которые им принадлежали до первого раздела Польши. Реввоенсовет образовал особую — под председательством Брусилова — комиссию, ей надлежало ни много ни мало продумать, проработать, предложить, каким образом возможно победить. В июне 1920 года Ленин подписал декрет об освобождении от ответственности всех бывших офицеров, которые находились в белогвардейских армиях, при условии их перехода в ряды Красной армии. Брусилов через журнал «Военное дело» обратился с воззванием ко всем бывшим офицерам забыть все обиды, вступить в Красную армию и не допустить расхищения России.

Здесь уместно вспомнить, что был приказ с другой стороны, подписанный менее года назад в Екатеринодаре командующим Добровольческой армией Деникиным: «К стыду и позору русского офицерства, много офицеров, даже в высоких чинах, служат в рядах красной армии. Объявляю, что никакие мотивы не будут служить оправданием этого поступка… Всех, кто не оставит безотлагательно ряды красной армии, ждёт проклятие народное и полевой суд Русской Армии — суровый и беспощадный».

Белые, красные — всё одно кровь. Человеческая кровь. Братская кровь Гражданской войны, начатой, конечно же, не в двадцатом веке, а тысячелетиями раньше. Тут невольно приходят на память слова поэта Волошина: «Гражданская война развивает в

людях истинное братство — в древнейшем смысле этого слова: братство Каина и Авеля».

3

В начале 1920 года в Академии было создано восточное отделение, должное готовить работников Генштаба для дипломатической работы за границей, а также в республиках Средней Азии и на Дальнем Востоке; немалые часы отводились на изучение языков: персидского, арабского, турецкого, китайского, японского; изучались также история, экономика, статистика, история международных отношений.

При Всероссийском Главном штабе учреждена Комиссия для исследования и использования опыта Первой мировой войны, в разговорном обиходе именуемая Исторической комиссией; по пятницам в доме № 14 по Пречистенке (в годы советской власти — улица Кропоткина) собирались её члены — АА. Свечин, А.Е. Снесарев, И.И. Вацетис, А.А. Незнамов, С.Г. Лукирский, и при любой погоде оживлённо обсуждались вопросы военного дела. Среди существеннейших тогда: какою должна быть Красная армия — милиционной или регулярной? Снесарев и Свечин настаивали на регулярной, Троцкий — на милиционной. На страницах «Военного дела» метались полемические копья.

При Академии Генштаба под председательством её начальника утверждена Главная военно-научная редакция, без одобрения которой ни одна типография не могла печатать военных трудов — учебников, исследований, руководств, пособий, «ратной» беллетристики. По постановлению редакции было принято издание Военно-энциклопедического словаря (председатель редакционной коллегии — А.Е. Снесарев).

Под эгидой Академии — также Военно-историческая комиссия, журнал «Военное дело» и Временная комиссия по устройству военных библиотек: бои — боями, а книги — книгами, их надо сохранить для будущих поколений.

По приказу Реввоенсовета в 1920 году был создан Высший академический военно-педагогический совет: председатель С.С. Каменев, члены: А.Е. Снесарев, Е.К. Смысловский, В.Ф. Новицкий, Г.Ф. Гирс, С.Г. Лукирский, А.А. Незнамов, В.И. Моторный. На первом его заседании Снесарев развивал идею необходимого соразмерного взаимодействия сухопутных, воздушных и морских сил; также был рассмотрен вопрос о военном факультете Туркестанского государственного университета.

Ещё в ноябре 1918 года было принято решение о Туркестанском государственном университете. Весной 1920 года

в Ташкент прибыл эшелон с преподавателями, оборудованием и литературой. Осенью начались занятия на семи факультетах. В это время Туркестану, который не обошла Гражданская война, позарез требовались командные кадры. Командирам были нужны знания военные, и особенно знания местных условий и условий сопредельных стран. Требовался ещё один факультет — военный. Идею поддержали Туркестанский и Московский университеты, Фрунзе, командующий туркестанскими войсками, и Снесарев, начальник Академии Генштаба, высказались положительно. Было создано организационное бюро под председательством Снесарева. Военный факультет просуществовал до середины 1922 года.

На базе Лазаревского института в двадцатом году создается Центральный институт живых восточных языков, задача которого — «дать по возможности лицам, готовящимся к практической деятельности на Востоке или в связи с Востоком в любой области… необходимые для них навыки, востоковедные знания и пройти систематическую школу востоковедения» на четырёх отделениях: Дальнего Востока, Ближнего Востока, Среднего Востока, языков и наречий Кавказа и Закавказья. Для тех, кто не имел образования и не владел свободно русской речью, тогда же учреждён Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ).

Осенью 1921 года был издан новый декрет и новое положение об Институте востоковедения. Новое название института предполагало более широкий подход к изучению Востока: его стран, его народов и их языков; оно указывало, что основой учебной и учёной деятельности института должно стать изучение живого Востока, а не живых восточных языков самих по себе, разумеется, тоже необходимых при всестороннем познании восточных стран. Требовались выпускники, изучившие политический и экономический строй определённой восточной страны, теоретически и практически усвоившие восточный и один из западных языков с тем, чтобы выполнить серьёзные и трудные политические и экономические задачи, которые предстояло решать в странах Востока. Ближневосточный факультет — изучение Турции, Персии, арабских стран; Средневосточный — Индия и Афганистан; Дальневосточный — Япония и Китай. Институт размещался, как и Лазаревский, по Армянскому переулку, в доме, где при Временном правительстве шумно угнездилась «Дикая дивизия».

Первым ректором Института востоковедения стал А.Е. Снесарев. Он же возглавил среднеазиатскую кафедру, читал лекции слушателям разноуровневой подготовленности, напрочь отметая упрощённый или экзотический подход к изучению

восточных стран. Многие стремились стать его слушателями. Академик-восточник А.А. Губер вспоминает, что именно из-за Снесарева он избрал среднеазиатскую специальность, а общаться с выдающимся учёным и военачальником каждый почитал за честь. Преподаватель во всём был эрудирован, значителен, интересен: «Глубокое знание страны и её народов, истории и международных противоречий, связанных с Афганистаном, особенно англо-русского соперничества, А.Е. Снесарев доносил до аудитории в увлекательном и блестящем изложении. Он никогда не “читал” лекций. Непринуждённо, но очень запоминающе излагал он материал… В его лекциях попутно и всегда к месту были рассыпаны также замечания, касающиеся обычаев, правил приличия, принятых у разных народов Средней Азии. Пренебрежение ими, как всегда подчёркивал Андрей Евгеньевич, могло легко испортить намечавшийся контакт исследователя… К нему можно было обратиться с любым вопросом. Он охотно шутил, интересовался нашей жизнью, бытом. В ожидании звонка с галантным и остроумным Снесаревым любили поговорить по-английски, французски или немецки наши преподавательницы западных языков. Андрей Евгеньевич свободно владел иностранными языками и говорил на них так же остроумно, как и на русском».

Ещё академик Губер находит необходимым сказать, что в снесаревском курсе явственно и убедительно прослеживался патриотический подход к событиям, сочувствие угнетённым, что органично запало в сердца благодарных учеников.

4

А к военной власти спешил Тухачевский. Провалив Западный поход на Польшу, он реабилитировал себя перед большевистской верхушкой борьбой с народом: подавил восстание тамбовских крестьян и Кронштадтский мятеж.

На все крестьянские восстания даже энергичного Тухачевского не могло хватить, скажем, неожиданно сильно в ту же пору заполыхало восстание на родине Снесарева — в Старой Калитве, широко по губернии разбросав языки пламени. И по зачину, из-за неуёмной жадности и жестокости продразвёрстки, и по характеру, и территориально Калитвянское, иначе Колесниковское, названное так по фамилии его предводителя Ивана Колесникова, восстание смыкалось с восстанием Тамбовским — Антоновским. Снесарев не знал тогда, как в его родной слободе после третьего нацела изымщиков хлеба начинался мятеж: с молением в церкви, под горящими свечами и

звонящими колоколами, пред ликом Спасителя и Богородицы. Разумеется, ни свечи, ни лики, ни тревожные колокола не остановили бы блистательного Тухачевского, доведись ему оказаться здесь, он так же, как и против тамбовских крестьян, применил бы и газ, и карательные красные цепи. Но Снесарева, вместе с крестьянами-солдатами испытавшего газовые атаки со стороны австрийцев и венгров, вместе с крестьянами-солдатами провоевавшего три года, немыслимо было бы представить в роли грабителя крестьян, холодного усмирителя их за не отданный до последнего зерна ими же выращенный хлеб. Так что своеобразную антитезу Снесарев — Тухачевский определяет корневой, нравственный аспект куда больше, нежели военный. У одного — глубинное чувство народной беды, у другого — жажда любой победы.

Разбитый командующий Западным фронтом видел в Академии Генштаба плацдарм своих военных идей и концепций, подготовки своих соратников. Снесарев — ещё начальник Академии, но Тухачевский, штурмующий в марте 1921 года мятежный Кронштадт, быть может, мысленно уже примерял главное военное академическое кресло.

(Штрих: в октябре 1923 года вернувшиеся добровольно от финского берега кронштадтцы быстро угодят в Кемь и на Соловки, а ровно через 10 лет туда попадёт и Снесарев.)

В августе 1921 года по приказу Реввоенсовета Академию Генерального штаба РККА переименовывают в Военную академию РККА, что означало: она должна готовить не только генштабистов, но и командные кадры для Красной армии. Начальником академии стал М.Н. Тухачевский. А.Е. Снесарев был назначен начальником Восточного факультета и главным руководителем по военной географии и статистике. В этом же приказе ему объявлялась благодарность за «работу по устроению и поддержанию Академии».

5

Еще в конце 1916 года Снесарев в дневнике вдоль одного из абзацев ставит знак NB и надпись: «философия войны». В самом абзаце говорится: «Цель войны — убить дух сначала отдельного бойца, потом — массы их, а затем — всей нации; и для этой единственной и довлеющей цели нельзя ничего забывать, нельзя давать перерывов или уступок… Отсюда смешны писательства корреспондентов, описывающих братания врагов в дни праздников; этот кислый сентиментализм показывает только одно — непонимание сути военного дела».

Примерно в ту же пору, чуть раньше, его товарищ Кирей в час совместной прогулки в Карпатах вдруг вспомнил изречение Чингисхана: мол, какое высшее счастье в жизни «гнать перед собою бегущего врага, топтать его поля, ласкать его женщин». Фронтовой товарищ сказал это без видимого эмоционального и нравственного отношения, без своей оценки, и Снесарев, помолчав, тогда тихо, но убеждённо возразил, что это людоедское заявление и желание. Да, человечеству трудно, а может, и вовсе невозможно уйти от войн. Но если человек и не может избавиться от комплекса врага, в любом случае негоже топтать поля и ласкать женщин, не желающих ласки людоеда или просто чужого, противного в любом случае насильника-испоганщика. И как бы побивая одно изречение другим, вспомнил слова Платона: «Не опустошать страну и не поджигать домов».

В начале двадцатых в Академии Генштаба Снесарев читает лекции по философии войны — курс, прежде не читанный ни в российской, ни в военных академиях других стран. (В 2003 году — отпечатанная на машинке рукопись курса лекций «Философия войны» издана в Москве в «Антологии отечественной военно-политической мысли».)

Наверное, блок лекций, готовь его учёный позже специально для книги, приобрёл бы большую стройность и законченность, но военный учёный-педагог вынужден был считаться с разными уровнями первичной подготовленности слушателей, и лекции были именно лекциями, какие учёный для своих слушателей сопроводил весьма существенным наставлением, разумно подвигающим их остерегаться пусть и самых знаменитых противоположных характеристик войны, не могущих дать всей полноты истины: «Вы должны сделать два заключения. Первое, что о войне вы не можете найти столь авторитетного голоса в одном направлении, чтобы ему нельзя было подыскать другой голос не менее авторитетный, но говорящий противоположное. И вы теперь будете знать, что когда в газете ли, в обществе, в заседании хотят выиграть в пользу или против войны и торгуют для этого тем или иным авторитетом, что это приём ложный, только рассчитанный на слабое знание слушателей. А второе — то заключение, что коллективное суждение людей о войне не только не даёт нам обстоятельного выяснения её существа, но даже лишает нас достаточных отправных данных для суждения».

И впрямь сколь исторически весомы имена — осудители и противники войны: Геродот, Платон, Вергилий, Монтень, Паскаль, Кант, Вольтер, Руссо, Ламартин, Лев Толстой. Однако не менее значимы в истории мировой культуры и имена противоположной стороны — сторонники и благословители

войны: Гераклит, Аристотель, Макиавелли, Фридрих Великий, Гегель, Байрон, Гумбольт, Клаузевиц, Прудон, Ницше. Целые когорты находим среди тех, кто видел в войне промысел извечный, естественный, равно как и среди тех, кто считал её неестественным, злочеловеческим занятием; тех, кто усматривал нравственные начала войны, было не меньше тех, кто вовсе порицал её за привычно-безнравственный ход. Наконец, особая статья, великие умы человечества, в двойственном восприятии которых война — и преступление, и очищение, она — и разрушающая и возрождающая. И здесь имена известнейшие: Блаженный Августин, Шиллер, Пушкин, Гюго, Достоевский.

Снесаревская «Философия войны» (как и изданная в 1939 году за границей «Философия войны» А.А. Керсновского, подростком ушедшего с белыми в эмиграцию) — из неустаревающих книг, поскольку здесь в подходах исторических, нравственных, геополитических, экономических рассматривается, быть может, самое роковое общественное явление. Вопрос, который за многотысячелетнюю историю человечества так и не решён.

В самом деле, миновало лишь несколько десятилетий после кончины Снесарева, а сколько больших и малых войн прогремело и гремит на нашей малой планете, сколько образовывалось всяких коалиций, сколько объявлялось у России «друзей» в неутолимом желании сделать её не-Россией, то есть поделённой и бессильной!

Война мировая идёт постоянно, она обретает иные формы, материальные ресурсы, звуки, нежели, скажем, фронтальное наступление танками и полками, нежели орудийная канонада, да и от прежних не отказывается: стоило в России конца двадцатого века всплыть и выхватить руль на редкость, на удивление бездарным политическим верхам и последним дать «свободную волю» слабости или близорукости, пойти на несоразмерные уступки и потери, как пояс невидимой войны, покамест — угрозы, вплотную лёг у российских границ, и по всей натовской опояске западных российских рубежей стали располагаться отнюдь не мирные базы, ракетные установки, радиолокационные станции.

И уже в новом веке и тысячелетии торжествует война (её информационные, психологические, сетевые, биологические, возможные климатические модификации), этнические пожары полыхают по всем континентам, какая уж тут оливковая ветвь… Войти в мировую цивилизацию! Воздать хвалу общечеловеческим ценностям! Приветствовать единое глобальное сообщество! Разумеется, разумеется… Кто из христиан с их вселенскостью, кто из русских с их «всемирной отзывчивостью», в чём убеждён был

Достоевский, кто из людей совести и чести в разных народах не мечтал о всечеловеческом под горней сенью и благодатью, единстве и братстве — при неповторимости исторического бытия и облика наций. Но об этом ли забота наступающего мирового порядка, устраиваемого «элитным» мировым «правительством»? Устраиваемого для золотого легиона избранных и числом уже определённых? Умеющих быть «свободными» в инициативах безморальной вседозволенности, подмены знаков и действительных ценностей, сгона в окраины нищеты «слабых», «неудачных», то есть живущих по заповедям совести. И для оных ростовщически натренированных «волонтёров свободы» обездоленные, страдающие, больные не более как досадная помеха. Действительно, как любил повторять Снесарев, что им Гекуба? Единый дом породнённого человечества, исповедующего заповеди добра, совести, милосердия, им ни к чему. Их единое глобальное общежитие — замятинский тотально контролируемый Дом счастья для энтузиастов-«нумеров», где демократия — без народа, «права личности» — без истинно свободной и ответственной личности, шаги прагматического прогресса — без Божественного начала и людей, хранящих высокие традиции.

Войны гремят, кровь льётся, слова ненависти изрыгаются… *Bellum omnium contra omnesV.* Добро и зло неустанно скрещивают свои мечи.

И вспоминаешь, не можешь не вспомнить, что слова «меч» и «враг» есть в Евангелии, и не по упрощённым и подменённым толкованиям пацифистов нам должно чувствовать и знать Книгу Благой Вести, а ещё осмыслить произведения отечественных мыслителей, их глубоко духовные, трагические размышления о религиозной этике войны, суть которых очевидна даже в нижеприводимых коротких роднящихся мыслях.

Достоевский: «В долгий мир жиреют лишь одни эксплуататоры народов»; он же: «Война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетённых, ради бескорыстной и святой идеи лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень».

Бердяев: «Ваша картина вечного мира народов — буржуазная идея. Вы хотите внешнего спокойствия и благополучия, не искупив греха, не победив зла»; он же: «Мировая война проиграна Россией потому, что в ней возобладала толстовская моральная оценка войны… Толстовская мораль обезоружила Россию и отдала её в руки врага» и, наконец: «Впереди в плане духовном предстоит ещё самая страшная война, война царства антихриста с Царством Христовым».

Лосский: «Война есть великое зло. Но проповедь безоглядного пацифизма, призывающего к отказу от воинской

повинности, могла бы… привести… к хаотической анархии, которая страшнее всякой войны».

Карсавин: «В войне совершается такое великое добро, как жертва своей жизнью за других».

Ильин: «Смысл войны в том, что она зовёт каждого восстать и защищать до смерти то, чем он жил доселе, что он любил и чему служил… Война учит нас жить так, чтобы быть готовыми встать на защиту того высшего, которое мы любим больше себя»; он же: «Только для лицемера или слепца равноправны Георгий Победоносец и закалываемый им дракон».

Стеггун: «Становясь лишь на христианской почве злом, война на ней же, и только на ней, становится смыслом, т.е. грехом человечества. На почве атеистической цивилизации она теряет этот свой глубинный религиозный смысл… перестаёт быть человеческой войной и становится нечеловеческой бойней. Это значит, что нравственный пафос христианства должен заключаться не в безоговорочном отрицании войны, а в требовании, чтобы её зло изживалось бы как грех, т.е. как трагический смысл политической жизни».

Снесарев, глубоко постигнув природу и временные облики войны как на опыте личном, так и на историческом опыте человечества и считая философию войны необходимой наукой, прилагает к ней, как и к другим сопредельным наукам, требования безусловного этического начала: «Науки, не объединённые и не облагороженные философски-этическим началом, разбрасываются по техническим мелочам и треплются на рынке сиюминутных человеческих настроений».

С подступающей горечью приходится думать, сколь поздно приходит к России снесаревское наследие, которое, какой труд учёного ни взять (не только «Философия войны»), имеет прямую обращённость в будущее. И не только учёным-геополитикам, не только военным кругам его надобно знать, но и всей читающей России.

6

В 1921 году выходит в свет книга Снесарева «Авганистан», опять-таки подготовленная на основе лекций, читанных им слушателям Восточного факультета. Интерес к Афганистану, первой стране, признавшей Советскую Россию, настолько велик, что Снесарев читает публичную лекцию в Круглом зале Московского университета, до отказа заполненном.

Здесь уместно сказать о версии, изложенной И.С. Даниленко и Е.Ф. Морозовым в предисловии к снесаревскому «Введению в

военную географию», изданному в 2006 году в Москве, в проекте «Элита военных мыслителей».

Суть её вот в чём. Революционный кризис первой четверти двадцатого века, его огненно-багровый дух, давший знать о себе от Адриатического до Жёлтого моря, не затих и после Первой мировой войны. В неповиновении и мятежах — Индия и Афганистан — стратегические территории-базы островной Англии. Чтобы умерить аппетиты англичан, уже захвативших Закаспийскую область (вспомним, что старший Черчилль, отец будущего премьера, придавал этому песчаному, палимому солнцем краю столь огромное значение, что считал возможным, не сомневаясь, отдать за него русским Константинополь, Босфор и Дарданеллы), большевики поддерживают восставших в Индии и Афганистане. Далее — цитируем авторов версии: «И в Афганистан и дальше, через линию Дюранда, потекли оружие, золото и продовольствие в сопровождении инструкторов и специалистов.

Так называемая третья англо-афганская война продолжалась менее трёх месяцев. Бомбардировочная авиация Великобритании обрушилась на Кабул и Хайбар, сипаи индийской армии двигались на Кандагар и Хост — броневики, горные орудия на слонах, сикхская конница и прочая экзотика… Но в это время чья-то искусная рука начала делать неожиданные ходы на шахматной доске, раскинувшейся от Читрала до Белуджистана. Повстанцы в тылу английских наступательных группировок получили вооружение и единое руководство, они перешли к целеустремлённым действиям против линий снабжения английских войск… Английское наступление было остановлено…

Кто же вмешался в майские бои на линии Дюранда?.. Можно говорить только о крупном русском геополитике-практике, хорошо знавшем Центральную Азию. Их было немного, и среди этих немногих выделялся Снесарев. Его участие, непосредственное или консультативное, документально установить не удалось. Но оно вероятно, косвенным подтверждением чему может служить вышедшая в 1921 году книга Снесарева “Авганистан”. Был повод, а возможно, и заказ».

Есть версия, и есть реальность. Реальность заключается в книге как таковой. И если бы советские верховные власти внимательно, добросовестно, осмысливая каждую страницу и общий дух «Авганистана», взяли его как некий указатель, как им быть, а не шли на поводу у идеологических химер, может, и не пришлось бы доставлять из афганских ущелий скорбные грузы «двести». Меньше было бы мирновременного горя у нашего Отечества.

Раннесоветские власти направляли золото нужным зарубежным властям: сотни и сотни тонн первого металла земли, издревле почитавшегося таковым по прихоти, заблуждению, жадности человеческой, были выкрадены, вывезены военнопленными и отечественными хищниками за границу и осели тяжелыми слитками русских горя и смуты в европейских и американских банках, а Россия пребывала во мгле, в руинах и голоде. Мор выкашивал Поволжье. Большевики, ограбившие золото церкви, якобы в помощь голодающим за бесценок отдавали великие ценности — иконы, церковную утварь, картины — всякого рода молодым дельцам вроде Хаммера, сына небезызвестного заокеанского коммуниста. Отдавались святыни, взамен получали залежалые товар и зерно. Международным организациям разрешено было помогать голодающим в Поволжье; добро, коли организацию возглавлял норвежец Нансен — выдающийся полярный исследователь, человек высоких нравственных убеждений; но ведь Нансен — личность редчайшая. А чаще всего — всевозможные хаммеры, мастера химеры, жучки, ловко орудовавшие на ниве горя разливанного. Заполучила право помогать лекарствами и питанием Американская администрация помощи — вскоре выяснилось, что её «подвижники» занимались также деятельностью весьма сомнительной, несовместимой со статусом благотворительности.

7

И у страны, и у верного ей Снесарева напряжёнными (а когда они были иными?) выдались дни и месяцы 1922 года.

По весне Генуэзская конференция занимала всех и вся. Европа требовала полнопроцентной уплаты царских долгов и долгов Временного правительства, а также возвращения иностранным капиталистам их предприятий, конфискованных большевиками. Советская же делегация настаивала на возмещении убытков, причинённых интервенцией и блокадой. Понятно, что никто никому не хотел уступать, подобного рода «долги» разрешаются, чаще всего, не конференциями, но оружием и временем.

Снесарев более чем кто-либо другой понимает, что война на земном шаре, запалив огнями и пожарами первые века человечества, не прекратится до скончания рода человеческого; она идёт беспрерывно, то затухая, то возгораясь, она изменяется и будет изменяться в своих формах и одеждах, поэтому надо смотреть в будущее, проницать его, разумеется, не отбрасывая опыт давних и недавних битв и противостояний.

В Высшем военном обществе идёт дискуссия «Военные науки среди других наук». Докладчики — Лукирский, Свечин, Квашнин… Содокладчики — Снесарев, Новицкий, только что возвратившийся вместе с Верховским, бывшим одно время военным министром, с Генуэзской конференции, где они представительствовали как военные эксперты. После перерыва выступает Снесарев и излагает мысли, к которым пришёл ещё на фронте в Карпатах. Война, её победы и поражения составляют длящееся во времени двуединство подготовительного и исполнительного. «В деле подготовки войны господствует процесс научного мышления. Во второй части военного дела — вождение войск — господствуют элементы военного искусства. Но обыкновенно успехи или неудачи кампании увлекают современников, и они забывают о периоде подготовки, и, поддаваясь непосредственным впечатлениям, ослепляются творческим элементом вождения и на всю войну в целом смотрят как на искусство… Военное дело уже перешло стадию ремесла, хотя в частностях элементы ремесла в нём будут».

Профессор Военной академии Генштаба, ректор Института востоковедения, помощник начальника Военно-статистического отдела управления делами Реввоенсовета, член Высшего военного редакционного совета, Высшего академического военно-исторического совета… должностей и обязанностей набиралась дюжина, большей частью общественных, неоплачиваемых, а семья была большая, в семь человек, её надобно было кормить, а гонорары за статьи и даже книги были жалкие, хотя и выражались сначала в сотнях тысяч, а вскоре и в миллионах! Но что эти миллионы, в просторечии «лимоны», если пара чулок стоила под сто пятьдесят миллионов. Рубли нулевые, «деревянные» — песня ещё из тех времён. «Лимонами» обеденный стол не укроешь, а купить за них добротное съестное не больно разгонишься: требовалась тьма-тьмущая этих так называемых денег.

Правда, продовольственная помощь взрастала на дачах и в придачных окрестностях, о чём рассказывает Женя, единственная дочь Снесарева, к воспоминаниям которой, по мере её взросления в хронологии повествования, будем прибегать всё чаще.

«Лето 1920 и 1921 годов мы жили на Ходынке в красивой даче… Дом находился возле пруда. Перед ним до самой окружной дороги расстилалось большое поле, изрытое окопами. Это было место учений слушателей Академии. На Ходынке проходили лагерные сборы. Я всегда увязывалась за папой, когда он шёл “на съёмку” (топографическая съёмка местности). На Ходынку же переезжали многие семьи профессоров, преподавателей и сотрудников Академии… Постоянно заходили

жившие неподалёку жёны профессоров — Александра Семёновна Величко, Евгения Людвиговна Лукирская, молоденькая Ирина Викторовна Свечина; мы часто с ними ходили за грибами на то же окопное поле (там росли в изобильном множестве шампиньоны) и в близлежащую рощицу за маслятами и моховиками. Собранные грибы составляли немаловажный привесок к скромному профессорскому столу».

Осенью 1922 года Андрей Евгеньевич встретился, как молвится, нежданно-негаданно со своим старым университетским товарищем Андреем Ивановичем Штутцером, только что потерявшим своего двадцатидвухлетнего сына — его убила в Крыму какая-то горная шайка. Не виделись треть века. Разговорились, как если бы вчера расстались после совместной разведки, веря друг другу по завету молодости. Разговор их, верно бы, властям предержащим не понравился. Одно дело — опасность и разбой в окраинном Крыму. Но и в столице — порядок поверхностный, прикремлёвский. За Садовым кольцом начиналась власть всё тех же разбойничьих шаек, власть мглы и страха. Вечером нигде нельзя было беспечно прогуливаться: могли за алтын ограбить, за целковый — убить.

«Здесь (в Москве) Гиппиус, Сидоров, я, Штутцер и Аппельрот. Где другие, кто знает!.. Иных уж нет, а те далече…» А когда-то именно эта пятёрка окончила alma mater со званием кандидата. Как это было давно, задолго до мировой войны! А уже и война — в ладье истории. Война отняла Лопухина… Но где Байдалаков? Алексеев? Волконский? Лапин? Кашкин?

Зато фронтовые знакомые и друзья были рядом — одни волею службы, другие — по стечению обстоятельств. Бесядовский, Лукирский, Голубинцев, Шиловский, Какурин и жили в одном доме, а Надёжный — дверь в дверь. Стали частыми встречи и с Брусиловым, который предал собственному нравственному суду иллюзии Февраля, своё «братание» с Керенским; позже, по смерти Ленина, сказал жёсткие слова и о нём, но признавал заслугой последнего и его соратников то, что «под каким бы то ни было названием Россия не была расчленена и осталась единой, за исключением нескольких западных губерний, которые рано или поздно должны будут вновь с ней воссоединиться. Совершенно очевидно, что при дряблом Временном правительстве этого никогда не могло бы быть». Снесарев не только разделял подобные мысли, он прежде Брусилова пришёл к ним, давно убеждённый, что у великих стран есть своё не только историческое, но и духовное, метафизическое задание и движение, а дела крупных политических, военных личностей, их правительств словно пристяжные прыжки по

твёрдой гряде. Если и оставляют следы — редко целительные. Чаще ранящие. А то и просто — декоративные.

Брусилов был инспектором кавалерии. Да самой кавалерии в стране, можно сказать, не было. Во всяком случае, Россия со времён Гражданской войны перестала быть первой конной державой, а некогда славные своими породами конные заводы влачили более чем жалкое существование. Снесарев советовал Брусилову основательно поддержать конные заводы средней полосы России, донского края, Воронежской губернии, в частности, Хреновской, Чесменский, Ново-Томниковский, Злынский, Прилепский, сиротски изреженные конезаводы донского казачества. Брусилов не успеет, позже с этим успешно справится Будённый.

Каждый читавший роман Булгакова «Мастер и Маргарита», конечно, помнит про трамвай на Патриарших прудах — его колёсами, словно гильотиной, была отрезана голова писателя, мыслителя, атеиста Берлиоза, «председателя правления одной из крупнейших московских литературных организаций, сокращённо именуемой МАССОЛИТ», первого, кто появляется на первой же странице романа, и, казалось бы, по его многознанию и уверенности, обещавшего долго жить, отрицая Христа и утверждая могущество ордена московских писателей. Но… «Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал… и Берлиоза выбросило на рельсы».

А вообще-то московские трамваи были не столь опасны, как в знаменитом булгаковском романе, ходили не быстро и оповещающе-звонко, вся Москва была исчеркана трамвайными линиями, вся Москва знала номера трамваев, откуда и куда тянутся их маршруты, и привычное неудобство заключалось разве в их переполненности, такой «набитости», что у втиснувшихся счастливцев нередко «терялись» кошельки. Снесарев и его дочь предпочитали пешие походы по Москве. Женя часто увязывалась за отцом, когда он шёл на работу и в Институт востоковедения, и в Военную академию Генштаба. «Папа обычно шёл пешком на Армянский переулок, где находился институт, облачённый в боевую шинель, видавшую виды папаху с повязанным по военной форме башлыком. Когда в 1922 году Академия переехала в новое помещение на Пречистенке, папа опять-таки предпочитал ходить пешком, хотя туда ходил трамвай № 34. Я обычно провожала его туда, и по дороге мы вспоминали и заучивали стихи Лермонтова и Пушкина. Так был выучен “Хаджи-Абрек”, “Песнь о купце

Калашникове", большие отрывки из "Евгения Онегина", не считая множества мелких стихотворений».

Воздвиженка, 6 (правое крыло, Кремлевка, четыре окна на третьем этаже от края, под мемориальной ленинской доской. Улица Грановского, бывший Шереметевский переулок). Иногда ему диковинно было подумать, что он, уроженец донской слободы, из неродовитой фамилии, вышел в большой мир — сначала как студент и выдающийся выпускник Московского университета, а теперь выдающийся учёный, военный практик и мыслитель, который живёт в самой сердцевине Москвы, у родного университета, у Кремля, у собора Христа Спасителя…

8

В конце 1921 года при ленинском Совнаркоме была создана Комиссия по улучшению быта учёных, так называемая КУБУ, позже переименованная в ЦЕКУБУ

Сколько всех этих засоряющих русский язык «КУБУ» было и в те годы и долго ещё — ВЦИК, РККА, НКВД, ГПУ, КУТВ, Совдеп, Наркомнац, шкраб, женбарак, рукраб, рабдень… Это были для русского языка годы мутного потока, мусорного ветра, революционной новизны-лаконичности. Михаил Булгаков и Андрей Платонов замечательно об этом пишут.

Комиссии надлежало обеспечивать учёных дополнительными пайками. После 1923 года выдавались уже не пайки, а денежное академическое обеспечение. Снесарев был отнесён к высшей категории А — выдающиеся учёные (категория Б — основная группа, категория В — дополнительная группа).

Тут же, на заре нового мироустройства, появились закрытые кооперативы, в которых могли покупать только сотрудники данного учреждения, закрытые распределители, которые распределяли меж близкими, нужными, своими. Надо думать, что Андрей Евгеньевич, поучаствовав в организации этой КУБУ, помогшей многим семьям учёных, всё-таки не очень уютно себя чувствовал. «Философский пароход» с выдающимися, европейски значимыми именами отечественной культуры — философами, религиозными мыслителями, богословами, историками, не во всём лояльными, а подчас и враждебными к советской власти, был попросту изгнан из страны. И тут обошлись без КУБУ, то есть не обнаружились комиссионные ни протест, ни помощь, да таковых уже и не могло быть. Арбатские особняки старой знати отдавались отнюдь не под музеи. И музеям во всей их умалившейся численности также КУБУ не улыбнулась. А главные цареборцы, подобно царям допетровского времени, царственно

обосновались в Кремле, и Кремль, святыня русского народа, был теперь главный распределитель.

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ — ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 1923–1924

«Воспоминаний целая уйма: Пуришкевича, Родзянко, Деникина, Лукомского… — запишет Снесарев в дневнике 13 мая 1923 года. — Все эти мемуары страдают историческим дальтонизмом, пристрастны и узки. Пронёсшаяся буря над Россией, да и над миром, не научила никого ничему… Кадет толкует своё, правый своё. Всюду подгонка бедной природы под субъективный шаблон мысли».

Справедливо и точно, кроме разве «пронёсшейся бури», поскольку оная никуда не делась, а каким-то немыслимым образом владычит над русскими пространствами, то разрушительно-видимая, то притаённая.

Вот снова над страной повеяло холодом и жаром возможной войны. Правительство Великобритании вручило советскому правительству ноту Керзона — с требованием отозвать представителей СССР из Персии и Афганистана, допустить ловлю рыбы в советской зоне и возместить «убытки»… Срок для раздумий давался десятидневный, угрозы были размашистые, открытые, вроде бы и не в английском стиле…

1

Поистине: война закончилась — война продолжается. Побеждённые немцы, может, даже немцы-неудачники более всего его привлекают. Бернгарди, Шлиффен, Фалькенгайн, Куль, Шварте — Снесарев переводит их труды, к трудам пишет вступительные статьи.

Почему не удачливые англичане, а поражённые немцы? Притягивают более высокий, отважный, жертвенный дух немцев и надежда в новой схватке увидеть их союзниками? Или предчувствие, что снова именно с ними придётся столкнуться его стране?

Неспроста он в предисловии к книге Фридриха Бернгарди «О войне будущего», изданной ещё в 1921 году, сочтёт необходимым сказать: «Бернгарди — милитарист, считающий войну народным промыслом Пруссии, верящий в нравственность, чуть ли не святость этого явления. Для него война не неизбежное зло, а, напротив, источник всех материальных и нравственных благ. Пацифизм для него — безнравственная доктрина; автор уверен, что человечество может завершить свою миссию только борьбой,

только жертвой и подвигом… Правда, в своей идеологии прусского юнкерства Бернгарди теперь стал много скромнее: он стар, он поставлен на колени грозным ураганом событий, пролетевшим над его страной, он уже не говорит об её господстве над миром, он говорит уже о близкой могиле. Но за этими внешне уступчивыми и смиренными нотами внимательное чтение найдёт и прежнего Бернгарди: в его проповеди о нарушении договоров, как это делалось предками “на глазах французских гарнизонов”, в презрительном отношении ко всему, что не носит мундира, в его апологии диктаторства и, наконец, в его неумершей вере в величие будущей Германии».

Есть и более серьёзные размышления по поводу будущего Германии, их находим в статье, только в двухтысячном году опубликованной, «Военно-экономические перспективы Германии», где он справедливо и не без внутренней сопереживательности полагает, что грабительский Версальский договор побуждает германский народ искать выход из навязанных ему условий, из трагически замкнутого пространства, из разграбленного дома с дверьми, извне захлопнутыми и закрытыми на ключ. Не может не искать, «иначе ему грозит политическая смерть, небытие. Ещё ужасней этой смерти то ярмо раба, которое выносит ныне страна. Отсюда естественно, что взор измученного народа вынужден обернуться за спасением к тому же страшному оружию, которое свалило когда-то страну в пучину, к войне. Итак, война как соломинка для утопающего, как последний отчаянный взмах руки, чтобы поймать улетающую искру жизни!»

К великой беде германского народа и мира, избран был далеко не самый перспективный, а именно грубо-нацистский вариант высвобождения из ярма, надетого либерально-олигархическими победившими странами. И Вторая мировая война по необъяснимым причинам жажды реванша у всех, ослепления ли, политической непроницательности, оголтело-зажигательного фюрерства оказалась трагически надломной для Германии и едва ли менее разорительной, чем для Советского Союза. (Здесь «почему?» — вопросы наивно-эмоциональные, поскольку ответы на них существуют — выстраиваются в длинный ряд, но назовём хотя бы эти… Почему «фюрер» и фашистская верхушка дали беспрепятственно уйти прижатому к морю под Дюнкерком английскому экспедиционному корпусу? Почему они, вдруг оставив полуразбитую, но несломленную Англию, устремились по дороге войны на два фронта, прекрасно зная, чем это закончилось в Первой мировой войне? Почему их так увлёк направленный на Советский Союз план, в суеверном

смысле едва ли удачно названный, — «Барбаросса»? Дранг нах Остен, очередной крестовый поход на Восток? Но и впрямь выдающийся германский император из двенадцатого века Фридрих Барбаросса, удачно воевавший в Европе, нашёл свою гибель именно на Востоке, в Третьем крестовом походе, едва перебравшись через Геллеспонт; притом погиб самым нелепым образом: утонув в малоазийской реке. А русские-то реки пошире и поглубже. И пространства её такие, что в них могли бы утонуть миллионные ополчения крестоносцев, два века пытавшихся «освободить» и удержать Святую землю Палестины, Иерусалим, Гроб Господень. Не могли не «утонуть» в русских пространствах фашистские армии. И эхо Волги докатилось до Эльбы. И беда на Волге, Дону, Днепре возвратилась бедой для Одера, Шпрее, Эльбы…)

Циничные слова американского политика Гарри Трумэна уже цитировались. Есть и слова с другого берега, сказанные много позже после Второй мировой войны. Георгий Свиридов, русский композитор, создатель редкостной по красоте и силе чувства «Метели», пишет: «Я от сочувствия к немцам плачу от жалости к этому потрясающему народу, который столько принёс в мир прекрасного, столько принёс красоты, ума, гения. Как он бьётся в тенётах и продолжает биться, этот великий народ. Он потерял сейчас всё: искусство, литературу, оккупирован, измучен, распят. Сытая распятость».

2

В 1923 году в Москву приезжал Петр Кузьмич Козлов. Его книга про Монголию и мёртвый город Хара-Хото была подарена Андрею Евгеньевичу 7 июня 1923 года с надписью: «Моему старому другу и единомышленнику А.Е. Снесареву на добрую память от автора». Высокий, худой, с загорелым лицом, изрезанным бороздками морщин, он казался стариком преклонных лет, а ему едва исполнилось шестьдесят. Хотя — для путешественника немалые годы, и за его плечами целая географическая книга: он сопровождал Пржевальского в Центральную Азию, Певцова — в Восточный Туркестан, Роборовского — в Восточный Тянь-Шань, осуществил самостоятельные, богатые открытиями путешествия. Он был из тех немногих, кто всегда оставался другом, хотя, случалось, они не встречались долгими годами. На этот раз разговору хватило далеко за полночь. Снесарев расспрашивал о горных и песчаных краях, в которых прошли лучшие годы путешественника, а рассказывал ему о его родной Смоленщине. Покоритель

полумира Чингисхан и революционный вождь Сухе-Батор, смоляне — дьяк Игнатий Смольянин, полководец и государственный устроитель князь Потёмкин-Таврический, композитор Глинка, военный путешественник Пржевальский, скульптор Конёнков — все сошлись в небольшой комнатке, свидетельствуя за себя и свои века, и только под утро друзья, утихомирив их, провалились в крепкий сон.

Тем же месяцем семья Снесаревых сняла дачу в деревеньке Саврасове, вблизи станции Сходня. Дом новый, добротный (все жители деревеньки испокон века были искусными строителями и столярами), зато и недешёвый: летний отдых в нём стоил два с половиной кусучих миллиарда рублей.

Лето выдалось тёплое, ясное, в лесу тьма ягод и грибов, на небольшом огородике посадили лук, редиску, салат. У Снесарева, пожалуй, впервые за долгие годы выдался настоящий отпуск, он писал «Введение в военную географию», бродил с дочерью окрестными полями и лесами, читал Пушкина, Лермонтова, Достоевского. На всю жизнь запомнился дочери вслух прочитанный отцом «Тарас Бульба».

А Москва тех лет — разная. Она у окраин зарастала бурьянами, а близ Кремля прихорашивалась, она союзилась и разбредалась, теснилась и разрасталась, и она же, ассоциативная, окружкованная, осоюзенная, шумно, мореразливанно нэпманствовала, живя словно на другой планете и не интересуясь жизнью страны; не только писателей Неверова, Булгакова, Платонова, но и многих новоприбывших в столицу честных, порядочных людей эта поделённая, двуликая Москва наводила на грустные мысли, побуждая грустно «вспоминать» Первопрестольную времён Пушкина и Лермонтова, когда без оговорок можно было воскликнуть: «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын, как русский, — сильно, пламенно и нежно!..»

Москве-то и настоящие её сыновья больше обуза, нежели радость, поскольку не хотят видеть её такой: не только изменённой, а словно бы и подменённой. Многострадальный, потерявший в Крыму сына-офицера, русский писатель Шмелёв пишет русскому писателю Бунину: «Внутреннее моё говорит, что недуг точит и точит, но Россия — страна особливая, и её народ может ещё долго сжиматься, обуваться в лапти и есть траву. Думать не хочется. Москва живёт всё же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрёт, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва… ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают… жадное хайло —

новую буржуазию. НЭП живёт и ширится, пухнет, собирает золото про запас, блядлив, и пуглив, и нахален, когда можно…»

3

Снесарев, сколько помнил себя, всегда писал. О разном и по-разному. Но неизменно честно, дельно и неповторимо. После Гражданской войны — иная глубина, словно дарованная великими народными испытаниями. О книгах — речь впереди, а сейчас — о статье, куда более важной, чем дюжина, и сотня, и даже тысяча каких-нибудь проходных беллетристических книг, — «Послевоенные расчёты держав Антанты». Статья доказательная и справедливая, и, знай мы у автора только её, мы могли бы вполне оценить достойные нравственные и патриотические чувства пишущего, разумеется, при том — чувство правды и истины.

В 1924 году в Москве «Авиаиздательство» выпустило книгу «Кто должник?». Авторы в военном мире люди известные, иные — и весьма уважаемые: М.Д. Бонч-Бруевич, А.Е. Снесарев, А.А. Свечин, А.Х. Базаревский, А.А. Вацетис, А.И. Верховский, А.Е. Гутор, А.М. Зайончковский, Н.Е. Кокурин, Ф.В. Костяев, В.Ф. Новицкий, М.С. Свечников, А.Г. Шляпников, Б.М. Шапошников, С.Г. Лукирский.

Эта книга — ответ политическим и деловым кругам Западной Европы, прежде всего французским, которые снова, в который раз, потребовали выплатить царские долги; брались в расчёт предоставленное французами оружие, военные и продовольственные поставки Антанты и совершенно забывалась пролитая русская кровь, пролитая именно как помощь французам и англичанам. (Не говоря уже про поставленный Сене русский лес и вывезенную французами из Сибири часть русского золотого запаса.) Коль предстояли переговоры с французским правительством, была создана комиссия, которой надлежало подготовить материалы для советской делегации. Снесарев, естественно, был приглашён в комиссию как полноправный участник. На совещаниях было решено подготовить документально обоснованное изложение участия Антанты в экономической разрухе России, а также выпустить в свет специальный сборник об отношениях между Россией и Антантой.

Претензии комиссии к Антанте велики. Зайончковский: «Франция вынудила Россию идти на соглашение с Англией, отказавшись, в противном случае, гарантировать заём России». Бонч-Бруевич: «По настоянию Франции в 1914 году русская армия, не считаясь с планами войны, брошена в наступление в состоянии неполной боевой готовности». Гутор: «Гибель царской

России — результат непосильного напряжения, сделанного в угоду Франции». Снесарев: «Цифры людских потерь — это контрсчёт России». Ещё он сказал, что во взаимных претензиях отсутствует человек, ради которого и существуют экономика и промышленность.

Французы, предъявляя некорректный счёт, не забыли и про искусственные финансовые наращения, учли до последнего процента. К слову сказать, в 1996 году снова предъявили счёт, вплоть до займа Александра Третьего. Идея Снесарева: да, Антанта в какой-то мере восполняла нехватку техники и продовольствия, снабжала русских винтовками, пусть и плохими, да ещё консервами, пусть и залежалыми. Но неужели столь быстро забыты неизмеримые человеческие потери русских?

В сборнике «Кто должник?» статья Снесарева — одна из самых сильных, поскольку в ней математическая сторона дополняется и углубляется нравственной. Россия в Первую мировую войну потеряла людьми больше, чем Франция, Англия, Бельгия, вместе взятые. Недостойно выражать экономическую ценность каждого человека в рублях, но, если прибегнуть к такого рода подсчёту, получается, что «Россия в итоге Мировой войны на ниве человеческих жертв понесла гораздо более, чем её союзницы, и потеряла из-за этого неизмеримо большее количество ценностей, определяемых с экономической точки зрения в 40 миллиардов рублей».

«Англия и Франция, требуя с нас расплаты за каждый пулемёт и за каждый рубль, исчезнувшие в горниле войны, не могут вычеркнуть из своей памяти 12 миллионов энергий и рабочих сил, принесённых нами на алтарь войны».

Книга «Кто должник?» была переведена на иностранные языки. Во Франции она вышла под названием «Les allies contre la Russie avant, pendant et apres la guerre mondiale» («Союзники против России перед Мировой войной, во время и после неё») и частично открыла глаза общественному мнению, пусть ненадолго ставшему чуть более внимательным и благодарным, хотя по-настоящему западноевропейское общественное мнение не больно угнетала «забытая измена перед союзницей Москвой», — строка поэта-монархиста Бехтеева из стихотворения «К союзникам» ещё 1921 года…

4

«Жизнь и труды Клаузевица» (название позднее, не снесаревской руки) — книга одного выдающегося военного мыслителя о другом выдающемся военном мыслителе, —

безусловно, заслуживает особого разговора. Этот труд Снесарев писал и завершил в деревне Лигачёво в августе 1924 года, и сама подмосковная пядь земли словно бы располагала к вдохновенному письму.

Строгой кисти панорамная картина исторически протяжённого обзора, неординарность наблюдений, точность анализа, обращенного к прошлому и будущему, — в этом достоинство небольшого, «томов премногих тяжелей», биографически-аналитического исследования Снесарева о Клаузевице; исследования, в котором — какую страницу ни возьми — встретишь живой образ, притягательную историческую зарисовку, своеобразие оценки, серьёзную мысль: «Он устанавливает природу войны не только как “чисто военного явления”, а как общесоциального, лежащего в природе человеческих отношений и в особенностях природы самого человека»; «…формула, что стратегия является не чем иным, как продолжением той же политики, но с иными средствами… формула, разорвавшая гордиев узел старых путаниц и сентиментальностей»; «Среди двигателей, влияющих на бой, автор выделяет два: страсти, охватывающие нацию, и гений полководца»; «Связь между внешним неуспехом и духовной деятельностью несомненна»; «…великий военный теоретик на ниве практической деятельности как полководец и приблизительно не мог проявить соразмерно с теоретическими данными деятельности…»

Снесарев называет переписку с невестой-женой «не только прекрасным биографическим материалом, не только крупным историческим документом, но и высокохудожественным образцом длительного диалога», а разве у него самого — не так? И, может, ещё и по «статье верности» одной женщине — жене Марии — Клаузевиц был симпатичен Снесареву. Но не одна Мария видит в своём избраннике большое дарование.

Среди его знакомых, друзей, учителей и учеников — люди выдающиеся, в ряду которых Шлёгель, Арним, Шлейермахер, Шарнгорст, де Сталь… Сложнее с Наполеоном, которого он, малоизвестный Клаузевиц, считает возможным победить: «…если бы мне было позволено руководить всей войной и отдельными армиями». Он скептичен по отношению к французам, которых на сомнительный патриотизм и явный революционный энтузиазм поднимал, по его убеждению, страх гильотины.

В 1812 году Клаузевиц переходит в русскую службу, дабы противостоять Наполеону, как говорит Снесарев, «от рамок суженной родины переносился к историческому государству, которое он мыслил себе уширенным, не прусским только, но

германским». Он свидетель сражений у Витебска и Смоленска, он очевидец эпохального Бородино, он среди отступающих через Москву. Восьмимесячное его пребывание в России подвигает его на труд «Поход 1812 года»; своеобразный пленник Клаузевиц — вне русского языка, быта, традиций — пишет Снесарев, «не вынес презрение и ненависть к её народу, как он вынес из Франции к её народу; он, да, в пренебрежительном тоне говорит о русском, вернее, немецко-русском военном искусстве, но «к народу он никогда не утерял известной теплоты и признательности».

У европейцев прост переход из армии в армию, и даже — против своего отечества: Конде, Жомини, Йорк, Моро, Ллойд Джордж. Вспомним, что и Наполеон в юности, на заре своей военной карьеры, просился на службу в русские войска. Но трудно и, пожалуй, немыслимо представить Румянцева, Ушакова, Суворова, Ермолова, Нахимова, Снесарева, Жукова переходящими во враждебные отечеству службы. Правда, в Гражданской войне традиция ломалась, и если брат по убеждению выступал против брата или семьи, почему бы он не мог выступить против государства, точнее, власти, которую он чувствовал и видел враждебной отечеству? Сталкивались идея и территория.

Обозревая контуры и итоги наполеоновского похода в Россию, Клаузевиц в какой-то мере, даже значительной, отдаёт пальму первенства судьбе, сумме случайностей, а не сугубому полководческому искусству (это заимствованное у Клаузевица положение станет главным в «Войне и мире» при оценке сражений, борющихся в них полководцев). Развивает и мысли о преимуществе обороны. План эластичного отхода, скифской войны, утягивания французского воинства в глубь неисходимого русского пространства оказался верен. Пусть так. Но Клаузевиц, смогший увидеть увядание наполеоновской армии всего лишь в течение полугода, по всеохватной снесаревской мысли, «не видел другой стороны: необъятного моря России и пассивно-могучего народа, способного всё выдержать».

Многое роднит Клаузевица и Снесарева, в том числе любовь к литературе, даже занятия в молодости стихами: у одного — под Шиллера, у другого — под Никитина. Но у Снесарева, по счастью, не было того, что он отмечает в Клаузевице: «Его раздвоенность между мыслью и практикой, между пониманием и умением, между крупнейшим мыслителем и робким, мрачно смотрящим в глаза судьбе деятелем перед нами налицо».

А книгу заканчивает так: «Как из святой книги, немцы из его главного труда хотят черпать даже перспективы будущего… Ознакомление русской публики с классическим трудом крупнейшего военного теоретика является делом хотя и

запоздалым, но всё же крайне важным и целесообразным… Лучше поздно, чем никогда».

Последние слова — не в бровь, а в глаз. Снесаревская рукопись предполагалась как предисловие к главному труду Карла фон Клаузевица — «О войне», переведённому на русский также Снесаревым, проникновенным знатоком немецкого языка; но по причинам, о которых можно говорить только предположительно, если не гадательно, эта уникальная книга заочного содружества двух великих военных философов в двадцатые годы не была издана. А позже имя Андрея Евгеньевича Снесарева изъяли из общественной, военной, культурной жизни. И лишь в начале двадцать первого века его книга о немецком мыслителе увидела свет. Так что лучше поздно, чем никогда.

5

А Россия что обворованная, разграбленная церковь.

Завершал духовный подвиг патриарх Тихон, но он почти не слышен был из-за гулких повсеместных труб всеохватного большевистского оркестра.

В 1924 году принимается Конституция СССР, а казаки всё еще никак не смирятся с существованием подмены их Отечества, и далёкие от Москвы амурские казаки восстают, словно забывая, что рука-то у Москвы тяжела и далеко достаёт. Свои подданные не воспринимают четырёхбуквенное название страны и её режим, зато СССР признают Англия, Франция, Италия.

Главное, однако, в том году — смерть Ленина. Отодвигается на задний план Троцкий. Безошибочно движется к партийному трону Сталин.

О смерти, а вернее, смерти-бессмертии, Ленина писаны тома. Помним разной силы искренности, заблуждённости страницы Горького, Маяковского, Есенина, Полетаева, Ольги Берггольц…

Но, с другой стороны, мало знаем, в какой поистине египетский ритуал обратились похороны вождя. Разве что не под горячим солнцем Африки, но при лютых холодах Москвы, когда люди, особенно дети, смерзались, как сосульки, отмораживая ноги, руки, лица. Русский народ словно бы вмораживали в огромный ледник. Брусилов говорил: «Возмутительных, преступных выходок со стороны большевиков было без конца. Детей замораживали и простужали, держа целыми часами на улицах в шеренгах, в очереди на поклонение Ильичу. Гнали всех силком: и военных, и гражданских… С риском потери службы и ареста люди шли поклониться новоявленным мощам».

(История повторяется, а там уж воспринимай её' как фарс или

трагедию — кому как. Мой знакомый писатель из Белгорода в одном из писем рассказал о своём сыне-солдате, как тот обморозил лицо, студёно-леденящим днём стоя в почётном карауле у гроба изобретателя водородной бомбы и правозащитника Сахарова, — языческие ритуалы по безудержному увековечению своих духовных отцов-верховников чтут не только пламенные революционеры, но и убеждённые либералы, международные правозащитники.)

У Снесарева было горе побольше, чем смерть вождя. В какой-то мере по милости этого вождя лежала в руинах почти умершая его родина. Так что он на траурном митинге не присутствовал, хотя в том отсутствии был действительно риск самых неожиданных служебных санкций.

История не столько осмыслялась, сколько просеивалась и отсеивалась. Не столько изучалась, сколько редактировалась. Редактировалась по-большевистски. Худодействовал на ней краснопрофессурный историк Покровский, неприязненник российской коренной жизни, апологет «прерыва постепенности» в разных отечественных сферах; и тьма покровских — покрывателей, раскрывателей, сократителей — множила тьмы подложных, удивлявших передёргиваниями и агрессивным напором страниц.

В те поры создается Общество друзей Российского исторического музея. Хорошее по замыслу общество, только устав его утверждает почему-то НКВД, видать, там-то и сосредоточились главные историки нашей страны. Вровень с Покровским!

Лето 1924 года семья Снесаревых провела в живописной деревне Лигачево, которой за написание здесь русским геополитиком книги о Клаузевице должны быть благодарны и немцы, и почитатели немецкого мыслителя по всему миру. С пригорка, где находилась дача, открывались подмосковно-трогательные виды: луг, речка, невдалеке синеющий лес. Деревня находилась рядом с имением Середниково, где часто бывал мальчиком и юношей Миша Лермонтов, когда имение принадлежало его двоюродному деду Д.А. Столыпину, родному брату его бабушки. Для Снесарева это были благословенные лермонтовские места, где можно было гулять, читать его стихи, размышлять о великом.

Есть этический смысл вспомнить и здешние прогулки Солженицына с Шафаревичем в пору их работы над сборником «Из-под глыб»: стоит вспомнить об этом и в подтверждение некоей духовно-литературной атмосферы той или иной пяди земли. Genius loci. Гений места. (Позже автору этих строк выпадет

встречаться и с Солженицыным, которому перед его «выдворением» слал слова благодарной солидарности, — в прогулках на старинных воронежских холмах, беседах о Столыпине, Феврале семнадцатого, прогрессе как надвигающемся тупике, и с Шафаревичем — в его московской квартире горестно и солидарно размышлять о судьбах крестьянства, русского и западноевропейского.)

В книге воспоминаний «Бодался телёнок с дубом» Солженицын пишет: «Два года обсуждая и обсуждая наш сборник “Из-под глыб” и материалы, стекающие к нему, мы с Шафаревичем по советским условиям должны были всё это произносить где-то на просторной воле. Для этого гуляли мы подолгу то под Жуковкою, то по несравненным холмам близ Рождества (граница Московской области и Калужской), то однажды… близ села Середникова с его разреженными избами, печальными пустырями (разорённое в коллективизацию, сожжённое в войну, оно никогда уже более не восстановилось), с его дивной церковкой времён царствования Алексея Михайловича и кладбищем. Мы переходили малую светлую речушку в мягкой изгибистой долине между Лигачёвом и Середниковом, остановились на крохотном посеревшем деревянном мостке, по которому богомолки что ни день переходят на подъём в кручу к церкви, смотрели на прозрачный бег воды меж травы и кустов, я сказал:

— А как это всё вспоминаться будет… если… не в России!

Шафаревич, всегда такой сдержанный, избегающий выразить чувство с силою, не показалось бы оно чрезмерным, ответил, весь вытягиваемый изнутри, как рыбе вытягивают внутренности крючком:

— Да невозможно жить не в России!

Так выдохнул “невозможно” — будто уже ни воздуха, ни воды там не будет».

Но ведь о том же несколькими десятилетиями раньше говорил и Снесарев, причём не только эмоционально, а более концептуально, более резко — в смысле, кто же в России останется, ежели достойные станут её по доброй воле покидать… Россию кто-то всегда должен защищать. И именно в России Россию защищать, а то несть числа жаждущих родину «подправить» из-за рубежа. Герцен, не худший из них, действительно, чувства сердечности к родине не лишённый, но… звучит в Лондоне его революционный книжный «Колокол», тоже приближая те разломные времена, когда на Руси с колоколен станут сбивать настоящие, богославящие и землю Русскую освящающие колокола…

В семидесятые годы прошлого века я бывал в Середниково, разумеется, не зная, что именно здесь совсем недавно совершали прогулки Солженицын и Шафаревич, и, разумеется, уже зная, что здесь проводил лето на даче Снесарев; «потянула» же меня сюда прежде всего лермонтовская «Русалка»; словно надеялся постигнуть чудо рождения лермонтовской строки, истоки баллад о русалке, о тростнике, в каких водах здешнего пруда, здешней реки юным вдохновенным зрением увиденных?

Наверное, стоит добавить ещё вот что: затейливы линии судеб, и в силу их, надо думать, косвенным образом пути выдающегося геополитика, военного мыслителя Снесарева и выдающегося математика, исторического мыслителя Шафаревича косвенным образом пересеклись: дочери Снесарева в Московском университете выпало преподавать английский язык на мехмате, где читал курс лекций и Шафаревич.

На следующее лето семья Снесаревых отдыхала в сельце Павшино на Москве-реке. Отдых был хорош для Андрея Евгеньевича его трудами: он принялся за неотрывное написание первой книги фундаментального четырёхтомного сочинения «Индия. Страна и народ». Задуманные книги шли в такой последовательности: «Физическая Индия»; «Этнографическая Индия»; «Экономическая Индия»; «Военно-политическая Индия».

Радостью, ни с чем не сравнимой, были для него прогулки с дочерью. Казалось бы, наибольшую гордость должны были будить в нём сыновья, поскольку они прямые продолжатели рода, и продолжатели талантливые во всём, за что ни брались. Всё так, и всё же главная его мысль, нежная надежда были направлены именно на дочь, которая воплощала в себе расцветающую женственность и ничем не смущаемое благодарное восприятие жизни; может быть, немало значило и то, что внешне почти не похожая на мать, она повторяла её высокие душевные и нравственные черты: сердечную открытость и щедрость, отзывчивость, тот внутренний свет, который радовал окружающих. Мысленно он сравнивал её с лучшим из цветков. Свою невесту и молодую жену когда-то именно с цветком сравнивал, так что прекрасное словно бы повторялось.

Отец и дочь совершали прогулки береговой тропинкой вдоль Москвы-реки, по окрестным полям и лесам, несколько раз побывали в расположенной поблизости роскошной, державного классицизма подмосковной усадьбе Архангельское. С начала нынешнего века её опутывает и окутывает частно-грабительский капитал, а тогда библиотека в тридцать тысяч продуманно подобранных книг и залы с полотнами западноевропейских живописцев делали усадьбу редкостным пантеоном культуры. В

1830 году владельца усадьбы Николая Борисовича Юсупова навестил наш великий поэт, в навеянном впечатлениями от Архангельского посвящении «К вельможе» есть строки:

Книгохранилище, кумиры и картины И стройные сады свидетельствуют мне, Что благосклонствуешь ты музам в тишине…

На пути в Архангельское и при возвращении отец и дочь неизменно читали наизусть пушкинские стихи, иногда с весёлой перетяжкой, кто, например, больше вспомнит строк со словом «муза».

Но так тогдашняя жизнь складывалась, что музы, вообще редкие, затмевались и теснились жестокими реальностями жизни. Они были сплошь и рядом. Снесарев не без горечи и каких-то неясных, но безрадостных предчувствий думал о соседях — семье Дмитрия Николаевича Надёжного, давно ли бывшего командующим фронтом, то есть фигурой в стране не последней. И вот им подселили соседей, крикливых, хватких до выпивок и склок, вполне органично соединявших в себе Шарикова и Швондера из булгаковского «Собачьего сердца», ненавидевших собак и ещё больше — людей. А всякая неприятность в одиночку не ходит. Под зимний праздник шестнадцатилетний сын Надёжного, устраивая с друзьями маскарад, взял у отца шинель, шашку, маузер. После игры второпях бросил снятое с предохранителя оружие в стол младшей сестре. Увидев маузер, сестра попыталась убрать его из стола, но неудачно: нажала курок, пуля безошибочно нашла её висок. Брат впал в затяжной шок, и вот теперь он отдыхал на даче вместе со Снесаревыми, но было видно, что шок затянулся, отдых во благо не шёл. Вскоре Надёжный-младший покончит с собою.

А Надёжный-старший, который каждодневно встречался со Снесаревым в доме на Воздвиженке, придёт час, будет сослан на Урал по общему для военных делу «Весна», хотя виновным себя не признает; кавалер ордена Красного Знамени, он, пожалуй, и был наиболее красным среди знакомцев Снесарева, и на вечер георгиевских кавалеров пришёл на снесаревскую квартиру с советским орденом и давнероссийским Георгием, словно бы пытаясь таким образом примирить звезду и крест.

ГОДЫ ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ. 1924–1929

В дневнике за 23 июня 1924 года Андрей Евгеньевич сделает надпись, чётко определяющую круг его занятий: «Отпечатаны Кюльман в 2 частях, Фалькенгайн, Куль (“Обучение войск”), отредактировал Дельбрюка (“Автопортрет Людендорфа”), начал редактировать Клаузевица… кончил “Введение в военную географию”».

1

Вскоре фундаментальное «Введение в военную географию» выходит в свет, правда, тираж крохотный — 220 экземпляров. Глубина и широкоохватность в этом исследовании не могут не удивлять. Временные рамки — от веков раннедревних до двадцатого; географические — от Вавилона до Вашингтона, от Индостана до Апеннин. Энциклопедичность исследования — в обращении к глубоко понимаемым и исследуемым именам, а их — от разных времён, стран и народов — более пятисот!

Но если бы Снесареву дано было посвятить себя только большим рукописям! Он ежедневно заседает, выступает с лекциями и докладами, пишет статьи и рецензии — на это уходит большая часть дня, недели, месяца; мелькают всё более стремительно летящие к старости годы…

Учёный в своей деятельности утверждает статистический метод в военном деле: «Военное дело в его современном развитии, базируясь на всю мощь государства — политическую, национальную, экономическую и финансовую, лишь в статистическом методе найдёт надёжный путь к решению вопросов: воевать или нет, как долго (стратегия сокрушения или измора), какой создавать план, какие имеются для войны ресурсы… Военное дело ныне обнимает все-стороны государства, все отрасли его деятельности, всю народную массу, почему современная концепция военной статистики как науки и как практического дела может быть только государственного масштаба… Она должна быть государственной военной статистикой…»

Но Снесарев, панорамно и всесторонне, системно видящий и мыслящий, не был бы Снесаревым, если бы только в статистическом методе видел всеспасительный рычаг, руль, путь. Он находит разумное и необходимое в психологическом,

стратегическом, географическом подходах, он, знаток их, полагает: «Многообразие способов исследования или подходов к изучению лучше всего гарантирует установление исторической картины и затем нахождение исторической правды, отсюда панметодизм, но не монометодизм».

Подобно тому как историк Погодин прибегает к математическому анализу при исследовании старорусских летописей, рукописных древностей, так и математик Снесарев плодотворно руководствуется историческим методом при рассмотрении прошлого Отечества и мира, их настоящего и даже будущего. Им основательно прочитаны главнейшие отечественные и зарубежные историки, особенно же занимают Татищев, Барсов, Замысловский, работавшие на органичных стыках истории и географии, на их едином поле, а также Леруа-Болье, француз, который более многих русских почувствовал душу и судьбу России в контексте её исторических деяний и географической широты и дали её земли: «Чтобы оценить гений России, её средства, её настоящее и ещё более её будущее, нужно знать землю, которая её питает, народы, которые её населяют, историю, которую она прожила, религию, которая её воспитывала».

Интегральный научный взгляд Снесарева на поступь Отечества и человечества вбирает и лики истории, и холмы географии, и теплоту молитвы, и ясность математической формулы, и мелодию народной песни, а также закономерности и случайности, которые способен осветить «фонарь» только соединённых наук. Образ мира, даваемый, скажем, одной лишь статистикой, явно не может быть полным. Поэтому без оговорок ясен Снесарев, когда он не находит согласия с Милютиным, своим заочным любимым учителем в сфере военного дела и геополитики, когда тот понятие исторической географии заменяет понятием статистики.

После двух истребительных войн страна никак не могла выбраться из разрухи. А тут ещё добавлялась разруха непредвиденная от чем-то разгневанной природы. В дневнике 10 октября 1924 года Снесарев записывает: «Петроград пережил наводнение, которое оказалось более сильным, чем пушкинское 1824 года. Ни флагов не было, ни выстрелов, город и люди стали тонуть сразу со сказочной быстротой… Многое было унесено водой…»

Импульсивный царь, подданными вымостивший чухонские трясины, на которых встал Санкт-Петербург, Медный всадник в прямом и переносном смыслах, Пётр Первый жаждал окружить империю морскими водами, вернее, вывести её к торгово-

освоенным морским путям и просторам; большевики пошли дальше: они руками крепостных нового времени прорыли каналы, воздвигли плотины гидроэлектростанций, образовав рукотворные моря по всей стране, похоронив под илисто-мутными водами прежнюю жизнь. Их водоустроительство длилось десятки лет, переросло в великие стройки коммунизма — техногенные монстры, мало чем отличимые от великих строек капитализма («Два пути — к одному обрыву», — как точно сказал Игорь Шафаревич). Затопление сибирской деревни водами рукотворного Ангарского водохранилища… «Прощание с Матёрой» из глубинно русского писателя Валентина Распутина — в известном смысле и прощание с Россией, метафизически, по счастью, никогда не могущей быть затопленной и порушенной.

После Первой мировой и Гражданской войн надо было возвращать к жизни разрушенное. Среди иного требовалось восстановить и конское поголовье, ещё десять лет назад по численности первое в мире. Конница продолжала оставаться самым мобильным родом войск. Но шли споры, быть ей или не быть. Дескать, надо создавать моторизированные войска. Надо, но в стране не было ни одного автомобильного или танкового завода.

Будённый в это время был назначен инспектором кавалерии. Снова пересеклись пути Снесарева и Будённого. Они уже встречались под Царицыном, а ещё раньше на австрийском фронте, в Карпатах, о чём последний рассказывал: «Я как-то подошёл к группе прапорщиков и офицеров постарше, со вниманием слушавших высокого генерала, который говорил о том, как изменяются вооружение и тактика в войнах, но что-то остаётся непреходящим — это всё то же старое человеческое сердце солдата, которое билось за древним щитом, как бьётся оно около нынешнего пулемёта. И для него, для этого сердца, девизом поведения в бою были и остаются слова, данные как математическая формула Суворовым, — быстрота, натиск и внезапность».

Брусилов и Будённый, оба кавалеристы и знатоки коневодческого дела, были частыми гостями, вместе и порознь, на квартире Снесарева.

В то время создавались новые уставы и программы, нужно было учиться военной теории. И первым учителем Будённого стал Снесарев. Начали с разбора операции Будённого под Воронежем против Шкуро и Мамонтова… Позже с теоретическими вариантами разбирали классические операции Пунических войн, походы Александра Македонского и Юлия Цезаря, действия русских войск в Семилетней войне, а ещё на полях Куликовом,

Полтавском, Бородинском.

2

Жизнь семьи двигалась, а дороги впереди скрывались в тумане. В житейском смысле положение снесаревской семьи было далеко не худшим: помимо «благодеяний» КУБУ-ЦЕКУБУ образовались и другие. Льготой командного состава было определение детей в учебные заведения и бесплатное их обучение. Согласно постановлению Президиума Моссовета от 1924 года Снесарев имел право на дополнительную площадь двадцать квадратных аршин (то есть уплотнения можно было не опасаться). Как бы они пригодились в тридцатые годы, когда семья оказалась вовсе выселенной!

Здесь самое время вновь обратиться к воспоминаниям дочери Андрея Евгеньевича: живые глаза, ум и душа девочки-отроковицы вбирают многое из того, чем в двадцатые годы живут в столице родные — каков быт, заботы и увлечения семьи, да и чем жила сама Москва.

«Кира ходил в школу на Скатертный переулок — около получаса ходьбы от дома; его приятелями-одноклассниками были Коля Владиславский, Саша Зигель, Илюша Кан (в будущем международный мастер по шахматам). Они бредили шахматами… В Москве в 1925-м проходил Международный шахматный чемпионат с участием Капабланки, Ласкера, Боголюбова, Рети, Маршалли и других. Чемпионат проходил в Колонном зале Дома союзов, и мальчики во главе с Илюшей Каном пропадали там, а потом, возвратясь, шумно обсуждали и разбирали партии. К спорящим присоединялся и Андрей Евгеньевич, который тоже давал советы и комментировал. А Илюша снисходительно говорил, что он неплохо разбирается в шахматах, ему бы следовало серьёзно заняться игрой — и неплохой бы шахматист получился из Андрея Евгеньевича».

(Ещё не сыгран матч Алёхина с Капабланкой, ещё Алёхин не увенчан лаврами чемпиона мира, но он уже по предыдущим турнирам дышит в спину обоим чемпионам — Ласкеру и Капабланке, и, конечно, многие любители шахмат, разумеется, и Снесарев, желали бы видеть Алёхина на турнире в Москве — на его родине. Но он не приехал.

А фигуры на шахматной доске движутся, и ещё в большей степени — на мировой политической шахматной доске. — *Авт.)*

«Я ходила в школу на Кривоарбатский переулок, тоже не меньше получаса ходьбы… В 1924–1925 годах по воскресеньям у меня собирались девочки на танцевальный класс. В следующем

году был поставлен целый балет “Фея кукол”. Сцена представляла собой игрушечный магазин… занавесом теперь заведовал Валентин Катаев; он был литературным сотрудником в “Гудке” (газета железнодорожников) и большим Гениным приятелем. Они вместе бывали на литературных диспутах, на встречах с писателями, увлекались цирком и давали в газеты небольшую спортивную информацию о борьбе и боксе. У Гени вообще появились литературные знакомства: однажды (это было позднее, в 1926 или 1927 году) он привёл кого-то переночевать; этот кто-то обладал отменным аппетитом, говорил за столом мало, переночевал на бархатном диване под большой картиной Клевера, а утром, перед уходом (опять же после плотного завтрака), попросил Геню собрать всех, чтобы попрощаться. Когда все были в сборе, он встал на руки и долго со всевозможными вариантами и вывертами ходил на руках и проделал несколько цирковых номеров. Потом попрощался с каждым за ручку, каждому сказал что-то приятное и отбыл. Это был поэт Иван Приблудный, любимый ученик Сергея Есенина…

В те годы первое января не было праздничным, это был обычный день, если он случайно не приходился на воскресенье. Но на старый Новый год приходила Антонина Васильевна Нежданова с Николаем Семёновичем Головановым. Появлялась в огромной четверти (были такие бутыли) необыкновенная бабушкина вишнёвая наливка. Разговоры велись около музыки, театра, искусства. Как-то разговор зашёл о композиторе Калинникове; был извлечён мамин фортепьянный экземпляр его симфонии, Николай Семёнович проиграл несколько страниц и объявил, что совершенно забыл о ней и непременно возьмёт её на один из ближайших концертов в консерватории. Он был ярым пропагандистом русской музыки и русских исполнителей, в связи с чем испытывал серьёзные неприятности в Большом театре и вообще в музыкальном мире. На концерт музыки Калинникова он прислал пригласительные билеты в директорскую ложу. В другой раз, это было 13 января 1929 года, он аккомпанировал мне лёгонькую шотландскую песенку Бетховена “Милее всех был Джемми”, и Нежданова сказала, что будет заниматься со мной. Я занималась с ней с октября 1929 года. После ареста папы платить ей за обучение мы, естественно, не могли, однако уроки ещё некоторое время продолжались бесплатно. Потом занятия сошли на нет, но великая артистка периодически помогала нам в трудные времена…

Театры экспериментировали… Режиссеры по-новому “прочитывали” знакомые пьесы; они часто ставились дыбом. Даже Большой театр не избежал подобного спектакля, поставив

“Севильский цирюльник” дыбом, где женщины играли мужские роли, а мужчины — женские. Геня был, конечно, поклонником новых исканий, превозносил Мейерхольда, нашёл какие-то пути в его театральную мастерскую. В 1926 году он кончает университет и зачисляется стажёром в Московскую коллегию защитников. Получает первые дела, тщательно готовится к выступлениям и репетирует свои речи. Все слушают его речь, и папа порой вставляет какое-нибудь сравнение, оборот, советует заострить на чём-то внимание, сгладить то-то или то-то…

Кира кончает школу и готовится к поступлению в Институт востоковедения. Кроме того, он начинает серьёзно заниматься спортом, особенно конно-лыжным и лыжами: Ходит на секцию бокса, участвует в общемосковских соревнованиях по боксу и иногда гуляет с кровоподтёками на лице. Летом усиленно занимается теннисом. И по всем видам спорта имеет очень хорошие результаты. Весной 1926 года в Москве было наводнение, река вышла из берегов, и некоторые улицы и площади города оказались под водой. Кира был записан в Общество спасения на водах, и ему была поручена Дорогомиловская площадь (перед Киевским вокзалом), через которую он перевозил людей в лодке…»

3

В марте 1926 года умер Алексей Алексеевич Брусилов.

Отношение к нему Снесарева всегда было сложное, менялось, но после Гражданской войны они, многое пережив и став терпимее, сблизились до отношений дружественных. Часто бывали друг у друга, ввели в обиход дни русских побед, празднование Дня георгиевских кавалеров, а незадолго до смерти Брусилов попросил Снесарева разобрать его бумаги, рукописи, воспоминания, письма. (Здесь требуется пояснение. Брусиловских «Моих воспоминаний» как цельной рукописи не существует. Над нею работали трое военных, разумеется, среди них и Снесарев, да ещё пыталась навязать свою волю вдова, которая, как она уверяла, помнила слово в слово всё, сказанное Брусиловым, — дело доходило подчас до несуразицы; так что «Мои воспоминания» искусно и бережно сложены из архивных бумаг, в них есть страницы воспоминаний именно брусиловской руки, сохранены брусиловская интонация, его взгляд и настроение.)

Трудно сказать, насколько боевые соратники были солидарны в вопросе перерождения Красной армии в армию Русскую, помнящую отечественную традицию, но, по давнему убеждению Снесарева, любая призванная и способная защищать родину

армия лучше никакой — отсутствующей, ибо в незапертые и неохраняемые двери чаще забредают тати и разбойники, нежели добрые странники.

Похороны Брусилова были даже для Москвы многолюдны. Огромная процессия провожала гроб на Новодевичье кладбище. Снесарев говорил слова прощания, при всей искренности их чувствуя приблизительность и необязательность их, как и любых иных, поскольку главные слова обычно произносят смерть и посмертная история. На похоронах была и его дочь Женя, краем глаза она видела могилы известных и даже знаменитых — в краснокирпичной ограде покоилась своими высокими именами Россия.

Дочь впервые вдруг остро почувствовала преходящность всего земного, и только галки и грачи над куполом Смоленского собора, над высокими нагими деревьями казались навсегда обречёнными быть живыми и кружиться, кружиться, кружиться над Новодевичьим монастырём.

4

Последний отрезок двадцатых годов — вершина судьбы. Вернее, вершина успеха. Путь к вершине — через гористые подъёмы. Пики — книги: «Авганистан», «Введение в военную географию», «Физическая Индия». Масса лекций, масса статей и рефератов, рецензий… Иные статьи, как «Унтер-офицерский вопрос», «Гримасы стратегии», «Единая военная доктрина», «Русский Восток как задача краеведческого изучения», «Послевоенные расчёты держав Антанты», по значимости стоили целых книг.

Профессор и старший руководитель Военно-воздушной академии, профессор Военно-политической академии, военный руководитель Института востоковедения читает лекции не только в названных учебных заведениях, но и в Межевом институте, основанном ещё при Екатерине Второй для отвода земель, упорядочения карт, планов, читает и на всяческих гражданских и военных курсах, даже на курсах военных прокуроров; выступал несколько раз в Институте красной профессуры, но был невысокого мнения о его преподавателях, говорил, что не имеют классического образования, а уже — профессура. Даже неполный список лекций и докладов Снесарева — свидетельство поразительной широты его знаний: «Поход Тамерлана против Тахтамыша в 1391»; «Война в людских суждениях»; «Индия в Мировую войну 1914–1918»; «Генеральный штаб и его назначение»; реферат о книге Э. Фалькенгайна «Верховное

командование 1914–1916»; «Ф. Бернгарди о войне будущего»; «Новое в жизни Авганиста-на»; «Историк Ганс Дельбрюк и его школа»; «Военно-экономические перспективы Германии»; «Людендорф и Фалькенгайн как стратегические антиподы»; «Стратегия истощения и стратегия окружения».

2 февраля 1928 года постановленем Президиума ЦИК СССР Андрею Евгеньевичу Снесареву за многолетнюю и полезную деятельность по строительству Вооружённых сил было присвоено высшее в стране звание Героя Труда. 24 февраля 1928 года в газете «Красная звезда» был напечатан список лиц, получивших это звание; среди них знаменитые конструкторы-оружейники Ф.В. Токарев и В.А. Дегтярёв, В.Н. Чеботаревский и Л.В. Чижевский. Прибывший из Калуги и приглашённый Снесаревым на чай, Чижевский рассказывал о космосе и Циолковском, не без гордости поведал о наблюдениях своего сына Александра, который уже к тому времени подметил, что между циклами солнечной активности и жизнью на земле существуют связь и зависимость, что природные и социальные бедствия на Земле совпадают с «неблагополучными» явлениями на Солнце — появлением и исчезновением пятен, выбросом крупных протуберанцев. Впоследствии Александр Леонидович Чижевский положил основание космической биологии, впервые применил математические методы при изучении физических свойств крови в кровяном русле; он был избран почетным членом многих академий наук и академических обществ мира.

(Чижевский говорил, что история человечества не есть история историков, которым не дано почувствовать, понять, какие солнечные бури метут человечество. От них, солнечных бурь, — все мировые разломы, революции, эпидемии. Заслуга Чижевского — открытие влияний и воздействий активного Солнца на жизнедеятельность биосферы, — безусловно, значительна для развития естественно-научных представлений. Однако за таким радикально-гелиоцентрическим воззрением просматривается недооценка собственно человеческой творческой нравственной активности в истории, не говоря уже о духовном действии Божественной силы. Да и Снесареву взгляд на войну как на патологический всплеск в социальном поведении, вызванный колебаниями солнцедеятельности, вряд ли бы пришёлся по душе. Он, конечно, ещё из университетского курса не только помнил про «Вековечные возмущения планет» — так называлось исследование ректора Московского университета, академика Д.М. Перевощикова, он не однажды эти планетарные «возмущения» ощущал реально — душевно и сердечно. Но обосновывая философию войны, он видел в последней нравственную трагедию

человеческого бытия, где действует и Промысел, и политический аморализм, с которым нужно бороться человеческими, а не космическими средствами. Взгляд Александра Чижевского — это своеобразный астрономический детерминизм, научный недуховный космизм, альтернативой которому были идеи Николая Фёдорова, Павла Флоренского, Алексея Лосева; они смотрели на космос иначе, видя в нём не только проявление сугубо материальных сил и энергий, но символическую и метафизическую реальность, открывающую простор для нравственной и научной деятельности человека. Развивайся советская наука в этом направлении, возможно, её достижения были бы ещё более существенны и неоспоримы.)

В июле 1928 года родился Андрюша-маленький — радость великая, но сразу же и омрачённая: едва его мама вернулась домой, как у неё резко обострилась сосудистая болезнь; её отвезли в институт послеродовых заболеваний, где она пролежала полгода; когда вышла оттуда, ей пришлось заново учиться ходить.

В остальном, семейственном, на первый погляд, всё складывалось хорошо в эти последние годы двадцатых. Глава семьи — Герой Труда. Сын Евгений — юрист-защитник. Дочь, окончив школу с педагогическим уклоном, курсы французского языка, вечернюю балетную школу, осенью 1929 года поступила в Институт востоковедения. Сын Кирилл учился там уже на четвёртом курсе. В феврале — марте того года он побывал на Севере с международной группой инженеров лесного дела, был переводчиком-экономистом, видел Вологду, Архангельск, Пинегу, Мезень… село Княж-Погост, Усть-Сысольск — все старинные северные уголки со старинными названиями.

Имя, книги, мысли Снесарева входят в широкий культурный и общественный обиход. Штрих в этом смысле не пустячный и показательный: великий генетик Вавилов, побывавший и на Памире, и в Афганистане, в своём «Земледельческом Афганистане», изданном в 1929 году, делает ссылки на снесаревские труды.

В 1929 году были объявлены выборы в Академию наук СССР. Академия расширялась новыми направлениями и науками, естественно, и новыми именами… Военная наука после общественных обсуждений и административных заседаний тоже допускалась в научный ареопаг. От военных в Академию наук была выдвинута кандидатура Андрея Евгеньевича Снесарева.

Но не стоит обманываться: есть силы, есть люди искусного Зла, которые до поры до времени не мешают его восхождению наверх, чтобы сбросить без надежды подняться, — такова их

природа. Ещё в 1924 году на Снесарева выдаётся характеристика, где после биографических перечислений нейтрального характера идут собственно оценочные, и там безвестными «биографами» положительные черты не без искусства смазываются проявлениями черт, для тех лет негативных. Читаем: «Имеет формально широкое образование как в военном отношении, так и в общем. Идеалист по своему миросозерцанию, он не в состоянии удовлетворять требованию современного момента как в смысле самого содержания предмета, так и в постановке его преподавания. Рутинёр, склонен к схоластике и беспредметному теоретизированию. Весьма компетентен в вопросах географии Среднего Востока. Но и тут допускает чрезвычайно много антимарксистского душка. Отношение к работе хорошее, к слушателям — снисходительно-отеческое. Политически лоялен».

Казалось бы, всё есть: и знания, и лояльность… Ну, идеалист, так покамест это не самый страшный грех, Москва ещё терпит идеалистов, как чудаков из безвозвратного прошлого. Антимарксистский душок — у кого его тогда не было. И вдруг концовка — приговор наотмашь: «Как руководитель по военной географии не годится». Один из лучших учёных-географов, теоретиков и практиков, один из самых значительных геополитиков страны и мира… но не годится. После этого куда ему в советские академики!

Да ещё и арест. И не один. Первый — царицынский, уже давний. Второй — московский, не столь давний и словно бы случайный: взяли — и трёх дней не прошло как выпустили — без объяснений. Но ясно было, что печальная русская сказка не закончилась. Там всё главное — с третьего раза…

Подпирали, с одной стороны, Ворошилов (его статья в 1929 году о Сталине как о первом полководце Красной армии давала старт очередному мифу), с другой стороны — Тухачевский и Уборевич, напористости и безнародной военной мысли которых явно мешали военспецы с их огромными традиционными знаниями, военной культурой, чувством родины и народной жизни.

Осенью 1929 года Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук подписала договор со Снесаревым на издание «Этнографической Индии». Незамедлительно начался издательский процесс. Книга скоро была набрана. Началась тщательная корректура, окончательная доводка, завершить которую автору и издательству не дали.

В ночь с 27 на 28 января 1930 года он был арестован.

…Рушились крестьянские подворья, рушились церкви, рушились налаженные было офицерские семьи и жизни.

УЗНИК ЛУБЯНКИ, УЗНИК БУТЫРОК. 1930–1931

Возвращаясь с тестем за полночь, он увидел двух солдат у двери, всё понял. Солдаты попросили пройти внутрь квартиры. Там было ещё несколько военных — шёл обыск. Есть ли ордер на обыск? Есть, есть, за этим дело не станет. Ордер № 2451 от 27 января 1930 года за подписью Мессинга, ни много ни мало заместителя председателя ОПТУ. Производит обыск Вунштейн, комиссар оперативного отдела.

1

Велено было сесть в центре комнаты под люстрой (о чём он только ни передумал в те минуты, часы, а свет люстры горяч, жесток, наполнен равнодушием; двенадцатирожковая бронзовая люстра с бронзовыми блюдцами-подставцами, с фарфоровыми листьями и бесчисленными хрустальными висюльками сияла, исходила светом, такого зловещего искусственного света он больше никогда не увидит!), ему ни с кем нельзя было разговаривать, подходить к нему тоже было нельзя.

Так как дом на Воздвиженке переназначался будущей кремлёвской больнице, при обыске присутствовал дежурный по комендатуре Санитарного управления Кремля, понятыми были приглашены Г.Р. Капнист и Е.К. Бесядовская, жильцы-соседи, которые беззвучно всю ночь просидели по углам. Всю ночь длился обыск. В семь утра кабинет опечатали, на печати — цифра 55. Снесарева буквально в мгновение ока увезли в великую неизвестность.

Оцепенение Евгении Васильевны сошло — только захлопнулась дверь. Мозг и память быстро перебирали знакомых, соратников, друзей. Тем же часом наказала дочери поспешить к Павлу Павловичу Сытину. Сокурсник и товарищ Снесарева по Академии Генерального штаба, во время Гражданской войны он был военруком Южного фронта, где у него со Сталиным загорелся нешуточный конфликт, причём не Сытин, а Сталин был удалён с Южного фронта. Такие вещи не забываются, тем более политическими вождями, и просить помощи у Сытина было если не опрометчиво, то особо не надеясь. К тому же он был уже не у дел — всего лишь на преподавательской работе. Но он был не только порядочный человек, помнивший кодекс офицерской чести, но и весьма повидавший на своем веку, многоопытный и

разумный человек, и Евгения Васильевна посчитала за верное посоветоваться прежде всего с ним. Он, происшедшее приняв близко к сердцу, действительно подсказал, с чего начать, куда обратиться, с кем встретиться.

Начались поиски по тюрьмам Москвы. Наступила пора больших арестов, и к крохотным оконцам тюремных справочных бюро выстраивались длиннейшие очереди беды. Ответ был изо дня в день один и тот же: «У нас не значится». Евгения Васильевна побывала во всех вероятных зарешеченных точках, всюду, как на шип, натыкаясь на неизменный ответ: «У нас не значится».

Через месяц справочная внутренней тюрьмы на Лубянке ответила: «Он у нас».

Снесареву было предъявлено обвинение по статье 58, п.п. 4, 8, 11 Уголовного кодекса. По делу № 546836 он был обвинён и признан виновным в том, что он — из основных зачинщиков контрреволюционной организации бывших офицеров царской армии, что, будучи одним из главных в контрреволюционной монархической организации «Русский национальный центр», ставившей своей целью свержение советской власти, с 1920 по 1926 год деятельно в ней участвовал.

Семнадцатилетняя дочь с юным, безобманным чувствованием происходящего, человеческих правды и фальши, в своих воспоминаниях не только описывает хлопоты и тяготы, но и… благодарит. Благодарит всех, помогших семье в трудный час.

«…Мама всё время куда-то ходила, к кому-то обращалась, где-то хлопотала. Была, конечно, полная растерянность. Многие побаивались навещать, иные считали, что это временное недоразумение. Ученик Андрея Евгеньевича — Александр Андреевич Губер, востоковед, пытался предотвратить гибель “Этнографической Индии”… ходил по власть имущим чинам и предлагал всякие варианты: что-то вставить, написать марксистское предисловие, составить индекс… Однако набор был рассыпан.

Подобрались и материальные трудности. Зарплату платить перестали. Единственные регулярные деньги — 70 рублей персональной пенсии, которую получал дедушка. Обратились с просьбой ко всем друзьям и знакомым о подыскании нам работы на машинке. Первую работу нам принёс в начале февраля ботаник Сергей Иванович Матвеев. Я и сейчас помню латинские названия некоторых цветов. С этого момента машинка сделалась неотъемлемой частью нашей жизни…

Геню исключили из коллегии защитников и посоветовали уехать из Москвы. Он уехал в Гудауты юрисконсультом. Кире

дали окончить Институт востоковедения. К весне 1930 года у него стала подниматься температура и он начал покашливать. После многочисленных обследований горла и лёгких был установлен диагноз: в очень скверном состоянии миндалины, дают инфекцию всему организму, вызывают температуру, необходима операция. Операция была сделана, температура понизилась. И тут ему предложили место экономиста в далёком Сталинабаде. Таджикская столица в эти годы представляла собой сплошной постоялый двор и стройку; люди приезжали, уезжали, переводились в район, из района в город, трудно было получить комнату. Кира со своей женой Натой то жили за занавеской, то в проходной комнате, то в кухне, то просто под открытым небом. Было непривычно и трудно, и всё было очень дорого. Вдобавок он подхватил лихорадку паппатачи, как её именовали здесь. Лихорадка осложнилась воспалением горла, не совсем зажившим после операции. Воспаление перешло в туберкулёз горла, затем туберкулёз вспыхнул в лёгких. Кира возвратился в Москву…

Конечно, нам помогали. Из Ленинграда аккуратно присылал 50–75 руб. двоюродный брат Костя (Константин Степанович Стефанов, старший сын тёти Веры). Занятия мои с А.В. Неждановой прекратились, но я знаю, что великая артистка не раз через племянницу оказывала нам денежную помощь. Остался неизменным в дружбе и сочувствии А.Н. Де-Лазари; его дочь Долли храбро бывала у нас… С.С. Рябкова, подруга мамы по институту, её дочери Таня и Ляля всегда навещали нас. У Тани у самой был арестован жених, и мы часто стояли в очереди, подменяя друг друга, чтобы отдать передачу в Бутырки. Дядя Саша (Александр Иванович Путилов) был тоже неизменной поддержкой. Большая моральная поддержка шла от Александра Ивановича Тодорского. Он был начальником военно-учебных заведений РККА. Он никогда не отказывал маме в приёме. Он и сам пытался что-то сделать, в чём-то помочь. Я знаю (он сам мне рассказывал об этом много лет спустя), что он говорил о папе в высших сферах командования, поручался за него, утверждал, что он невиновен. Тодорский хорошо знал папу; в 1924–1927 годах он часто встречался и беседовал с ним, т.к. учился в Военной академии и был адъюнктом папы… Между прочим, о Тодорском очень высоко отозвался Ленин как об авторе книги “Год с винтовкой и плугом”. Я думаю, что все хлопоты мамы шли по его совету и под его руководством…

Только дядя Павлуша, младший брат папы, ни разу не поинтересовался, ни разу не протянул руку помощи. Мы его больше никогда с тех пор не видели… Конечно, дом наш стал считаться опасным, он умолк, нахмурился».

2

А преобразование дома на Воздвиженке из академического в кремлёвско-больничный подвигалось с завидной скоростью. Каждодневный ремонтный гул не стихал до позднего вечера. Начали долбить стены под квартирой Снесаревых. Какие-то, видать, несущие балки обрушились, пол в детской комнате вдруг отделился от стены и образовалась едва не метровая продольная дыра вдоль стены. Зловещие реальность и предзнаменование! Стол, шкафы, кровать заскользили по наклонному полу, что-то улетело вниз. Поскольку опасный надлом случился на глазах у распорядителя работ, немедля поставили подпорки; мебель переволокли в центральную комнату. Евгения Васильевна обратилась в ОГПУ, прося снять печать с кабинета мужа. Через несколько дней комнату распечатали…

К концу лета 1930 года на Зубовской площади в доме 1/2, на втором этаже, в помещении аптеки, перед тем куда-то перемещённой, семье Снесаревых была выделена квартира под номером семнадцать. Дом задним фасадом выходил на Зубовский бульвар, а квартира — большая, пятикомнатная — окнами глядела на площадь. Оттуда тугой волной накатывал беспрерывный гул, так как площадь была замощена булыжником. Стихавшая было ночь ещё более угнетала гулким грохотом изредка проезжавших телег, после каждой напряжённым нервам приходилось ждать, когда же следующая? В доме находилась булочная, было много крыс.

Спешное переселение выдалось тяжёлым и не без потерь. Тяжелей всего было перевезти библиотеку, уложенную в огромные ящики.

Помогали родственники-мужчины. В те дни появился как-то ниоткуда некто Галинин, то ли студент Института востоковедения, то ли доверенный товарищ известного политического ведомства. Он быстро освоился, помогал в погрузке-разгрузке, и лучше бы не помогал: перед входом в квартиру, неловко пошатнувшись, уронил и разбил большое трюмо, у семьи сердце суеверно сжалось от тяжёлых предчувствий.

Нужда заставила продать дубовый, по-старинному импозантный кабинет Андрея Евгеньевича. Не враз удалось сбыть. Стоило времени продать массивные стулья, обитые чёрной кожей, с резными геральдическими львами, венчавшими спинки, огромный диван, огромный стол: в Москве становилось всё теснее, и большую мебель трудно было втиснуть в многолюдные комнаты.

Устроиться по-хозяйски в новой квартире так и не удалось, некоторые ящики с книгами остались неразобранными до переезда в Кусково; слишком жестоко замешивалось время!

3

17 апреля 1930 года жена Снесарева шлёт наркомвоенмору Ворошилову письмо-ходатайство: «Мой муж, профессор Андрей Евгеньевич Снесарев, уже почти три месяца как арестован. Совершенно не зная за ним какой-либо вины и не имея возможности выяснить причины его ареста, обрашаюсь к Вам, как к Главному Начальнику и кроме того лично знающему моего мужа, с просьбой об ускорении разбора его дела и его скорейшей реабилитации как человека, с первых дней Октябрьской революции добровольно поступившего в ряды Красной армии и принимавшего активное участие в её организации». То, что они лично знакомы, — может, и не в строку лыко: упоминание о знакомстве, сразу вставал перед глазами Царицын, могло быть не совсем по душе наркомвоенмору. Но далее письмо являет вид вполне убедительный и информационно и эмоционально. Кратко излагаются послужные вехи мужа, затем — бедственное положение семьи из девяти человек, оставшихся без кормильца, и заканчивается письмо по всем канонам лояльности и почтительности: «Надеясь на Ваше доброе и беспристрастное отношение к судьбе моего мужа, ещё раз прошу не отказать в проявлении Вашей гуманности к его семье принятием участия в скорейшей ликвидации этого тяжёлого недоразумения».

Отдадим в данном случае должное Ворошилову. Он лично и, как водилось, «совершенно секретно» обращается к заместителю председателя ОПТУ тов. Ягоде: «Посылаю копию письма, полученного мною от жены проф. Снесарева. Я думаю, что целесообразно поставить вопрос о его освобождении, принимая во внимание его старость, а также то, что проф. Снесарев работает над окончанием своей важнейшей работы об Индии. Прошу не отказать сообщить мне Ваше мнение и решение. Об освобождении можно говорить, разумеется, если вина Снесарева не столь велика, а роль в раскрытой организации не являлась первой». Прекрасно зная нравы карательно-сыскного ведомства страны и его руководства, Ворошилов в последнем предложении прибегает к союзу «если», в душевном порыве, исходя из послужного красноармейского пути Снесарева, полагая, что его антисоветская роль никак не может быть первой.

Представляется маловероятным, чтобы о письме Снесаревой Ворошилов не сказал Сталину. Вопрос в другом — когда

появилась судьбоопределяющая, никем не могшая быть оспоренной записка Сталина о замене Снесареву высшей меры десятью лагерными годами. В августе тридцатого года ему был вынесен смертный приговор, а через год — снова смертный приговор, и нереально представить, чтобы сталинское мнение не стало известно приговорщикам или, тем более известное, не было принято как предписательное, приказное. Или то были приговоры на устрашение и слом личности, а карательное ведомство, конечно же, знало, что расстрела не будет?

Вскоре было направлено заявление Е.В. Снесаревой и секретарю ЦИК страны А.С. Енукидзе — она просила ускорить разбирательство дела, уже почти полгода находящегося в заключении ни в чем не повинного кормильца семьи. Это письмо и вовсе оказалось безрезультатным криком в пустоту, поскольку ответа не последовало, а смертный приговор не заставил себя ждать.

Евгения Васильевна подала заявление на имя замнаркомвоенмора И.П. Уборевича, тогда весьма популярного и влиятельного, но чуждого Снесареву и, что прискорбней, считавшего подследственного генерала и профессора чужим — голосом отжившего времени. И у него-то несчастная женщина просила заступничества! На её заявление была наложена резолюция: «Снесаревой. Ввиду невозможности помочь, Ваша просьба осталась без последствий, о чём просил Вас поставить в известность тов. Уборевич. 28/VIII-30 г.». Порученец подпись свою на всякий случай оставил неразборчивой.

С просьбой пересмотреть дело Евгения Васильевна обращается в высшие инстанции страны, шлёт письма и телеграммы, пытается достучаться к Смидовичу, к Крыленко, который хорошо знал Снесарева по своим памирским экспедициям, снова и снова встречается с Тодорским, Будённым. Ничего не помогает.

Тогда она телеграммой обращается к Сталину: «Прошу приостановить приговор мужу проф. Снесареву, лично Вам известному. Подробности письмом. Снесарева».

4

Нешутейная, не оставляющая и скромных надежд на долгую почтенную старость улика: Русский национальный центр — РНЦ, он же Русский национальный союз — РНС (Ренессанс — так будто бы сами участники именовали организацию) — монархическая организация из офицеров и учёных, якобы организованная Брусиловым, после его смерти якобы возглавленная Снесаревым и

учёным-экономистом Озеровым.

(Имя Ивана Христофоровича Озерова (1869–1942) уместно вспомнить здесь хотя бы несколькими строками. Самородок, сын крестьянский, выпускник, как и Снесарев, Московского университета, профессор Петербургского университета, автор книг с пророческим заглядом и в нынешний день: «Развитие общечеловеческой солидарности», «Отчего Америка так быстро идёт вперёд», «Очерки экономической и финансовой жизни России и Запада», «Русский бюджет», «Как расходуются в России народные деньги», «Куда идём? (Итоги экономического развития XIX века)», «На новом пути к экономическому освобождению России» — эти книги и сегодня во благо прочитать не только отечественным экономистам, но и общественно-политическим верхам. Арестованный в 1930 году, Озеров, как и Снесарев, приговаривается к расстрелу, заменённому Северными лагерями и Соловками на десять лет. Но уже в тридцать третьем году Соловки выдающегося экономиста так доконали, что его — редкий случай — отпустили-направили умирать… в Воронеж. Через три года — случай ещё более поразительный — его полностью реабилитируют, и он возвращается в город на Неве. Писатель Корней Чуковский, познакомясь с Озеровым, «старым, больным, но неугомонным человеком», не без уважительного удивления заметит: «Он полон всяческих цифр, диаграмм и может, не сходя с места, ошарашить вас десятками всяких таблиц, характеризующих рост нашего хлопководства, нашего сельского хозяйства, нашей промышленности». Но огромный финансово-экономический талант его не был востребован. Последние годы некогда первый экономист России доживал в доме престарелых для учёных.)

13 августа 1930 года Снесарева приговорили к высшей мере, заменённой на 10 лет исправительных лагерей, с конфискацией имущества и высылкой семьи из Москвы, о чём ему и было объявлено через четыре месяца. Но репрессивная карусель раскручивалась далее. Был взят и основательно, пристрастно и прицельно, как только умеют органы, допрошен начальник военных железнодорожных сообщений Украины Сергеев; прицельно — по Снесареву. Учёный и генерал был слишком значительной фигурой, чтобы поставить его только во главе мирной организации враждебных власти учёных. Сергеев, бывавший у него в гостях, на встречах георгиевских кавалеров, дал показания, в которых имя Андрея Евгеньевича высвечивалось в контексте «контрреволюционности». По новому делу № 554672 ему было предъявлено обвинение в том, что он является одним из активнейших организаторов военной контрреволюционной

организации бывших офицеров. 18 июля 1931 года он был вторично приговорён к высшей мере по статье 58, пп. 4, 7, 10, 11 (здесь уже один пункт добавился). И опять замена расстрела на исправительно-трудовые лагеря, все те же десять лет.

5

«Клим! Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10-ю годами. И. Сталин» — всё-таки когда именно срабатывает знаменитая теперь сталинская записка?

Судя по записке, Ворошилов обращался к Сталину с просьбой облегчить участь их царицынского, пошедшего наперекор им знакомца. Косвенное подтверждение — вторая, сопутствующая сталинская записка, зовущая Ворошилова в Большой театр, куда Сталин ушёл в попытке избавиться от усталости и тяжких дум, и свидетельствующая о том, что между ними отношения не переставали быть дружескими. К друзьям же незазорно обращаться с вопросами неудобными, раздражающими.

6

Снесарев, арестованный как якобы один из руководителей монархического Русского национального союза, среди первых и главных проходил и по делу «Весна» (продолжавшему и завершавшему «Дело генштабистов», 1930–1932), когда тысячи генералов и офицеров были арестованы, брошены в застенки и тюрьмы НКВД (ОПТУ), среди них и хорошие его знакомые — известные фамилии, военные соратники, друзья. (Кожинов справедливо полагает, что именно тогдашние репрессии нанесли наиболее тяжкий ущерб нашей армии, и в своей замечательной книге «Великая победа» из множества тогда пострадавших выделяет фамилии Снесарева, Свечина, Егорьева как выдающихся теоретиков и практиков военного дела.)

В том же тридцатом стало раскручиваться и так называемое «Академическое дело», где арестованными оказались историки Платонов, Греков, Тарле, Бахрушин, Любавский (как и Снесарев, родившийся в семье священника, написавший, как и Снесарев, географический, близкий к геополитическому, национально значимый труд).

А в тридцать третьем закрутилось «Дело славистов», или «Российской национальной партии», по которому проходили крупнейшие деятели отечественной науки Н.Н. Дурново, Г.А. Ильинский, М.Н. Сперанский, А.М. Селищев, В.В. Виноградов, П.Д. Барановский, В.С. Трубецкой; среди арестованных и

приговорённых были также архивисты, писатели, искусствоведы, реставраторы, музейные работники.

7

Всюду слово «русский» — как угроза большевистскому режиму. Здесь невольно вспоминаешь Брусилова и Снесарева. Брусилов, кому боевыми соратниками прощён грех побратимства с Керенским, видел, что новая советская империя, которой он тоже присягнул, строится на небывалых прежде в истории жертвах. Он наивно пытался уверить себя в том, что «непроизвольная неуловимая духовная пропаганда, невольное влияние наших людей, привычек, взглядов неминуемо отразятся на рядах Красной армии… Необходимо было влить в ряды их противовес, естественный национальный элемент, и под шумок парировать развращение русских наивных запуганных парней. Это могло бы сделаться само собой, духовными флюидами, силой духа, даже без всякого определённого заговора… Пусть для этого необходимо было надеть красную звезду, наружно, но чтобы её сбросить и заменить крестом, нужно было быть тут, на Родине».

Вот и оставались они на родине, надеясь, веря и… попадая под расстрел или в лагеря.

Снесарев, убеждённый стоятель за духовную русскость, только через восемь месяцев зарешеченного узилища и изнуряющих допросов и после того как ему следователями были предъявлены свидетельские показания Сергеева, в которых характер собраний георгиевских кавалеров, проходивших на квартире у Снесарева, утверждался как враждебный советской власти, даёт признание в своей «контрреволюционной» деятельности; признание — с достоинством: «После смерти Брусилова, который связывал с моим именем контрреволюционные надежды, я как двойной георгиевский кавалер бывшей армии, как основоположник нашей Военной академии, как лицо, вообще пользующееся авторитетом и по своей учёности, и по своим личным качествам, и, наконец, как человек, имеющий европейское имя, считался одним из его преемников как по руководящей позиции, так и по тем надеждам, которые с ним связывало контрреволюционное офицерство». Это слова от 21 октября. А уже через день, 23 октября, Андрей Евгеньевич вынужден подписать явно не его стиля, скорей всего, ему надиктованные строки с указанием «сообщников», каковыми выступают преподаватели Военной академии Надёжный, Свечин, Бесядовский, Сухов, Голубинцев, Певнев, Владиславский, Смысловский и ещё несколько человек «со стороны», трое из

которых — умершие.

Получалась коллизия, психологически и нравственно чем-то напоминавшая следственный процесс декабристов (мятежно-офицерское, попирающее традицию присяги, фрондистское движение декабристов — для солдат-крестьян обманное, глубоко трагическое. Но сами декабристы, во всяком случае многие из них, были людьми дворянской чести. Руководствуясь понятиями чести и правды, субъективно порядочные, они и пытались отвечать по правде, не оговаривая товарищей, но называя их и невольно обращаясь к их образу мыслей. А большего и не требовалось следственной комиссии.) И вот сто с небольшим лет спустя… Были собрания георгиевских кавалеров? На его квартире? И произносились противосоветские речи? И присутствовали?..

После внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке Снесарев испытал и Бутырки, и Таганку.

Долее всего он провёл в Бутырской тюрьме. Народу в камере, куда его определили, было подобно пресловутой сельди в бочке, и самого пёстрого: офицеры, священники, архиереи, студенты, инженеры, уголовники. Последние оказались не на главных ролях, их было меньше, и, видимо, более интеллигентные оказались духовно сильнее. Все, кто мог поделиться какими-нибудь знаниями, читали лекции, вели беседы, делились воспоминаниями. Андрей Евгеньевич рассказывал об Индии, о путешествиях по Азии, о войне в Карпатах и благодаря знаниям стал самым уважаемым человеком в камере, равно уважаемым и образованными политическими, и неграмотными уголовниками. Камера превращалась в аудиторию, которая напоминала столетней давности академию декабристов в Читинском остроге. В один из таких заполненных беседами июльских дней не стало спалённого туберкулёзом сына Кирилла. Снесарев рассказывал о гибели офицера в Карпатах и вдруг в миг смерти сына словно запнулся. Но затем продолжил, будто исполнял долг. О смерти сына он узнал много позже.

26 сентября 1931 года семья Снесаревых получила открытку: «Дорогая Женюра, приходи на свидание 28 сентября в бутырский изолятор. Приноси деньги и вещи. Целую. Андрей. 22/IX-31». Свидание состоялось в последний день сентября. Поехала почти вся семья. Стояла холодная ветреная погода, лил дождь. Прибывших отделяли от заключённого две решётки, между которыми, как маятники, туда-сюда двигались два охранника. Народу было тьма-тьмущая. Все кричали, было плохо видно и плохо слышно. Свидание длилось четверть часа. Жена узнала, когда будет отправляться этап и пробралась с дочерью на

Октябрьский (Ленинградский) вокзал. Была глубокая холодная ночь, поезд стоял под парами на дальнем пути. Серо одетых людей с мешками вели к поезду. Среди них был и Андрей Евгеньевич. Жена и дочь стали кричать ему, он помахал рукой, но едва ли он видел их…

А в деревне русской успешно продолжался великий перелом — перелом крестьянства, перелом тысячелетнего русского хребта. Старая Калитва — снесаревская родина, тягостно помнившая свой мятеж десятилетней давности и жестокость, с которой он был подавлен, под цепами и цепями коллективизации необратимо теряла облик богатейшей, когда-то цветущей слободы.

СВИРСКИЕ ЛАГЕРЯ. 1931–1932

Пять суток тащился состав от Москвы в северном направлении, до небывалого в Российской империи, но реального в Советской стране подгосударства Свирские лагеря, тащился невыносимо медленно, будто понимая, куда везёт людей, и жалея их. Вагонный отсек, по счастью, не был переполнен: дюжина человек — не то что несколько десятков заключённых в одной коробке, бывало и так. Ветка Мурманской железной дороги тянулась до Курмана, где 3 октября 1931 года их и высадили для исполнения приговора — воспитываться трудами в назначенных лагерях. Военный деятель Снесарев, профессор-философ Лосев, профессор-психолог Петровский, архиепископ, ректор Московской духовной академии Поздеевский, священник Воробьёв и ещё двое служителей церкви, столяр Матюхин, да ещё крестьянские пареньки, им едва исполнилось семнадцать, молчаливые и отрешённые, словно теперь, когда их выдернули из бедной деревни, оторвали от родных и от нивы, жизнь потеряла для них всякий смысл.

1

Длилась, длилась крестьянская голгофа! А 1931 год выпал тяжёлым, нервным, приговорным и для военных — для перечисления их, арестованных, потребовались бы страницы и страницы; скоро военные соратники окажутся в тех же лагерях, что и Снесарев.

Станция Свирь, посёлок Гришине — административный центр Свирских лагерей, в двух десятках километров от Гришина — посёлок Важино, а в двух километрах от Важина — лагерь в деревне Олесово, куда были определены профессора и священники «октябрьского заезда».

В начале января 1932 года Евгения Васильевна выехала туда. И всего-то менее полусуток дано было на встречу с мужем, для чего понадобилось дважды выходить из поезда: сначала на станции Лодейное Поле, чтобы получить разрешение, затем на станции Свирь, оттуда ещё несколько часов добираться до Гришина, да ещё вёрсты и вёрсты до Важина. Жена привезла с собой не столько еды, сколько всякой всячины, чтобы муж мог представить, чем и как занимаются дети: тетради по математике и русскому, чертежи, школьные сочинения, дочерины поделки и рисунки.

По возвращении она зачитала детям письмо-напутствие отца:

«…Вы уже большие, вам уже многое становится яснее, положение наше… — для вас теперь открытая книга. Скорее становитесь на ноги, учитесь прилежно, работайте упорно… Вы не дети генерала, путь которых был усеян розами, ваш путь должен быть усеян трудом и потом… каждый ваш шаг вперёд несёт мне покой и надежды…»

В зимние и весенние месяцы Снесарев мытарствовал в посёлке Важино, в деревне Олесово, в палатках ютились когда двенадцать, а когда и двадцать заключённых. Работал он сторожем на посту № 1. (Ирония судьбы — нарочно не придумаешь: на долгие годы пост № 1 — у Мавзолея на Красной площади.) Оказалось, в стране были и иные посты под цифрой один — и военные, и гражданские, и лагерные, подчас комичные по своей незначительности, а то и ненужности. Таковым был и пост такелажных складов, где Снесарев был ответствен за… три десятка цепей, восемь якорей, несколько десятков брёвен и досок. После четырёх часов дежурства его сменяли Лосев или Ульянов, но часто с задержками, норовя сбросить часть своего дежурства на всегда и во всем ответственного Снесарева. Что ж, можно было понять. Ведь Лосев не знал про посты на войне. Не проверял их, как Снесарев. Не устанавливал посты на памирской границе. Он был значителен другим.

Нередко Андрея Евгеньевича назначали вести учётные дела. Когда по реке Свирь сплавляли лес, приходилось учитывать работу задействованных бригад. Бывший профессор статистики справлялся быстро и безошибочно. Материалы должны были стекаться в Гришине, а сведения надо было получать по лагпунктам Погост, ещё один Погост, Купецкий, Екунда, Кыягинино — это лагеря, растянутые на два десятка вёрст. В путешествиях под дождём, под снегом, в пургу, в ножевой ветер встречал Владиславского, Лигнау, Сегеркранца, Бесядовского — все профессора Высшей военной академии. С иными дружен был на войне, с иными знаком был даже до войны, но при встречах они не вспоминали ни о войне, ни о лубянско-бутырском сидении и следствии.

Сдав материал в аттестационную комиссию учётно-распределительной части, он заступал на сторожевой пост.

2

В апрельскую холодную ночь милая, лет девятнадцати девушка ехала в полутёмном вагоне всё дальше от Москвы. Тьма к северу всё глубже, всё дольше. Проехала Лодейное Поле — здесь мутно посветили редкие привокзальные фонари. А за

городом — во тьме пространств — масса огоньков, словно древняя рать расположилась на поле в ожидании утренней сечи. Девушка спросила у бессонных печально-молчаливых попутчиков: «Подъезжаем к большой станции?» Ей ответили, что это в чистом поле сосланные кулаки пытаются согреться — костры поразожгли…

В тот же день Снесарев запишет в тёмно-зелёном дневнике: «Маленькое шило и плясунья выработалась в серьёзную девушку, трудоспособную, умную, тактичную и полную детской свежести… Каково-то выйдет твоё будущее, дорогое дитя? У тебя есть шансы и право на счастье и ты его заслуживаешь… Счастлив тот, кто назовёт тебя своей, хотя он горько поразит и обездолит одно существо… Из бедняка духом, из нищего сведениями и растерянного от неведения я обратился в миллионера…»

Дочь расскажет отцу, как в декабре 1931 года на её глазах был взорван храм Христа Спасителя, как он своими куполами словно бы приподымался и застывал недвижно в небе, как рассыпался, устремляясь к земле, какая пыль стояла над Москвой, какая пыль простерлась над страной…

Спустя полвека храм заново отстроят, но не дано воссобрать вновь былой дух, как не воссобрать те медные и серебряные гроши, которые вся крестьянская, вся национальная Россия вносила на воздвижение его. Всё же он не воскрешённый, а заменённый. Может, вернее бы отвечал сути всего случившегося с Россией предлагавшийся художником Селиверстовым проект — в доподлинных размерах образ храма-символа, металлический сварной золочёный каркас, через перекрестья которого на стометровой высоте грешникам земли открывалось бы вечное небо.

(В храме Христа Спасителя мне выпало бывать и на богослужениях, и на Всемирном русском народном соборе. Но ещё раньше, нежели я побывал в храме, там звучало песнопение на мои стихи «Ангелы летели над Россией».)

Евгения пробыла на лагерной территории шесть дней, встречаться ей с отцом не препятствовали, хотя «бумажного» разрешения так и не выдали. Каждая встреча была как миг и как вечность!

«Она встречает меня… душа меня в своих объятьях… Был ли кто так ей дорог, есть ли теперь? Думаю, что нет: папка властно господствует в её свободном сердце и гуляет в этом просторном чудном дворце, незаменимый и никем не удаляемый. Я с ней беседовал об интимных вещах и нашёл, что она ещё ничего не переживала. Она говорила спокойно, несколько стесняясь… она моя гордость и надежда… Она понесёт другую фамилию (а

может, и нет), но она продолжит мою душу и нервы, мой облик, пока я бессмертен только ею… Да, кроме папки, у неё пока никого нет. Какая разница с мальчиками! Как глубоко и нервно я люблю тебя, моё дорогое дитя…»

Впечатление от встречи с дочерью, исполненной молодых надежд, сердечности, редкой, беззаветной чуткости, готовности самопожертвования, помогло выдержать неожиданный вслед за отъездом дочери удар. Телефонист сообщил ему: «У вас большая потеря», — и его как молнией обожгло: он почувствовал, что Кирилла, его чистого сердцем и благородного сына, уже нет в живых. Дочь, щадя отца, не стала сообщать страшную весть.

В жестоком мире не редкость, когда плачет старый человек. Даже если он был отважный воин. Он плакал оттого, что чуть не втрое годами пережил сына, что не смог с ним быть в последний сыновий земной час и перекрестить его для жизни вечной, плакал долгими затяжными слезами, не хотевшими кончаться, как и дождь над Свирью.

В воскресенье он уходит в «командировку» — идти надо за двадцать вёрст, а дождь льёт, словно в дырявую осень. Непролазная грязь. Поскольку непогода — владычица здешних мест, обувь — великая ценность. Нередко разувают одних, чтобы отправить в путь других. С горечью Снесарев замечает: «Главное, конечно, непролазная беднота, о которой так презрительно отзываются англичане… Хорошо или дурно, но у нас осуществлён социализм и его природу можно изучать воочию, хотя, конечно, с известными поправками. Мы живём кучной семьёй, лик наш потерялся или, точнее, потонул в море трудовых и политических интересов, пища наша общая, питают нас по мере нами зарабатываемого (разные трудовые нормы), мы та же фабрика… чем не социализм?.. Мы голодны, а ведь Дуров каких только животных не приручает голодом… Мы страшно все тоскуем по семьям, и за лишнюю весть домой мы готовы многим поступиться».

И это говорит высокой чести генерал! Хождение по грязи. Бедные деревни… Погост, раскольничье Княгинино, снова Погост… Названия-то какие — поэзия, старина и смерть! Правда, на его же пути — и менее поэтичные Кинецкое, Ульино, Гришине, ещё менее поэтичные Екунда, Каягино, Пичино… да суть у всех одна: большой лагерь, подневольное существование, светлым музам здесь делать нечего. Погода столь же весенняя, сколь и осенняя, с неба низвергаются хляби мыслимые и немыслимые.

Андрей Евгеньевич грустно видит нагромождение порухи там, где были строгие уголки русской жизни. Перед глазами — раскольничье, старообрядческое село Княгинино, под ударами

лагерного, даже не технократического молота теряющее свою строгую поэтичность, суровую душу, трудовую страду в окружении разнородного спецпереселенчества, часто далёкого от настоящей истовости в труде и молитве… И он, видевший старообрядцев в детстве в Области войска Донского, позже на западных землях Российской империи, за границей, и читавший о сильных, честных натурах купцов и предпринимателей из старообрядцев в поэтическом сказании Мельникова (Печерского), и встречавшийся с ними на деловых берегах — раз за разом думает не только о живокричащем, предглазном великом переломе крестьянского мира в тридцатых годах, а о переломах русской жизни в её историческом протяге. Переломах, начало которым положило Киевское всерусское крещение на Днепре, благодатное но и суровое (какие поэтические, эстетические памятники и верования тонут в реке, сколько стирается, сжигается памятников культуры!); потом — монгольское кровавое, столь долгое по всей Руси прошитьё: потом — Никонианское вторжение в «древлее благочестие», вторжение, может, и вынужденно-необходимое, назрелое, но сделанное наспех, революционно, директивно; ещё — Петровская вздыбка целой Руси — прорубка окна в Европу, и бездонная прорубь, в которую низвергаются миллионы подданных; ещё Второ-Александровские реформы — буржуазные, сверхбуржуазные. И как венец — февраль семнадцатого года и чреда разрушительно-устроительных большевистских лет…

«Спотыкаясь… я добрёл до экспедиции… потом я тронулся на базу, где нашёл Сегеркранца и Фухса (Александра Исааковича, московского домовладельца и промышленника, маленького еврея в больших очках, человека доброго и простого)…

Путь был ужасен, дорога невообразимо грязна, лил непрерывный дождь. Предстояло идти дорогой холмистой, похожей в профиле на пилу… Я вынес что-то ужасное: скользил, проваливался в снегу и воде, балансировал, обходя ручьи и болота, раза два падал, а сверху меня мочил дождь, и моя шуба, и без того тяжёлая, становилась всё тяжелее и тяжелее… На моё счастье версты 3–4 меня подвезла женщина, ездившая в Важино на врачебную комиссию… На пути она думает в Екунде купить картошку. Сегодня она ничего не ела и говорит об этом, как о чём-то обыденном. Вот дети с их просьбой хлеба волнуют её неизменно. Она не знает, откуда это явилось, что такое случилось с нашей землёй».

Он остановился у знакомого — Николая Герасимовича, который скорбит о судьбе деревни, порухе её уклада, в колхозы не верит. Рассказ его о деревне скорбный…

Ранним утром двинулся в дальнейший путь. «Мои английские боты сыграли свою роль… Если бы не их тягость, боты были бы идеальной обувью». Забавный штрих: «англонеприязненник» пишет в дневнике похвалу английским ботам, надёжным, хотя и тяжелоувесистым.

Через реку Важинку положены перекладины — для весенней связи меж берегами: непонятно почему административно-штабные точки, аттестационная комиссия и учётно-распределительная часть находятся на левом берегу, а палатки и столовая — на правом. Лучше всего связь между берегами зимою или летом на лодке, но горе тому, кому надо было идти вдоль Важинки или перебираться на другой берег и обратно во время ледохода, в весеннюю распутицу, в грязь. «Она не просто грязь, а яркое культурное явление… Интересно сопоставить организацию британской станции в Индии, там капитализация (дороги, телеграф, почта, здания…) места идёт в первую голову».

Отмечается в «северном» дневнике, что Россия далеко отстала от Англии — во всём практичной, во всём целесообразной, исходящей из векового принципа своего интереса. А Россия — во мгле, как сказал почтенный англичанин, писатель. И дневниковые записи про каждодневное — унылое, бедное, не дающее надежд.

Через день — снова поход за учётными данными. Прошёл три деревни. Остановился у того же Николая Герасимовича, как в собственном доме. «Настроение моё было тихое и удовлетворённое, хотя виденное в деревне (беднота, пьянство, ругань, дикие порядки, ведущие к разору…) вызывало во мне чувство большой тревоги. Не накануне ли наша страна пред каким-то большим крахом или несчастьем? Даже маленький удар (война, недород) для нас теперь невыдержим…»

3

Вскоре «начались дни, похожие друг на друга. Я дежурю с Лосевым (А.Ф.) и Ульяновым (И.И.) … В 4 часа я встаю легко и без еды или умывания двигаюсь на пост (в полверсте ниже по Свири, у её берега). Я должен стеречь 29 цепей, 8 якорей, несколько десятков “баланов” (больших брёвен) и несколько менее досок. Это такелажный остаток от старого большого достояния, постепенно гибнущий…»

Но даже на этом странном сбережении никому не нужного и гибнущего Снесарев по-военному исполнителен, ему претит нерадивость, ему нередко приходится перестаивать сверх положенного, поскольку его товарищи относятся к дежурству

спустя рукава. «Лосев много приличнее… Ульянов — типичный лодырь, последний умудряется ночью вовсе не бывать на дежурстве, и никогда не достаивает свои дневные часы. Как-то ему всё сходит с рук».

(Этот Ульянов недаром, видать, оказался носителем знаменитой фамилии; во всяком случае, поступил по-ульяновски, по-ленински, когда однажды в ненастную погоду не пойдя на пост, стал с пылом доказывать начальнику, что он не виноват, он, мол, предупреждал сменщиков, и надо выяснить, кто из них виноват.)

Виноваты, разумеется, оба: и Снесарев, и Лосев. Оба православные, оба с казачьими корнями, оба глубокие мыслители, и сердечная их мысль — о России, на кресте и без креста распинаемой.

Снесарев не имел никакой возможности познакомиться с книгой Лосева «Диалектика мифа», изданной в 1930 году полутысячным тиражом и тут же конфискованной. Но отзвуки от политических ударов по этой книге, развенчивающей и даже разоблачающей марксистско-ленинскую мифологию, могли до него долетать. И получалось, что они были родственниками и по духу, и по положению отверженных. Во всяком случае, Лосев, державшийся в лагере несколько легкомысленно-небрежно, уже побывал в долагерные дни на волосок от смерти и уцелел чудом: и впрямь на каком уровне, на каких форумах и какие длани обрушились на голову философа казачьего рода! На партийном большевистском съезде, шестнадцатом по счёту, для Кагановича не находится более важной задачи, как поведать неведающим большевикам о страшной крамоле, яде и динамите «Диалектики мифа»: «Последняя книга этого реакционера и черносотенца под названием “Диалектика мифа”, разрешённая к печати Главлитом, является самой откровенной пропагандой классового врага…» Далее драматург Киршон, выступая не на какой-нибудь областной писательской встрече, а всё с той же трибуны высшего партийного форума, гвоздя книгу и её «философские оттенки», не только вторит Кагановичу, но и, как подобает писателю, использует тонкие «художественные» средства, вроде: «А я думаю, что нам следует за такие оттенки ставить к стенке». (Самого Киршона поставят к расстрельной стенке в 1938 году, и сколь бы ни было печальным его ему безвестное будущее, время поупражняться в радикально провоцирующих художествах ещё есть.) Для поклонников творчества Горького также не самый благодатный штрих деятельности «великого пролетарского писателя» — он-то зачем решил поучаствовать в обрезании крыл вдохновенного и смелого мыслителя? «Профессор этот явно

безумен, очевидно малограмотен, и если дикие слова его кто-нибудь почувствует как удар — это удар не только сумасшедшего, но и слепого». Кажется, все такты — и художественный, и нравственный, и публицистический — изменяют писателю, если ещё принять во внимание, что Лосев в лагерях действительно слепнул, и слепнул катастрофически быстро.

Остаётся сказать о восприятии книги органами ГПУ — устроителями спецбыта и Лосева, и Снесарева, и родственных им великих людей Отечества. «Философы» из сурового спецведомства предельно чётки в своей справке-характеристике:

«В работах Лосева, особенно в его последних книгах “Диалектика мифа”, “Дополнения к «Диалектике мифа»”, правомонархическое, контрреволюционное движение получает развернутое идейное обоснование…

Основные положения “Дополнений” сводятся к следующему:

Вся история человечества есть история борьбы между Христом и Антихристом, богом и сатаной. Феодализм — высшая ступень в истории человечества, торжество бога; феодализм падает под ударами сатаны, дальнейшая история есть история развёртывания сатанинского духа. Ступени этого развёртывания — капитализм, социализм, анархизм. Историческим носителем духа сатаны является еврейство. Марксизм и коммунизм есть наиболее полное выражение еврейского (сатанинского) духа. Последним этапом воплощения духа сатаны будет анархия, неизбежно вытекающая из социализма…»

«Положения, характеризующие советскую власть, окончательно оформились под влиянием той агрессии, которую проявила советская власть в своей церковной политике последнего времени, в своём курсе на индустриализацию и коллективизацию».

4

«Идут страшные вести, — запишет Снесарев в дневнике за апрель 1932 года, — и, странно, особенно страдают богатые районы: Украина, Северный Кавказ, Приволжье… Цензура не может превозмочь народного письма (многословно, неразборчиво, скучно, наивно) и, вероятно, их не читает… Конечно, источник этих писем — покинутые, обездоленные и бесправные семьи — узок, страстен и односторонен, но…»

Но от фактов, от страшной действительности не убежать, не спрятаться, не заслониться газетными разворотами. В Приволжье, на Украине, Северном Кавказе, да и на Урале, да и на его родном, давно ли богатейшем Дону взрослые и часто дети пухнут от

голода и мрут, подчас вымирают семьями, села половинятся, как после страшной опустошительной войны. Деревни — бывшие кормильцы огромной страны — глохнут в бурьяне, пустеют, замолкают. Мор, как в дни Гражданской войны. И сколько физических и нравственных тягот и унижений для детства, поделённого на своих и чужих. Чужевраждебных! Снесарева поразил рассказ, как в одной раскулаченной, до нитки обобранной семье десятилетний сын, обутый в уцелевшие добротные сапожки, по пути в школу был встречен уже развращёнными подростками и со злыми усмешками: «а сапоги-то кулацкие» — был разут под одобрительное слово шедших мимо давно развращённых взрослых.

Коллективизация завершалась. Народ с тысячелетним крестьянским укладом стал как дерево с перерубленными корнями и поломанными ветвями. Крестьяне теряли крестьянское. Непокорные доламывались на Свири и в Соловках, на Урале и в Сибири, в бесчисленных гиблых лагерях спецпереселенцев. Уцелевшие всеми правдами и неправдами тянулись в города, где с распростёртыми объятиями их никто не встречал. Но и в селе уже нечем было зажечь семейный домашний очаг. Кроме разве новой молнии — новой революции, уже против самой революции большевистской.

Но не воплотились в жизнь, да и не могли воплотиться, идеи-предсказания из «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» выдающегося русского учёного-экономиста, писателя Александра Чаянова. Герой его повести, однажды прочитанной Снесаревым, сказочно переносится из 1921 года, из Москвы, где на митингах и сборищах в Политехническом зазывают лозунги «Разрушая семейный уклад, мы тем наносим последний удар по буржуазному строю», в 1984 год, в Москву, так сказать, крестьянского образца.

Герой «Путешествия…» узнает, что в 1934 году, после подавления элитарного путча, «имевшего целью установление интеллигентской олигархии наподобие французской», впервые был организован целиком крестьянский Совнарком, а съезд Советов принял антиурбанистический декрет о сносе городов численностью свыше двадцати тысяч жителей. Видя порядок и процветание, путешественник из двадцатых в восьмидесятые годы спрашивает, на каких новых основаниях сложилась русская жизнь после крестьянской революции тридцатых годов. Из восьмидесятых ему отвечают: «В основе нашего хозяйственного строя, так же как в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности… В нём

труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создаёт новые формы бытия. Каждый работник — творец, каждое проявление его индивидуальности — искусство труда».

Личность — труд — космос. Какая естественная и всеобъемлющая мысль, согласуемая и с учением Вернадского о ноосфере и в то же время исходящая из глубин народного уклада и фольклора!

А успешная в повести крестьянская революция? Свершись она — определился бы, надо думать, иной, бесконечно более разумный, нравственный, человечный путь страны — путь «крестьянской демократии», а значит, и путь общенародный. Но такая предсказанная на начало тридцатых годов крестьянская революция не свершилась. Наоборот, именно в начале тридцатых годов крестьянству был нанесен неисцелимый, погибельной силы удар. Славянский земледельческий народ был распят на бескрайних полевых и лесных верстах страны-голгофы.

…По весне 1932 года часть заключённых военных освобождена, надолго ли? Свирь тоже по-своему освобождается — сбрасывает льды. Снесарев, стоя на посту и наблюдая движение шумно шуршащих льдин, даже не заметил, как пробежали часы дежурства, зато отметил своеобразие местных рек: они не имеют разливов.

Иное дело Дон. Краешком памяти ему вспомнилась река детства в Воронежской губернии: как стоял он на круче у Старой слободы, а Дон разлился на километры, и под водами — пойменные луки и лесное левобережье. Эпические ледоход и разлив на Дону — тревожное, радостное воспоминание.

Но воспоминаниями здесь прожить не дают, и Снесарев с тоской думает, как неумолимо несёт рок почти обезбоженную страну, и если она хотя бы в чём-то похожа на северные лагеря, добра не ждать. Он уже не удивляется жестоким особенностям лагерного быта, но его мучает, что крестьянство и интеллигенция даже не пытаются постоять за свои права.

Тем более его радуют сильные, смелые и честные люди, которые, слава Богу, не переводятся на русской земле. В его палатку, избыточно наполненную узниками, подселили Вячеслава Дмитриевича Вир-ского из Ельца. Не без гордости помнит, что он, как и Снесарев, выпускник Алексеевского пехотного училища. При аресте и следствии безбоязненно изобличал следователей и власть, а на вопрос: «Агитировал ли?», отвечал беззаминочно: «Да». Снесарев сострадательно спросил: «Зачем вы это делали?» — на что бывший воин ответил: «Я рад, что сослан, стыдно как-то было оставаться».

Разумеется, на каждого апостола одиннадцать иуд, на каждое разумное начинание дюжина безрассудных, а каждое тихое пребывание здесь добрых Божиих созданий вытесняется неудельными, наглыми, крикливыми, даже и представительниц прекрасной половины рода человеческого: «До сих пор у нас были тёмные (женщины в тёмном), больше монахини, кулачницы, девотки, тихие, трудолюбивые. Вместе с последними этапами появились иного сорта женщины: короткие в обтяжку юбки, длинные чулки, красивые кофты, обнажённые бюсты, руки и ноги. У них короткие волосы. Они наглы, ругаются и к вечеру пьяны. Это сосланные публичные женщины. Они несут с собою новую обстановку, увлекают мужчин и вообще развращают массу. Обыкновенно женщины не ругаются, а эти превосходят самых ругателей-мужчин».

Позже он побеседует с бывшей монахиней Гликерией Черниковой. Глушей. Она, поставленная на стирку белья, так и останется монахиней. «Грязь отстаёт от неё, омываемая ручьём её прочного миросозерцания. “Мы и там трудились, этим нас не испугаешь, нас также никуда не пускали, нам только церкви не хватает”. Она из строгого монастыря и по сию пору в восторге от его порядков… Теперь к ним прибыли публичные, она говорит о них и с недоумением, и с сожалением, и с негодованием… Как важна религия в смысле государственной прочности и вынесения страданий».

5

Гнетущее впечатление, усугубленное перед тем украденным у него куском сала, оставляет у Снесарева первомайский день.

«Около 7–8 часов вечера под игру оркестра пошёл на пост… Оркестр играл до сумерек, один пароход был украшен фонариками. На реке шла какая-то суетня, вероятно, ловили плоты или брёвна, и слышалась ругань. Разговор всех прохожих касался речки, плотов, нужд… один только сказал про заутреню… Долго гудел колокол деревни Важино… Обстановка была далека от торжественных моментов, и только наплыв воспоминаний несколько её скрашивал. Мне было грустно и одиноко, грызла тоска по семье. Как-то они там проведут этот день?.. Около часу ночи меня сменил Лосев, и я пошёл. В палатке все спали, стоял обычный “тяжкий” дух… Оркестр с расстроенными инструментами, играющий шаблонные вещи, кусок кеты… Это говорило об убожестве административно-педагогической мысли, а главное, о тягчайшей нищете, прогноившей нашу страну и везде показывающей свои зияющие раны…»

Снесарев и здесь думает о трагедии страны, думает о педагогике, частной и общей, благодаря которой народ, его молодые поколения могли бы выжить. А кругом — гнусный быт: лгут, крадут, пьют. Партия проституток — именно партия. Но колокола ещё звонят.

Сразу после первого майского дня Андрею Евгеньевичу и его учёным сотоварищам по несчастью приказано перебраться в новую палатку — просторную, но к житью непригодную: без окон и дверей, без печи, лампы, рукомойника…

Он не то что возмущается, но его удивляет, что из угла в угол швыряют именно учёных, относительно которых есть определённый декрет: дескать, советское правительство не заинтересовано в дисквалификации своих учёных, и в ссылках они должны иметь возможность читать, писать, чертить.

Снесарев, Лосев… Ответственность за бревна и доски, несколько якорей и три десятка цепей. Разве что вечные цепи для нашего народа. А так никому не нужные якоря и доски, всё реально и чисто символически закрепляет и угробляет. А был ответствен за большие территории, за десятки тысяч солдат. За Россию!

Можно предположить, сколько бы эти два человека могли сделать, будь они не в лагерных условиях, объедини они усилия. Один бы сказал о геополитическом облике России и мира, а другой о красоте Античного мира и православном духовном величии России. С другой стороны, что может сказать стране и миру человек, не прошедший предельных испытаний! Разумеется, их проще проходить молодому, как Лосев. А в старости — надломишься и угаснешь в болезнях.

Два сторожа. Два великих человека. Иногда ответственный Снесарев не принимал нарочитых бесшабашности и неисполнительности Лосева, а тот был молод. Но он уже принял тайный монашеский постриг, ещё до ареста — он инок Андроник.

Хорошо, хоть не переселяли из лагеря в лагерь, но внутри Андрею Евгеньевичу приходилось в день, в ночь ли сменять свои обитальче-ские углы. Привели новых заключённых — опять надобно подвинуться, теперь — на чердак. Бестолковщина передвижений, переселений, перетасовок. После чердака снова перенаселённая палатка.

«Палата наша полна урок, а оттуда — шум, мат, болтовня, брань, нервность, пение, пляс… целый ад. Урку я теперь узнаю за версту, настолько он типичен. Он жесток, шумлив, нервен, по-своему самолюбив, хороший актёр, циничен, грязен… Его внешность также типична: чаще небольшой рост, худоватость, неуклюжесть в корпусе и походке, какое-нибудь уродство (шрам,

раскосость, безручие, безножие). Словом, физически он так же противен, как и духовно. И прежде всего полная аморальность и враньё. Эти люди — пустой балласт страны…» Чуть раньше скажет грустно-справедливое, обратного хода не имеющее: «Когда дерево прогнило насквозь, его не отходить ни поливкой, ни другими мерами. Урка — прогнившее дерево!»

Вскоре Андрей Евгеньевич увидит их в деле — перевозящих на лошадях бревна-баланы. Зрелище было сердцеразрывающим. Бедная лошадь, попавшая под кнут урки: «Да он убьёт отца родного, если последний ему не угодит, а бедная лошадь? Что ему Гекуба? Он нарочно станет над ней измываться…»

(Для Снесарева конь был другом с юности, и выручали его кони на Памире и в Карпатах, на Ужка был похож несчастный коняга здесь, и ныло сердце от человеческой жестокости.)

Май на Русском Севере неровный: то тихий и тёплый, то ветреный и холодный. Природа далеко отстоит от тропической, близко — к арктической, всё есть, но не крикливое, не яркое. Распускаются деревья. Проволочно-околюченный мир оглашают вольным щёлканьем многочисленные соловьи, из певцов, правда, малозатейливых, трёхтрельных. Иные соловьи, карпатские, вспоминались Снесареву, которые не боялись ни оружейного огня, ни грома пушечного, которые своими яростными перещёлками утверждали жизнь.

Кукует кукушка. Бабочки исчеркивают луг, крохотные и крупные, одноцветные и разноцветные. Цветы в пёстром изобилии растут всюду, где есть не убитая людьми земля. Мир Божий, мир вечный — глядеть бы на него часами, не будь лагеря, его режимного быта, его мелочного учёта.

6

«Вытаскивание брёвен не ладится, спад воды, неправильное применение техники. Съехалось начальство, волнуется, ругается. Слепой Лосев ходит и улыбается — происходит сцена, начальство принимает на свой счёт. Приказ убрать Лосева и, кажется, арестовать его на два дня…»

Начальству такие заключённые, как Лосев, что кость в горле. Но Снесарев-то понимает, в чем лосевские ранимость, сила и вера, и он сожалеет, что тот слепнет, и тревожится за него: «Лосев потерял очки и сколько он мучился, водя носом по читаемому материалу (он писал бесконечно… он пойдёт отсюда слепым, если в ближайшее время не получит очки)».

Однажды Алексей Лосев скажет: «Время — боль истории». А разве снесаревский тёзка и земляк Андрей Платонов не о том же,

когда говорит: «Время — движение горя», а разве он, Снесарев, намного раньше их пришедший в этот мир, не горевал, часто предаваясь мыслям о том, что история — страдная, изнурительная, бессмысленная дорога человечества, и всё же имеющая сокровенный Божественный смысл.

7

Вскоре ему дадут в помощь Веру Хомеко — она тоже не прочь бы походить в начальницах. «Хохлушка, кончившая семилетку, бывшая комсомолка. Типичный продукт нашего времени: самоуверенна, всё знает, обо всём спорит, ни на чём не может сосредоточиться, небрежна… К этому надо добавить: капризна, фальшива, врёт, подсматривает…»

И сколько он встретит здесь таких хомеко в мужском и женском обличье. Они и среди урок, и среди интеллигентов, и среди начальников-десятников… Поистине: «Я накажу тебя людьми», — однажды, ещё в семнадцатом году явившаяся Снесареву эта всеохватная во времени и пространстве безжалостная мысль будет постоянно подтверждаться в лагерной жизни, да и не только лагерной. Но в противостояние ей — сколько на его горестном пути здесь встретится прекрасных духовно, нравственно и характером заключённых — от академика Искрицкого, профессора Духовной академии Бриллиантова до бывшей монахини Гликерии и крестьянина Николая Герасимовича.

Итак, обычное в лагере наказание людьми. А работами? «Работы у нас идут непрерывно: и днём, и ночью; одни кончают, другие приходят им на смену… Отсюда много обедов и завтраков, много подъёмов и лёжек (ложись спать) … Идёт сложная, бессистемная, судорожная возня… Она, конечно, чистая туфта, т.к. является нездоровым, глубоко бесхозяйственным измышлением услонских честолюбцев».

Днём и ночью наблюдая бесчисленные лжедела и полудела, авралы и вахты, ударники и месячники соревнований, постройки и поломки, погрузки и разгрузки, постоянные лагерные «передислокации», Снесарев приходит к заключению: «У нас так всё устроено, что всем тяжело и трудно». Истинно созидательного труда нет, а есть всевозможные его имитации, которые всё равно обессиливают и так обессиленных лагерников, едва влачащих ноги: «…вся сущность труда в этих вяло волочащихся ногах…»

В нескольких его строках — не только оценка малодейственного труда, но и указание на причины этой малодейственности: «Как устроена лесорубка и подвоз

срубленного материала к берегу, я не знаю, но слышал много-много жестокого… Ударность всегда результат каких-то организационных промахов. Природа бывает катастрофичной как исключение, но в основе она эластична и эволюционна… Но особенно неудачно и неровно ведётся дело сплава. Река капризна… режим её сложен, полон неожиданностей. Начать с того, что режим этот не изучен, никаких предсказаний создать нельзя и набросать программу трудно: нет основы. Затем дирижируют люди незнающие, они сильны напором, руганью, они могут заставить работать, но им чужды знания, понимание техники, у них нет кругозора. И, наконец, что самое главное, люди подневольного труда… И вот то воды мало и все баланы сели на мель, произошли косы, заторы, пошла забивка… то вода высока, прорваны кошели, снесены запани — и брёвна поплыли в Ладожское озеро…»

Вскоре Снесареву велено участвовать в ударнике, то ли разгружать, то ли загружать вагоны. Выходить надо было ранним утром, обуви, даже лаптей, не хватало. Всё же с десяток человек переправились через Важинку, добрались, кляня и власть и жизнь, до Курмана, куда подходит ветка от железной дороги и где когда-то остановился состав, привезший приговорённых из Москвы и ещё, сколько их, несчастных, со всей страны. «Итак мы пришли, вагонов не нашли… вагонов не было…»

Очередное хождение по лагерным деревням выдалось не просто трудным, а едва не повергло Андрея Евгеньевича в отчаяние, поскольку пришлось узреть несколько черт народных, прежде редкобывалых, почти небывалых. Он из Ульино неудобь-тропой нечаянно-негаданно попал на болото, едва выбрался, спустился к берегу Важинки и пошёл берегом. Навстречу шедший заключённый пообещал впереди «массу лодок», на них не составит труда перебраться на противоположную сторону. Вместо массы лодок набрёл на две тяжеленные, которые было не сдернуть, а на противоположной стороне у костров сидели люди, но у них не было лодок. Зато от них последовало твёрдое заверение, что вверх по речке, минуя Граждановку, у Пичино есть дежурный лодочник, который — день ли ночь ли — знай себе перевозит. Мокрому и обессиленному Снесареву пришлось ещё долго идти, но дежурного лодочника он так и не встретил: его попросту не существовало. В каком-то полуотчаянии он во весь голос стал звать этого мифического дежурного лодочника, звал более получаса и не докричался. «Не было ответа, хотя, как потом выяснилось, многие слышали мой отчаянный глас…»

(Какой в этом, разумеется, не единственном эпизоде жуткий приговор обездушенному, помельчавшему народу: зови — не

дозовёшься, кричи — не докричишься!)

Июнь. Приезд жены с детьми в Важино — великая радость. Оттаивало грустное сердце, слыша редкий детский смех. Удалось совершить лодочную прогулку на Попов остров, полный вётел, берёз и цветов. Правда, не радуют привезённые вести. Жена рассказывает, а он оставляет запись в дневнике: «Москва полна крестьянства, которое кучами, чаще семейными, валяется на вокзалах, тротуарах, особенно у булочных, исхудалое, старое, просящее. Особенно много с Украины… Наплыв иностранцев, их избалованность… Продолжается наплыв евреев, давший повод к легенде, что русских под разными предлогами выживают из Москвы, чтобы освободившиеся площади предоставить евреям…» И далее: «Женюша говорит про сестёр, что они очень мною недовольны, что я зря упрям, не хочу прибегнуть к милосердию властей, жертвую семьёй и т.д. Во всяком случае, меня взяла тоска: зачем этот забавный ток настроений… Шёл дорогой служения, затем служишь большевикам. Что-то сделал (чему они сами не верят) и наказан. Дурак, зачем не приклоняешь выю. Что сову о пень, что пень о сову.

Сегодня прекрасный день, я не пошёл на вечерние работы и гулял с семьёй в лесу, нарвали букет цветов, повалялись на траве. Цветов здесь много, и их убор не плох, но они не пахнут, не пахнут ландыши, фиалки, даже черёмуха».

(Северные цветы, которые не пахнут: здешнее низкое солнце не рождает в них ароматы. Поэт Жигулин при наших московских и воронежских встречах не раз мне говорил о них, да у него есть и стихи «Полярные цветы», где щемяще рассказано, как к тем дивным и жалким скромноцветным островкам спешат заключённые лагеря с Колымы и несколько часов кряду, пока трясутся в кузове машины, бережно, словно согревая, держат нежные цветы в давно огрубелых ладонях; это было без малого тридцать лет спустя после того, как подобные цветы у реки Свирь согревал в руках пожилой генерал и вспоминал свои любимые — полевые, придонские.)

Снесарев — канцелярский работник — записывает бригады, в самих названиях которых — «Штурм пятилетки», «Красная звезда», «Волна штурма», «15-я годовщина Октября», «Вперёд», «Ответ интервентам», «Путь к исправлению», «Красный труженик», «Путь к свободе» — закрепляются статус красно-революционной страны, штурмовщина и сплошь беспутный, кому только известный путь, как исправиться, как стать свободным.

Белая ночь. Река Важинка. Топкие берега. Лесосплав. Ударничество. Погибающий лес, погибающие люди.

«Примитивное создание коэффициента… Без корректив на возраст, силу физическую, обстановку труда, пищу… даже настроение. Человек должен много получать не за то, что он Поддубный, и лишаться необходимого не за то, что он мал весом или стар… Для социализма должен быть выработан более широкий подход для определения трудового коэффициента. Государство не торговая компания, а что-то более широкое и сложное».

Снесарев размышляет, как в немыслимых, предельных обстоятельствах помочь и человеку, и государству, и чтобы дело человека складывалось во благо ему, окружающим да и стране.

Были устроительные дела на родине и на границе. Были боевые пути-дороги. Был смысл.

Но какой смысл во всём этом тупом кружении лагерного колеса на речке Важинка, на сырых её берегах? Приходится растаскивать дрова на косах, выкатывать брёвна с отмели, снимая кору, укладывать их в товарняки, грузить дрова и камни на баржи, пробивать заторы на реке, готовить плоты, кошели, устраивать дамбы. И что же?

Брёвна снова оказываются в воде, лишь малая часть их доходит по назначению, плоты разбредаются по брёвнышку, образуя на реке новые заторы, баржи протекают и заваливаются, дамбы не выдерживают напора воды. От худой, авральной или не бей лежачего работы, лишённой ясности, мастеровитости и надежды, толку почти никакого.

Более двух веков на Воронеж-реке, на Дону затевалось, ухало и звенело топорами и пилами «великое корабельное строение» — Пётр Первый надеялся выйти в Азовское и далее в Чёрное море. Мужицкие, оторванные от семейной страды руки, измученные тяжкими работами, простудами и болезнями, нередко во множестве пластом лежащие строители; нещадно изрубленные боры и дубравы, горы корабельных сосновых, дубовых, ясеневых стволов, большая часть которых из-за спешки не пригодилась. Более двух веков миновало с той поры, как петровские флотилии шли вниз по Дону, мимо его, Снесарева, родных мест, а на его земле во власти мало что изменилось.

Всю жизнь знавший цену времени, труду, ответственным человеческим отношениям, вот уже какой месяц жил он в мире абсурда, бессмысленной траты времени огромной массы заключённых, обозлённых, поделённых, вынужденных обретаться в чаду ночных побудок, лести, подкупа, взяток, краж, сумбура и произвола, мифических трудовых коэффициентов и процентов,

постыдно-жалких премвознаграждений, брани и мата, надзора, понуканий, наказаний, исходящих от всякого рода надсмотрщиков — от десятников и рукрабов, бригадиров и контрольных бригадиров до начальника лагпункта.

Пробыв девять месяцев в Важине, на лагерной Свири, Снесарев сожалеет, что дневниковые записи приходится вести урывками, наспех. Он убеждён, что УСЛОН заслуживает изучающе-пристального внимания «как бытовой опыт над десятками тысяч людей, волею политики поставленных в своеобразные условия… как картина многочисленных людских переживаний при этих условиях, не разбираясь в сумме благ или зол… как научно-политический опыт применения начал и практики социализма… как осколок от того огромного, что зовётся Союзом и в сфере которого те же опыты малоуловимы и трудно синтезируются. Конечно, при условиях заключения, моих годах и случайностей писания ждать большого толку от моих заметок не приходится, но они всё же являются малопомутнённой фотографией виденного и пережитого…»

И даже чёткой фотографией! Даже галереей мрачных картин. Даже книгой. Увиденное, пережитое и записанное Андреем Евгеньевичем могло бы составить книгу, для названия которой уместны были бы его слова: «Гнилая сторона системы — подневольный труд и невежественные дирижёры». Или же: «У нас одна свобода — это умирать». И в эпиграф — его же слова: «Я старался быть по возможности объективным и спокойным Нестором, насколько это допускали мой темперамент, моё миросозерцание и, особенно, мною пережитое и переживаемое…»

Дадим здесь хотя бы несколько страниц этой книги — несуществующей и тем не менее реально, в дневниковой рукописи, существующей.

«Наш лагпункт — сплавно-погрузочный, т.к. прилежит к системам рек Свирь (погрузочная преимущественно) и притока её Важинка (сплавные работы)… Если бывает зима, то дрова добываются из-подо льда… На других лагпунктах, входящих в наше отделение, производятся преимущественно лесозаготовочные работы (на нашем мало… всё уже крупное вырублено): повалка, очистка, распилка и кладка, перевозка или перетаскивание брёвен-дров, погрузка (в вагоны)… Для регулирования реки Важинки производятся примитивные мелиоративные работы, главным образом строятся дамбы и возводятся плотины, но всё это — без техники и капиталов, людскими мускулами…

И над всей этой трудовой системой, как зловещая тень Банко, лежит сложнейшая и мелочнейшая отчётность и канцелярия, она

въелась в эту систему, отравила её, сделала труд прискорбным и надоедливым… Много и с потом на челе пишет уже десятник (выводит проценты, “пропорционально” распределяет… он просто лжёт и фантазирует, подделывает под предъявляемые требования и свои расчёты… его исправит “контрольный бригадир”… Этот вносит поправки, главным образом устраняет арифметические безграмотности, но заряжает свою туфту, т.е. лжёт шире, а т.к. он работ не видел и судит лишь понаслышке, то от жизни он уходит ещё дальше, перенося картину работы в деспотическое русло канцелярии… теперь картина покатится по проторённой дороге, без запинки и сомнений… Тут будут добавлены поправки (один старший счетовод сколько добавит) … и от серой и сложной действительности не останется и следа… Трудкоэффициент — очень важный фактор в экономике — предстанет пред обществом и исследователями не в своей скромной и грязноватой одежде, а в лощёном костюме с маской на лице — дитя канцелярской переделки…

Зэк знает, что вода Свири холодна, а осенью она будет холоднее, что морозы здесь люты, ветры бывают шквальные, и он бережёт обувишку (свою и казённую) как зеницу ока, как якорь спасения в суровые дни непогоды… он ходит в лаптях до последнего момента, пойдёт — пока можно — босый, чтобы грядущие испытания встретить в кожаной обуви. Он знает, что на работу он пойдёт даже в случае, если обувь не была подана в достаточном количестве… Ленинград должен быть отоплен, а он — услонец — пока его единственный согреватель…

На реке Важинке — главной сплавной артерии — брёвна-дрова отжимаются к определённому берегу, параллельно которому пойдёт запань с системой ряжей и каменных кладок, возведённых косо поперек реки…»

(Вот так и с людьми, как с брёвнами… И вообще что дали эти брёвна, сколько построено из них деревень? Изб? Деревянных колодцев? Кинуты на топливо озяблому городу на Неве? Если бы от начала до конца именно так. А то тьмы и тьмы их затонут, сгниют на сырых берегах, затеряются, как и люди. — *Авт.)*

«Итак, в работе тупик, почти крах, пусть временный. Можно ли его было предвидеть, учесть как неминуемую возможность. Думаю, что да. Баржи протекают, потому что стары и рассохлись, надо и можно принять меры: заклепать хоть наиболее грозные щели, медленнее грузить, заблаговременнее просить о присылке новых барж (вопрос о специальной статье в плане). Каприз реки — это вопрос более трудный, предполагающий предварительное и долгое изучение режима реки, но и его более опытный руководитель (готовый к роли теоретически и практически) сумел

бы одолеть… суетный о копеечном думает — рублёвое теряет…

Главное — специальная правдивость в УСЛОНе изречения… *homo homini lupus est:* здесь, как я говорил, не верят друг другу, боятся друг друга, интригуют, провоцируют и сплетничают… Этим живёт УСЛОН и как средством борьбы, и как техникой понижения других и вылезания кверху самому, и, наконец, как способом развлечь себя среди однообразной и тесной обстановки…

Я часто слушаю собеседования моих товарищей по заключению; это одна из моих привилегий присматриваться к народу, что мне удавалось раньше чисто случайно… Знать свой народ, своих компаньонов по родине, — это обязанность каждого, а особенно власть имущих, правящих этим народом. Мы, например, наше крестьянство явно не знали, и недавние события пошли стихийно, как сель в Средней Азии, как наводнение на Инде… А ведь, казалось бы, наша литература так близко и интимно подходила к нашему крестьянству. Глеб Успенский, Златовратский, Чехов, Решетников, Кольцов, Никитин — сколько их, сколько картин, тонких анализов, сколько вскопано материала и фактов… А наши народники, специально ходившие в мужицкую среду… А наше земство, невольно обитавшее в толще народной… И всё это говорило, писало, составляло записки, анализировало, пророчествовало, восхваляло или ругало… А народ оставался сфинксом, тёмным и загадочным… Он словно иронически смотрел на эти бессильные потуги, прочно храня вековые тайны своей природы… “Народный бунт, бессмысленный, жестокий”, — эта мысль великого прозорливца, потому что он был гением слова, прошла незаметной для изучающих народ или была умышленно заглушена политическими течениями…

А они были круты, а особенно к мыслям политического содержания. Картёжничество, торгашество и расправа с крестьянством Некрасова могли быть ему прощены, но “Бородинская годовщина” Пушкина или “Письмо к Белинскому” Гоголя были “хулой на Духа Святого”…

Вчера был дождь, ливший день и ночь. Люди работали и пришли промокшие насквозь… Заключённые работают при всякой погоде и обстановке. Это, по-видимому, правило, напоминающее таковое о стрельбе в старой армии (в уставе имелась подчёркнутая фраза “стрельба из-за погоды не отменяется”), но насколько это правильно, конечно, разумея вопрос со строго деловой точки зрения… педагогики, морали, человеколюбия и других тонких вещей не касаясь. Успех работы при ветре и проливном дожде будет слабый, люди измочалятся и

дадут изрядный процент заболевших, одежда ускоренно истреплется (особенно обувь) … Да, наконец, УСЛОН выбросит из своих недр измочаленных и конченых работников, которые лягут бременем на плечи страны… Из УСЛОНа рискует выйти не воспитательный аппарат, а пожирающая и преждевременно истрепывающая людей машина… В УСЛОНе нельзя быть идеалистом, а надо быть несколько поближе к Марксу или, говоря иным языком, к Мамоне…

Уже десятник, повторим, ходячая канцелярия. Вы часто видите склонённую над столом голову “писателя”, который часа… два корпит над задачей, которая не стоит пяти минут. Но поднимаясь от десятника, вы увидите, что бумага растёт в большой пропорции: табели, отчёты, донесения, описи, ведомости, копии, справки, записки, цифры, которые лукаво не сходятся, таблицы — всё это кружится над делом, осложняя его, путая, отнимая людей, ссоря их, вызывая аресты… И этот бумажный винегрет идёт очень высоко, может быть, до Москвы…»

9

Так и не научась оборонять свое сердце от чужой беды, Снесарев не может не погоревать о нелепой гибели заключённого — старика, не умевшего плавать, который на запани поскользнулся и его утянуло в глубь реки. Случилось это на глазах у многих, и Андрей Евгеньевич опять-таки не может не поразиться человеческому равнодушию, столь убийственному в объяснениях солагерников, соработников, соглядатаев. Мол, не приметил, или не спохватился, или же не умею плавать, и даже — я вытаскивал бревно. Выходит, бревно дороже человеческой жизни.

Андрей Евгеньевич прошлым словно бы пытается заслониться от смога текущего: «Я помню на Дону, как все беззаветно бросались вперед, не думая о риске, когда гиб человек. И не было погибших».

И не было погибших. Это когда было? Полвека назад. Казалось бы, что за срок в длинном беге больших времён! Но за этот малый срок разразилось несколько войн и революций, в которых погибать пришлось лучшим. И не единичным личностям. А поколениям. Лучшей части русского, да и российского народа. Уцелевших доламывали, добивали здесь. УСЛОН (ББК — Беломоро-Балтийский комбинат), ГУЛАГ…

И Снесарев считает морально необходимым записать всё, что здесь увидел, услышал: жуткие картины измывательства над человеком, сюрреалистические полотна убийства народа, — быть

может, будущие поколения прочтут, задумаются, избегут страшных повторений.

«Слушаю рассказ Топорова (Макар Павлович). Он говорит от 29 года о видах самоубийства: 1) под падающее дерево; 2) с моста вниз в реку (ручей), покрытые тонким слоем льда… один прыгнул, за ним другой; 3) кончают с собой под нарами и т.д. Картина одуряющая, “не забыть вовеки”, — добавляет он, зажмурив глаза. Как издевались: 1) выгон на поверку: громкое произношение фамилии и бегом; 2) не выполнили наряда, загоняют в студёную воду и держат часы (у Красной Горы погибло 200 человек) …

Из кровавых гримас нашей жизни: вновь слышу про случаи из знаменитого 29 года: 1) человек по лени или болезни уклоняется от работ или не выполняет уроков. Ему приказывают лезть на дерево. Сначала уклоняется, тогда наставляется винтовка. Лезет. Крик: “Выше, выше”. Лезет сколько может, пока не удовлетворит высотой… “Кричи петухом (или мычи коровой, или гогочи по-гусиному, или…)” — начинает кричать… Дело происходит при страшном морозе, на ветру. Всё это разыгрывается, пока жертва не коченеет или от истощения не упадёт в обморок и не свалится, как сноп, вниз на землю… 2) набирается партия уклоняющихся от работ, или недорабатывающих, или не работающих по болезни, выводится на поляну, и им приказывается… выть, мычать, кукарекать, лаять, кудахтать, чирикать воробьем, петь соловьем, ржать… — и при том возможно громче, сцена продолжается, пока не надоест начальству… 3) ставили на пень и обливали водой (при морозе в — 40 °С), ставили на одинокий камень, вроде маленького острова на озере, где человек мог еле держаться, а скользил или, задремав, падал, оказывался в ледяной глубокой воде…

Уже близко к полуночи… Круть Иван Иванович, весёлый и спокойный малый, украинский партизан, много перестрелявший людей за прожитую им четверть века, человек с воловьими нервами, рассказывает: “«Вы расстреливали комиссаров?» — спрашивает меня следователь. Говорю: «Расстреливал…»” “Отец пошёл в партизаны, я, мальчишка, пошёл за ним” — другая его фраза. Круть говорит про тот же исторический 29 год, всё, что он передаёт, он видел — по его уверению — собственными глазами. Вот ещё факты, напоминающие китайские истязания: 1) пора комариная… “а комары смертные, кто не переживал таких, представить картины не может”; человека, не выполнившего урок… сажают на пень, приставляют к нему часового и заставляют стоять или сидеть неподвижно, под угрозой разрядки ружья… Комары налетают тучами, облепливают беззащитную

неподвижную фигуру, затемняют глаза, лезут под одежду и напиваются допьяна, становясь красными и толстыми: жертва лишь подёргивает кожу мелкой незаметной дрожью, как делает это лошадь летней порою, сгребая и поводя кожей в тех местах, куда не достают ни зубы, ни хвост… 2) устраивали на болоте что-то вроде будки, с потолком, утыканным острыми кольями (как в бороне), высота от пола до острых концов такая, что человек может сидеть только скорчившись в три погибели (Круть показывает, какая получается поза); втискивают человека в эту будку и запирают. Снизу болото, сверху острия кольев… “Посидит человек несколько часов и выходит или помешанным или ревматиком на всю жизнь…” 3) в мороз (“а морозы там во какие”, — разводит Круть руками, представляя воображаемую величину мороза) разденут человека догола и заставят стоять на одном месте… 4) дадут заключённому в руки сито (или решето) и заставят из одной проруби переливать воду в другую прорубь, а потом обратно (расстояние между прорубями достаточное для утечки из решета воды) и бегает человек по морозу как безумный, работая над услонской бочкой Данаид… У меня на душе поднимается неутешимая скорбь… *Я* высказываю свои сомнения по мотивам невероятности подобных жестокостей и их очевидной бесцельности. Круть принимает вызов и говорит, что в приказе № 168 (кажется, от 18 мая… он его хорошо помнит, т.к. за его утерю, как секретного документа, отсидел 15 суток), где говорилось о 124 (или 125) подлежащих расстрелу начальниках, были подробно перечислены жестокости… Как бы я хотел видеть этот крупнейший исторический документ, больное и неожиданное дитя первой трети XX столетия!..

Мне думается, что страшный 29 год переживёт не одно поколение, и чем дальше протекут годы, тем он будет перевит всё более сложной и сказочной гирляндой рассказов, один ярче и невероятнее другого… Уже теперь от него веет какой-то легендой. Все эти ужасы, разнообразно и столь жестоко подобранные, брёвна, на которых написаны скорбные рассказы о переживаниях и которые понесут эти сказания до мира Европы, карания виновных, не менее жестокие и страшные, чем вершённыя ими деяния… Зачем этот хаос человеческого безумия, эта отупелая бойня? Чем она вызвана и какие в ней основные мотивы или причины? Когда же человечество будет в силах надёжно ответить на эти вопросы? Боюсь, что не скоро и что ещё долго (если не навсегда) оно будет руководиться страстями и настроениями…»

Вечное поле истязаний человека и человечества. Что же дремлет человек-гуманист? В каждое время — своё истязание. На всех пространствах земли, во всех народах. Но что нам

возмущаться испанской инквизицией, средневековой итальянской интригой, кровавым английским Кромвелем — душителем крестьянства, европейской охотой на индейцев, когда у нас на родине, в северном уголке, на малой реке, на малом острове — лагерь истязаний, чудовищный, немыслимый для нормального сознания: под дулом винтовки карабкаться на вершину дерева, стоять на пне, обливаемым с ног до головы ледяной водой, под дулом винтовки сидеть на пне под мириадами комаров, издавать звуки по-звериному: лаять, ржать, завывать, блеять; с ситом бегать, переливая воду из одной проруби к другой… Изуверские вариации крайнего надругательства над человеком. Но выносимей ли, думал Снесарев, было в древние и Средние века, да и в новые военные времена и в иных землях; разве мало их, сошедших с ума отцов, на глазах которых их юных дочерей и жен распинали победители, кочевники, номады… да, непреходящая мировая боль… и как же страшен этот северный уголок родины с обезглавленными деревьями-сагами, и эти уголки разрастаются во весь пространственный размах родины…

10

В августе 1932 года по лагерям было распространено письмо начальника второго отделения Свирлага Э.И. Онегина: литераторам, учёным и инженерно-техническим специалистам не только разрешалось, но и настоятельно предлагалось заняться литературной и научно-исследовательской работой. Снесарев подал соответствующее заявление начальнику лагерного пункта, принявшему его «спокойно и деловито». Андрей Евгеньевич указал, что хочет написать две книги из четырёхтомника «Индия. Страна и народ», мемуарное размышление «Во главе двух дивизий» и ещё «Очерки современной стратегии», по которым материал собран, продуман, а курс «Современной стратегии» и прочитан в Военной академии.

«Вот и нашёл себе Онегин дело — пушкинский Онегин, лишний человек. Не может быть человек лишним», — с грустно-шутливой улыбкой подумал Снесарев.

Всё время думает о дочери. Незадолго до её очередного приезда, обрадованный её двумя огромными письмами, записывает в дневнике: «Она несомненный талант: остроумна, жива, мило-мечтательна и натуральна… всё вытекает легко и само собою, как течёт ручей, струями и пеной ниспадая по камням. Как она даровита, драгоценная моя дочка…»

Рисовальщица, танцовщица, актриса! Нет, жизнь от неё требует другого — самоотверженности и жертвенности.

«15 сентября 1932 года я снова выехала к папе, захватив с собой сколько можно съестного… Эта поездка как сейчас стоит перед моими глазами. Как всегда, была пересадка в Лодейном Поле. Какой-то молодой человек, тоже ожидавший пересадки, помог мне с моими тремя чемоданами. На станции Свирь поезд стоял одну минуту, он вытащил чемоданы на перрон и бросился к уже трогающемуся поезду. Вокзал был передо мной, но дойти до него с моими чемоданами было невозможно. Тут же вскоре справа и слева раздалось два голоса: “Вам в зал ожиданий? Разрешите помочь?” Два молодых человека в военной форме дотащили мои вещи, предложили довезти утром на казённой лошади до Важино. Мы сидели, разговаривали. Вошёл небольшой старичок и спросил: “Есть кто на Важино?”. Я вскочила: “Я поеду”. Молодые люди дёрнули меня с обеих сторон: “Вы знаете этого человека?” — “Нет”. — “Мы в форме и вооружены, но не решаемся ехать этими местами ночью. Поедем утром. Не рискуйте”. Я поехала».

Дочь Снесарева была уже взрослой девушкой, вполне способной соизмерять последствия того или иного поступка, но именно это её решение, продиктованное стремлением как можно быстрее увидеть отца и обезопасить себя от непредвиденных лагерных неудач, вроде утреннего отъезда из зоны начальника (как и случилось в действительности), свидетельствует о силе её дочерниного чувства — самоотверженного, беззаветного, жертвенного; если бы кто, скорее, из женщин-писательниц с проникновенным сердцем и философским взглядом взял на себя труд составить всемирную книгу-антологию «Отец и дочь», в этой антологии естественным был бы рассказ о Евгении Андреевне Снесаревой.

«Ехать было 12–15 км, и посередине пути мне стало на один миг страшно. Дорога шла лесом, вся выстланная деревянным настилом… И вот поднялись мы в гору, светила яркая луна, вышедшая из облака, старик остановился, и из лесу послышался долгий, сильный свист. У меня душа ушла в пятки. Потом старик тронул лошадей, и мы снова поехали. Довёз прямо до хозяйки, Анастасии Ивановны, где мы всегда останавливались. С утра я пошла к начальству, обутая в высокие сапоги хозяйки, по запани… Вскоре пришёл начальник и улыбнулся. “Мы с вами только что на запани разошлись, и я подумал, она ко мне, видимо, приехала к мужу или отцу на свидание”. Велел вызвать папу и дал сначала 12 часов личного свидания, потом прибавил ещё 6. Папа был страшно худ и бледен. Он только что чем-то отравился и был болен. Тонкая шея виднелась в широчайшем воротнике. Отношение к нему со всех сторон было хорошее…»

К концу 1932 года многие из военных вернулись, среди

близко-знакомых — Бесядовский, Сапожников, Свечин, Сегеркранц, Голубинцев, Сухов. К тому времени и приём в прокуратуре на Спиридоновке стал проще. Не нужно было записываться заранее, в приёмные дни можно было попасть в живой очереди. Мать с дочерью обычно ходили вместе, чтобы каждой иметь полноту знания вопроса. Прокурор Фаддеев — высокий, спокойный, доброжелательно настроенный человек — принял заявление о пересмотре дела и посоветовал также обратиться к наркому Ворошилову — требуется его виза. Так и поступили, но дело с мёртвой точки не сдвинулось. Как вспоминает дочь, «заявление поступило к некоему Агееву, который, зная, что папе 67 лет, ответил, что это возраст запаса, который их не касается, к тому же срок 10 лет, а за таких они не хлопочут. У Тухачевского тоже оказалась стена непроходимая. Были бесплодными звонки и чаяния приёма у многих боссов Военного комиссариата: одни делали вид, что ничего о вынесенном приговоре не знают, другие “не знали” об аресте. Третьи обещали принять и не принимали, назначали приходить, а сами не приходили (Летуновский, управляющий делами комиссариата); некоторые принимали стоя и задавали вопросы типа: “Зачем вы к нам обратились, мы не карающая организация, мы строим оборону страны…”»

СОЛОВКИ — МОНАСТЫРЬ И КОНЦЛАГЕРЬ. 1932

3 ноября его внезапно разбудили, повезли под конвоем группу в вагоне на пристань, где изготовилась к отплытию баржа «Клара». Что-то неуклюже-тяжёлое, днищем давящее в этом издалека приплывшем слове «баржа». Памятная — царицынская. А ещё прежде — кронштадтская, балтийская. Были еще крымско-черноморские, каспийские, беломорские баржи. Все или расстрельницы, или утопленницы. Эта куда?

С 5 ноября 1932 года Андрей Евгеньевич Снесарев — на Соловках. Никого за пределы лагеря не отпускают, и ходит слух, что на границе неспокойно, и может прийти пароход и захватить политических. Но чей пароход? Советский? Иностранный? Узник-учёный вспоминает «пароход учёных», там были его знакомые, но и сейчас он бы не принял путь ушедших, не изгнанных, а ушедших: крестный путь пройди на родине!

1

Сначала — деревянные бараки. Затем — монастырь, кремль… был Кремль Московский — начало жизни, теперь кремль соловецкий — излёт жизни, тесное проживание в бывших кельях; в час ночной бессонницы однажды живыми явились монахи — основатели монастыря — святые Савватий, Герман, Зосима; стало легче, словно побывал на последней исповеди.

Направили Андрея Евгеньевича в древоотделочный цех изготавливать пресс-папье. Потом перевели в полировочный цех, где он раскрашивал подставки для деревянных фигурок — солдатиков, медведей; в каком-то уголке, поди, и сохранились? Далее покрывал лаком шахматные фигуры… А где-то разыгрывается великая шахматная игра, ещё в полную силу играет Алехин, гениальный земляк, и ещё не скоро будет написана «Великая шахматная доска».

Вскоре определили его в банщики — надо было таскать по сорок — пятьдесят вёдер воды, колоть дрова, топить печь. Наконец его в шестьдесят семь лет поставили разгружать баржу «Клара».

2

Наверное, Снесареву было бы легче, прочитай он тогда

потрясающее свидетельство о раннесоветских Соловках — «Неугасимую лампаду» Бориса Ширяева. Великий художник Михаил Нестеров сказал ему в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко». Ширяев был вывезен на остров в 1922 году — за десять лет до Снесарева. Преподаватель, также выпускник Московского университета и также дважды приговаривавшийся к смертной казни, заменённой ссылкой на Соловки, автор ещё не написанной «Неугасимой лампады» плыл на пароходе «Глеб Бокий», но под этим именем чекиста просвечивало старое название «Святой Савватий». На Соловках он пробыл семь лет. И строки его остаются для нас как знаки вечной духовной победы над мерзостями преходящего человеческого «хрустального муравейника».

«Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа державы Российской, Святой Руси — вплелось омоченное в её крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле — тонкие нити трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения».

«Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь духа побеждает временную плоть. Безмерное высится над мерным, смертию смерть поправ. Так было на Голгофе иерусалимской. Так было на голгофе соловецкой, на острове — храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившем их воедино… Путь к Голгофе и Фавору един».

3

На Соловках в 1922 году — кронштадтские матросы, архиепископ Илларион (Троицкий), офицеры Белого войска («через месяц ими забили до отказа две гнилые баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами»).

Позже раскулаченные крестьяне, «вредители»… Кто был ещё? Духовно-религиозный мыслитель Флоренский, поэт Плужник, экономист Озеров, лингвист Виноградов, ещё будущий академик Лихачёв, что под конец своей достойной уважения жизни проявит слабость и растерянность (может, вспомнились устрашающие Соловки), подпишет расстрельное письмо и примет из рук расстрелявшего парламент «конституционного гаранта» высший орден. Солженицын поступит иначе: высшего ордена из рук «всенародно избранного» не примет, зато Соловецкому монастырю перечислит гонорары за свои произведения, изданные в нашей стране в пору перестройки.

Соловки напоминали и о живших здесь вольно или невольно в былые века, побывавших здесь незаурядных людях, о которых

Снесарев думал ещё задолго до Соловков: одни ему были интересны как личности исторические, другие — как духовные устроители Отечества.

Сосланный сюда после взятия московскими войсками Казани татарский царь Симеон Бекбулатович, «осчастлививший» Соловки своим государевым посещением российский самодержец Петр Первый, пробывший четверть века в соловецком заключении последний гетман Запорожской Сечи Пётр Калнышевский — все они в значительной мере были особы военные, с ними Снесареву было бы о чём поговорить, поспорить; всё же гораздо больше ему приходили на ум люди духовных начал — поборник нравственности и просветительства митрополит и патриарх Московский Филарет, составитель-создатель «Домостроя» священник Сильвестр, в монашестве Спиридон; теперь само слово «домострой» ругательное, а на домоустроительных лесах новой власти словно кувыркаются слуги князя тьмы. Данилевский… взгляни он на Соловки двадцатых — тридцатых годов двадцатого века, наверное, что-то бы изменил в «России и Европе»!

4

Сохранилась тетрадь «Соловки» — одна из трёх: две утрачены, скорей всего, безвозвратно; рука Андрея Евгеньевича оставила записи о пребывании на острове с 5 по 21 ноября 1932 года; процитируем их хотя бы частично: помимо того что в них зафиксирован островок жизни самого Снесарева, его острый ум даёт штрихи мира соловецкого — не советского, как похвалялись нечаянные невольные насельники святого и страшного острова.

«Утром нас разбудили часов около 6, дали кашу и направили по разным работам. Проверенные ещё раз на дворе, мы тронулись в путь “в колонне справа по 4”. Шли мимо кремля по-над Святым озером, миновали небольшую церковь и подошли к ряду удлинённых деревянных в один этаж построек, освещенных электричеством. Нас ещё раз пересчитали, а потом предложили работать в разных цехах: столярном, кукольном… на конце был полировочный (часть древообделочного цеха), куда я и попал… Тут делали: пресс-папье, шахматы, трубки, ещё что-то. Я попал на сборный стол пресс-папье…

В полировочном целая народная кунсткамера: много китайцев, 3–4 корейца, значительная группа кавказцев, турки, латыши… даже хохлы как-то тушуются в этом Вавилоне и не так доминируют, как на лагпунктах материка… Начальник цеха — турок, приёмщиком — такой же… Я встретил хорошее к себе отношение и, вероятно, приспособлюсь… Но физическая работа

остаётся чем-то некультурным, убивающим мыслительные процессы и пригибающим к материальным переживаниям… Не только писать, даже подумать некогда…

7-го и 8-го мы отдыхаем; никакого празднества нет, про амнистию ни слуху ни духу… меня посетил Искрицкий… своим бытием на Соловках он доказал мне свой старый облик морально прочного человека, и подтвердил грустные догадки относительно академиков… Грауман (немец, предложивший похлопотать для меня место в библиотеке) упомянул, что Озеров на одном из островов… Оба праздничных дня прошли как-то бледно…

Попал в полировочный цех… Приёмщик, офицер турецкой армии, обо мне слышал и проявляет ко мне благосклонность… На Соловках, оказывается, 3 владыки (все сторожа) и много священников, монахов и монахинь, есть ксендзы и пасторы… Еще существует единственный монах монастыря…

Сегодня переходим в кремль… Слово “материк” звучит у соловчанина очень отчётливо, словно он каждый раз хочет подчеркнуть, что он — “островитянин”… “Командировали на материк”, “прибыли с материка”, “оркестр, библиотеку разобрали на материк”… В этой манере говорить звучит какая-то гордость и что-то вроде пренебрежения к людям Европы… Вообще соловчанин считает себя за специальную особь и о старых соловчанах говорит с оттенком уважения…

Вчера около 5 часов нас отобрали (работающих в полировочном цехе), два раза пересчитали и повели в кремль… Мы прошли сі о ворота, смотрящие на северо-восток, и вступили в узкие улицы: прошли 3 туннеля и подошли к 3-этажному зданию…

Как ни тесна и ни сера наша обстановка, она пересыльного пункта (где мы были) уже потому выше, что у нас топчаны и сверху на вас не сыплется всякая дрянь, а сбоку товарищ не кладёт на вас свои ноги или голову… Сегодня обнаружилось, что меня перевели на более лёгкую работу… Они, пожалуй, и правы, т.к. разъединение колодок, вытаскивание гвоздей, а особенно завинчивание винтов, требуют больших усилий… Может быть, от этого со мной случилось вчера что-то вроде сердечного припадка… замолкни, усталое сердце…

Работа была у меня простая: раскрашивать шахматные фигуры… Работа лёгкая, но монотонная и скучная…

(Здесь наспех изготовленные, наивные шахматные фигуры, их мало кому нужные ряды и россыпи, кони, кроме шахматных, неумолимо редеют на земле, а свою “Великую шахматную доску” Бжезинский напишет в удобстве, тепле и на свободе; а жизнь не игра, разве что игра случайностей, абсурд, иначе великий

геополитик, некогда, в студенческие времена, даровитый шахматист, не занимался бы ныне раскраской лубочно-наивных шахматных фигур. — *Авт.)*

За нашим столом три батюшки — Ануфриев, Смирнов и Георгиевский; они полны своих интересов: архиереи, хоры, службы, консистория, прихожане непрерывно мелькают в их разговорах, как будто они ничего не пережили в последние годы, как будто посетившие их невзгоды пролетели не сокрушительной бурей, а лишь лёгким шквалом ветра. А пострадали некоторые из них (например, Ануфриев) очень тяжко… Я говорил вчера с Овчаренко (Александр Порфирьевич) о тяготе, причиняемой в заключении сотоварищами (людьми) по заключению. Он очень ими тяготится и готов бежать от них под сень глухих лесов и пустынь. Когда я сказал ему, что удивляюсь, не найдя в Библии, а также у Шекспира, Данте, классиков выражения: “Я накажу тебя людьми”, т.е., попросту, поставлю в тесное общение с дурными людьми… он пришел в исключительный восторг. “Как это хорошо, как это верно”, — повторил Овчаренко… Он вспомнил Фому Беккета, который был советником и воспитателем у Генриха II… Потом, когда последний растлил его единственную маленькую дочь, он отошёл от двора, занялся духовными делами. Он возненавидел людей и во время молитвы, глядя на распятие, он говорил: я многое из Твоих дел понял и принял к восторженному сердцу, но как Ты мог умереть за них (людей), этого я не понимаю… “Я накажу тебя людьми” — как часто эта фраза приходит мне в голову и как тяжко порой я её переживаю…

Трудности и переживания меня уже не смущают, да и где кончать жизнь — не всё ли равно… Я не Пушкин и считаю, что “бесчувственному телу равно повсюду истлевать”… Конечно, обретать в себе юношескую энергию, способность бегать за кашей или кипятком… не по годам, но эта необходимость поддерживает энергию, делая её необходимой, иначе скоро бы развалился и одряхлел… Но, быть может, это не самое главное… Что я мог бы делать в Москве? Научными работами мне заниматься не дадут, печатать не смогу, читать лекций не позволят, сползу я по необходимости на преподавателя военных наук в высшей школе… Много ли я проработаю? А сколько внутренних обид и досад я должен был бы перенесть? Сейчас я как-никак политический страдалец, прикрывающий этой позой мою практическую беспомощность; этот облик мне выгоден и в том отношении, что в семье моей, среди сестёр и людей, мне дорогих и мною уважаемых, создаёт тот ореол или, скромнее, то настроение, которое является ценным, хотя и незаслуженным подарком…

Вчера взял у воспитателя справку, нашёл библиотеку и взял

Тита Ливия… и Старке “Происхождение семьи”… Библиотека представляет собой развалины, по которым бродишь с грустью… А когда-то она была очень серьёзна и занимала видное место среди частных библиотек России… Сколько нужно было увозов, сколько потерь и хищений заключёнными, чтобы такое книгохранилище довести до нынешнего состояния… Рассказывают про слова одного из комиссаров, отвечающего на сетования по поводу развала библиотеки: “Если в ней то, что есть у Маркса или Ленина, то она излишня, если что-либо другое — она вредна… О чем жалеть?” Чем не Омар? История повторяется…

Енич — поляк, учился в Киевском университете… знает Луначарского…

Если завтра будет выходной день, пойду осматривать достопримечательности: Преображенский собор (значительно пострадал от пожара, но иконостас уцелел), музей (с коляской Петра Великого), может быть, питомник и т.д.

Вчера мои соседи разболтались… о резком уменьшении площади посева… Слово “бурьян” не сходит с описаний… о развале, бесхозяйственности, мотовстве колхозов; тема трактуется в ироническом тоне (как их будят, как они много курят, спешат на собрание, бесконечно болтают) … И что же в конце концов: прибывает у нас площадь посева или убывает? Больше она дореволюционной или меньше? А колхозы: опора ли они наша и надежда в будущем или они орудие окончательного крушения наших хозяйственных ресурсов? Как важны эти вопросы и с каким страданием в сердце ищешь и ждёшь годного на них ответа…

Жизнь состоит из мелочей, из повседневных тревог, забот и опасений, но и из таких радостей и улыбок удачи; всё это скоро забывается, тонет в прошлом, как удаляющийся путник в тумане, и на душе уцелевает лишь что-то общее, средняя линия жизни или, может быть, судьбы. Вот почему полезно закрепить возможно каждый день с его подробностями, чтобы затем яснее представить себе и другим, что тобой в действительности пережито…»

5

Но Снесареву и так запомнилось и не раз вспоминалось пережитое на Соловках. И не то, что физически тяжёлое, как разгрузка баржи, почти непосильная в его годы. Вспоминал, как несколько раз бывал на развалинах монастырской, когда-то одной из крупнейших библиотек России, с какой горестью поднимал среди книжных свалов то или иное издание, брал как дитя,

погибшее под дождём и снегом; вспоминал разговоры сокамерников о том, как запустевает село: кругом бурьян, кругом пустырь — уже и предполагать не желая, что однажды в конце двадцатого века его соотечественники снова увидят развал, руины, бурьян на полях, пустыри; вспоминал крепких в делах веры священников, живших своим прошлым как настоящим, а также ксендза из Киева, который пытался обратить Снесарева в католическую веру, на что он грустно отшучивался, мол, безрассудно и безнадежно затевать этот сомнительный миссионерский шаг в твердыне Православия, где даже английские корабли с их ударными корабельными пушками оказались бессильны, снаряды и те отлетали от валунных монастырских стен.

Пусть берега Свири уже не корневая Россия, но всё же Россия ещё материковая. А Соловки словно оставленные Россией, как крыга, отбитая от большой льдины.

Снесарев отписал домой о своём движении на Север, «к белым медведям», и волновался, дойдёт ли письмо и как быстро. Знал, что посылок теперь не будет: до мая закроется навигация.

Евгения Васильевна, получив письмо, бросилась к прокурору. Помог помощник прокурора Верховного суда Р.П. Катанян, который на её заявлении предписал: «Впредь до пересмотра дела перевести на материк до закрытия навигации».

С последним рейсом «Клары» Снесарева перевели в Кемь. На Вегеракшу.

КЕМСКОЕ «СИДЕНИЕ». 1932–1934

Город Кемь «открывал» знаменитый Державин. Его направил туда наместник Олонецкого края. Поэт, в ранге губернаторском, «приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать города, когда никого нет». И все же открыл, то есть провёл церемонию преобразования его из селения в город в 1874 году. У Державина в друзьях — Болховитинов, в героях — Суворов, поэт обоим посвятил стихи. И все трое: бронзовозвучный пиит — «бич вельмож», историк и духовный пастырь, а также не знавший поражений полководец — были дороги Снесареву, но тяжела была мысленная встреча с ними именно в Кеми.

1

Надвинулся тридцать третий год. Год голодомора. Год паспортизации. Год всесоюзной и повсеместной индустриальной стройки, чаще всего — ссыльными крестьянскими руками.

Обратимся снова к воспоминаниям Евгении Андреевны Снесаревой: «Нам с мамой не удавалось долго работать в каком-нибудь месте. Нас всё время сокращали. Меня было приняли в Институт резиновой промышленности в качестве секретаря-переводчика… сократили. Местком делал кое-какие попытки найти мне место внутри института, хоть какое-нибудь, но ничего не получилось. Мама работала в институте, связанном с каракулеводством; в конце 1932 года после длинного разговора с директором в присутствии секретаря и бухгалтера, когда он расспрашивал, где глава семьи, откуда мама знает иностранные языки, она была сокращена “как чуждый элемент и жена ссыльного”. Страшно в этом было то, что у сокращённых отбирали карточки, так что мы оказывались без хлеба… В середине января 1933 года мама тяжело заболела, успев перед болезнью устроиться на работу в Дорком РОКК Северной железной дороги на вечернюю работу. С её болезнью я стала заменять её. Маме было плохо, температура, кололи камфору. Но врачи-знакомые, которые всегда лечили нас, теперь приходить боялись, т.к. среди врачей в это время шли аресты…

Из Москвы людей выселяли пачками. На собраниях в учреждениях и домоуправлениях объясняли, что “паспорт — это путёвка в жизнь”, где нет места бывшим людям, вредителям, беговым колхозникам. Говорили, что паспортизация упорядочит вопрос с продовольствием и жильем в Москве, очистит Москву от недавно приехавших, от лишних. Все мысли и помыслы в январе

— марте 1933 года были заполнены паспортами: таким-то неожиданно дали, таким-то неожиданно не дали, иные дворяне получали, иные нет. Только о паспортах говорили, только этого боялись. Обстановка в Москве была тревожная, неуверенная. Люди разделялись на получивших и на не получивших. В приёмной у Калинина стояло по 10 тысяч человек. В результате всей беготни, стояний в очередях, звонков, хождения по приёмным и, по-видимому, неведомых нам хлопот, звонков и неких сил выселение наше было приостановлено до 10 мая. Но плохо было то, что мы обе были без службы, без зарплаты, без карточек… у нас в это время оказалось очень много друзей… Помню, что к нам заходило много народу: то ли меньше боялись, то ли превыше боязни болели за нас».

В Кеми Снесарев разнорабочий, банщик, посыльный. И преподаватель, лектор, учёный. В учебно-производственном комбинате преподавал математику, экономическую географию, и хотя ученики с трудом воспринимали обращенное к ним слово, но были благодарны; в клубе, женском бараке читал лекции о путешествии в Индию, далёкую, солнечную, заключённым нравилось, встречные приветливо здоровались и улыбались. В марте он был назначен библиотекарем и стал жить в комнатке при библиотеке, уйдя из барака-роты с её двухэтажными койками, шумовенью и руганью. Через неделю получил пропуск — право бесконвойного выхода в город. Исходил Кемь, подолгу стоял у старинного Успенского собора; ещё было живым предание, что когда-то на его месте находилась часовенка, в которой перед отъездом на Соловки молились первые устроители островного монастыря; собор вздымался на горе, откуда видно было всю Кемь; внутри храма, тогда ещё нетронутые, взирали на входящих лики с деревянных резных икон.

А в Кеми по весне всё чистилось, убиралось — ожидали приезда Бермана, начальника ГУЛАГа, и Раппопорта, замначальника ББК. Но никто из них не «осчастливил» своим появлением. Вернее, Раппопорт проследовал по железной дороге, не выходя из вагона, принял бодрый рапорт и отбыл далее.

2

26 апреля случилась беда. Надо было заменить пропуск. Заменили, но готовивший пропуск ошибся (вместо Андрей Евгеньевич — Александр Евгеньевич), у проходной Снесарева остановили небрежно-грубо: «Не твой пропуск». Он возмутился и, весь в ознобе, вынужден был идти менять пропуск. Это огорчение, перешедшее в потрясение, оказалось из тех, что приводят к

шоковому состоянию. При возвращении в комендатуру его повело вправо, и он упал, потеряв сознание. Очнулся в лазарете, но там его долго не стали держать, так как не было температуры. По дороге из лазарета к дому он снова упал, его ударило так, что отнялся язык, перекосило лицо, левая рука повисла бессильной плетью. Его снова доставили в лазарет.

Когда родным пришла открытка с извещением, что у Андрея Евгеньевича случился удар и он в лазарете, Фаддеев разрешил Евгении Васильевне выехать немедленно. Но не было денег. Билет купил А.И. Тодорский. Деньгами помогли друзья: Грум-Гржимайло, Рябковы, Де-Лазари, Джашитов, Певневы, Курбатовы, Путиловы, Нежданова.

Она приехала 20 мая, а дома умирал старший сын Евгений, а её отец и сын Кирилл уже покоились на Ваганьковском кладбище. Евгения Васильевна пробыла до июня, разрываясь душевно между Москвой и Кемью. В начале июня старшему сыну стало совсем плохо и вскоре, ночью, он скончался. Хоронили его без матери, в ту же могилу на Ваганьковском кладбище, где лежали его дедушка и его брат.

По возвращении Евгении Васильевны из Кеми туда сразу же стали собираться дети — Женя и Саша, так как отца одного, без родных, из-за его глубокой смертной тоски надолго оставлять было нельзя. Но на этот раз сложилось не очень складно. Дважды было разрешено свидание на общих основаниях — в сопровождении стрелка, а затем и вовсе отказано. Дочь обратилась к Онегину, новоназначенному начальнику лагеря Вегеракша, раньше начальнику второго отделения Свирьлага. Узнав, что в свиданиях отказывают, он помог без проволочек.

3

18 августа 1933 года на Вегеракше загорелась и вмиг заполыхала деревянная лагерная больница. Снесарев был на втором этаже, мимо сновали сестры, санитары, врачи, спеша вынести лежачих больных. Андрей Евгеньевич медленно шёл вдоль стены. Спускаться было неудобно, так как перила находились слева, а левая рука бездействовала. Никто на него не обращал внимания. Суеверный ещё со времён мировой войны, он подумал, что если его никто не зацепит, не собьёт с ног, то он выберется наружу. По счастью, так и сталось. На улице две молоденькие сестрички отвели его, вконец обессиленного, подальше от жара и смрада, усадили на ошкуренное бревно.

Больница рухнула — угли разлетелись по всей стране! Горели городские ломбарды, горели деревенские избы, горели

леса, выгорали под знойными злыми летними лучами ржаные поля…

Больных распределили по ротам. Снесарева поместили туда, где селили уголовников, отказников от работы, беспомощных инвалидов. Там крали всё: обувь, одежду, пайку хлеба, ложку прямо из рук. У Андрея Евгеньевича уворовали даже брюки. Трудно сказать, что было бы дальше, если бы не помог священник Михаил Семёнович Яворский: он уводил больного и обворованного в свою роту, одевал, кормил, поил, хранил посылки.

И Снесарев после пожара, остро пережитого, вдруг всё вспомнил. Может быть, это была последняя ослепительная победа памяти над сгущающимся склерозом, над сумеречной неотразимой забывчивостью. И он вспомнил во множестве штрихов раннее детство, как летом детишки играли в прятки в высоких травах и лозняках близ Дона, как зимой санки по лукам ехали, ехали в сторону Мироновой горы, и казалось, никогда не доедут, может, едут они и доныне, только сидит на облучке теперь другой возница.

В начале сентября дочь снова приехала к отцу, о чём вспоминает: «Свидания сначала не давали вообще. Потом новый начальник лагеря Онегин на собственный страх дал свидание на общих основаниях, т.е. на проход мой в лагерь в сопровождении стрелка, и в лагере в определённой комнатушке встреча с папой на 1–2 часа в присутствии двух стрелков… В октябре свидание стали давать всё короче и всё с большими трудностями… Папа значительно окреп… Речь совершенно восстановилась, и он иногда читал мне вслух, как и в прежние годы, с тем же мастерством и разными модуляциями голоса. В конце октября произошло невероятное: из Москвы пришла от кого-то бумага с предложением перевести Снесарева в лазарет, где создать ему самые лучшие условия.

Поздней осенью 1933 года У СЛОН (управление Соловецких лагерей особого назначения) был преобразован в ББК (Беломоро-Балтийский комбинат). Лагерь Вегеракша становился девятым отделением ББК, с начальником Иевлевым. Он отказал мне в свидании, так как Андрей Евгеньевич теперь находился в поясе лагеря, а людям вольным туда вход воспрещён. Я тогда обратилась к Сутырину, помощнику начальника ББК, который в это время находился в Кеми, с просьбой разрешить мне лично ухаживать за отцом. Разрешил. Это был человек невысокого роста, с тремя ромбами в петлицах. Про него говорили хорошо. Я стала регулярно посещать папу в лазарете. Он действительно находился в маленькой отдельной комнате».

4

В ноябре над Кемью, над карельскими, над архангельскими лесами и деревушками, над лагерями, над Соловками, над всем Беломорьем уже кружила жестокая метель, ветер валил с ног, слепил глаза, заметал избы до крыш и деревья до крон. Вечные ветры над Россией, вечная кинжальная пурга, переходящая в буран.

«С 7 ноября всё внезапно замёрзло», — пророчески и нечаянно символически скажет дочь, теперь уже постоянно жившая в Кеми, рядом с отцом.

Отец говорил ей, что обдумывает книгу «Во главе двух дивизий», где воспоминания о войне перемежаются с теоретическими и практическими разборами боёв, раздумьями о природе войны, о духовной и физической подготовленности воина, о «маятниковой» психике человека, продиктовал дочери проспект сочинения «О чём говорят поля сражений», надеялся написать «Околобрачные обычаи» — индийские, персидские, славянские…

И всё же чаще — изнуряющая горечь, усталость, а не жажда действий. Угасают сыновья. Или ему, как Муравьеву-Апостолу, суждено потерять их? Но сыновья сенатора сами потянулись в полымя, а его дети? А неисчислимые дети трагической родины? Отчего им уготована такая судьба? Угаснуть, молодыми завершить земной путь… Отчаяние находит: он, всю жизнь живший для семьи, для Родины, теперь не в силах помочь им даже малой малостью.

5

«С разрешения начальника лагеря я стала работать в лазарете санитаркой, — вспоминает дочь, — потом сестрой и за это получала обед; а позже — и сестрой в городской больнице. 14 января 1934 года, всё еще не получая ничего конкретного относительно освобождения, по совету Онегина и Чернова, я отправилась в Медвежью Гору. Страшновато было идти на станцию в 4 часа утра, поезд отходил в 6. В Медвежьей Горе провела три дня, подала Сутырину заявление о пересмотре дела, заручилась его обещанием запросить Москву и прислать ответ в Кемь и 17-го вернулась домой. Через несколько дней… мне было предложено написать заявление в ГУЛАГ о пересмотре дела и подписаться “за больного отца”, а также сказано, что по распоряжению Пильнера (зам. начальника ГУЛАГа) мне дают на 20 дней свидание. В конце января меня попросили выступить в

клубе на вечере… Я танцевала матросский танец и мазурку Венявского…

Через три дня после концерта меня вызвал Иевлев и строго, по-начальнически, начал допрашивать, по каким документам я прохожу в лагерь, почему и кто меня привлёк к участию в концерте (в тот день на концерте было всё начальство); я была во всеоружии: показала ему мой “пильнеровский пропуск” (он, кстати, подходил к концу) и немедленно стала советоваться с ним о продлении, говорила о Медвежьей Горе, о Сутырине, о заявлении в ГУЛАГ, о письмах мамы, говорила долго и, в конце концов, получила свидание на 25 суток».

В январе 1934 года на Вегеракшу прибыл профессор Оршанский, главный врач Наркомюста, главный невропатолог и психиатр Беломоро-Балтийского комбината. Осматривал немногих больных-коллегиальников, то есть осуждённых коллегией ОГПУ, а не тройкой. Весьма тщательно осмотрел Снесарева, позже в лагере прошелестел слух, что ради него-то он и приезжал.

Разные слухи курились над Кемью, в холодных бараках и палатках, на лагерных работах. Мол, мужчин всех отправят на БАМ — Байкало-Амурскую магистраль. Мол, всех инвалидов соберут в лагерь под Москвой, и они там будут плести лапти. Часто звучало слово «колонизация», а это значило, что сверхударникам, уже отбывшим часть срока, предлагалось выписать семью и поселиться на особо отведённой территории.

Зима выдалась суровая, сорокаградусная. Февраль оправдывал своё название вьюжного месяца, и мело так сильно, что не видно было другой стороны улицы — какая-то белая беснующаяся пелена. Снегу наметало такие сугробы, что, бывало, утром нельзя было выйти, снег заваливал двери.

Дни очень короткие — часа полтора-два, остальное время — тёмная ночь. В особенно сильные морозы из леса выходили волки, совсем недалеко от дорог, знобко были видны точки-огоньки их глаз…

Снесарев то впадал в тоску, то вновь становился собран. Но не деятелен. Много думал, вспоминал, размышлял о будущем, уже мало надеясь участвовать в нём. Главное своё дело на земле он сделал: и дети, и книги, и войны, и путешествия, и пророчества. Силы ушли, он предсказал будущее, его никто не услышал.

6

В конце апреля 1934 года Андрей Евгеньевич упал в

тяжелейший обморок. Человек, всю жизнь прямо и стройно ходивший по земле, уверенно державшийся в седле или на корабле, беспомощно, обездвиженно лежал на полу. Прибежали врачи, из перевязочной позвали дочь. Придя в себя, он не сразу понял, где он, кто с ним, не мог вспомнить, какой по календарю день, месяц, год… Стал бояться оставаться один — он, так любивший одиночествовать в размышлениях, совершать прогулки одинокого человека. Едва он поправился и даже повеселел, как обморок повторился — с теми же признаками.

В начале июня снова приехал врач-психиатр Оршанский. Выявил: «Нарастание слабости… общий упадок сил… угнетение, боязнь передвижения, исхудание и чрезмерная раздражительность, характерная для лиц, перенесших инсульт и находящихся под опасностью его повторения». И как заключение: «Требуется специальное лечение в условиях нервной клиники, что возможно при условии перевода Снесарева на испытание и лечение в Ленинград в институт психиатрии при больнице д-ра Гааза — по возможности в ближайшее время».

7

Сохранились две дневниковые снесаревские тетради «Кемь — Вегеракша» с записями за январь — апрель 1933 года. Частично процитируем и их: ими завершается тройственный географический путь его лагерного бытия (Свирьлаг, Соловки, Кемь — Вегеракша); в них взгляд Снесарева остр, ум фиксирует значимое не для одного человека, но всей страны, а за страну, за родину сердце по-прежнему болит.

«Старый Новый год прошёл в организации ударника. Старики часа 3 занимались перетаскиванием игрушек из мастерских в амбар… Удивительно, как много людей приветствовали друг друга с Новым годом, сопровождая приветствие пожеланием свободы… В этом приветствии я почувствовал не только совпадение переживаний с нашей народной массой, но и элемент политического протеста…

Очень морозный и тихий день, чувствуется хорошо, хотя рука тотчас же замерзает; небо поражает своими красками, зори восхитительны… Север по-своему интересен, и немудрено, что его люди особого склада: сюда шли дети, ищущие или подвигов, или тихого приюта в дремучих лесах под сводами дивного неба… Читал лекцию в клубе, народу набралось несколько десятков (в клубе не топят, нет ни газет, ни буфета); впереди сидели истинно желающие послушать, позади молодёжь — парочки, пришедшие на свидание… Лекция прошла прекрасно…

Большое количество людей, которым выходит срок, остаются жить здесь или двигаются ещё севернее — на Кандалакшу, Мурман и т.д. Причины: 1) боятся вновь очутиться в ссылке; 2) ехать некуда, всё разорено, семья и родные рассеяны; 3) здесь за что-то зацепились. По-видимому, противоборствующие чувства заглохли или выбиты: “дым отечества”, родные ландшафты, родные, друзья, песня и язык… Тут только на старости лет поймёшь борьбу в Англии за Habeas corpus и всё значение правового порядка… Здесь он есть, дальше только смерть, и хотя жизнь не сладка, но она нормирована грустной фразой “хуже не будет”. А там, в родном углу, много отрадного и говорящего сердцу… но всё разорено и нет Habeas corpus… Старшая дочь-“разумница” священника Рождественского пишет отцу от лица всей семьи: “Как ни больно жить с тобой врозь, как ни тяжко тебе на холодном Севере, мы всё же примыкаем к твоей мысли остаться в заключении…” Он остался… (Habeas corpus — закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 году. А что в России было в том далёком году? Да ничего примечательного, из ряда вон выходящего, кроме печального: самосожжения в верховьях сибирской реки Тобол сотен и сотен старообрядцев. Ещё, правда, переговоры с Австрией и Францией о союзе против турок. Но цена подобным союзам давно обозначена историей. Словом, не Хабеас корпус. А Хабеас корпус — это не отменные калоши английские. Это куда более серьёзная защита личности. Правда, не следует забывать про кровавого Кромвеля, его буржуазно-революционную ненависть, изгнанных с родных земель крестьян, и расстрелянных, и повешенных… Но это такие мелочи перед Хабеас корпус. “Людей можно делить по многим признакам, и нет недостачи в подобных попытках; англичане делят, например, людей на активных и пассивных, и этот подход очень меток и интересен”, — пишет Снесарев. Вновь и вновь он возвращается к английскому феномену и на фоне отечественной разрухи многое у англичан видит разумным. — *Авт.)*

Яков Михайлович Тришков, уроженец Самарской губернии. С 16 до 23 лет он жил в монастыре, потом женился и 12 лет был причетником, а последние годы священником… Ходит тихо, говорит тихо, отвечает лишь на вопросы и просьбы… Он так же не работает, как фёдоровцы, но он от них в стороне и вообще одинок. У него ничего нет, и посылок он не получает, т.к. его беспрестанно гоняют с места на место, часто держа в изоляторе… Я с первых же дней заметил его по ночам молящуюся фигуру у круглой печки; он стоит обычно, как свеча, лицом на восток, и не один раз эта свеча смущала моё воображение; поклоны он кладёт

редко, крестится мало; стоит он целые часы, пользуясь тем, что в камере все спят. А если начинается движение, он переходит на своё место на нарах… и молится на коленях… О чём он молится? Какие он читает молитвы? На мой вопрос, почему он не работает, он отвечает так: “Жена моя умерла, две дочери замужем… я теперь один, свободный от семейных обязанностей и могу молиться… работа помешала бы мне, т.к. на ней много шуму, ругани и сквернословия”… Его понять можно, он ясен для других и себя… Фёдоровцы — другие… (Здесь дважды проскальзывает слово “фёдоровцы”. Автор этой книги просмотрел 23 тома дела фёдоровцев в Воронежском областном управлении госбезопасности — в девяностые годы доступ к прежде закрытым материалам был открыт. В южных районах области, близ малой родины Снесарева, принудительному колхозоустроительству предшествовало и смыкалось с ним ещё одно насилие, под ножницами которого оказались фёдоровцы — религиозные сектанты монархического толка; возникнув в середине двадцатых, секта фёдоровцев-“крестоносцев” быстро увеличивалась, распространяя в Придонье своё влияние и самые фантастические слухи, вроде тех, что в Новом Лимане, селе близ Богучара, живёт царская семья или что после восшествия на престол “святого Фёдора” от Москвы не останется камня на камне. И, надо признать, среди фёдоровцев, иные из них были участниками Колесниковского крестьянского восстания, находилось немало крепких в своей вере, и на суде чётко излагавших взгляд на колхозы и на большевистскую власть как на богопротивное учреждение. — *Авт.)*

Электричество горит у нас безобразно: мигает непрерывно, часто совсем прекращается на 5–15 минут, и никому дела нет до этого прискорбного явления, портящего лампочки, глаза, затрудняющего и гадящего нашу работу, которая круглый день ведётся при электрическом свете… В результате недостатки, как “Бесы” Пушкина, переплетаются в нашей жизни, плодят новые недостатки, и вот вам объяснение для дурной продукции… ужаса которой, по-видимому, не понимают… (Действительно, изготавливаемые заключёнными игрушки — верблюды, львы, зубры, жирафы, лебеди — на себя не похожи: в дикой раскраске, в корявых позах, искривлённые, перекошенные, и зачем эти диковинные тропические животные в каком-то победоносном множестве плодятся здесь, в холодном предполярном лагере, где не до игр, где собаки лютеют, где колючая проволока и смерть; куда они пойдут, какую детскую душу ранят, эти нечаянно декадентские, с позволения сказать, игрушки? — *Авт.)*

…читал лекцию в 5-й роте (женбарак) о Памире с подъёмом и

естественной теплотой… 3 дамы прослезились. В итоге — благодарности и просьбы читать… читал лекцию об Индии… Моя репутация лектора, по-видимому, растёт… (Он радуется как ребёнок, читая лекции безграмотным заключённым, это он, блистательный лектор, лекциями которого заслушивались Петербург и Москва; но, быть может, восприятие его слова здесь, в спрессованной толще былых сословий, в толще народной, для него существенно, во всяком случае, не менее, нежели столичное. — *Авт.)*

Я значусь постоянным преподавателем математики, и вприбавку библиотекарем; получаю за час 60 коп. (библиотека даром) и буду вырабатывать 30–35 руб. в месяц, т.е. в 2–3 раза больше, чем когда-либо раньше…

26–27 марта я получил пропуск и, значит, разгородил… проволоку… бродил 2 часа по Кеми, осмотрел старый собор… Собор обвалился, частокол остался кусками, словно зубы старика, крыша входа покосилась, окна забиты досками… Всё уныло и глухо в этом здании, где несколько сот лет люди говорили с Богом…

Наше учреждение называется учебно-производственным комбинатом… Курс продолжается от 2 до 6 месяцев, идея — создать квалифицированных работников… идея симпатичная, и я отдаюсь ей с полным увлечением…

У нас в коридоре непрерывные пропажи: кружки у бака с водой пропадают систематически, календарь сорван, даже решетка для обтирания ног унесена… Словом, принцип частной собственности расшатан прочно, но это расшатывание пошло в роковые стороны: к краже у своего ближнего последнего насущного достояния: бушлата, сапог, шапки, белья, пайки хлеба — и к разграблению народного достояния… И, очевидно, получается императивная альтернатива *conditio sine qua:* или сохрани принцип частной собственности (выработан десятками тысяч лет большого мучительства) — и тогда будешь иметь шансы уберечь государственное достояние и частный насущный кусок хлеба, или уничтожь частную собственность — и никакой собственности не останется, её расшатают сверху донизу… Природа не разрешает спасительной демаркационной линии…

Дело об электровредителях заинтересовало и наши медвежьи углы. И главный, по-видимому, мотив: нельзя ли по какой-либо аналогии или побочным данным сообразить, за что и почему нас засудили… Процесс — мировое событие, фактор от необъятного количества данных, и как о нём судить нам, жалким узникам Севера?»

На этом лагерные дневники Снесарева обрываются.

Логическое добавление в том времени и пространстве: узники Свирских лагерей Иван Солоневич с сыном и младшим братом в августе того же 1934 года совершают побег и переходят финскую границу. Уже погиб, воюя в войсках Врангеля, средний его брат, уже отсидел в Сибири и на Соловках младший его брат, а ему, старшему, Ивану, ещё предстоит сказать своё слово. И это слово — книги «Россия в концлагере» и «Народная монархия» — услышат во всём мире. В отношении к народу, к монархии, к революционному «фальшивому» Февралю чувства, мысли и дела Солоневича и Снесарева братски близки, а Свирские лагеря ставят меж ними и соединительный знак судьбы.

ПРИ БОЛЬНИЦЕ ДОКТОРА ГААЗА. 1934

Больница носила имя Фёдора (Фридриха) Гааза (1780–1853), «святого доктора», как именовал его народ. Уроженец прирейнской Пруссии, он в 1806 году перешёл на русскую службу и всю свою жизнь посвятил облегчению участи заключённых. Будучи старшим врачом тюремной больницы в Москве, он так или иначе помог тысячам и тысячам несчастных. «Спешите делать добро!» — эти постоянно повторяемые им слова стали заветом для широкого сообщества лечащих.

1

Стояли белые ночи. В июне 1934 года Женю Снесареву вызвал заведующий лагерным госпиталем и объявил, что пришло решение направить её отца на излечение в Ленинград в больницу имени доктора Гааза. Можно будет уехать, как только оформят документы. Их оформили, не мешкая, и вот уже четверо — недавно лагерный узник-генерал, его дочь, определённая быть медсестрой, и два сопровождающих стрелка-вохровца — под мерное постукивание колёс всё дальше и дальше уезжали от зоны… Кемь оставалась позади — холодная, дождливая, пронизывающе ветреная, и это в июне! Обычный сидячий вагон. Прибыли в Ленинград поздним вечером 27 июня 1934 года. Пока дочь и стрелок сдавали больного, наступила глубокая, но светлая ночь. Полуночник-трамвай довёз Женю на Международный проспект, где в одном из домов жила её тётя Лидия Петровская. В столь поздний час звонить девушка не решилась, просидела до утра с чемоданом во дворе. Этот двор был типичный петербургский двор-колодец. Колодец Достоевского! Радушно встреченная, она сутки отсыпалась за три бессонные ночи.

2

Далее не поскупимся на страницы воспоминаний Евгении Андреевны. Если бы даже существовали иные, они едва ли могли сказать более значительно и обстоятельно, более душевно, чем это сказано в её воспоминаниях, — с тем удивительным чувством благодарности жизни и благодарности всем, кто помог.

«Неизменная паспортная туча стояла надо мной: меня не прописывали в Ленинграде, отказы были по всем инстанциям, хотя паспорт мой был московский, но последняя прописка стояла

— г. Кемь; она и влияла. А без прописки не брали на работу. Правда, я немножко подрабатывала в неожиданном амплуа — в кино. У тёти Лиды был один знакомый, каким-то образом связанный со съёмками “Юности Максима”; вот он и занимал меня то в уличной сценке, то во дворе фабрики, дал мне даже небольшой эпизод: конка, которая не может идти дальше из-за толпы; я сижу на империале с двумя круглыми коробками, видимо, я модистка, вскакиваю и сбегаю со своими картонками вниз. Меня таки прописали в Ленинграде, и в этом деле мне неожиданно пришёл на помощь папа. Когда он узнал, что этот вопрос никак не утрясается, он спокойно посоветовал: “Обратись к Ивану Панфиловичу Белову, он — мой ученик по Академии, может быть, он поможет”. А Белов был не более и не менее командующим войсками Ленинградского военного округа. Я так и сделала. Белов принял меня немедленно; спросил только: “Значит, Андрей Евгеньевич уже в Ленинграде?”, расспросил о здоровье, кому-то позвонил — и через два дня я имела прочную постоянную прописку в Ленинграде…

А в состоянии папы наступило ухудшение… Врачи относились к нему очень хорошо. Но больница всё же была тюремной, с режимом и строгостью. Ходил он хорошо, нога не волочилась, но походка всё же была тяжёлая. Врач мне сказала, что левая рука потеряна, а нагрузка на психику в связи с продолжающимся заключением не способствует выздоровлению. 26 сентября 1934 года меня вызвали к телефону. Женский голос произнёс: “С вами говорит палатный врач вашего отца. По решению комиссии он освобождён, и мы его выписываем. Приезжайте завтра за ним”.

Освобождён! Долгожданное слово “освобождён”, которое мы ждали почти полтора года… На следующий день доктор предупредила: “Только будьте с ним очень осторожными. Даже радостные волнения могут быть для него губительны”. Я послала маме телеграмму, и мы стали ждать денег на дорогу, — конечно, у тёти Лиды в комнате». (Тётя Лида, она же Лидия Петровская, с которой когда-то полковник Академии Генштаба Андрей Снесарев в антракте царственно прохаживался по фойе Мариинского театра, невольно заставляя, в восхищении или лёгкой зависти, поворачивать головы и глаза красивых женщин и мужчин. Впрочем, давно это было, он об этом и позабыл, да и Лидия — опять это вечное имя первой возлюбленной! — была не то что не в его вкусе, но в ней было столько непредвиденных эмоциональных экспансий, а главное, его прекрасная жена не сравнима ни с кем, и её образ всегда ему затмевал образы любых красавиц. Но в тот день Андрей Евгеньевич пребывал в доме

Лидии Петровской, благодарный за родственный приют.)

3

А ещё раньше жена Снесарева несколько раз была на приёме у прокурора Фаддеева. Он был неизменно доброжелателен, чувствовалось, что он хочет помочь. Куда-то звонил, но без очевидного успеха: те, кому звонил, либо не давали ясного ответа, либо просили подождать, а кто-то и вовсе отсутствовал. Тогда он попросил прийти на следующий день. За следующим был ещё следующий. В последний раз, при ней разговаривая с кем-то, сказал: «Она уже два года ходит, нужно, наконец, разрубить этот узел». И посоветовал: «Добивайтесь приёма у Акулова, только он может это быстро решить». В начале августа 1934 года Евгения Васильевна попала, наконец, на приём к И. А. Акулову — Генеральному прокурору СССР. Он не только внимательно выслушал её — он помог. Он всё сделал, чтобы Снесарев вернулся в свою семью как можно быстрее и свободным.

В 1938 году (Большая советская энциклопедия называет 1939 год) в пятьдесят лет Иван Алексеевич Акулов — первый Генеральный прокурор СССР, попытавшийся в неправовом государстве-режиме установить законный и справедливый прокурорский надзор, был репрессирован — расстрелян.

МОСКВА — В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. 1934–1937

Отец и дочь прибыли в Москву 5 октября 1934 года. «Стрела» не стрела, но домчала из Ленинграда быстро. По совету врача Снесарев перед самой Москвой выпил валерьянки: и радостные волнения могут быть губительны для таких, как он, больных. И всё равно… Когда жена и дети вошли в вагон, генерал, перенесший без плача 75 сражений, вдруг расплакался. И медленно, широко перекрестился!

«Мы медленно пошли по платформе. Папа был одет во всё услонское: шинель, папаха — всё мятое, и люди обращали на него внимание, оглядывались. Папа шёл медленно, иногда останавливался и озирался. На перроне стояла группа из трёх военных, они смотрели на нас, отводили глаза при нашем приближении и снова смотрели вслед», — рассказанное Евгенией Андреевной столь поразило моего старшего сына Игоря, что он, тогда курсант военного училища, написал стихи:

Равнодушный к несчастной России вокзал, Что потерянный город без веры… На перрон одиноко ступал генерал — Отводили глаза офицеры.

1

Семья медленно поднялась по лестнице. Вот квартира, в которой он прежде не бывал. Чужая-родная дверь открылась…

Вскоре его осмотрели медицинские светила столицы: Евгений Константинович Сепп, директор клиники нервных болезней Первого Московского мединститута, Иван Юльевич Тарасевич, Егор Егорович Фромгольд, один из лучших терапевтов Москвы, наказавший ставить раз в две недели пиявки, а также беречь от всяческих волнений — как печальных, так и радостных; ибо Снесарев — «хрустальный»: его могут разбить как горестное известие, так и радостное.

Андрей Евгеньевич радовался встречам, друзьям, любовался цветами, как когда-то на Дону, а позже в Карпатах. Но ему всего этого было мало, он словно бы ожидал здоровой деятельности, полной свободы пространственной. Ему хотелось, чтобы кто-то всегда был около. А жизнь шла своим чередом: дети уходили в школу, жена на службу, дочь садилась за машинку — работа была неизменно спешной. И он начал чувствовать себя одиноким. Тогда его из угловой комнаты перевели в первую — проходную, где жили сыновья; дверь в угловую комнату, где теперь спали жена и дочь, оставляли и днём, и на ночь открытой. Так он менее

ощущал себя одиноким.

А Москва? Москва если и была одинокой, то разве по своему равнодушию к остальной России, к русской провинции; так в ней было людно, шумно, событийно-празднично: то день физкультурника, то день авиации, то съезд Союза писателей. Всё ломалось, всё строилось. Провалилась, правда, затея с возведением Дворца Советов: не выдерживал грунт новоявленной Вавилонской башни с памятником Ленину наверху, как предусматривалось, видимым даже из Рязани; огромный котлован медленно оседал, его заливали воды. Может, Сталин, и не желавший, чтоб Ленин зримо возвышался на всю былую Московскую Русь, рад был по технической невозможности отвергнуть исполинский проект. Ненавидя так называемую ленинскую гвардию, он, быть может, всё больше ненавидел и Ленина.

15 октября 1934 года в Риге умер Собинов, ему было шестьдесят пять лет. Нежданова и Голованов выступили в печати с проникновенными словами памяти, в редакции хлынул поток писем, во множестве опубликованных. Певца хоронили на Новодевичьем кладбище. Шли артисты со скорбными лицами, двигались три колесницы с траурными венками, катафалк везли лошади в золотых чепраках и с перьями на головах. Масса почитателей и поклонников. Было два оркестра, консерватория пришла со знаменем…

Ничего этого Снесарев не видел, но знал, что похороны из тех, что принято называть пышными, и он вспоминал свои встречи, совместные песни с молодым Собиновым и грустно, спокойно думал о превратностях судьбы.

2

В тот год разбушевались природные стихии: тайфуны, наводнения, бури-ураганы, землетрясения… Да ещё политические потрясения. В Вене в своём кабинете был смертельно ранен австрийский канцлер Дольфус. В Марселе убиты король Югославии Александр и министр иностранных дел Франции Барту. След потянулся к хорватским националистам. Убили и ранили ещё несколько человек — как всегда бывает у не жалеющих ничьей крови террористов: бомбовый «приговор» никого не щадит из тех, кто оказывается рядом с намеченными жертвами, — ни малых, ни старых. Гибель короля Александра особенно поразила Снесарева, он знал, сколько его знакомых и даже близких нашло добрый кров в Сербии, осело в Югославии.

Куда возвращался он, Снесарев? К какой новой жизни? Что

мог он? Как раз в этот год в Москве и стране геополитика была развенчана как лженаука. Сразу нашлись и легионы невежественных борцов с «ложным учением». Дело всей его жизни шло под откос. Англия, Америка, Германия, даже малые, обочные страны пестовали геополитиков, а у нас — «лженаука».

Он ещё раз, как когда-то в Острогожске, вспоминал своих друзей, товарищей, знакомых, причастных «лженауке», поскольку, защищая Отечество, они были геополитиками; и как многое изменилось в мысленном списке — или погибших в Гражданской войне, как Корнилов, Марков, Келлер, или на родине отошедших после, как Лечицкий, Брусилов, Зайончковский, или нашедших вечный покой за дальними рубежами и в ставших самостоятельными окраинах былой Российской империи, как Щербачёв, Келчевский, Филатьев, Болховитинов, Вандам, Юденич, Кондзеровский, Кортацци, или убитых террористами, как Покровский, Романовский, или выкраденных в Париже карательными большевистскими органами, как Миллер, Кутепов, или пропавших без вести…

А живы ли ушедшие в сербские печальные и чем-то родимые края Павлов, Экк, Шляхтин?

И часто болью схватывало сердце ещё вот отчего — брат! Брат Павел, родная кровь как чужая кровь. Им нечего было делить, они не княжеского, или царского, или государственно-служилого рода, там брат брата если не убивает, то изгоняет, ослепляет, ранит из-за власти над градами и весями, землями и подданными. Но что им делить? Да, их род ревнивый. Но у каждого было дело, каждый был талантлив. Как пели они песни на заре молодости! И вот брат словно на другой планете. Он не приехал к старшему брату ни в трудном для него семнадцатом, ни в двадцать седьмом, когда его впервые арестуют (как некий звонок угрозы), ни в тридцатом, ни в тридцать первом, когда Андрей Евгеньевич, ожидая самого худшего в московских тюрьмах, будет дважды приговорён к расстрелу, не проведает в северных лагерях. И даже теперь, когда старший брат в Москве, уже не опальный, уже не опасный, что же он теперь не навестит его? Отзовись, зайди, брат Павел!

Не приедет тот и на похороны старшего брата, но тогда семье умершего будет уже не до обид.

После 1 декабря 1934 года — после убийства СМ. Кирова в Смольном, тогда Ленинградском партийном обкоме, по стране пронеслись очередные чёрные вихри арестов, ужесточений, изгнаний. Из Ленинграда выслали много народу, из Москвы — также. На полный разгон колеса разделались с «бывшими» — до той поры ещё редкоуцелевшими дворянами, офицерами,

священниками. Разумеется, не только с ними. Высылали семьями, высылали десятками тысяч. Ходовые тогда минус два, минус шесть — это вовсе не цифры температуры, это означало запрет на жительство в двух или шести наиболее значимых городах. Одним давали минус два — Москва, Ленинград, другим пожёстче, минус шесть — Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Одесса, Владивосток. Многих отправляли в Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь. Но репрессивная волна семью Снесаревых на этот раз миновала. А у Андрея Евгеньевича снова пошли «геополитические импульсы», он стал живо интересоваться тем главным, что происходило в мире, стал просматривать газеты и журналы, с радостью встречал своих учеников, превращавшихся в серьёзных учёных Тюляева, Губера, Никонова, размышлял с ними о том, что может в скором времени произойти в стране и мире.

Что может произойти? Прошло двадцать лет от начала Первой мировой войны, и завершилась она не так, как думалось и чаялось, и Родина — через так называемые революции — превратилась в погубительницу своих лучших сыновей злохуцшими, откуда взявшимися неисчислимо? И зачем же тогда понесены эти великие жертвы лучших в той войне? Зачем небывалый в мире Осовец? Крепость мужества и гибели. Зачем тот приграничный, от Варшавы недалёкий Осовец, слово дом родной, оборонял его земляческий Землянский полк, корнями из воронежских крестьян? Зачем он держался полгода под страшным огнём тяжёлых орудий, под бомбами и минами, а, впервые в мире выдержав смертоносный газовый ветер, предгибельно задыхаясь, остатками своих рот, харкающих кровью и кусками лёгких, пошёл в последнюю и победную атаку на вражьи позиции — атаку, которая отложилась в драме войны как единственная в мире «атака мертвецов»?

Проницательнейший снесаревский ум уже видел всесокрушающий ураган-силуэт Второй мировой войны и снова неичислимые жертвы его Отечества. И Брест, от Осовца совсем недалёкий. И видел облик победы, равный поражению каждой семьи. Победы, которую сведут на нет ненавидящие его Отечество мировые и внутренние силы.

И словно посыл из прошлого — ему часто являлись пространственный континентальный размах России и размах мирового океана в странном двуединстве, словно бы его имперская Родина, после Отечественной войны 1812 года огибавшая земной шар кругосветными путешествиями, по сути, глубоко и неоспоримо открывшая Антарктиду, нёсшая сторожевые службы у Аляски и Северной Америки, будет веками страной побед на пути справедливого мироустройства. Но всё

былое — безвозвратное былое, и только слава или бесславие большой крови будут повторяться и повторяться… В этом конечно-несчастном человеческом муравейнике, где смешались древние и новые миры, духовные и физические воители язычества, иудейства, христианства, надменного его протестантского побега, буддизма, мусульманства, тысяч сект, жертвенной веры и баррикадной апостасийности, и над всём этим полем человеческих побед и поражений проливаются кровь и золото.

Евгений Андреевич не переставал волноваться из-за семьи, сокрушался, что ничего не зарабатывает и для родных он «балласт». А между тем занимался с сыновьями математикой, физикой, географией, рассказывал им наиболее существенное из своей жизни, из былого Отечества. По просьбе Милия Фёдоровича Достоевского, внучатого племянника писателя, подготовил автобиографию для справочника востоковедов.

3

События 1935 года подобны событиям прошлогодним, позапрошлогодним, извечным. Воюют, строят, разрушают, торгуют. Рождаются, по-разному живут, умирают, а то и погибают от кинжала, яда, пороха и свинца… как в древние, как в Средние века, как в новые века. СССР, разрушитель и правопреемник монархической России, продал Японии КВЖД — трагическую дорогу продал, ни рубля в её строительство не вложив, ни костыля не вогнав, да и продал за бесценок. Италия напала на Абиссинию. Подписание советско-французского договора о взаимопомощи на пять лет. Германия вводит воинскую повинность: недолгие годы до аншлюса, а там и до Второй мировой войны. Подписание торгового соглашения между СССР и США. Умерли Мичурин, Циолковский, Козлов, исследователь Азии средневековой. В стране отменена карточная система… Что ещё? В том же году разбился самолёт «Максим Горький». Погибший самолёт с именем пролетарского писателя — не предупредительный ли звонок самому писателю?

В этом ряду, казалось бы, не столь значительное событие — полностью выходит в свет книга Николая Островского «Как закалялась сталь». И всё же… Книга художественно слабая, начало и вовсе ничего доброго не обещающее: главный герой, покамест мальчишка, изловчается насыпать махорки в тесто в доме попа, конечно же, обрюзглого и злого. Снесарев уже хотел было закрыть книгу, но в беглом пролисте выхватил глазами незабытые названия: Шепетов-ка, Киев, Львов — действие книги

разворачивалось в знакомых местах, где он три года провоевал. Не без любопытства прочитал про «Даёшь Варшаву!», ранение под Львовом, слова о границе — пусть и корявые, и идеологические, но о границе же: «На границе глаз нужен!»

Главное же в другом — удивительный и наивный образ славянского пафоса, порыва, надежды, мечты о всех счастливящем коммунистическом Беловодье, не ведающих, что Беловодье может обернуться Беломорьем, где на дно морское слепо ложатся затопленные баржи с несчастными узниками, где заключённых терзают гнус и голод, где их морят и расстреливают, где вдоль Беломорканала вырастают — сразу и забываемые — крестьянские кладбища.

И небывалый образ Корчагина, кажется, и забывшего, что он русский, — молодого бескорыстника-чудика, ушедшего с высокоруководящей и высокооплачиваемой должности, готового по пояс в воде стоять, на всех ветрах коченеть и тяжести таскать, и брёвна грузить на платформы, чтобы от заготовленных дров тепло Киеву стало; ни в чём не пожалеть себя, чтобы приблизить всемирное счастье — счастье всех народов земли (автор романа, при создании которого нашлись литературные помощники-подсказчики, будто стыдится слова «русский», едва ли трижды упомянув его).

Снесарев повидал поболее, чем автор книги, да и стократ острее и глубже видел запутанные дороги человечества, и он прекрасно понимал, что человек и страна, которые пренебрегают своими благами, интересами, властными и моральными традициями ради вселенского блага, будут третироваться мировыми властями и общественными мнениями. Желчный смех веками ударяет по бескорыстию.

Весною Андрей Евгеньевич был помещён в недалёкую от дома клинику нервных болезней, но пролежал там недолго: диагноз был поставлен скоро — последствия паралича и сильный склероз, а давать больному прописанные гиперсол, бром и люминал можно было и дома. Ванны, ладно бы, исключались, но исключались и прогулки, а без них он не мог обходиться даже в фронтовые, гибелью грозящие дни. Жизнь в движении, волнении, познании, жизнь под ярким солнцем исключалась. Можно было посидеть на балконе, да и то недолго.

Жена и дочь беспрерывно печатали, Снесарев постепенно обеих стал ревновать к… пишущей машинке. Семья перебивалась случайными заработками и приработками, например, сыновья, у которых по бедности не было даже сменных брюк, выполняли чертежи и составляли карты для разных учреждений. Иногда Андрея Евгеньевича, будто заточёнными крючьями, схватывали

приступы тоски, с которой ему трудно было справиться. Память его слабела на глазах родных. Хотя иногда вспоминал строфы, даже целые стихи из Лермонтова, чему радовался, как ребёнок. Но главная его печаль — невозможность помочь близким — усугублялась день ото дня. Он видел, как на износ, ради куска хлеба насущного, тянется жилами семья, а он — безработный, не могущий осилить и малые дела, вынужден на всё это мучительно взирать и исходить болью и невидимыми слезами.

Слова, при конце Первой мировой войны обращенные к родным: «Я, как завзятый оптимист, надежд не теряю», не раз им повторенные слова, духом которых неизменно утверждалось и облагораживалось движение его бытия с отроческих лет, теперь, на его закате, утратили свой жизнекрепящий смысл, обессиленный страшными потерями Отечества, непрестанными и тяготными испытаниями семьи, собственными старостью и болезнями.

И всё чаще он молчал. «Ейка, милая дочь, зачем она уходит, куда она уходит?» А наследнице без наследства по ночам снились не цветы, а названия цветов и трав, во сне сходивших с отпечатанной ею ботанической рукописи. Единственное, что он спрашивал у спешащей, каждый день с утра убегающей в мир большой Москвы дочери: «Куда спешишь, дочь?»; или: «Успеешь, дочь?»; или: «Что главное сегодня делаешь, дочь?» Он спрашивал и был далеко от ответа. Тяжёлая, разум и память ломающая болезнь давила и делала жизнь чёрной, иногда — белой, а долее всего — чёрно-белой полосой экрана.

Затворилось, чёрно-белой завесой задёрнулось прошлое. Недавнее его прошлое стало совсем как мёртвое. Но чем ближе к молодости, к детству, тем прошлое, сопротивляясь забвению, вырисовывалось всё ярче. Только оно было не совсем точное, сплеталось в причудливую вязь. Миронова гора, как изба в сказке, вдруг передвигалась к отрогам Памира, славянский Дон вдруг становился притоком индийского, арийского Ганга, и, наоборот, Россия и Индия обнимались садами, сплетались белыми цветущими ветвями.

И Карпаты помнились. Хотя и затянутые орудийными дымами, виделись незамутненно, ясно и четко. Иногда — до вырванного фугасом дерева, на миг, на все века зависшего в воздухе… Герой повести его земляка писателя Платонова в «Потомках солнца», имея в руках «сконцентрированный ультрасвет», производит сатанинский эксперимент: сметает с лица земли Карпаты. У Снесарева Карпаты сохранились.

За год до смерти… Сердце неровно билось, по ночам вздрагивало, как измученное и чем-то испуганное дитя.

4

Когда в 1936 году отмечали 85-летие Ивана Петровича Павлова, физиолога, академика, нобелевского лауреата, на высоком государственном уровне ему было обещано исполнить любое его желание; он попросил малое — не закрывать церкви в честь Знаменской иконы Божией Матери до его смерти, так как в ней он венчался, крестил своих детей и хотел бы, чтобы здесь свершилось его отпевание. Нет, Церковь ещё в опале, ещё не принято секретное постановление Политбюро о ленинских ошибках в религиозной сфере. Но Павлова отпевают в церкви. Явление, разумеется, всех удивляющее: такого ранга людей хоронят теперь в Советской стране не в земле, а в кремлёвской стене, и не под колокольный звон, а под торжественно скорбный государственный оркестр. Да и редко слышен колокольный звон: из семидесяти тысяч, даже больше, православных церквей, соборов, монастырей не уцелела и десятая часть; разрушенные, они как немощные пни в вырубленном, когда-то благодатном, прекрасном лесу. И дорогие Снесареву церкви (где крещён, где ставил первые свечи, где венчался, где молился за погибающих) — среди них.

5

А живущим — свои хлопоты, потери, бесправие, неустроенность, бедность. Впрочем, кому как. У кого-то стремительный карьерный рост, богатый быт, жизнь как праздник, но всё это тоже ненадёжно. Были введены новые воинские звания — маршальские, первыми маршалами стали Блюхер, Будённый, Ворошилов, Егоров, Тухачевский, скоро троих из них расстреляют.

В Москве начнутся громкие политические процессы. И фамилии Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Радека, Муралова, Пятакова, Раковского, Бухарина, Серебрякова, Крестинского, Смилги, Бела Куна, Ягоды… словом, тех, кто составлял основной корпус ленинской гвардии, будут преданы всеобщему поношению, а сами «гвардейцы», совсем не кристальные, а равнодушные к народной судьбе революционно-террористического замеса временщики, будут лишены и политической сцены, и жизни. Но не одни они… Сверкающая коса смерти снова пройдётся по народу, стремительно убывающему крестьянами и «бывшими».

6

В 1936 году был принят план генеральной реконструкции Москвы. Расширялись улицы, сносились дома, вырубались бульвары. Дом, где обрела приют семья Снесаревых, торцом выходил на Зубовский бульвар и тоже подлежал сносу.

Выселяемый человек получал на руки две с половиной тысячи рублей и обязан был выехать из Москвы, а для его домоустроительства, для новой его жизни отводились места близ Перова, Пушкина, Кучина, Косина — часто на неудобьях, на приболотных, приторфяных почвах. Застройщики хлопотали, не зная отдыха. Это было похоже на великое переселение народа.

Дочь рассказывает: «И за визгом пил, стуком топоров для многих не был слышен шум чёрных воронов, ночные звонки в квартирах и звук шагов уводимых людей. В Москве (да и не только в Москве) шли аресты. Люди вдруг не выходили на работу, не возвращались домой с работы, куда-то исчезали; от академиков до дворников… Но нас эта сторона 1937-го не коснулась… Начались поиски участка. Конечно, старались найти поближе к Москве и чтобы не очень далеко от железной дороги. Объездили все окраины Москвы, которые считались Московской областью, все окрестности… А дома постепенно собирались: укладывали книги в ящики (часть ящиков с книгами так и осталась неразобранной со дня переезда с Воздвиженки. Продали часть книг в кабинет Востока при историческом факультете МГУ, а часть — в Ленинскую библиотеку».

Далее дочь вспоминает, что 7 июля пришли грузчики и какие-то торопящиеся люди погрузили вещи (за исключением небольших чемоданов с самым необходимым) и повезли на Московские склады. Андрей Евгеньевич снова впал в бессознательное состояние, его поместили в клинику, откуда ему уже не выйти. А семье, вынужденной перемогаться раздельно у родственников и знакомых, пришлось срочно озаботиться поисками и подмосковного участка для жилища, и определённого под снос дома, какой можно было бы перевезти на участок.

«Как-то, проезжая Кусково, обратили внимание на свободный треугольник земли между Главным проспектом и Железнодорожной улицей. После отказа и хлопот участок был нам отведён. Это была очень большая победа, т.к. участок находился в 5 минутах ходьбы до станции. А от Кускова до Москвы поезд шёл около 16 минут. Теперь вся энергия была брошена на само жилище. В Москве сносилось великое множество домов, в том числе деревянных. В связи со строительством нового Краснохолмского моста на ведущей к нему трассе подлежал сносу большой двухэтажный дом… Дома, сносившиеся по генеральной реконструкции, продавались по цене дров. И вот эту двухэтажную

махину с 8 комнатами мы купили за 4500 рублей. Нужно было найти бригаду рабочих для разборки и перевозки дома. Нашли и таковую и довольно скоро…» — пишет дочь.

В сентябре 1937 года застройщиками Снесаревыми с Перовским горсоветом на 25 лет был подписан договор о постройке в посёлке Кусково двухэтажного дома. К зиме коробка была возведена, успели даже сладить и покрасить крышу.

Снесарев этого дома не увидит. Хороший деревянный дом, боярышник вдоль забора и… огромный долг, тридцать тысяч рублей, который его семья отдавала разным людям, по-разному ждавших: или напоминавших, или словно вовсе позабывших. Последний долг будет выплачен в 1960 году из денег, полученных за его реабилитацию как откупная за жестокое неповинное лагерное его заключение… несозданные, потерянные книги, потерянную заключительную главу жизни.

После очередного обморока, сосудисто-мозгового удара Снесарева спешно доставили в клинику. Когда он очнулся, не мог понять, где он: в больнице или в тюрьме. Как вспоминает Евгения Андреевна, это произвело на него страшное впечатление. Родные не отходили от его постели, дежурили день и ночь. Последние дни он был в беспамятстве. 4 декабря 1937 года его не стало.

Здоровье его жены было окончательно надломлено годами непрестанного стресса — тенями всяческих угроз, полуголодным, неустроенным бытом, беганьями по приёмным, стояниями в тысячелюдных очередях, тревогами за мужа, болью за детей, уходивших, угасавших, как и она, от чахотки. Её не стало в пятьдесят пять лет — умерла она 15 февраля 1940 года.

Похоронили её в одной с мужем могиле. В одной могиле — так, наверное, и должно было статься по их верной жизни!

7

27 января 1958 года на заседании Военной коллегии Верховного суда дело Снесарева Андрея Евгеньевича было пересмотрено. Постановления от 13 января 1931 года и от 18 июля 1931 года отменены за отсутствием состава преступления. Реабилитирован посмертно. В 1973 году от Министерства обороны на могиле Снесарева был установлен памятник.

8

Этот трагический тридцать седьмой. Разумеется, времена Гражданской войны или коллективизации, годы сокрушения Церкви и крестьянства ничем для русского народа не легче

тридцать седьмого, а намного жесточе, страшнее, но это уже другой разговор и об этом — другие книги.

Уходит Снесарев, преждевременно подкошенный Северными лагерями, Соловками, Кемью. Он — державник.

Уходит и Тухачевский, с которым его пути пересеклись. Тоже державник.

Один хотел блага России, многое сделал для того. Другой, может, тоже любил Россию, но ещё более — себя.

Их сломил третий, который тоже выстраивал державу — империю уже советскую, но на русском хребте и на костях, в основном русских.

9

«Клим! Думаю, что можно было бы заменить смертную казнь Снесареву 10-ью годами. И. Сталин».

Впервые эта написанная карандашом записка предстала взорам любопытствующих в 1989 году на аукционе «Сотбис», где и была продана. Стартовая цена записки — пять-семь тысяч фунтов стерлингов. Тогда же выставленные для продажи строки первого в мире в области литературы нобелевского лауреата Сюлли Прюдома в стартовой цене — две-три тысячи фунтов стерлингов, и строки Льва Толстого — столько же: две с половиной тысячи всё тех же фунтов стерлингов.

А если бы вовсе не было этих смертных приговоров, этих тюрем, этих лагерных лет! Сколько бы ещё доброго и нужного для своей страны совершили люди, близкие Снесареву по своим подвижничеству, интеллигентности, державному, патриотическому духу. Но их ударили и сбили… и сбивают… на самой вершине их благородной и вдохновенной деятельности.

…Дороже всех — строка Сталина. Да и впрямь… «Клим! Думаю, что можно было бы заменить смертную казнь Снесареву 10-ью годами. И. Сталин».

НА РОДИНЕ И В МИРЕ

Через недолгие года заполыхает самая страшная, самая кровавая для Отечества война. Как предупреждал об этой войне Снесарев в предисловии к книге Бернгарди! Конечно, он надеялся, что, может, у двух континентальных стран достанет благоразумия во второй раз не тягаться у одной и той же пропасти. Но ход истории ещё и иррационален.

1

Начнётся страшная война именно с немцами, и любимый сын его Александр, студент литинститута, поэт, помимо стихов написавший ещё и комедию «Четыре века любви», верный чести отца-офицера, добровольцем с первого курса уйдёт защищать Отечество в составе истребительного батальона. И поздней осенью сорок первого года погибнет под Москвой.

2

Снесарев покоится на Ваганьковском кладбище. Основанное у села Новое Ваганьково ещё во второй половине восемнадцатого века как кладбище скошенных чумой вскоре стало одним из крупнейших московских. В последующие века, особенно в двадцатом, чума проявилась совсем в иных образах, и знаменитый роман Камю «Чума» высвечивает лишь малую часть этой всемирной напасти.

Здесь похоронены многие великие люди: писатель и собиратель знаменитого словаря русского языка Даль, художники Суриков, Тро-пинин, Саврасов, композитор Верстовский, артист Мочалов, поэт Есенин; ещё братские могилы участвовавших в Бородинском сражении, в Великой Отечественной войне.

Близко от могилы Снесарева — могила Есенина. Поэтическая геополитика и геополитическая поэзия — так сошлись два сына Отечества.

3

Как разительно изменились родина и мир! Многое худшее повторилось. Его, Снесарева, пророчества свершились, и трагического хода его родины, да и всего мира, не поправить.

А возвращение его состоялось. На донской родине. В столице.

В стране. В сегодняшнем мире, который он сумел постигнуть глубже, чем многие из ныне живущих.

4

«Судьбы царств и народов в руках Божиих», — сколько раз повторял Снесарев эти прекрасные, из старины-древности идущие слова. О непостижимом и неохватном проявлении их он постоянно размышлял, видя, как сумма неких случайностей определяет исход битвы, даже всей войны, на годы давая то или иное развитие значительному ареалу мира (Граник, Саламин, Канны, осада и разрушение римлянами Иерусалима, Каталаунские поля, Пуатье, штурм и разрушение крестоносцами Константинополя, битва у реки Сить и поражение разрозненной Руси от монголо-татарских войск, поле Куликово, Косово поле, победа христиан над турками у стен Вены, Маренго, Бородино, Ватерлоо, сражения у Мазурских озёр и под Верденом). И почему Англии неизменно «везёт», а Россия из века в век идёт страдальческим жертвенным путём, несёт неизбывный тяжёлый крест?

Или суждено так от века России нести этот крест, освящая своей крестной жертвой путь другим народам, часто спасая их. Временами Снесареву приходили такие нелёгкие мысли о миссии России, которые на военном поприще проявлялись наиболее очевидно. Как военный мыслитель, как человек, безукоризненно знавший военную историю своей страны и других стран, он всерьёз, без романтических славянофильских мечтаний об особом пути России видел этот особый путь как путь войн, которым проходила его страна, с неимоверно высокими потерями и наступая, и обороняясь. Но и очевидны для него недобросовестность и корыстный прагматизм «союзников» и «соседей». Поэтому Снесарев по высшему духовному, нравственному измерению не приемлет «лукавого Альбиона». Как и «лукавого Вашингтона» — ещё в начале двадцатого века. А они просто (и он это признавал) ревниво и жёстко блюдут свои интересы. А Россия — всю жизнь в режиме невыгодных начинаний или завершений, она — жертвенница, бескорыстница, всепомощница… а результат? «Не время ли подумать о себе, о своих немощах и сказать претендентам на наше великодушие: довольно, устали, надо же когда-нибудь подумать и о своей разваливающейся избе, и о своих голодных неграмотных детях», — вопрошал и призывал он ещё в первом десятилетии века двадцатого. Это справедливо и вполне соотносится с более поздними словами другого воронежца — писателя Андрея

Платонова: «Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала». А разве не так — после Второй мировой войны? Сталинские, хрущёвские, брежневские безвозмездные кредиты, с безоглядной советской помощью зарубежные стройки в миллиарды долларов, горбачёвско-ельцинское убеднение, разорение, разворовывание страны, ненасытные советники, имиджмейкеры, нувориши-олигархи, госчиновники-менеджеры… и несть им числа, nomina sunt odiosa.

5

Но раздумье Снесарева о России глубже сугубо политического. И даже геополитического. Он прекрасно видел дороги и лабиринты истории, так же как видел соблазны и опасности того, что есть мифология истории. Его восприятие Отечества — историософское. Он чувствует Божий замысел о России. Его публицистика, письма и дневники, педагогика, геополитика, военные, исторические, географические, этнографические труды — это, прежде всего, широкое философское осмысление национального исторического пути России.

Историософия — особая мета русской философии, здесь её бесспорная сила и уникальность. Умение не только видеть поверхностный смысл, как правило, бессмысленных, хаотических событий и подгонять под них какой-нибудь искусственный, заранее изготовленный «кабинетный» смысл, а видеть действие Промысла как высшей мудрости Создателя, и не просто видеть, а душевно принимать все трагические изломы жизни — это то, что отличает русскую мысль. Таковы мысли Тютчева, Достоевского, Леонтьева, Данилевского, Фёдорова, Розанова, Соловьёва, Бердяева, Булгакова, Франка, Лосского, Вышеславцева, Карсавина, Ильина, Флоровского, Лосева, Панарина и многих-многих представителей отечественной культуры.

Другое дело — военный человек, исключительно знакомый с практикой на самом её жестком и грубо осязаемом рубеже. Здесь историософия несколько иного рода — трагический смысл истории раскрывается через военное бытие народа. Здесь уже нет места романтическому образу истории — жесткая чреда военных потрясений, которые пришлось пережить народу, не может не свидетельствовать о его высокой духовной миссии. Это историософия, исполненная трагической военной мудрости народа, чей опыт есть свидетельство реального действия Промысла в истории. Можно видеть истину Божественного величия в лучезарной поступи великолепной природы,

порождающей гармонию и лад в душе, а можно видеть кровавую предельность человеческого горя, которое обнажает война. И вот именно здесь, в этом кровавом бессмысленном месиве войны, уничтожающей всё великое и прекрасное, предающей поруганию всё светлое и святое, отрицающей истину, добро и красоту у самых первоистоков бытия, именно здесь и увидеть действие Промысла.

Историософское видение Снесарева, впитав в себя всю теоретическую мысль великих предшественников, прошло через горнило практических, суровых испытаний войны, тем самым получило высшую достоверность и убедительность. Немногие сохраняли мудрость и человеческое достоинство, соприкоснувшись с войной. Но Снесарев не только сохранил неоспоримые нравственные качества человека, но и вынес из жесткого и разрушительного хаоса войны понимание высшего смысла, того светлого луча правды, который наиболее очевиден именно на чёрном фоне войны. Поэтому снесаревская историософия расширяет традиционную геополитику, которая всё же наука, часто чуждающаяся духовных вещей, ограничивающая свой мир сугубо эмпирическими (география и политика) горизонтами. Это историософская геополитика, основанная на понимании духоносного смысла исторического бытия России. Поэтому так сильна провидческая особенность его мысли, дошедшая до нынешнего времени и, возможно, только сегодня могущая быть осмысленной.

6

Вечный маятник: победа — поражение. Если бы Россия могла закрепиться на американском тихоокеанском побережье, то картина мира была бы иная? Может быть, но колесница истории обратного хода не имеет. Не имеет? Как знать… В плоско-прагматическом смысле не имеет, а в метафизическом, в духовном, в промыслительном? История хранит запасные или возвратные пути. История повторяется как фарс? Чаще она повторяется как трагедия или катарсис.

Обойдём «если бы», якобы не имеющее смысла в историческом бытии, кроме эмоционального, прибегнем к более мягким, опосредованным «будь», «сложись», «осуществись»… Хотя сказать и так: плоский, первичного уровня догматический ум отвергает «если бы» как опасность своим схемам и объяснениям, но историки-интуитивисты, историки онтологических, корневых начал воспринимают «если бы» реально, как астрономы множественность галактик.

Будь Русь тринадцатого века не раздробленной и отрази она монгольское нашествие, наверное, иначе бы сложились судьбы евразийского континента.

Будь Московское правительство в семнадцатом веке умнее в отношениях с Китаем, будь Российское правительство в двадцатом веке умнее в отношениях с Китаем, Японией и Кореей, у России куда меньше было бы дальневосточной озабоченности.

Осуществись успешно русская политическая идея-тяга выхода к тёплым водам (здесь и Константинополь на Босфоре, и Индийский, и Тихий океаны), мир был бы другим, может, более открытым, благоустремлённым.

Будь Россия и Германия не противниками в двадцатом веке, мир, наверное, сложился бы иначе, с более прочными духовно-материальными характеристиками цивилизации.

Не раскрои первый большевик былую империю на сумму условных республик, не было бы той крови, что пролилась в конце двадцатого века.

Не отдай хрущёвское неровное правление солнечного Крыма Украинской республике и южносибирских земель — ещё одной союзной республике, и терских районов — прикавказской автономии, наверное, не образовались бы столь острорежущие углы и копьевидные зигзаги по территории былой державы.

Будь в стране более выверенной, более гласной и менее номенклатурной кадровая политика, и ставропольский комбайнер — комсомольский активист так бы и не поднялся выше краевого секретаря, а заурядный прораб уральского треста не смог бы стать «прорабом» развала Союза, а их наглое и бездарное окружение — новоявленной «элитой», народогубительно-господствующей.

Не дали бы народы утвердиться ростовщичеству — не поднялась бы мировая финансовая верхушка с её банками, биржами, залоговыми аукционами, офшорными уловками, спекулятивными и виртуальными операциями, и не удалось бы ей прочертить ложные пути, соткать сеть, в которой оскудевает большая часть народов и стран.

Или остаётся одно упование: «…есть и Божий суд, наперсники разврата!»

7

Я стою на придонской круче между Нижним Карабутом и Старой Калитвой. От реки доносятся редкие голоса, по прибрежной песчаной низине возвращается с пастбища череда бурёнок, в начале донской излучины вижу баржу. Кругом —

стеновые кручи, меловые затравенелые распадки, чабрецовые поляны да сиротливые шиповники… Вдруг, словно бы из ниоткуда, возникает старый не по годам подтянутый русский генерал в шинели и папахе. Он смотрит на Дон и долго-долго молчит. Но вот его лицо озаряется задумчивой улыбкой, и он обращается ко мне или к кому другому:

«Говорят, нельзя жизнь прожить дважды, как нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Говорят, что многим выпадает не своя — подменённая — жизнь. Наверное, так. И говорят, дескать, никому не дано увидеть, тем более прожить иначе историю своей жизни и историю своей страны… — он долго молчит, словно все его года проходит перед ним, и продолжает: — Я прожил жизнь, о которой знают. Я видел и прожил ещё и иную жизнь, о которой не знают. И прожил так, как мечтал. Прожил?.. Мечтал о здоровой, процветающей, победительной стране, которая бы являла чаемый образ многим странам и народам. И не было, не было всеперемалывающего губительного Молоха войн и революций».

Он говорил так, словно кто-то был способен услышать и запомнить им сказанное как духовное задание.

«Надо уметь видеть Россию такой, какою Бог дал её на мгновенье в небесной ипостаси как Русь Святую. Увидеть свою родину иными глазами в ином, желанном, историческом бытии… Как прекрасна наша родина! Была, есть и будет, вечная страдалица и героиня, жестокая и милосердная, земная и Небесная…»

…И я — ни тем мальчиком, счастливо взошедшим на придонские кручи, ни юношей, лунными вечерами бродившим с весёлой девчонкой по придонским чабрецовым холмам, ни взрослым городским жителем, гостем, приезжающим на Дон, — долгие годы не умел разгадать, что за видение явилось тогда, кто был тот генерал.

Чего стоят пирамиды золота, финансовые сети, мировые подмены, лукавые технологии, ослепительные зазывы Антихриста! Да, они чертят видимые и невидимые уродливые борозды по органическому полю человечества, но и последнее слово, и последняя воля, и последнее милосердие — за Создателем!

И время от времени глядя, как «век шествует путём своим железным», как осуществляется глобальный проект мировых сил, я вспоминаю странное видение и соглашаюсь с далёким и близким человеком — военным мыслителем, моим великим земляком, именно им, — именно он был тогда на холмах нашей донской родины! Ибо не может человек, чья жизнь прожита в духовном осмыслении всего мира, хотя бы однажды не вернуться

на холмы своей малой родины. Именно с с родной приречной верховины земли и дано окинуть умным взором прошлое, настоящее и будущее не только своего Отечества, но и всего мира.

В лице нашего соотечественника мы обретаем и военную мудрость, и преданность национальным святыням. Жизнь и труды Андрея Евгеньевича Снесарева — в служении людям, Отечеству и Богу. Что давало силы ему выдержать невзгоды, выпавшие на его долю? Согласно глубокой евангельской мудрости лишь «претерпевший до конца спасется». Жизнь Снесарева и есть следование этому завету. Свое главное земное дело он сделал, несмотря на тяжелейшие обстоятельства и личной жизни, и жизни Отечества. Такими людьми страна и сохранилась. На долю Снесарева пришлись трагические, страшные времена нашей Отчизны. Рушились сами первоосновы человеческого существования. Находясь на передовых позициях военного управления страной, он смог проявить не только геополитическую мудрость, но явить наилучшие качества русского офицера, русского человека.

Имя Андрея Евгеньевича Снесарева уже восстановлено в анналах отечественной истории. Вернулся его высокий образ и вместе с ним — редкостно-самобытное военно-политическое наследие, которому отныне, в других условиях и обстоятельствах, предстоит жить новой жизнью.

Жизненные, творческие, научные пути и труды Снесарева — памятник и ушедшему, и живому русскому миру. И хотя такой памятник несоизмеримо более высок, нежели любой возможный, бронзовый или гранитный, самому Снесареву, но и ему памятник на родной земле взойдёт. Даже если в одной душе взойдёт!

Pro aris etfocis… In saecula caeculorum…

Воронеж, 1973, 1991, 2008

БИБЛИОГРАФИЯ

ТРУДЫ А.Е. СНЕСАРЕВА

Афганистан. М: Госиздат, 1921, VIII. 244 с.

Англо-русское соглашение 1907 г. СПб., 1908. 30 с.

Введение в военную географию. М.: Центриздат, 2006. 512 с.

Восточная Бухара. СПб., 1906. 148 с.

Жизнь и труды Клаузевица. М: Кучково поле, 2007. 384 с.

Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. Взгляд туземцев Индии на англичан и их правление. СПб., 1906, VI. 173 с.

Индия. Страна и народ. Вып. I. Физическая Индия. М: Изд. Ин-та востоковедения, 1926.165 с.

Памиры (Военно-географическое описание). Ташкент, 1903. 153 с.

Северо-Индийский театр: в 2 т. Ташкент, 1903. Т. 1. 347 с; Т. 2. 359 с.

Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003. 287 с.

Фронтовые письма и дневники. М.: ВАГШ, 2005. 458 с.

Этнографическая Индия / сост. Е.А. Снесарева. М: Наука, 1981. 278 с.

ТРУДЫ О СНЕСАРЕВЕ

Андрей Евгеньевич Снесарев (жизнь и научная деятельность). М.: Наука, 1973.160 с.

Афганские уроки. Выводы для будущего в свете идейного наследия А.Е. Снесарева / сост. А.Е. Савинкин. М: Военный университет, Русский путь, 2003. 896 с.

Воспоминания Е.А. Снесаревой, рукопись.

Значение наследия А.Е. Снесарева для решения современных проблем геополитики. М.: Военная академия Генштаба Вооруженных сил РФ, 2006. 287 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Архив русской революции: в 22 т. М.: Терра, Политиздат, Республика, 1991–1993.

Белоголовый Б.Г. Красный август. М.: Кучково поле, 2007. 272 с.

Белое дело. Дон и Добровольческая армия. М.: Голос, 1992. 415 с.

Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома 1917–1919. М.: Прогресс, 1992.352 с.

Бъюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Международные отношения, 1999.344 с.

Вандам (Едрихин А.Е.). Наше положение. Величайшее из

искусств. Письма о Трансваале. М.: Кучково поле, 2002. 272 с.

Гулыга Арсений. Русская идея и ее творцы. М.: Эксмо, Алгоритм, 2003. 448 с.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М.: Эксмо, 2003. 640 с.

Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 3 т. М.: Айрис-пресс, 2005.

Дудник В., Смирнов Д. Вся жизнь науке // Военно-исторический журнал. М.,1965,№2.

Кожинов В. Россия. Век XX (1901–1939); Россия. Век XX (1939–1964). М.: Эксмо-пресс, 2002.

Коялович М.О. История русского самосознания. Минск: Лучи Софии, 1997.688 с.

Краснов П.Н. От Двуглавого Орла к красному знамени: в 3 кн Екатеринбург, 1994–1995.

Меяьгунов С.П. Красный террор в России 1918–1923. М.: Посткришум, 1990. 204 с.

Нарочницкая Н. Россия и русские в мировой истории. М.: Международные отношения, 2003. 535 с.

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002.494 с.

Скворцов А.А. Русская религиозная этика войны XX века. М.: Макс Пресс, 2002. 224с.

Солженицын А.И. Красное колесо: повествование в отмеренных сроках: в 10 т. М.: Воениздат, 1993–1997.

Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Paris: YMCA-PRESS, 1975. 630 с.

Такман Барбара. Августовские пушки. М.: Молодая гвардия, 1972. 496 с.

Хозиков В. Забытый кумир фюрера: Жизнь Свена Гедина. М.: Яуза, Эксмо, 2004. 736 с.

Ширяев Б. Неугасимая лампада. М.: Товарищество русских художников, 1991. 415 с.

Шульгин В.В. Три столицы. М.: Современник, 1991. 495 с.

Яковлев Н. 1 августа 1914. М.: Молодая гвардия, 1974. 238 с.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Улица Снесарева в Старой Калитве

Мемориальная доска на здании школы

Дом Снесарева в Острогожске

А.Е. Снесарев

А.Е. Снесарев среди георгиевских кавалеров

В окопах 4-го батальона

А.Е. Снесарев и офицеры штаба

Е. Зайцева в начале XX в.

«Семейная лестница». 1913 г.

Клим!

Думаю, что
можно было бы
заменить Со-
сареву Ворошиловым
через 10-ть дн-
ей.

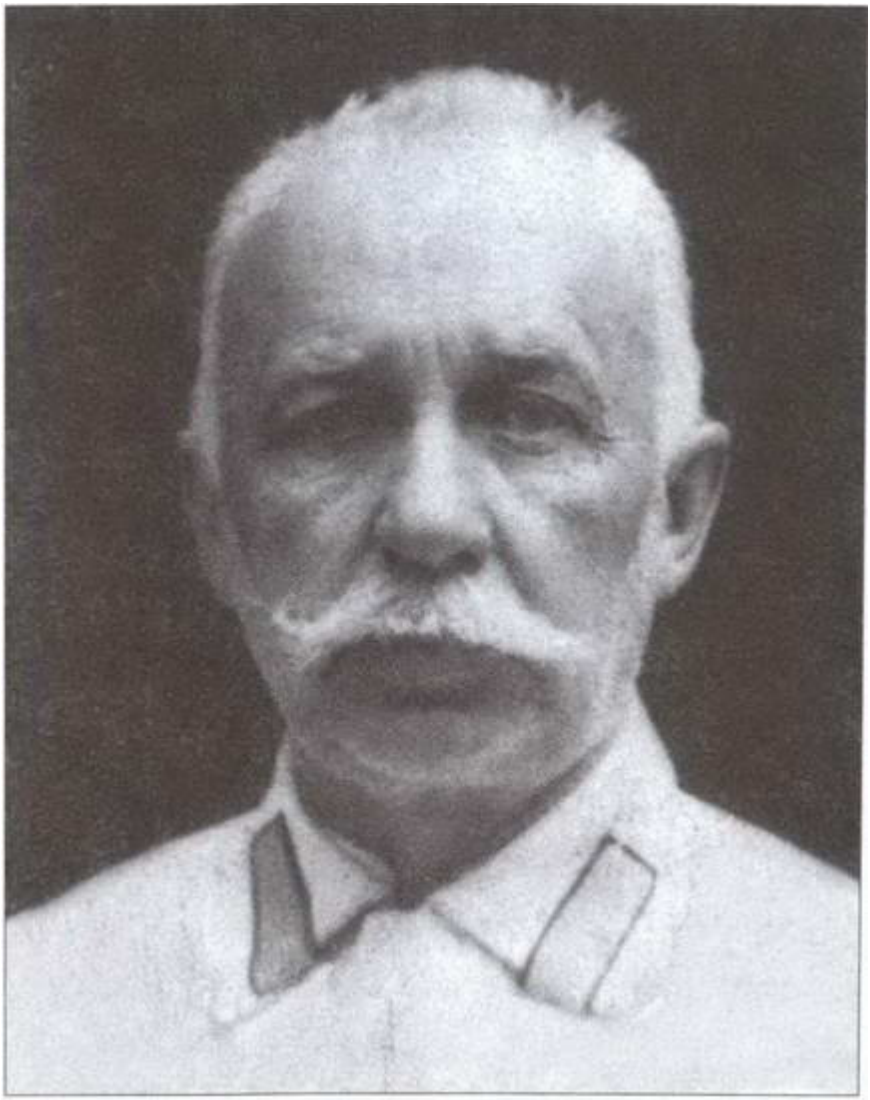
И Эдита

Клим!
Логлив уехал, но-
чью сидеть дома
и ехать в 9¼ час. в
Б. театр. Крепко
жму.

Сталин

Обложка книги А.Е. Снёсарева «Авганистан»

Обложка книги А.Е. Снёсарева «Этнографическая Индия»



Одна из последних фотографий А.Е. Снесарева

Перевал Снесарева

Дочь А.Е. Снесарева. 1990 г.

* * *

Военный Архив

Книга В.В. Будакова рассказывает об удивительной и непростой судьбе генерала Андрея Евгеньевича Снесарева. Генерал Снесарев был широко известен не только как военачальник и участник Первой мировой войны, но и как талантливый военный педагог, географ и востоковед. Несомненную ценность для современной России представляет и письменное наследие А.Е. Снесарева.

В настоящем издании личность генерала Снесарева получила яркое и правдивое описание. Книга будет интересна самому широкому кругу читателей — историкам, географам и востоковедам.

ISBN 978-5-4444-1975-5

9 785444 419755

ВЕЧЕ